This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

A 870,394

PROPERTY OF
The University of Michigan Libraries
1817
ARTES SCIENTIA VERITAS

This "O-P Book" Is an Authorized Reprint of
Original Edition, Produced by Microfilm-Xerograp
University Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan,

Stankevich, Nikolai Vladimirovich

НИКОЛАЙ ВЛАДИМІРОВИЧЪ СТАНКЕВИЧЪ.

10.0 15367
СР 18747

ПЕРЕПИСКА ЕГО И БІОГРАФІЯ

написанная

П. В. АННЕНКОВЫМЪ.

МОСКВА.

Въ Типографіи Каткова и К°.

1857.

891.78
S7880
A35
1857a

63 18947

F2Q3 - 372187

Николай Станкевичъ

БІОГРАФІЯ
НИКОЛАЯ ВЛАДИМІРОВИЧА
СТАНКЕВИЧА.

СОЧИНЕНІЕ

П. АННЕНКОВА.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цен
Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, 7. декабря 1

Цензоръ *Н. Фонъ-Кру*

ПЕРІОДЪ

ДѢТСТВА И СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

по 1834 г.

—

§ I.

ВСТУПЛЕНІЕ.

Читатель, встрѣтивъ имя Станкевича во главѣ біографической статьи, можетъ спросить: чѣмъ заслужило оно право на вниманіе общества и на снисходительное любопытство его?

Станкевичъ умеръ двадцати семи лѣтъ (родился въ 1813 году, скончался въ 1840) отъ роду, оставивъ одну плохую трагедію: «Василій Шуйскій» [1]),

---

[1]) Трагедія Станкевича: «Василій Шуйскій» (Москва, 1830 года, 107 стр. in-8), посвященная предсѣдателю общества любителей русской словесности, А. А. Писареву, исполнена чертъ, относящихся къ театральнымъ воспомина-

въ пятистопныхъ стихахъ, написанную имъ шестнадцати лѣтъ и вскорѣ потомъ имъ самимъ скупленную и уничтоженную. Она сдѣлалась теперь

ніямъ молодаго автора. Свиданіе Скопина-Шуйскаго съ невѣстой его Ольгой (не имѣющей другаго прозванія) происходитъ вечеромъ, и театръ представляетъ *садъ съ рѣшеткой*, да и при первой встрѣчѣ съ любезной, Скопинъ *цѣлуетъ у ней руку* и проч. Точно то же воспоминаніе руководило автора и въ постройкѣ піесы и въ изображеніи какъ злобныхъ, такъ и великихъ романтическихъ характеровъ. Стихъ однако же весьма гладокъ, иногда даже изященъ, а паѳосъ трагедіи замѣчателенъ по своему благородству и достоинству. Станкевичъ началъ печатать очень рано свои произведенія, въ чемъ такъ сильно раскаивался потомъ. Первые его опыты были еще помѣщены въ журналѣ: «Бабочка»; затѣмъ мы находимъ въ Сѣверныхъ Цвѣтахъ, на 1831 годъ, его стихотвореніе: «Филинъ», — весьма мало замѣчательное, и въ Телескопѣ 1831 же года другое: «Ночные Духи» — фантазію, не лишенную поэтическаго оттѣнка. Гораздо менѣе его въ піесѣ: «Кремль», напечатанной въ Литературной Газетѣ 1831 года, № 7; но опять признаки истиннаго поэтическаго чувства являются въ другой піесѣ «Грусть» (Ночь темна, снѣгъ валитъ), помѣщенной въ той же Литературной Газетѣ 1831 года, № 18. За тѣмъ Станкевичъ преимущественно печаталъ свои стихотворенія въ журналахъ: Телескопѣ и Молва. Такъ въ 1832 году, Телескопъ (№ 6 и 9) помѣстилъ двѣ его піесы: «Мгновеніе», «Къ мѣсяцу», а Молва (№ 70) одну: «Не сожалѣй». Въ 1834 году, Станкевичъ отдалъ въ альманахъ «Денница» стихотвореніе: «На могилѣ Эмиліи» и другое: «Фантазія» (Люблю я смотрѣть, какъ ночною порою). Всѣ эти произведенія несомнѣнно обличаютъ поэтическій эле-

библіографическою рѣдкостію. Съ 1831 года по 1835 годъ, въ разныхъ, преимущественно московскихъ журналахъ, разбросаны были его мелкія

ментъ въ авторѣ, понеуспѣвшій сосредоточиться и ясно выразить себя. Въ Молвѣ 1834 года, № 20, есть еще письмо Станкевича къ издателю, въ которомъ онъ жалуется на произвольную перепечатку журналомъ Сынъ Отечества и Сѣверный Архивъ въ 16 № 1834 года одного ранняго своего стихотворенія, посланнаго когда-то въ Сѣверные Цвѣты. Если прибавимъ къ этому еще повѣсть Станкевича: «Нѣсколько многовеній изъ жизни Графа Т...», напечатанную въ Телескопѣ 1834 (часть 21) съ подписью Ф. Зоричъ, о которой упоминаемъ ниже, то представимъ весь итогъ печатной литературной дѣятельности Станкевича. Можно дополнить этотъ перечень еще одною подробностію. Станкевичъ, по врожденной ему шутливости, писалъ еще и пародіи, которыя тогда, какъ и нынѣ, были въ ходу. *Еврипидинъ* (К. С. Ак—ъ), пародировавшій въ Молвѣ 1832 года романтическія трагедіи піесой: *Олегъ подъ Константинополемъ*, а въ Телескопѣ 1835 года безцвѣтныя стихотворенія эпохи піесами: «Воспоминанія», «Скала» (томъ XXVII) — имѣлъ даже успѣхъ. Станкевичъ, въ сообществѣ съ Н. А. Мельгуновымъ, напечаталъ пародію на поэмы безталанныхъ подражателей Пушкина и Баратынскаго, въ Молвѣ 1832 года № 75, подъ заглавіемъ: «Калмыцкій Плѣнникъ», гдѣ

Этьенъ и блѣдный и печальный,
Разставшись съ Питеромъ, летитъ,

а ямщикъ его Пострѣлъ поетъ пѣсню про синіе глаза и русую косу —

Присушили, изсушили
Загубили, уходили
Вы Пострѣла молодца и проч.

стихотворенія, замѣчательныя по отношенію къ развитію его идей, но не представляющія въ самихъ себѣ достаточной степени глубины и мѣткости выраженія, чтобъ остановить вниманіе читателя, хотя основные мотивы почти всѣхъ ихъ имѣютъ несомнѣнный поэтическій характеръ. Сверхъ того, въ тѣхъ же журналахъ помѣщаемы были его переводныя и оригинальныя статьи философскаго содержанія, большею частію безъ подписи имени, такъ что найдти и указать ихъ теперь нѣтъ почти никакой возможности. Понятно, что не съ этой стороны можетъ быть усмотрѣно истинное выраженіе физіономіи Станкевича, и не этимъ можетъ онъ купить сочувствіе публики къ своему лицу. Гораздо важнѣе литературной дѣятельности Станкевича были его сердце и его *мысль*. Мы постараемся уловить (на сколько намъ это возможно) поэтическое развитіе мысли Станкевича въ кратковременный срокъ, данный судьбой на ея образованіе, но предупреждаемъ читателя теперь же: пусть не ищетъ онъ памятниковъ, цѣльныхъ произведеній, чего-либо полнаго и законченнаго. Нѣсколько философскихъ отрывковъ, нѣсколько прерванныхъ этюдовъ, связь и мысль которыхъ еще нуждаются въ поясненіяхъ біо-

---

О весьма важныхъ переводахъ Станкевича для журнала Телескопъ 1835 года мы говоримъ далѣе въ біографическомъ очеркѣ.

графа — вотъ все, что̀ мы можемъ представить ему. Заранѣе сознаемся мы, что Станкевичъ лишенъ тѣхъ правъ, которыя какъ у насъ, такъ и вездѣ, долженъ предъявлять писатель или дѣятель, если жизнь его разоблачается передъ публикой до самыхъ сокровенныхъ своихъ побужденій. Вопросъ: что̀ же остается послѣ Станкевича, если считать самыя письма его, какъ впрочемъ и слѣдуетъ, не настоящею дѣятельностію, а только матеріялами, для опредѣленія его личности и его характера? — вопросъ этотъ мы дѣлали самимъ себѣ прежде читателя.

Намъ остается именно эта личность и этотъ характеръ, какъ они выразились въ перепискѣ. На высокой степени нравственнаго развитія личность и характеръ человѣка равняются положительному труду, и послѣдствіями своими ему нисколько не уступаютъ. Мы имѣемъ тому нѣсколько примѣровъ въ нашей литературѣ, проходимыхъ обыкновенно молчаніемъ въ такъ-называемыхъ исторіяхъ русской словесности. Это объясняется формализмомъ вообще нашей исторіи словесности, въ основаніе которой не было доселѣ положено изученіе общества и круговъ, его составляющихъ. Такимъ образомъ мы находимъ въ ней имена людей, болѣе или менѣе прославившихся своими произведеніями, или (что̀ иногда не все равно) болѣе или менѣе прославляемыхъ, но жизненнаго источника

ихъ дѣятельности мы не знаемъ. Случается, что между ними стоитъ совершенно незнакомое лицо, мало высказавшееся, или совсѣмъ не высказавшееся передъ публикой, но замѣшанное во всѣ начинанія эпохи, опредѣлившее воззрѣніе и духовную дѣятельность цѣлаго ряда производителей и образовавшее наконецъ нравственный характеръ ихъ, который потомъ и отражается въ литературныхъ, художественныхъ, жизненныхъ и служебныхъ дѣлахъ ихъ; другими словами, отражается на цѣломъ обществѣ, на многихъ разнородныхъ слояхъ его. Но какъ подступить къ подобному лицу, стоящему совершенно уединенно, безъ замѣтки въ книжныхъ росписяхъ, безъ заслугъ въ формулярномъ своемъ спискѣ, безъ критическаго или даже безъ всякаго другаго аттестата? Разумѣется, легче пройдти мимо такого лица, благо есть предлогъ во всеобщемъ молчаніи, чѣмъ вникнуть въ его значеніе и угадать родъ его дѣятельности. Для послѣдняго еще нужна и нѣкоторая зоркость взгляда: не всякій способенъ видѣть работу тамъ, гдѣ нѣтъ матеріяльныхъ признаковъ ея. Никогда формализмъ, еще недавно опутывавшій всю дѣятельность современную, никогда также псевдо-реализмъ, составлявшій цвѣтъ нашей литературы, не рѣшились бы говорить о подобномъ лицѣ, отличенномъ только даромъ упорной мысли, отыскивающей истину безъ отдыха, и даромъ любви, которая всѣ

открытія мысли спѣшитъ удѣлить близкимъ людямъ и не успокоивается до тѣхъ поръ, пока не сообщитъ имъ ту вѣру въ познаніе, ту сладость благихъ ощущеній, какія она сама вкусила. Какъ взяться формализму и псевдо-реальности за подобное лицо, особливо когда вокругъ него не скопилось никакихъ событій, и вся исторія человѣка есть только исторія необыкновенно-пытливаго ума, ищущаго гармоническихъ, согласныхъ соотношеній съ необычайно-деликатнымъ и любящимъ сердцемъ? Конечно, задача эта есть именно задача всѣхъ современныхъ обществъ, и можетъ-быть весьма поучительно было бы видѣть стремленіе одного мыслителя, надѣленнаго пылкими чувствами, къ разрѣшенію ея въ своемъ сознаніи; но человѣкъ этотъ почти ничѣмъ не проявилъ внутренней работы своей, почти ни за что печатное или рукописное нельзя ухватиться, чтобъ положить въ основаніе разказа... Сколько предлоговъ для молчанія!

И благодаря имъ, исторія лица, имѣвшаго сильное вліяніе на развитіе просвѣщенія и идей въ обществѣ, спокойно отстраняется нами, безъ всякаго упрека самимъ себѣ за лѣность собственной нашей мысли; и всѣ послѣдующія явленія въ литературѣ и жизни, имъ навѣянный, или косвенно порожденныя имъ, являются одинокими и разрозненными на глаза наблюдателя, какъ грибы по-

слѣ дождя, по народной поговоркѣ. Сравненіе впрочемъ не вполнѣ вѣрно. У грибовъ все-таки есть нѣчто общее — благотворный дождь, ихъ породившій.

Въ лицѣ Станкевича мы находимъ одного изъ такихъ замѣчательныхъ дѣятелей, ничего не оставившихъ послѣ себя, и предлагаемъ теперь переписку его съ друзьями на судъ публики.

Станкевичъ жилъ скоро, потому что ему не долго было жить: съ послѣдняго университетскаго курса въ 1833 году, когда ему было только двадцать лѣтъ, уже начинаютъ показываться въ немъ признаки болѣзни лёгкихъ и органическаго истощенія, которое возрастало по мѣрѣ развитія мысли, усиленія стремленій, важности и сложности задачъ, поставляемыхъ цѣлью жизни. Еще въ университетской аудиторіи онъ сталъ центромъ кружка товарищей, равныхъ ему по свѣдѣніямъ, но подчинившихся охотно (какъ способны только подчиняться люди въ молодые года свои) вліянію свѣтлаго ума, благороднаго сердца и строгихъ нравственныхъ требованій. Станкевичъ дѣйствовалъ обаятельно всѣмъ своимъ существомъ на сверстниковъ: это былъ живой идеалъ правды и чести, который въ раннюю пору жизни страстно и неутомимо ищется молодостію, живо чувствующею свое призваніе. Извѣстно, что онъ открылъ Кольцова, не подозрѣвая можетъ-быть всей важности своей находки, указалъ на него сперва

друзьямъ своимъ, а наконецъ и публикѣ. Также мало продчувствовалъ Станкевичъ, что въ другѣ, съ которымъ близко сошелся года за три до своей смерти, питаетъ онъ человѣка, долженствующаго имѣть такую долю вліянія на образованіе въ Россіи, какую до него немногіе имѣли — незабвеннаго Т. Н. Грановскаго. Грановскій называлъ себя ученикомъ Станкевича, конечно не въ смыслѣ добытой отъ него эрудиціи: въ этомъ, по общему приговору, онъ былъ самъ богатъ и въ помощи товарищей не нуждался; но ученикомъ Станкевича былъ онъ въ доблестной наукѣ сбереженія души, воспитанія воли, неослабнаго бодрствованія въ благихъ помыслахъ. Еслибъ мы не имѣли сознанія самого Грановскаго, то могли бы *угадать* тѣсную связь, соединявшую его съ другомъ молодости. Никто такъ полно не сохранилъ на себѣ нравственнаго сходства со Станкевичемъ въ поступкахъ, направленіи, отчасти даже въ способѣ выраженія своихъ мыслей, какъ Грановскій. Станкевичъ отпечаталъ на немъ неизгладимо лучшую часть души своей, духовный образъ свой. Иною дорогой шла третья замѣчательная личность изъ кружка Станкевича, хорошо знакомая современникамъ нашимъ: она посвятила себя на борьбу со всѣмъ, что̀ ей казалось обманомъ, лицемѣріемъ, косностію и неоправданнымъ самодовольствомъ въ литературѣ и въ обществѣ. Надѣленная пылкимъ, огненнымъ

характеромъ, она издержала на эту борьбу всю себя до плоти и крови своей и умерла, оставивъ послѣ себя столько же преданной любви, сколько и ожесточенной ненависти. Но врожденное отвращеніе отъ всякой лжи, претензіи и призрака, столь необходимое для литературной борьбы, извѣстный критикъ нашъ воспиталъ и укрѣпилъ въ сообществѣ человѣка, который отвергалъ ихъ примѣромъ собственнаго своего существа и не щадилъ какъ въ себѣ, такъ и въ самыхъ близкихъ людяхъ. Затѣмъ пропускаемъ еще имена многихъ лицъ, болѣе или менѣе стремившихся по пути, который начали они вмѣстѣ съ своимъ товарищемъ; скажемъ однако, что между нашими современниками встрѣчается не мало людей, уже пережившихъ пору молодости, но одушевленныхъ юношескимъ жаромъ къ общей пользѣ и преуспѣянію: бо́льшая часть ихъ дѣлила со Станкевичемъ первую трапезу жизни, первый пылъ благородныхъ стремленій. Есть много и такихъ, которые въ тиши, въ незамѣтномъ, но тѣмъ болѣе почетномъ кругу дѣйствія сѣютъ благодатныя сѣмена, собранныя общими силами въ эпоху ихъ молодости, при помощи человѣка, неутомимо заботившагося, какъ увидимъ, о сборѣ и уходѣ этихъ сѣменъ — будущей пищи поколѣній. Нельзя сказать, разумѣется, чтобы все, прикасавшееся къ Станкевичу, оставалось навсегда подъ вліяніемъ его образа мыслей, или было проникнуто

духомъ его строгаго направленія: иные неспособны были вполнѣ усвоить примѣра его, у другихъ жизнь и нерадѣніе заглушили благодатныя зерна; но какъ тѣ, такъ и другіе, при жизни Станкевича, были нравственно подняты имъ и были, хоть на мгновеніе, *выше себя*. А не есть ли это настоящая и важнѣйшая задача всякаго дѣятеля, не есть ли это призваніе философа и моралиста, и благороднѣйшая цѣль, на которую человѣкъ долженъ употреблять всѣ силы и способности, данныя ему природой?

И когда оглянешься назадъ, къ ненаписанной еще исторіи нашего общества, то съ изумленіемъ видишь еще нѣсколько другихъ именъ, принадлежавшихъ молодымъ людямъ, подобно Станкевичу похищеннымъ преждевременною смертію и бывшимъ, подобно ему, провозвѣстниками русскаго образованія. Они завѣщали другимъ дѣло, которое сами только предчувствовали. Такимъ былъ Андрей Тургеневъ, другъ Жуковскаго и Батюшкова, для поколѣнія, предшествовавшаго 1812 году; такимъ былъ Веневитиновъ для поколѣнія, принадлежавшаго 1825 году, и такимъ былъ Станкевичъ для молодыхъ людей между 1835 и 1840 годами. Мы уже слышали еще нѣсколько именъ, игравшихъ одинаковую роль съ этими ранними феноменами въ другихъ кругахъ нашего общества и испытавшихъ одинаковую съ ними участь: они

быстро потухли, прогорѣвъ яркимъ огнемъ на небосклонѣ и освѣтивъ далекое пространство подъ собой. Подвергаясь упреку въ благодушномъ суевѣріи, можно подумать, изучая ихъ, что юныя силы, живущія въ нашемъ народѣ, по временамъ выбрасываютъ часть собственнаго, излишняго богатства посредствомъ этихъ пышныхъ и скоропреходящихъ организацій. Какъ бы то ни было, но фактъ имѣетъ самъ по себѣ важное значеніе и еще важнѣйшее по той ближайшей нравственной пользѣ, какая можетъ быть извлечена изъ него. Само теченіе нашей жизни представляетъ отъ времени до времени, въ лицѣ избранныхъ людей, готовый и удивительный примѣръ для подражанія каждому молодому поколѣнію, начинающему общественную жизнь. Блестящіе идеалы стоятъ у насъ передъ всякою новою отраслію отечественныхъ дѣятелей какъ образцы, къ которымъ должна стремиться молодость для того, чтобы найти все, чего ожидаетъ отъ нея общество и что̀ таится въ ней самой. Станкевичъ принадлежалъ къ числу этихъ благотворныхъ указателей. Вотъ почему мы желали бы отдать переписку Станкевичу и самую память его подъ покровительство современнаго молодаго поколѣнія, того, которое еще не успѣло убить всей своей жизни въ праздномъ довольствѣ наслѣдственными правами, въ путаницѣ закулисныхъ романовъ, въ дневныхъ и ночныхъ разны-

шленіяхъ за бутылками, и тому подобныхъ занятіяхъ.

---

§ II.

ДѢТСТВО СТАНКЕВИЧА.

Николай Владиміровичъ Станкевичъ, какъ уже сказано, родился въ 1813 году, въ деревнѣ своего отца Воронежской губерніи, Острогожскаго уѣзда. По первымъ годамъ его молодости никакъ нельзя было угадать въ немъ человѣка съ нѣжною, хворою организаціей. Это былъ мальчикъ веселый, здоровый и необычайно рѣзвый; деревенскій просторъ и относительная свобода, данная ребенку отцомъ его, развили въ немъ рѣзвость дотого, что онъ сдѣлался для своихъ нянюшекъ, дядекъ и даже для посѣтителей дома почти тѣмъ, что̀ Французы называютъ «enfant terrible». Отецъ Станкевича былъ высокаго практическаго ума, здраваго смысла и благородныхъ правилъ. Достаточно сказать, что, несмотря на его многосложныя занятія, преимущественно основанныя на финансовыхъ оборотахъ, — родительская власть чувствовалась въ дому его не какъ гнетъ, а только какъ ограниченіе воли, еще необузданной размышленіемъ, и почти всегда какъ ограниченіе раз-

умное и снисходительное. Вспомнимъ эпоху, къ которой пришлось дѣтство нашего Станкевича, и мы поймемъ характеръ и достоинство человѣка, такъ понимавшаго въ то время свои обязанности семьянина. За то и молодой Станкевичъ росъ *честно*, если можно такъ выразиться: — обыкновенное слѣдствіе честнаго обхожденія съ дѣтьми. Мелкихъ пороковъ, скрытности, притворства, лжи и лицемѣрія, онъ никогда не зналъ, благодаря своему воспитанію, которое не считало шалости, иногда даже и очень бойкія, тяжкимъ, неоплатнымъ преступленіемъ. Молодой Станкевичъ часто подвергался какимъ-то пароксизмамъ рѣзвости. Разказываютъ, что, стоя однажды на балконѣ деревенскаго дома, онъ увидалъ внизу отца, который разговаривалъ на крыльцѣ съ почтеннымъ купцомъ, обладавшимъ лысиной необыкновеннаго размѣра; лысина эта тотчасъ же привлекла вниманіе молодаго Станкевича, и онъ никакъ не могъ воспротивиться искушенію плюнуть на нее сверху, что̀ и исполнилъ къ ужасу купца и къ совершенному недоумѣнію родныхъ. Въ другой разъ рѣзвость Станкевича была причиной пожара, истребившаго до тла отцовскую деревню, ту Удеревку, которая такъ часто приводится въ его перепискѣ. Будучи семи лѣтъ, онъ досталъ гдѣ-то ружье, пробрался на чердакъ дома и выстрѣлилъ въ кровлю. Кровля загорѣлась, и вскорѣ вѣтеръ разнесъ пламя

по всей деревнѣ. Цѣлый день не могли отыскать мальчика: онъ убѣжалъ въ сосѣднюю рощу и собирался тамъ расположиться на житье, какъ дикій человѣкъ.

Естественно, что Станкевичъ сдѣлался страстнымъ охотникомъ, какъ только получилъ въ полное свое владѣніе ружье и собаку. Охота была продолженіемъ его прогулокъ и той родственной связи съ природой, которая началась съ младенчества: охота только дала имъ болѣе опредѣленную цѣль. Съ тѣхъ поръ, и до конца жизни, онъ былъ охотникомъ ревностнымъ, неутомимымъ, упорнымъ. Дни, недѣли проводилъ онъ на охотѣ и возвращался домой съ запасомъ анекдотовъ, разказовъ о встрѣчахъ, и юмористическихъ наблюденій. Лягавыя собаки не отходили отъ него въ деревнѣ. Съ одною изъ нихъ онъ жилъ душа въ душу; Діана спала на его постели и часто, свободно раскинувшись, сталкивала съ нея хозяина. По природной веселости и врожденному юмору, сбереженнымъ имъ тоже до конца жизни, Станкевичъ иногда вдругъ отрывался отъ занятій и одинъ съ глазу на глазъ начиналъ бесѣду съ любимою собакой: «Что вы задумались, Діана? что за меланхолія такая? не хотите ли кушать? чего хотите? щецъ, кашки, хлѣбца, или, можетъ, сладенькихъ косточекъ? Да отвѣчайте же!» и такъ далѣе. Весной это были предостереженія отъ

опасностей любви, вѣроломства кавалеровъ, гибельнаго послѣдствія страстей и проч. Нѣсколько разъ видѣли, какъ возвращаясь съ охоты, утомленный и распаленный зноемъ, Станкевичъ, во всемъ охотничьемъ костюмѣ и въ сапогахъ, бросался въ рѣку, бѣжавшую подъ горой, на которой стоялъ деревенскій домъ. Верхомъ онъ также ѣздилъ много и хорошо. Молодость его была бодрая, свѣжая, здоровая — естественное слѣдствіе благоразумной свободы, предоставленной ей.

Десяти лѣтъ Станкевичъ поступилъ въ Острогожское уѣздное училище и безъ всякаго изумленія очутился между дѣтьми всѣхъ сословій, начиная съ бѣднаго чиновничьяго до мѣщанскаго и цеховаго: онъ и прежде въ деревнѣ, по системѣ, заведенной въ домѣ, былъ только сверстникомъ всѣхъ другихъ мальчиковъ и весьма часто ихъ товарищемъ. Пребываніе въ уѣздномъ училищѣ не осталось безъ послѣдствій: тамъ привыкъ онъ къ общительности, отличавшей его позднѣе, и къ понятію о достоинствѣ и самостоятельности каждаго человѣка. Можетъ-быть тутъ же получили первую пищу насмѣшливость, сатирическая подмѣтка крупной черты въ характерѣ другаго, смѣтливость, способность передразнить товарища и самый юморъ Станкевича — всѣ тѣ качества, которыя, будучи послѣ смягчены образованіемъ, очищены и освѣщены умною веселостію, составляли прелесть его

характера и обаяніе его бесѣды. Станкевичъ б
валъ въ воронежскомъ театрѣ, полюбилъ его, ка
всѣ дѣти, и рано открылъ въ себѣ замѣчательн
актерскія способности. Возвращаясь на зимнія
лѣтнія вакаціи въ деревню, онъ тамъ устраивал
съ помощью братьевъ, сестеръ и сосѣдей, домаш
ніе спектакли, гдѣ повторялъ піесы, случайно в
дѣнныя имъ, и гдѣ былъ всегда главнымъ и лу
шимъ актеромъ. Заставлять другихъ радоватьс
приносить имъ, если не пользу (это было ем
рано), то по крайней мѣрѣ забаву и удовол
ствіе — было его страстію. Куда направлялъ о
иногда врожденный свой юморъ, могутъ намъ у
зать двѣ черты изъ его жизни, относящіяся у
къ эпохѣ его зрѣлой молодости. Встрѣтивъ гд
то у сосѣдей ребенка, имѣвшаго какой-то нед
статокъ въ произношеніи, Станкевичъ каждый де
проводилъ съ нимъ по нѣскольку часовъ, пос
дивъ его къ себѣ на колѣна, забавляя его р
казами, показывая даже, какъ можно сообщи
движеніе своему уху, и постоянно исправляя пр
родный порокъ его, въ чемъ подъ конецъ и успѣ
совершенно. Въ 1836 году Станкевичъ просия
вамъ всѣ ночи у больной сестры, забавляя ее и
истощимыми шутками, анекдотами и выходка
съ цѣлью развлечь и удалить отъ нея черныя м
сли и грустныя предчувствія. Она обязана бы
ему выздоровленіемъ, столько же по крайней мѣр

сколько и докторамъ, а между тѣмъ, въ эту эпоху, Станкевичъ былъ весьма далекъ отъ ровнаго, спокойнаго настроенія духа, такъ нужнаго для искренней веселости.

Двѣнадцати лѣтъ, именно въ 1825 году, Станкевича перевезли въ Воронежъ и помѣстили въ Благородный пансіонъ, основанный Павломъ Кондратьевичемъ Ѳедоровымъ. Всѣ преподаватели пансіона были изъ гимназіи, гдѣ и самъ основатель его занималъ должность учителя математики; пансіонъ, наравнѣ съ гимназіей, приготовлялъ молодыхъ людей къ поступленію въ университеты. Говорить ли о четырехлѣтнемъ пребываніи молодаго Станкевича подъ надзоромъ весьма умнаго директора, какимъ былъ П. К. Ѳедоровъ, скончавшійся еще недавно цензоромъ въ Москвѣ? Директоръ обладалъ искусствомъ управлять дѣтьми безъ насильственныхъ средствъ, облегчающихъ управленіе въ ущербъ характеру и нравственности какъ подчиненныхъ, такъ и начальниковъ. Всего болѣе поражала воспитанниковъ его стойкость и сильно развитой point-d'honneur, не допускавшій придирокъ и легкомысленныхъ замѣчаній, откуда бы они ни выходили. Затѣмъ обращеніе его съ дѣтьми имѣло въ себѣ что-то торжественное и эффектное, дѣйствовавшее благотворно на молодые умы. Онъ казался глубоко огорченнымъ, разстроеннымъ и даже больнымъ, когда приходилось разбирать школьническія продѣлки

и изрекать осужденіе; онъ умѣлъ также затрогивать самолюбіе мальчиковъ, стыдить ихъ безъ уничиженія, употребляя иронію, къ которой дѣти, можетъ-быть, еще чувствительнѣе, чѣмъ взрослые. Все это произвело сильное впечатлѣніе на Станкевича, который у директора своего учился даже и математикѣ весьма порядочно. Вообще Станкевичъ бережно сохранялъ память о наставникѣ, смущался въ послѣдствіи при неблагопріятныхъ слухахъ о немъ и всячески старался спасти свое уваженіе къ бывшему учителю: мы увидимъ далѣе, что люди, которыхъ онъ считалъ своими образователями, были въ его глазахъ благодѣтели, не подлежащіе личному его суду ни въ какомъ случаѣ.

Но чему собственно выучился Станкевичъ въ пансіонѣ? Онъ прочелъ всѣхъ русскихъ классиковъ, и, вѣроятно, вытвердилъ на память всѣ бывшія тогда въ ходу «руководства». Даже по выходѣ изъ университета, Станкевичъ сознавался еще въ недостаткѣ многихъ свѣдѣній, входящихъ въ составъ общаго образованія; а по выходѣ изъ пансіона, онъ зналъ рѣшительно только то, что̀ знали его учители. Скудный запасъ этотъ никакъ не можетъ остановить наше вниманіе. Мы считаемъ гораздо важнѣе всего этого три нравственныя явленія, возникшія посреди обычнаго теченія пансіонской жизни и получившія въ послѣдствіи у

Станкевича весьма важное развитіе, именно: признаки глубокой религіозности, запавшей въ душу его и уже никогда не покидавшей ея; признаки нѣжнаго сердца, рано окрывшагося для ощущеній дружбы и любви; наконецъ признаки неутолимой жажды къ поэзіи, обнаружившейся страстію къ стихотворству. Разумѣется, послѣднее было въ сущности весьма слабымъ выраженіемъ его впечатлѣній, но самая наклонность опредѣляетъ уже характеръ Станкевича, способъ будущаго пониманія предметовъ и родъ красокъ, подъ которыми должна была ему представиться жизнь съ первой встрѣчи.

Читатель увидитъ далѣе степени, по которымъ шло религіозное настроеніе духа въ Станкевичѣ: первоначальный корень религіозныхъ убѣжденій не изсыхалъ отъ многоразличныхъ вѣтвей, пущенныхъ имъ въ послѣдствіи, и никогда не терялъ производительной силы вообще. Ограничимся здѣсь упоминаніемъ о той потребности симпатіи, которая доказываетъ раннюю полноту чувствъ и которая пришла къ Станкевичу еще въ дѣтствѣ. До самаго отъѣзда своего за границу, въ 1837 году, онъ сберегалъ въ бумагахъ своихъ цвѣтокъ, нарисованный нетвердою женскою рукой, съ подписью: «К. . . . » Живописецъ была дѣвочка, съ которою Станкевичъ танцовалъ на такъ-называемыхъ актахъ пансіона и которую встрѣчалъ въ женскомъ

учебномъ заведеніи Воронежа, посѣщая сестру свою, которая тамъ воспитывалась. Дѣтская привязанность эта была однако же такого свойства, что глубоко врѣзалась въ душу обоихъ и съ трудомъ поддавалась уничтожающему дѣйствію времени. Еще въ 1834 году, наканунѣ Свѣтлаго Праздника, Станкевичъ вспоминалъ объ этой привязанности, какъ о самомъ чистомъ и дорогомъ подаркѣ своей первой молодости. И теперь въ глуши степной деревни, можетъ-быть, есть женское существо, съ умиленіемъ обращающее мысль къ той порѣ первыхъ волненій чувства. . . . Поэтическій элементъ, вложенный природою въ душу Станкевича, бросалъ его отъ стихотворства къ музыкѣ, отъ музыки къ театру и отъ театра въ лѣсъ, къ охотѣ. Станкевичъ учился играть на фортепьяно сперва въ Воронежѣ, а потомъ въ Москвѣ у извѣстнаго въ свое время преподавателя музыки и композитора Гебеля. Мы убѣждены, что одно изъ проявленій этого дѣятельнаго элемента, стихотворство, сблизило Станкевича съ Кольцовымъ. Кольцовъ бралъ книги изъ единственной тогда въ Воронежѣ библіотеки, куда часто заходилъ и Станкевичъ; да по разнообразнымъ перекупкамъ и поставкамъ своей фамиліи Кольцовъ бывалъ и въ пансіонѣ. Не надо обладать большою долей фантазіи для предположенія, что ихъ связала тайная страсть къ стихотворству, взаимно открытая другъ у друга

По преимуществамъ образованія, Станкевичъ сдѣлался покровителемъ поэта-торговца, указывалъ ему книги для прочтенія, и нѣсколько позднѣе, уже будучи въ Москвѣ, ввелъ въ кругъ литераторовъ, а наконецъ въ 1835 году издалъ книжку его стихотвореній, на деньги, собранныя общею подпиской знакомыхъ и пріятелей въ одинъ вечеръ. Въ отношеніи къ таланту между ними, конечно, была значительная разница. Кольцовъ обладалъ даромъ чувствовать въ себѣ и русскую природу, и русскую жизнь, и можетъ-быть еще важнѣйшимъ даромъ — находить образы и звуки для цѣльнаго выраженія ихъ. Поэтическій элементъ у Станкевича былъ слишкомъ общъ, безразличенъ, философствующаго характера, и, въ добавокъ, еще не обрѣталъ настоящаго выраженія, истинной формы. Покуда первый распространялъ по лицу Россіи свою неодолимо-увлекательную пѣснь, второй отказывался (въ 1835 году) отъ поэтической производительности, понявъ въ себѣ отсутствіе средствъ, требуемыхъ ею; но поэтическій элементъ отъ этого не былъ потерянъ. Онъ сосредоточился, смѣемъ такъ выразиться, внутри его души, проникъ въ характеръ его, освѣтилъ его мысли, побужденія, инстинкты, опредѣлилъ самые поступки его и даже внѣшнюю форму ихъ: Станкевичъ, благодаря ему, обратился самъ въ полное поэтическое существо, какимъ его видѣли и знали еще многіе живущіе люди,

свидѣтельство которыхъ мы только повторяемъ здѣсь.

Пансіонскій курсъ былъ однакоже конченъ, и въ 1830 году Станкевичъ переѣхалъ въ Москву, въ домъ и семейство извѣстнаго профессора Михаила Григорьевича Павлова, откуда и держалъ экзаменъ на поступленіе въ университетъ. М. Г. Павловъ, который тогда еще не содержалъ пансіона, столь извѣстнаго потомъ всей Москвѣ, и къ которому Станкевичъ былъ рекомендованъ бывшимъ своимъ наставникомъ, П. К. Ѳедоровымъ, имѣлъ большую долю вліянія на направленіе и развитіе Станкевича. Выдержавъ экзаменъ и поступивъ въ словесное (какъ тогда называлось) отдѣленіе университета, Станкевичъ продолжалъ жить у профессора, пользуясь небольшою комнатой въ его домѣ и общимъ столомъ съ его семействомъ. Все это устройство было нарушено появленіемъ холеры въ Москвѣ въ 1830 году. Университетъ былъ на время закрытъ, студенты распущены по домамъ, исключая тѣхъ, которые приняли дѣятельное участіе въ мѣрахъ для прекращенія болѣзни, и только въ январѣ 1831 года возобновились лекціи; въ октябрѣ 1831 листокъ «Молвы» (№ 40, 1831) извѣщалъ объ открытіи пансіона М. Г. Павлова на основаніяхъ строго обдуманной системы воспитанія. Обладавшій многостороннимъ знаніемъ, профессоръ уже былъ опытенъ въ этомъ дѣлѣ; онъ нѣсколько

лѣтъ сряду имѣлъ подъ надзоромъ своимъ «Благородный пансіонъ», учрежденный при Московскомъ университетѣ. Объ экзаменахъ въ его новомъ и скоро-прославившемся учебномъ заведеніи, Сергѣй Тимоѳеевичъ Аксаковъ присылалъ нѣсколько разъ въ редакцію «Молвы» самые лестные отзывы. Станкевичъ продолжалъ почти до конца курса жить въ домѣ Павлова и состоять подъ его нравственнымъ вліяніемъ.

Первые два года пребыванія Станкевича въ Москвѣ (1830 — 1831) можно отмѣтить только однимъ обстоятельствомъ: Станкевичъ основательно выучился по-нѣмецки и коротко ознакомился съ поэтами Германіи. Обстоятельство, какъ увидимъ сейчасъ, не маловажное по своимъ послѣдствіямъ. Съ какою жаждою припалъ онъ къ этому источнику высокихъ впечатлѣній, свидѣтельствуетъ его переписка; онъ не отходилъ отъ него, если можно такъ выразиться, и образы, созданные великими и даже второстепенными пѣвцами Германіи, носилъ съ собою на лекціи университета, на дружескія бесѣды и въ шумъ свѣта, который начиналъ привлекать его. Уже на второмъ университетскомъ курсѣ мысль юнаго Станкевича была въ полной зависимости отъ всѣхъ тѣхъ людей, которые и у себя въ отечествѣ подчинили умы и стремленія цѣлаго поколѣнія. Отсюда раждается особенный взглядъ на окружающій міръ: Станкевичъ судилъ его съ вы-

соты поэтическаго представленія любимыхъ своихъ творцовъ; отсюда также вытекало и строгое пониманіе жизненной цѣли: онъ раздѣлялъ съ образцами своими благоговѣйное уваженіе къ достоинству человѣка и его призванію. Для Станкевича нѣмецкая поэзія не была только родникомъ эстетическихъ впечатлѣній; она сдѣлалась, вмѣстѣ съ тѣмъ, мѣриломъ, на которое прикидывалъ онъ всю жизнь и собственное свое нравственное достоинство. Онъ по ней выучился распознавать признаки ничтожества и смерти въ явленіяхъ, принимаемыхъ за существенное и необходимое условіе жизни; онъ по ней выучился требовать отъ себя моральнаго усовершенствованія. Теперь трудно и повѣрить, сколько обновляющихъ и исправительныхъ началъ принесла нѣмецкая поэзія молодымъ людямъ 30-хъ годовъ, когда открылось у насъ дѣятельное сближеніе съ нею. Мечты юности были здѣсь воспитателями сердца и души; любой поэтическій образъ— нравственнымъ представленіемъ; вдохновенный афоризмъ—обязательнымъ правиломъ для жизни. Пламенный стихъ Шиллера или Гёте хранился какъ оружіе на борьбу съ своими и чужими эгоистическими страстями и передавался такъ другимъ. Поэма, романъ, трагедія и лирическое произведеніе служили кодексами для разумнаго устройства своего внутренняго міра. Безъ преувеличенія можно сказать въ отношеніи къ Станкевичу и его кругу,

что поэзія сдѣлалась учительницей ихъ, тѣмъ, чѣмъ она была съ перваго появленія своего на свѣтъ.

Но этимъ еще не ограничивалось вліяніе нѣмецкой поэтической литературы: она расширила также пониманіе Станкевича и возбудила къ дѣятельности всѣ умственныя его силы. Въ произведеніяхъ этой литературы свободная фантазія пѣвца безпрестанно касается философскихъ положеній, часто даже и зараждается она въ области чистой мысли. Иногда также, по требованіямъ своей природы, она уступаетъ дорогу мысли, и подъ конецъ въ ней пропадаетъ, какъ песчинка въ полномъ блескѣ солнца. Легко представить себѣ, какъ должны были дѣйствовать на молодой, пытливый умъ безпрестанные намеки поэзіи, которую онъ изучалъ съ такою жадностію, и какъ пораженъ былъ онъ особеннымъ родомъ величія, заимствуемаго ею отъ непосредственнаго соучастія мысли. По мѣрѣ чтенія, которое все болѣе и болѣе расширялось, Станкевичъ начиналъ предчувствовать существованіе одного общаго настроенія въ литературныхъ дѣятеляхъ Германіи и одного великаго элемента въ ихъ произведеніяхъ, пробѣгающаго невидимою, живительною струей по всей области творчества. Переписка Станкевича отражаетъ ту мучительную работу исканія связи между наиболѣе яркими, наиболѣе потрясающими мыслями нѣмецкой поэзіи,—

работу, которая началась для него со студенческой скамьи. Прибавимъ, что ею же были заняты многіе изъ его товарищей-сверстниковъ. Чѣмъ смѣлѣе выдавалась мысль изъ среды поэтическаго образа, тѣмъ напряженнѣе становились усилія отыскать ея полное значеніе и возвести до общаго положенія, которое могло бы сдѣлать ее независимою пояснительницей всѣхъ случаевъ жизни. Попытки эти обыкновенно выражались лирическимъ языкомъ, исполненнымъ страстнаго увлеченія, и много было еще въ нихъ неопредѣленнаго, смутнаго и произвольнаго, какъ легко можно убѣдиться изъ образцовъ, находящихся въ перепискѣ, но это былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и ранній искусъ въ философскомъ мышленіи. Поэтическое слово родины Шиллера и Гёте, возвысивъ нравственныя требованія, наполнило самый умъ молодыхъ людей множествомъ вопросовъ, привело его въ неизъяснимое напряженіе и въ глубинѣ ихъ сознанія зажгло первый слабый свѣточъ, который долженъ былъ отъ размышленія, чтенія и науки развиться въ послѣдствіи до силы и степени вѣрнаго нравственнаго свѣтила.

Мы не ошибаемся и не преувеличиваемъ, приписывая такъ много въ начальномъ образованіи Станкевича дѣйствію нѣмецкой поэзіи и литературы. Впечатлѣнія, испытанныя имъ тогда, были ему общи со многими изъ его друзей; воспоми

нанія послѣднихъ служили намъ свидѣтельствомъ и указаніемъ того, что̀ онъ самъ переживалъ въ первые годы своей студенческой эпохи. Еще многіе помнятъ ту почти непрерывную цѣпь эстетическихъ потрясеній, которыя почерпалъ кругъ Станкевича ежечасно изъ свойствъ и сущности германскаго міросозерцанія, отражаемаго литературой народа. Общій характеръ, лежащій въ основаніи нѣмецкой поэзіи, постоянно держалъ людей этихъ среди одухотворенной, проясненной и возвеличенной имъ природы. Вмѣсто одной скромной студенческой жизни своей, они окружены были тысячью жизней, движеніемъ, такъ-сказать, многоразличныхъ существованій, кажущихся мертвыми и бездушными простому глазу. Они присутствовали при обаятельномъ зрѣлищѣ, смыслъ и происхожденіе котораго еще не вполнѣ уразумѣвали, но время пониманія было уже не далеко. Наслаждаться безъ изслѣдованія, безъ вопроса о причинѣ наслажденія, они уже не могли, даже по глубинѣ и силѣ полученныхъ впечатлѣній. Надобно было имѣть много старческой наклонности къ бездушному сибаритизму, чтобы въ виду обильнаго, почти неистощимаго творчества Германіи, не спросить ничего о силѣ, раждающей его, довольствуясь только одною удовлетворенною потребностію наслажденія. Какъ ни великолѣпно было еще зрѣлище само по себѣ, но остановиться на одной

внѣшней красотѣ его, на богатствѣ, пышности и разнообразіи его явленій — не представлялось возможности. Эстетическое наслажденіе *обязываетъ*, какъ и всякое другое. Да еслибы и можно было подозрѣвать у молодаго, свѣтлаго и неиспорченнаго чувства нѣчто подобное эгоистическому исканію однихъ раздражительныхъ впечатлѣній, то сущность нѣмецкой поэзіи возвратила бы его къ болѣе строгому и серіозному направленію. Весь необъятный хороводъ жизни, представляемый ею, все-таки зараждался въ человѣкѣ, и первый аккордъ, дававшій ему сигналъ, выходитъ изъ души человѣческой. Въ какой бы неизмѣримый кругъ потомъ ни развился онъ на глазахъ зрителя, какую бы огромную часть міра ни захватилъ въ своемъ развитіи, онъ неизбѣжно возвращался къ своему источнику, къ человѣку, и пропадалъ въ душѣ его, составляя, такимъ образомъ, одну изъ принадлежностей ея, одну изъ безчисленныхъ ея сторонъ. Единство поэзіи и философскаго воззрѣнія, свойственнаго народу, или послѣдовательно выработаннаго имъ, выражалось очевидно. Много однако жь протекло времени для Станкевича въ одномъ предчувствіи этой родственной связи поэзіи и философіи Германіи, но онъ наконецъ пришелъ путемъ искусства къ вопросу: «въ чемъ же состоитъ само ученіе, раждающее созданія такой глубины и такого могущества?»

Въ этомъ вопросѣ заключалось все будущее развитіе Станкевича; вопросъ установилъ его наклонности и стремленія и ввелъ его въ германскую науку философіи, которой Станкевичъ уже не измѣнялъ до конца жизни. Разумѣется, что съ той поры, какъ представилось ему необходимость изученія системы, или системъ, опредѣлившихъ поэтическое настроеніе Нѣмцевъ, кончилось отрочество его. Онъ вступалъ въ юношескій возрастъ, принося съ собой страстную жажду познанія и твердо вѣруя въ возможность безусловной полноты его.

---

§ III.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ.

Давно было сказано, что цѣль всякаго университетскаго преподаванія не есть созданіе ученыхъ людей, а только возможно полное сообщеніе средствъ высшаго образованія, конечно вмѣстѣ съ необходимымъ нравственнымъ направленіемъ. Это арсеналъ, гдѣ всякій вооружается по силамъ; но употребленіе оружія и вся добыча, какая имъ можетъ быть пріобрѣтена, оставляются усиліямъ человѣка, поглощающимъ, какъ извѣстно, иногда

цѣлую жизнь его. Надо сказать, что Московскій университетъ 1831—1833 годовъ еще далеко отстоялъ отъ послѣдующаго своего развитія, когда благодѣтельная мѣра, принятая въ 1828 году (посылка молодыхъ русскихъ ученыхъ за границу для образованія себя къ профессорскому званію), стала приносить первые свои плоды. Впрочемъ не мѣшаетъ замѣтить, что университетъ, во всемъ своемъ составѣ, и особенно въ студенческой части, какъ будто предчувствовалъ эпоху обновленія, совершившуюся между 1833—35 годами, по мысли просвѣщеннаго министра и глубоко-патріотическаго попечителя московскаго учебнаго округа, графовъ: С. С. Уварова и С. Г. Строгонова. Съ 1831 оказываются въ учащихся признаки пробужденія высшихъ интересовъ и новой жизни. Правда, поколѣніе буйныхъ студентовъ вмѣстѣ съ поколѣніемъ преподавателей, занимавшихся построеніемъ *хріекъ* и каждогоднымъ повтореніемъ одной отсталой теоріи, еще не совсѣмъ миновало, но уже не ему принадлежитъ большинство. Въ противоположность малочисленному кругу слушателей, одушевленныхъ одною мыслію — высидѣть себѣ, такъ или иначе, аттестатъ и степень, образуется другой кругъ, проникнутый любовью и уваженіемъ къ самому познанію. Не довольствуясь однимъ формальнымъ исполненіемъ своихъ обязанностей, онъ поставляетъ себѣ задачей — дополненіе офиціаль-

наго преподаванія, бодро продолжая развитіе основаній, полученныхъ съ каѳедры и вводя въ сферу своихъ занятій предметы, еще не тронутые въ аудиторіи. Вѣра въ науку, тоска по ней и молодое предчувствіе истины помогали тутъ неопытности. Въ извѣстные года и въ извѣстныхъ обстоятельствахъ, люди, при возбужденной страсти къ познанію, столько же учатся другъ отъ друга, сколько и отъ учителя. Тогда-то образуется особенный родъ взаимнаго и весьма широкаго воспитанія, гдѣ одушевленная передача открытій, сдѣланныхъ однимъ, толки о результатахъ, къ которымъ пришелъ другой, открываютъ новые пути и новыя соображенія для всѣхъ. Правда, при такомъ общемъ трудѣ, систематическое образованіе проигрываетъ именно на столько, на сколько выигрываютъ и изощряются личныя способности каждаго къ занятіямъ, къ догадкѣ и къ обсужденію предмета; но не надо забывать, что тутъ не могло быть выбора. Этимъ бодрымъ характеромъ, идущимъ на встрѣчу всѣхъ вопросовъ и отыскивающимъ ихъ вездѣ, гдѣ есть случай, отличался именно кругъ Станкевича въ студенческую эпоху 1832—1834 годовъ. Онъ отражается и въ его перепискѣ.

Мы весьма далеки отъ намѣренія писать исторію университета, по поводу одного изъ его многочисленныхъ воспитанниковъ, но не можемъ не

сказать, что въ словесномъ отдѣленіи его, куда поступилъ Станкевичъ съ самаго начала, находились еще люди, поддерживавшіе достоинство своихъ каѳедръ съ честію. Таковъ былъ М. Т. Каченовскій, преподававшій въ словесномъ отдѣленіи русскую исторію (1832 по 1834), М. П. Погодинъ, читавшій тамъ же всеобщую исторію (съ 1833 года), С. П. Шевыревъ, открывшій въ 1834 лекціи исторіи поэзіи и русской словесности и т. д. Каждый изъ нихъ или опирался на мысль для защиты своего ученія, или вводилъ ее какъ дополненіе къ сообщаемымъ свѣдѣніямъ, или даже какъ окраску данныхъ въ извѣстный цвѣтъ. Но мысль, какого бы свойства она ни была, составляетъ именно ту приправу, которой особенно ищетъ пытливый умъ молодости и съ помощью которой онъ легко обращаетъ въ свое достояніе многочисленные и разнообразные факты. Особенно это было вѣрно по отношенію къ свѣжему, бодрому кругу юношей, образовавшемуся въ средѣ словеснаго отдѣленія университета. Вотъ почему люди, перечисленные нами, имѣли въ ту эпоху свою долю вліянія, и вліянія весьма сильнаго на умы слушателей, что̀ также, вмѣстѣ со многими другими подробностями студенческой жизни, отражается въ перепискѣ Станкевича.

Но мы знаемъ, что у Станкевича, кромѣ общихъ вопросовъ науки, были еще свои тайные

любимые вопросы эстетическаго рода, разрѣшенія которыхъ онъ искалъ всѣми силами и гдѣ только могъ. Первый человѣкъ, прямо отвѣтившій на нихъ, былъ Н. И. Надеждинъ, которому поэтому и принадлежитъ весьма значительная роль въ первоначальномъ развитіи Станкевича. Въ 1832 году Н. И. Надеждинъ, тогда еще молодой профессоръ, открылъ свои лекціи въ университетѣ теоріей изящныхъ искусствъ, въ 1833 перешелъ къ исторіи искусствъ, излагаемой по памятникамъ, а въ 1834 году окончилъ логикой, почувствовавъ, по собственному сознанію, невозможность правильнаго изложенія законовъ искусства, безъ предварительнаго ознакомленія слушателей съ законами самой мысли. Обширная начитанность профессора и замѣчательный даръ краснорѣчія дѣлали его почти неистощимымъ. Онъ проводилъ со своими слушателями вмѣсто одного часа, положеннаго для каждой лекціи, часа по два, и долго еще послѣ обычнаго звонка текла его умная и плодовитая рѣчь, никогда не утомлявшая аудиторіи. Вообще онъ имѣлъ сходство съ преподавателями извѣстнаго парижскаго Collége de France (французской коллегіи), гдѣ преимущественно царствуетъ импровизація и нѣкоторый дилеттантизмъ, допускаемые какъ противодѣйствіе строгости и сухости Сорбоннскаго преподаванія. Къ сожалѣнію, намъ ничего не осталось отъ его курса. Но здѣсь Стан-

кевичъ впервые встрѣтился съ отголоскомъ Шеллингова ученія о высшей психической способности, сознающей въ себѣ единство съ общимъ міровымъ разумомъ и открывающей степени проявленія его въ природѣ и искусствѣ.

Намъ извѣстно изъ воспоминаній тогдашнихъ воспитанниковъ университета, что студенты словеснаго отдѣленія двухъ курсовъ 1833 и 1834 годовъ, слушали лекціи всѣ вмѣстѣ, въ одной обширной залѣ. Лекціи смѣняли одна другую безъ всякаго промежутка, что продолжалось иногда часовъ по шести сряду. Вниманіе слушателей естественно было утомлено, но никогда не измѣняло Надеждину, какъ только наступала его очередь. Онъ могъ даже насиловать вниманіе своихъ слушателей, какъ мы видѣли. Очень натурально также, что это долгое пребываніе студентовъ вмѣстѣ, и на одномъ мѣстѣ, давало пищу и просторъ наблюдательности, остроумію, а иногда и забавнымъ выходкамъ, служившимъ какъ бы разсѣяніемъ для этого многочисленнаго собранія молодыхъ людей. Случалось притомъ, и довольно часто, что значительная часть аудиторіи словеснаго отдѣленія спускалась однимъ этажемъ ниже, въ скромную залу физико-математическаго, и наполняла ее биткомъ. Это было при лекціяхъ М. Г. Павлова, читавшаго сперва физику, потомъ теорію сельскаго хозяйства, и въ обоихъ случаяхъ распространяв-

шаго границы своихъ предметовъ до включенія въ нихъ цѣлаго философскаго созерцанія. Здѣсь однакожь мы имѣемъ свидѣтельство о сущности преподаванія, благодаря книгѣ, изданной профессоромъ въ 1833 году, «Основаніе Физики» (Москва): хотя учебная книга, въ обязанность которой вмѣняется сжатость и строгая система, разумѣется, не можетъ передать всѣхъ развитій и поясненій, къ какимъ способно вообще живое слово человѣка. Конецъ первой ея части съ заглавіемъ: «О веществѣ» и преимущественно глава II: «Вещество само въ себѣ» (стр. 281—302), заключаютъ космогоническую теорію, основанную на гипотезѣ чисто философскаго свойства и развитую съ замѣчательною послѣдовательностію, съ высокимъ діалектическимъ талантомъ. Гипотеза вытекаетъ изъ философскаго положенія о сходствѣ или тождествѣ безграничной свободы съ хаосомъ, небытіемъ, — этомъ тождествѣ, которое было разорвано благимъ, всемогущимъ: «да будетъ». Отвлеченное понятіе, силлогизмы и посылки котораго образуются изъ силъ и стихій природы, преобладаетъ надъ всею теоріею, а объясненіе самаго вещества, какъ взаимнаго дѣйствія свѣта и тяжести, тоже превращенныхъ въ понятія, ясно указываютъ профессору мѣсто между европейскими «Natur-Philosophen» — философами природы, которыхъ породила система молодости Шеллинга.

Такимъ образомъ Станкевичъ имѣлъ уже намекъ на значеніе искусства какъ части общей, міровой жизни; теперь онъ получилъ понятіе и о блестящей роли, какую современное ему философское ученіе предоставляло природѣ въ царствѣ духа или идеи, что̀ было все равно.

Прежде сказали мы, что Станкевичъ жилъ въ квартирѣ Павлова, часто раздѣляя съ нимъ скромную трапезу; онъ не рѣдко имѣлъ случай бесѣдовать у него и съ Надеждинымъ; но сколько послѣдній былъ сообщителенъ и готовъ на отвѣтъ при всякомъ запросѣ, столько первый не любилъ дѣлиться своею мыслію и сообщалъ ее только въ ученой формѣ лекціи, хотя оба сходились по разнымъ путямъ къ одному воззрѣнію. Павловъ не охотно отвѣчалъ на пытливые распросы Станкевича и старался скорѣе уклониться отъ нихъ, чѣмъ дать имъ посильное удовлетвореніе. Станкевичъ, какъ и всѣ другіе, долженъ былъ ограничиться его преподаваніемъ и объясненіемъ прочитаннаго; но первый толчекъ молодому соображенію былъ уже данъ, любознательность возбуждена, и весьма скоро Станкевичъ добрался до самыхъ источниковъ, откуда истекли слова, поразившія его воображеніе у обоихъ профессоровъ.

Передъ Станкевичемъ открылся *новый міръ*, и, конечно, выраженіе это не покажется преувеличеннымъ, если вспомнимъ, изъ какого ряда идей

и смутныхъ представленій выходилъ Станкевичъ на къ свѣтъ ученію знаменитаго германскаго философа. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ познакомился съ нимъ еще весьма поверхностно и по большей части не въ самомъ источникѣ, а въ толкахъ объ немъ, изъ вторыхъ и третьихъ рукъ; но какъ бы ни было получено понятіе, оно измѣняло все существованіе Станкевича. Какимъ-то торжествомъ, свѣтлымъ, радостнымъ чувствомъ исполнилась жизнь, когда указана была возможность объяснить явленія природы тѣми же самыми законами, какимъ подчиняется духъ человѣческій въ своемъ развитіи, закрыть, повидимому навсегда, пропасть, раздѣляющую два міра, и сдѣлать изъ нихъ единый сосудъ для вмѣщенія вѣчной идеи и вѣчнаго разума. Съ какою юношеской и благородною гордостію понималась тогда часть, предоставленная человѣку въ этой всемірной жизни! По свойству и праву мышленія онъ переносилъ видимую природу въ самаго себя, разбиралъ ее въ нѣдрахъ собственнаго сознанія, словомъ, становился ея центромъ, судьею и объяснителемъ. Природа была поглощена имъ и въ немъ же воскресала для новаго, разумнаго и одухотвореннаго существованія. Какъ удовлетворялось высокое нравственное чувство сознаніемъ, что право на такую роль во вселенной не давалось человѣку по наслѣдству, какъ имѣніе, утвержденное давнимъ владѣніемъ! Чѣмъ свѣтлѣе отражался въ

немъ самомъ вѣчный духъ, всеобщая идея, тѣмъ полнѣе понималъ онъ ея присутствіе во всѣхъ другихъ сферахъ жизни. На концѣ всего воззрѣнія стояли нравственныя обязанности, и одна изъ необходимѣйшихъ обязанностей — высвобождать въ себѣ самомъ божественную часть міровой идеи отъ всего случайнаго, нечистаго и ложнаго, для того, чтобъ имѣть право на блаженство дѣйствительнаго, разумнаго существованія.

Не далѣе 1834 года, человѣкъ, понимавшій философскія ученія преимущественно съ ихъ моральной стороны, В. Г. Бѣлинскій, выразилъ воззрѣніе всего круга Станкевича въ статьѣ, оставившей по себѣ сильное впечатлѣніе. Она была напечатана въ Молвѣ въ 1834 году (съ № 38 по № 52) подъ заглавіемъ: «Литературныя мечтанія. Элегія въ прозѣ». Пусть читатель обратитъ вниманіе на начало этой статьи, гдѣ весь міръ, а стало-быть и искусство, опредѣляются какъ отраженіе одной безконечной идеи, равно живущей и въ бѣгѣ кометы, и въ слезѣ ребенка, и въ произведеніи художника; пусть прочтетъ онъ нравственныя требованія критика, изложенныя въ яркомъ описаніи двухъ дорогъ, свѣтлой и позорной, и различныхъ цѣлей, къ которымъ онѣ приводятъ; пусть остановится онъ на опредѣленіи способовъ соединенія съ безконечною идеей посредствомъ отреченія отъ своего *я*, борьбы со всѣмъ, что за-

темняетъ ликъ идеи и неограниченной любви... Тутъ высказана сущность убѣжденій, царствовавшихъ въ кругѣ Станкевича, и высказана съ тою твердой постановкой правилъ, которая отличала всегда автора статьи. Не вдаваясь въ разборъ критической ея части, можно сказать, что изъ воззрѣнія, общаго автору со Станкевичемъ, родились всѣ ея строгія нравственныя требованія отъ литературныхъ дѣятелей, развитыя еще болѣе въ послѣдствіи. Она составляетъ въ нашей исторіи словесности грань, съ которой начинается разборъ и оцѣнка *направленій* и возникаетъ побужденіе смотрѣть на произведенія искусства, какъ на провозвѣстниковъ высшаго нравственнаго порядка [1]).

Еще многіе помнятъ, какъ Станкевичъ, въ эту эпоху своего развитія, суетливо отыскивалъ книги философскаго содержанія, старался учредить порядокъ въ чтеніи и обращался за совѣтами къ опытнымъ людямъ, знакомымъ съ историческимъ ходомъ германскаго мышленія. Все это было, конечно, необходимо для уясненія теоріи, открывшей съ перваго раза далекія перспективы во всѣ стороны,

---

[1]) Ученіе, занявшее весь умъ Станкевича и оковавшее самую совѣсть его, сообщено имъ было многимъ изъ своихъ друзей, какъ напримѣръ Кольцову, который посвятилъ этому предмету одну изъ своихъ думъ. Самъ Станкевичъ произвелъ стихотвореніе, навѣянное тѣмъ же кругомъ идей. Оно относится къ 1833 году, и мы приво-

но неизслѣдованной въ самомъ механизмѣ ея. Онъ судилъ о дѣятелѣ по великолѣпію его произведеній, но самого дѣятеля еще не зналъ. Было, однакожь, и другое побужденіе къ страстному, неутомимому изученію философскихъ истинъ, кромѣ того рода наслажденія и поученія, которыя въ нихъ почерпаются. Станкевичъ искалъ еще въ философіи опоры своему живому религіозному чувству. Несмотря на отвѣты, уже полученные въ теоріи

димъ его здѣсь, какъ поясненіе тогдашнихъ его мыслей и представленій:

«Подвигъ жизни».

Когда любовь и жажда знаній
Еще горятъ въ душѣ твоей,
Бѣги отъ суетныхъ желаній,
Отъ убивающихъ людей.

Себѣ всегда предъ всѣми вѣренъ,
Иди, люби и не страшись!
Пускай твой путь земной измѣренъ —
Съ *непогибающимъ* дружись!

Пускай гоненье свѣта взыдетъ
Звѣздой злосчастья надъ тобой,
И міръ тебя возненавидитъ:
Отринь, попри его стопой!

Онъ для тебя погибнетъ дольный,
Но спасена душа твоя!
Ты притечешь самодовольный
Къ предѣламъ страшнымъ бытія.

Тогда свершится подвигъ трудный:
Перешагнешь предѣлъ земной —
И станешь жизнію повсюдной —
И все наполнится тобой.

и способные удовлетворить требованіямъ поэтически-настроеннаго сердца, онъ еще думалъ обрѣсть въ ней полный миръ и спокойствіе совѣсти, вмѣстѣ съ полнымъ познаніемъ. Тогда же набросалъ онъ статью: «Моя Метафизика», гдѣ вводилъ въ положенія любимаго своего ученія — особенное понятіе: «*чувство всеобщей идеи*», и посредствомъ его старался узаконить всѣ надежды сердца, которыми такъ дорожилъ, стремленія, предчувствія и радости его. Надо сказать, что это настроеніе, жаждавшее утвердить на мысли и разумѣ всѣ самыя тонкія психическія ощущенія человѣка, было у Станкевича въ ту пору общее со всѣми членами его круга, безъ исключенія. Когда, въ 1835 году, вошелъ въ этотъ кругъ человѣкъ, надѣленный въ высшей степени способностями къ философскимъ занятіямъ, то стремленіе это получило еще большее развитіе.

Что̀ касается до Станкевича, то можно сказать съ достовѣрностію о всегдашнемъ присутствіи этой двойной цѣли во всѣхъ его изысканіяхъ. Почувствовавъ вскорѣ недостатокъ свѣдѣній о самыхъ законахъ, какимъ слѣдуетъ мыслящая способность человѣка, онъ обратился къ Канту, и въ томъ, что̀ знаменитый философъ относитъ къ практической философіи, видѣлъ оправданіе и узаконеніе всѣхъ порывовъ и стремленій сердца, которые такъ знакомы были молодому изслѣдователю. Когда на-

ступила очередь Фихте, Станкевичъ, какъ увидимъ далѣе, въ самомъ ученіи о *чистомъ мышленіи*, принятомъ за единую достовѣрную истину и за единую сущность міра, подозрѣвалъ черты, способныя отвѣчать требованіямъ его духовной и поэтической природы. Даже гораздо позднѣе, когда въ 1838 — 39 годахъ, находясь въ Берлинѣ, Станкевичъ приступилъ, подъ руководствомъ извѣстнаго Вердера, къ изученію логики Гегеля, которая заявила намѣреніе установить непреложную форму для разума и вмѣстѣ съ тѣмъ показать непреложное содержаніе, живущее въ этой формѣ, даже и тогда не покидало его тайное стремленіе, сопровождавшее весь философскій путь его съ самаго начала. Объ участи этихъ юношески-теплыхъ и благородныхъ ожиданій и надеждъ, мы еще будемъ говорить, а теперь замѣтимъ, что искра, зароненная соображеніями чисто эстетическаго свойства, разгорѣлась, какъ видимъ, до поглощенія въ неусыпномъ изслѣдованіи цѣлаго и существеннѣйшаго періода нѣмецкой философіи.

Изъ всего сказаннаго легко угадать, что строгость жизненной задачи, такъ рано понятой, и высота нравственныхъ требованій должны были, еще въ студенческую эпоху жизни, положить особенную печать на самаго Станкевича и сообщить физіономіи его мыслящее и поэтическое выраженіе. Такъ дѣйствительно и было.

Въ перепискѣ Станкевича нѣсколько разъ встрѣчается завѣреніе, что онъ живетъ для дружбы и искусства, и не видитъ возможности какой-либо другой жизни для себя. Подъ именемъ дружбы слѣдуетъ понимать у него, какъ онъ самъ потрудился объяснить, столько же чувство привязанности къ людямъ, надѣленнымъ высокими душевными качествами и привлекательнымъ по характеру, сколько и вообще чувство, жаждущее симпатіи и ласковаго участія. Потребность передать другому все богаство собственнаго сердца, всю собственную способность къ любви и доброжелательству, — не оставляла его никогда. Часто и часто ожидаетъ онъ въ это время появленія незнакомаго существа, которое отгадаетъ присутствіе этого обильнаго источника симпатіи и придетъ утолить въ немъ потребность взаимности и счастія. Часто также, не находя вокругъ себя ни малѣйшихъ слѣдовъ, возвѣщающихъ приближеніе подобнаго существа, онъ обращается съ тоской и жалобой къ своей участи и считаетъ себя недостойнымъ принять дорогаго гостя. Онъ думаетъ, что судьба недаромъ отказываетъ ему въ этомъ благѣ.... Въ одномъ письмѣ онъ чрезвычайно добродушно сознается, что съ самаго дѣтства, каждый разъ, какъ ему случалось ѣхать на балъ или въ собраніе, онъ ожидалъ какой-нибудь важной катастрофы въ жизни, всего болѣе случайной встрѣ-

чи съ существомъ, которое наполнитъ собою всю душу его. Иногда, по извѣстному обману чувства, онъ насильно создаетъ себѣ желанный образъ, навязываетъ на человѣка роль, не совсѣмъ сходную съ его характеромъ, и въ жаркомъ диѳирамбѣ изливаетъ передъ созданіемъ собственной фантазіи излишекъ ощущеній, которымъ было исполнено его необычайно любящее, нѣжное и благородное сердце. Нѣкоторыя изъ знакомыхъ ему женщинъ, угадывая инстинктомъ своего пола одну сторону въ характерѣ Станкевича, называли его *небеснымъ*. Онъ смѣялся безпощадно надъ прозвищимъ, которое могло бы быть даже оскорбительно, еслибы не было крайне добродушно. Подвиги жизни, труды и наслажденія ея, Станкевичъ считалъ настоящимъ удѣломъ, земною долей человѣка, а тайную игру его страстей и ощущеній — только скрытнымъ дѣятелемъ, который сообщаетъ цвѣтъ и форму его явному, земному существованію. Этимъ умѣрялъ онъ и въ самомъ себѣ расположеніе къ мечтальному представленію жизни.

О важнѣйшихъ лицахъ, составлявшихъ кругъ Станкевича, мы упомянемъ далѣе съ нѣкоторою подробностію, а теперь рѣшаемся представить общую характеристику его знакомыхъ и пріятелей, сохраняя то разнообразіе, какое отличало ихъ самихъ относительно понятій и нравственныхъ требо-

Здѣсь, съ самаго начала останавливаютъ насъ слова, сказанныя Станкевичемъ по поводу одного изъ университетскихъ товарищей, направленіе котораго въ послѣдствіи заслужило осужденіе прежде бывшихъ его друзей: «Холодный человѣкъ не можетъ быть хорошимъ человѣкомъ; холодный человѣкъ долженъ быть стоикъ: иначе онъ будетъ подлецъ.» Въ этихъ словахъ заключается настоящее опредѣленіе характера, господствовавшаго въ кругѣ Станкевича. Надо однакожь сказать, что основная мысль круга, центромъ котораго былъ Станкевичъ, росла вмѣстѣ съ личнымъ развитіемъ послѣдняго и вмѣстѣ съ жизнію, до тѣхъ поръ, какъ достигла полнаго разумнаго выраженія. Чувство, соединявшее разнородныя личности между собою, подъ конецъ уже имѣло исходнымъ пунктомъ своимъ единство стремленій къ нравственнымъ цѣлямъ, одушевленіе къ истинѣ и добру и общее исканіе путей къ нимъ. Особенно это послѣднее качество составило важное отличіе круга въ послѣдній періодъ его развитія отъ того времени, когда Станкевичъ собиралъ за чаемъ, въ маленькой своей комнатѣ, въ нижнемъ этажѣ дома, занимаемаго пансіономъ Павлова, своихъ товарищей по университету, и вечера летѣли въ предчувствіи явленій, какими исполнена еще незнакомая, вдали свѣтлѣвшая жизнь, въ разказахъ о попыткахъ открыть ту или другую сторону ея, въ фанта-

стическихъ представленіяхъ ея принадлежностей и въ наслажденіи другъ другомъ, не разбирая хорошенько нравственной сущности, какая заключена была въ каждомъ. Давно замѣчено, что до эпохи нѣкоторой возмужалости чувства, оно не распознаетъ относительнаго достоинства предметовъ и только старается возвысить ихъ до себя, даже наперекоръ ихъ природѣ. Станкевичъ, напримѣръ, былъ какъ-то неутомимъ въ привязанности къ одному изъ своихъ пріятелей, который занимался изобрѣтеніемъ вычурныхъ нарядовъ и прическъ, и возражалъ на упреки въ безпечности словами: «Эхъ, братецъ, ты не знаешь, что̀ значитъ жить въ семействѣ», сваливая бѣду на пріятности и развлеченія, находимыя въ большомъ семейномъ кругу. Онъ иногда прикидывался мрачнымъ и отчаяннымъ по части сердечныхъ дѣлъ и былъ добрый малый; но Станкевичъ лелѣялъ въ немъ какое-то представленіе своей собственной фантазіи, что̀ въ ту эпоху случалось съ нимъ довольно часто. Истиннымъ добрымъ малымъ, въ хорошемъ смыслѣ слова, былъ также другой товарищъ Станкевича, о которомъ нерѣдко упоминается въ перепискѣ, — покойный поэтъ В. И. Красовъ. Жизнь этого человѣка могла бы составить содержаніе весьма поучительнаго разказа. Онъ весь былъ воодушевленіе, но, къ сожалѣнію, часто безъ дѣйствительныхъ, серіозныхъ поводовъ

къ тому. Восторженное состояніе, въ которомъ онъ находился постоянно, принималось тогда за коренное свойство его поэтической натуры, хотя скорѣе это было дѣломъ фантазіи, болѣзненно развитой на счетъ всѣхъ другихъ душевныхъ силъ. Онъ поминутно встрѣчалъ необыкновенныя созданія. Не останавливаясь долго на разборѣ, въ каждомъ переулкѣ, гдѣ поселялся, встрѣчалъ онъ чудныя существа и необычайныя происшествія, о которыхъ потомъ и разказывалъ со всѣми *невольными* прикрасами возбужденнаго воображенія. Самъ онъ объяснялся съ находками своими чрезвычайно восторженно, и одна изъ *тѣхъ глубокихъ натуръ, которыя все понимаютъ*, послѣ поэтическаго монолога Красова, съ недоумѣніемъ спрашивала Станкевича: почему нельзя понять ни одного слова въ разговорѣ его друга? Ко всему этому присоединялись у нашего поэта юношеская горячность въ привязанностяхъ, совершеннѣйшая безпечность въ жизни и неизмѣнная доброта сердца [1]). По выходѣ

[1]) О пріимчивости его сердца, какъ и объ отсутствіи всякаго соображенія при полученіи впечатлѣній, можетъ служить слѣдующій анекдотъ. Станкевича позвали въ правленіе университета для сообщенія чего-то. Случилось, что въ то время онъ сидѣлъ дома и занимался съ Красовымъ. Станкевичъ тотчасъ же одѣлся и отправился. На полдорогѣ онъ слышитъ, что кто-то поспѣшно его догоняетъ. Онъ оборачивается и видитъ Красова въ полномъ студенческомъ мундирѣ, со шпагою. «Ты куда?»

изъ университета онъ жилъ бѣдно, ничего не дѣлалъ для поправленія своего положенія, цѣлый день пребывалъ въ мечтахъ и зимой спасался отъ холода подъ одѣяломъ своей постели, гдѣ снова фантазировалъ и писалъ стихи. Подобныя искреннія, дѣтски-открытыя натуры всегда вызываютъ сим-

---

спрашиваетъ его Станкевичъ. — «За тобою, за тобою, отвѣчаетъ Красовъ со слезами на глазахъ. Я буду защищать тебя до послѣдней капли крови.» — Станкевичъ съ трудомъ вразумилъ его, что едва ли потребно будетъ такое развитіе силъ и храбрости. Красовъ въ послѣдній періодъ литературной дѣятельности, кончившейся очень рано, еще при жизни Станкевича, произвелъ нѣсколько чрезвычайно теплыхъ и милыхъ стихотвореній. Особенно замѣчательны они бойкостью стиха и эффектомъ пріемовъ, не лишенныхъ граціи. Началъ онъ лирическими стихотвореніями, въ которыхъ, несмотря на благородство чувствъ, замѣтенъ нѣсколько узкій взглядъ на предметы. Таковы патріотическія піесы: «Къ Уралу» (Молва 1835 года, № 27), «Булатъ» (ib. № 36), мистическая: «Еврей» (ib. № 39) и т. д. Любопытно, что въ томъ же 1835 году, Молва напечатала «Silentium» Ѳ. Тютчева, — произведеніе глубокаго поэтически-философскаго характера, не обратившее однакожь не себя должнаго вниманія. По отъѣздѣ Станкевича въ Берлинъ, Красовъ получилъ мѣсто въ Кіевѣ, не ужился тамъ и возвратился въ Москву съ какимъ-то обозомъ, въ одной плохой шинелькѣ и питаясь чернымъ хлѣбомъ. Здѣсь получилъ онъ мѣсто преподавателя, безпрестанно отгадывая множество будущихъ талантовъ и геніевъ въ своихъ ученикахъ, наконецъ женился, — и недавно умеръ въ больницѣ, оставивъ послѣ себя довольно многочисленное семейство.

патію окружающихъ, и Станкевичъ, часто дававшій волю юмору своему насчетъ пріятеля, любилъ его однакожъ, какъ любятъ существо, живущее по своимъ особеннымъ, почти исключительнымъ законамъ. Одно время онъ бралъ у него уроки въ латинскомъ и греческомъ языкахъ, такъ какъ Красовъ поступилъ въ университетъ изъ семинаріи и зналъ языки эти довольно основательно. Нѣсколько позднѣе, тщетныя усилія Станкевича вызвать пріятеля изъ праздности и обратить къ какому-либо труду ослабили нѣсколько чувство, связывавшее ихъ, особенно когда Станкевичъ замѣтилъ еще и признаки нѣкоторой претензіи въ фантазіяхъ Красова, что̀ неминуемо должно было случиться рано или поздно. Воодушевленіе, какъ и все другое на свѣтѣ, имѣетъ свои предѣлы, за которыми уже является насилованіе его и ложная, непріятная подставка придуманнаго ощущенія. Чувство Станкевича однакожъ не истребилось совсѣмъ, и мы знаемъ, что онъ еще съ любовью вспоминалъ о старомъ своемъ другѣ въ Берлинѣ.

И вся жизнь того времени, можно сказать, была окрашена особымъ цвѣтомъ, проникнута тѣмъ направленіемъ, которое трудно и передать безъ участія поэтическаго таланта. Въ составъ его входило много безграничной довѣренности къ людямъ, много юношеской способности привязывать мечты собственнаго сердца къ самому обыкновенному,

пустому событію жизни. Въ письмахъ Станкевича, принадлежащихъ къ этой эпохѣ, есть разказъ о неожиданной смерти какой-то чудной дѣвушки, владѣвшей, по смыслу повѣствованія, чуть ли не даромъ прозрѣнія и угасшей въ семействѣ, гдѣ происхожденіе ея было источникомъ грубой, тяжелой драмы. Мы не знаемъ подробностей исторіи, но не надо быть чрезвычайно прозорливымъ для того, чтобъ убѣдиться въ нѣкоторомъ преувеличеніи событія со стороны тѣхъ, для которыхъ такое преувеличеніе было необходимою потребностію духа: такъ настроенъ онъ былъ къ отысканію глубокаго поэтическаго смысла въ каждомъ явленіи [1]). Товарищъ Станкевича . . . . .ка, почи

---

[1]) Станкевичъ посвятилъ памяти этой дѣвушки одушевленное и довольно выдержанное стихотвореніе. Приводимъ его здѣсь. Оно было напечатано въ альманахѣ: «Денница» на 1834 годъ, подъ заглавіемъ:

«На могилѣ Эмиліи».

Привѣтъ могилѣ одинокой!
Печальный мохъ ее покрылъ
Съ тѣхъ поръ, какъ смерти сонъ глубокой
Отъ насъ ея жилицу скрылъ.
Оконченъ рано подвигъ трудный,
Загадка жизни рѣшена!
Любовь почила безпробудно
И радость тлѣнью предана.
Какіе тайные законы
Тебя бъ въ сей жизни ни вели;
Но участь горькую Миньйоны
Ты испытала на земли.

тавшій себя особенно связаннымъ съ судьбой и участью покойницы, былъ въ сущности добродушнѣйшій молодой человѣкъ, съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ неподдѣльной малороссійской наивности, съ наклонностію къ чувствительности и лѣнивому созерцанію жизни, какое часто встрѣчается у его земляковъ. Онъ не кончилъ университетскаго курса и постоянно возбуждалъ участіе Станкевича, который поддерживалъ въ немъ искры умственной энергіи до тѣхъ поръ, пока товарищъ совсѣмъ не пропалъ у него изъ вида.

Надо сказать вообще, что какое-то чутье истины и врожденный даръ юмора спасали Станке-

---

Ты съ горемъ свыклась съ колыбели;
Тебя не видѣлъ отчій кровъ,
Звѣздой падучей пролетѣли
И жизнь, и младость, и любовь.
Но надъ печальною могилой
Не смолкнулъ голосъ клеветы,
Она терзаетъ призракъ милый
И жжетъ надгробные цвѣты.
Пусть люди ждутъ судьбы со страхомъ,
И чѣмъ бы ни былъ сынъ земной,
Повсюдной жизнью, или прахомъ —
Благословеніе съ тобой!
Но если утро воскресенья
Придетъ на свѣтлыхъ облакахъ,
Возстань съ лучемъ преображенья
Въ твоихъ лазоревыхъ очахъ.
Лети, лети въ края отчизны,
Оковы тлѣнья разорви —
Будь съ нимъ одна въ единой жизни,
Въ единой зиждущей любви.

вича отъ упорства въ ложныхъ увлеченіяхъ. Даже въ эту раннюю эпоху жизни, онъ былъ надѣленъ обыкновеннымъ свойствомъ благодатныхъ натуръ: ложь надоѣдала ему прежде, чѣмъ онъ успѣвалъ открыть ее. Свойство это служило ему какъ бы оградой, воспрещавшей переступить послѣднія грани романтическаго настроенія и потеряться въ мірѣ призраковъ. Въ письмахъ его отъ этой эпохи безпрестанно встрѣчаются порывы сердца безъ ясной цѣли или съ цѣлью, выдуманною произвольно; но съ первыхъ шаговъ къ ней, онъ тотчасъ же возвращается, поправляетъ себя съ усмѣшкой и становится на прежнее мѣсто. Можно подумать, что ему измѣняетъ почва тотчасъ, какъ пошелъ онъ не въ надлежащую сторону, или что невыразимая тоска преграждаетъ ему путь съ перваго шага по ложной тропѣ. Яснѣе обозначится это качество при описаніи его молодыхъ привязанностей. Но и кромѣ того есть въ перепискѣ Станкевича много свидѣтельствъ, подтверждающихъ слова наши. Такъ читатель встрѣтитъ между письмами довольно большую фантазію, навѣянную оперой и минутнымъ душевнымъ состояніемъ, и конечно, будетъ удивленъ, замѣтивъ, что черезъ почту, Станкевичъ цѣнитъ по достоинству какъ то, такъ и другое, и въ полной трезвости ума свободно отталкиваетъ отъ себя игру ощущеній, подъ вліяніемъ которой находился еще такъ не-

давно. Онъ говорилъ тогда: «Все, что́ я писалъ къ тебѣ... было писано въ припадкѣ какого-то нравственнаго фанатизма, который подымаетъ насъ на ходули, возлагаетъ на насъ очки, увеличивающія въ 1000 разъ и пр.» (письмо 1-го декабря 1833 года). Иногда даже мгновенная вспышка заканчивается улыбкой и пропадаетъ въ добродушной шуткѣ, уничтожающей на половину все значеніе невольнаго порыва. Эта способность поправляться и зорко оглядывать себя въ минуты самыхъ сильныхъ увлеченій не покинула его, какъ скоро увидимъ, и въ послѣдствіи, когда, судя по наружности, можно было бы предполагать, что одно чувство любви нераздѣльно владѣетъ всѣмъ существомъ его. Отступленіе было тутъ гораздо труднѣе: истина ощущенія и обманчивая фантазія смѣшались такъ крѣпко въ сердцѣ, что разобрать ихъ было дѣло не легкое. Не всякій былъ бы способенъ даже заподозрить вѣрность и правду своего чувства, но изъ прилежнаго наблюденія характера Станкевича мы извлекли убѣжденіе, что на днѣ души его жилъ какой-то таинственный, вѣчно бдящій сторожъ, который возвышалъ свой голосъ при малѣйшемъ прикосновеніи невѣрнаго или даже сомнительнаго чувства и не давалъ покоя Станкевичу, покуда впечатлѣніе не было очищено отъ случайной примѣси ложнаго элемента. Станкевичъ остановился въ самомъ пылу страсти, столько же

удивленный и нравственно-потрясенный своимъ поступкомъ, сколько могли быть близкіе или сторонніе свидѣтели его; но дѣйствовать иначе было уже не въ его власти. Мы видимъ постоянно эту строгую повѣрку своего существа въ перепискѣ Станкевича, и она-то, кажется намъ, возвела образъ его до того типа, который невольно останавливаетъ вниманіе и вызываетъ къ себѣ наше уваженіе.

Станкевичъ любилъ въ первое время общество, танцы, новыя знакомства и людской говоръ, который между прочимъ есть тоже своего рода воспитатель, если умѣть разбирать его и пользоваться имъ. Станкевичу всегда было необходимо видѣть много людей, также какъ необходимо было много мыслить про себя. Изъ переписки его видно, что онъ имѣлъ частыя бесѣды съ дамами, занимавшимися русскою литературой и искусствомъ вообще; но не онѣ составляли настоящую приманку, увлекавшую его въ свѣтъ. Онъ просто искалъ жизни и потому, что она была незнакома ему, и по требованію природы своей, неспособной заключиться только въ себѣ самой и тѣмъ ограничиться. Онъ былъ чистъ отъ самолюбія и гордости, обыкновенно мѣшающихъ сближенію между людьми, и думалъ, что общество и частное лицо равно нуждаются другъ въ другѣ и равно ищутъ другъ друга. Правда, въ послѣдствіи, когда жизнь для Станке-

вича сосредоточилась на не большомъ числѣ искреннихъ привязанностей, онъ осуждалъ свою прежнюю страсть къ связямъ и знакомствамъ, но сохранилъ уже навсегда свободный взглядъ на общество и способность становиться съ перваго раза въ прямыя, откровенныя и благородныя отношенія къ людямъ. Для всего этого мы имѣемъ свидѣтельство Н. А. М—ва, въ домѣ котораго студентъ Станкевичъ часто бывалъ, и запросто, и на семейныхъ вечерахъ: простота и изящество его обращенія уже и тогда были замѣчены. Станкевичъ обязанъ былъ Н. А. М—ву, кромѣ наслажденія музыкой, составлявшей любимое занятіе хозяина, еще знакомствомъ со многими извѣстными людьми. Тутъ же, кажется, онъ впервые встрѣтилъ и Я. М. Н—ва, этого друга своей молодости, переписка съ которымъ занимаетъ чуть-ли не третью часть всего нашего сборника. Я. М. Н—ъ былъ старше Станкевича и кончилъ курсъ въ 1832 году, когда тотъ еще прошелъ одну половину его, и не самую важную, какъ знаемъ. Въ 1833 Н—въ уѣхалъ въ Петербургъ на службу, участвовалъ тамъ въ изданіи «Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія», въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду», въ «Энциклопедическомъ Лексиконѣ» и пр. Весьма часто случается, что благородная и даровитая молодость ищетъ руководителя въ болѣе возмужаломъ и опытномъ чело-

вѣкѣ и, выбравъ его, откровенно ему подчиняется. Такъ было и здѣсь. Станкевичъ создалъ себѣ въ лицѣ Н—а нѣчто похожее на «директора совѣсти». На Я. М. Н—ѣ истощилъ онъ потребность сердечной исповѣди и принималъ его приговоры, какъ необходимую поправку своихъ побужденій и наклонностей. Такое нравственное самоограниченіе тоже нерѣдко встрѣчается у пылкихъ, многообѣщающихъ натуръ, и даже чѣмъ независимѣе онѣ по природѣ, тѣмъ покорнѣе слѣдуютъ, на первыхъ порахъ, за выбраннымъ наставникомъ. Станкевичъ былъ пораженъ въ другѣ своемъ соединеніемъ рѣдкой доброты со глубочайшею религіозностію и неподкупною стойкостію правилъ. Эти качества долго держали Станкевича подъ безграничнымъ вліяніемъ, и въ первое время ничего другаго ему и не приходило въ голову требовать отъ дружбы. Когда, въ послѣдствіи, духовныя потребности Станкевича усложнились до того, что не могли получить удовлетворительнаго отвѣта отъ посторонняго лица, и надо было искать отвѣта въ себѣ самомъ, — вліяніе начало уменьшаться само собою; но связь, образуемая благородствомъ помысловъ и цѣпью дорогихъ воспоминаній, осталась между ними навсегда.

Таковъ былъ первый кругъ, въ которомъ сначала призвано было дѣйствовать чувство, называвшееся у Станкевича дружбой. Мы сообщили,

по необходимости, одинъ только поверхностный очеркъ его, но полагаемъ — сказаннаго уже будетъ достаточно для уразумѣнія сущности и отличительныхъ его свойствъ. Можно прибавить еще одну черту, маловажную по себѣ, но имѣющую нѣкоторое значеніе по отношенію къ нашему обществу. Въ характерѣ Станкевича не было нисколько элементовъ удали, которая такъ поэтически выражается у Русскаго народа, а въ образованныхъ классахъ ограничивается трактирными и домашними кутежами, грубымъ посягательствомъ на права личности, иногда дикимъ произволомъ. Черта эта пріобрѣтаетъ важность, разумѣется, только съ той минуты, когда общество смотритъ на нее равнодушно, или даже съ примѣсью благосклонности, радуясь ей, какъ безвредному истоку юношескаго пыла. Мало того, что кругомъ Станкевича жизнь шла трезво и бодро, но она, благодаря ему, носила рѣдкій оттѣнокъ скромности. Несмотря на его природную веселость, было что-то умѣренное и деликатное въ его шуткѣ, подобно тому, какъ мысль его отличалась истиннымъ цѣломудріемъ, несмотря на страсти и увлеченія молодости. Все это, конечно, держало разнородныя личности, изъ которыхъ состоялъ кругъ его, въ одномъ общемъ настроеніи и на одной нравственной высотѣ. Читатель легко пойметъ, что философско-поэтическій элементъ, присутствовавшій въ

Станкевичѣ, былъ именно тѣмъ дѣятелемъ, который волновалъ сердца и выводилъ ихъ изъ летаргіи. Куда бы животворный элементъ этотъ ни обращался въ теченіи своемъ, онъ увлекалъ за собою даже самыя упорныя, самыя лѣнивыя натуры. Въ сборникѣ писемъ Станкевича есть одно (отъ 24 апрѣля 1835), гдѣ онъ сосредоточиваетъ мысли на собственномъ религіозномъ чувствѣ — и какія теплыя, любящія слова находитъ онъ тогда, слова, которыя должны были вызвать сочувствіе окружающихъ. Проникнутый важностію предмета, Станкевичъ перебираетъ всю свою жизнь до мельчайшихъ движеній сердца, до самыхъ тайныхъ своихъ наклонностей, и съ упоеніемъ говоритъ о блаженствѣ чувствовать въ себѣ потребность живой вѣры. Обѣты исправленія сыплются изъ груди, взволнованной сладкою любовью и радостію религіознаго одушевленія, наполняющаго ее. Описаніе кануна Свѣтлаго Воскресенія соотвѣтствуетъ предшествовавшему изложенію впечатлѣній. Ночь идетъ тихо и серіозно для людей, собравшихся вокругъ Станкевича; каждый изъ собесѣдниковъ старается наполнить минуты ея лучшими своими помыслами, избраннѣйшими своими воспоминаніями. Станкевичъ думаетъ о первой, святой любви своей. Какимъ-то тихимъ восторгомъ звучатъ слова: «Въ половинѣ 12-го мы вышли на дворъ. . . . Погода была тихая, прекрасная; небо ясно и усѣяно

звѣздами. . . . За нѣсколько часовъ шелъ дождь.... Вдругъ ударили колокола. . . . Къ намъ пришелъ Бѣлинскій и увлекъ насъ въ Кремль! Мы подходили къ Иверской и услышали пушки: Василій Блаженный вдругъ озарился ихъ молніею, и ударъ разсыпался по Кремлю. Пока дошли мы до мѣста, стрѣлять уже перестали, но мы издали слышали музыку и пальбу . . . возвратились къ заутренѣ къ Козьмѣ и Дамьяну.» Психическое настроеніе подобнаго рода, даже вызванное предметомъ меньшей важности, само по себѣ способно всегда поднять душу выше обыкновеннаго ея уровня. Такъ и было съ пріятелями Станкевича во многихъ случаяхъ.

Переходя къ искусству, мы видимъ изъ переписки Станкевича, что работа, заданная всѣмъ умственнымъ способностямъ его нѣмецкою поэзіей и литературой, продолжается безостановочно. Онъ попрежнему живетъ въ мірѣ, созданномъ Гёте и Шиллеромъ, еще не заботясь объ опредѣленіи границъ каждаго и уясненіи существенныхъ отличій любимыхъ своихъ поэтовъ. Потребность опредѣлить ихъ относительное значеніе явилась гораздо позднѣе, когда разграничены были области ихъ дѣятельности на основаніи понятій о поэтахъ личныхъ впечатлѣній и поэтахъ всего окружающаго міра (субъективныхъ и объективныхъ). Станкевичъ переходилъ отъ одного къ другому, не за-

мѣчая скачка и не чувствуя ни малѣйшаго потрясенія въ эстетическомъ наслажденіи, да къ тому же онъ читалъ въ одно время и тогдашнихъ французскихъ романистовъ: Гюго, Бальзака, Жакоба Библіофила, и даже, какъ видимъ, находилъ въ нихъ отзвукъ на нѣкоторыя струны своего сердца. Поэзія была для него безразлична, но степени ея понималъ онъ съ замѣчательною ясностію. Вся критическая способность его, напримѣръ, несмотря на разнообразіе предметовъ, вызывающихъ ее, занята была въ эту эпоху преимущественно объясненіемъ образовъ германской поэзіи. Онъ былъ прикованъ къ ней и, можно сказать, почти страдалъ неутолимою жаждой измѣрить всю ея глубину, завладѣть всѣмъ ея смысломъ. Чувство это сказывается, по нашему мнѣнію, въ тѣхъ воодушевленныхъ строкахъ его переписки, гдѣ онъ излагаетъ свои впечатлѣнія при чтеніи Оберона, свой взглядъ на знаменитую пѣснь Миньйоны, на баллады Гёте, между прочимъ на «Коринѳскую Невѣсту». Вотъ что̀ пишетъ онъ, напримѣръ, по поводу «Невѣсты»:—«Нельзя не пасть передъ Гёте, прочитавъ его созданіе! Грозный союзъ любви и смерти, блѣдныя уста, пьющія кровавое вино, мертвая грудь, согрѣвающаяся сладострастнымъ пламенемъ,—и сила юности, испарившаяся въ одинъ мигъ наслажденія, овладѣваютъ душою, потрясаютъ всѣ нервы, такъ что, по окончаніи чтенія,

чувствуешь странный покой, подобный тому, который господствуетъ въ природѣ послѣ ночной грозы, когда туча перешла на другую половину неба, и звѣзды едва начинаютъ блистать, освобождаясь изъ-подъ ея покрова»... Другое произведеніе Гёте, которое мы позволяемъ себѣ назвать, по примѣру Станкевича, «Баядерой», породило у него мысль написать драму. Въ ней хотѣлъ онъ представить судьбу одного чувства любви, показавъ его сперва на низшей ступени физическаго влеченія, и возводя рядомъ очищеній до той минуты, когда, просвѣтленное и облагороженное, оно роднится съ небомъ и въ немъ исчезаетъ. Созданіе Гёте, казалось Станкевичу, заключаетъ тысячу драмъ, которыя могли бы служить ему поясненіемъ, но объяснять Гёте его собственнымъ элементомъ — поэзіею, конечно было дѣломъ юношеской смѣлости. Вѣроятно, по этой причинѣ исполненіе плана откладывалось недѣля за недѣлей и наконецъ совсѣмъ было оставлено; но самый планъ служитъ для насъ указаніемъ, какъ представлялась любовь духовнымъ очамъ Станкевича. Съ неменьшею силой владѣлъ всѣми нравственными способностями его и Шиллеръ. Извѣстное стихотвореніе Шиллера: «Resignation» было у него на умѣ и на языкѣ почти безпрерывно. Онъ находилъ постоянно случаи примѣнять основную мысль его къ самому себѣ. Каждый разъ, какъ из-

лишне-пылкія надежды Станкевича встрѣчали отпоръ въ обстоятельствахъ и въ людяхъ и разбивались объ эти преграды, онъ вспоминалъ любимое свое стихотвореніе и вмѣстѣ съ нимъ повторялъ: «Кто тоскуетъ по другомъ мірѣ, тотъ не долженъ знать земныхъ наслажденій. Кто вкусилъ отъ земнаго наслажденія, тотъ не надѣйся на награду другаго міра, гдѣ пышно разцвѣтаютъ только терніи и скорби нашего дольнаго существованія.» За тѣмъ еще письма Станкевича украшены многочисленными цитатами изъ этого поэта, или лучше, этого неизмѣннаго друга всѣхъ избранныхъ людей, которые въ немъ отыскиваютъ опору для благороднаго чувства, разгадку неясныхъ стремленій своей возвышенной природы. Цитаты изъ Шиллера — это вопль самой души Станкевича, обращенной къ силѣ, зиждущей на землѣ благо, любовь, и дающей успокоеніе сердцу. Вопль обыкновенно затихаетъ у него въ одномъ помыслѣ, всеразрѣшающемъ и цѣлебно-дѣйствующемъ. «Христосъ да будетъ съ тобою и съ ними», пишетъ онъ обыкновенно другу своему въ заключеніе, а иногда прибавляетъ свою любимую тогдашнюю поговорку, почти не сходившую съ устъ его: Es herrscht eine allweise Güte über die Welt (Надъ міромъ царствуетъ премудрая благость).

По самому устройству нашего общества и началамъ воспитанія, кромѣ литературы, только два

вида искусства остаются у насъ для эстетическихъ потребностей публики: музыка и театръ. За навыкомъ къ оцѣнкѣ другихъ отраслей изящнаго, даже за первыми понятіями о нихъ, приходится, по большей части, переселяться на чужую почву, и этотъ недостатокъ воспитанія отражается, кажется намъ, на самомъ обществѣ относительною бѣдностію его разговора и нѣкоторою узкостію взгляда при эстетическихъ сужденіяхъ вообще. Какъ бы то ни было, но изъ переписки Станкевича мы узнаемъ, какое важное значеніе имѣлъ для него театръ. Вотъ что говоритъ онъ, между прочимъ: «Театръ становится для меня атмосферою; *прекрасное* моей жизни не отъ міра сего; излить свои чувства некому: тамъ, въ храмѣ искусства, какъ-то вольнѣе душѣ. Множество народа не стѣсняетъ ея, ибо надъ этимъ множествомъ паритъ какая-то мысль. Наше искусство не высоко, но театръ и музыка располагаютъ душу мечтать о немъ, объ его совершенствѣ, о прелестяхъ изящнаго, дѣлать планы эфемерные, скоропроходящіе. . . . » Даже эти слова еще не вполнѣ передаютъ силу того очарованія, которымъ обладалъ театръ, въ высокомъ своемъ значеніи, для всего круга Станкевича. Полное выраженіе его должно опять искать у Бѣлинскаго, въ одной изъ превосходнѣйшихъ страницъ статьи, уже разъ упомянутой нами (Литературныя Мечтанія, Молва

№ 51. стр. 419). Сказавъ, что въ театрѣ вы радуетесь и страдаете не за свою жизнь, и что, напротивъ, ваше холодное *я* исчезаетъ тамъ *въ пламенномъ эфирѣ любви*, критикъ продолжаетъ: «Если васъ мучитъ тягостная мысль о трудномъ подвигѣ вашей жизни и слабости вашихъ силъ, вы здѣсь забудете ее; если душа ваша искала когда-нибудь любви и упоенія, если въ вашемъ воображеніи мелькалъ когда-нибудь, подобно легкому видѣнью ночи, такой-то плѣнительный образъ, давно вами забытый, какъ мечта несбыточная, — здѣсь эта жажда вспыхнетъ въ васъ съ новою, неукротимою силой, здѣсь этотъ образъ снова явится вамъ и вы увидите его очи, устремленныя на васъ съ тоской и любовью. . . . Невозможно описать всѣ очарованія театра, всю его магическую силу надъ душой человѣческою. . . . О, какъ было бы хорошо, еслибы у насъ былъ свой народный русскій театръ! Въ самомъ дѣлѣ, видѣть на сценѣ всю Русь, съ ея добромъ и зломъ, съ ея высокимъ и смѣшнымъ, слышать говорящими ея доблестныхъ героевъ, вызванныхъ изъ гроба могуществомъ фантазіи, видѣть біеніе пульса ея могучей жизни . . . . о, ступайте, ступайте въ театръ, живите и умрите въ немъ, если можете...» Эти восторженныя слова выражали истинное чувство Станкевича и Бѣлинскаго: переступая за порогъ театра, они входили въ святилище и никакъ не могли настро-

ить себя подъ ладъ болѣе чѣмъ обыкновенныхъ вещей, тамъ процвѣтавшихъ. Послѣдній почти всегда оставлялъ театръ или глубоко потрясенный, или раздраженный до крайности. Относительно музыки, Станкевичъ сознавался въ одной слабости. Онъ былъ подверженъ скорой усталости, слѣдовавшей тотчасъ за первымъ, сильнымъ раздраженіемъ нервной системы. Съ половины длиннаго концерта онъ уже ничего не понималъ и тѣмъ болѣе, чѣмъ настойчивѣе старался возбудить въ себѣ силу воспріимчивости. Вотъ почему громадныя оперы, появившіяся въ то время, «Жидовка», «Робертъ» и проч., давили и уничтожали его до тѣхъ поръ, пока онъ не успѣвалъ разобрать ихъ многоразличныя составныя части. Въ замѣнъ, все, что̀ дѣйствовало прямо на душу, что̀ могло быть поглощено ею безъ помощи соображеній и умственнаго напряженія, начиная съ оперы «Герольда» до геніяльныхъ симфоній нѣмецкаго искусства, приводило Станкевича въ упоеніе. Чудныя вещи произошли съ нимъ, когда онъ нечаянно встрѣтился съ композиторомъ, наиболѣе отвѣчающимъ тоскѣ, грусти и фантазіямъ уединеннаго и сосредоточеннаго чувства, именно съ Шубертомъ. Станкевичъ чуть съ ума не сошелъ. Вотъ какъ разказываетъ онъ случай этотъ: «Вопервыхъ, я очень радъ, и мнѣ досадно, что ты первый написалъ мнѣ о Шубертѣ. Какъ мы услышали его въ одно время? Я

нашелъ эту піесу [1]) нечаянно у нашего острогожскаго помѣщика С*, въ музыкальномъ журналѣ: «Филомела», котораго никто у нихъ никогда не разыгрывалъ. Это было послѣ обѣда, послѣ веселья, любезничанья. Я попробовалъ — и чуть не сошелъ съ ума! Иначе кажется нельзя было выразить это фантастическое прекрасное чувство, которое охватываетъ душу, какъ самъ царь младенца, при чтеніи этой баллады. Уже начало переноситъ тебя въ этотъ темный, таинственный міръ, мчитъ тебя durch Nacht und Wind...» и проч.

Настроеніе какъ Станкевича, такъ и Бѣлинскаго, частію происходило и отъ того, что они избрали эстетическимъ учителемъ своимъ человѣка, не дѣлавшаго никогда ни малѣйшихъ уступокъ слабости, современному вкусу или модѣ, изъ своей возвышенной теоріи изящнаго, именно Гофмана, автора Seltsame Leiden eines Theater-Directors (необычайныя страданія нѣкоего директора театра), Fantasie-Stücke in Callots Manier (фантастическіе отрывки въ манерѣ Калло) и множества фантастическихъ сказокъ и романовъ, извѣстныхъ нашей публикѣ по переводамъ. Пламенная, почти горячечная любовь къ искусству, отличавшая Гофмана, приходилась въ уровень съ необычайно-воз-

бужденною критическою пытливостью его русскихъ поклонниковъ. Въ немъ обрѣтали они страстную, почти идеальную привязанность къ дѣлу, которое сами считали чуть-ли не единственнымъ *дѣломъ* въ мірѣ, достойнымъ этого имени. Гофманъ почти никогда не ошибался въ значеніи предмета, принадлежащаго искусству; но онъ не иначе изображалъ его, какъ въ огненномъ, нестерпимомъ блескѣ, въ сверхъ-естественныхъ, фантастическихъ размѣрахъ. Исполнивъ задачу, онъ самъ падалъ ницъ передъ собственнымъ представленіемъ, въ благоговѣйномъ ужасѣ. Нѣкоторыя мѣста первыхъ двухъ выписанныхъ нами сочиненій (особенно музыкальныя новеллы Fantasie-Stücke) свидѣтельствуютъ ясно, что геніяльное созданіе приводило его въ трепетъ, какъ человѣка, застигнутаго явленіемъ неземнаго міра; но онъ сберегалъ способность передавать свой трепетъ въ восторженной, а иногда сильной и саркастической рѣчи. Электрически дѣйствовалъ онъ на молодые, серіозные умы, считавшіе слово его поэтическимъ прозрѣніемъ въ самую глубь творчества. Несмотря на то, что бо́льшая часть сужденій Гофмана о театрѣ и музыкѣ производитъ то же самое впечатлѣніе, какое испыталъ извѣстный эстетикъ Гото, при его описаніи характера Донъ-Жуана [1]), Гофманъ имѣлъ

---

[1]) «Огненное объясненіе Донъ-Жуана, предложенное

весьма благотворное вліяніе на развитіе нашей критики. Необычайныя художническія требованія Гофмана возвысили пониманіе цѣли и задачи искусства и конечно были источникомъ того обилія идей, какое вскорѣ выказала она на самомъ дѣлѣ. Мы разумѣемъ статьи Бѣлинскаго о игрѣ Мочалова въ роли Гамлета, напечатанныя въ «Московскомъ Наблюдателѣ», 1838 года, часть XVI (мартъ и апрѣль), подъ заглавіемъ: «Гамлетъ, драма Шекспира». Тутъ строгость всѣхъ требованій отъ актера и идеальное представленіе его призванія находятся въ близкомъ родствѣ со способомъ воззрѣнія Гофмана, только развиты они въ формѣ критической статьи, вмѣсто живыхъ, лирическихъ изображеній Гофмана. Самыя повѣсти и фантастическія сказки послѣдняго находили симпатическій отголосокъ въ кругѣ Станкевича: онѣ такъ хорошо соотвѣтствовали господствовавшей философской системѣ своимъ могущественнымъ олицетвореніемъ безжизненной природы. Тутъ еще была своего рода истина, понятная сердцамъ, поэтически, или мечтательно настроеннымъ. Юморъ Гофмана и его картины будничной, пошловатой нѣмецкой жизни тоже нравились людямъ, не имѣвшимъ понятія о ея тупой правильности и чисто внѣшней серіозности.

Гофманомъ, способно взволновать, а не удовлетворить человѣка.» (Vorstudien für Leben und Kunst 1835, см. стр. 11 и 24.)

Неудивительно поэтому, что еще въ 1839 году, Бѣлинскій выражалъ между разговорами свое недоумѣніе: отчего западная критика не ставитъ Гофмана наравнѣ со всѣми великими поэтами Европы, между тѣмъ какъ онъ обладаетъ тою же сущностью, тѣмъ же разнообразіемъ и тою же глубиной проникновенія въ жизнь? [1])

Впрочемъ, строгое пониманіе, какъ задачи искусства, такъ и вообще человѣческаго призванія, было въ природѣ Станкевича и лучшихъ людей его круга. Качество это только развилось отъ чтенія и общихъ размышеній, имъ порожденныхъ. Такъ или иначе, оно проявилось бы неизбѣжно и при другихъ условіяхъ, чѣмъ тѣ, которыя мы здѣсь излагаемъ. Для Станкевича и избранныхъ друзей его не было въ нравственномъ мірѣ пустыхъ или маловажныхъ вещей. Къ каждому яв-

---

[1]) Многія подробности для біографическаго нашего очерка взяты нами изъ переписки Станкевича съ Я. М. Н—ымъ, но далеко не всѣ. Станкевичъ въ первую эпоху своей жизни (съ 1831 по 1835) многаго не высказываетъ своему другу, какъ бы боясь его здраваго, *порядочнаго*, какъ самъ выражается, взгляда на предметы. Онъ иногда уменьшаетъ передъ нимъ силу впечатлѣній своихъ, а иногда открываетъ ихъ съ одной, самой обыкновенной стороны. Примѣровъ множество. Прямой и положительный, Я. М. Н. не довѣрялъ философіи и не жаловалъ вообще предчувствій, стремленій, порывовъ. Только съ 1835 слогъ переписки становится у Станкевича рѣшительнѣе; ученикъ и наставникъ мѣняются ролями.

ленію этого міра они подступали весьма серіозно. Шутка ихъ надъ безсильными или безобразными порожденіями человѣческой дѣятельности не имѣла ничего легкомысленнаго и точно такъ же отражала тогдашнія убѣжденія ихъ, какъ и строгое, одушевленное слово. Каждый предметъ литературы казался имъ стóящимъ того, чтобъ изслѣдовать его генеалогію, причину и обстоятельства его происхожденія; часто умъ, серіозно настроенный, заходилъ слишкомъ далеко въ этихъ поискахъ и не видалъ ближайшей, ограниченной и ничтожной причины, породившей явленіе. Они грѣшили доблестными недостатками, свойственными всякой благородной молодости. Никогда не могло прійдти въ голову Станкевичу и его друзьямъ, напримѣръ, что новая русская трагедія не есть плодъ стремленія выразить свой взглядъ на ту или другую сторону прежней жизни, а толькой первый опытъ человѣка, набивающаго себѣ руку вообще на трагедіи. Все было для нихъ событіемъ, пораждавшимъ пренія, надежды, заключенія, а иногда длинную, серіозную переписку. Полемика, которая возгорѣлась въ Москвѣ, по случаю дебютовъ прибывшаго сюда петербургскаго артиста Каратыгина, и которая породила весьма замѣчательный обмѣнъ мыслей между партіями [1]), отразилась так-

[1]) Листки «Молвы» 1833 года, гдѣ происходила борьба приверженцевъ артиста и его супруги, тоже дебютиро-

же и въ корреспонденціи Станкевича; но отъ изслѣдованія качествъ актера и сравненія ихъ съ родомъ таланта его московскаго соперника, Мочалова, кружокъ Станкевича восходилъ до опрѣдѣленія характера публики въ обѣихъ столицахъ, различія художественныхъ и общественныхъ ихъ требованій и проч. Такъ велико было побужденіе отыскать непремѣнно *мысль* каждаго случая — побужденіе, составляющее отличительную, симпатическую сторону переписки самого Станкевича.

Нѣтъ сомнѣнія, что прилежный, кропотливый библіографъ могъ бы доставить себѣ удовольствіе, разобравъ, какому эстетическому и философскому ученію и какому именно лицу принадлежатъ теорія и положенія, которыя стала высказывать критика Бѣлинскаго съ 1835 года (въ «Телескопѣ» этого года); но онъ погрѣшилъ бы значительно,

---

навшей въ Москвѣ, — съ единственнымъ ихъ критикомъ-псевдонимомъ П. Щ., пріобрѣли необыкновенную извѣстность. Многіе помнятъ живое впечатлѣніе, произведенное ими на публику. Полемика длилась весьма долго, съ 44 по 61 №, хотя уже съ 56 № П. Щ. добровольно отступаетъ отъ нея, не побѣжденный, но какъ-будто усталый. Этотъ П. Щ., кромѣ остроумія и діалектической способности, выказалъ еще глубокое пониманіе сценическаго искусства и сообщилъ публикѣ нѣсколько мыслей о немъ, которыя были бы замѣтны и въ устахъ первыхъ европейскихъ знатоковъ дѣла. Станкевичъ почти раздѣлялъ его взглядъ на нашего знаменитаго артиста, но изъ уваженія къ другу Я. М. П—у, состоявшему въ числѣ

еслибы, на основаніи своихъ изысканій, вздумалъ уменьшить заслугу самого автора статей. Въ кругѣ Станкевича идеи германскихъ мыслителей были въ постоянномъ обращеніи: друзья его сходились для обсужденія ихъ и взаимнаго обмѣна соображеній, порожденныхъ неутомимымъ чтеніемъ; изъ этого первоначальнаго родника своей литературно-критической дѣятельности, Бѣлинскій выносилъ строго-обдуманныя статьи. Бѣлинскій можетъ назваться по преимуществу обобщителемъ идей. Любопытнѣйшую часть переписки Станкевича въ 1833 — 35 годахъ, безъ сомнѣнія, составляютъ первыя напряженныя усилія обратить нѣкоторыя эстетическія соображенія, возникавшія какъ у него самого, такъ и вокругъ него, въ безусловныя и доказанныя истины. Тутъ вы видите, такъ-сказать, внутренность той мастерской, въ которой вырабатывалъ Бѣлинскій свои воззрѣнія на искусство и жизнь вообще, а изъ воззрѣній — приговоры и сужденія о дѣятеляхъ обѣихъ сферъ. Читатель найдетъ въ письмахъ Станкевича неопредѣленные

безусловныхъ поклонниковъ В. А. Каратыгина, опредѣлявшихъ даже достоинство его игры мѣрой приличія и свѣтскости, въ ней находимыхъ, долго таитъ свою настоящую мысль и только подъ конецъ обнаруживаетъ ее вполнѣ. Черта тонкой деликатности, а вмѣстѣ и свидѣтельство сильнаго вліянія Я. М. Н—а на умъ его.

намеки на всѣ вопросы, занимавшіе потомъ Бѣлинскаго и болѣе или менѣе приближенные имъ къ разрѣшенію. Такова была участь попытокъ Станкевича опредѣлить значеніе художественности въ произведеніяхъ, показать различіе между чистою мыслію и мыслію, доступною предметамъ искусства, и переходя къ частностямъ, попытки опредѣлить значеніе романовъ Полеваго, Загоскина и проч., поэтической дѣятельности гг. Бенедиктова, Тимоѳеева, Шевырева и проч. и проч. Все это было досказано Бѣлинскимъ. На долю Бѣлинскаго выпалъ талантъ быстро усматривать всѣ результаты данной мысли, талантъ чутко примѣнять ее къ современности, отвѣчая новымъ потребностямъ общественнаго развитія, или даже вызывая ихъ на свѣтъ, и наконецъ талантъ неутомимо проводить между повседневными явленіями словесности иногда на лету, но крѣпко схваченное эстетическо-философское положеніе. На эту работу употребилъ онъ и всю свою жизнь; плодомъ этой работы, понимаемой весьма строго, было то, что со времени Бѣлинскаго роль писателя сдѣлалась чрезвычайно трудна, а поколѣніе писателей-сибаритовъ, добивавшихся репутаціи, потѣшая игрой своего таланта себя и пріятелей, миновалось безвозвратно. Вообще никто у насъ до Бѣлинскаго не давалъ столько мѣста въ своей жизни искусству и эстетическимъ соображеніямъ; оттого и самыя

ошибки его въ оцѣнкѣ произведеній и излишняя взыскательность при нѣкоторыхъ случаяхъ еще имѣютъ въ себѣ гораздо бо́льшую долю правды и поученія, чѣмъ иные приговоры, вполнѣ непогрѣшительные, потому что они вполнѣ поверхностны. Ошибки нѣкоторыхъ людей бываютъ почти такъ же плодотворны, какъ ихъ положительныя заслуги, и наоборотъ, непогрѣшительность другихъ и истины, ими высказываемыя, часто поражаются безплодіемъ. Счастливъ человѣкъ, который можетъ ошибаться, сохраняя достоинство мыслящаго, глубоко нравственнаго и полезнаго человѣка въ своихъ ошибкахъ!

Станкевичъ до конца своего поприща постоянно наслаждался Пушкинымъ. Онъ присоединилъ его къ тому кругу завѣтныхъ писателей, къ которымъ относился во всѣхъ важныхъ случаяхъ своей жизни. Правда, было время, когда потокъ общаго мнѣнія увлекъ и его съ Бѣлинскимъ: они думали, что съ 1831 года талантъ любимаго поэта погасъ и возстанетъ съ трудомъ изъ новой обстановки, окружившей его существованіе, но это было не продолжительно у обоихъ. Они скоро довѣрились поэту. Позднѣе Станкевичъ писалъ эти замѣчательныя строки, исполненныя мысли и столь проникнутыя умомъ, что мы не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи ихъ привести: «... Переведу Вердеру «*зимнюю дорогу*» прозою, какъ могу, и

прочту стихи по-русски. Тутъ такая цѣлость чувства грустнаго, истиннаго, русскаго, удалаго! У Гёте есть нѣсколько такихъ стихотвореній, какъ напримѣръ: «Da droben auf jenem Berge». У Мура, сколько я знаю, особенно много; только у Пушкина меньше фантастическаго, больше Fleisch und Blut (то-есть плоти и крови): тутъ неразвитое, простое чувство. Но у Гёте, кромѣ того, есть много такихъ вещей, гдѣ видно его міровое развитіе, котораго, разумѣется, Пушкинъ не имѣлъ и котораго мы ему не приписываемъ; но въ этихъ простыхъ, коротенькихъ исповѣдяхъ цѣльной, живой и умной натуры — истинная поэзія! Мало ли у него такихъ вещей!..» (отъ 27-го августа 1838). Эти лаконическіе афоризмы Станкевича могли бы быть развиты въ большую и дѣльную статью.

Вскорѣ къ имени Пушкина присоединилось другое дорогое имя, раздѣлявшее съ первымъ горячую привязанность Станкевича и друзей его, имя Гоголя. Почтенный біографъ Н. В. Гоголя, оказавшій такую важную услугу публикѣ сообщеніемъ драгоцѣнныхъ матеріяловъ, касающихся жизни этого писателя, Н. М*, къ сожалѣнію, пропустилъ безъ вниманія нравственную поддержку, данную Москвою автору «Мертвыхъ душъ», поддержку, на которую онъ оперся при самомъ началѣ своего авторскаго поприща. Несмотря на одобренія

Пушкина, Жуковскаго и ихъ друзей, петербургская публика относилась къ Гоголю, съ тѣхъ поръ какъ онъ перешелъ изъ малороссійской повѣсти къ русскому современному быту, если не враждебно, то по крайней мѣрѣ весьма осторожно. Пріемъ «Ревизора» доказалъ ея нерасположеніе и ея подозрительность. Неизвѣстно, что̀ сталось бы съ авторомъ, впечатлительнымъ до крайности, если-бы Москва раздѣлила сомнѣнія и холодность петербургской публики, но здѣсь онъ встрѣтилъ участіе, поднявшее, какъ намъ хорошо извѣстно, нравственную бодрость его и сообщившее ему увѣренность въ своихъ силахъ. Послѣдняя все болѣе и болѣе расла съ тѣхъ поръ.... Нѣтъ сомнѣнія, что Бѣлинскій первый положилъ твердый камень въ основаніи всей послѣдующей его извѣстности, начавъ первый объяснять смыслъ и значеніе его произведеній. Можно думать, что Бѣлинскій уяснилъ самому Гоголю его призваніе и открылъ ему глаза на самаго себя: для этого есть нѣсколько доказательствъ несомнѣннаго, историческаго характера. Но какъ бы то ни было, Станкевичъ и весь кругъ его поняли съ перваго раза смѣхъ, производимый созданіями Гоголя, весьма серіозно, почти такъ, какъ понималъ его въ послѣдствіи самъ авторъ. Что̀ касается до поэзіи, то людямъ, искушеннымъ въ этомъ дѣлѣ, легко было угадать ея оттѣнокъ на лицахъ и описа-

ніяхъ Гоголевской фантазіи. Станкевичъ, смѣшливый отъ природы, уже не могъ никогда вспоминать нѣкоторыхъ подробностей въ его картинахъ безъ того, чтобъ не потерять совершенно хладнокровія. Такое дѣйствіе производило на него, напримѣръ, воспоминаніе о жидѣ (въ Тарасѣ Бульбѣ), который, снявъ верхнюю одежду, сталъ вдругъ похожъ на цыпленка. Да и въ первое знакомство съ Гоголемъ одно предчувствіе юмористическаго элемента, которымъ такъ обильны его творенія, повергало Станкевича въ припадокъ неудержимаго смѣха. При первомъ чтеніи повѣсти Гоголя: «Коляска», на которое собрались нѣкоторые друзья Станкевича, едва произнесены были слова, открывающія повѣсть и еще не заключающія въ себѣ ничего особеннаго, раздался общій дружный хохотъ, съ трудомъ побѣжденный. Такъ встрѣчали молодые люди будущаго знаменитаго писателя нашего, угадывая въ его веселости и въ смѣхѣ, имъ пораждаемомъ, первые симптомы литературной возмужалости, вмѣстѣ съ признаками пробуждающагося народнаго сознанія.

Именемъ Гоголя мы и могли бы заключить описаніе студенческой эпохи Станкевича. Оно составляетъ естественный переходъ къ слѣдующему періоду, гдѣ какъ значеніе, такъ и пониманіе этого писателя особенно выказались, но мы рѣшаемся еще остановиться на нѣсколько мгновеній. Въ пере-

пискѣ Станкевича, тамъ и сямъ, мелькаютъ намеки на его сердечныя привязанности, которыя иногда служатъ причиною особеннаго и довольно-продолжительнаго душевнаго состоянія. Можно было бы оставить безъ вниманія эту обыкновенную повѣсть волненій молодаго сердца, еслибы въ ней не отражался, какъ въ зеркалѣ, весь характеръ Станкевича, сложившійся изъ тѣхъ многоразличныхъ элементовъ, описаніемъ которыхъ мы занимались доселѣ.

Стараніе выработать изъ себя нравственное лицо, *человѣка*, въ благороднѣйшемъ смыслѣ слова, получаетъ особенную цѣну, когда оно кладется въ основаніе самой жизни, не слабѣетъ при напорѣ живыхъ, естественныхъ *впечатлѣній* молодости, и когда даетъ тонъ и краску тѣмъ чувствамъ, которыя въ извѣстныя эпохи нераздѣльно господствуютъ надъ всѣми нашими способностями.

Мы соберемъ въ хронологическомъ порядкѣ подробности, какія сообщаетъ намъ переписка Станкевича о возникшихъ тогда привязанностяхъ его. Конечно, въ первой упоминаемой тамъ встрѣчѣ съ молодою женщиной, имѣвшею совершенно простой взглядъ на предметы и опиравшеюся только на весьма поверхностное пансіонское воспитаніе, не могло заключаться важныхъ поводовъ къ размышленію и повѣркѣ своихъ чувствъ. Станкевичъ, какъ видимъ, принималъ живое участіе въ осо-

бенностяхъ ея положенія; его благоразуміе и сдержанность были тутъ въ порядкѣ вещей. Однакожь, Станкевичъ тотчасъ же подвергаетъ строгому критическому осмотру и ту долю вниманія, на которое имѣетъ право всякое женское лицо, да въ добавокъ еще отыскиваетъ въ себѣ признаки кокетства. Онъ спѣшитъ очистить свою совѣсть откровеннымъ признаніемъ передъ другомъ. Въ 1833 году, въ то время, когда Станкевичъ былъ на вакаціи въ деревнѣ (августъ мѣсяцъ), въ одно изъ общихъ путешествій куда-то въ гости, завязывается снова прежнее знакомство, и съ этихъ поръ начинается тотъ деревенскій романъ, который такъ удивительно описанъ Пушкинымъ въ стихотвореніи «Зима»:

«Что дѣлать намъ въ деревнѣ?»

Несмотря, однако же, на совершенную невинность отношеній между молодыми людьми, поводъ къ нимъ и самое выраженіе ихъ кажутся Станкевичу не безукоризненными, да отъ разбора этого онъ переходитъ къ разбору предмета, ихъ вызвавшаго, и открываетъ, что предметъ не заслуживалъ расположенія и въ сущности никогда имъ не пользовался. Но тогда игра въ лицемѣрное чувство, которой онъ поддался, порождаетъ цѣпь горькихъ упрековъ душѣ его и угрызенія совѣсти. Станкевичъ запутывается въ ощущеніяхъ сво-

ихъ и проситъ помощи друга. «Когда бы ты, добрый геній, былъ со мною!» восклицаетъ онъ. Зная основанія его, мы вполнѣ вѣримъ его жалобамъ, какъ вѣримъ безпокойству человѣка, потерявшаго прямую дорогу, и убѣждены въ искренности его восклицанія: «Кто бы сказалъ, что эта ничтожная связь можетъ разрушить блаженство человѣка!»

Между тѣмъ деревенскій романъ кончился отъѣздомъ Станкевича въ Москву, но онъ, спустя нѣсколько времени, возобновился здѣсь 17-го сентября 1833. Станкевичъ пишетъ къ другу письмо, въ которомъ находимъ слѣдующія слова: «Другъ, другъ! какая сцена! Цѣлый день былъ я у Бр . . . ., въ театръ думалъ ѣхать съ пріѣзжими знакомыми, ходилъ, усталъ, *изидеальничался*, но ѣду къ нимъ. Пріѣзжаю, она одна сидитъ и гадаетъ на картахъ. . . .» Подробностей объясненія, при такомъ запутанномъ душевномъ состояніи, въ какомъ находился онъ, мы не знаемъ, а знаемъ только результатъ объясненія. Станкевичъ удалился съ твердостію отъ искушеній собственнаго сердца еще болѣе, чѣмъ отъ постороннихъ искушеній. Казалось бы, нравственное требованіе, вполнѣ удовлетворенное его поступкомъ, должно было наградить его душевнымъ миромъ; но это сдѣлалось только наполовину. Въ сердцѣ его раждается новый упрекъ самому себѣ, упрекъ въ невозвратной по-

терѣ мгновенія любви и сочувствія. Сожалѣніе о потерянномъ благѣ еще не скоро уступаетъ мысли, начинающей мало-по-малу пріобрѣтать всю свою твердость. Для того, чтобъ оправдать себя въ собственныхъ глазахъ (онъ считалъ себя виновнымъ!), Станкевичъ то прибѣгаетъ къ извѣстной любимой имъ піесѣ изъ Шиллера: «Resignation», стараясь почерпнуть въ'ней убѣжденіе, что изъ двухъ цвѣтковъ, надежды и наслажденія, ему достался въ удѣлъ только первый, то спасается за объявленіемъ, что въ минуту свиданія онъ былъ боленъ и разстроенъ, то съ гордостію упоминаетъ о блаженствѣ потерять существо, съ которымъ *разлучила тебя твоя мысль*. Скорый отъѣздъ молодой особы свѣялъ съ души Станкевича послѣдніе остатки этой мгновенной бури, а новая возникающая привязанность вскорѣ стала наполнять тѣ скоро исправимыя разрушенія, которыя прежняя оставила по себѣ.

Нѣтъ ничего легче, какъ посмѣяться надъ подобными противорѣчіями съ самимъ собою, назвать ихъ романтизмомъ, идеальничаньемъ, рефлексіей и пожать плечами, сожалѣя о времени, которое утрачено человѣкомъ на подобные вздоры. Дѣйствительно, можно гораздо проще понимать отношенія между людьми. Два существа сошлись лицомъ къ лицу въ жизни — чего же болѣе? вотъ уже и пара. Такое очевидное, и какъ говорятъ

обыкновенно, здоровое представленіе жизни, къ сожалѣнію, сдѣлалось чуть ли не общимъ, благодаря исключительнымъ теоріямъ простоты и естественности. Есть запутанность болѣе почетная и нравственная, чѣмъ иная здоровая простота, поклонниковъ которой мы нынѣ встрѣчаемъ такъ много, даже въ молодыхъ людяхъ. Естественность ихъ требованій, ясность ихъ поводовъ, прямое направленіе ихъ воли и душевное спокойствіе ихъ—все это только признаки ихъ испорченности. Человѣкъ, сходящій съ ума отъ призрака, конечно, достоинъ сожалѣнія; но человѣкъ, никогда не знавшій ничего, кромѣ ближайшихъ, положительныхъ цѣлей, врядъ ли не болѣе заслуживаетъ его. Страданія Станкевича, его тяжелые переходы отъ одной идеи къ другой и наклонность изчерпывать все, что въ нихъ заключается — кажутся намъ явленіями избранной натуры. Въ такихъ страданіяхъ выработывается глубокое нравственное чувство, и изъ такихъ страданій выходитъ наконецъ мужъ долга и чести.

Побѣдивъ наконецъ игру физическихъ силъ и покоривъ ихъ своей волѣ, Станкевичъ обрѣтаетъ новую пріязнь, которая тоже сама идетъ навстрѣчу ему — но какая разница въ направленіяхъ! Уже наученный опытомъ, онъ принимаетъ благоразумныя мѣры противъ опасной короткости сношеній и собирается крѣпко стоять насторожѣ про-

тивъ того, что̀ самъ называетъ братскою любовью [1]). Всѣ эти предосторожности оказались вскорѣ не нужными, мысль его скоро получила свободу, но дальнѣйшій опытъ показалъ ему воз-

---

[1]) Нѣсколько позднѣе Станкевичъ изложилъ въ стихахъ впечатлѣніе, оставленное обѣими его наклонностями. Онъ послалъ стихи въ «Молву», прося напечатать ихъ подъ именемъ: *Гирченко*. Вотъ они:

ДВѢ ЖИЗНИ

Я. М. Н—у

Was ist das Leben ohne Liebesglanz?
SCHILLER.

Печально идутъ дни мои,
Душа свой подвигъ совершила:
Она любила — и въ любви
Небесный пламень истощила.

Я два созданья въ міръ зналъ,
Мнѣ въ двухъ созданьяхъ міръ явился;
Одно я пламенно лобзалъ,
Другому пламенно молился.

Двѣ дѣвы чтитъ душа моя,
По нимъ тоскуетъ грудь младая:
Одна роскошна какъ земля,
Какъ небеса свята другая.

И мнѣ ль любить, какъ я любилъ?
Я ль пламень счастія разрушу?
Мой другъ! двѣ жизни я отжилъ
И затворилъ для міра душу.

1834 г.

Въ этой поэтической призмѣ, настоящія, жизненныя черты событій до того сгладились, что послѣдній стихъ уже совершенно противорѣчитъ истинѣ, какъ скоро увидимъ.

можность драмы и для подобныхъ отношеній. Мы видимъ изъ переписки Станкевича, что сближеніе и отдаленіе равно поставлялись ему въ вину, равно возбуждали подозрительность и даже горькія обвиненія . . . И тутъ-то отрадно дѣйствуетъ на читателя примѣръ человѣка, ни на минуту не забывавшаго во всѣхъ этихъ, конечно тяжелыхъ волненіяхъ, того уваженія, которымъ обязанъ онъ благородному женскому лицу, а еще болѣе того уваженія, даже къ нераздѣляемому чувству, которое составляетъ именно *честь* мущины. Снисхожденіе къ нравственнымъ страданіямъ женскаго сердца было заколдованною чертой для Станкевича, которую онъ не могъ переступить. И такимъ образомъ, исторія первыхъ его наклонностей становится исторіей его моральнаго развитія, и молодыя страсти, явившіяся съ годами, дѣлаются орудіями его усовершенствованія и приготовляютъ изъ него, наравнѣ съ другими дѣятелями, полный благородный и поэтическій характеръ, какой мы и постараемся передать читателю въ дальнѣйшемъ описаніи нашемъ.

ПЕРІОДЪ
СЛУЖБЫ и ЖИЗНИ СТАНКЕВИЧА
ДО ОТПРАВЛЕНІЯ ЗА ГРАНИЦУ
съ 1834 — 1837.

—

§ I.

НРАВСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТЪ ВЪ СТАНКЕВИЧѢ И ВЫХОДЪ ИЗЪ НЕГО.

Въ 1834 году, Станкевичъ покидаетъ университетъ, окончивъ курсъ и получивъ степень кандидата. Онъ тотчасъ же отправляется въ Петербургъ, какъ видно это по значительному перерыву въ его корреспонденціи съ другомъ (съ 11 марта по 27 апрѣля). Онъ и прежде собирался къ нему потолковать о многомъ, что не укладывается на бумагу и лучше передается однимъ полусловомъ, чѣмъ цѣлыми страницами письма. Давнишнее желаніе его было теперь исполнено, и полтора мѣсяца,

проведенные съ Я. М. Н-ъ въ Петербургѣ, принадлежатъ, по своимъ послѣдствіямъ, къ весьма важнымъ эпохамъ жизни Станкевича.

Въ Петербургѣ, вѣроятно, рѣчь шла объ отысканіи какого-нибудь существеннаго занятія, о значеніи службы, какъ дѣятельности, правильно и точно опредѣленной, о приготовленіи себя къ экзамену на магистра и о наблюденіи за своею наклонностію къ фантазіямъ, къ воображаемымъ задачамъ, которыя всѣ уже рѣшены историческимъ и другими путями. Все это сильно подѣйствовало на умъ Станкевича, да иначе и не могло быть: время мечтаній и предчувствій должно было прекратиться съ окончаніемъ университетскаго курса. Онъ понималъ, что стоитъ на окраинѣ жизни, и глазъ его охватывалъ необозримое поле существованія, которое разстилалось передъ нимъ. Надо было отыскать мѣсто въ этомъ пространствѣ, а слова его опытнаго друга указывали ему на одно существенное условіе, которымъ пріобрѣтается тамъ осѣдлость и права гражданства. Слѣдовало ограничить свои пытливые запросы, избрать родъ дѣятельности, приписываться, такъ-сказать, къ почвѣ, усмирить бродячую фантазію и навсегда отсѣчь у мысли своей поползновеніе къ философскимъ странствованіямъ по свѣту. Свобода представленія предметовъ еще могла быть допущена на студенческой скамьѣ, но въ человѣкѣ она должна усту-

пить мѣсто благоразумной подчиненности общему пониманію ихъ. Проникнутый этими мыслями, Станкевичъ возвращается къ себѣ въ деревню, въ Удеревку, и приступаетъ къ труду образованія изъ себя скромнаго работника по какой-либо наукѣ. Выборъ его падаетъ на исторію, хотя дотолѣ никогда не приходило ему въ голову посвятить себя исключительно этому предмету. Правда и то, что насильственное избраніе рода дѣятельности, по приговору случайной нужды, сопровождается у Станкевича уже постоянно признаками душевнаго безпокойства и разлада съ собою, которыхъ онъ ни устранить, ни одолѣть не можетъ.

По прибытіи въ деревню, онъ устраиваетъ свои занятія, открывая ихъ обширнымъ, многостороннимъ чтеніемъ. Онъ начинаетъ съ Геродота, переходитъ отъ него къ Ѳукидиду, перечитываетъ Иліаду, Одиссею, и старается дать систему своимъ упражненіямъ. Плодомъ этого неутомимаго чтенія остаются нѣкоторыя замѣтки о писателяхъ, а въ томъ числѣ превосходная характеристика Ѳукидида и его исторіи, которая, по нашему мнѣнію, въ 20-лѣтнемъ читателѣ обличаетъ весьма развитой историческій смыслъ. Указываемъ на письмо Станкевича отъ 20 ноября 1835 г., гдѣ содержится взглядъ его на *несправедливыхъ* Аѳинянъ, которымъ однакожъ цѣлые города, какъ

Платея, приносили себя въ жертву, на доблестныхъ Спартанцевъ, качества которыхъ менѣе трогательны, чѣмъ пороки Аѳинянъ, на длинныя рѣчи, влагаемыя Ѳукидидомъ въ уста своихъ героевъ, и на ихъ историческую достовѣрность — все это носитъ печать не совсѣмъ обыкновенной даровитости. Такъ около полугода проводитъ свое время Станкевичъ въ двухъ небольшихъ комнаткахъ, не оштукатуренныхъ, а только вымазанныхъ. Два зеркальца въ одной изъ нихъ, со шкафчиками, набитыми книгами подъ ними; постель въ другой, украшенной еще портретомъ отца Станкевича, ружьемъ и ломбернымъ столомъ, составляли всю мебель; но видъ изъ обѣихъ открывался прямо на луга, поля и на главное строеніе. Изъ убѣжища своего Станкевичъ выходилъ только въ часы, посвященные общимъ семейнымъ собраніямъ, и на охоту.

Во все продолженіе этой тихой, сельской жизни, Станкевичъ видимо старается сузить для себя, если смѣемъ такъ выразиться, горизонтъ дѣятельности и остановить естественный ходъ своего развитія, чтобъ какъ-нибудь попасть въ практическую сферу существованія, которая такъ поразила его въ Петербургѣ. «Я много обязанъ тебѣ и Петербургу, говоритъ онъ; я началъ дорожить временемъ; теперь мнѣ совѣстно прошляться цѣлый день на охотѣ. . . .» Мысль о экзаменѣ на

степень магистра стоитъ на первомъ планѣ, а между тѣмъ его выбираютъ почетнымъ смотрителемъ Острогожскаго уѣзднаго училища и, какъ кажется, по собственной его просьбѣ. «Если министръ меня утвердитъ, прибавляетъ онъ, то у меня будетъ прекрасный мундиръ, а вицъ-мундиръ такой, какъ у тебя.» Но дѣло тутъ было не въ мундирѣ, а въ рѣшимости отыскать себѣ занятіе, полезное въ общемъ, простомъ и обыкновенномъ смыслѣ; къ тому еще побуждалъ его, кромѣ всѣхъ другихъ поводовъ, и примѣръ, который находился въ собственномъ его семействѣ· отецъ Станкевича былъ одинъ изъ числа самыхъ свѣтлыхъ практическихъ умовъ своего времени. Съ обязанностями почетнаго смотрителя соединялась въ мысли нашего Станкевича вся та ограниченная, но плодотворная сфера дѣятельности, которая остается человѣку послѣ того, какъ слишкомъ смѣлый полетъ мысли оказался пустою несостоятельною претензіей. Онъ собирается вывести изъ употребленія наказаніе *палями* въ школахъ, водворить ланкастерскую методу обученія въ приходскихъ училищахъ, написать первоначальный курсъ исторіи для низшаго преподаванія и проч. Онъ пробовалъ даже давать уроки, въ видѣ собственнаго испытанія, братьямъ одного изъ друзей своихъ и т. д. Слѣдуя все далѣе по тому же пути безпрерывнаго обузданія своихъ фантазій и стремленій,

что̀ уже̂ само по себѣ доказывало ненормальное состояніе его души, онъ восклицаетъ, и весьма искренно въ эту эпоху: «Честолюбіе мое насытилось бы вполнѣ, еслибъ я современемъ могъ сдѣлаться инспекторомъ казенныхъ училищъ въ какомъ-нибудь округѣ.» Но природа вообще не скоро поддается усиліямъ и волѣ нашей, хотя бы мы возставали на нее съ большимъ запасомъ рѣшимости и терпѣнія. Пламенное воображеніе не скоро тухнетъ, а иногда горитъ даже тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше стараешься тушить его. Оно напоминало о себѣ Станкевичу поминутно. «Иногда ночью, пишетъ Станкевичъ, когда потушена свѣча, когда воетъ вѣтеръ, чортъ знаетъ, чего не лѣзетъ въ голову: *жизнь кажется скучною церемоніею, будущность безотрадна;* вспоминаешь ничтожныя слова, сны; начинаешь хоронить друзей, чувствуешь тяжесть въ груди и засыпаешь безпокойно . . . . разсвѣтетъ, и вся тоска пропала, и первое движеніе — молитва. . .» Упорнѣе самаго воображенія держится жажда полноты знанія и полноты жизни, разъ возбужденная въ душѣ нашей: противъ этой жажды безсильны всѣ доводы разсудка. Ее нельзя смирить ни увѣщаніями, ни преслѣдованіями. Станкевичъ хорошо выражалъ присутствіе этого дѣятеля въ себѣ, когда говорилъ: «одна мысль объ *односторонности*, связанная съ мыслію о нравственномъ усыпленій, въ состоя-

ніи все отравить для меня.» Но когда воображеніе и потребность обширной дѣятельности совокупно возставали противъ ига, возложеннаго на нихъ, Станкевичъ встрѣчалъ ихъ съ удвоенною энергіей сопротивленія, испытывая себя до конца. Истощивъ всѣ свои средства на эту борьбу, онъ прибѣгаетъ обыкновенно къ молитвѣ. «Я не молюсь о своемъ счастіи, говоритъ онъ въ одномъ письмѣ, *съ меня довольно быть человѣкомъ*. Я говорю: Господи! буди въ сердцѣ моемъ и дай мнѣ совершить подвигъ на землѣ; и если слезящій взоръ обратится къ нему съ другою, невольною молитвою, я говорю — но да будетъ, не яко же азъ хощу, но яко же ты хощеши.» Наконецъ, съ теплою надеждой на успѣхъ обращается Станкевичъ къ одному еще остающемуся истоку для безпокойной его мысли, когда всѣ другіе выходы были у нея отняты, или закрыты имъ самимъ: онъ собирается посвятить себя на воспитаніе молодаго поколѣнія. Въ этомъ планѣ видитъ онъ обрѣтеніе того цѣлительнаго средства, которое должно окончательно примирить его съ собою. «Если у меня теперь есть, говоритъ онъ, какая-нибудь *idea fixa*, то это о воспитаніи въ духѣ нравственности и религіи, о возможности поддержать ее и о ускореніи всѣми силами человѣчества на пути его къ царствію Божію, къ чести, къ вѣрѣ.» Но и этотъ планъ, такъ рѣшительно и смѣло при-

нятый, свидѣтельствовалъ, по самой необъятности своей задачи, что онъ есть произведеніе иной силы, чѣмъ твердой и скромной готовности служить ближнему на всякомъ поприщѣ. Онъ былъ, какъ и все прочее, болѣзненнымъ крикомъ души, обузданной въ своихъ стремленіяхъ, но нисколько не направленной къ истиннымъ своимъ потребностямъ. Такъ переживалъ Станкевичъ послѣдній искусъ, предшествующій возрасту мужества и крѣпости, и еслибы намъ ничего не осталось отъ Станкевича, кромѣ формы, въ которой выражались тогдашнія его страданія, то одна эта форма могла бы служить свидѣтельствомъ его теплой, истинно-человѣческой и богатой натуры.

Мы видѣли, какъ часто Станкевичъ ищетъ прибѣжища и утѣшенія въ религіозномъ чувствѣ. Природное влеченіе, конечно, звало его туда каждый разъ, какъ омраченное сознаніе требовало свѣта и помощи; но въ эту эпоху онъ съ удвоенною энергіей держится за обычнаго своего руководителя. Дѣло въ томъ, что и довѣріе къ любимой наукѣ, еще не изслѣдованной вполнѣ, тоже потрясено было вмѣстѣ съ другими началами. Впрочемъ, поверхностное знакомство съ отдѣльными мыслями философскихъ системъ должно было освѣтить душу его тѣмъ слабымъ, мерцающимъ свѣтомъ, который не есть полная ночь, но такъ же далекъ и отъ отраднаго сіянія дня: нерѣшительность, томленіе и

грусть бываютъ вообще неразлучными ступниками этихъ сумерекъ мысли. Болѣзненное состояніе мыслящей способности, необходимое для укрѣпленія и дальнѣйшаго роста ея, выражалось у Станкевича общимъ сомнѣніемъ въ силѣ разума, сомнѣніемъ въ возможности соглашенія противоположныхъ ученій. Такъ продолжалось до начала 1836 года. Въ теченіе полутора года, этотъ свѣтлый и въ высшей степени совѣстливый умъ, какъ, по справедливости, выразился одинъ изъ друзей Станкевича о немъ, лишенъ былъ основаній и опирался только на Монтаньевское скептическое: «можетъ-быть». Дѣйствительно, оно служило ему какъ бы временнымъ прибѣжищемъ, откуда, не переставая трудиться, искать и мыслить, ожидалъ онъ появленія дня и минуты выхода на твердую почву. Въ продолженіе этого срока, Станкевичъ отказался отъ всѣхъ претензій на творчество, сдѣлалъ строгую нравственную повѣрку существа своего, приготовляя въ себѣ мужа и будущаго дѣятеля, хотя въ 1835 году ему былъ только 22-й годъ. Когда же минуты грусти и сомнѣній слишкомъ отягощали его сердце, онъ погружался въ самого себя, въ религіозное свое чувство, и тамъ уже находилъ спокойствіе, свободу и безопасность[1]).

---

[1]) Существуетъ повѣсть Станкевича «Нѣсколько мгно-

Задумчивый оттѣнокъ, который лежитъ на всей перепискѣ Станкевича, принадлежащей къ этому времени, еще усиливается, когда роковая болѣзнь, носимая имъ въ груди, начинаетъ возвышать свой голосъ. Еще и прежде исповѣдь Станкевича прерывалась жалобами на бѣдность и немощи своего организма; теперь, словно въ уровень съ духовнымъ состояніемъ, физическая его оболочка поминутно испытываетъ глубокія потрясенія, которымъ не суждено было миноваться, какъ первому. Въ теченіе трехъ годовъ его переписки, обнимающей время пребыванія на службѣ, переѣздовъ изъ Москвы въ деревню и обратно, большаго вояжа на Кавказъ въ 1836 и отправленія за грани-

---

веній изъ жизни графа Т* . . .» (см. Телескопъ 1834 г., часть 21) съ подписью Ф. Зоричъ, въ которой находятся черты, соотвѣтствующія психическому состоянія Станкевича около 1834 г. Въ ней сказалась дума или предчувствіе автора относительно будущей судьбы своей. Тонъ повѣсти торжественный, лирическій, и авторъ ея рисуетъ молодаго человѣка, который преждевременно погибъ отъ полноты внутренней жизни, оставивъ послѣ себя любимую женщину и друга. Начало повѣсти особенно замѣчательно тѣмъ, что представляетъ картину развитія юной, благородной натуры, искавшей въ наукѣ дополненія неумолкающимъ требованіямъ чувства и въ страстномъ, религіозномъ чувствѣ послѣдняго слова науки. Черты эти, какъ мы видѣли и еще увидимъ, дѣйствительно составляли отличительную принадлежность глубоко-нравственной природы Станкевича.

цу въ слѣдующемъ 1837 году, — лицо Станкевича безпрестанно сопровождается въ умѣ читателя призракомъ смерти, который, кажется, слѣдитъ за нимъ неотступно. Но странное дѣло! болѣзнь вноситъ еще одну привлекательную черту въ его физіономію, надѣленную множествомъ обаятельныхъ подробностей. Изящество всего существа Станкевича нигдѣ не выразилось съ такою полнотой и силой, какъ въ способѣ говорить о своихъ страданіяхъ. То, что безобразитъ, раздражаетъ и лишаетъ человѣка его настоящаго характера, является у Станкевича въ видѣ грустной, тихой жалобы, освѣщаетъ лицо его удивительно кроткимъ, нѣжнымъ свѣтомъ, способствуетъ къ уразумѣнію его души. Онъ пишетъ о своихъ страданіяхъ какъ-будто рисуетъ картину съ художническою цѣлью, и поэтическій элементъ является тутъ безъ вѣдома его, только какъ естественная принадлежность его природы. Вотъ напримѣръ одно мѣсто этого рода изъ трогательнаго и превосходнаго письма отъ 11 декабря 1834: «Что досаднѣе всего, — я не могу какъ прежде надолго предаться одной, постоянной мысли, которая бы совершенно меня наполнила; не могу жить, какъ думалъ, а всякая другая жизнь для меня прозябеніе. Часто я Богъ знаетъ какъ разфантазируюсь о своихъ подвигахъ, потребность дѣятельности не даетъ мнѣ покоя — и что же? прочту нѣсколько

строкъ — въ головѣ туманъ и опять отчаяніе... Я почти пересталъ заниматься... Знаешь ли ты стихотвореніе Пушкина: «Второе ноября»?—вотъ вѣрное изображеніе моей деревенской, зимней жизни. Теперь я пишу къ тебѣ вечеромъ, на дворѣ воетъ метель, *свѣча темно горитъ, отъ грусти сердце ноетъ*. Головѣ немножко отлегло, и я могу предаться сладкому раздумью: ты не можешь себѣ представить, какъ отрадны бываютъ мнѣ рѣдкія минуты облегченія, — будь я музыкантъ, кажется, сталъ бы импровизировать; слова̀, слова̀, какъ выраженіе опредѣленныхъ понятій, бѣгутъ меня, я боюсь всего опредѣленнаго, всего точнаго: это производитъ головную боль. Моцартовъ Донъ Жуанъ подкрѣпляетъ и утѣшаетъ меня больше всего.» Иногда, впрочемъ, молодая жизнь, какъ-будто возмущенная жестокимъ приговоромъ судьбы, вступаетъ во всѣ права свои, и дней на пять, на шесть обрѣтаетъ снова энергію, бодрость и веселіе, какія должны бы всегда сопутствовать ей. Тогда (особенно, если эта реакція организма совпадала съ днемъ праздника и съѣздомъ знакомыхъ въ одно мѣсто, какъ случилось въ новый 1835-й годъ) Станкевичъ предается живой натурѣ своей съ неописаннымъ увлеченіемъ; комическій талантъ его, способность перениманія чужихъ пріемовъ, даръ забавныхъ разказовъ и шутокъ, разъ вертываются шумно и свободно; онъ устраивает-

гаданья, переряживанья, пѣсни, пляски, театръ, гдѣ самъ играетъ (и по обыкновенію очень хорошо). Какъ-будто желая забыться отъ физическихъ страданій и духовныхъ безпокойствъ, онъ встрѣчаетъ 1835 годъ пѣсенкой Гюго:

La tombe est noire,
Les jours sont courts,
Il faut, sans croire
Aux faux discours,
Très souvent boire —
Aimer toujours.

и сравниваетъ минутное свое увлеченіе съ чуднымъ мѣстомъ Моцартовскаго Донъ-Жуана: treibt der Champagner. Но энергія испаряется, какъ пѣна шампанскаго; напряженное веселіе исчезаетъ въ усталости, и болѣзнь, послѣ краткаго отдыха, снова дастъ чувствовать свою горькую отраву, свое ничѣмъ непритупимое жало. Надо читать у Станкевича описаніе этихъ переходовъ и испытать на себѣ драматическое свойство ихъ: тогда только становится понятна борьба молодыхъ силъ въ возрастающимъ недугомъ.

«.... Огни погашены,
Гирлянды сняты со стѣны, »

говоритъ Станкевичъ въ одномъ мѣстѣ, «и мнѣ стало грустнѣе прежняго! какъ-будто судьба издали, на мгновеніе, показала мнѣ радости жизни, чтобъ я зналъ, *чего* она меня лишаетъ.» Снова

текутъ его жалобы, по обыкновенію исполненныя такой граціи и скромности, что невольно удивляешься человѣку, способному такъ смотрѣть на свои страданія. Впечатлѣніе удвоивается, когда видишь вмѣстѣ съ тѣмъ, что требованія нравственнаго рода не покидаютъ Станкевича ни на минуту, и что онъ ужасается своей болѣзни не столько за дѣйствіе ея на тѣло, сколько за дѣйствіе ея на душу. «Убійственна для меня мысль: болѣзнь похищаетъ у тебя душевную энергію; ты ничего не сдѣлаешь для людей. Природа можетъ-быть дала тебѣ средства стать, если не выше толпы, то въ переднихъ рядахъ ея, а болѣзнь забиваетъ въ середину.» Немного далѣе, онъ уже возвращается къ личному своему характеру, ужасаясь возможности его порчи вслѣдствіе долгаго гнета физической немощи. «Послѣднее письмо твое утѣшило меня, наставило. Да, я буду мужемъ, я притерплюсь къ боли, но жаль, если я сдѣлаюсь холоднымъ стоикомъ: я отъ себя этого не надѣялся.» Стоикомъ онъ не сдѣлался и до кончины сохранилъ въ цѣлости всю нравственную основу свою.

Въ концѣ января 1835 г., Станкевичъ отрывается отъ деревни и уѣзжаетъ въ Москву, встрѣчая съ обыкновенною радостію знакомый городъ, къ которому онъ всегда чувствовалъ непреодолимую любовь. Радость была на этотъ разъ, можетъ-статься, слѣдствіемъ предчувствія. Въ Мос-

квѣ нашелъ онъ, вопервыхъ, опору для мысли, разрѣшеніе своихъ колебаній въ твердой рѣшимости продолжать прежде начатое дѣло философскаго образованія, а вовторыхъ, неожиданную любовь, потребность которой была у него равносильна со всѣми другими потребностями.

Оставляемъ нѣкоторыя подробности, касающіяся послѣдняго обстоятельства, которыя, какъ увидимъ, не лишены своего рода поученія, до слѣдующей главы, а теперь займемся преимущественно исторіей возстановленія умственныхъ наклонностей Станкевича и утвержденія ихъ на почвѣ, уже болѣе не измѣнявшей ему никогда. Тотчасъ по прибытіи въ Москву, Станкевичъ, по собственнымъ его словамъ, *нечаянно напалъ* на Шеллинга. Въ этой случайности есть однакожь, что̀ бы онъ ни говорилъ, нѣкоторая послѣдовательность. Нечаянность тутъ должна пониматься не въ смыслѣ перваго слуха о системѣ, а въ смыслѣ перваго дѣльнаго изученія ея: Станкевичъ попалъ только на прилежное изученіе источниковъ науки, которой занимался и прежде. Онъ предался изученію тѣмъ съ бо́льшимъ рвеніемъ, чѣмъ сильнѣе сдерживалъ его во все время пребыванія въ деревнѣ. Со всѣмъ тѣмъ какое-то опасеніе еще мѣшаетъ ему открыть тайну петербургскому товарищу; но какъ дружба имѣетъ своего рода обязательства и законы, то Станке-

вичъ рѣшается сообщить ему въ формѣ шутки о новомъ, или лучше возобновленномъ своемъ направленіи. «Съ Ключн., говоритъ онъ, мы читаемъ одинъ разъ въ недѣлю Шеллинга: *это пріемъ самый умѣренный*. Мы хотимъ непремѣнно вполнѣ понять его, ясно увидѣть ту точку, до которой могъ дойдти умъ человѣческій въ свою долговременную жизнь . . .» и проч. Эти уклончивыя строки, въ которыхъ цѣлью изученія философіи становится не сама она, а постороннія соображенія — написаны въ мартѣ 1835 г., когда изученіе Шеллинга сдѣлало у Станкевича значительные успѣхи. Между тѣмъ, въ томъ же году, Станкевичъ близко сходится съ молодымъ офицеромъ, только-что вышедшимъ въ отставку и прочитывавшимъ отъ скуки французскіе трактаты о сенсуализмѣ, какъ началѣ всякаго познанія. Станкевичъ засаживаетъ его прямо съ Кондильяка за Гегеля, потому что и самъ уже перешелъ, втайнѣ отъ петербургскаго друга, къ системѣ этого мыслителя, производившей тогда сильное волненіе въ Германіи. Молодой офицеръ оказался человѣкомъ необычайнаго логическаго ума, отличавшагося строгою, сжатою діалектикой, и съ врожденными способностями къ философскимъ занятіямъ, способностями, которыя помогали ему легко открывать живой смыслъ въ самыхъ сухихъ отвлеченностяхъ. Усиленный морально этою помощью, еще болѣе поддерживаемый

сущностію самаго ученія Гегеля, въ которомъ онъ искалъ вмѣстѣ со всѣми товарищами примирительныхъ отвѣтовъ на всѣ свои вопросы, Станкевичъ перемѣняетъ тонъ и возвышаетъ голосъ при заглазной бесѣдѣ съ отсутствующимъ петербургскимъ другомъ. Какъ и слѣдовало ожидать отъ его гуманной природы, прежде всего старается онъ передать убѣжденія, почерпнутыя въ наукѣ, сдѣлать товарища причастникомъ общаго ея достоянія, и слова его исполнены достоинства, теплоты, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ свѣтлой, неотразимой истины. Мы не можемъ располагать письмами Станкевича въ нашемъ біографическомъ очеркѣ и должны ограничиться немногими выдержками. Вотъ одна изъ нихъ, писанная Станкевичемъ въ концѣ этого замѣчательнаго года (20 декабря 1835): «Я знаю твои старыя замашки. Ты всегда былъ противъ философіи, и ты правъ въ отношеніи къ себѣ. Душа у тебя переполнилась *убѣжденіемъ*. Я самъ имѣю *убѣжденія*, но сообщить ихъ людямъ въ нашъ вѣкъ иначе нельзя, какъ доведши ихъ до нѣкоторой степени знанія. Кромѣ этого признаюсь тебѣ, другъ мой, ходъ человѣческаго ума, его стройное развитіе и приращеніе, вѣчная истина, облекающаяся въ разныя одежды, соотвѣтственно вѣку и народу, и все болѣе и болѣе являющая свою сущность — какое явленіе можетъ быть занимательнѣе? . . . Ты говоришь, что я всегда оши-

бался въ призваніи. Иногда. Это участь всѣхъ. Но философію я не считаю моимъ призваніемъ: она можетъ-быть ступень, черезъ которую я перейду къ другимъ занятіямъ; но прежде всего я долженъ удовлетворить этой потребности. И не столько манитъ меня рѣшеніе вопросовъ, которые болѣе или менѣе рѣшаетъ вѣра, сколько самый *методъ*, какъ выраженіе послѣднихъ успѣховъ ума. Я еще болѣе хочу убѣдиться въ достоинствѣ человѣка и, признаюсь, хотѣлъ бы убѣдить потомъ другихъ и пробудить въ нихъ высшіе интересы.» Есть еще нѣкотораго рода осторожность въ этихъ словахъ, но въ нихъ уже замѣтно, что мысль Станкевича начинаетъ освобождаться отъ предубѣжденій относительно любимаго своего предмета. Годъ времени прошелъ не даромъ для Станкевича. Между прочимъ, Бѣлинскій, съ обыкновенною своею живостію и послѣдовательностію доведшій схваченныя имъ идеи новой системы, какъ извѣстно, до крайняго ихъ смысла, передъ которымъ самъ остановился, занялся въ это же время редакціею журнала «Телескопъ», перешедшаго къ нему съ № 7 (1835), по случаю отъѣзда редактора Н. И. Надеждина за границу. Рядомъ статей, слѣдовавшихъ одна за другою [1]), онъ тотчасъ же превратилъ «Телескопъ»

---

[1]) Вотъ перечень ихъ: статья «О Русской повѣсти и повѣстяхъ г. Гоголя»; подробные разборы: «Стихотворе-

изъ эклектическаго, поверхностнаго и какъ-то беззаботно-умнаго журнала, въ критическій журналъ, съ эстетическимъ характеромъ, съ ясною и строгою цѣлью — опредѣлить отношенія литературныхъ дѣятелей къ поэзіи, мысли, обществу и нравственности. Малая опытность Бѣлинскаго въ хозяйственной части помѣшала ему вести журналъ одинаково ровно; но время его завѣдыванія (по декабрь 1835) [1]) все-таки отличило «Телескопъ» отъ предшествовавшей и послѣдующей редакцій. Въ журналѣ его (№ 13, 14 и 15 1835 г.) Станкевичъ помѣстилъ большую переводную статью: «Опытъ о философіи Гегеля», соч. Вильма, да Станкевичу же, какъ намъ кажется, принадлежитъ и переводъ статьи Минье: «Лютеръ на Вормсскомъ сеймѣ,» напечатанной въ № 8 журнала того же года. Между тѣмъ переписка его съ Я. М. П—ъ продолжается безостановочно. Въ половинѣ слѣдующаго 1836 года онъ уже выступаетъ передъ нимъ съ откровенною защитой ума, какъ первенствующей душевной способности. Это уже былъ полный выходъ къ наукѣ, и Станкевичъ становится къ ней

ній г. Баратынскаго», «Стихотвореній Владиміра Бенедиктова» и «Стихотвореній Кольцова.»

[1]) Бѣлинскій успѣлъ до января 1836 года издать всего шесть книжекъ, именно съ № 7-го по 14-й. Остальныя доданы были въ теченіи 1836 г. самимъ Надеж-

съ этого времени въ симпатическія отношенія, исполненныя довѣренности и надежды... Не мало способствовалъ установленію этого гармоническаго союза и предметъ его изученій, германская философія, объяснявшая участіе разума во всей вѣковой жизни человѣческаго рода. Опираясь на нее и на собственныя убѣжденія, укрѣпленныя ею, Станкевичъ уже пишетъ слѣдующія строки отъ 21 сентября 1836 года: «Человѣкъ, который имѣетъ душу, любитъ искусство и сознаетъ что-то похожее на разумъ и гармонію въ кучѣ разныхъ разностей, которую онъ называетъ природой, человѣкъ, который вѣритъ иногда уму, напримѣръ хоть въ томъ, что $5 \times 5 = 25$, не долженъ бояться свободнаго хода мысли ни въ какомъ отношеніи. *Ты* никакъ не можешь сказать: умомъ не разрѣшить сомнѣній... Ты, который признаешь разумъ и любовь міра, ты отрицаешь совершенство, ты находишь явную нелѣпость въ организаціи ума, который есть вѣнецъ созданія.... Каждое созданіе есть совершенство; одинъ умъ имѣетъ потребности, которыхъ онъ удовлетворить не можетъ, одинъ онъ уродъ въ Божьемъ созданіи, изгнанникъ изъ общей гармоніи, и это оторванное звено вселенной называется частицею Божества. Такое убѣжденіе — нелѣпость. Да и чѣмъ передается тебѣ убѣжденіе? не умомъ ли? Развѣ убѣжденіе не есть мысль, мысль, одобряемая цѣ-

лымъ разумѣніемъ, которое невольно и безотчетно сознаетъ свое единство съ нею?...» Какъ бы желая отвѣчать на самыя затаенныя сомнѣнія друга, Станкевичъ пишетъ еще цѣлую оригинальную статью: «О возможности философіи, какъ науки», которая не нашлась въ его бумагахъ и участь которой, къ сожалѣнію, намъ неизвѣстна. Понятно послѣ того, что онъ не могъ удовольствоваться уступкою, которую Я. М. Н—ъ волею и неволею долженъ былъ сдѣлать для философіи, признавая въ занятіи ею своего рода пользу, какъ и во всякомъ другомъ занятіи. Станкевичъ возражалъ полу-шутливо и полу-серіозно, но твердо, говоря, что подобнаго рода уваженіе къ философіи хуже вражды къ ней и не заслуживаетъ никакой благодарности съ ея стороны. Вмѣстѣ съ тѣмъ Станкевичъ объясняетъ, что путь его избранъ навсегда, и во избѣжаніе будущихъ недоразумѣній, тутъ же предлагаетъ новое правило для взаимныхъ отношеній: не смотрѣть на разность мнѣній другъ у друга и помнить, что связь ихъ основана не на мнѣніяхъ, а на сочувствіи, какое всегда бываетъ у людей, одинаково полюбившихъ добро (письмо 1836 г. октября). Конечно, другъ его былъ встревоженъ этимъ изложеніемъ основаній, этимъ profession de foi, разграничивающимъ область дружбы и правъ ея отъ области мышленія, гдѣ всѣ ея права безсильны. Новымъ

письмомъ отъ 25-го января 1837 года Станкевичъ успокоиваетъ его, но удерживаетъ дѣленіе свое и смотритъ на него, какъ на дѣло, совершенно порѣшенное и неизбѣжное. Ему представляется одна только связь — основанная на единствѣ стремленій къ добру, поэзіи, любви. «Безъ нея, прибавляетъ Станкевичъ, сходныя понятія такъ же мало упрочатъ дружбу, какъ одна привычка, которая имѣетъ силу только при другихъ важнѣйшихъ условіяхъ. Нѣтъ, мы никогда не разойдемся: отчего я такъ убѣжденъ въ этомъ?» Такимъ оброзомъ, вліяніе друга, вначалѣ столь благодѣтельное для Станкевича, было теперь пережито. Станкевичъ шелъ своимъ путемъ, а отъ невольнаго предчувствія, что можетъ идти далеко, — самая переписка его въ послѣднее время мало-по-малу принимаетъ твердый, поучающій характеръ. Станкевичъ начинаетъ говорить, какъ человѣкъ власть имѣющій, достигшій уже извѣстной высоты и поджидающій къ себѣ другаго. . .

Около того же времени возникаетъ у Станкевича другая, не менѣе замѣчательная переписка съ лицомъ, столь извѣстнымъ въ нашемъ ученомъ и литературномъ мірѣ, съ Т. Н. Грановскимъ. Грановскаго Станкевичъ узналъ только въ февралѣ 1836 года, когда тотъ проѣзжалъ черезъ Москву на пути въ деревню къ роднымъ своимъ. Грановскій ѣхалъ проститься съ ними, собираясь въ путе-

шествіе за границу, куда посылаемъ былъ для приготовленія себя къ занятію каѳедры исторіи. 4-го мая 1836 года состоялось дѣйствительно въ Петербургѣ опредѣленіе объ отправленіи его, и вслѣдъ за тѣмъ онъ уѣхалъ. Въ Москвѣ пробылъ онъ весьма короткое время, можно сказать, нѣсколько мгновеній; но этихъ мгновеній уже достаточно было, чтобъ затянуть между двумя людьми, тотчасъ же понявшими другъ друга, самую близкую и крѣпкую связь.

По прибытіи въ Берлинъ и, какъ извѣстно, съ запасомъ довольно скудныхъ свѣдѣній, Грановскій, можно сказать, былъ приведенъ въ ужасъ необъятнымъ полемъ нѣмецкихъ историческихъ разысканій, которое открылось передъ нимъ. На него напалъ страхъ и уныніе. Сомнѣніе въ своихъ силахъ и въ возможности одолѣть всю эту массу ученыхъ изслѣдованій, сомнѣніе, хорошо извѣстное всякому, кто добросовѣстно начинаетъ какое-либо дѣло, отразилось въ его письмахъ. Должно-быть онъ слишкомъ много далъ въ нихъ мѣста отчаянію и грусти, потому что Станкевичъ, по прочтеніи ихъ, сказалъ: «Сухое страданіе — нехорошій признакъ. . . Обстоятельствамъ не надо давать воли надъ собою; есть отрада въ чувствѣ свободы, которая въ самой скорби сознаетъ свое могущество.» Вообще природа Станкевича не могла выносить страданія безъ облегчительной при-

мѣсн поэзіи, и въ сухомъ страданіи, какъ онъ выражается, онъ всегда наклоненъ былъ подозрѣвать грубо-эгоистическое основаніе. Онъ поспѣшилъ на помощь новому другу письмомъ изъ Пятигорска, гдѣ тогда находился (отъ 14 іюня 1836 года). Въ этомъ замѣчательномъ письмѣ, которое мы особенно рекомендуемъ читателю, онъ умоляетъ Грановскаго положить въ основу своихъ трудовъ — идею, добыть міросозерцаніе, на которомъ правильно и легко расположатся сухіе факты, весь матеріялъ науки. «Мужество, твердость, Грановскій! восклицаетъ онъ, не бойся этихъ формулъ, этихъ костей, которыя облекутся плотію и возродятся духомъ по глаголу Божію, по глаголу души твоей. Твой предметъ — жизнь человѣчества: ищи же въ этомъ человѣчествѣ образа Божія; но прежде приготовься трудными испытаніями — займись философіею! Занимайся тѣмъ и другимъ: эти переходы изъ отвлеченной къ конкретной жизни и снова углубленіе въ себя — наслажденіе! Тысячу разъ бросишь ты книги, тысячу разъ отчаешься и снова исполнишься надежды; но вѣрь, вѣрь — и иди путемъ своимъ.» Но не все еще было сказано имъ. Грановскій, какъ видно, приведенъ былъ даже къ сомнѣнію въ своемъ призваніи: профессорская каѳедра казалась ему предметомъ, находящимся внѣ его силъ, средствъ, способностей. Станкевичъ пишетъ второе письмо,

уже по возвращеніи своемъ въ деревню съ Кавказа, отъ 29 октября 1836 года. Соглашаясь съ мыслію, что не такъ-то легко угадать свое призваніе, Станкевичъ строго возбраняетъ себѣ совѣты въ родѣ: «прислушайся къ душѣ твоей и ступай на зовъ ея», потому что въ извѣстные года многое влечетъ человѣка съ одинаковою силой, да и многое есть въ воспитаніи, что̀ мѣшаетъ душѣ произнести вѣрный приговоръ. Призваніе часто опредѣляется случаемъ, внезапнымъ чувствомъ, неожиданнымъ обстоятельствомъ. Станкевичъ выбираетъ лучшую форму совѣта: онъ разказываетъ Грановскому собственную свою жизнь, со всѣми ея неопредѣленными стремленіями и съ долгимъ колебаніемъ. Исповѣдь Станкевича рѣшаемся мы привести здѣсь цѣликомъ, потому что она кратко, но вполнѣ перечисляетъ все то, о чемъ мы до сихъ поръ говорили въ нашемъ біографическомъ очеркѣ. Этою драгоцѣнною исповѣдью, такъ живо рисующею передъ нами благородное лицо самаго автора ея, заключаемъ мы и исторію послѣдней его борьбы съ своимъ призваніемъ. Онъ обрѣлъ снова старое направленіе, но въ лучшемъ и просвѣтленномъ видѣ. Съ тѣхъ поръ онъ слѣдовалъ ему до конца жизни, расширяя и совершенствуя его наукой, но не измѣняя ему никогда.

«Чтобъ намъ лучше понимать другъ-друга, начинаетъ Станкевичъ, я разкажу тебѣ въ не-

многихъ словахъ исторію моей душевной жизни, исключивъ изъ нея все, что̀ относится къ *домашнему быту* моей души: это дѣло постороннее. Эта исторія можетъ-быть похожа на китайскую; но пусть будетъ такъ. Мальчишка четырнадцати лѣтъ, я *грѣшилъ стихами*, по вѣрному выраженію одного чудака. Я не безъ души, если она во мнѣ и не имѣетъ большихъ достоинствъ. Марая бумагу и вытягивая метафоры и пышныя фразы, иногда что-нибудь и чувствовалъ, особенно въ послѣднюю эпоху моего стихотворства, когда я вышелъ изъ-подъ опеки *учителя поэзіи* и началъ понемножку лучше понимать сущность искусства и нѣкоторыя стороны жизни. Лекціи Надеждина, какъ ни были онѣ недостаточны, развили во мнѣ (сколько могло во мнѣ развиться) чувство изящнаго, которое одно было моимъ наслажденіемъ, одно—моимъ достоинствомъ и, можетъ-быть, моимъ спасеніемъ! Со всѣмъ этимъ, Грановскій, я не понималъ жизни, я не имѣлъ цѣли, я былъ такъ мѣлокъ и ничтоженъ, что стыжусь вспомнить! Я увлекался мнѣніями недалекихъ людей, я *дорожилъ* мнѣніемъ свѣтской черни, мнѣ казалось стыдно не имѣть знакомыхъ, казалось необходимо быть въ свѣтѣ и стараться играть въ немъ какую-нибудь роль. Я говорю тебѣ все это не запинаясь. Вышедши изъ университета, я не зналъ, за что̀ приняться — и выбралъ исторію. «Давай займусь» — вотъ каковъ былъ

этотъ выборъ. Что̀ я въ ней видѣлъ? Ничего. Просто это было подражаніе всѣмъ, вліяніемъ людей, которые не вѣрили теоріи, привычка къ недѣятельности, которая дѣлала страшнымъ занятіе философіей и изрѣдка обдавала какимъ-то холодомъ невѣрія къ достоинству ума. Шеллингъ, на котораго я попалъ почти нечаянно, опять обратилъ меня на прежній путь, къ которому привела было эстетика — и съ тѣхъ поръ болѣе и болѣе, при всей моей недѣятельности, я началъ сознавать себя. Грановскій, вѣришь ли? Оковы спали съ души, когда я увидѣлъ, что внѣ одной всеобъемлющей идеи — нѣтъ знанія; что жизнь есть самонаслажденіе любви, и что все другое — призракъ. Да, это мое твердое убѣжденіе. Теперь есть цѣль передо мною: я хочу полнаго единства въ мірѣ моего знанія, хочу дать себѣ отчетъ въ каждомъ явленіи, хочу видѣть связь его съ жизнію цѣлаго міра, его необходимость, его роль въ развитіи одной идеи. Что̀ бъ ни вышло, одного этого я буду искать . . . .» [1]).

[1]) Приводимъ еще нѣсколько отрывковъ изъ окончанія этого во всѣхъ отношеніяхъ замѣчательнаго письма, особенно какъ примѣръ твердости и полной зрѣлости, какія наступили для мысли Станкевича въ эту эпоху. «Теперь ты занимаешься исторіей: люби ее какъ поэзію, — прежде нежели ты свяжешь ее съ идеею, — какъ картину разнообразной и причудливой жизни чело-

Спѣшимъ сдѣлать одно замѣчаніе. — Легкій отзывъ Станкевича о пользѣ, принесенной ему изученіемъ исторіи, вызванъ его скромностію и потомъ неоднократно опровергается имъ самимъ въ дальнѣйшемъ ходѣ переписки.

Остановимся здѣсь на минуту. Воспитаніе Станкевича, начатое нѣмецкою поэзіей, завершается, какъ видимъ, философіей. Что это было настоящее нравственное воспитаніе, доказывается замѣчательнымъ восклицаніемъ Станкевича: «искусство, можетъ-статься, было моимъ спасеніемъ!» Дѣйствительно оно, какъ старались мы показать прежде,

---

вѣчества, какъ задачу, которой рѣшеніе не въ ней, а въ тебѣ. . . . Ты скорбишь о томъ, что едва знаешь имена тѣхъ людей, которыхъ Миллеръ называлъ великими. Не говоря о томъ, что насчетъ величія можно имѣть разныя понятія съ Миллеромъ, я скажу одно: что за потребность узнать и того, и другаго, и третьяго? Ты узнаешь ихъ тогда, когда въ тебѣ будетъ вопросъ, котораго рѣшенію они могутъ способствовать. Всякое чтеніе полезно только тогда, когда къ нему приступаешь съ опредѣленною цѣлію, съ вопросомъ. Работай, усиливай свою дѣятельность, но не отчаявайся въ томъ, что ты не узнаешь тысячи фактовъ, которые зналъ другой. Конечно, твое будущее назначеніе обязываетъ тебя имѣть понятіе обо всемъ, что сдѣлано для твоей науки до тебя; но это пріобрѣтается легко, когда ты положишь главное основаніе своему знанію, а это основаніе скрѣпишь идеею. Тогда, повѣрь, бѣглое чтеніе больше сдѣлаетъ пользы, нежели теперь изученіе.»

оторвало съ неудержимою силой воображеніе, идеи и наклонности его отъ того уровня, гдѣ, при отсутствіи сильнаго двигателя, онѣ легко и скоро мельчаютъ и выраждаются. Роль философіи была еще значительнѣе у насъ. Извѣстно, что нигдѣ нѣтъ недостатка въ искушеніяхъ; но искушенія тамъ опаснѣе, гдѣ не носятъ признаковъ своего мутнаго происхожденія и гдѣ потеряли силу безпокоить совѣсть человѣка. Противъ такихъ-то опасностей, противъ нечистыхъ движеній сердца, какъ бы тонки и мимолетны они ни были, противъ порочнаго снисхожденія къ самому себѣ, стояла у насъ философія. Кто не былъ исполненъ философскимъ содержаніемъ весь, до мыслей, опредѣляющихъ волю и поступки, тотъ еще, въ эту горячую эпоху молодости, не считался послѣдователемъ философіи. Задача, конечно, во многихъ случаяхъ неисполнимая: но важно то, что она была поставлена. Никогда не заслоняя собой ни математическихъ, ни естественныхъ, ни всякаго другаго рода наукъ, она была у насъ домашнимъ дѣломъ, пріучавшимъ умъ искать нравственные законы для каждаго явленія въ мірѣ и обращавшимъ все вокругъ себя въ разумное существо, надѣленное словомъ, поученіемъ и мыслію. Но, скажутъ, надежды Станкевича были несбыточны, и опытъ послѣдующихъ годовъ не подтвердилъ тѣхъ ожиданій отъ философіи, какими исполнены были,

вмѣстѣ съ нимъ, многіе свѣтлые умы въ Европѣ. Намъ замѣтятъ, что наблюденіе фактовъ породило цѣпь изумительнѣйшихъ и благодѣтельнѣйшихъ для человѣчества открытій, которая еще далеко не кончилась, а философскія мечтанія почти уже оставлены и въ первоначальной родинѣ ихъ, Германіи. Позволительно усомниться, чтобъ какая-либо образованность рѣшилась отказаться навсегда отъ потребности вопрошать разумъ въ его независимой дѣятельности, опирающейся на собственныя силы, но мы принимаемъ и это замѣчаніе. Такъ же точно легко согласиться и съ тѣми, которые замѣтятъ, что Станкевичъ многимъ увлекался, хотя слѣдуетъ прибавить, что онъ именно увлекался всѣмъ тѣмъ, чѣмъ хорошо увлекаться въ его года: только изъ подобной довѣрчивой и страстной молодости образуется жизнь, которая — какъ бы потомъ ни сложилась и на что бы ни была посвящена — всегда будетъ добрымъ служеніемъ людямъ, добрымъ служеніемъ обществу. Всѣ эти оговорки ничего не стóятъ для біографа, занятаго преимущественно изображеніемъ характера и вѣрною передачей лица. Для него достаточно, если онъ можетъ показать элементы, входившіе въ развитіе того и другаго въ ихъ настоящемъ значеніи. Искусство и философія сдѣлали Станкевича человѣкомъ, котораго одно присутствіе настраивало окружающихъ на правду, на презрѣніе къ

темнымъ дѣяніямъ грубости и произвола, на сохраненіе въ моральной цѣлости души своей и на созерцаніе всего міра, какъ единой жизни, исполненной смысла, поэзіи и глубокаго поученія.

Теперь, когда онъ нашелъ сферу дѣйствія, и когда жизнь его какъ бы приняла одинъ основный цвѣтъ, намъ уже легко намѣтить внѣшнія событія ея, весьма несложныя, но занимательность которыхъ окажется въ подробномъ изложеніи, составляющемъ содержаніе слѣдующихъ главъ.

Болѣзнь не позволила ему заняться обязанностями почетнаго смотрителя съ тою строгостію, какую положилъ онъ для себя въ началѣ. Это, какъ и многое другое, отошло къ числу несбывшихся плановъ. Необходимость и особенныя причины, заключавшіяся въ его сердцѣ, о которыхъ будемъ говорить скоро, заставили его прожить въ Москвѣ, почти безвыѣздно, съ малыми отлучками въ деревню, двѣ зимы 1835 — 36 г. Должность при этомъ, разумѣется, вышла изъ головы. Точно то же, и по тѣмъ же причинамъ, случилось и съ проектомъ экзамена на степень магистра: занятія его безпрестанно нарушаются досаднымъ вмѣшательствомъ болѣзни, отнимавшей прежде всего нравственныя силы, и мыслями, развлекавшими его умъ, когда онъ становился способенъ къ занятіямъ. Экзаменъ откладывался постепенно сперва къ концу 1835 года, потомъ къ эпохѣ возвращенія

съ Кавказа; а по возвращеніи съ Кавказа, въ августѣ 1836 года, Станкевичъ уже занятъ проектомъ отъѣзда за границу для окончанія, вопервыхъ, своего образованія, вовторыхъ, для возможной помощи недугу, и скажемъ, для успокоенія страданій своего сердца. Экзаменъ уже отлагается ко времени возвращенія изъ-за границы. Недугъ одолѣвалъ Станкевича. «Я никуда не выхожу, говоритъ онъ въ одномъ письмѣ, и ничего почти не ѣмъ: аппетиту вовсе нѣтъ; за то пилъ бы, пилъ бы, а пить тоже ничего нельзя—все вредно.» Былъ у него еще планъ около 1836 года — посѣтить въ Петербургѣ стараго друга; но вмѣсто того болѣзнь и другія обстоятельства погнали его, какъ мы видѣли, на кавказскія воды. Въ мартѣ 1837 г. Станкевичъ, уже окончательно разстроенный, слегъ въ постель и былъ близокъ къ смерти. Поспѣшно начинаетъ онъ хлопотать объ отставкѣ и паспортѣ, не зная съ чего и какъ начать. Онъ убѣдительно зоветъ друга, собравшагося тоже за границу, отправиться въ путешествіе вмѣстѣ, и томится въ неизвѣстности объ успѣхѣ своихъ просьбъ. Съ одра болѣзни посылаетъ онъ письмо за письмомъ въ Петербургъ, требуя извѣстій, въ какомъ положеніи дѣла его. Обстоятельства и тутъ измѣнили всѣ планы его: Я. М. Н—ъ отъѣзжаетъ весной 1837 г. за границу одинъ, прямо изъ Петербурга, на пароходѣ, а Станкевичъ получаетъ паспортъ въ ав-

густѣ того же года. Изнуренный болѣзнію и нравственнымъ безпокойствомъ, съ трудомъ добирается онъ, по сухому пути, до Кракова (въ сентябрѣ мѣсяцѣ); но чѣмъ далѣе подвигается внутрь Германіи, тѣмъ становится бодрѣе, и довѣрчивѣе смотритъ впередъ. Шутка и юмористическое состояніе духа къ нему возвращаются. Дорога и трехнедѣльное пребываніе въ Карлсбадѣ возстановили его, если не физически, то нравственно, но это было главное. Въ Берлинѣ, куда онъ прибылъ въ октябрѣ мѣсяцѣ, мы находимъ уже Станкевича въ новомъ и чрезвычайно замѣчательномъ состояніи духа, съ котораго и начинаемъ третій, послѣдній періодъ его жизни.

§ II.

ХАРАКТЕРЪ СТАНКЕВИЧА И ЕГО КРУГЪ.

Поэзія и мысль раскрыли въ характерѣ Станкевича, уже счастливо образованномъ самою природой, такія стороны, которыя, составивъ отличительное его свойство, были вмѣстѣ съ тѣмъ отрадой и поученіемъ для многихъ людей. Эти двѣ силы, образовавшія Станкевича, такъ срослись

со всѣмъ его существомъ, что развитіе его характера дѣлается похожимъ на развитіе ихъ самихъ въ формѣ личности, въ живомъ человѣческомъ образѣ. Поэзія и мысль чувствуются попеременно или въ одно и то же время, какъ основный мотивъ, почти во всѣхъ его поступкахъ, словахъ и начинаніяхъ. Сила этихъ неразлучныхъ спутниковъ Станкевича дѣйствовала такъ же просто и такъ же неотразимо на другихъ, какъ любое естественное явленіе: стоило подойдти къ нему, чтобъ ихъ почувствовать. Мы не даромъ сказали, что одно его присутствіе сообщало окружающимъ нѣчто похожее на теплое, радостное чувство: его можно было и тогда сравнить съ подземнымъ ключомъ, существованіе котораго узнается по одной роскоши зелени, распространяемой имъ въ кругѣ своего вліянія. Взаимное дѣйствіе двухъ основныхъ элементовъ, жившихъ въ Станкевичѣ, поставило его на какомъ-то особенно широкомъ основаніи. Онъ никогда не былъ исключительно философъ, занимающійся отвлеченіемъ и логическими постройками безъ устали, также какъ не былъ обожатель искусства до забвенія природы, или любитель природы, который принадлежитъ обществу только за невозможностію его избѣгнуть. Онъ былъ какъ-то дома во всѣхъ этихъ сферахъ и обращался въ нихъ съ равною свободой; способность сосредоточиваться въ идеѣ не лишала

его способности постигать явленія жизни во всей ихъ индивидуальности; серіозныя цѣли мышленія не притупляли его живой воспріимчивости; онъ также легко всходилъ на высоту отвлеченія, какъ и спускался съ нея; душа его находила себѣ столько же пищи въ произведеніи искусства, сколько и въ уединенныхъ поляхъ и рощахъ его Удеревки. Созерцаніе идеала и живая красота женщины отражались въ немъ съ равною силой, потрясая всѣ струны его сердца и внушая тѣ глубокія соображенія, которыя находилъ онъ въ родникѣ своей души. Даже и тогда, какъ основныя начала его существованія, мысль и поэзія, раздѣляясь на время, были предоставлены только самимъ себѣ, мысль никогда не клонилось къ сухости и педантизму, не перераждалась никогда въ резонерство, пустую потѣху ума, а поэзія не терялась въ пристрастіе къ фразѣ, въ исканіе призраковъ. Мѣра и гармонія были въ природѣ Станкевича.

Мы уже знаемъ, какую строгую школу находилъ Станкевичъ въ своей наклонности анализировать свой *домашній душевный бытъ*, употребляя его выраженіе. Тонкія черты анализа проходятъ черезъ всю его переписку; но всѣ обыкновенныя послѣдствія такого анализа — вялость ощущенія, неспособность просто наслаждаться жизнію и встрѣчать ея явленія прямо съ лица, а не съ заднихъ или боковыхъ сторонъ,—всѣ эти послѣдствія были

чужду Станкевичу. Самый предубѣжденный глазъ не отыскалъ бы въ его анализѣ дурныхъ примѣтъ себялюбія, нищеты характера, или тупаго занятія, которымъ любитъ тѣшиться праздный умъ. О невыносимыхъ претензіяхъ или о смѣшныхъ попыткахъ мѣрить собой всю вселенную нечего и говорить. Напротивъ, работа анализа всегда почти оканчивается у Станкевича тихою жалобой на далекое разстояніе, еще отдѣляющее его отъ идеально-разумнаго существованія, и также часто разрѣшается великодушнымъ укоромъ самому себѣ, въ которомъ посторонній наблюдатель не видитъ иногда и тѣни справедливости, но который былъ нуженъ Станкевичу, какъ благотворный двигатель его души. Анализъ Станкевича, по временамъ, обращается на укрощеніе излишнихъ ожиданій и невѣрныхъ требованій мысли. Такъ Петербургъ и Кавказъ, при первомъ посѣщеніи, не отвѣчаютъ его представленію; онъ примиряется съ ними помощью анализа, называя эту внутреннюю работу мысли «эмаципаціей своего чувства». Въ одномъ письмѣ 1835 года мы встрѣчаемъ, при изложеніи причинъ и необходимости путешествія за границу, еще слѣдующій поводъ: «освѣжить чувство тоскою по родинѣ, оживить эту любовь къ Россіи, гибнущую отъ тысячи обстоятельствъ.» Упорное размышленіе или, говоря языкомъ нѣмецкой логики, *рефлексія*, опредѣлили здѣсь еще не существую-

щее, не родившееся чувство, перескочивъ черезъ долгій промежутокъ времени и забѣжавъ впередъ; но какого свойства это чувство — представляемъ судить читателю. Такъ точно, живя въ деревнѣ (1834 г.) и напавъ на мысль о необходимости нѣкотораго устраненія предмета, даже полнаго отсутствія его для того, чтобъ поэтъ могъ потомъ творчески воспроизвести его въ фантазіи, Станкевичъ посвящаетъ этой мысли нѣсколько горячихъ, воодушевленныхъ строкъ, которыя вдругъ прерываются замѣчаніемъ: «Слава Богу! наконецъ я набрелъ на чувство и хоть немного взволнованъ, бесѣдуя съ тобой, а это такъ рѣдко въ гладкой жизни, которую я веду, не имѣя съ кѣмъ поговорить.» Недремлющая оглядка на себя, или *рефлексія*, тотчасъ подмѣтила настроеніе души въ самую минуту его развитія, но не ослабила, не прервала, не исказила его. Иногда рефлексія выводитъ у Станкевича чувство совершенно неопредѣленное, но замѣчательно граціозное и поэтическое. Когда Я. М. Н—ъ, отъѣзжая за границу, просто сказалъ, что его манитъ синее море и даль, Станкевичъ отвѣчаетъ: «Другъ! все манитъ насъ, что сине! море прекрасно, потому что его нельзя обозрѣть; даль хороша, потому что въ ней всѣ предметы сливаются съ небомъ и воздухомъ», и проч. Такъ, можно сказать, на послѣдней, крайней ступени мысли, на анализѣ и рефлексіи, кото-

рыя иногда такъ грубо выражаются въ людяхъ, менѣе надѣленныхъ природою, и такъ извращаютъ всю жизнь ихъ, Станкевичъ былъ невредимъ и даже извлекалъ, посредствомъ этихъ дѣятелей, новыя и существенныя достоинства, только возвышавшія его характеръ.

То же самое можно сказать и о поэтическомъ его элементѣ. Въ самомъ сильномъ напряженіи чувства, въ порывѣ своемъ въ высь и пространство, Станкевичъ никогда не терялъ изъ вида земли и возвращался къ ней обыкновенно съ живою, по временамъ шумною радостію. Тотъ весьма ошибется, кто заключитъ, что романтическое настроеніе сдѣлало его брезгливымъ къ обыкновенному ходу жизни и къ большей части ея явленій. Никто здравѣе не понималъ всѣхъ условій человѣческаго существованія, какъ онъ, да врядъ ли кто и болѣе пользовался массою наслажденій, заключающейся въ повседневномъ существованіи. Болѣзнь при этомъ случаѣ была чѣмъ-то въ родѣ спасительнаго ограниченія, еще увеличивающаго цѣну и прелесть жизни. И начиная съ тихихъ семейныхъ радостей до того удовольствія, какое испытываетъ человѣкъ, слѣдуя необходимымъ и законнымъ требованіямъ своей природы, — все было понятно его необычайно-просторному, здоровому, хотя и поэтически настроенному уму. Въ одномъ изъ своихъ писемъ, онъ нѣсколькими сло-

вами превосходно изобразилъ весь свой характеръ, со всѣми тѣми разнообразными началами, которыя въ немъ примирялись, дополняя собою другъ друга. Говоря о любви къ прекрасному, безъ самаго предмета, на которомъ могла бы она остановиться, Станкевичъ прибавилъ: «Такая общая, отвлеченная поэзія давно уже начала терять для меня цѣну, точно какъ положительное не имѣло для меня никогда цѣны внѣ своего идеальнаго значенія.»

Веселость чистаго, яснаго сердца отражалась во всѣхъ шуткахъ Станкевича и сопровождала его въ общество друзей; но иногда она уступала мѣсто ироніи и строгому слову. Станкевичъ не могъ выносить двухъ пороковъ: лжи и претензіи; они дѣйствовали на него почти болѣзненно. Насмѣшка и укоръ его въ такихъ случаяхъ не имѣли вида праздной потѣхи надъ человѣкомъ, а скорѣе обличали внутреннее страданіе, которое чувствовалось и въ звукѣ его измѣнившагося голоса, и въ горькомъ выраженіи его обыкновенно кроткаго лица. Вообще Станкевичъ не понималъ легкаго, такъ-сказать, поверхностнаго обращенія съ людьми. Никогда не говорилъ онъ съ человѣкомъ для того, чтобъ сдѣлать намекъ или отвѣтъ третьему, постороннему лицу: относился всегда прямо, откровенно къ собесѣднику, и ясность, смѣемъ выразиться, всѣхъ его цѣлей и намѣреній соста-

вляла одну изъ многихъ причинъ его сильнаго вліянія на умы. Онъ не имѣлъ понятія о грубомъ наслажденіи, которому иногда поддаются и люди съ благороднымъ характеромъ, — наслажденія пробовать свои силы на другомъ, менѣе развитомъ человѣкѣ, и испытывать мѣру своихъ способностей по сравненію съ слабостію ихъ въ ближнемъ. Станкевичу, напротивъ, необходимо было прежде всего установить нѣкотораго рода нравственное равенство съ собесѣдникомъ, и когда этого равенства въ разговорѣ не доставало, онъ принимался создавать его. По высокой стыдливости ума, отличающей изящныя натуры, чувствовать себя господиномъ значило для него унижать себя. Разговоръ его въ сущности былъ не что иное, какъ исканіе той благодатной искры, которая способна озарить душу человѣка. Онъ такъ навыкъ въ этомъ, что, по замѣчанію его знакомыхъ, сдѣлался несравненнымъ мастеромъ дѣла: общее свидѣтельство о сильномъ, многостороннемъ его умѣ преимущественно зиждется на этой способности разбирать душу собесѣдника, при слабомъ мерцаніи, которое она издаетъ вокругъ себя. Дѣйствительно, надо много ума, и притомъ не книжнаго, для подобной задачи, да сверхъ того надо еще участіе поэзіи, вдохновенной отгадки. На этомъ пути Станкевичъ не останавливался даже передъ самымъ ограниченнымъ умственнымъ или нравственнымъ развитіемъ, по-

тому что онъ *вѣрилъ* въ душу человѣка и въ необъятность ея силъ вообще. Послѣ всего сказаннаго, уже легко принять единодушное свидѣтельство его близкихъ знакомыхъ, что разговоръ со Станкевичемъ всегда былъ *дѣломъ*, о чемъ бы онъ ни шелъ, что бесѣда его обыкновенно подымала множество вопросовъ въ глубинѣ сознанія, и что послѣ каждой такой бесѣды слушатель чувствовалъ какъ-бы прибытокъ новыхъ нравственныхъ силъ. Въ дополненіе слѣдуетъ сказать, что Станкевичъ не зналъ за собой того рода творчества, какое постоянно обнаруживалъ: онъ только жилъ, какъ ему суждено было жить, и не имѣлъ понятія о томъ, какъ отражается его жизнь на другихъ. Если совокупить всѣ эти разбросанныя черты въ одно цѣлое, то намъ легко объяснится степень и сила его вліянія на самые проницательные и энергическіе умы, находившіеся, между другими, въ обыкновенномъ его кружкѣ, куда приносилъ онъ мысль и чувство свое безъ всякой утайки.

Кругъ Станкевича получилъ весьма важное развитіе, какъ въ матеріяльномъ отношеніи, вслѣдствіе прибытія новыхъ членовъ, такъ и въ нравственномъ — вслѣдствіе того, что прежнее трепетное и радостное предчувствіе жизни уступило мѣсто обсужденію и разбору ея явленій.

Мы не будемъ говорить о литературныхъ за-

слугахъ Бѣлинскаго, оставляя трудъ этотъ его біографу; но нѣсколько словъ объ отношеніяхъ его къ Станкевичу приходятся здѣсь къ мѣсту. Бѣлинскій, въ многоразличныхъ видоизмѣненіяхъ своей мысли, оставался постоянно энтузіастомъ, чѣмъ и объясняется страстная увлекательность его статей, даже самыхъ отвлеченныхъ, какія писаны имъ были въ 1838 — 40 годахъ. Крайности, которыя встрѣчаются у него, совершенно незнакомы людямъ, имѣющимъ еще много другихъ занятій, кромѣ предмета, выбраннаго ими, такъ сказать, офиціяльно для своихъ упражненій. За то Бѣлинскій уже не способенъ былъ къ вѣтреннымъ словамъ: какъ статьи, такъ и самый разговоръ его, носили слѣды тѣхъ глубокихъ бороздъ, по которымъ узнается невидимая, напряженная работа головы. Каждое изъ литературныхъ убѣжденій своихъ онъ исчерпывалъ вполнѣ, не утаивая ничего, что̀ въ немъ заключалось, и не входя ни въ какія сдѣлки съ своею совѣстію и съ мнѣніями противниковъ.

Мы имѣемъ свидѣтельство, напримѣръ, что Станкевичъ первый открылъ въ стихотвореніяхъ одного нашего ученаго недостатокъ поэзіи, а въ критическихъ его статьяхъ недостатокъ логики. Открытіе это поразило и огорчило Бѣлинскаго, который имѣлъ другія убѣжденія. Можно сказать, оно подѣйствовало на него болѣзненно: такъ тяжело было ему

разставаться съ своимъ понятіемъ о человѣкѣ. Онъ тотчасъ принялся за повѣрку догадокъ Станкевича, и убѣдившись въ истинѣ ихъ, уже вышелъ открыто съ своимъ сужденіемъ, принявъ и всю отвѣтственность за него на себя. Авторитетъ противника былъ тогда очень великъ, и кто знаетъ, какъ тяжела бываетъ иногда у насъ отвѣтственность за нарушеніе литературнаго спокойствія въ какомъ-либо самодовольномъ кружкѣ, тотъ пойметъ важность подвига. Дѣятельность человѣка, подобнаго Бѣлинскому, конечно, цѣнима была Станкевичемъ по достоинству, но онъ не любилъ слишкомъ рѣзкаго слова, которое, по его мнѣнію, не вполнѣ передаетъ и ту часть истины, какая вызвала его на свѣтъ. Станкевичъ противодѣйствовалъ шуткой и совѣтомъ врожденной горячности Бѣлинскаго, изъ желанія открыть ему по возможности обширнѣйшее поприще дѣйствованія, чему излишняя энергія, по его мнѣнію, полагала препрепятствія. Станкевичъ не любилъ вообще всего, что̀ порывисто, что̀ носитъ печать одной воли человѣка, хотя бы и энергически настроенной къ истинѣ и добру. Такъ же точно Станкевичъ не понималъ гнѣва въ борьбѣ съ ложнымъ: — невольное раздраженіе, которое оно обыкновенно производитъ въ человѣкѣ, разрѣшалось для него все безъ остатка обсужденіемъ предмета. Этихъ словъ довольно, чтобъ угадать характеристическія отличія

двухъ замѣчательныхъ людей. Станкевичъ былъ служителемъ истины въ чистой, отвлеченной мысли, въ примѣрѣ своей жизни, и никогда не могъ бы служить ей на буйной ярмаркѣ современности: различіе характеровъ послужило однакожъ къ закрѣпленію связи между ними. Мы знаемъ, что Бѣлинскій съ благоговѣніемъ вспоминалъ о Станкевичѣ въ послѣдній періодъ своей дѣятельности. Его пылкая душа, въ которой было много нѣжности, много даже тонкой деликатности, прошла сквозь тяжелый гнетъ обстоятельствъ, почти неизвѣстный его товарищамъ и друзьямъ. Онъ получилъ совсѣмъ другое воспитаніе, чѣмъ они, и это суровое, уединенное воспитаніе закрыло душу его твердымъ панцыремъ. Первый, пробившійся сквозь эту кору, отыскавшій душу его, угадавшій ея способность къ симпатіи и жажду сочувствія, первый успокоившій ее своимъ мягкимъ, благороднымъ и теплымъ участіемъ — былъ Станкевичъ. Свѣтлый ликъ Станкевича жилъ съ Бѣлинскимъ до конца и конечно много способствовалъ къ устройству безукоризненно-чистаго его характера, которому отдаютъ справедливость и самые литературные враги его [1]).

По прекращеніи «Телескопа» въ 1836 г., Бѣ-

---

[1]) Единственный порядочный портретъ Станкевича, акварелью, принадлежалъ Бѣлинскому и неизмѣнно на-

линскій оставался безъ постояннаго занятія. Однажды онъ даже собирался ѣхать за границу, въ качествѣ домашняго учителя, съ какимъ-нибудь семействомъ. Осенью 1836 года, когда Бѣлинскій находился въ деревнѣ одного изъ своихъ пріятелей, наслаждаясь въ домашнемъ кругу его, имѣвшемъ значительную долю вліянія и на многихъ другихъ, Станкевичъ совѣтовалъ ему до поѣздки за границу заняться нѣмецкимъ языкомъ. Письмо его исполнено выраженій самой нѣжной дружбы. Представивъ всѣ обыкновенные доводы въ пользу изученія философскихъ системъ въ самыхъ источникахъ, Станкевичъ заключаетъ его словами: « . . . Потомъ воротишься въ Русь — и тогда будь чѣмъ хочешь, хоть журналистомъ, хоть альманашникомъ—все будетъ хорошо, только будь посмирнѣе.» Можетъ-быть еще сильнѣе выражаются глубокое сочувствіе къ Бѣлинскому и трогательное участіе въ судьбѣ его другимъ письмомъ, принадлежащимъ той же эпохѣ (21 сентября 1836) и писаннымъ уже не къ нему самому, а о немъ. Прилагаемъ его здѣсь. «Бѣлинскій отдыхаетъ у *** отъ своей скучной, одинокой . . жизни. Я увѣренъ, что эта поѣздка будетъ имѣть на него благодѣтельное вліяніе. Полный благо-

---

ходился въ его кабинетѣ, составляя и лучшее украшеніе, и рѣдкость трудовой его комнаты.

родныхъ чувствъ, съ здравымъ, свободнымъ умомъ, добросовѣстный, онъ нуждается въ одномъ только: на опытѣ, не по однимъ понятіямъ, увидѣть *жизнь* въ благороднѣйшемъ ея смыслѣ; узнать нравственное счастіе, возможность гармоніи внутренняго міра съ внѣшнимъ, — гармоніи, которая казалась для него недоступною до сихъ поръ, но которой онъ теперь вѣритъ. Какъ смягчаетъ душу эта чистая сфера кроткой, христіянской семейной жизни! Глубоко понималъ Шиллеръ все лучшее въ Божьемъ твореніи. Мущина грубъ въ своей добродѣтели, всѣ благородные порывы души его носятъ какую-то печать цинизма, какую-то жесткость; въ немъ больше стоицизма, нежели христіянства, нежели человѣчества. Только вліяніемъ женщины, вліяніемъ семейныхъ отношеній — это благородное, сильное, но все немного деспотическое чувство долга обращается въ отрадное чувство любви; сознаніе добра — въ непосредственное его ощущеніе. . .» Впрочемъ планы, составленные Бѣлинскимъ для своей жизни и вызвавшіе такое горячее участіе Станкевича, всѣ почти рушились. Съ 1838 г. онъ нашелъ занятіе, соотвѣствовавшее его наклонностямъ: онъ принялъ редакцію журнала «Московскій Наблюдатель», гдѣ гегеліянское воззрѣніе, подготовленное промежуткомъ трехъ лѣтъ, съ 1835 по 1838, получило весьма боль-

шое мѣсто. Станкевичъ находился уже тогда въ Берлинѣ.

Авторъ стихотвореній, помѣченныхъ буквою— *o* — И. П. Кл. представлялъ совершенную противоположность съ Бѣлинскимъ, относительно характера. Надѣленный въ замѣчательной степени остроуміемъ, онъ игралъ между друзьями почти ту же самую роль, какую одно время занималъ Меркъ въ кругу Гёте. Онъ былъ Мефистофелемъ небольшаго московскаго кружка, весьма зло и ѣдко подсмѣиваясь надъ идеальными стремленіями своихъ пріятелей. Онъ былъ, кажется, старѣе всѣхъ своихъ товарищей, часто страдалъ ипохондріей, но жертвы его насмѣшливаго расположенія любили его и за веселость, какую распространялъ онъ вокругъ себя, и за то, что въ его предчудливыхъ выходкахъ видѣли не сухость сердца, а только живость ума, замѣчательнаго во многихъ другихъ отношеніяхъ, и иногда истинный юморъ. Какъ бы то ни было, но нѣкоторыя эпиграммы Кл., направленныя на педанство и низость побужденій, могутъ считаться образцовыми въ своемъ родѣ по мѣткости и соли, въ нихъ заключенной. До сихъ поръ сохранились въ памяти тогдашнихъ знакомыхъ нѣсколько словъ Кл., имѣвшихъ большой успѣхъ въ кругу друзей, и дѣйствительно остроумныхъ, какъ напримѣръ, то, которое относилось къ Станкевичу. Станкевичъ, часто восхи-

щавшійся тою или другою чертою въ характерѣ своихъ знакомыхъ и добродушно завидовавшій ихъ достоинствамъ, вызвалъ у него замѣчаніе: «Это серебряный рубль, завидующій величинѣ мѣднаго посеребреннаго пятака». Кл. написалъ также въ стихахъ: «Обозрѣніе всемірной исторіи», въ которомъ, по увѣренію слышавшихъ, далъ полную волю своему остроумію. Извѣстно, что Станкевичъ читалъ вмѣстѣ съ нимъ сперва Шеллинга, потомъ Канта, но вскорѣ бросилъ это занятіе сообща, потому что, вмѣсто обсужденія, Кл. останавливался въ серединѣ параграфа, предлагалъ свои замѣчанія и морилъ со смѣху вообще смѣшливаго Станкевича. Лирическія произведенія Кл., помѣченныя буквою — *e* —, начали появляться въ журналахъ позднѣе, съ 1838 года, уже по отъѣздѣ Станкевича за границу. Въ нихъ и слѣда нѣтъ того юмора, которымъ авторъ ихъ оживлялъ прежде пріятельскія бесѣды. Нелишенныя нѣкоторыхъ своего рода достоинствъ, эти піески запечатлѣны характеромъ отвлеченности, туманности и иногда какой-то слезливой сентиментальности. Въ нихъ чувствуется ипохондрическое расположеніе и болѣзненная экзальтація, къ которой привилось развившееся, подъ вліяніемъ тогдашнихъ изученій Гегелевой системы, направленіе примирять противоположности и разрѣшать дисонансы. Стихотворенія — *e* — именно отличаются какою-то напряжен-

ною и искусственною примирительностію. Болѣе мы не считаемъ себя въ правѣ говорить объ ихъ авторѣ, къ сожалѣнію, слишкомъ рано отказавшемся отъ литературы и общества, которыя, по убѣжденію людей, близко знавшихъ его, еще могли многаго ожидать отъ него.

Мы упомянули разъ о томъ дилеттантѣ философіи, который перешелъ мало-по-малу въ одного изъ самыхъ жаркихъ ея поклонниковъ. Положенія и истины ея, какъ и самыя разысканія въ этой сферѣ, сдѣлались его жизнью, между тѣмъ какъ Станкевичъ былъ поминутно развлеченъ всѣми явленіями общества, искусства, природы и проч. Дилеттантъ, обратившійся въ ревностнаго изслѣдователя, вскорѣ пріобрѣлъ даръ блестящаго изложенія, который сообщалъ ему нѣчто похожее на роль провозвѣстника философскихъ истинъ. Къ нему прибѣгали при всякомъ недоумѣніи, затруднительномъ вопросѣ, случайномъ перерывѣ идей, и пояснительная рѣчь его текла блестящею импровизаціей. Разумѣется тутъ не могло быть какого-либо самобытнаго ученія, да и никто не думалъ о томъ, но онъ обладалъ особеннымъ даромъ, похожимъ на творчество, именно даромъ перерабатывать все вычитанное и узнанное въ собственную мысль, такъ что онъ самъ казался почти изобрѣтателемъ и родоначальникомъ поясняемаго имъ метода. Роль зодчаго, которую человѣкъ этотъ

игралъ въ отношеніи каждаго, такъ или иначе накопившаго сырой, необдѣланный матеріялъ, имѣла своего рода неизбѣжныя и тяжкія условія. Вся жизнь являлась передъ нимъ сквозь призму отвлеченія, и только тогда говорилъ онъ о ней съ поразительнымъ увлеченіемъ, когда она была переведена въ идею. Все случайное, мгновенное, самобытное жизни было ему гораздо менѣе доступно, хотя усиліями обширнаго, дѣйствительно необыкновеннаго ума онъ успѣвалъ возводить до понятія убѣгающія поэтическія черты жизни и такимъ образомъ овладѣвать ими, но при этомъ они уже многое теряли, и иногда то самое, что составляетъ ихъ существенную особенность. Станкевичу оказалъ онъ важную услугу: онъ оковалъ и охолодилъ его живую, подвижную фантазію, на сколько могъ и на сколько нужно было для правильнаго труда надъ наукой мышленія; онъ пріучилъ его къ самообладанію въ занятіяхъ и, такъ сказать, къ искусству соблюдать порядокъ между идеями [1]). Оба они находились тогда подъ властію свѣтлаго роман-

---

[1]) Пріятели иногда живали (1835 — 1837) вмѣстѣ, и часто Станкевичъ прерывалъ долгія утреннія занятія друга, влетая къ нему въ комнату съ кочергой и представляя старуху съ метлой, которою овладѣваетъ невольная пляска подъ звуки волшебной флейты. Онъ передавалъ фигуру изъ пантомимы «Волшебная Флейта», нерѣдко являвшейся на сценѣ московскаго театра.

тическаго настроенія, но первый наслаждался полнотой и сущностію *мысли*, между тѣмъ какъ для втораго съ мысли только еще начиналась *возможность* счастливаго состоянія, а само счастіе находилось въ жизни, въ отношеніяхъ къ нравственнымъ предметамъ ея. Немаловажное отличіе между ними состояло и въ томъ, что никакое отвлеченное понятіе не могло потревожить и огорчить перваго: оно у него ложилось на умъ, между тѣмъ какъ второй весьма часто страдалъ понятіями: они ложились на всю основу его нравственнаго существа. Мы имѣемъ подтвержденіе этому въ одномъ любопытномъ письмѣ Станкевича, отъ 21 апрѣля 1836 года. Прошлый годъ, какъ уже знаемъ, начался для Станкевича полнымъ сознаніемъ своего призванія и дѣла, предстоящаго ему въ жизни. Слѣдующій за тѣмъ былъ посвященъ непрерывнымъ философскимъ занятіямъ; но до весны этого года Станкевичъ еще стоялъ на изученіи Канта, какъ родоначальника современнаго движенія германской философіи вообще. Тогда наступила очередь Фихте. Послѣ тревожной зимы въ Москвѣ, Станкевичъ, собираясь на Кавказъ, заѣзжаетъ къ себѣ въ деревню, а на дорогу беретъ впервые книгу Фихте: «Vorlesungen über die Bestimmung des Menschen». Мысли и впечатлѣнія, возбужденныя этимъ серіознымъ чтеніемъ на почтовомъ трактѣ и въ дорожной бричкѣ, передаетъ онъ пріятелю

своему слѣдующимъ письмомъ: «Мценскъ, 21 апрѣля 1836 года. Другъ! Гдѣ я? — ты знаешь изъ верхней строки. Что̀ я? право не знаю, съ тѣхъ поръ какъ прочелъ о назначеніи человѣка; можетъ-быть болѣе узнаю, когда прочту послѣднія странички, а до тѣхъ поръ числюсь подъ именемъ средняго между Лерминье и Кругомъ. Не знаю, что̀ будетъ со мною. Wissen произвело мнѣ такой сумбуръ въ головѣ, возможность котораго я и не подозрѣвалъ; оно повергло меня въ такое странное, болѣзненное состояніе нерѣшительности . . . сомнѣнія, что я мучился и не находилъ средствъ выйдти изъ него. Теперь уже нельзя остановиться, теперь — впередъ! Нѣтъ! Знанія! Возможно-отчетливаго знанія! Такъ тонко, такъ удовлетворительно превратить весь міръ въ модификацію мысли, самую мысль сдѣлать модификаціей какого-то неизвѣстнаго субъекта, а мысль объ этомъ субъектѣ опять чьимъ-то созданіемъ; построить изъ законовъ ума цѣлый міръ призраковъ и изъ ума сдѣлать призракъ — и все такъ отчетливо. . . . Гдѣ же теперь спасеніе для ума? Это сомнѣніе можетъ быть спасеніе.

«Мало-по-малу улегся хаосъ въ головѣ моей, и въ немъ я вижу снова зародышъ созданія. Читая Кантово доказательство существованія внѣшнихъ вещей, я подозрѣвалъ его несправедливость: ка-

кимъ-то страннымъ движеніемъ эгоизма подавлялъ возраженіе ума, — и здѣсь нашелъ, что̀ думалъ. Изъ Фихте я уже провижу возможность другой системы; *но эта подвинула меня къ утѣшительной мысли безсмертія.* Впрочемъ это сочиненіе весьма недостаточно для узнанія его системы: оно только намекаетъ на нее.

«Дорогою въ бричкѣ окончилъ я Wissen и сталъ читать Glauben. Вечеръ былъ прекрасный, но тяжкое состояніе совершенной неизвѣстности — не давало мнѣ имъ пользоваться. Мнѣ какъ-то чужда, какъ-то мертва казалась эта природа, призракъ меня самаго; все было обманчиво, враждебно. Напрасно старался я убѣдить себя, что во всемъ этомъ должна быть своя сообразность съ цѣлію, свое добро — эти мысли *были для меня слишкомъ убѣдительны и слишкомъ новы, чтобъ я могъ овладѣть ими по своему.* Теперь только я мирюсь съ ними. Всѣ утѣшительныя мысли жизни — подвигъ, искусство, знаніе, любовь — все теряло для меня значеніе, самъ не знаю почему. Это состояніе прошло, но тѣнь его еще лежитъ на мнѣ. Уже я вѣрю успѣху мысли и успѣху знанія; но все, что̀ касается до меня, вся будущность моя представляется мнѣ въ какомъ-то холодномъ, непріязненномъ свѣтѣ! Это бывало со мной и прой-

детъ! Только скорѣе въ деревню, въ поле, за дѣло и за гульбу [1]).»

Не даромъ Станкевичъ сообщалъ другу такъ подробно и такъ краснорѣчиво картину душевнаго своего разстройства. Именно въ подобныхъ случаяхъ не было человѣка, болѣе способнаго разогнать мракъ, опустившійся на сознаніе, поднять силы человѣка и облегчить гнетъ идей, еще не потерявшихъ матеріяльной доли тяжести отъ объясненія ихъ. Здѣсь дилеттантъ философіи былъ на своемъ мѣстѣ, и тотъ родъ творчества, который былъ ему свойственъ, проявлялся въ подобныхъ случаяхъ блистательнымъ образомъ. Вотъ почему съ такою охотой и съ такимъ рвеніемъ отвѣчалъ онъ на всякій призывъ недоумѣнія.

Принявъ за правило говорить въ нашемъ біографическомъ очеркѣ единственно о тѣхъ лицахъ, которыя уже завершили свою дѣятельность и сошли съ поприща, мы руководствовались важнымъ соображеніемъ, что только такія лица представляютъ собою полноту нравственнаго выраженія, необходимую для приблизительной оцѣнки человѣческаго существованія. Въ этомъ смыслѣ заслуживаетъ упоминовенія еще одно имя — имя поэта Кольцова. Жизнь и отношенія этого человѣка къ кругу Станкевича изложены въ мастерской біо-

---

[1]) То-есть за долгія охотничьи прогулки.

графіи, украшающей старое и новое изданіе его стихотвореній. Приведемъ въ дополненіе къ ней только одну черту: Кольцовъ обыкновенно останавливался въ квартирѣ Станкевича, когда случалось ему пріѣзжать въ Москву. Извѣстенъ его практическій смыслъ и глубокая наблюдательность, таившаяся подъ покровомъ скромности и наружной простоты; но гораздо менѣе извѣстно вліяніе на него со стороны людей, съ которыми познакомился онъ въ домѣ Станкевича. Несомнѣнно, что оно ослабило всѣ тѣ привычки, которыя почерпнулъ Кольцовъ въ общемъ народномъ пониманіи ремесла и торговли. Онѣ уже перестали составлять необходимую принадлежность его жизни и дали возможность смотрѣть на нихъ иронически, отдѣльно отъ себя, чѣмъ объясняется и расположеніе Кольцова часто затрогивать этотъ предметъ въ своихъ разговорахъ. По нашему, это послѣднее обстоятельство свидѣтельствуетъ уже о свободѣ, какую онъ пріобрѣлъ въ отношеніи къ правильной ихъ оцѣнкѣ и нравственному пониманію. Изъ переписки Кольцова, которая, къ сожалѣнію, еще не скоро можетъ быть обнародована, открывается и другой, весьма замѣчательный психическій фактъ. Впечатлѣніе, произведенное на него философическими опредѣленіями жизни, природы и понятій, сильно потрясло творческую способность его и на время остановило ея дѣятельность. Долго не могъ

онъ обрѣсти того непосредственнаго взгляда на міръ, который составляетъ сущность его поэзіи и открываетъ тайны народнаго представленія образовъ и поэтическихъ идей. Размышленіе заступило мѣсто созерцанія, спутало и затмило его. Но природа Кольцова, сильная во всѣхъ своихъ проявленіяхъ, побѣдила новые элементы, которые на время остановили ея правильную дѣятельность. Онъ обратилъ въ свое добро вопросы, возникшіе тогда передъ нимъ, чему свидѣтелями остаются нѣкоторыя изъ его думъ [1]). Онъ овладѣлъ размышленіемъ какъ художникъ, и послѣ мгновеннаго перерыва, вышелъ со стихотвореніями, которыя

---

[1]) Думы Кольцова, особенно 1836 года, когда онъ ихъ особенно много произвелъ, могутъ подтвердить сказанное нами, хотя въ нѣкоторыхъ, наиболѣе удачныхъ, онъ показалъ необыкновенную силу, разрѣшивъ довольно счастливо труднѣйшую задачу искусства: выразить поэтически отвлеченную мысль. Вообще же 1836 годъ былъ для него тѣмъ годомъ колебанія таланта, о которомъ мы говорили, и это проявляется, кромѣ думъ, и въ стихотвореніяхъ другаго рода. Только съ послѣднимъ изъ нихъ по времени, именно съ піесою: «Косарь», поэтъ опять становится самимъ собою, но уже съ удвоенною силой таланта, и чѣмъ далѣе идетъ, тѣмъ растетъ все болѣе, до 1842 года, когда геній его, подъ ударами болѣзни и обстоятельствъ, ослабѣваетъ снова. Кстати сказать, что задушевный другъ молодости Кольцова, Серебрянскій, первый его цѣнитель, критикъ и воспитатель его эстетическаго чувства, былъ тоже шеллингистъ, какъ оказывается изъ статьи его: «Мысли о музыкѣ».

уже далеко оставляли за собой тѣ восьмнадцать піесъ, какія отобраны были въ 1835 г. Станкевичемъ и тогда же изданы имъ особою книжкой [2]). Знакомство съ философскими началами, даже отрывистое, случайное и неполное, задержавъ на время фантазію его, потомъ возвысило ее, и дѣйствіе этихъ попытокъ философскаго образованія походитъ, въ приложеніи къ Кольцову, на обильный дождь, клонящій къ землѣ растительность для того, чтобъ она бодрѣе выпрямилась и свѣжѣе цвѣла. Вообще эта эпоха представляетъ любопытнѣйшую и не тронутую часть въ исторіи образованія Кольцова и его творчества.

Мы не станемъ излагать сущности того ученія, которое связывало всѣхъ этихъ людей между собою. Для этого, какъ и для болѣе полнаго изо-

---

[2]) Въ Литературной Газетѣ 1831 года, томъ 13, № 34, мы находимъ одно стихотвореніе Кольцова «Перстень», посланное Станкевичемъ въ редакцію тогда же, и при немъ слѣдующую выписку, свидѣтельствующую о томъ, какъ рано сталъ онъ заботиться о распространеніи извѣстности нашего поэта. Вотъ выписка: «Пѣсню сію издатель получилъ изъ Москвы при слѣдующей запискѣ: «Вотъ стихотвореніе самороднаго поэта, г. Кольцова. Онъ воронежскій мѣщанинъ и ему не болѣе двадцати лѣтъ отъ роду; нигдѣ не учился и, занятый торговыми дѣлами по порученію отца, пишетъ часто дорогою, ночью, сидя верхомъ на лошади. . . . Познакомьте читателей Литературной Газеты съ его талантомъ. Н. С—чъ.»

браженія ихъ характеровъ и взаимныхъ отношеній, надо имѣть въ виду другую цѣль, а не простой біографическій очеркъ, и самый трудъ долженъ имѣть иныя условія. Станкевичъ и друзья его жили въ блаженныхъ Елисейскихъ поляхъ умозрѣнія, гдѣ всѣ предметы земнаго міра вращались просвѣтленные, въ безплотной оболочкѣ мысли, и юные мыслители выходили оттуда за тѣмъ только, чтобъ бороться съ грубымъ, матеріяльнымъ пониманіемъ вещей. Довольно замѣчательно, что въ 1838 году, когда начала Гегелевой философіи стали прилагаться у насъ къ искусству и вообще къ способу воззрѣнія на жизнь (см. «Московскій Наблюдатель» 1838), Станкевичъ, въ Берлинѣ, и нѣкоторые товарищи его, у себя въ отечествѣ, принимались только за азбуку всей системы, за первое звено ея — логику. Но такова была судьба всѣхъ наукъ въ Россіи. Прежде источниковъ необходимо было вообще познакомиться съ духомъ науки, требовалось пробудить въ массѣ публики мыслительное любопытство и уже потомъ направлять его къ самымъ источникамъ.

У насъ много смѣялись надъ туманностію отвлеченныхъ теорій изящнаго и надъ изложеніемъ философскихъ ученій, какія стали появляться съ 1838 года [1]). Смѣхъ этотъ былъ и несправедливъ,

---

[1]) Можно указать на четыре переводныя статьи, со-

и легкомысленъ. Не маловажны были попытки указать законы творчества въ свѣтѣ непогрѣшительнаго отвлеченія, и тѣмъ самымъ подорвать, или по крайней мѣрѣ ослабить довѣренность къ мнѣніямъ, основаннымъ на одной прихоти человѣка. Не маловажно было усилить требованія публики отъ литературныхъ произведеній и вообще отъ предметовъ, подлежащихъ ея обсужденію, познакомивъ читателя съ ихъ идеальнымъ представленіемъ и показавъ, какъ они могутъ быть поняты отвлеченною мыслію. Да и самый процессъ мышленія, на который тогда же обращено было вниманіе публики, есть, что̀ бы ни говорили, первая ступень къ

ставляющія, такъ-сказать, жилы, по которымъ нѣмецкія метафизическія воззрѣнія притекли въ нашу литературу. Двѣ изъ нихъ напечатаны были въ «Телескопѣ» 1835 и двѣ остальныя въ «Московскомъ Наблюдателѣ» 1838 года. Къ числу первыхъ принадлежитъ статья о Гегелѣ, помѣщенная Станкевичемъ и уже нами упомянутая. За ней слѣдовалъ переводъ лекціи Фихте «О назначеніи ученыхъ» (Телескопъ, 1835, часть 29, № 17). Далѣе въ «Московскомъ Наблюдателѣ» были статьи: «Гимназическія рѣчи Гегеля», съ предисловіемъ переводчика (1838, мартъ, книжка I, часть XVI) и «О философской критикѣ художественнаго произведенія», тоже съ объясненіемъ отъ переводчика (май, книжка II, часть XVII). Внимательный читатель найдетъ въ выборѣ и содержаніи статей послѣдовательность, соотвѣтствовавшую степенямъ развитія идей въ кругѣ Станкевича. Бѣлинскій издалъ въ 1838 году всего 12 книжекъ «Наблюдателя» съ 1-го марта по 1-е сентября.

самопознанію, и можетъ-быть знакомству съ нимъ мы обязаны невидимою преградой, мѣшающею успѣху мелкихъ мыслей и мелкихъ страстей на поприщѣ современной намъ литературы.

Въ эту эпоху господства философскихъ опредѣленій, они отразились, какъ и слѣдовало ожидать, не на одной только умственной дѣятельности Станкевича, но захватили въ кругъ свой и такія стороны жизни, которыя всего менѣе способны подчиняться имъ. Такъ было, напримѣръ, съ послѣднею любовью Станкевича, начало которой относится къ этому времени. Прежнее восторженное отношеніе къ жизни миновалось. Тогда онъ еще не зналъ, чего хотѣлъ, и потому хотѣлъ небывалаго и неизмѣримаго. Теперь порывы къ какому-то необъятно-полному существованію улеглись; душевныя стремленія и фантазія обрѣли свои границы, а съ границами — разумность и положительныя цѣли; но съ первымъ земнымъ существомъ, которое явилось, какъ отвѣтъ на тайные призывы сердца, у Станкевича начинается работа философской повѣрки и опредѣленія страсти. Мы остановимся на этой подробности, такъ какъ она служитъ дополненіемъ къ картинѣ его жизненной дѣятельности, и по формѣ, принятой ею въ своемъ развитіи, показываетъ еще любопытный примѣръ сочетанія чувства и поэзіи съ разлагающимъ анализомъ и размышленіемъ.

Въ январѣ 1835 г. Станкевичъ послѣ деревенской жизни, описанной въ предшествующей главѣ, пріѣзжаетъ въ Москву, и здѣсь, съ марта мѣсяца того же года, начинается завязка довольно длинной сердечной исторіи, прошедшей черезъ самыя разнообразныя перипетіи. Предметъ, выбранный имъ тогда, былъ достоинъ его. Нравственная красота дѣвушки не выражалась бойко и ослѣпительно, а напротивъ теплилась ровно и тихо подъ покровомъ дѣтской ясности сердца и безсознательной женской граціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ ей не были чужды особенныя требованія отъ жизни, раздѣляемыя всѣми молодыми членами того семейства, къ которому она принадлежала. Требованія эти нельзя иначе пояснить, какъ сказавъ, что въ сущности они были переводомъ всѣхъ обыкновенныхъ условій человѣческой природы на мистическій языкъ сердца и воображенія. Такое истолкованіе вовсе не есть что-нибудь исключительное; оно, напротивъ, явленіе замѣчаемое въ каждомъ образованнымъ кругу; особенности оказываются только въ формахъ подобнаго истолкованія жизни, и всего болѣе въ той мѣрѣ, какая при этомъ соблюдается. Но иные члены этого семейства предавались дѣлу мистическаго и полуфилософскаго изъясненія жизненныхъ явленій съ неутомимою энергіей, съ изумительною дѣятельностію: довѣренность къ своимъ представленіямъ міра была тутъ безграничная;

убѣжденіе въ ихъ дѣйствительности слѣпо, непоколебимо и часто въ словѣ, нечаянно вырвавшемся у человѣка, въ звукѣ мелодіи, въ мимолетномъ явленіи природы, открывался для молодыхъ энтузіастовъ міръ необъятный, недоступный выраженію, но сильно чувствуемый. Жажда открыть духовное начало всего сущаго и погрузиться въ него была истинно неутолимая. Надо однако сказать, что въ такомъ общемъ направленіи близкихъ ей лицъ, дѣвушка, избранная сердцемъ Станкевича, отличалась скорѣе переимчивостію, тѣмъ изобрѣтательностію въ этомъ отношеніи. Она жила съ изящною простотой въ разноцвѣтной оболочкѣ догадокъ и предчувствій, которая создана была окружающими для закрытія грубой, матеріяльной стороны земнаго міра.

Въ томъ самомъ домѣ, гдѣ незадолго еще происходили сцены ревности и недоразумѣній между Станкевичемъ и восторженною по своему дѣвушкой, преслѣдовавшею въ немъ свой идеалъ, о чемъ мы говорили въ прошломъ отдѣлѣ, сблизился онъ съ другою особою, которая стройнѣе воплощала романтическія побужденія сердца съ теперешней своей привязанностію. Въ началѣ марта 1835 г., онъ, кажется, уже имѣлъ причины предполагать сочувствіе къ себѣ, потому что въ письмѣ отъ 13-го числа говоритъ съ восторгомъ и радостію, обличающими смутную надежду. . . «И четыре

эти дня могли бы быть эпохою жизни, еслибъ все то, что̀ я услышалъ въ это время, было правда. Не скажу ни слова — горестно будетъ разувѣриться, а я почти разувѣрился. Но, другъ мой, еслибъ это была правда, еслибъ это было возможно — новая жизнь началась бы для меня. О, какъ созналъ я Провидѣніе въ ту минуту, когда мнѣ сказали это!» Неожиданный поступокъ молодой энтузіастки, бывшей его поклонницы, приходится къ этому времени. Она рѣшилась именно подарить новой соперницѣ своей то счастіе, котораго сама искала, указала ей возможность сближенія съ непокорнымъ своимъ идеаломъ и подкрѣпила ея начинающуюся любовь; но такъ какъ все это было дѣломъ насилія своей природы и воспаленной головы, то вскорѣ все и рушилось. Не прошло и мѣсяца какъ она лежала въ постели въ полномъ нервическомъ разстройствѣ. Вплоть до новаго отъѣзда въ деревню (въ іюлѣ 1835), Станкевичъ, больной и присужденный, между прочимъ, пить минеральныя воды, остается подъ обаяніемъ этого великодушнаго поступка. Онъ выдумываетъ для себя обязанности, налагаетъ цѣпи на всѣ постороннія побужденія, движимый однимъ высокимъ чувствомъ своего долга. Эта тяжелая служба понятію о чести и достоинствѣ человѣка — заслоняетъ на время даже образъ новой привязанности: Станкевичъ боится ѣхать въ Петербургъ, гдѣ то-

гда, кажется, находилось семейство послѣдней, изъ опасенія разбудить чуткую подозрительность соперницы и подать новый поводъ къ самоотреченію и страданіямъ. Переписка его до отъѣзда въ деревню представляетъ непрерывную цѣпь намековъ, въ которыхъ хорошо отражается эта борьба съ обѣтомъ, принятымъ на себя по чувству великодушія и столь же удовлетворявшимъ его самого, какъ и то лицо, въ чью пользу онъ былъ сдѣланъ. Только въ декабрѣ 1835 переполняется для Станкевича мѣра снисхожденія и уступчивости. Онъ начинаетъ понимать все, что̀ есть оскорбительнаго въ непрошенныхъ жертвахъ, неделикатность ихъ и посягательство на самостоятельность человѣка. «Я не могу слышать какого-нибудь намека, равнодушно пишетъ онъ отъ 2-го декабря, какого-нибудь великодушнаго упрека. . . Ты представить себѣ не можешь, какъ мнѣ надоѣли всѣ эти пустяки: запутать себя въ нихъ такъ обидно, такъ унизительно.» Правда и то, что къ этому времени относится и рѣшительный поворотъ его къ другому лицу драмы, хотя потребность здравой простоты и трезвости въ людскихъ сношеніяхъ способствовала не мало къ прекращенію этой опасной игры тончайшими чувствами человѣческаго сердца.

И такъ въ іюлѣ 1835 г. Санкевичъ уѣзжаетъ въ деревню; но тутъ образъ новой привязанно-

сти вступаетъ во всѣ права свои, забытыя на мгновеніе, и является ему во всей свѣжести, какую сообщаетъ предметамъ уединенное воспоминаніе. Напрасно Станкевичъ, вѣрный правилу строгаго присмотра за собой, подвергаетъ допросу чувство свое, — оно преслѣдуетъ его и гонитъ изъ деревни. Въ сентябрѣ того же года онъ уже является опять въ Москву, увѣряя какъ петербургскаго друга своего, такъ и самого себя, что будетъ продолжать путь до сѣверной столицы, но вмѣсто того онъ неожиданно перемѣняетъ намѣреніе и уѣзжаетъ въ деревню, гдѣ жило семейство молодой особы, оковавшей его мысль. Въ письмѣ къ Я. М. Н—у, извѣщая объ этомъ рѣшеніи, онъ прибавляетъ, какъ бы оправдываясь передъ строгимъ, взыскательнымъ своимъ другомъ: «Можетъ-быть я возвращусь дѣятельнѣе, и какую-нибудь потерянную недѣлю вознагражу въ три дня.» Но уже дѣло шло совсѣмъ не о потерѣ времени, а объ отвѣтѣ на требованія души, успѣвшей воспитать новую любовь.

Что происходило въ деревенской жизни, принявшей этого, впрочемъ ожиданнаго гостя, — мы не знаемъ. Знаемъ только, что 26-го октября Станкевичъ возвращается въ Москву, но уже со всѣми признаками утраченныхъ надеждъ и мечтаній. «Да... пишетъ онъ съ дороги, изъ Торжка, петербургскому другу, я похоронилъ свою послѣднюю наде-

жду въ жизни и съ этихъ поръ принадлежу долгу и дружбѣ: нѣтъ для меня другихъ чувствъ.» По прибытіи въ Москву, онъ развиваетъ ту же самую мысль (письмо 10-го ноября) еще полнѣе: «Грустно сознать, что тебѣ нечего ждать отъ жизни, что лучшая, любимая мечта твоя, съ которою ты сжился, погибла навсегда. Сначала я былъ внѣ себя, роптал, но это продолжалось не болѣе трехъ дней; я истощился въ борьбѣ, и теперь душа моя въ летаргическомъ снѣ.» Онъ сравниваетъ потерю надежды на любовь съ потерей близкаго человѣка, оставляющею душу въ какой-то страшной серединѣ между привычкой вѣрить въ его существованіе и безотрадною дѣйствительностію. Та же болѣзнь сомнѣнія слышится въ его письмахъ и черезъ два мѣсяца, хотя выраженія Станкевича уже гораздо спокойнѣе и умѣреннѣе. Въ декабрѣ 1835 Станкевичъ пишетъ изъ Москвы: «Это была фантазія, а не чувство во всей его силѣ, которое неистребимо. Нельзя было разстаться съ этою фантазіей безъ сожалѣнія, безъ муки. Я прожилъ нѣсколько тяжелыхъ дней, нѣсколько мучительныхъ ночей. Пока я убѣждался—мнѣ было больнѣе, нежели какъ я убѣдился. Теперь змѣя отъ сердца отпала. . .» Само собою разумѣется, что естественный спутникъ всякаго сомнѣнія — нравственная пустота пришла тотчасъ за предполагаемою утратой чувства. Станкевичъ

почувствовалъ себя духовно-одинокимъ, несмотря на важное значеніе, какое придавалъ онъ дружбѣ въ жизни своей. Чтобъ избавить себя отъ апатіи, приближеніе которой онъ какъ будто слышитъ, Станкевичъ погружается съ необычайною энергіей въ науку и преимущественно въ философскія изслѣдованія. Къ этому времени принадлежатъ всѣ его живыя, превосходныя письма къ Я. М. Н—у и Т. Н. Гр—у о философіи и исторіи. Можно подумать, что чѣмъ менѣе находилъ онъ съ одной стороны твердой опоры въ жизни, тѣмъ сильнѣе искалъ ее съ другой — въ занятіяхъ. Въ такомъ состояніи духа онъ уѣзжаетъ въ деревню, гдѣ и встрѣчаетъ новый 1836 годъ, вспоминая при этомъ одну подробность ребяческаго своего возраста. Какой-то прикащикъ, начитавшійся нѣмецкихъ мистиковъ, увѣрялъ его тогда, что въ 1836 году свершится свѣтопреставленіе. Станкевичъ утѣшалъ себя мыслію, что это еще очень далеко, и что тогда ему будетъ ужь очень много лѣтъ — двадцать два года. И вотъ этотъ 1836 годъ наступилъ, исполнилось двадцать два года: свѣтопреставленіе не пришло, и жизнь еще была впереди.

Вѣроятно, уже многіе изъ читателей нашихъ замѣтили, что всѣ обѣты одиночества и другія завѣренія Станкевича свидѣтельствуютъ скорѣе о минутной задержкѣ, такъ сказать, чувства, чѣмъ

о безвозвратной потерѣ его. Случайныя обстоятельства, которыхъ мы не знаемъ, отбросили любовь во глубь души, и Станкевичъ принялъ это за ея смерть, какъ иногда случается. Едва успѣлъ онъ поселиться въ деревнѣ, какъ тотчасъ же и покидаетъ ее. 24 января 1836 г. онъ уже въ Москвѣ и пишетъ коротенькую записочку Я. М. Н-у, извѣщая его о прибытіи туда же и семейства, съ которымъ онъ уже теперь связанъ былъ своимъ сердцемъ. Онъ проводитъ въ Москвѣ всю зиму и часть весны до мая мѣсяца, и во все это время пишетъ не болѣе трехъ писемъ къ другу, изъ которыхъ въ послѣднемъ зоветъ его уже съ собою на Кавказъ. Въ этихъ письмахъ Станкевичъ уже обходитъ всѣ подробности, касающіяся настоящаго вопроса, весьма мало говоритъ о себѣ, какъ-бы стыдясь опровергнуть такъ скоро прежнія свои завѣренія, какъ-будто робѣя передъ откровеннымъ словомъ, чѣмъ должна также объясняться и несвойственная ему лѣность въ корреспонденціи. Легко догадаться, что внутренній міръ его снова озаренъ и согрѣтъ любовью, которая никогда и не умирала въ его сердцѣ. Дѣйствительно, тутъ произошло сближеніе между нимъ и предметомъ его нѣмыхъ удивленій, сближеніе, показавшее обоимъ настоящее состояніе ихъ сердецъ. Послѣ того путь, который имъ предстоялъ повидимому, былъ намѣченъ ужь очень ясно, начиная съ пер-

ваго слова любви и до послѣдней цѣли взаимныхъ откровеній — брака по чувству. Самъ Станкевичъ видѣлъ этотъ бракъ вдали, какъ необходимое слѣдствіе новаго своего положенія, но онъ остановился именно передъ этимъ слѣдствіемъ. Въ сущности оказалось, что страсть его еще не выросла до той мѣры, чтобъ подчинить совершенно его волю, подсказать твердое, непреодолимое рѣшеніе. Можетъ-быть для этого не доставало ей очень немногаго, одной капли, но недостатокъ этой послѣдней переполняющей капли уже заранѣе поражалъ безсиліемъ всякую рѣшимость. Въ самой страсти Станкевича видимъ необыкновенную добросовѣстноть. Находясь подъ вліяніемъ любимаго существа, исполненнаго кроткой прелести, онъ однако же зорко проникаетъ умственнымъ окомъ слабыя стороны собственнаго чувства и не хочетъ вступать съ нимъ въ мировую сдѣлку, какъ поступилъ бы всякій другой на его мѣстѣ, — и можетъ-быть съ бо́льшимъ благоразуміемъ. Но Станкевичъ руководствуется въ жизни не столько благоразуміемъ, сколько правдою. Избѣгая самомалѣйшаго признака неискренности, Станкевичъ начинаетъ помышлять объ отъѣздѣ за границу. Причинъ для отъѣзда было дѣйствительно очень много, начиная съ разстроеннаго здоровья и до необходимости окончить свое образованіе. Ими легко было прикрыть ненеобходимость другаго рода — необходимость по-

ложить конецъ отношеніямъ, которыя ему кажутся уже не совсѣмъ правдивыми. Планъ отъѣзда за границу, по семейнымъ обстоятельствамъ, не могъ осуществиться ранѣе слѣдующаго года. Оставался Кавказъ, куда поспѣшно и отъѣзжаетъ Станкевичъ въ маѣ 1836 г., приводя въ исполненіе мысль, если не о разрывѣ, то по крайней мѣрѣ о временной разлукѣ.

Если уже и сказанное нами носитъ признаки тонкихъ метафизическихъ опредѣленій, то послѣ свидѣтельства самаго Станкевича, которое сейчасъ приведемъ, философское происхожденіе всѣхъ его колебаній становится несомнѣннымъ. Документъ нашъ интересенъ еще и тѣмъ, что заключаетъ въ себѣ воззрѣнія и нравственныя основанія большей части его московскихъ друзей. Это исповѣдь не одного Станкевича, но и цѣлаго круга въ тотъ періодъ, которымъ занимаемся. 31-го мая, передъ самымъ отправленіемъ своимъ на Кавказъ, въ одной изъ деревень отца, Станкевичъ чертитъ слѣдующія строки, адресуя ихъ тому дилеттанту-философу, который, какъ видѣли, жилъ съ нимъ иногда вмѣстѣ на одной квартирѣ въ Москвѣ. Другъ этотъ хорошо зналъ тайны его сердца и тайны семейства, къ которому оно было обращено. Надо прибавить еще, что существенная часть письма написана по-нѣмецки; но мы предлагаемъ здѣсь читателю

вѣрный переводъ его, хотя и съ нѣкоторыми необходимыми пропусками.

«Я не знаю, какъ назвать мою душу — совершенно пустою или только опустошенною. Опустошенною — но что же было въ ней прежде? Пустою — но пустая душа есть достояніе глупцовъ, а я не считаю себя глупцомъ, ни ты, смѣю надѣяться. Въ ней дѣйствительно было *что-то*, но это *что-то*, любезный другъ, такъ мало, такъ ничтожно! . . А я хотѣлъ быть богачомъ, — и въ этомъ моя ошибка, моя вина. Я надѣялся сдѣлаться счастливымъ, счастливымъ безгранично, — и думалъ получить это счастіе внѣшнимъ образомъ. Любовь — вѣдь это родъ религіи, которая должна наполнять каждое мгновеніе, каждую точку жизни. Иначе нельзя понимать любовь человѣку, уже приведенному къ какой-либо степени сознанія. Но для того, чтобъ испытывать подобную любовь, надо быть болѣе развитымъ... Не дано было мнѣ творческой жизни, образуемой такою любовью: правда, я имѣлъ объ ней понятіе, но въ свою собственность превратить ее не могъ. Моя мысль не обнимала такой жизни во всемъ ея пространствѣ: въ послѣднее время, чувство уже начинало объяснять мнѣ ее, но съ другой стороны я все еще продолжалъ искать среднихъ, обыкновенныхъ путей, къ которымъ мы всѣ привыкли болѣе или менѣе издѣтства. . . Это было несчастіе, и послѣдняя

страшная катастрофа [1]) можетъ-быть была необходима, чтобъ изцѣлить меня отъ романтическихъ стремленій (Schönseeligkeit), отъ сонливости души, чтобъ разрушить выдуманныя, фантастическія представленія жизни, чтобъ выбросить меня въ свѣтъ, гдѣ могъ бы дѣйствовать какъ *человѣкъ*, какъ *разумное существо*, или вполнѣ выказать все свое ничтожество. Тогда оставалось бы самоубійство; но никогда не рѣшусь я на подобную низость и до послѣдняго моего часа не потеряю надежды сдѣлаться когда-либо *человѣкомъ*. Чтобъ подѣлиться съ кѣмъ-нибудь добромъ своимъ, надо еще обладать чѣмъ-нибудь. Потребность любви должна быть вызвана не бѣдностію души, которая, чувствуя свою нищету и будучи недовольна собой, ищетъ кругомъ себя помощи; нѣтъ, любовь должна выходить изъ богатства нашего духа, исполненнаго силы и дѣятельности и отыскивающаго въ самой любви только новую, высшую, полнѣйшую жизнь...» И вотъ какого рода соображенія пересѣкали путь Станкевичу, и вотъ на какого рода требованія должна была отвѣчать любовь! Онъ былъ правъ, сознавая трудность задачи, поставленной самому себѣ. И какъ ни жалка участь существа, замѣшаннаго въ подобную распрю между сердцемъ и

---

[1]) Сомнѣніе въ чувствѣ и разрывъ съ предметомъ, его

отвлеченными требованіями, Станкевичъ былъ правъ и передъ нимъ, когда для достиженія своихъ цѣлей долженъ былъ пройдти мимо его и оставить его одинокимъ на землѣ. Въ жизни бываютъ случайныя неизбѣжныя жестокости, въ которыхъ нѣтъ виновныхъ, и въ которыхъ жертва и приноситель жертвы одинаково заслуживаютъ уваженіе.

Суровая природа Кавказа произвела непріятное впечатлѣніе на Станкевича: онъ и вообще не расположенъ былъ ко всему, что̀ представляетъ видъ матеріяльной силы, хаотическаго безпорядка и борьбы элементовъ. Ему нужно былъ сперва *подумать*, чтобъ оцѣнить красоты Кавказа въ ихъ величавой дикости, и только посредствомъ обсужденія дошелъ онъ до возможности принять впечатлѣніе и отдать въ немъ отчетъ. «Здѣсь, говоритъ онъ, природа дика и печальна; здѣсь начинается обширная колыбель человѣчества; властительницей является здѣсь природа; передъ ней смиряется бѣдное человѣчество, чувствуетъ свое дѣтское безсиліе и не смѣетъ мечтать о своемъ первенствѣ. . . Огромность и дикость давятъ душу, и постепенно, но скоро равняется она съ этими утесами и безпредѣльными равнинами.» Впрочемъ, минеральныя воды Кавказа еще болѣе разстроили его здоровье, и въ августѣ 1836 года онъ возвращается въ Удеревку, гдѣ предается планамъ будущаго своего отъѣзда за границу и однажды

восклицаетъ, припоминая всегдашнюю склонность свою — искать счастія въ семейной жизни: «мнѣ надо больше твердости, больше жесткости!»

Послѣ двухъ мѣсяцевъ отдыха онъ опять является въ Москву (въ октябрѣ 1836) и остается тамъ до весны 1837 года, покончивъ въ это время, какъ мы знаемъ, всѣ разногласія съ петербургскимъ другомъ, касательно философскихъ занятій и изложивъ ему замѣчательныя мысли по поводу полученнаго извѣстія о смерти Пушкина.

Не такъ легко было рѣшить вопросъ о любви. Въ началѣ зимы 1836 — 1837 года семейство его избранной прибыло въ Москву. Тутъ же находился и пріятель, къ которому обращался Станкевичъ съ изъясненіемъ началъ и побужденій, которыя должны управлять чувствами человѣка. Къ нему слѣдовало прибѣгнуть теперь за совѣтомъ и помощью. Можно угадать, какого рода было то и другое. Вѣроятно, другъ Станкевича, весьма сильный въ разрѣшеніи всѣхъ противорѣчій діалектическимъ способомъ, старался устранить препоны, полагаемыя размышленіемъ и осторожностію ума, указавъ на выходъ, который предстоялъ ему вслѣдствіе логической необходимости. Вѣроятно также, что Станкевичъ, слѣдуя за силлогизмами друга, полагалъ, что и жизнь слѣдуетъ непремѣнно за ними. Но когда онъ обращался прямо къ своему чувству, оно, несмотря на всѣ вызовы, остава-

лось какъ-то бездѣйственно, слабо и болѣзненно, хотя и не потеряло еще послѣднихъ признаковъ жизни. Нѣтъ сомнѣнія, что у Станкевича были минуты, когда онъ не зналъ самъ — любитъ ли онъ, или сердце его уже свободно отъ волненій страсти. Мы видимъ изъ переписки, что по внушеніямъ того или другаго признака, открытаго въ себѣ, онъ попеременно или стремится къ цѣли, которою должна была увѣнчаться его любовь, или въ изнеможеніи и отчаяніи останавливается посреди пути и съ томленіемъ ждетъ какого-то откровенія, которое бросило бы ему свѣтъ на собственное его сердце. Онъ не могъ однако же выносить долго этихъ потемокъ сознанія, если смѣемъ выразиться такъ, даже и по природѣ своей, искавшей ясности и тамъ, гдѣ она трудно обрѣтается. Нѣтъ сомнѣнія, что Станкевичъ скоро принялъ бы опредѣленное рѣшеніе для своихъ отношеній къ молодой особѣ и не скрывалъ бы отъ нея перемѣны, происшедшей въ его сердцѣ, еслибъ болѣзненное состояніе этой дѣвушки не требовало въ этомъ дѣлѣ величайшей осторожности, необходимость которой ясно видѣли близкіе ея друзья, указывавшіе эту необходимость и Станкевичу. Столько же изнуренный болѣзнію, сколько и всѣми этими событіями внутренняго своего міра, Станкевичъ отодвигаетъ послѣднее рѣшеніе на далекое, неопредѣленное время, слѣдуя въ этомъ еще

болѣе совѣтамъ разстроенной души, чѣмъ близкихъ людей и своихъ родныхъ. Послѣднія письма больнаго и страдающаго Станкевича наполнены единственно распоряженіями о паспортѣ за границу, объ отставкѣ, о ходѣ этого дѣла въ Петербургѣ, страхомъ за успѣхъ его и ожиданіемъ извѣстій. Наконецъ покидаетъ онъ родину осенью 1837 г., и мало-по-малу, во время пути, начинаютъ возвращаться въ истомленную душу его покой, порядокъ и равновѣсіе силъ.

Мы занялись нѣсколько подробно описаніемъ всей этой исторіи любви потому именно, что въ нашихъ глазахъ она заключаетъ въ себѣ поученіе. Кто не видитъ, что въ ходѣ ея, развитіи и концѣ, есть какой-то порокъ или недостатокъ, мѣшающій каждому ея періоду достичь настоящаго своего развитія? Порокъ этотъ, однакоже, есть порокъ силы, или лучше, слишкомъ высокаго пониманія предметовъ, при чемъ выпущена изъ вида ихъ жизненная, простая сторона. Такъ всегда наказываются излишне-строгія требованія отъ себя и другихъ, исключительныя, непомѣрныя ожиданія, наклонность возводить мысли и поступки до послѣднихъ предѣловъ идеальныхъ притязаній. Бѣды, происходящія оттуда, вполнѣ заслужены; но люди, провинившіеся такимъ образомъ, становятся навсегда любезными, дорогими именами для нашего сердца и

Скажемъ въ дополненіе, что самъ предметъ, возбудившій эту задушевную драму, ничего не потерялъ отъ неожиданнаго ея развитія. И до отъѣзда за границу и по отъѣздѣ Станкевичъ находился съ нимъ въ постоянной перепискѣ. Утраты свершались въ душѣ Станкевича; лицо, державшее нити этихъ событій, не утрачивало ничего. Правда, что передъ женскимъ сердцемъ трудно скрыть игру тѣхъ ощущеній, которой оно само же дало поводъ; правда, что оно понимаетъ тотчасъ утрату чувства, подъ какой бы формой она ни скрывалась... Бываетъ, что оно утѣшается, — и это составляетъ одно изъ счастливѣйшихъ свойствъ человѣческой природы, но бываетъ и наоборотъ... Благородная, поэтически-возвышенная дѣвушка скончалась вскорѣ по отъѣздѣ Станкевича за границу. То-есть, скончалась отъ какой-нибудь болѣзни? спроситъ благосклонный читатель. Дѣйствительно, она скончалась отъ обыкновенной болѣзни, но въ томъ дѣло, что зародыши обыкновенныхъ болѣзней бываютъ самыхъ разнообразныхъ свойствъ и имѣютъ иногда такое отдаленное и даже странное происхожденіе, что не подпадаютъ изслѣдованію доктора и науки.

Заключимъ разказъ нашъ послѣднею историческою данною, не лишенною тоже своего рода поученія. Образъ любимой дѣвушки не заслонилъ въ глазахъ Станкевича другой особы, съ которою онъ

находился въ чистыхъ дружественныхъ отношеніяхъ. Самое свойство ихъ взаимныхъ отношеній не давало имъ никакихъ правъ другъ на друга и еще менѣе могло породить какого-либо рода колебанія, волненія и порывы. Такъ все было просто между ними, что они и не думали подвергать изслѣдованію и повѣркѣ чувство взаимнаго и безкорыстнаго расположенія другъ къ другу. Чѣмъ меньше обращали они вниманія на себя, тѣмъ привязанность становилась крѣпче, лишенная всякаго ухода и нянчанья. Они были связаны безъ узъ и тѣмъ сильнѣе, чѣмъ свободнѣе могли удаляться другъ отъ друга. По отъѣздѣ за границу Станкевичъ вспомнилъ объ этой дружбѣ, не оставившей никакого слѣда въ перепискѣ; больной прибѣгъ къ послѣднимъ ея услугамъ, и она явилась къ нему и успѣла закрыть ему глаза на вѣкъ въ 1840 г. Такъ дѣйствуетъ сама жизнь въ противоположность съ нашими поправками, украшеніями и толкованіями ея.

ПЕРІОДЪ ЖИЗНИ СТАНКЕВИЧА ЗА ГРАНИЦЕЙ и СМЕРТЬ ЕГО.

Съ 1337 — 1840.

---

§ I.

ДВѢ ЗИМЫ ВЪ БЕРЛИНѢ.

Благодаря семейной перепискѣ Станкевича, мы можемъ прослѣдить путь его и пребываніе за границей довольно подробно. 24-го августа осмотрѣлъ онъ Кіевъ, и подвигаясь затѣмъ къ австрійской границѣ, 31-го числа былъ уже въ Лембергѣ. Польское и жидовское народонаселеніе, окружающее границу нашу съ этой стороны, возбудила тотчасъ же юморъ Станкевича. Довольно забавно разсказываетъ онъ, что послѣ какого-то жидовскаго обмана при промѣнѣ денегъ, онъ уже не могъ болѣе терпѣть жидовъ, и каждому приходившему къ нему

Еврею всегда говорилъ: Zum Teufel, на что каждый Еврей всегда отвѣчалъ: *Во вонтъ эръ день?* Забавную шутку сыгралъ съ нимъ, по словамъ Станкевича, и одинъ почтальйонъ, узнавшій о его новопріобрѣтенномъ отвращеніи отъ услужливыхъ факторовъ. Въѣзжая на дворъ лембергской гостинницы, онъ сталъ кричать: «чи нема ту жидовъ? Панъ не може ихъ видзѣть.» Все это и даже усталость отъ путешествія не могли поколебать обыкновеннаго чувства довольства, которое испытывается при началѣ странствованія по знакомымъ, хотя еще и невиданнымъ землямъ. «Что значитъ воображеніе! говоритъ Станкевичъ, — за Бродами мнѣ казалось, что я въѣхалъ совсѣмъ въ другой міръ, что и трава тутъ не такъ растетъ и небо не такъ смотритъ, а какъ почтальйонъ заигралъ въ рожокъ, я самъ не знаю, что со мною сдѣлалось: такъ весело, хоть плясать!» Дѣйствительно, это было воображеніе, потому что Станкевичъ ѣхалъ больной и торопился въ Карлсбадъ, по пути завѣряя родныхъ въ отличномъ состояніи своего здоровья и своего духа. Въ началѣ сентября Станкевичъ былъ въ Краковѣ и почелъ за нужное осмотрѣть извѣстныя Величковскія соляныя копи. Проводникъ освѣщалъ для него факелами и бенгальскимъ огнемъ фантастическіе корридоры и блещущія залы копей. Въ одной изъ разноцвѣтныхъ пропастей ихъ, внезапно озаренной синимъ фейер-

верочномъ огнемъ, Станкевичъ не могъ удержаться отъ чувства страха. «Нельзя не струсить, говоритъ онъ, видя надъ собой страшныя глыбы.» Впечатлительность Станкевича была неимовѣрна. Во время пребыванія въ Римѣ (1840), при осмотрѣ какой-то развалины, лежавшей на пути изъ Альбано, одному изъ товарищей его вздумалось закричать громкимъ голосомъ: Divus Caius Julius Caesar. Эхо развалины отозвалось на голосъ какъ будто со стономъ. Веселый и разговорчивый дотолѣ, Станкевичъ вдругъ поблѣднѣлъ, умолкъ и послѣ нѣсколькихъ секундъ молчанія, словно переживъ сильное внутреннее потрясеніе, сказалъ съ упрекомъ товарищу: «Зачѣмъ вы это сдѣлали?« Организація Станкевича, нѣжная по природѣ, въ послѣдніе годы его жизни сдѣлалась чутка и восприимчива до изумительной степени. Воображеніе его всегда бодрствовало, несмотря на слабость физическихъ силъ, а можетъ-быть и по причинѣ этой слабости.

Возвращаясь къ путешествію Станкевича, мы видимъ изъ дневника его, что 9-го сентября, ст. ст., былъ онъ въ Ольмюцѣ, а 14-го въ Прагѣ. Въ Ольмюцѣ пробуетъ онъ высказать личное впечатлѣніе отъ первой готической церкви, встрѣченной имъ на пути, и отъ перваго могущественнаго органа, который загремѣлъ для него подъ ея сводами. И то и другое ему давно было знакомо въ

понятіи, но здѣсь онъ начинаетъ чувствовать предметы и спѣшитъ разложить и опредѣлить свое ощущеніе. Въ Прагѣ онъ встрѣчается съ нидерландскою натуралистическою школой живописи XV столѣтія, съ чуднымъ Гемлингомъ, который вмѣстѣ съ братьями Ванъ-Эйками былъ родоначальникомъ знаменитой школы, породившей Рубенсовъ, Ванъ-Дейковъ, Рембрандтовъ и проч. Первые образцы искусства, встрѣченные имъ — вызываютъ на свѣтъ природное эстетическое чувство его и способность непосредственной, личной оцѣнки изящнаго. Дневникъ его въ городахъ, упомянутыхъ нами, есть просто указатель предметовъ, но указатель, по нашему мнѣнію, необычайно тонкій и умный. Видно съ перваго раза малое знакомство съ сущностію того и другаго рода искусства и недостатокъ навыка въ оцѣнкѣ ихъ, но есть возвышенное, свѣтлое и оригинальное пониманіе ихъ въ общей идеѣ, чѣмъ Станкевичъ отличался и въ послѣдствіи при своихъ сужденіяхъ о пластическихъ искусствахъ вообще. Слово его всегда затрогивало и шевелило душу. Отъ подобныхъ ему профановъ въ образовательныхъ искусствахъ и можно услышать мѣткое сужденіе, открывающее новую сторону предмета, часто неуловимую для глаза, уже свыкшагося съ нимъ. Замѣчаніе это могли бы подтвердить художники наши, Пименовъ и Завьяловъ, встрѣтившіеся съ нимъ въ Прагѣ на

пути своемъ въ Римъ [1]). Какъ образецъ свѣжести и несомнѣнной возвышенности его образа мыслей можно представить читателю идеи его объ отношеніи музыки и живописи къ храму и служенію, находящіяся въ его перепискѣ. Весьма замѣчательное предчувствіе истины показалъ Станкевичъ и при первомъ, почти нечаянномъ столкновеніи съ картиной художника XV вѣка, содержаніе которой передаетъ онъ мастерски въ нѣсколькихъ словахъ.

Въ Прагѣ Станкевичъ видѣлъ у Палацкаго и у Шафарика чешскихъ литераторовъ и былъ тронутъ до слезъ ихъ дѣтскою, сыновнею привязанностію къ родинѣ, ея преданіямъ и пѣснямъ, и только рѣзкое, исключительное превознесеніе одной славянской національности нѣсколько нарушало гармонію въ задушевныхъ сношеніяхъ съ ними. Станкевичъ, только-что выѣхавшій изъ Россіи, весь обращенъ былъ лицомъ къ Европѣ, и не могъ

---

[1]) Станкевичъ довольно оригинально разказываетъ о встрѣчѣ своей съ Пименовымъ, котораго зналъ и прежде. Онъ освѣдомился по газетамъ о пребываніи художника въ Прагѣ: «На другой день рано по утру надѣваю поскорѣе теплый сюртукъ и бѣгу.... Постучавшись раза два въ дверь, я отворилъ ее и спросилъ: ist Herr Pimenoff hier? — Ich habe kein Geld, отвѣчаетъ онъ, думая, что въ двери лѣзетъ капуцинъ. Онъ не узнавалъ меня до тѣхъ поръ, пока я не подошелъ къ самой его по-

раздѣлять ихъ презрѣнія къ европейской цивилизаціи, весьма объяснимаго особеннымъ положеніемъ тамошняго края. Вотъ нѣсколько строкъ о народности, написанныхъ имъ въ Прагѣ и какъ будто отвѣчающихъ на споръ, недавно возникшій объ этомъ предметѣ. «Чего хлопочутъ люди о народности? Надобно стремиться къ человѣческому, свое будетъ по неволѣ. На всякомъ искреннемъ и непроизвольномъ актѣ духа невольно отпечатывается свое, и чѣмъ ближе это свое къ общему, тѣмъ лучше. Гемлингъ вѣрно не хотѣлъ написать Нѣмку (въ картинѣ, представляющей встрѣчу Елизаветы и Маріи и находящейся въ Прагѣ въ церкви Св. Вита), но его лицо по неволѣ вышло такъ, хотя на немъ святое выраженіе; а эта индивидуальность и составляетъ красоту. Это все равно, еслибы я, замѣтивши, что у многихъ людей, являющихся въ обществѣ, есть свои особенныя манеры, старался бы непремѣнно сдѣлаться оригинальнымъ въ этомъ отношеніи и сталъ бы подражать отцовскимъ и дѣдовскимъ манерамъ. Кто имѣетъ свой характеръ, тотъ отпечатываетъ его на всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ; создать характеръ, воспитать себя — можно только человѣческими началами. Выдумывать или сочинять характеръ народа изъ его старыхъ обычаевъ, старыхъ дѣйствій значитъ хотѣть продлить для него время дѣтства: давайте ему общее человѣческое и смотри-

те, что̀ онъ способенъ принять, чего не достаетъ ему? Вотъ это угадайте, а поддерживать старое натяжками — это ни куда не годится.»

Наконецъ 16-го сентября добирается онъ до Карлсбада, и шутя пишетъ къ Я. М. Невѣрову и Т. Н. Грановскому, ожидавшимъ его въ Берлинѣ: «Вы думаете, что вы важные люди, потому что стоите въ Friedrichstrasse . . . да мнѣ что за надобность! Знаю я ваши шашни . . . дайте мнѣ пріѣхать въ Берлинъ; я васъ отпотчую . . . будетъ вашему брату гонка.» Правда и то, что оба пріятеля, получивъ наконецъ извѣстіе, что Станкевичъ благополучно доѣхалъ до Карлсбада и намѣревается зимовать въ Берлинѣ, пустились выплясывать pas de deux, какъ гоголевскій майоръ Коровлевъ, по замѣчанію Станкевича. Нельзя сказать, чтобы Карлсбадъ имѣлъ сильное вліяніе на здоровье его, хотя онъ и пробылъ тамъ до 5-го октября, то-есть почти три недѣли. Тому мѣшало и частое уклоненіе отъ строгой, однообразной, монашеской жизни, необходимой при лѣченіи водами, но мало соотвѣтствовавшей природѣ его, а также и неспокойное состояніе души — остатокъ тѣхъ волненій, которыя пережилъ онъ въ Россіи. Горько жалуется онъ на свою врожденную способность къ мечтательности, на скорую довѣренность къ первому, неясному чувству сердца, что̀ тогда называлось *прекраснодушіемъ* (съ нѣмецкаго Schön-

seeligkeit). Глаза его обращаются совсѣмъ въ другую сторону; онъ помышляетъ о женщинѣ, связанной формальными узами и потерявшей чувство, которое даетъ имъ смыслъ и значеніе. Твердо защищаетъ онъ передъ другомъ естественныя права ея, во имя духа, который долженъ оживлять каждый человѣческій актъ, каждое человѣческое сношеніе — и защиту эту, по справедливости, называетъ новымъ періодомъ своего развитія. Какъ бы то ни было, но Карлсбадъ остался однимъ изъ дорогихъ его воспоминаній. Въ путешествіяхъ случается часто, что первый городъ съ ясною національною физіономіей оставляетъ неизгладимое впечатлѣніе у человѣка, несмотря на множество другихъ посѣщенныхъ имъ городовъ, и ярче и полнѣе выражающихъ тотъ же характеръ. Въ Карлсбадѣ Станкевичъ обрѣлъ тотъ нѣмецкій міръ, о которомъ думалъ съ дѣтства, съ которымъ познакомился сперва, какъ самъ говоритъ, посредствомъ рыцарскихъ романовъ, затѣмъ посредствомъ фантастическихъ повѣстей, про который и за который говорили ему издавна всѣ любимѣйшіе писатели его. Понравились ему и простота нѣмецкой жизни, отсутствіе празднаго барства, легкость сношеній между людьми, и признаки старой цивилизаціи, видимые на самыхъ мелкихъ вещахъ и повсюду умягчившіе не только нравы, но самое слово и выраженіе мысли. Затѣмъ явились типы, харак-

ктеры, физіономіи, которые были только живымъ воплощеніемъ того, что̀ уже давно забавляло, трогало и смѣшило его за книгами. Онъ пріобрѣтаетъ себѣ большаго друга въ часовыхъ дѣлъ мастерѣ Гофманѣ и еще двухъ такихъ же искреннихъ друзей при поѣздкѣ въ Зедлицъ, именно: золотыхъ дѣлъ мастера изъ Эгера и органнаго мастера оттуда же. Онъ присутствуетъ на всѣхъ балахъ ихъ, на стрѣльбѣ въ цѣль, на вечернихъ собраніяхъ за пивомъ подъ руководствомъ неутомимаго Гофмана: «Дымъ столбомъ, говоритъ Станкевичъ, пиво рѣкою, одинъ музыкантъ играетъ на скрипкѣ, иногда припѣвая для большей выразительности: трара, трара, при чемъ гражданство хохочетъ.» Услужливость неимовѣрная. Хозяинъ кабинета для чтенія, куда Станкевичъ зашелъ отъ скуки, тотчасъ узнаетъ въ немъ, хотя и не совсѣмъ впопадъ, страстнаго любителя политики, предлагаетъ ему два №№ Journal des Débats на домъ и учтиво замѣчаетъ: «Ohne Politik zu lesen ist man doch todt» (не читать о политикѣ все равно, что быть мертвымъ). Тутъ же встрѣчаетъ Станкевичъ и нѣмецкихъ гелертеровъ, и студентовъ, и тѣхъ дѣвушекъ, которыя, весело проработавъ цѣлую недѣлю, идутъ, въ праздникъ, въ церковь съ книжками въ рукахъ и съ серіознымъ выраженіемъ на лицѣ, а вечеромъ также серіозно, но только безъ книжекъ — на вальсъ. Не пропуска-

етъ Станкевичъ безъ особаго вниманія и шал
вливыхъ пансіонерокъ, которыя, узнавъ въ нем
иностранца, всѣ въ одинъ голосъ закричали пр
встрѣчѣ съ нимъ: «Guten Morgen». Затѣмъ еш
театръ: оперы, исполняемыя второстепенными пѣ
цами съ добросовѣстными и неимовѣрными усил
ями, комедіи, которыя, по замѣчанію Станкевич
суть не что иное, какъ дѣтскія нравоучительны
піесы, но съ такими уморительными выходками
комическими сценами, что едва усидишь на сту
отъ смѣха, наконецъ драмы и трагедіи, гдѣ м
мика, декламація и позы артистовъ достигаютъ п
слѣднихъ предѣловъ возможнаго. . . Какъ буд
въ соотвѣтствіе съ внѣшнею жизнію, Станкевич
читаетъ въ Калсбадѣ романъ Тика: «Der junge Tisc
lermeister» (Молодой столяръ), гдѣ умный граф
любитель театра и построекъ, ѣдетъ съ другом
своимъ, умнымъ столяромъ, въ свой замокъ, и о
на дорогѣ поминутно встрѣчаютъ *избранныя пр
исшествія и событія*, которыя подаютъ имъ п
водъ къ длиннымъ разсужденіямъ объ искусств
обществѣ и отношеніяхъ, существующихъ меж
людьми. Эстетическія сужденія, высказываем
степеннымъ столяромъ, уже гораздо трезвѣе, про
Гофмановскихъ мнѣній и во многихъ случая
мѣтки и вѣрны, событія иногда дѣйствительно и
тересны и забавны, основная мысль романа — о н
возможности натянутыхъ связей — тоже имѣе

долю правды; но механическая постройка романа, до крайности нехудожественная, и самъ онъ, пропитанный страстію къ средневѣковому порядку вещей, обличаетъ уже слишкомъ наклонность къ сентиментальному пониманію будничной нѣмецкой жизни, которая въ немъ и отражается очень полно. Станкевичъ остался чуть ли не послѣднимъ и единственнымъ паціентомъ Карлсбада: дѣвушки при источникахъ дрожатъ и жмутся отъ холода по утрамъ, когда онъ подходитъ къ нимъ за стаканомъ, но разстройство груди мѣшаетъ ему выѣхать ранѣе.

22-го октября Станкевичъ прибылъ въ Дрезденъ и разумѣется прямо въ галлерею къ знаменитой Мадоннѣ. «Я тотчасъ узналъ ее, говоритъ онъ, сердце упало у меня, я почувствовалъ въ ту же минуту, что эта картина не для меня существуетъ.» Черта замѣчательная, именно тѣмъ, что проникнута искренностію. Станкевичъ встрѣчалъ тутъ опять впервые отвлеченную красоту и идеализацію итальянскаго искусства, какъ прежде встрѣчалъ натурализмъ нѣмецкой школы съ примѣсью религіознаго созерцанія. Но послѣднее легче было уразумѣть съ перваго раза, а для пониманія Рафаэлевой эпохи живописи необходимъ уже нѣкоторый опытъ, нѣкотораго рода подготовка, запасъ свѣдѣній и понятій. Станкевичъ оставилъ маленькое письмо, образцовое (Дрезденъ 22-го октября)

по мѣткости, съ которою выражены въ немъ усилія мысли овладѣть предметомъ, какъ будто закрывшимся для него въ своемъ величіи и не поддававшимся сознанію. Безотчетно бродилъ глазъ Станкевича по полотну, не различая ничего, или усматривая однѣ подробности. Съ какимъ-то отчаяніемъ напрягаетъ онъ вниманіе, — что-то мелькнетъ въ его умѣ и изчезнетъ. . . Онъ отводитъ глаза отъ картины и обращаетъ ихъ сперва на Корреджіо, потомъ на Карла Дольче, и Карлъ Дольче кажется ему граціознѣе, прелестнѣе. . . Устыдившись собственнаго впечатлѣнія, онъ ближе всматривается и находитъ что-то манерное въ Св. Цециліи послѣдняго. . . Подымаетъ опять глаза на Мадонну: она какъ будто шевельнулась . . . и часть ея величія, именно: благородное выраженіе материнской любви, ярко бросается ему въ глаза. Сближеніе съ Мадонной дѣлается возможнымъ. Душевный процессъ, разложенный Станкевичемъ, — есть просто исторія развитій понятій въ каждомъ даровитомъ человѣкѣ, но у Станкевича она прошла быстро, въ нѣсколько мгновеній, свидѣтельствуя о благодатномъ свойствѣ его природы. Письмомъ изъ Дрездена заключается въ нашемъ изданіи вся переписка Николая Владиміровича съ друзьями въ 1837 году; она возобновляется только въ августѣ слѣдующаго года, спустя шесть мѣсяцевъ, потому что все это время онъ уже жилъ вмѣстѣ

съ ними въ Берлинѣ. 13-го октября прибылъ Станкевичъ въ Потсдамъ и еще изъ окна дилижанса видѣлъ подходящую къ почтѣ фигуру мущины, въ длинномъ, тепломъ сюртукѣ. Ему вообразилось, что самъ Фридрихъ II, о которомъ онъ только что думалъ, приходитъ встрѣчать его въ своемъ городѣ, но то былъ Я. М. Невѣровъ. Вмѣстѣ отправились они тотчасъ же въ Берлинъ на общую квартиру, и утомленный Станкевичъ пишетъ въ роднымъ, что послѣ длинной и долгой ѣзды больше чувствуешь цѣну стулу, постели и печки, передъ которою можно сидѣть и болтать съ Невѣровымъ и Грановскимъ. Такимъ образомъ Станкевичъ добрался наконецъ до цѣли путешествія и расположился на долгое житье въ сообществѣ своихъ друзей, подъ сѣнью знаменитаго тогда Берлинскаго университета.

Онъ тотчасъ познакомился съ адъюнктомъ университета Вердеромъ, у котораго сталъ брать приватные уроки логики въ свободное его время (около 11 часовъ утра). Вердеръ, хорошо знакомый тогдашней образованной молодежи русской, учившейся въ Берлинѣ, былъ типомъ добродѣтельнѣйшаго, довѣрчиваго, дѣтски-чистаго нѣмецкаго ученаго. Ему тогда было не болѣе тридцати лѣтъ, и сблизившись съ Станкевичемъ, онъ подпалъ, какъ и другіе, вліянію его личности. Вердеръ просто влюбился въ своего ученика, отъ котораго,

по его признанію, столько же получалъ самъ, сколько и давалъ ему. Къ великой забавѣ Станкевича, профессоръ объяснялъ свое расположеніе къ нему мыслію, что у русскаго друга его душа совершенно нѣмецкая. Высоко цѣнитъ и Станкевичъ расположеніе этого замѣчательнаго человѣка, который старался отвлеченнымъ формуламъ Гегелевой логики сообщить жизнь и поэзію, возводя ихъ до нравственныхъ правилъ, связывая съ ними достоинство человѣка и эстетическое воспитаніе его. Вотъ что говоритъ объ этомъ нашъ путешественникъ: «Профессоръ Вердеръ рѣдкій молодой человѣкъ, наивный какъ ребенокъ. Кажется, на цѣлый міръ смотритъ онъ какъ на свое помѣстье, въ которомъ добрые люди безпрестанно готовятъ ему сюрпризы. Его бесѣды имѣютъ спасительное вліяніе, всѣ предметы невольно принимаютъ тотъ свѣтъ, въ которомъ онъ ихъ видитъ, и становится самому лучше и самъ становишься лучше.» Такое дѣйствіе производилъ молодой ученый, и одна чрезвычайно умная русская женщина Елизавета Павловна Фролова (урожденная Галахова) мѣтко и полно выразила характеръ его, сказавъ: «Это замѣчательный человѣкъ; жаль только, что онъ съ однимъ собою знакомъ.» Но можетъ-быть въ этомъ единствѣ съ самимъ собою заключалась и его сила. Кромѣ Вердера, Станкевичъ слушалъ курсъ исторіи у Ранке, философію права у Ганса,

и еще курсъ сельскаго хозяйства, такъ какъ онъ не считалъ себя освобожденнымъ высшими занятіями отъ занятій, прямо соотвѣтствующихъ его званію и положенію въ русской жизни. Впрочемъ курсомъ сельскаго хозяйства онъ не совсѣмъ былъ доволенъ: въ два прослушанные имъ семестра дѣло все шло объ историческомъ развитіи сельскаго хозяйства. Въ концѣ 1837 года пріѣхало въ Берлинъ семейство Фроловыхъ, и хозяйка, та замѣчательная женщина, о которой упоминали мы сейчасъ и о которой будемъ мы еще упоминать неоднократно, вскорѣ привлекла къ себѣ Станкевича и друзей его. Въ теченіи двухъ зимъ, 1838 и 1839 годовъ, почти каждый день проводили они вечера у г-жи Фроловой, толкуя за чаемъ обо всемъ, что̀ можетъ занимать умъ человѣка; но конечно не въ этомъ еще заключалась прелесть, приковывавшая ихъ къ дому Фроловыхъ, а въ томъ свободномъ и сдержанномъ, веселомъ и благородномъ настроеніи, которое хозяйка его умѣла сообщать своимъ посѣтителямъ.

Станкевичъ совсѣмъ не осматривалъ города, но на общественную жизнь, на публичныя собранія и на людей обращалъ сильное вниманіе. Театръ онъ постоянно посѣщалъ и даже по королевской оперѣ принадлежалъ къ партіи примадонны Фассманъ (блондинки собой), между тѣмъ, какъ нѣкоторые изъ его пріятелей стояли за Лёве, высо-

кую и красивую брюнетку. Ссориться, впрочемъ, было не изъ чего, потому что, не смотря на восторги публики, обѣ пѣвицы были таки довольно плоховаты. Знаменитаго Зейдельмана Станкевичъ считалъ геніяльнымъ актеромъ, но очень скоро подмѣтилъ въ немъ излишнюю заботливость о внѣшней отдѣлкѣ ролей. Любимцами его сдѣлались комики Гернъ и Бекманъ, дѣйствительно превосходные, одинъ по неисчерпаемой веселости и плодовитому изобрѣтенію въ каррикатурѣ, другой по спокойному, неподдѣльному юмору. Мы уже знаемъ наклонность Станкевича къ смѣху. Онъ ходилъ въ Кёнигштадтскій театръ Берлина, гдѣ давались преимущественно фарсы, такъ часто, какъ только могъ, и разказывалъ самъ, что чуть не обезумѣлъ отъ хохота при первомъ представленіи, на какое попалъ. На сцену выведенъ былъ смотритель рынка, который, подмѣтивъ воровъ, слѣдуетъ за ними въ окно и подвергается нападенію всѣхъ собакъ рынка, между тѣмъ какъ мошенники благополучно исполняютъ свое дѣло. За сценой послышался совершенно собачій лай, производимый десяткомъ мастеровъ въ этомъ дѣлѣ, и когда Станкевичъ услыхалъ эту добродушно-колоссальную глупость, то уже почти лишился чувства. Далѣе смотритель тонетъ въ рѣкѣ и, послѣ спасенія своего, находитъ, что карманы его набиты рыбой. Гернъ сдѣлалъ при этомъ такую ми-

ну, что главная актриса, расхохотавшись, просто убѣжала со сцены при всеобщихъ рукоплесканіяхъ. Еще менѣе можно передать знаменитые въ то время фарсы, на которые стекался весь Берлинъ: «Путешествіе на общій счетъ» и «1739, 1839 и 1939 года». Эти фарсы и особенно берлинскіе *вицы* (разсчитывающіе болѣе на смѣхъ, чѣмъ на пораженіе ума) составляли тогда отличительную, народную характеристику города. Они собирались въ отдѣльныя книжки: Buntes Berlin, Berliner Dummzeug и проч., гдѣ берлинскій типъ *экенштеера* (Eckensteher: такъ называются поденщики или коммиссіонеры, обыкновенно поджидающіе работы на углахъ улицъ) являлся, какъ изобрѣтатель всѣхъ уморительныхъ глупостей, придуманныхъ степеннымъ воображеніемъ сѣвернаго Германца. Читатель можетъ ознакомиться съ этого рода выходками, и на природномъ діалектѣ ихъ, въ издаваемомъ нынѣ журнальцѣ: «Dorfbarbier». Станкевичъ съ наслажденіемъ слѣдилъ за этимъ выраженіемъ народности, не упуская впрочемъ изъ виду и другихъ ея проявленій. Онъ посѣщалъ *кнейпы*, публичныя гулянья, катанья на саняхъ, маскарады, гдѣ при появленіи новой маски дѣло ограничивается общимъ крикомъ: э, э! гдѣ въ полночь реветъ оселъ въ какой-нибудь ложѣ, возбуждая смѣхъ и вопли: da capo! гдѣ находчивость маски ограничивается обыкновенно тѣмъ, что она

беретъ вашу руку и чертитъ пальцомъ на ладони ваше прозвище. Природный юморъ Станкевича развился необыкновенно въ Берлинѣ. Въ немъ самомъ жила еще какая-то непреодолимая наклонность къ веселости, какое-то побужденіе отдаваться ей, иногда даже наединѣ съ собою и безъ видимой причины.

Въ Берлинѣ Станкевичъ познакомился съ веселою и умною дѣвушкой, которую всѣ знали подъ именемъ Берты и которая жила съ дядей, добрымъ, ограниченнымъ старикомъ, выдававшимъ себя за барона. Берта не лишена была остроумія, а жажда удовольствій была ей общая со всѣми Нѣмками. Это мимолетное знакомство не прошло даромъ для Станкевича: оно оставило слѣды въ его душѣ. Когда Грановскій въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1838 г. выѣхалъ изъ Берлина съ цѣлью посѣтить библіотеки и ученыя заведенія Дрездена, Праги и Вѣны, и когда съ первою же почтой написалъ къ оставшемуся другу о тяжеломъ чувствѣ видѣть себя совершенно одинокимъ, то Станкевичъ насмѣшливо отвѣчалъ ему: «Э, Иванъ Ивановичъ! Вотъ то-то же! Только что выѣхали, ужь сейчасъ нельзя ли поговорить съ Иваномъ Никифоровичемъ?» Однакожь когда онъ самъ вслѣдъ за Грановскимъ покинулъ Берлинъ въ маѣ мѣсяцѣ, то дѣло было еще хуже. Онъ даже плакалъ, а потомъ писалъ къ Грановскому изъ Дрездена, вы-

ражая свое сожалѣніе объ отъѣздѣ изъ прусской столицы: «Поздравьте! Лёве опять въ Берлинѣ. Сегодня даютъ тамъ Норму, и она будетъ пѣть: Keusche Göttin, и публика будетъ въ восторгѣ, и всѣ мѣста будутъ заняты, и мы съ вами скоты...» Онъ чуть-чуть не воротился въ Берлинъ, а на слѣдующій годъ и дѣйствительно выкинулъ подобную штуку. Пріѣхавъ въ Дрезденъ, онъ подумалъ, подумалъ, да на другой день сѣлъ въ дилижансъ и прискакалъ обратно въ Берлинъ — посмотрѣть, что̀ тамъ дѣлается. Черезъ нѣсколько сутокъ онъ уже снова былъ въ дорогѣ. Можно предполагать, что знакомство съ Бертой было первою причиной всѣхъ этихъ нарушеній порядка и установленнаго плана дѣйствій. Вообще Станкевичъ смотрѣлъ на знакомство это не совсѣмъ просто и легко, хотя и зналъ настоящую цѣну ему. Въ одну изъ минутъ недовольства, порожденнаго малымъ нравственнымъ основаніемъ своей знакомки, онъ говоритъ про себя съ досадой: «Зачѣмъ же ожидать было бо̀льшаго! Вѣдь не любилъ же и я! Ахъ, какая мерзкая, капризная натура!» Даже по отъѣздѣ изъ Берлина въ Италію, Станкевичъ еще освѣдомляется о вѣтренной дѣвушкѣ и незадолго до смерти говоритъ объ ней въ письмѣ къ одному изъ своихъ пріятелей Русскихъ. Вообще Станкевичъ иногда не давалъ роста своимъ наклонностямъ, какъ въ настоящемъ случаѣ, но корни ихъ

всѣ сохранялъ въ душѣ. Надобно замѣтить еще, что сближеніе съ Бертой возникло въ исходѣ душевной разладицы, когда, утомленный повѣркой своихъ чувствъ и отыскиваніемъ истины въ собственныхъ ощущеніяхъ, Станкевичъ старается предаться простой, безотчетной жизни, на сколько было ему возможно это. Но «такого рода язычество» — употребляя его же выраженіе — совсѣмъ не лежало въ основѣ его характера.

Къ той же эпохѣ пребыванія въ Берлинѣ относятся нѣсколько юмористическихъ стиховъ Станкевича, касавшихся преимущественно его друзей и постоянныхъ собесѣдниковъ въ Берлинѣ. Остатки старой наклонности къ стихотворству вышли другимъ путемъ, веселой пародіей и юморомъ. Тутъ есть даже нѣмецкіе стихи, какъ, напримѣръ, хоръ духовъ надъ спящимъ Грановскимъ, возвѣщающій ему скорое пришествіе бутеръ-брода и горькія жалобы героя, при пробужденіи, на отлетѣвшее блаженство, къ которому онъ уже былъ такъ близокъ. Затѣмъ въ этой, такъ сказать, домашней литературѣ есть: «Посланіе къ Н—ву, по случаю печальныхъ звуковъ, которые онъ извлекалъ изъ мусикійскаго струмента»; «Возвращеніе въ Берлинъ»; «Поясненіе Гегелевой логики» и проч.

Но вскорѣ это добродушное веселіе начинаетъ пріобрѣтать оттѣнокъ ѣдкой насмѣшки и глубо-

кой ироніи, такъ мало свойственныхъ природѣ Станкевича; и съ этими качествами Станкевичъ является съ самаго начала переписки 1838 года. Причины такого настроенія, развившагося въ Берлинѣ вмѣстѣ съ юморомъ, и такъ сказать, о бокъ съ нимъ, уже до такой степени важны, что заслуживаютъ особаго упоминовенія.

Дѣло въ томъ, что Станкевичъ усматривалъ на концѣ своихъ любимыхъ занятій нѣчто такое, что̀ еще было скрыто для пріятелей. Съ Берлиномъ кончилось для Станкевича наслажденіе философіей и всякая возможность обращаться съ нею запросто, дѣлать изъ нея подножіе поэтическому вдохновенію и привлекательной мечтѣ, оправдывать ею привязанности и воззрѣнія, съ которыми свыкся. Онъ встрѣчался съ чистою мыслію во всей ея наготѣ и сухости, и неизбѣжныя послѣдствія этой встрѣчи мало-по-малу открывались его умственному взору, между тѣмъ такъ товарищи его думали, что все идетъ, какъ слѣдуетъ, къ знакомому благополучному концу. Отсюда рѣзко-насмѣшливое, ироническое обращеніе его. Удивительно, что Станкевичъ никогда прямо не высказалъ новаго своего настроенія и далъ ему испариться въ однихъ намекахъ, отрывкахъ и замѣткахъ, какъ будто боясь привлечь другихъ въ ту болѣзненную работу ума, которой самъ подвергся: замѣчательная и весьма трогательная черта деликат-

ности! Отъ берлинской эпохи остались у Станкевича кипы тетрадей, записокъ съ разборомъ логическихъ категорій, отвлеченныхъ понятій, всѣхъ этихъ звеньевъ философской науки, какъ она была составлена Гегелемъ. Здѣсь сбережены необыкновенно острыя опредѣленія разныхъ представленій ума, понятій о качествѣ, мѣрѣ, тождествѣ и проч., понятій, которыя ежечасно раждаются въ головѣ каждаго человѣка; но будучи переведены въ чистое мышленіе, кажутся существами какого-то другаго, недвижнаго и холоднаго міра. Усилія Вердера — опоэтизировать эти отвлеченности только выказывали ихъ суровую природу. Передъ Станкевичемъ открывалось уединенное царство мысли, и онъ начиналъ распознавать свойства и характеръ жизни, которая предстоитъ человѣку, обрѣтающемуся въ границахъ этой области. Отсюда раздраженное состояніе Станкевича и какая-то игра съ тѣми, которые еще не вполнѣ видѣли, гдѣ они находятся. Дѣломъ первой важности становилось смѣло перемѣнить точку зрѣнія и въ замѣнъ нѣкоторыхъ пожертвованій, требуемыхъ новыми обязательствами, обрѣсть, даже съ лихвой, все прежде потерянное. Станкевичъ принялся искать опоры для сердца и лучшихъ человѣческихъ стремленій въ тѣхъ самыхъ предѣлахъ, которые, казалось, сначала лишены были возможности дать ее. Два года пребыванія своего въ Берлинѣ употребилъ Стан-

кевичъ на эту работу, и въ 1840 году, совершенно умиренный, спокойный, съ многочисленными планами трудовъ въ головѣ, слегъ преждевременно въ могилу, далеко отъ друзей и отъ родныхъ, въ Италіи.

Въ перепискѣ Станкевича сохранились ясные слѣды этой работы съ тѣмъ неизбѣжнымъ вліяніемъ, какое она имѣла на характеръ и душу его. Еще въ январѣ 1839 пишетъ онъ, что доселѣ былъ не въ состояніи прямо приступить къ пространной логикѣ Гегеля (въ 3 частяхъ), и познакомился съ ней по частямъ энциклопедіи, въ философіи права и въ лекціяхъ. Онъ не чувствуетъ въ себѣ довольно жизни, единства, полноты, чтобъ броситься въ этотъ міръ скелетовъ, по собственному его выраженію, и признается въ одномъ нравственномъ порокѣ, — и какомъ порокѣ! — именно для сохраненія всей своей свѣжести, мысль его постоянно должна набираться силъ въ наслажденіи искусствомъ, въ дѣйствительномъ мірѣ. «Какъ сухи и безполезны, говоритъ онъ, нелѣпыя, безпокойныя, отвлеченныя занятія!» Однакожь онъ насильно принуждаетъ себя къ нимъ, и дѣйствіемъ сосредоточенной воли подчиняетъ себя напряженному труду до тѣхъ поръ, пока вопль сердца, не выносящаго болѣе сухости, на которую его обрекли, не отрываетъ его снова отъ работы. И — кто бы подумалъ? — мягкій, веселый, остроумный Станкевичъ

впадаетъ тогда въ состояніе близкое къ отчаянію, и восклицаетъ: «А одно спасеніе противъ сумашествія — исторія» (письмо изъ Дрездена отъ 20 мая 1838, — та исторія, которую такъ мало цѣнилъ онъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Однакожь занятіе исторіей не было спеціяльностью Станкевича, главнымъ предметомъ всѣхъ его думъ, а скорѣе, какъ мы видѣли, облегчающимъ средствомъ противъ усталости и истощенія ума. Станкевичъ находитъ и еще много другихъ, не мѣнѣе вѣрныхъ пособій, служащихъ какъ бы возбудительными агентами для мысли, утомленной долгимъ пребываніемъ въ мірѣ отвлеченностей. «Не рефлектируй, братъ, много, пишетъ онъ (25 іюля 1838 изъ Ахена) Грановскому. Какъ начинаешь путаться въ антиноміяхъ, давай себѣ скорѣе отдыхъ. Помни, что *созерцаніе* необходимо для развитія *мышленія*», — и нѣсколько позднѣе (27 августа) прибавляетъ, относясь къ нему же: «Вообще если трудно становится рѣшить что-нибудь, переставай думать и *живи*. Въ сравненіяхъ и выводахъ будетъ кой-что истинное, но вѣрно вполнѣ схватишь вещь только изъ общаго живаго чувства.» Глубокая и мѣтко выраженная истина, — но, по особенному состоянію духа, онъ самъ не часто могъ пользоваться ею въ то время и прилагать ее къ себѣ. Въ одномъ изъ задушевныхъ писемъ его къ Е. П. Фроловой, той умной жен-

жинѣ, о которой выше было упомянуто, Станкевичъ пишетъ (15 іюня 1838, Эмсъ):» . . Моя голова получила такое несчастное устройство, что ее опасно оставлять безъ занятія. Она начинаетъ *свою* работу въ такомъ случаѣ, очень болѣзненную. . .» Далѣе онъ опредѣляетъ даже, въ чемъ состоятъ обыкновенно эти тяжелыя упражненія головы, предоставленной себѣ самой. Какъ и слѣдовало ожидать отъ всегдашней искренности Станкевича въ отношеніи къ самому себѣ, мы видимъ, что сущность болѣзненной работы ума заключалась въ постоянномъ стремленіи согласить всю свою жизнь, свои побужденія, свой образъ дѣйствій съ выводами науки, которые призналъ онъ истинными. Какъ трудно установить подобныя гармоническія отношенія между своею личностію и общими опредѣленіями истины — пойметъ легко всякій; но добросовѣстный Станкевичъ возводилъ это требованіе въ строгій законъ, безъ соблюденія котораго человѣку нельзя сохранить понятіе о себѣ, какъ о нравственномъ существѣ. Разладица между двумя мірами, едва замѣченная, уже лишила его покоя. Необходимость какого-либо разрѣшенія жизненныхъ противорѣчій, которыя впрочемъ и разрѣшаются обыкновенно самою жизнью, составляло особенно мучительный симптомъ этой болѣзни. Станкевичъ принималъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ рѣшеніе рубить узлы, находя, что это

все же лучше, чѣмъ запутывать ихъ; но не у всякаго найдется довольно крѣпкая или довольно грубая рука, чтобъ, не дрогнувъ, произвести подобную операцію. «И въ каждомъ рѣшеніи, говоритъ онъ, невольно заподозришь частичку самолюбія..., частичку лѣни или какой-то грѣшной любви къ спокойствію и преданію, котораго не хочется ломать безъ слишкомъ явной причины.» Вообще очень интересно это трогательное, задумчивое письмо, въ которомъ заключена душевная исповѣдь его съ тѣмъ тонкимъ, чрезвычайно осторожнымъ изложеніемъ собственныхъ идей, какимъ онъ всегда отличался при бесѣдѣ съ женщиной. Не такъ поступаетъ онъ въ отношеніи къ друзьямъ, способнымъ вынести болѣе рѣшительный тонъ. Здѣсь являются рѣзкій намекъ и иронія, энергическая мысль выходитъ наружу безъ предварительнаго осмотра и безъ всякаго ослабленія ея. Вотъ напримѣръ, какъ пишетъ онъ (письмо изъ Дрездена, отъ 8 мая 1838): «Мы въ Дрезденѣ: какія чувства волнуютъ твою морю подобную душу? спросишь ты. Гмъ! Душа — что̀ такое душа? — Reflexion in sich! Что̀ море? — Reflexion in Anderes. Солнце соединило атомы на радость и горе, и это соединеніе называется: рабъ Божій Николай, и этотъ Николай, по милосердію Господнему, вышелъ живымъ изъ многихъ болѣзней и напастей... и, по неисповѣдимымъ судьбамъ, таскается изъ Берлина

въ Дрезденъ, изъ Дрездена въ Берлинъ. . . Жизнь съ ея непогодами и яснымъ небомъ, дорога съ рожкомъ почтальйона, каждый городишко съ картофельною дѣвчонкой и каждый переулокъ въ Дрезденѣ — все это можетъ похвалиться своимъ могуществомъ надъ тѣмъ созданіемъ, которое, будучи возведено на степень всеобщности, называется царемъ природы, а на степени своей единичности — Николаемъ Владиміровичемъ. Каковъ же длинной рѣчи краткій смыслъ? На что̀ тебѣ... смыслъ? Если въ томъ, что̀ сказано, нѣтъ смысла, то зачѣмъ ждать, что онъ будетъ въ комментаріяхъ? Но если ты всю рѣчь принималъ за предисловіе, то ошибся. Это просто голосъ съ того свѣта.» Не много найдется въ памяти человѣка, знакомаго съ европейскими литературами, отрывковъ, которые, за сѣтью ироническихъ и шутливыхъ выраженій, яснѣе бы выдавали душевное состояніе человѣка [1]).

---

[1]) Здѣсь слѣдуетъ сказать, что никакой важности и никакого значенія не представляетъ письмо это относительно того, къ кому оно писано. Также точно могло оно быть адресовано Станкевичемъ и другому близкому лицу. Если Станкевичъ иногда пояснялъ Грановскому смыслъ философскихъ отвлеченностей, то, съ другой стороны, Грановскій помогъ ему, и весьма сильно, въ уразумѣніи сущности общественныхъ и историческихъ вопросовъ, которая не всегда открывалась Станкевичу съ перваго

Только пламенная любовь къ наукѣ могла такъ волновать душу человѣка. Простое любопытство или поверхностная любознательность не знаютъ этихъ волненій. Вѣроятно, Вердеръ уже замѣтилъ порывистые переходы отъ предмета къ предмету и вообще душевное безпокойство своего друга, потому что говорилъ ему: nur ruhig; nicht so und nicht so (онъ дѣлалъ при этихъ словахъ сильные жесты руками), sondern immer so (при чемъ сопровождалъ слова плавнымъ опускающимся жестомъ). Этотъ мимическій эпизодъ часто приходилъ на умъ Станкевича, когда разнородныя мысли толпой возставали передъ нимъ, и воспоминаніе о немъ часто способствовало къ водворенію порядка въ его мысляхъ. Мы уже сказали, что томительную, начальную работу Станкевичъ пережилъ въ два года пребыванія своего въ Берлинѣ. Люди, видѣвшіе его потомъ въ Римѣ, за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти, нашли его близкимъ къ физическому разрушенію, но яснымъ и спокойнымъ въ духѣ.

Возвращаемся къ описанію внѣшнихъ обстоятельствъ его жизни.

Въ маѣ мѣсяцѣ Станкевичъ въ первый разъ покинулъ Берлинъ, вмѣстѣ съ Я. М. Невѣровымъ, и снабженный рекомендаціею Фарнгагена къ Тику, точастъ же явился въ Дрезденѣ къ знаменитому романисту. Тикъ выслалъ дѣвушку сказать, что у него теперь болитъ горло (изъ чего Станкевичъ

заключилъ, что онъ намѣревался при встрѣчѣ съ гостями произнести, рѣчь) и просилъ приходить въ четвергъ, надѣясь, можетъ-быть, и на скорый отъѣздъ путешественниковъ. Однакоже Станкевичъ и Невѣровъ были упорны, какъ Англичане, явились въ четвергъ по приглашенію, и познакомились съ извѣстною, прославленною манерой Тика читать Шекспира, будучи рекомендованы предварительно всему обществу, подъ именемъ бароновъ. Въ Дрезденѣ же Станкевичъ впервые услыхалъ извѣстную тогда пѣвицу Шредеръ-Девріентъ, и былъ отъ нея въ восторгѣ. «Это нашъ братъ — огромная субстанція,» писалъ онъ къ Грановскому, насмѣхаясь надъ фразой, которую Бѣлинскій разъ употребилъ, разсуждая о самомъ Станкевичѣ. Надо сказать, что Грановскій опередилъ своего друга: онъ еще въ началѣ апрѣля выѣхалъ изъ Берлина въ Вѣну. Это обстоятельство породило замѣчательную переписку между ними, которой мы теперь и пользуемся. Затѣмъ съ оставшимся пріятелемъ Станкевичъ обозрѣлъ Саксонскую Швейцарію и посѣтилъ Веймаръ, чтобъ посмотрѣть тамъ на домы Шиллера и Гёте. Между прочимъ въ Веймарѣ познакомился онъ со вдовой Гётева сына, которая сама имѣла взрослаго сына, страстнаго музыканта, учившагося у Мендельсона. Frau von Goethe приняла друзей очень любезно и ласково; въ домѣ ея Станкевичъ познакомился, вопервыхъ,

съ романистомъ Штернбергомъ, Курляндцемъ по происхожденію, рослымъ мущиной, щегольски одѣтымъ и съ претензіей на щегольство языка, и потому, между прочимъ, произносившимъ букву *а* почти какъ *е;* а вовторыхъ — съ Кёнигомъ, извѣстнымъ у насъ по книгѣ о русской литературѣ, заключающей въ себѣ нѣсколько дѣльныхъ сужденій. Кёнигъ, въ противоположность Штернбергу, имѣлъ довольно простую мѣщанскую физіономію. 30-го мая Станкевичъ прибылъ въ Эмсъ и цѣлый мѣсяцъ употребилъ на питье его водъ, которыя только раздражали его нервы и мало помогли. Проѣздомъ черезъ Франкфуртъ онъ познакомился съ умнымъ философомъ, католикомъ Каровé, а въ Эмсѣ, кромѣ одного добраго нѣмецкаго семейства, гдѣ проводилъ время въ занятіяхъ музыкой, въ общихъ прогулкахъ и въ шуткахъ съ молодыми особами, составлявшими его, Станкевичъ сошелся еще съ нѣкоторыми русскими путешественниками, прибывшими въ Германію на несчастномъ пароходѣ, сгорѣвшемъ у Мекленбургскихъ береговъ. Въ началѣ іюля Станкевичъ отправляется по Рейну въ Боннъ, посовѣтоваться съ знаменитымъ докторомъ Нассе, который, при взглядѣ на него, поднялъ глаза къ небу и воскликнулъ: «Armer Mann!» Эмсъ дѣйствительно утомилъ Станкевича. «Дѣтки мои! пишетъ онъ къ роднымъ своимъ, которые были озабочены его долгимъ молчаніемъ. Вѣдь

если я пишу рѣдко — на это есть всегда причины. Повѣрите ли, что въ Эмсѣ написать нѣсколько строкъ было для меня величайшимъ трудомъ?» Однакоже Нассе совѣтуетъ ему попробовать ахенскіе источники и купанья. Возвратясь снова въ Эмсъ къ оставшемуся тамъ Я. М. Невѣрову, Станкевичъ беретъ его съ собой, и вмѣстѣ подымаются они опять по великолѣпному Рейну до Кельна. Станкевичъ переѣзжаетъ затѣмъ въ Ахенъ, гдѣ остается безвыѣздно до начала сентября, выполняя предписанный ему курсъ. Одинъ только разъ во все это время покидаетъ онъ городъ; но къ этому нарушенію курса была уже достаточная причина. Т. Н. Грановскій, соскучившійся безъ друзей своихъ, пріѣхалъ къ нимъ повидаться. Станкевичъ провожалъ его до Бонна, на возвратномъ пути его въ Берлинъ, и воспользовался пребываніемъ своимъ въ Боннѣ, чтобъ познакомиться съ Фихте, философомъ, какъ и знаменитый отецъ его. Станкевичъ разказываетъ довольно забавно свой разговоръ съ профессоромъ: ночь наканунѣ онъ провелъ безъ сна, на разспросы профессора о системѣ преподаванія логики въ Берлинѣ отвѣчалъ вяло, и наконецъ самъ рѣшился сдѣлать вопросъ: не племянникъ ли онъ знаменитому Фихте? «А парень-то вышелъ родной сынъ его» — замѣчаетъ Станкевичъ, прибавляя, «что профессоръ былъ нѣсколько удивленъ этимъ невѣдѣ-

ніемъ», и выводя изъ того заключеніе, «что съ нѣкоторыми людьми надо говорить выспавшись.» Наконецъ скука одолѣла его въ Ахенѣ, куда онъ снова возвратился, и 1-го сентября Станкевичъ поспѣшно отправляется въ Бельгію разсѣять тоску, наведенную уединеннымъ городомъ и лѣченіемъ. Онъ посѣщаетъ Брюссель, Ватерлоо, Антверпенъ, Гентъ, Остенде, присматривается къ великолѣпнымъ памятникамъ искусства въ этой странѣ, обильной ими, и наблюдаетъ политическую жизнь ея, но впечатлѣнія ложатся тяжело на слабый организмъ его, и усталая душа жаждетъ покоя. Въ журналѣ путешествія по Бельгіи, который будетъ приложенъ къ перепискѣ его, есть восклицаніе, вырвавшееся у него при видѣ моря въ Остенде: «Мнѣ было скучно съ утра, море прилѣпило къ скукѣ грусть. Мнѣ хотѣлось опрометью бѣжать опять въ Германію, въ Берлинъ, приняться за какое-нибудь дѣло; освободиться отъ этой тяжелой игры впечатлѣній, отъ вліянія неба и погоды.» 17-го сентября онъ уже былъ въ Франкфуртѣ вмѣстѣ съ Невѣровымъ, который въ Боннѣ поджидалъ его возвращенія изъ Бельгіи, и вмѣстѣ пишутъ они оттуда письмо къ Грановскому: «*голубчикъ* Грановскій, говоритъ Я. М. Невѣровъ, мы въ Франкфуртѣ, и завтра выѣзжаемъ въ Кассель по дорогѣ къ Берлину, такъ что, подвигаясь мало-по-

малу, дней въ семь или восемь пріѣдемъ на мѣсто.» Смѣясь надъ эпитетомъ, даннымъ пріятелю, Станкевичъ приписываетъ съ своей стороны: «*Ворона* Грановскій! Мы въ Франкфуртѣ и завтра выѣзжаемъ въ Кассель по дорогѣ къ Берлину, такъ что, подвигаясь мало-по-малу, дней въ семь или восемь пріѣдемъ на мѣсто. Какъ я радъ, что мы встрѣтились въ идеяхъ съ почтеннѣйшимъ и глубокомысленнымъ другомъ нашимъ . . .» и т. д. Во Франкфуртѣ, или лучше въ Ганау, Станкевичъ не преминулъ сходить еще къ доктору Коппу и отобрать его предписанія. . . Наконецъ, оба пріятеля возвратились въ давно-желанный Берлинъ, откуда разъѣхались послѣ въ разныя стороны, и прибавимъ, чтобъ уже болѣе не встрѣчаться. Они, какъ и Грановскій, жили уже тогда на разныхъ квартирахъ, не подалеку другъ отъ друга.

Кромѣ своихъ занятій и сношеній съ людьми, болѣе или менѣе замѣчательными въ Германіи, Станкевичъ еще ведетъ весьма дѣятельную переписку съ семействомъ, съ сестрами и малолѣтными братьями, оставленными имъ въ Россіи. Она, разумѣется не можетъ войдти въ составъ нашего изданія, но мы обязаны сказать о ней нѣсколько словъ. Тонъ этихъ писемъ Станкевича постоянно игривъ и шуточенъ, но онъ бесѣдуетъ въ нихъ съ дѣтьми чрезвычайно серіозно, разказываетъ

имъ подробно свое путешествіе, представляетъ картину Рейна со всѣми его замками и легендами до мелочей, наконецъ не считаетъ лишнимъ говорить о чувствахъ, испытанныхъ имъ при видѣ такого-то произведенія искусства, при встрѣчѣ съ такимъ-то явленіемъ природы. Онъ отдаетъ имъ себя безъ утайки и презрительнаго сомнѣнія къ уму и понятіямъ ихъ, а въ этомъ и вся сущность хорошаго воспитанія. Есть мѣста въ его письмахъ, которыя могли бы быть цѣликомъ перенесены въ заочную бесѣду съ возмужалыми и развитыми друзьями, и даже съ публикой. Таково, напримѣръ, описаніе шестикратнаго эха на горѣ Нидервальдѣ, близъ Рейна, которое очень музыкально дѣлалось все тише и тише, каждый разъ разносясь по горамъ, и которому повѣрилъ онъ любезнѣйшія имена, сберегаемыя имъ въ сердцѣ. Таково еще описаніе многихъ памятниковъ и въ томъ числѣ Майнцскаго собора, перестроеннаго, какъ извѣстно, въ эпоху рококо: «Колокольня его точно зрительная трубочка: такъ бы взялъ ее за шейку, да и вытянулъ.» Въ самомъ Берлинѣ онъ находитъ еще поэтическое слово для молодыхъ своихъ слушателей: «Наступила осень. Сѣрыя тучи въ раздумьѣ ходятъ по цѣлымъ днямъ по небу. . . Я выхожу въ такое время гулять Unter den Linden — это главный берлинскій бульваръ. . . Засвѣтло начинаютъ зажигать фонари, и

длинная перспектива блѣдныхъ огней въ сизомъ туманѣ имѣетъ что-то волшебное. Въ это время изъ университета выходятъ студенты въ самыхъ разнообразныхъ костюмахъ, большею частію въ коротенькихъ полукафтаньяхъ и въ картузѣ съ крошечнымъ козырькомъ; прасолки возвращаются домой, сопровождаемыя собаками, запряженными въ телѣгу съ разною поклажею, и наконецъ я торжественно возвращаюсь домой, очень довольный этимъ повседневнымъ зрѣлищемъ, и т. д.» Не надо забывать, что основной мотивъ всѣхъ этихъ бесѣдъ есть веселая шутка, забавное изложеніе какого-нибудь случая, иногда каламбуръ. На этотъ свѣтлый грунтъ ложатся драгоцѣнные совѣты его, когда онъ считаетъ нужнымъ обратиться съ совѣтами къ своимъ друзьямъ: «Не забывайте, что въ этомъ мірѣ великъ кругъ вашей любви, гдѣ каждый изъ васъ составляетъ лучшую часть жизни другаго: одинъ въ другомъ ищите опоры, утѣшенія, твердости; пусть каждый живетъ для другаго — и всѣ будутъ покойны, веселы, счастливы...» Къ тому же, каждый изъ этихъ совѣтовъ исполненъ еще, кромѣ братской нѣжности, удивительнаго здравомыслія. Любимой сестрѣ своей объясняетъ онъ разницу между истиннымъ здоровымъ чувствомъ и тѣмъ обманчивымъ впечатлѣніемъ, которое производитъ иногда лѣтній вечеръ, свѣчи, музыка, духи и усталость послѣ бала.

«Они сообщаютъ такое настроеніе уму, что всякій предметъ хорошъ: но смотри на предметъ при солнечномъ свѣтѣ — въ его истинѣ — и счастіе само придетъ. Надо стараться только быть достойною счастія, а жизненныя непріятности разводить поэзіей сердца. Жизнь хороша — и только одна жизнь хороша. Плохо намъ, если мы будемъ принимать сонъ и мечту за жизнь. Если увидишь, что какой-нибудь вздыхаетъ — плюнь, дуракъ навѣрное. Любить можетъ только сильный человѣкъ.» Съ первой и до послѣдней строки письма эти запечатлѣны чувствомъ и умомъ. . .

Вторая зима, проведенная Станкевичемъ въ Берлинѣ, ничѣмъ не отличалась съ внѣшней стороны отъ первой, но она принесла съ собой тѣ окончательные матеріялы, которыхъ не доставало ему для полноты характера. Вскорѣ все собранное его мыслію начало устраиваться въ внутреннемъ его мірѣ съ удивительною гармоніей и соотвѣтствіемъ всѣхъ частей между собою. Вторая зима замѣчательна еще и тѣмъ, что мало-по-малу отходили отъ Станкевича всѣ близкіе ему люди: при ея концѣ Я. М. Невѣровъ отправился на пароходѣ въ Петербургъ; Грановскій спѣшилъ тоже домой, но, страдая въ то время слабостію груди, отправился съ раннею весной въ Зальцбруннъ (въ Силезіи), извѣстный своею сывороткой и водами противъ болѣзней лёгкихъ. Семейство Фроловыхъ въ

то же время уѣхало въ Петербургъ, хотя и не надолго. Въ іюнѣ 1839 года оно снова было уже за границей, и съѣхалось съ Станкевичемъ во Флоренціи. Передъ отъѣздомъ изъ Берлина, Е. П. Фролова ввела Станкевича въ домъ сестры своей, М. П. Кени, удѣляя такимъ образомъ близкимъ людямъ часть той дружбы, которую сама питала къ нему. Вслѣдъ за ними и Станкевичъ покинулъ Берлинъ, но мы уже знаемъ, что онъ оторвался отъ него съ нѣкоторымъ трудомъ, даже вернулся назадъ съ дороги. Затѣмъ, разрѣзавъ ножомъ, какъ самъ говоритъ, всѣ дѣла свои въ городѣ, онъ спѣшитъ въ Зальцбруннъ. Тамъ застаетъ онъ еще Грановскаго, и вмѣстѣ живутъ они двѣ недѣли въ скучномъ, хотя и многолюдномъ городкѣ (въ немъ было до семисотъ больныхъ), посѣщая иногда почтеннаго русскаго консула, г. Бюцо, единственную сносную ресторацію и балы въ ней, при чемъ случалось, что зала была освѣщена, музыка гремѣла, а хозяинъ стоялъ у дверей и говорилъ любопытнымъ: «Ich warte Menschen» (жду людей). Грановскій уѣхалъ изъ Зальцбрунна прямо къ себѣ въ деревню. Станкевичъ остался одинъ доканчивать курсъ, и выѣхалъ изъ города только въ августѣ мѣсяцѣ, по пути въ Италію.

Мы полагаемъ, что около этого времени Станкевичъ получилъ горькое извѣстіе о смерти особы, занимавшей нѣкогда такое большое мѣсто въ

его сердцѣ. Это былъ послѣдній узелъ, который развязывала судьба, высвобождая душу Станкевича изъ-подъ тяжелаго нравственнаго гнета. Мѣсто его заняло свѣтлое и грустное воспоминаніе, такъ хорошо высказанное самимъ Станкевичемъ, когда, на Тунскомъ озерѣ (въ Швейцаріи), получивъ ближайшія свѣдѣнія о покойницѣ черезъ А. П. Ефремова, только что прибывшаго изъ Россіи, предается онъ весь міру прошедшаго и окружаетъ себя тихими, драгоцѣнными тѣнями. Съ этой минуты Станкевичъ становится духовно свободенъ: путы, которыя приковывали его къ прошлому, не давая полнаго движенія его волѣ и приводя въ замѣшательство его совѣсть, пугливую и пріимчивую въ высшей степени, пали сами собою. Онъ снова предоставленъ былъ себѣ и могъ начать новое свое развитіе твердо и спокойно, не влача за собой по стопамъ мертваго факта, мѣшающаго каждому шагу. Дѣйствительно, съ эпохи уединеннаго пребыванія въ Зальцбруннѣ, Станкевичъ совершенно измѣняется и весь обращенъ лицомъ къ новымъ требованіямъ, понятіямъ и новой жизни, возникшимъ для него изъ новаго воззрѣнія на міръ. Любовь, цѣпи которой еще лежали на немъ, когда самой ея не было, онъ уже замѣщаетъ вскорѣ нѣжною дружбой, усладившею его послѣдніе часы. Вмѣстѣ съ тѣмъ прекращаются сшибки идей съ чувствомъ, волновавшія его молодость и

доказывавшія неполноту обѣихъ сторонъ; пропадаютъ также и рѣзкія проявленія мысли: онъ становится тихъ, свѣтелъ, какъ-то цѣлостенъ. Въ концѣ 1838 года онъ еще писалъ: «Мои надежды, если не богаче, то опредѣленнѣе, впрочемъ и теперь не безъ того, чтобы за нимъ не было туманнаго.» Въ концѣ 1839 г. все туманное отдѣляется отъ существа Станкевича, и надежды его принимаютъ ту изящную опредѣленность, въ какой представляются намъ, напримѣръ, явленія природы. Самая природа возстаетъ передъ нимъ какъ великая храмина, къ которой, послѣ долгаго обхода, опять приведенъ двухъ-лѣтними любимыми своими занятіями. Наконецъ, какъ чудно и плодотворно разрѣшились вообще философскія занятія Станкевича, можно видѣть по превосходнымъ строкамъ, писаннымъ имъ изъ зальцбруннскаго своего уединенія къ М. П. Кени (письмо отъ 15-го августа 1839): «Есть люди съ сильною и богатою натурою, которые переселяются во всѣ характеры, умѣютъ перечувствовать всѣ положенія и найдти въ каждомъ человѣкѣ что-нибудь для себя, насладиться въ немъ каждымъ чуть замѣтнымъ проблескомъ хорошаго. Это счастливцы. Въ нихъ самихъ все полно, окончено, всѣ стремленія удовлетворены; поэтому они терпѣливы, снисходительны, весело смотрятъ по сторонамъ и скоро во всемъ открываютъ свѣтлыя стороны.»

Очеркъ этотъ есть вѣрный портретъ самого Станкевича, какъ онъ сложился къ началу 1840 года, по окончаніи берлинскихъ занятій, хотя авторъ и не предполагалъ заключать въ этихъ строкахъ ничего похожаго на автобіографію, да и не согласился бы никогда, по глубокому чувству скромности, узнать въ нихъ самого себя. Та же скромность заставляетъ его говорить о себѣ далѣе чрезвычайно уклончиво, но мы нисколько не обязаны къ подобнаго рода осторожности. Продолжаемъ выписку.

«Есть и такіе, которымъ всѣ люди пріятны, потому что они ко всему равнодушны. Но я не принадлежу ни къ тому, ни къ другому классу; я не довольно совершенъ, чтобъ со всѣми найдти удовольствіе; я его нахожу съ людьми, которыхъ уважаю отъ всей души. . . Для меня это рѣшительно открытіе новаго свѣта. Прожить нѣсколько времени съ такими людьми, значитъ для меня прожить *по человѣчески*, удовлетворить необходимой и лучшей потребности души. Вотъ отчего я такъ радуюсь этимъ свѣтлымъ пунктамъ въ моей будущности. Природа и искусство только намеки, смыслъ ихъ — люди, и лучшіе люди. Кто лишенъ наслажденія людьми, на того природа и искусство должны дѣлать тяжелое впечатлѣніе, должны возбуждать въ немъ чувство неудовлетворенной потребности. . .» Такъ искусство и природа стано-

вятся здѣсь въ подножіе человѣку, который собираетъ всѣ ихъ намеки и открываетъ настоящій смыслъ ихъ. Высокое, гуманное пониманіе жизни было послѣднею степенью въ развитіи Станкевича, результатомъ, окончательно даннымъ ему философскими занятіями. Мы ничего не можемъ прибавить къ драгоцѣннымъ строкамъ, выписаннымъ сейчасъ: намъ остается, увы! послѣдняя, недолгая работа — прослѣдить жизнь, настроенную на такой ладъ, во Флоренціи, въ Римѣ и въ Сѣверной Италіи, гдѣ она потухла.

---

§ II.

ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ ИТАЛІЮ СТАНКЕВИЧА и СМЕРТЬ ЕГО.

Въ концѣ 1839 года мы находимъ Станкевича во Флоренціи. Послѣ отъѣзда Грановскаго изъ Зальцбрунна (11 іюля 1839), Николай Владиміровичъ прожилъ еще цѣлый мѣсяцъ на водахъ, и только въ половинѣ августа выѣхалъ оттуда. Черезъ Прагу, Нюрнбергъ, Штутгартъ и Карлсруэ прибылъ онъ въ Базель, гдѣ съѣхался съ однимъ изъ старыхъ своихъ товарищей, А. П. Ефремовымъ, и вмѣстѣ съ нимъ совершили они трудный путь по Симплонской дорогѣ, испорченной вне-

запными дождями, и очутились въ Домо д'Оссола, въ Италіи. Изъ Милана направились они въ Геную, и сѣли тамъ на пароходъ, на которомъ прибыли въ Ливорно. Дороги по сухому пути, чрезвычайно утомлявшія бѣднаго Станкевича, видимо слабѣвшаго день ото дня, заставили предпочесть плаваніе переѣзду. Въ началѣ ноября измученный больной явился во Флоренцію. Тамъ уже ожидало его знакомое семейство Кени, къ которому скоро присоединились и Фроловы, остановившіеся въ одномъ домѣ съ первыми. Неподалеку отъ нихъ, на Piazza S-ta Maria Novella, поселился и Станкевичъ, которому дружба и расположеніе Е. П. Фроловой сдѣлались уже необходимостію. Первый взглядъ на Италію не произвелъ на Станкевича того радостнаго чувства, которое произведено было болѣе знакомымъ ему міромъ, Германіей. Родовыя черты Италіи гораздо строже, а приготовленія къ принятію и разумѣнію ихъ у насъ гораздо менѣе. Италія требуетъ нѣкоторой уступчивости, нѣкоторой довѣрчивости къ себѣ, особенно устраненія укоренившихся привычекъ въ жизни и даже въ сужденіи; затѣмъ уже открываетъ она себя въ величіи своей простоты или отсталости, если хотите. Станкевичъ долго всматривался въ ея вседневную жизнь, въ эту смѣсь классическихъ и средневѣковыхъ обычаевъ, заключенныхъ въ строго-изящную раму, образуемую не-

измѣнною природой. Это было его единственное занятіе во Флоренціи, если исключимъ усиленное историческое чтеніе и упражненія въ музыкѣ. Послѣднее занятіе развилось у него почти до страсти. . . Вся дѣятельность его обращена была на три предмета, какъ онъ самъ пишетъ къ роднымъ: читать, играть на фортепьяно и топить каминъ. «Три важныя занятія, которыя всѣ мѣшаютъ одно другому», прибавляетъ онъ съ той изящною улыбкой, которая въ нашемъ воображеніи уже неразлучна съ его физіономіей. Весьма освѣжительно дѣйствовало на него общество Е. П. Фроловой: онъ свыкся съ нимъ, и съ трудомъ могъ представить себѣ необходимость лишиться его. Разъ только онъ разсердился, именно тогда, когда услыхалъ, что въ Россіи начинаютъ считать Шиллера идеалистомъ безъ значенія для дѣйствительности... «Они не понимаютъ, что такое дѣйствительность... дѣйствительность въ смыслѣ непосредственности, внѣшняго бытія — есть случайность... дѣйствительность, въ ея истинѣ, есть Разумъ, Духъ[1]).» Но вслѣдъ за вспышкой, Станкевичъ

---

[1]) Кстати будетъ упомянуть здѣсь, что въ отсутствіи Станкевича изученіе философіи продолжалось по прежнему и образовало два направленія. Оба они были вѣтви одного и того же корня, только разошедшіяся въ противоположныя стороны. Разногласіе вышло изъ различныхъ

требуетъ отъ друга, чтобъ онъ осторожно высказалъ эти аргументы ошибающимся пріятелямъ. «Они люди хорошіе, и я съ ними ссориться не хочу,» говоритъ онъ. Между тѣмъ пятимѣсячное наблюденіе новой страны во Флоренціи, съ тою способностію къ наблюденію, какою онъ обладалъ, не прошло даромъ, и когда, 6-го марта 1840, Станкевичъ выѣхалъ въ Римъ, то письма его оттуда къ Е. П.

способовъ пониманія и опредѣленія дѣйствительности. Друзья Станкевича не сомнѣвались въ обратномъ дѣйствіи всякой науки на жизнь, и всѣ *безъ исключенія* искали его въ общемъ развитіи сознанія, которое подымается и растетъ отъ цѣльнаго вліянія извѣстнаго ученія на всѣ способности и представленія человѣка. Противники думали, что кромѣ того существуютъ еще обязанности для человѣка, независимыя отъ науки и отъ дѣйствительности, съ которой могутъ быть и въ противорѣчіи. Оба направленія сталкивались почти всегда враждебно на одномъ этомъ спорномъ пунктѣ, будучи согласны на всѣхъ другихъ. Кругъ Станкевича держался упорно за свои основанія. Противники упрекали его въ раболѣпномъ поклоненіи успѣху и въ невниманіи къ слабой сторонѣ, хотя бы требованія ея и имѣли видъ истины. Кругъ бывшихъ друзей Станкевича возражалъ, что трудъ разбирать на чьей сторонѣ истина предоставляется общему сознанію, совершенствующемуся посредствомъ науки и что личное, капризное, ограниченное разбирательство всегда ниже приговора цѣлымъ міромъ и потому всегда бываетъ по справедливости въ числѣ побѣжденныхъ. Высшее пониманіе дѣйствительности въ «Разумѣ и Духѣ», какъ говоритъ Станкевичъ, примирило обѣ враждующія стороны около 1840 года.

Фроловой уже показываютъ совершенное родство мысли съ краемъ, представшимъ ей: наблюдатель поставилъ себя въ уровень съ наблюдаемымъ предметомъ.

Здѣсь мы остановимся, чтобъ сказать нѣсколько словъ о замѣчательной русской женщинѣ, которой посвящена была послѣдняя переписка Станкевича, и которая представляетъ лицо, противоположное женскимъ лицамъ, какія мы видѣли до сихъ поръ. Получивъ весьма блестящее, французское воспитаніе, Елизавета Павловна соединяла съ нимъ оригинальный умъ, необыкновенную способность угадывать людей, и другую, не менѣе важную способность видѣть въ каждомъ предметѣ ту живую, самобытную черту, которою онъ разнится отъ всѣхъ другихъ. Быстрая догадка, такъ свойственная вообще русской природѣ, составляла второе качество этой замѣчательной женщины: она открывала ей мгновенно длинную перспективу идей, даже въ незнакомой сферѣ изслѣдованія, и установляла нѣкоторый родъ равномѣрныхъ отношеній между ученымъ спеціялистомъ и слушательницей его. По роду своего воспитанія, преимущественно французскаго, съ оттѣнкомъ англійской аристократической строгости въ началахъ, она рѣдко восходила до первыхъ основаній, до сущности всякаго вопроса. Онъ дѣлался достояніемъ ея только тогда, когда уже соприкасался съ жизнію какою-либо стороной, и когда выразились его

отношенія къ другимъ однороднымъ вопросамъ. Такихъ предметовъ было уже тогда много подготовлено въ Европѣ, начиная съ метафизическихъ преній до толковъ о различномъ пониманіи нравственныхъ законовъ въ обществѣ. Въ приложеніи остроумія и женской проницательности къ текущимъ, такъ сказать, дѣламъ современности открывалась сила Елизаветы Павловны; но она могла назваться также *идеалисткой*, хотя совсѣмъ въ иномъ значеніи, чѣмъ тѣ, которыя обыкновенно носятъ это прозвище. Она какъ-то высоко понимала общественныя сношенія и умѣла возвести тонъ, господствовавшій въ ея кругѣ, до идеальнаго выраженія благородства. Она имѣла удивительный даръ распознавать людей. У ней была вѣра въ людей, вмѣстѣ съ способностію угадывать ихъ тайныя наклонности. Съ первыхъ сношеній она ставила человѣка въ возможность показать себя, и сама поучалась въ этой книгѣ, ею же и раскрытой. Весьма слабая здоровьемъ и страждущая тѣмъ же недугомъ, какъ и Станкевичъ, положившимъ на блѣдномъ, не совсѣмъ правильномъ лицѣ особенную печать, Елизавета Павловна почти никуда не выѣзжала, но постоянно видѣла у себя людей изъ высшихъ европейскихъ круговъ. Гумбольдтъ, эта живая энциклопедія познаній, столько же неутомимый въ трудахъ своихъ, сколько и чувствительный къ каждому замѣчательному явле-

нію жизни, былъ въ числѣ ея посѣтителей, когда она находилась въ Берлинѣ. Фарнгагенъ фонъ-Энсе, извѣстный своими біографіями, любилъ проводить время у Фроловыхъ, и, случалось, занимался тѣмъ, что дразнилъ знаменитую Беттину, которая его терпѣть не могла и называла Giftesel. Въ Беттинѣ дѣйствительно было много наивнаго воодушевленія, но иногда мѣсто его занимала ложная, придуманная и пустая восторженность. Она часто бывала у Фроловой, но, говорятъ, побаивалась ея въ душѣ, да и сама Елизавета Павловна считала необходимымъ обращаться съ ней немножко свысока. Станкевичъ сохранилъ намъ, въ одномъ изъ своихъ писемъ, превосходную замѣтку Елизаветы Павловны о характерѣ Беттины: «Elle sait le bien et le beau dans leur essence et leur luxe, mais elle n'en sait pas les détails positifs» (прекрасное и доброе знакомо ей въ ихъ сущности и въ ихъ блескѣ, но положительныхъ подробностей того и другаго она не знаетъ). Станкевичъ испыталъ при этихъ словахъ такое же чувство, какое испытываетъ человѣкъ при видѣ отличнаго портрета, оригиналъ котораго ему совершенно неизвѣстенъ, но который истиной своего изображенія невольно вырываетъ слова: какъ вѣрно! Мы раздѣляемъ мнѣніе Станкевича. Одинъ изъ молодыхъ Русскихъ, такъ радушно принятыхъ ею въ Берлинѣ, разказывалъ намъ сцену, которой былъ

очевидцемъ. Разъ явился къ Фроловой какой-то заѣзжій французскій маркизъ или графъ, весь пропитанный тѣмъ блестящимъ салоннымъ умомъ, который, между прочимъ, во Франціи становится рѣже, чѣмъ гдѣ-нибудь. Елизавета Павловна часа два вела съ нимъ діалогъ, похожій на фейерверкъ, и годный въ любую пословицу Альфреда де-Мюссе, а по уходѣ его обратилась снова къ своей простой, сдержанной рѣчи, въ которой всегда было скорѣе замѣтно желаніе вызвать бесѣду и слушать, чѣмъ говорить.

Елизавета Павловна поняла Станкевича съ перваго раза, да и угадать его было немудрено. Его благодушное расположеніе къ людямъ, мягкость обращенія, подчиняющая сердце, заботливость, съ которою онъ искалъ лучшихъ струнъ въ душѣ человѣка, и неподдѣльное наслажденіе, съ которымъ прислушивался къ нимъ, — все это бросалось въ глаза. Въ способѣ обращенія и во всемъ существѣ Станкевича было столько изящества, что, по увѣренію его пріятелей, онъ становился всегда замѣтнымъ, какъ бы ни было велико общество, или какъ бы разборчиво ни было оно составлено. Свѣтлая, гармоническая душа Станкевича отражалась во всемъ внѣшнемъ его обликѣ и по образу своему устраивала его наружный видъ, рѣчь его и пріемы: вотъ почему присутствіе его невольно *чувствовалось* окружающими,

да этимъ же объясняется и то обаятельное дѣйствіе, которое онъ всегда производилъ, особенно на молодыхъ людей обоего пола. Въ жизни его, можно сказать, видишь, какъ эти высказанныя и невысказанныя привязанности сопровождаютъ его до гроба. . . Дружба Е. П. Фроловой къ Станкевичу основывалась еще и на важныхъ нравственныхъ потребностяхъ. Можно безъ особенной смѣлости предполагать, что своимъ пониманіемъ каждаго предмета въ идеѣ Станкевичъ возвышалъ уровень ея мыслей, какъ это онъ дѣлалъ во всѣхъ своихъ знакомыхъ, не сознавая самъ, по обыкновенію, своей работы. Какъ бы то ни было, Станкевичъ находится въ постоянной перепискѣ изъ Рима съ Фроловой, отправляя по письму каждую недѣлю, иногда болѣе, на имя супруга ея, Николая Григорьевича Фролова, сдѣлавшагося въ послѣдствіи извѣстнымъ у насъ своими изданіями по части естествовѣдѣнія. Переписка эта и будетъ служить намъ нитью, которая поведетъ насъ за Николаемъ Владиміровичемъ въ послѣднее на землѣ мѣсто, гдѣ онъ остановился на нѣкоторое время.

Станкевичъ, какъ знаемъ, выѣхалъ 6-го марта изъ Флоренціи и 8-го прибылъ въ Римъ. Онъ поселился на Корсо. Николай Владиміровичъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ упорныхъ туристовъ, которымъ скука одиночества въ неизвѣстномъ го-

родѣ ни почемъ, и которые, послѣ безпрерывныхъ бѣганій по улицамъ и осмотровъ, способны довольствоваться бесѣдой съ проводникомъ. Станкевичъ испытывалъ непреодолимую тоску, если въ городѣ не было у него какого-либо центра, образуемаго другомъ, семействомъ, умною женщиной, и старался тотчасъ отыскать его. Отъ этого центра и велъ онъ потомъ радіусы къ замѣчательнѣйшимъ точкамъ новой мѣстности, да и тутъ многія изъ нихъ, прославленныя дорожниками, считалъ онъ просто *наказаніемъ путешественниковъ*. Не видать — стыдно, а смотрѣть — но стóитъ, говорилъ онъ. Освободясь отъ этого принужденія, налагаемаго «указателями» и «вожатыми», онъ нашелъ пріютъ столь необходимый для его общежительной природы въ семействѣ X**, съ которымъ познакомился во Флоренціи, и въ средѣ котораго цвѣли молодость, красота и нравственныя достоинства въ весьма счастливомъ соединеніи. Около этого семейства собирался общій кругъ знакомыхъ: нѣмецкій живописецъ Рунде, русскіе художники и въ томъ числѣ профессоръ Марковъ, наконецъ Полякъ Брык...ій, страдавшій чахоткой, но замѣчательный фортепьянистъ, другъ Листа, и притомъ съ весьма красивымъ, энергическимъ лицомъ, соотвѣтствовавшимъ энергіи характера. Онъ зналъ, что болѣзнь его неизлѣчима, и мало заботился о томъ. Станкевичъ, также страстно пре-

давшійся музыкѣ и больной одною съ нимъ болѣзнію, чрезвычайно полюбилъ его. Нѣсколько русскихъ путешественниковъ, въ числѣ которыхъ былъ тогда и И. С. Тургеневъ, еще не начинавшій литературнаго поприща своего, находились между обычными посѣтителями семейства Х*. Они дѣлали всѣ вмѣстѣ тѣ продолжительные набѣги на разныя части города, указываемыя дорожникомъ, отъ коихъ въ послѣдствіи Станкевичъ весьма часто устранялся. Впрочемъ единственная идея, которою жилъ тогда весь Римъ, — наслажденіе искусствомъ, привилась къ иностранцамъ какъ болѣзнь и одолѣвала ихъ, несмотря на внезапность своего появленія. Они захватывали ее, казалось, вмѣстѣ съ воздухомъ Тибра, и она имѣла свойства вытѣснять изъ обращенія помыслы о другихъ ближайшихъ и болѣе знакомыхъ имъ интересахъ. Только и разговоровъ было, что объ искусствѣ; все остальное было обречено на смерть и нѣмоту, ради согласія въ общемъ хорѣ; это имѣло своего рода комическую сторону, не ускользнувшую отъ наблюдательности Станкевича. И. С. Тургеневъ, между прочимъ, собирался нешутя посвятить себя живописи, сталъ брать уроки у живописца Рунде, а покамѣстъ занимался рисованьемъ каррикатуръ, по темамъ самого Станкевича, которыя весьма забавляли послѣдняго. Отъ этого движенія, имѣвшаго и свою серіозную сторону, Станкевичъ не

могъ устраниться вполнѣ. Онъ набросалъ тогда нѣсколько замѣтокъ для статьи объ искусствѣ, изъ которыхъ видно, что искусство было для него, какъ и все другое, вопросомъ философскаго и нравственнаго свойства. Отрывки эти весьма мало обдѣланы, состоятъ преимущественно изъ однихъ намековъ и потому затруднительны для пониманія, но тѣмъ, которые привыкли къ философскому языку вообще и къ теченію мыслей у Станкевича въ особенности, мысль этихъ отрывковъ ясна. Станкевичъ намѣревался разработать и объяснить настоящій смыслъ извѣстныхъ словъ Гегеля: «искусство есть прошедшее для насъ.» Ему хотѣлось указать на возможность новаго искусства, соотвѣтствующаго тому представленію жизни, какое должна дать новая философская идея, когда она достигнетъ всей своей зрѣлости и перейдетъ въ сознаніе цѣлаго общества. Онъ выбралъ систему доводовъ по аналогіи и прежде всего обратился къ исторіи за примѣрами и указаніями. Выходя изъ положенія, что духъ, породившій искусство, единъ, Станкевичъ отвергаетъ схоластическія дѣленія искусства на многіе роды и видитъ въ немъ только эпохи развитія самаго духа. Виды искусства дѣлаются только формами, въ которыхъ преображается единый, нераздѣльный духъ. Такъ архитектура была необходимымъ видомъ искусства, когда человѣкъ старался выразить цѣлость и не-

объятность духа, посредствомъ символа; скульптура, когда духъ былъ понятъ, какъ сущность человѣческой природы и ограниченъ человѣческою формой; живопись, когда человѣческому проявленію духа слѣдовало возвратить его невещественное, безплотное свойство. Здѣсь кончаются отрывки Станкевича, но уже можно догадываться, что, въ основаніе новому виду искусства, онъ полагалъ философскую идею, окончательно поясняющую и укрѣпляющую вѣрованія, а за тѣмъ раждающую новыя явленія жизни, новые обычаи и даже новыя понятія о красотѣ. . .

Но это было теоретическое, отвлеченное представленіе искусства: любопытно видѣть, какъ проявлялось у Станкевича его личное, *непосредственное* эстетическое чувство?

Въ этомъ отношеніи можно сказать, что у Станкевича попадаются слова, останавливающія васъ невольно. . . Всячески соблюдая истинное представленіе размѣровъ и пропорцій, позволено будетъ сказать, что замѣтки Станкевича отчасти напоминаютъ геніяльныя замѣтки Гегеля объ итальянскомъ искусствѣ. Тутъ дѣло не въ техническихъ познаніяхъ и даже не въ знакомствѣ съ историческими данными, а въ соображеніяхъ, которыя возникаютъ при отраженіи предмета въ человѣческой душѣ. Слова Станкевича проливаютъ тихій, кроткій свѣтъ, который волнуется на пред-

нетѣ, какъ поэтическое облако, сообщая ему особенное выраженіе. Уже при самой первой встрѣчѣ съ жителями Римской Кампаньи, при видѣ людей въ синихъ плащахъ, съ длинными посохами въ рукахъ, съ медленною, важною походкой, Станкевичъ вспоминаетъ о Титѣ-Ливіи и собирается перечитать его, Успокоившись отъ волненій дороги, онъ. черезъ два дня по пріѣздѣ въ Римъ, идетъ гулять по Корсо, минуетъ Капитолій, спускается къ форуму и черезъ рядъ классическихъ развалинъ достигаетъ арки Тита и Колизея. Онъ не заглядываетъ въ книжку, отдаваясь вполнѣ однимъ своимъ впечатлѣніямъ, и встрѣча съ Колизеемъ вырываетъ у него восклицаніе: «Не знаю каковъ онъ былъ въ своемъ цвѣту, въ первобытномъ видѣ, но вѣрно не лучше, чѣмъ теперь. Я не думалъ много о его назначеніи . . . я видѣлъ только огромную, гармоническую развалину и темносинее небо, просвѣчивавшее во всѣ ея окна...» Точно также смотрѣлъ и Гоголь на Колизей. Общій характеръ свободы, простора, даннаго собственной воспріимчивости, не стѣсняемой чужимъ представленіемъ предметовъ, лежитъ уже на всѣхъ изслѣдованіяхъ Станкевича въ Римѣ. Онъ какъ будто приводитъ въ исполненіе слова, сказанныя имъ однажды по поводу отношеній между наукой объ искусствѣ и пониманіемъ его: «отдадимъ кесарю кесарево, а Божье душа узнаетъ». Вхо-

дитъ ли онъ въ соборъ Петра — стройная громада эта, въ которой, по словамъ его, дышишь вольнѣе и высоко поднимаешь голову, раждаетъ у него мысль: «Я никогда не могъ ждать отъ архитектуры чего-нибудь охватывающаго душу; душа выше ея, но она довольна, когда находитъ себѣ такое жилище». Посѣщаетъ ли онъ Пантеонъ— оконченность, миръ и спокойствіе, которыя царствуютъ въ зданіи, дѣйствуютъ благотворно на все существо Станкевича, но онъ замѣчаетъ, что древніе слишкомъ рано успокоились, удовлетворились преждевременно, и потому не надобно хотѣть постоянно, долго, исключительно наслаждаться ими; современныя требованія тотчасъ обратятъ умъ на другое и нарушатъ гармонію наслажденія (25-го марта, 1840). Аполлонъ Бельведерскій привелъ Станкевича въ восторгъ: по описанію его видно, что нашъ путешественникъ уразумѣвалъ превосходный греческій типъ, который свѣтился въ этой позднѣйшей копіи. Когда въ послѣдствіи говорили ему, что статуя не носитъ на себѣ признаковъ греческаго рѣзца, что, вѣроятно, вышла она изъ римскихъ мастерскихъ временъ Адріана и проч., Станкевичъ, словно влюбленный въ первоначальный типъ статуи, просто замѣчалъ: «это для меня ничего, я упрямъ и имѣю свои понятія отъ этомъ». Съ такою же откровенностію говоритъ онъ при видѣ *Моисея* Микель-Анджело, что

художникъ понималъ въ представленіи божественнаго одно только свойство — силу. Кисть Гвидо-Рени пришлась Станкевичу по сердцу, и онъ прекрасно опредѣляетъ этого художника словами, вызванными наблюденіемъ какой-то головки: «здѣсь уже нѣтъ тѣла — одна душа и музыка.» Станкевичъ осуществляетъ въ Римѣ намѣреніе довѣрять самому себѣ, принятое имъ съ первыхъ шаговъ по улицамъ города: «Всякій человѣкъ *живетъ* и долженъ быть снисходителенъ къ своей индивидуальности, вѣрить ей — не то, она еще болѣе будетъ обманывать его!» И мы убѣждены, что при болѣе долгой жизни, при возможности дальнѣйшаго обсужденія впечатлѣній, на одномъ этомъ основаніи родились бы самобытныя, оригинальныя замѣтки объ искусствѣ, которыя произвели бы то же самое дѣйствіе на читателей, какое производили нѣкоторые проблески ихъ на весь кругъ его знакомыхъ!

Нельзя забыть при этомъ, что отдаваясь самому себѣ, Станкевичъ опирался на одну изъ самыхъ превосходныхъ личностей, которая достигала тогда окончательнаго своего развитія. Юморъ Станкевича улегся и пріобрѣлъ свѣтлое выраженіе, вмѣстѣ съ граціей въ формѣ и легкимъ оттѣнкомъ задумчивости. То же самое можно сказать почти о всѣхъ другихъ его качествахъ. Въ Римѣ, напримѣръ, происходили иногда споры объ

искусствѣ; особенно былъ одинъ о значеніи *преданія* въ живописи. Станкевичъ допускалъ участіе преданія, какъ аттрибута, съ которымъ уже свыклось наше представленіе нѣкоторыхъ лицъ, но отвергалъ его, когда оно становилось на мѣстѣ живаго пониманія явленій и характеровъ. Онъ видѣлъ въ немъ тогда или матеріализацію искусства или уничтоженіе его въ неясныхъ стремленіяхъ, чуждыхъ всякой формы. По этому предмету высказано было имъ нѣсколько превосходныхъ мыслей въ письмѣ отъ 25-го марта, да вопросъ этотъ былъ, вѣроятно, и первымъ поводомъ къ статьѣ объ искусствѣ, о которой мы упоминали. Но какъ былъ веденъ самый споръ? Никто не возражалъ и не спорилъ благороднѣе, гуманнѣе, прибавимъ — великодушнѣе Станкевича. Въ столкновеніяхъ мнѣній и въ способѣ доставлять побѣду своимъ убѣжденіямъ обыкновенно открывается грубая или свѣтлая природа человѣка. У Станкевича не было и признака хитрой изворотливости мысли, желанія захватить другаго врасплохъ, жажды поразить и унизить противника — всѣхъ этихъ темныхъ качествъ, дѣлающихъ изъ каждаго спора какую-то печальную арену, гдѣ сталкиваются на глазахъ вашихъ черныя страсти и побужденія, безобразно замѣшанныя въ самый вопросъ. Онъ принималъ мнѣніе противника всегда съ лучшей, выгоднѣйшей стороны его, и не могъ представить

себѣ возможности обойдти его сзади или подкрасться къ нему тайкомъ. Кромѣ споровъ объ искусствѣ, были еще тогда пренія и о философіи, особенно съ однимъ изъ русскихъ профессоровъ словесности, объѣзжавшихъ Италію. Какъ онъ, такъ и другіе оппоненты Станкевича, даже самые упорные, отдавали справедливость его уваженію къ дѣльному спору, которое они называли снисходительностію. «Я, въ самомъ дѣлѣ, говоритъ Станкевичъ, взялъ за правило самообладаніе въ разговорахъ такого рода, и оно гораздо выгоднѣе и для меня и для чести науки, можетъ-быть... Оно оковываетъ порывы самолюбія въ другомъ или заставляетъ его обдумать мнѣнія, возникшія par dépit.» Пренія о философіи, между прочимъ, побудили Станкевича къ составленію, можетъ-быть, послѣднихъ его замѣтокъ о наукѣ, которую защищалъ онъ всегда съ жаромъ и съ успѣхомъ искренняго убѣжденія. Мы не можемъ выписать ихъ сполна, вопервыхъ по отрывочности ихъ, требующей довольно обширныхъ объясненій, не совсѣмъ умѣстныхъ въ нашемъ очеркѣ; а вовторыхъ по глубокому, отвлеченному характеру ихъ, къ которому читающая публика наша весьма мало расположена. Скажемъ только, что въ этомъ послѣднемъ трудѣ Станкевичъ имѣлъ въ виду исторію философіи Рейнгольда, обвинившую впервые Гегеля въ скептицизмѣ: обвиненіе, принятое съ

ея голоса и многими людьми, незнакомыми съ системами берлинскаго философа. Мы только приведемъ окончаніе статьи. Предварительно Станкевичъ замѣтилъ, что у Гегеля нѣтъ ни предложеній, ни доказательствъ, и все пораждается передъ глазами мыслителя, исключая «Духа», который не подверженъ этому закону. Начавъ чувственнымъ бытіемъ, Гегель, по словамъ Станкевича, приводитъ его къ «Духу»; начавъ уединенною мыслію, Гегель приводитъ ее къ «Духу»; начавъ природой, Гегель приводитъ не къ человѣку, а человѣку указываетъ истину въ «Духѣ». Идея, по объясненію Станкевича, есть то блаженство, гдѣ человѣкъ наслаждается осуществленіемъ въ себѣ воли Высшаго Духа. Затѣмъ Станкевичъ идетъ далѣе. Онъ снимаетъ весь логическій процессъ, предшествующій появленію идеи, называя его не самою истиной, а только приготовленіемъ къ ней, и остается съ послѣднимъ результатомъ науки — идеей. Приводимъ затѣмъ выписку изъ трактата, для показанія, что̀ скрывалось въ этой идеѣ для самого Станкевича. «Въ самомъ дѣлѣ, говоритъ онъ, въ ходѣ науки умъ постепенно очищается отъ чувственной коры. Онъ прозрѣваетъ. Отдѣльныя мертвыя существованія постепенно сдвигаются съ мѣстъ своихъ, чтобъ исчезнуть въ общемъ, веселомъ хороводѣ жизни. Туманъ рѣдѣетъ, ночные призраки бѣгутъ — и вдругъ *полный свѣтъ*

любви изливается на созданіе и довершаетъ дѣло преображенія. Вотъ жизнь, говоритъ философъ, понятая умомъ, которая сначала являлась нашему глазу въ грубой непосредственности. Хорошо. Не заботься же болѣе объ этихъ призракахъ, которые прогнало солнце [1]). Это не истина, не абсолютное — и твой трудъ былъ только ходъ къ абсолютному. Теперь ты въ немъ забудь прошедшее. Разверни намъ новую жизнь. Подъ лучами этого солнца построй намъ міръ, проникнутый этою любовью!

«— Но здѣсь кончается *наука*.

«Да. Философія есть ходъ къ абсолютному. Результатъ ея есть *жизнь идеи* въ самой себѣ. Наука кончилась. Далѣе нельзя строить науки и начинается постройка жизни . . .»

Къ этой-то духовно-разумной постройкѣ жизни для себя, которая была бы практическою повѣркой самаго ученія, и приступалъ теперь Станкевичъ; но смерть застигла его на первыхъ шагахъ къ цѣли.

Смертельный недугъ, который Станкевичъ носилъ въ груди, помѣшалъ ему даже устроить внутренній міръ свой вполнѣ подъ-ладъ къ тому міру классическихъ чудесъ, тишины и величаваго спо-

---

[1]) То-есть о логическихъ отвлеченіяхъ, предшествовавшихъ послѣднему слову науки.

койствія, его окружавшаго. Вліяніе этого міра чувствовалось, но Станкевичъ хотѣлъ родства съ нимъ. «Кромѣ перемѣнчивой погоды, говоритъ онъ, которая мѣшаетъ покойно и въ порядкѣ видѣть сокровища Рима, меня стѣсняетъ короткій срокъ моего пребыванія въ Римѣ: я не могу хорошенько расположиться, не могу устроить своихъ занятій такъ, чтобъ они сообразны были и съ вѣчною, главною потребностію духа, и съ мѣстностію. Это мѣшаетъ найдти центръ, изъ котораго весело и спокойно можно смотрѣть на весь міръ . . . но дѣлать нечего. Распорядиться такимъ образомъ не совсѣмъ зависитъ отъ моей воли. Этого стѣсненія требуетъ мое здоровье и другія причины. . .»

Римъ въ его время носилъ особенный характеръ и какъ будто созданъ былъ для того, чтобъ образовать душу художника или философа. Онъ походилъ на академію, разросшуюся въ большой городъ. У великолѣпныхъ воротъ его замолкалъ весь шумъ Европы, и человѣкъ невольно обращался или къ прошедшему, которое встрѣчало его на каждомъ шагу, или подъ тѣнью его сосредоточивался въ себѣ самомъ, въ собственной мысли. Современная жизнь показывалась въ тогдашнемъ Римѣ одною стороной своей — стороной, обращенною къ искусству. По улицамъ его ходили великолѣпныя процессіи, окрестности его безпрестанно на-

полнялись шумомъ тѣхъ религіозно-художественныхъ торжествъ, въ которыхъ народъ выказываетъ такъ могущественно свою изобрѣтательность и врожденное чувство изящнаго. Эти проявленія народнаго творчества, вмѣстѣ съ отсутствіемъ пустой роскоши, бѣготни за новостями и съ чертами врожденной веселости, счастливо соединенной въ національномъ характерѣ съ какою-то степенностію, дѣлали изъ обиходной жизни Рима нѣчто весьма не похожее на жизнь въ другихъ городахъ. Одно отсутствіе матеріяльныхъ стремленій и горделивое довольство самимъ собой каждаго его гражданина заставили нѣкоторыхъ мыслителей предрекать великую будущность новому Риму. Затѣмъ, если въ оградѣ Рима скрывались и словно пропадали для всего свѣта многія личности, прошумѣвшія въ Европѣ, то не менѣе было и такихъ, которыя въ немъ искали необходимаго приготовленія къ подвигамъ жизни и къ дѣятельности. Въ развитіи каждой серіозной мысли, есть минуты, когда она требуетъ нѣкотораго молчанія и нѣкоторой степени уединенія, подъ прикрытіемъ которыхъ и созрѣваетъ окончательно. Мѣсто, гдѣ совершается процессъ этотъ, разумѣется, значитъ мало, но надобно сказать, что тогда во всей Европѣ не было города способнѣе Рима собрать всѣ нравственныя силы человѣка въ одинъ центръ и, такъ сказать, въ одну массу. Именно то и происходило со Стан-

кевичемъ. Развитіе его достигало конца, и мудрое, симпатическое, но спокойное созерцаніе міра все болѣе и болѣе расло и укрѣплялось въ немъ. Каждому извѣстно, что достиженіе извѣстной нравственной высоты есть вмѣстѣ съ тѣмъ и право на обладаніе всѣмъ, что̀ лежитъ подъ нею; другими словами, полнота развитія скоро усвоиваетъ себѣ и тѣ явленія, которыми человѣкъ никогда не занимался, или на которыя бросилъ только бѣглый, поверхностный взглядъ. Незнакомство съ предметомъ, даже ошибка въ его оцѣнкѣ — тутъ дѣло временное и случайное. Сто̀итъ только человѣку ближе поднести предметъ къ умственнымъ очамъ своимъ, и предметъ легко вводится въ ту богатую сокровищницу мысли, гдѣ каждая изъ нихъ занимаетъ свое опредѣленное мѣсто. Вотъ почему нужды нѣтъ, если, занимаясь преимущественно философскимъ представленіемъ жизни, Станкевичъ выпустилъ изъ вида ту или другую подробность современнаго быта, не оцѣнилъ по достоинству той или другой практической его работы, не угадалъ въ какомъ-либо писателѣ, какъ напримѣръ въ Жоржъ-Сандѣ, существеннаго качества его — борьбы съ мертвыми формами жизни. Все это былъ только недосмотръ; все это, прибавимъ, ждало только минуты внимательнаго взгляда, чтобъ получить признаніе своихъ существенныхъ качествъ При полнотѣ развитія не можетъ быть затворен-

ныхъ дверей ни для какого явленія, носящаго признаки нравственныхъ стремленій; не долго также остаются отверженцами не понятыя или еще не изслѣдованныя начинанія людей, и скоро изъ блуждающихъ, осиротѣлыхъ существъ они поступаютъ въ широкую область духа, обращаются въ органическіе члены нашего собственнаго сознанія и дѣйствуютъ въ немъ наравнѣ со всѣми другими, расширяя все болѣе и болѣе кругъ его. Такъ было бы и со Станкевичемъ, потому что полнота духа, какой онъ достигъ въ Римѣ, дѣлала его способнымъ къ богатому гостепріимству идей, въ чемъ преимущественно и состоитъ эта полнота; что въ настоящемъ случаѣ мы не предаемся фантазіи и не пишемъ идеальнаго лица, можетъ намъ служить доказательствомъ покойный Грановскій, принадлежавшій къ школѣ Станкевича. Въ силу развитаго человѣческаго, общественнаго и историческаго смысла, какое явленіе въ духовномъ мірѣ ускользало отъ его сочувственнаго вниманія и къ какой разумной сторонѣ человѣческой жизни вообще былъ онъ глухъ или несправедливъ когда либо? . . .

Между тѣмъ Станкевичъ видимо и поспѣшно близился, по выраженію поэта, къ своему началу. Болѣзнь его шла не по днямъ, а по часамъ. Уже не было опредѣленныхъ сроковъ для недуга: онъ заставалъ его во всякое время. Разъ Станкевичъ

поднимался въ четвертый этажъ дома, гдѣ жили Х*, и читалъ своимъ обыкновеннымъ тихимъ голосомъ стихотвореніе Пушкина: «Снова тучи надо мною.» Пріятель, сопровождавшій его, слѣдовалъ за нимъ и видѣлъ, какъ на половинѣ лѣстницы, онъ вдругъ остановился, кашлянулъ и поднесъ платокъ къ губамъ: на платкѣ осталась кровь. Свидѣтель этой сцены невольно содрогнулся, а Станкевичъ только улыбнулся и дочелъ стихотвореніе до конца. Множество системъ и докторовъ было перепробовано, и не принесло пользы: можетъ-быть это даже ускорило ходъ неизбѣжной развязки. Замѣчательно, что Станкевичъ вообще никогда не говорилъ о своей болѣзни, и если упоминалъ о ней, то не иначе какъ въ шуточномъ тонѣ. Отсутствующимъ друзьямъ онъ даетъ во всѣхъ видахъ убѣдительныя завѣренія въ возможность если не скораго, то радикальнаго своего выздоровленія; роднымъ сообщаетъ одни только намеки на свое физическое состояніе. Опасеніе возмутить чью-либо душу ѣдкимъ чувствомъ — превозмогаетъ ту нужду въ откровенности, которая такъ свойственна больнымъ вообще. Самъ онъ не могъ не видить близости смерти, но какъ-то не хочетъ вѣрить ей: противорѣчіе, часто встрѣчающееся у молодыхъ людей, осужденныхъ на преждевременный конецъ. Притомъ же въ смерти боялся онъ прекращенія мысли. . . Ни на минуту не даетъ онъ

побѣды матеріяльному факту надъ собой: по свидѣтельству очевидцевъ, никогда не падалъ онъ духомъ и всякій новый признакъ физическаго разрушенія встрѣчалъ съ новою надеждой сбросить его и высвободить себя изъ-подъ гнета слѣпаго случая. Станкевичъ въ концѣ апрѣля собирается въ Неаполь для свиданія съ В. А. Д**, которую отыскивалъ съ самаго выѣзда изъ Берлина. Онъ думалъ застать ее еще въ Базелѣ, но разъѣхался съ нею. На В. А. Д** перенесъ онъ остатокъ той привязанности, которую питалъ нѣкогда къ семейству, такъ много участвовавшему въ событіяхъ его внутренней жизни. Какъ нарочно всѣ знакомые Станкевича, начиная съ Х**, выѣхали тогда въ Неаполь, а самъ Станкевичъ посланъ былъ докторомъ въ Альбано, одно изъ очаровательныхъ мѣстъ въ окрестностяхъ Рима, такъ богатаго ими. Но прелесть этого уголка, оканчивающаго пустынную Римскую Кампанью, уже на половину была потеряна Станкевичемъ. Онъ бьется на страдальческомъ своимъ ложѣ, томимый и желаніемъ послѣдовать за своими знакомыми въ Неаполь и невозможностію привести въ исполненіе планъ свой: онъ уже не въ состояніи писать, ѣдкая боль въ боку одолѣваетъ его, и каждый день, на нѣсколько минутъ, онъ горитъ, какъ въ огнѣ, по собственнымъ словамъ его. Тогда-то, получивъ извѣстіе отъ Мар—ва объ опасномъ положеніи Станкевича,

В. А. Д** сама покидаетъ Неаполь и неожиданно является въ Римъ (въ концѣ маѣ 1840).

Радостна для Станкевича была эта встрѣча и эта послѣдняя жертва дружбы! Онъ подымается съ постели и вмѣстѣ ѣдутъ они изъ Альбано въ Римъ. Тамъ Станкевичъ бросаетъ прощальный, предсмертный взглядъ на вѣчный городъ и въ трогательныхъ словахъ благодаритъ небо, еще сохранившее для него это наслажденіе: «Вчера и третьяго дня взглянули на Петра, Пантеонъ и Колезей, — и я благословилъ небо, которое хочетъ, чтобъ образъ Рима дружески покоился въ душѣ моей. . . . Колизей заросъ еще болѣе; зелень на немъ очаровательная, а небо, которое стало еще теплѣе, украсило его такъ, что трудно выйдти оттуда; я былъ радъ видѣть все это вмѣстѣ съ Д**. Все дѣйствуетъ на нее прямо, просто и живо....» (письмо 21 мая). Цѣлый мѣсяцъ живетъ онъ еще въ Римѣ. Надежда начинаетъ снова оживать въ его сердцѣ, успокоенномъ дружбой и тѣмъ разборчивымъ вниманіемъ, на какое способна только женщина. Планы будущихъ работъ тѣснятся въ головѣ его; нѣсколько статей уже обдуманы и совсѣмъ готовы къ изложенію, но надо сказать, что уже издавна любимою мыслію Станкевича было написать для русской публики простую, добросовѣстную «исторію философіи». Мысль эта уже не покидала его въ Римѣ, и ей посвящены были всѣ

минуты уединенія и спокойствія. Она и теперь возстала, вмѣстѣ съ лучомъ надежды, живительнымъ присутствіемъ дружественнаго существа и съ прощальнымъ напутствіемъ чуднаго города, покидаемаго навсегда. . . Станкевичъ не потерялъ въ болѣзни своей ни одного изъ нравственныхъ основаній, на которыя опиралось его существованіе.

Затѣмъ въ началѣ іюня онъ покидаетъ Римъ, сопровождаемый В. А. Д** и однимъ изъ пріятелей, А. П. Ефремовымъ, прибывшимъ вмѣстѣ съ нею. Они медленно подвигались къ Флоренціи. Послѣ многихъ измѣненій, Станкевичъ окончательно остановился на одномъ планѣ жизни — все лѣто провести у Комскаго озера, а зиму въ Ниццѣ. Во Флоренціи онъ вспоминаетъ о Вердерѣ, берлинскомъ своемъ другѣ, и какъ будто движимый какимъ-то горькимъ предчувствіемъ, спѣшитъ разсчитаться съ нимъ — заявить ему тотъ долгъ любви и благодарности, который наложилъ онъ на него въ двухлѣтнее знакомство: «Скажите ему мое почтеніе, пишетъ онъ къ пріятелю, скажите, что его дружба будетъ мнѣ вѣчно свята и дорога, и что все, что̀ во мнѣ есть порядочнаго, неразрывно съ нею связано.» Благодарность къ людямъ, способствовавшимъ умственому или нравственному его развитію, была у Станкевича особеннымъ родомъ душевной потребности, обращенной точно

также на учителя Острогожскаго училища, какъ и на профессора Берлинскаго университета. Тотъ же знакомый, спустя малое время, исполнялъ другое, печальное порученіе къ Вердеру — извѣщалъ его запиской о смерти Станкевича, не будучи въ состояніи лично передать извѣстія. Когда потомъ встрѣтился онъ съ Вердеромъ, и вспоминая о покойникѣ, сказалъ ему: «Въ немъ умерла и часть васъ самихъ», то эти слова едва не заставили публично зарыдать профессора. Вэрдеръ написалъ въ память бывшаго своего друга стихотвореніе der Tod, весьма замѣчательное, какъ говорятъ слышавшіе его, но къ сожалѣнію, намъ неизвѣстное.

Во Флоренціи Станкевичъ нашелъ Е. П. Фролову тоже въ дурномъ состояніи: она уѣзжала въ Неаполь искать облегченія подъ его невозмутимо-яснымъ небомъ. Простившись съ ней и припомнивъ всѣ минуты свѣтлаго состоянія духа, какими надѣляло его ея общество и ея расположеніе, Станкевичъ выѣхалъ изъ Флоренціи въ Миланъ, по дорогѣ къ озеру Комо. Не доѣзжая Милана, въ сорока миляхъ отъ Генуи, въ городкѣ Нови, прославленномъ побѣдой Суворова, скончался этотъ воинъ другаго рода, по справедливому замѣчанію одного изъ знакомыхъ. Случилось это въ ночь съ 24-го на 25-е іюня. Съ вечера онъ былъ еще веселъ, рано легъ спать, чтобъ быть готовымъ къ отъѣзду на завтра; но когда

А. П. Ефремовъ, утромъ 25-го числа, пришелъ будить его, онъ уже спалъ вѣчнымъ сномъ, — и неизмѣнная, благородная улыбка еще играла на лицѣ его. Тѣло Станкевича перевезли въ Россію къ роднымъ, пораженнымъ такимъ быстрымъ всходомъ болѣзни, о которой они имѣли весьма смутное понятіе, и отъ Станкевича остался на землѣ только памятникъ въ селѣ Удеревкѣ — мѣстѣ еще недавняго рожденія его.

Одному изъ его знакомыхъ мы обязаны слѣдующимъ описаніемъ наружности Станкевичъ. «Станкевичъ былъ болѣе нежели средняго роста, очень хорошо сложенъ; по сложенію нельзя было предполагать въ немъ расположенія къ чахоткѣ. У него были прекрасные черные волосы, покатый лобъ, небольшіе, каріе глаза; взоръ его былъ очень ласковъ и веселъ, носъ тонкій, съ горбиной, красивый, съ подвижными ноздрями; губы тоже довольно тонкія, съ рѣзко означенными углами: когда онъ улыбался, онѣ слегка кривились, но очень мило. Вообще улыбка его была чрезвычайно привѣтлива и добродушна, хоть и насмѣшлива; руки у него были довольно большія, узловатыя, какъ у старика. Во всемъ его существѣ, въ движеніяхъ была какая-то грація и безсознательное distinction; точно онъ былъ царскій сынъ, не знавшій о своемъ происхожденіи. Одѣвался онъ просто и носилъ обыкновенно палку. . .»

Вотъ что писалъ Т. Н. Грановскій, между прочимъ, къ Я. М. Невѣрову, когда вѣсть о кончинѣ общаго ихъ друга пришла въ Россію: «Я еще не опомнился отъ перваго удара. Настоящее горе еще не трогало меня: боюсь его впереди. Теперь все еще не вѣрю въ возможность потери— только иногда сжимается сердце.

«Ты потерялъ столько же сколько и я. Тебѣ нечего говорить о немъ. Онъ унесъ съ собой что-то необходимое для моей жизни. Никому на свѣтѣ не былъ я такъ много обязанъ: его вліяніе на меня было безконечно и благотворно. Этого, можетъ-быть, кромѣ меня, никто не знаетъ. Страшно подумать о его смерти. Душа отказывается вѣрить.

«Тѣло его привезено въ Россію. Дай Богъ! Мнѣ бы не хотѣлось, чтобъ онъ спалъ такъ далеко отъ насъ.»

Что же породило всѣ эти глубокія, неизмѣнныя привязанности? Въ чѣмъ же состояла эта сила привлекательности, которою надѣленъ былъ Станкевичъ въ такой степени? Отчего, къ кому ни обращались мы за свѣдѣніями о немъ, постоянно встрѣчали одинъ восторженный отзывъ, одно и то же выраженіе любви и сочувствія? Такое общее единодушіе въ чувствѣ сопровождаетъ человѣка только тогда, когда онъ обладаетъ способностію дѣйствовать на душу, потребности которой оди-

наковы у всѣхъ людей. Причина повсемѣстнаго вліянія Станкевича заключается не въ талантахъ, которыхъ онъ проявить не успѣлъ, не въ познаніяхъ, хотя объемъ ихъ былъ весьма уже значителенъ, не въ умѣ, хотя глубина и проницательность его были охотно признаваемы. Качества эти, дѣйствительно, могутъ привять къ себѣ человѣка, но рѣдко способны оковать его воображеніе и подчинить его совѣсть. Причина полнаго, неотразимаго вліянія Станкевича заключалась въ возвышенной его природѣ, въ способности нисколько не думать о себѣ и безъ малѣйшаго признака хвастовства или гордости невольно увлекать всѣхъ за собой въ область идеала. Составитель этого біографическаго очерка не имѣлъ счастія знать лично Станкевича: поэтому въ статьѣ своей долженъ былъ ограничиться одними намеками на ту силу обаянія, которая дѣйствовала у него постоянно. Станкевичъ не дожилъ еще до многаго. Прежде всего онъ не дожилъ до заявленія своихъ началъ въ обществѣ, а стало-быть и до встрѣчи съ тупою ограниченностію, со страстію объяснять мелкими причинами всѣ духовныя стремленія человѣка, съ невѣжественнымъ скептицизмомъ и подозрительностію. Мы не знаемъ, какъ эта неизбѣжная, житейская борьба, измѣнившая и подорвавшая силы столькихъ людей, отразилась бы на его душѣ. Не слѣдуетъ также выпускать изъ вида, что множе-

ство литературныхъ вопросовъ поднято было гораздо позднѣе. Во времена Станкевича они были еще въ зародышѣ и являлись преимущественно въ видѣ понятій, отвлеченныхъ темъ, тезисовъ, на которыхъ изощрялась діалектическая способность, но которые ни къ чему не обязывали и не возлагали на человѣка никакой нравственной отвѣтственности. Мы не можемъ сказать, въ какомъ отношеніи находился бы Станкевичъ ко всѣмъ предметамъ нынѣшняго умственнаго и научнаго движенія, но имѣемъ право думать, что широта пониманія — слѣдствія того строгаго предуготовительнаго труда, которому онъ подвергъ себя — не осталась бы праздною и безполезною въ виду ихъ. Спѣшимъ прибавить, что намъ нѣтъ и никакой нужды прибѣгать къ догадкамъ, потому что и безъ нихъ мы имѣемъ въ Станкевичѣ типическое лицо, превосходно выражающее *молодость* того самаго поколѣнія, которое подняло всѣ вопросы, занимающіе нынѣ литературу и науку, которое по мѣрѣ возможности трудилось надъ ними и теперь начинаетъ сходить понемногу съ поприща, уступая мѣсто другимъ дѣятелямъ. Въ Станкевичѣ отразилась *юность* одной эпохи нашего развитія: онъ какъ-будто собралъ и совокупилъ въ себѣ лучшія нравственныя черты, благороднѣйшія стремленія и надежды своихъ товарищей. Въ немъ сошлось какъ въ центрѣ все прекрасное, которое было

разсѣяно въ толпѣ окружавшихъ его друзей. Четверть столѣтія протекла уже съ тѣхъ поръ, какъ одно поколѣніе посреди нашего общества, начало сознавать важность строгаго, добросовѣстнаго служенія наукѣ, необходимость нравственныхъ требованій отъ себя и отъ другихъ, общественное значеніе чистоты дѣйствій и побужденій. Въ преддверіи этой замѣчательной четверти столѣтія является свѣтлый образъ Станкевича, какъ представитель всего направленія. Судьба хотѣла, чтобъ аттрибутъ молодости былъ неразлученъ съ этимъ образомъ: передъ концомъ молодости она свела Станкевича въ могилу. Воспоминаніямъ друзей и воображенію читателей онъ уже иначе не можетъ представиться, какъ типомъ благороднаго, возвышеннаго молодаго человѣка. Такимъ, вѣроятно, найдетъ его и будущая, хорошая исторія русскаго образованія, да одна эта принадлежность нравственной его физіономіи была первою побудительною причиной, какъ сказано въ началѣ нашего труда, къ составленію біографическаго очерка, теперь предлагаемаго публикѣ, и къ приведенію въ извѣстность всей, по возможности, пере-

ПЕРЕПИСКА СТАНКЕВИЧА.

ПЕРІОДЪ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

1831—1834.

Письма къ А. М. Н—у.

1831.

1.

Москва.

... Сегодня Павловъ читаетъ у себя лекцію опытной физики, на которую съѣдутся много — я сказалъ, что буду.

Посылаю тебѣ забавное письмо какого-то Алтухина Алипатова, потѣшься и черпай народность. Я, ничего не подозрѣвая, сталъ марать по письму, посмотрѣлъ и обрѣлъ сокровище — такъ и Цицеронъ найденъ.

... Попроси Н. А. прислать 10 № Телескопа за прошлый годъ (кажется, въ 10-мъ помѣщена статья «Объ эстетическомъ образованіи» [1]). Алексѣю посылаю 2-й т.

---

[1]) Н. И. Надеждина. *Пр. изд.*

Nôtre-Dame de Paris. Планъ Парижа съ благодарностію возвращу сегодня.

... Пріѣзжай ко мнѣ—я пошлю и за Ив. Об., прочтемъ съ толкомъ диссертацію Гастева.

2.

Пришли Могилевскаго Риторику и Никольскаго; когда есть, то и Рижскаго. Пропасть глупостей надобно дѣлать сегодня. За чужими, я и своей отпустить не успѣю ни одной. Сегодня я рѣшительно подъ вліяніемъ обстоятельствъ.

3.

Пріѣзжай, прошу тебя, ко мнѣ побесѣдовать о безсмертіи души и о прочемъ. Сегодня пятница, мы всегда видимся въ этотъ день; меня такъ и тянетъ побесѣдовать съ тобою. Брось диссертацію, поболтаемъ, мысли посвѣжѣютъ.

4.

... Сдѣлай милость, пріѣзжай хоть на короткое время, да привези Телеграфъ, если можешь; я сегодня въ пароксизмѣ, чуть-было не написалъ фантастической сказки, подъ заглавіемъ: «*Дѣвица-Стихотворка, Длинный носъ и Синія очки, или какъ должно говорить съ дамами.*» Если небо не пошлетъ тебя ко мнѣ, то пришли Телеграфъ.

Если же можно, пріѣзжай самъ, самъ, самъ.

23 декабря: извращенное таинство 33 безъ единицы.

1832.

5.

Москва, 6 апреля.

... Я уже исповѣдался, заутреню будутъ у насъ служить очень поздно, въ 8 часовъ, а во время ея ты посидишь хоть у меня,—а до нея и послѣ нея мы пофантазируемъ.

6.

Посылаю первую часть Кузена; привези мнѣ сегодня вторую...

Сдѣлай милость, послушай меня: пріѣзжай вечеркомъ, побесѣдуемъ о царствіи небесномъ.

7.

Тула.

Я въ Тулѣ. Съ голодухи только-что поѣлъ преисправно и пишу къ тебѣ съ прикускою миндальнаго пирожнаго, которое мнѣ очень понравилось, и въ ожиданіи кофе. Представь, что отъ Москвы до Тулы путемъ не поѣшь. Желалъ я видѣть В. К. въ Серпуховѣ, спрашивалъ о немъ въ трактирѣ—не знаютъ, хотѣлъ спросить на баркахъ, но зафантазировался и проѣхалъ барки. Впрочемъ это было часовъ въ 6 утра, вѣрно бъ я не нашелъ его на баркахъ. Дѣло въ томъ: повтори ему мое приглашеніе заѣхать къ намъ въ деревню и скажи: «и меня возьмите!» Какая несносная дорога! Признаюсь, прескучная вещь мѣрять время пространствомъ: ѣдешь, ѣдешь, солнце кругомъ объѣдетъ и спрячется и взойдетъ, а ты все ѣдешь. Уфъ! (обыкновенная гримаса: вспомни!) Боже, Твоя сила! Эка притча! Сколько разъ дождь принимался мочить меня, и намокнешь, и высохнешь, и опять намокнешь. Все

это ужасно скучно! Segler der Luft безъ толку бѣгаютъ взадъ и впередъ какъ на смѣхъ. Я съ чрезвычайнымъ уваженіемъ повторялъ: «жаль, что ihr seid unserem Kaiser nicht unterthan.» Это не то, что ѣдешь бывало съ Дмитровки въ Подъ-новинское, отъ Кремлевскихъ-воротъ въ Старую-Конюшенную; бока растрясло порядкомъ.

Жалобы мои тебѣ наскучатъ, а впрочемъ не о чемъ писать больше. Лошади готовы, бричка подана. Только сѣсть, да поѣхать. Если увидишь С*, скажи ему, что я видѣлъ его во снѣ (въ первую-де ночь въ дорогѣ бредъ ужасный: дрянь молъ въ глаза лѣзетъ), будто онъ ѣдетъ верхомъ на Поб. и спрашиваетъ его: какая это фигура? И тотъ отвѣчаетъ ему: *восхожденіе*. По моему, это похоже было на *вшествіе* въ Іерусалимъ.

Видѣлъ и тебя сидящаго въ волтеровскихъ креслахъ и рисующаго портретъ съ Тон., не знаю для чего? Въ это время Ал... ходилъ въ изорванномъ шлафорѣ съ привѣсочками и отпускалъ каламбуры; а N, сидя въ треугольной шляпѣ, баюкала кошку — чудеса! Не лгу, что все это видѣлъ! *Тутъ все есть*. Кланяйся всѣмъ; спѣшу ѣхать. Писалъ, чтобы написать.

Село Удеревка, 19 іюля.

Знаменитое число! Сегодня ровно одиннадцать лѣтъ, какъ я сжегъ деревню, будучи семилѣтнимъ мальчикомъ...

Поздравляю тебя кандидатомъ! Увѣренъ, что ты не X-му классу радъ, и что твое человѣчество выше чиновъ; но пріятно видѣть награждаемое достоинство. Твое сближеніе съ достолюбезнѣйшимъ также меня очень

радуетъ. Ступай на скользкое, колкое, бурное и, какое хочешь, поприще жизни!

Festen Muth in schwerem Leiden,
Hülfe, wo die Unschuld weint,
Ewigkeit geschwor'nen Eiden,
Wahrheit gegen Freund und Feind,
Männerstolz vor Königsthronen —
Brüder, gält' es Gut und Blut!
Dem Verdienste seine Kronen,
Untergang der Lügenbrut! —

До сихъ поръ, я знаю, таковы были твои правила, и твердо увѣренъ, что они не перемѣнятся: они твое *я*. Теперь прилагай свои теоріи въ практическомъ Петербургѣ, или мечтательной Москвѣ! Жизнь передъ тобою!

Фу, чортъ возьми, какъ я важенъ! Жаль, что нѣтъ Кор.; онъ давно бы умеръ со смѣху. Разкажу тебѣ лучше мое житье. Пріѣхалъ я благополучно и охочусь почти каждый день. Между тѣмъ все-таки читаю Гердера, но стыдъ! еще не успѣлъ кончить 1-го тома, осталось немножко; къ половинѣ августа кончу 2-й, а тамъ думаю прочесть Эверса «Разсужденіе о происхожденіи Руси»—это нужно будетъ для Каченовскаго. Читать Карамзина не буду; я его читывалъ и прежде, но отъ этого пути мало...

Оставайся, братъ, на магистра,—я буду непремѣнно возражать на твою диссертацію (въ которой вѣрно ты на *тройкѣ своей* заѣдешь въ облака). Я самъ люблю твоихъ коней и надѣюсь, что съ хорошею упряжью и по твердой землѣ на нихъ съѣдешь!...

... К. П. скажи, что я не стану вырывать сухихъ цвѣтовъ изъ ея сада, пусть запасется и попотчуетъ меня свѣжими. Ты пишешь, что убѣдили тебя ѣхать

въ деревню. Хорошо ты дѣлаешь, что угождаешь доброму старику; впрочемъ ты могъ бы отговориться вопросомъ: *Вамъ скоро нужно? Вотъ ужь когда-нибудь разомъ!* Мнѣ право совѣстно, что на дѣльное твое письмо я отвѣчаю вздоромъ! А кажись и я написалъ много.

1833.

Москва, 26 марта.

Какъ мнѣ интересны, болѣе, нежели интересны, твои извѣстія о спектакляхъ и тому подобномъ! Съ тѣхъ поръ какъ ты уѣхалъ, мнѣ не съ кѣмъ говорить объ искусствѣ; а ты знаешь, какъ я люблю его! Прибѣгнешь къ тому, къ другому, но встрѣчаешь камни хладные или запутанные умы. Мар. Аѳ., о чемъ ни говори, собьется на свою метафизику, Ал... на Лидію, С" на Русскую исторію... и еще на 1-й періодъ, или пойдутъ каламбуры. Иногда съ кѣмъ-нибудь думаешь сказать два слова отъ души, которая полна черезъ края... что жъ? Кончится тѣмъ, что или не поймутъ, или скажешь совсѣмъ не то, что̀ хотѣлъ сказать, ибо человѣкъ, которому говоришь... какъ-то видомъ уже сбиваетъ сказать не то, что̀ чувствуешь, а другое. Сію минуту или... нѣсколько минутъ, съ часъ, какъ пришелъ изъ университета, подурачился, покаламбурилъ съ С". и Еѳ. Они ушли. Я послалъ Ивана къ Глазунову за какой-нибудь краткой Русской исторіей, самъ придвинулся къ столу, надѣвши свой сѣрый сер-

тукъ, хотѣлъ читать Коха... и задумался. Что-то проскользнуло по душѣ, что-то въ ней зашевелилось... однимъ словомъ, я пришелъ въ то неопредѣленное, полупоэтическое, полугармоническое состояніе, о которомъ мы часто бесѣдовали, сталъ-было писать стихи... Но чувство было слишкомъ въ себѣ сосредоточено, не сдружилось съ мыслью; послѣдняя вполовину его разгадывала—стиха два заскрыпѣли, и чувство попугалось. Я сѣлъ за фортепьяно, сталъ колотить, но тонъ безъ толку—и ты представить себѣ не можешь, какое непреодолимое, мучительное влеченіе пробудилось во мнѣ. Я ни за что не сталъ бы выражать его, чувство презирало выраженія въ эту минуту; но это было не сладкое ощущеніе, а мучительное и безнадежное. Если вѣрить эстетическому замѣчанію, что чувство изящнаго сопровождается стремленіемъ къ безконечному (ну къ чему бы то ни было), которое дѣлается сладкимъ чрезъ надежду соединенія, то не знаю, какъ назвать мое ощущеніе. Въ моемъ чувствѣ господствовала безнадежность соединиться съ тѣмъ, къ чему душа стремилась, а къ чему? Ей-ей не знаю.—Вотъ-те московскія чудеса въ рѣшетѣ. Когда увижу Мел..., попрошу у него Моцарта.

Вчера былъ я у Мар. Аф. За чаемъ пріѣхали ....ы; надобно было ожидать забавной сцены, но я былъ очень не любезенъ; сказывалъ добрымъ людямъ, что я нездоровъ, а между тѣмъ главное... я душевно разстроенъ!

Безъ божества, безъ вдохновенья,
Безъ слезъ, безъ жизни, безъ любви!

П. надоѣла мнѣ просьбою о стихахъ, К. гундосованьемъ, а всѣ пустяками. *Не имамы человѣка.* Тебѣ скучно слушать мои жалобы, но нѣтъ нужды: на этотъ

разъ ты позволишь мнѣ быть эгоистомъ,—изъ любви ко мнѣ. Еслибы ты зналъ, какъ отрадно вылить ихъ въ грудь человѣка, который способенъ понимать чувства всякаго рода! Я часто анализирую себя, отъ чего на меня находитъ такая тоска? Тутъ начинаются отвѣты: во первыхъ отъ сознанія, что я боленъ (NB. здоровье мое въ послѣдніе два дни немножко поиспортила соленая рыба — но пройдетъ, Богъ дастъ); но иногда и забудешь о болѣзни, а все грустно; во вторыхъ отъ заботъ объ экзаменахъ: это всегда было для меня потѣхой; въ третьихъ оттого, что занимаешься не такъ, какъ, и не тѣмъ, чѣмъ хочется. Не то! Главное дѣло, что я —

Безъ божества, безъ вдохновенья,
Безъ слезъ, безъ жизни, безъ любви!
И безъ друга!

10.

2 мая.

Сію минуту я изъ театра. Торжествуй, Европеецъ! Я побѣжденъ! Слышишь-ли ты? Я побѣжденъ! Слезы Каратыгина это сдѣлали! Другъ мой, я все ему прощаю! Прощаю всѣ фарсы за эти божественныя слезы. Эссексъ, получивъ извѣстіе о томъ, что онъ долженъ умереть черезъ часъ, начинаетъ молиться; Каратыгинъ сталъ на колѣни и, прослезившись, молился превосходно! Душа художника, душа поэта смотрѣла изъ него въ эту минуту! Пьеса не слишкомъ хорошо обработана, но переводъ хорошъ. Потомъ играли «Валерію.» Каратыгина была превосходна въ роли слѣпой, а онъ въ роли ея любовника. Мел.., Ш.., Мак... и я кричали до упаду, до безголосья—два раза вызывали чету послѣ второй пьесы (кромѣ раза за трагедію), и кричали: еще,

еще! Намъ объявили, что въ четвергъ дадутъ «Эссекса.»—Мнѣ бы интереснѣе было посмотрѣть «Коварство и Любовь», о которыхъ мы кричали. А ргоров—въ коридорѣ опять встрѣча съ...ы; опять поклонъ, опять ни слова—я ужь боюсь, какъ бы онѣ въ самомъ дѣлѣ не забрали въ голову, что я влюбленъ. Загордится П"; впрочемъ ты видишь, что это злорѣчіе ни что болѣе, какъ уловка. Передъ тобой не утаишься! До завтра; пора спать, вздоръ мелется. А мнѣ еще хочется отъ души поговорить съ тобою.

11.

5 мая.

Мое здоровье ни то, ни сё, но кажется лучше; насчетъ твоего я безпокоюсь... И петербургскій климатъ и его люди—все должно на тебя дѣйствовать враждебно. Если нужны сравненія à la Кир., философскія, то я скажу: здѣсь идея, тамъ форма; здѣсь жизнь, тамъ движеніе, явленіе жизни; здѣсь любовь и дружба, тамъ истинное почтеніе, съ которымъ не имѣю чести быть и т. д. Берегись продажныхъ объятій и гладко-причесанныхъ друзей; смотри чаще на море, красу и прелесть сухаго Петербурга, читай Жанъ-Поля, гуляй въ Петергофѣ и думай о Сокольникахъ. Будь Москва въ душѣ, но въ Петербургѣ Петербургъ съ виду. Когда же старый московскій другъ встрѣтится съ тобою, забудь затверженныя фразы и утомительное приличіе, забудь департаментъ и дѣла его...

12.

5 мая.

Вотъ тебѣ письмо мое, настоящій журналъ, но не связнѣе Молвы. Писать хочется и о томъ, и о сёмъ,

и некогда, и экзамены и люди мѣшаютъ. Спѣшу однакоже отправить письмо, заключивъ его извѣстіемъ, что я вчера въ другой разъ видѣлъ «Эссекса» и еще болѣе полюбилъ Каратыгина. На той недѣлѣ вполнѣ разоблачу тебѣ чувства мои, если они придутъ въ нѣкоторую связь, въ нѣкоторое единство. Геерена тоже пришлю по почтѣ, ибо навѣрно буду знать твой адресъ и судьбу твою, равно какъ и о первомъ впечатлѣніи, которое сдѣлалъ на тебя П—бургъ.

Да будетъ надъ тобой благословеніе Божіе, и да напутствуетъ тебя моя дружба! Храни память времени, проведеннаго нами вмѣстѣ... Много минутъ провели мы *человѣчески!*

13.

18 мая.

... Тысячу разъ благодарю тебя за первое твое письмо. Второе къ Бр" я читалъ и терпѣливо выслушалъ или вычиталъ всѣ твои сарказмы и тонкости, не только терпѣливо, даже равнодушно. Позднимъ отправленіемъ письма я не рисковалъ лишиться твоей дружбы, а всѣ эти сарказмы — негнѣвливые! Такъ! поинтересничалъ молодой человѣкъ! Меня огорчила, напротивъ, первая и важная неудача твоя въ Петербургѣ; но Мар. Аф. недаромъ вѣритъ судьбѣ! Es herrscht eine allweise Güte über die Welt. Богъ знаетъ, что̀ тебѣ готовитъ эта allweise Güte. Храни только то, что̀ у васъ называютъ мечтами, а здѣсь—сокровищемъ души, святынею сердца. Будь тѣмъ, чѣмъ можешь быть тамъ—сначала пріобрѣтешь спокойствіе, а тамъ... тамъ пойдутъ и наслажденія: можетъ-быть любовь, можетъ-быть свиданіе съ старымъ другомъ и старыми друзьями, или

пріобрѣтенія новыхъ, по крайней мѣрѣ добыхъ пріятелей.

Мое здоровье лучше. Дѣла мои не текутъ, а тянутся, какъ Аріаднина нить, которая мѣстами бываетъ толще, мѣстами тонѣе. Богъ дастъ скоро все придетъ въ порядокъ. Съ Бр., какъ прежде, вижусь очень часто. Въ университетѣ начались экзамены, вчера отбылъ Декампа. Ко мнѣ ходятъ С*., Б., К., П. и чаще Кор. Вотъ весь очеркъ моей жизни! Вотъ compendium бытія моего, Hauptdata моей дѣятельности, канва моего существованія. А что по ней шьется? Безобразные пестрые узоры—ни одного порядочнаго цвѣтка, ни одного заманчиваго образа, fond сѣраго, неопредѣленнаго цвѣта, а самое шитье не различишь мѣстами съ сѣрымъ полемъ. Сухо, скучно и досадно! Душа проситъ воли, умъ пищи, любовь предмета, жизнь дѣятельности! И на все міръ отвѣчаетъ: нѣтъ, или подожди! Ты, другъ мой, разцвѣтлялъ твоею душею мою вежетацію. Теперь!.. Слыхалъ ли ты въ старинной пѣснѣ:

Много есть хорошихъ,
Да милого нѣту, нѣту, нѣту!

Много есть людей съ чувствомъ, но не многіе способны симпатизировать, углубляться въ чужое чувство и усвоивать его... Но полно объ этомъ. Эти изъясненія могутъ наскучить; жалобы безполезны. Вотъ тебѣ и разумная фраза!

16 іюня, съ Божіей помощью, намѣренъ я отправиться въ деревню. Ал... обѣщаетъ со мною. Тамъ надѣюсь отогрѣться душою; пожалуй скажу тебѣ, припала мнѣ охота развить въ драматической формѣ «Баядеру» Гёте — осуществить въ ней мое понятіе о любви in genere, представить постепенное очищеніе, возвыше-

ніе души... Не знаю, удастся-ли? Напиши мнѣ пожалуйста, отъискалъ ли ты Саконталу Ш—у и что она стóитъ? Не говори только пожалуйста никому о моемъ намѣреніи; не отрави чада во утробѣ матери!

Читалъ я «Пестрыя Сказки»; въ нихъ лучше всего 1) обертка, 2) заглавный листокъ, а 3) двѣ послѣднія повѣсти: «Кукла-женщина» и «Болванъ-мущина». Остальное, съ позволенія вашего и всей Европы, пустошь! Завтра играютъ «Коварство и Любовь»; надѣюсь быть, но не совсѣмъ надѣюсь наслаждаться. Твердо увѣренъ, что Мочаловъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ будетъ лучше Каратыгина; но знаю, что всей роли не выдержитъ и много пакостей надѣлаетъ. А Луизу! «Луиза, Луиза!» закричу я какъ Каратыгинъ, или: «o Louise, Louise, Louise!» какъ Фердинандъ. Луизу играетъ ***...

Въ Сѣверной Пчелѣ напечатано извѣстіе объ успѣхѣ бенефиса Каратыгина: оно преувеличено, но не совсѣмъ не вѣрно...

Черезъ часъ, черезъ два отправлюсь я читать Шиллера съ Мар. Аф. Сегодня *быть-было гулянью* въ Марьиной-рощѣ, да *дождь помѣшалъ*... Чу!.. Гроза такъ и раскатывается, и кажется, какъ-разъ надъ нашимъ домомъ. Помнишь! Ты любилъ побѣгать по двору въ эту погоду. Когда бы здоровье, и я бы не отказался (сейчасъ только замѣтилъ я, что у бумаги поля загнуты, и что письмо надобно писать не такъ, какъ лекціи С—а), Теперь бы мы съ тобой пофантазировали, Иванъ согрѣлъ бы чаю... Гроза была бы намъ привѣтомъ, а молнія улыбкою. Тебѣ, я думаю, извѣстно, какъ страстно люблю я громъ и молнію. И теперь не съ кѣмъ подѣлиться этимъ чувствомъ! Но твое положеніе для меня ужасно, другъ мой! Я по крайней мѣрѣ

съ людьми. У тебя ровно никого нѣтъ и даже перспектива твоя привлекательнаго ничего не представляетъ. Напиши мнѣ, ради Бога, что-нибудь о новой твоей жизни и о твоихъ планахъ. Господь да укрѣпляетъ тебя на терновомъ пути! Повторяю: будь, чѣмъ былъ, и прежде всего — успокойся!...

... Да будетъ съ тобою Христосъ и моя дружба! Береги здоровье, не очень бѣгай на Неву; помни, что объ этомъ проситъ тебя не вѣжливое участье, а дружба!..

... Посовѣтуй Гор. меньше кропотать за дѣлами, больше жить,—разумѣется, не по шуточному опредѣленію Вани О. — жить душою въ дружбѣ, любви, искусствѣ!

Другъ мой! Ты богатъ любовью Москвы и ея желаніями. Пусть это утѣшитъ тебя въ твоей скучной дѣйствительности.

Погода прояснилась, и я ѣду къ Бр. Прощай! Между нами горы и рѣки, но надъ нами Любы-Христосъ!

Душа моя, другъ мой! Сію минуту я отъ Бр. и получилъ твое письмо, и переговорилъ съ тобою. Другъ мой! Теперь только въ полной мѣрѣ я чувствую, кого въ тебѣ имѣла душа моя; теперь только чувствую, какое ты звено въ моей внутренней жизни!.. Богъ милостивъ! Мы еще увидимся и будемъ вмѣстѣ, или на будущій годъ я навѣщу тебя, или, по окончаніи курса, тебя увижу, или встрѣтимся за границею, или будемъ путешествовать вмѣстѣ.

Письма твои меня утѣшаютъ, а чувства облагораживаютъ. Сейчасъ читалъ я нѣкоторыя сцены изъ Донъ Карлоса Мар. Аф. Я давно не читалъ его, потому отрывки для меня не имѣли такого интереса, какъ цѣ-

лое!.. Но сцены маркиза Позы трогали меня относительно,—я привыкъ съ понятіемъ дружбы соединять мысль о тебѣ; по крайней мѣрѣ, если то, что я къ тебѣ чувствую, не дружба, то дружба должна войдти въ рядъ прекрасныхъ мечтаній: она не существуетъ!

... Станемъ писать другъ къ другу почаще, письма будутъ замѣнять для насъ хоть нѣсколько бесѣду (чаю, жаль, не достаетъ). Повѣришь ли, другъ мой, что, прочитавши твое письмо, я сталъ какъ-то—скажу нескладно—гармоничнѣе (mehr harmonisch) и точно поговорилъ съ тобой.

Не знаю, что̀ тебѣ совѣтовать насчетъ службы... да не шляйся безъ всякой цѣли, не бей очковъ, не падай на мостовую, не хрипи, не кашляй, не простужайся, не.. вотъ-те наставленіе! Благодаренъ за описаніе театра и актеровъ: пожалуйста и впредь пиши объ этомъ. Искусство дѣлается для меня божествомъ, и я твержу одно: дружба (или любовь — послѣдняя родъ, первая лучшій изъ видовъ и священнѣйшій) и искусство! Вотъ міръ, въ которомъ человѣкъ долженъ жить, если не хочетъ стать на ряду съ животными! вотъ благородная сфера, въ которой онъ долженъ поселиться, чтобы быть достойнымъ себя! вотъ огонь, которымъ онъ долженъ согрѣвать и очищать душу! Съ кѣмъ же дѣлиться чувствомъ, которое раждаетъ искусство, какъ не съ другомъ? Я тебѣ надѣюсь дать отчетъ объ нашемъ мизерабельномъ представленіи «Коварства и Любви».

Я бросилъ писать диссертацію. Богъ съ ней! Нѣкогда; начни раньше, можетъ-быть кончилъ бы. Впрочемъ не наше это дѣло. Я объяснилъ себѣ нѣсколько этотъ предметъ и доволенъ. Я не имѣю довольно кри-

тическаго хладнокровія; кромѣ того, для меня нуженъ живой интересъ, и я охотнѣе занялся бы русскою статистикой, нежели сухою повѣркой басенъ и разказовъ перебитыхъ и перетертыхъ. Третье письмо (философское) еще при тебѣ было готово; при удобномъ времени перепишу и пришлю. Если на вакаціи удастся мнѣ написать «Баядеру» такъ, какъ хочу, то пришлю ее первому тебѣ.

... Признаюсь, я эгоистъ. Положеніе твое очень незавидно, но и тутъ я позавидовалъ маленькому твоему утѣшенію видѣть Шекспирова «Гамлета» вполнѣ на театрѣ, слышать сумасшедшую Офелію, и при хорошей музыкѣ, при хорошей актрисѣ! О, это наслажденіе! А потомъ Шиллера... Но все это хорошо, когда жизнь обезпечена и когда есть родныя души. Впрочемъ прочти хорошенько Вронченко переводъ; вѣрно многое на сценѣ выпущено.

Будь здоровъ, другъ мой. Благословеніе Божіе да будетъ съ тобою—да напутствуетъ тебя Христосъ и да утѣшитъ тебя дружба...

14.

МОЯ МЕТАФИЗИКА.

Природа существуетъ (знаніе, основанное на вѣрѣ въ чувства). Ея существованіе обнаруживается постояннымъ поддерживаніемъ самой себя — рожденіемъ. Жизнь природы есть непрерывное творчество, и хотя все въ ней раждающееся умираетъ, ничто не гибнетъ въ ней, но уничтожается: ибо смерть есть рожденіе.*).

*) Смерть есть разрушеніе; разрушеніе въ природѣ есть

Не знаю, почему говорятъ многіе: въ природѣ есть *сила творящая;* не знаю, какъ можно представить природу трупомъ, въ который входитъ нѣчто чуждое и одушевляетъ его; не знаю, почему не сказать—природа есть Сила, Жизнь, Творчество.

Цѣлое природы составлено изъ недѣлимыхъ; каждое недѣлимое живетъ на основаніи общихъ законовъ, есть часть общей жизни природы. Одна и та же жизнь развивается въ различныхъ видахъ, но одинаково, по своимъ законамъ. Въ каждомъ недѣлимомъ жизнь эта дѣйствуетъ независимо отъ него, всегда почти безъ его сознанія и всегда безъ его воли, повинуясь себѣ самой, своимъ законамъ, которые вѣчны и непреложны, слѣдоват. составляютъ сущность ея. Многія недѣлимыя не сознаютъ себя, но жизнь, во всѣхъ ихъ распространенная, сознаетъ себя, ибо дѣйствуетъ цѣлесообразно (zweckmässig), слѣдовательно есть разумѣніе. Итакъ жизнь въ цѣломъ есть Разумѣніе.

Въ *цѣломъ* природа есть Разумѣніе. Съ симъ сознаніемъ заря утѣшенія восходитъ для человѣка; онъ не потерянъ въ безконечности творенія, онъ выполняетъ наравнѣ съ прочими тварями жизнь природы. Но это не одно его назначеніе: онъ можетъ возвышаться надъ видимымъ; онъ можетъ восходить къ Разумѣнію, отождествоpяться (s'identifier) съ нимъ, онъ можетъ проникнуть его законы, провидѣть его

перехожденіе изъ одного состоянія въ другое. Смерть одного звена природы есть рожденіе другаго. Вода, уничтожаясь, переходитъ въ пары, воздухъ дѣлается водою; человѣкъ становится землею; земля перерождается въ растенія (раз. при условіяхъ). *Примѣч. Станкевича.*

цѣли, чувствовать красоту созданія; онъ можетъ вѣрить, надѣяться, любить. *Вѣрить*, ибо законы его Творца непреложны, земля и небо идутъ мимо, слова же Его не идутъ мимо; *надѣяться*, всѣ цѣли Его— благо; *любить*, ибо Онъ (Разумъ, Творецъ) прекрасенъ въ своемъ созданіи: прекрасенъ въ своемъ образѣ-человѣкѣ. Такъ, человѣкъ есть Его образъ (человѣкъ въ чистомъ смыслѣ, сохранившій все то, что составляетъ человѣчество, humanitas, и воспользовавшійся способами, данными для совершенствованія всего, составляющаго сущность бытія человѣческаго — обо всемъ этомъ въ слѣдующихъ письмахъ.)

Все (das All) есть жизнь, а жизнь дѣйствуетъ разумно, слѣдовательно сопряжена съ Разумѣніемъ.

Все созданіе есть жизнь, развивающаяся по законамъ Разумѣнія (по своимъ законамъ). Роды существъ составляютъ лѣствицу, по которой жизнь (разумѣющая себя въ цѣломъ) идетъ къ самоуразумѣнію въ недѣлимыхъ. Не менѣе разумно дѣйствуетъ она въ камняхъ, какъ и въ человѣкѣ; но, развиваясь въ первыхъ по тѣмъ же законамъ, по какимъ и въ послѣднемъ (съ разною цѣлью), не даетъ первымъ возможности сознать себя *отдѣльно*. Камни живутъ въ массѣ природы: растенію даетъ она уже ощущеніе, животному произвольное движеніе; наконецъ, съ полною свободою, *вся* является въ человѣкѣ. Здѣсь жизнь, сознающая себя въ цѣломъ, разумная и свободная, является жизнью, сознающею себя *отдѣльно*— разумною и свободною. Всѣ уже согласились, что человѣкъ, вѣнецъ созданія, есть повтореніе всей природы, онъ есть повтореніе разумной жизни.

Въ человѣкѣ многое дѣлается безъ его вѣдома, безъ

его воли (онъ раждается, вырастаетъ; онъ чувствуетъ жажду, голодъ). Въ немъ дѣйствуетъ разумная жизнь всей природы, которая имѣетъ свою волю (*жизнь всего*), независимо отъ его воли. Человѣкъ желаетъ знать, дѣйствовать; человѣкъ ощущаетъ; въ немъ дѣйствуетъ жизнь, сознавая себя отдѣльно. Человѣкъ разрушается безъ воли своей; разумная жизнь природы принимаетъ другую форму. Свою отдѣльную жизнь человѣкъ теряетъ; куда отлетаетъ она?

Объ этомъ послѣ. Въ этомъ письмѣ я положилъ опредѣлить по возможности отношенія человѣка къ природѣ и Разумѣнію, составляющему сущность ея. Разсудокъ мой подтверждаетъ эти положенія; сердце мое не противорѣчитъ имъ и чисто вѣритъ въ тѣ минуты, когда я *люблю*.

15.

Не знаю, о чемъ слѣдовало бы говорить теперь по порядку, но все равно. Стану говорить о томъ, о чемъ хочется. Черезъ это система не разрушится, ибо основаніемъ всякой системы должна быть внутренняя связь, а не наружная форма.

Вотъ вопросъ, съ котораго стану продолжать: вслѣдствіе показанныхъ отношеній человѣка къ природѣ, къ всеобщей жизни, каково можетъ и каково должно быть его воздѣйствіе (обратное дѣйствіе) на природу, на всеобщую жизнь (Zurückwirkung, réaction)?

Въ человѣкѣ повторилась природа; въ человѣкѣ жизнь, разумѣющая себя въ цѣломъ, уразумѣла себя отдѣльно. Слѣдовательно всѣ отправленія, всѣ факты

жизни должны быть фактами человѣка. Фактъ жизни одинъ — жизнь, или: сама жизнь есть единственный существующій фактъ. Если мы въ жизни различаемъ нѣсколько фактовъ, то мы придаемъ ей свойства собственно человѣческія и смотримъ на нее взглядомъ слишкомъ спеціяльнымъ. Одинъ фактъ нашей жизни называемъ мы разумомъ, другой волею, третій чувствомъ. Но мы всегда разумѣемъ, всегда рѣшаемся, всегда чувствуемъ. Эти три факта составляютъ одинъ фактъ жизни, съ разныхъ точекъ разсматриваемый. Но правда, что вся жизнь наша беретъ то или другое направленіе по преимуществу.

На основаніи этого жизнь абсолютная, отрѣшенная, разсматривается какъ разумъ, воля, чувство, и жизнь природы дѣйствительная—какъ истина, благо, красота. Тутъ ничего ещё худаго нѣтъ, но это пахнетъ схоластикою. Зачѣмъ все такъ дробить? Кто станетъ отрицать у жизни всеобщей и разумѣніе, и свободу дѣйствія, и чувство? Но это не три способности одного существа: напротивъ, оно условливаетъ собою единство всѣхъ сихъ способностей. Разсмотримъ всеобщую жизнь въ отношеніи къ этимъ способностямъ.

Внѣ жизни ничего не лежитъ, ибо она есть все; слѣдовательно постепенное познаваніе ей чуждо; сознавая себя, она все знаетъ. Ея Разумъ, разумѣніе, есть сознаніе себя самой (сознаніе въ бытіи совершающееся), слѣдовательное бытіе, слѣдовательно она сама. Ея воля не опредѣлена ни чѣмъ, слѣдовательно свободна, но не отступаетъ отъ вѣчныхъ законовъ разумѣнія, слѣдовательно воля жизни есть вмѣстѣ и свобода, и необходимость. Если воля непреложна, а препятствій нѣтъ и всѣ средства заключаются въ томъ же суще-

ствѣ, въ какомъ воля, то воля есть дѣйствіе; дѣйствіе природы — жизнь; слѣдовательно воля жизни есть сама жизнь. И такъ жизнь есть разумъ и воля, если мы хотимъ судить ее по-человѣчески; но это разумѣніе зависитъ единственно отъ нашего взгляда на жизнь; въ сущности она ни то, ни другое, но жизнь.

Да не покажется тебѣ это противорѣчіемъ тому, что̀ я говорилъ въ предыдущемъ письмѣ. Я называлъ жизнь разумѣніемъ; я не отрицаю въ ней этого, но хочу доказать, что это разумѣніе есть законы, составляющіе сущность жизни, самую жизнь, а не есть принадлежность, способность жизни; надобно стать повыше дѣтскаго взгляда на природу.

Въ человѣкѣ жизнь сознала себя отдѣльно. Онъ есть центръ этой жизни въ миніатюрѣ. Какъ *жизнь*, она имѣетъ стремленіе (по сродству можетъ-быть) усвоять внѣ ея лежащее, *познавать*, и какъ жизнь — развить себя во вѣшности, *дѣйствовать*. Какъ жизнь, она сознаетъ вліяніе другой жизни, чувствуетъ. И вотъ разумъ, воля, чувство—три дѣйствительныя направленія человѣческой жизни, которыя онъ переноситъ въ жизнь всеобщую. Я сказалъ, что̀ разумъ во всеобщей жизни, что̀ воля. Что̀ же называется чувствомъ всеобщей жизни?

Если жизнь есть разумъ, если жизнь есть воля, то она есть чувство по преимуществу. Вся она держится чувствомъ — въ недѣлимыхъ, начавшихъ сознавать себя отдѣльно, чувство это обнаруживается любовью. Она въ нихъ есть чувство инстинктуальное, слѣдовательно чувство, принадлежащее общей жизни и непокорное волѣ.

Любовь!... Другъ мой! для меня съ этимъ словомъ

разгадана тайна жизни. Жизнь есть любовь. Вѣчные законы ея и вѣчное ихъ исполненіе — разумъ и воля. Жизнь безпредѣльна въ пространствѣ и времени, ибо она есть любовь. Съ тѣхъ поръ, какъ началась любовь, должна была начаться жизнь; покуда есть любовь, жизнь не должна уничтожиться, поелику есть любовь, и жизнь не должна знать предѣловъ. Если нужны слабыя сравненія, — это теплота, все расширяющая, это свѣтъ незаходимый, все поддерживающій; это цвѣтъ, которымъ украшается природа въ глазахъ нашихъ; это огонь, изъ котораго все выгораетъ и въ который все обращается. Міръ вѣченъ, ибо любовь не кончится; *не кончится*, ибо она *есть*.

Показать тебѣ иначе, что любовь — жизнь? Разумъ идетъ смѣло и отважно, созпавая свои законы; воля старается слѣдовать его законамъ; но человѣкъ тогда только все познаетъ, когда любитъ, и кто любитъ, тотъ дѣйствуетъ прекрасно. (Что̀ такое прекрасно дѣйствовать? поговоримъ послѣ. Скажу теперь: дѣйствовать, какъ дѣйствуетъ всеобщая любовь. А какъ она дѣйствуетъ? Люби, и узнаешь.)

Чувство любви составляетъ прелесть жизни животныхъ, оно доступно растеніямъ. Его надобно допустить въ минералахъ, если они живутъ любовью всеобщей жизни, ибо безъ любви нѣтъ жизни.

Жизнь есть любовь, любовью поддерживается жизнь въ недѣлимыхъ (она у нихъ средство размноженія); въ такомъ случаѣ любовь есть средобѣжная сила природы; ею примыкаетъ послѣднее звено творенія къ началу, въ немъ повторившемуся, слѣдовательно любовь есть самовозратная сила природы — безначальный

Человѣкъ выше всего, ибо онъ есть вся жизнь. Онъ не можетъ возвышаться (не разрушивъ сущности бытія своего); онъ только не долженъ подать, онъ долженъ равняться самому себѣ. Но онъ палъ (объ этомъ послѣ), слѣдовательно опять долженъ возвышаться. Въ каждомъ недѣлимомъ человѣка есть частицы человѣка нормальнаго; въ каждомъ есть низшія свойства. Взаимныя отношенія людей должны очистить, образовать совершеннаго человѣка (но этого не достаточно; сейчасъ предложу еще способъ совершенствованія). Отсюда несомнѣнная, хотя и не новая истина: жизнь рода человѣческаго есть его воспитаніе. Какъ же одинъ, отдѣльный человѣкъ долженъ воспитывать существо свое? что онъ долженъ принять за образецъ, прототипъ свой? но гдѣ онъ?

Одно средство совершенствованія остается ему—приближеніе къ всеобщей жизни. Всеобщею жизнью человѣкъ сдѣлаться не можетъ (ему не достаетъ абсолютности), онъ долженъ принять отъ нея все, что можетъ принять. Какъ узнать ее, уравняться ей?

Жизнь — любовь. Чтобы познать ее отчасти, чтобы дѣйствовать по однимъ законамъ съ нею, надобно любить.

(Слѣдуетъ о любви человѣка. Въ письмѣ этомъ нужно коротко объяснить свободу воли, паденіе человѣка, достоинство человѣческихъ дѣйствій изъ сравненія съ дѣйствіями всеобщей жизни.)

Буду писать дальше *).

Въ концѣ марта 1833 г.

---

*) Продолженія философскихъ писемъ этихъ не было, хотя С—чъ уже и началъ заготовлять третье письмо. *Пр. изд.*

10.

20 мая.

Наконецъ видѣлъ я» Коварство и Любовь» изъ перваго ряда, и видѣлъ въ роли Фердинанда Мочалова. Ну что? спросишь ты. А вотъ видишь: чтобъ вѣрнѣе передать тебѣ впечатлѣніе, которое на меня сдѣлало вчерашнее представленіе, опишу какъ я былъ къ нему приготовленъ. Прихожу въ театръ въ 6 часовъ, въ креслахъ человѣкъ пять, изъ ложъ занято не болѣе десяти. Какое непріятное чувство дѣлаетъ безлюдность тамъ, гдѣ мы привыкли видѣть множество людей,—ты знаешь. Я ушелъ и сталъ таскаться по французскимъ книжнымъ лавкамъ и искать Саконталы; нигдѣ ея не нашелъ. Забавно только, что у Семена сказали мнѣ: «Ah! Sacontala à Paris—c'est un ouvrage tout nouveau, que nous allons bientôt recevoir...», расхваливаютъ, что это превосходный романъ. Прихожу опять въ театръ; въ креслахъ человѣкъ тридцать, ложъ занято не больше, но все пустота! При такой пустотѣ вдругъ начинаетъ играть музыка—это что-то было похоже на похороны! Я вошелъ въ театръ съ дневнаго свѣта, и мнѣ казалось ужасно темно... въ среднихъ рядахъ пустота (люди въ первыхъ рядахъ и стульяхъ), и надъ ними виситъ лампа, такъ что подъ нею ищешь глазами покойника. Вдругъ погребальные звуки, знакомые и нравившіеся тебѣ въ антрактахъ, потянулись... наконецъ поднялся занавѣсъ. Послѣ разговора Миллера съ женой, является Луиза. О Луиза!... Какъ дурна ни была Каратыгина въ этой роли, но я почувствовалъ къ ней Sehnsucht, и какъ можно хорошо играть среди этакихъ...! Наконецъ говоритъ Миллерша: «вотъ и онъ!...» Я приподнялся, является Мочаловъ, бѣгомъ, съ пожиманіемъ плечъ...

нехорошо! «Браво!» раздалось. Топотъ и рукоплесканія продолжались минуты двѣ. Онъ стоялъ наклонившись, потомъ сталъ говорить съ Луизой. Я впился въ него. Никакой мимики! Это первое произвело на меня непріятное впечатлѣніе. Признаюсь, трудно какому бы то ни было актеру поправиться публикѣ наружностью послѣ Каратыгина! Но голосъ Мочалова очарователенъ—тамъ, гдѣ слѣдуетъ онъ влеченію чувства... всѣ переходы голоса его прелестны. Вообще онъ игралъ неровно, больше дурно — да и нельзя было хорошо играть съ такою Луизой, нельзя разыграться чувству. Вотъ сцена съ отцомъ. Когда онъ говоритъ: «не для меня!» онъ былъ хорошъ. Онъ сказалъ это тихо, съ достоинствомъ, съ уваженіемъ къ отцу и благороднымъ презрѣніемъ къ коварству! Въ сценѣ, гдѣ защищаетъ онъ Луизу отъ президента, онъ былъ невѣренъ: хорошъ, когда узнаетъ ея невѣрность, но все это не выдержано, испорчено гадкими ухватками. Лучше всего говорилъ онъ: «ты была для меня все, и такъ легкомысленно лишить меня *всего*—ужасно!» Онъ былъ тутъ превосходенъ. О письмѣ разспрашивалъ противъ моего чаянія дурно; но «солги!» сказалъ—прелесть! Прошу же судить объ игрѣ его. Мое впечатлѣніе ни рыба, ни мясо. — Вслѣдъ за тѣмъ давали пустой фарсъ, передѣланный изъ повѣстей Рудаго Паньки; онъ названъ: «Вечеръ на хуторѣ близъ Диканьки». Ни одна рожа по-хохлацки не умѣетъ говорить; но Щепкинъ—геній. Онъ говоритъ прекрасно по-малороссійски и настоящій Хохолъ! Есть смѣшные фарсы, а пьеса вздоръ. Послѣ, какъ водится,—пляски. Что̀ тебѣ сказать о моей жизни? Я ни то, ни сё. Здоровье мое поправляется.

Мочаловъ, по моему, рожденъ съ талантомъ. Несмо-

тря на свое пигмейство, онъ могъ бы быть чудомъ, еслибы занялся обработываніемъ своего таланта. Но это человѣкъ, не имѣющій понятія объ искусствѣ, нисколько не владѣющій собою; всю пьесу онъ рветъ и мечетъ, ни разу не станетъ какъ надобно, крутитъ темлякъ на шпагѣ, стоя въ самой дисграціозной позѣ, гримасничаетъ,—ну, словомъ, досадно! Съ его талантомъ упасть такъ глубоко! Помнишь, какъ въ 5-мъ актѣ Каратыгинъ становится подлѣ Луизы? Мочаловъ просто вошелъ и сталъ, сложивъ руки на шляпу, у двери. Эта поза была не дурна, не безъ мысли.

Театръ становится для меня атмосферою; *прекрасное* моей жизни не отъ міра сего. Излить свои чувства не кому—тамъ, въ храмѣ искусства, какъ-то вольнѣе душѣ, множество народа не стѣсняетъ ее, ибо надъ этимъ множествомъ паритъ какая-то мысль, она закрываетъ отъ меня ничтожныхъ, не внемлющихъ голосу божественной любви въ искусствѣ... Наше искусство не высоко; но театръ и музыка располагаютъ душу мечтать о немъ, о его совершенствѣ, о прелести изящнаго, дѣлать планы эфемерные, скоропреходящіе... по тѣмъ не менѣе занимательные.

Nur der Irrthum ist das Leben!

А можетъ-быть, то̀ только и есть Wahrheit, что̀ мы называемъ Irrthum. Впрочемъ, если и нѣтъ, то наше мечтательное счастье лучше дѣйствительнаго уже и потому, что мы, вѣроятно, наслажденія въ этомъ такъ-называемомъ счастіи не нашли.

Was ist das Leben ohne Liebesglanz?
Liebe nur, Liebe nur,
Liebe ist grosse Triebfeder der Natur.

11.

2 іюня.

Какъ благодарить тебя за твои письма! Кромѣ того, что они приносятъ мнѣ извѣстіе о тебѣ, о жизни души твоей, они еще очищаютъ собственную мою душу. Мнѣ досадно, что ты (не досадно, ибо я хочу, чтобъ ты былъ всегда хорошаго мнѣнія обо мнѣ, но какъ-то совѣстно) представляешь меня себѣ гораздо лучше, нежели я въ самомъ дѣлѣ *есмь*. Ты полонъ чувствъ возвышенныхъ и смотришь въ стекло этихъ чувствъ на все тебя окружающее: они для тебя разцвѣчиваютъ жизнь — ты оптимистъ! Еслибы другія обстоятельства твоей жизни шли иначе, то я могъ бы назвать тебя счастливымъ. Небо въ душѣ твоей, и ты не постигаешь состоянія души, когда это небо одѣвается мрачнымъ покровомъ, и враждебный духъ льетъ отраву на лучшіе дни жизни. Конечно, этотъ враждебный духъ не загадка въ XIX вѣкѣ. Онъ не рогатъ и безъ хвоста, не бѣгаетъ черпымъ пуделемъ и не беретъ кровавыхъ росписокъ. Мы сами создаемъ себѣ демона-мучителя,—мы и міръ, который губитъ или все прекрасное въ душѣ человѣка, или его самаго! Ты разгадываешь меня. Ты пишешь, что замѣтилъ и Sehnsucht, и тайную грусть во мнѣ! Но ошибся, если думаешь, что это полнота любви.... тогда въ мученіи была бы сладость! Впрочемъ рѣши самъ, какое это состояніе души? Часто я дѣлаю такое сравненіе: мое страданіе не есть страданіе человѣка, который возвысился надъ міромъ и не находитъ въ немъ отголоска себѣ, не есть страданіе духа выспренняго, котораго тяготитъ ярмо суетъ, но страданіе падшаго, который постигъ и блаженство, и бездну, раздѣляющую его съ этимъ

блаженствомъ! Иногда я другихъ мыслей о себѣ, я думаю: по крайней мѣрѣ я выше многихъ людей, по крайней мѣрѣ они счастливѣе меня потому только, что ихъ счастіе ниже моего, и тутъ отрадное чувство опять пробуждается во мнѣ. Въ самомъ дѣлѣ, если я не люблю никакой дѣвушки и не испытываю блаженства волокитствъ, то отчего это? Я волочиться не способенъ, а для любви возвышенной.... о! условій слишкомъ много даже для того, чтобъ искренно интересоваться дѣвушкою, любить ея душу и погружаться въ наслажденіе ея образомъ, видѣть въ ней истинно-прекрасное произведеніе и льстить самолюбію своему, что это прекрасное умѣетъ меня цѣнить и чувствуетъ ко мнѣ влеченіе! Этакихъ я не вижу — отъ этого я лишенъ многихъ наслажденій; но я выше человѣка, который посвящаетъ пылъ души своей заклятой кокеткѣ, дубовому отрубку, или безобразію въ образѣ человѣческомъ (что̀ также случается у безвкусныхъ самолюбцевъ). Съ другой стороны—я не поэтъ (прошу не возражать: я искрененъ и чуждъ пустыхъ претензій), я не могу звучно и стройно воплотить чувство, не могу даже уяснить его себѣ; но за то у меня есть чувство, и я не опишу обѣда въ гладкихъ стихахъ, не поздравлю съ праздникомъ начальника. У меня нѣтъ терпѣнія, нѣтъ силъ для огромныхъ ученыхъ занятій, но я не убью всю жизнь на рысканье по баламъ, и она вся предана будетъ дружбѣ и искусствамъ (кто знаетъ? можетъ-быть и любви!).

Ты предостерегаешь меня отъ грозы? Ахъ! какъ хорошо, когдабы разгульная прошла надъ жаждущею душою, наполнила ее, дала ей жизнь! Вновь зазеленѣло бы, зацвѣло, и первый цвѣтъ отдалъ бы я дружбѣ!

А безъ того, другъ мой (если ты уже предполагаешь во мнѣ творчество), что за твореніе?

Но это мечта.

Fliesse, fliesse, lieber Fluss!
Nimmer werd' ich froh, —
So verrauschte Scherz und Kuss...

(Остальное не входитъ въ мои обстоятельства: und die Frauen so — мнѣ на невѣрность жаловаться нечего.)

Мчися, мой ручей, несись!
Жизнь ужь отцвѣла!
Такъ надежды унеслись,
Такъ любовь ушла!

Жуковскій.

Я думаю о любви, какъ Prinzessin Eboli, и не расточаю этого чувства. Если найдется идеалъ и если я не буду имъ отвергнутъ, если любовь ея равна будетъ моей, то eine nur wird meine Liebe glücklich machen, doch diese einzige zur Göttin...

Довольно объ этомъ. «Баядеру» я бросилъ было писать, но напишу — вопервыхъ сюжетъ голъ для драмы, вовторыхъ непріятно видѣть что-нибудь прибавленное къ геніяльному произведенію, — даже отвратительно, тѣмъ болѣе, что если я и понимаю мысль Гёте, то не выражу такъ хорошо, какъ понимаю; а другіе скажутъ, что профанъ обезобразилъ chef-d'œuvre. Но я напишу для себя и для тебя, если напишу. Еще одно слово: въ деревню не писать ни о любви, ни о «Баядерѣ» и т. п., прошу тебя!

Какія странныя приключенія съ тобой! Берегись только твоей Миньйоны; ты свободенъ отъ предразсудковъ — слѣдовательно въ этомъ случаѣ не свободенъ

отъ общей участи людей съ сильнымъ чувствомъ. Берегись: тебя проситъ дружба! Пусть искра остается, она освѣщаетъ мракъ жизни; но не раздувай ее до пламени, она сожжетъ тебя! Лучше потушить вовсе—взойдетъ другое, кроткое сіяніе.

Про себя не имѣю сказать ничего новаго. Экзамены Декампа и Снегирева кончились, слава Богу, благополучно. На Снегирева экзаменъ я отвѣчалъ тррр., какъ говоритъ Ник. Алек., но ошибся два раза въ родѣ и падежѣ, хотя самъ и поправился. Снегиревъ рекомендовалъ меня, разсыпался въ похвалахъ, но представь себѣ! Г... (который, кажется, вовсе не зналъ меня) вдругъ говоритъ: «Однакоже *отъ него* я ожидалъ большихъ успѣховъ». Мнѣ стало досадно, я отвѣчалъ: «Я занимался, какъ былъ долженъ, а сдѣлалъ успѣхи, какіе могъ!» Онъ очень вѣжливо сказалъ: «Я вижу, что вы занимались; но всѣ вы, гг. студенты словеснаго отдѣленія, обращаете мало вниманія на языки, особенно на латинскій (NB)» и т. п. Наконецъ прибавилъ: «Впрочемъ вы все-таки изъ лучшихъ»; мнѣ кажется, das galt dem H. von S'. — Богъ съ ними! у меня 4, стало — робѣть нечего.

19.

1 іюня.

Богъ вѣсть, какъ я пишу къ тебѣ! напишешь, положишь, забудешь, не отыщешь, вновь напишешь! Но не мѣшаетъ: тѣмъ подробнѣе, тѣмъ лучше видишь ты состояніе души моей! —Первое письмо отъ 26 мая написано по полученіи письма о Моцартѣ, но было затеряно; второе тоже долго не находилось, и за экза-

менами нѣкогда было послать его. Теперь, слава Богу, отдѣлался отъ Каченовскаго и очень хорошо; онъ сказалъ, что «господиномъ Станкевичемъ онъ очень доволенъ»; за тѣмъ воспослѣдовало нѣсколько лестныхъ фразъ со стороны Е. П. г-на попечителя, которыхъ я право не разслышалъ. Остаются Надеждинъ, Давыдовъ, Ивашковскій, Кистеръ. Сойдетъ, Богъ дастъ!

... Другъ мой! Я дорого далъ бы за то, чтобы святыня души твоей не возбуждала укоровъ въ моей душѣ. Но можетъ-быть тебѣ назначено очистить мою душу.

Я уже писалъ къ тебѣ, чтобъ въ деревню не писать о «Баядерѣ», о любви и о томъ, что̀ называется *лишнимъ* въ письмахъ издалека... Давно не былъ я въ театрѣ, давно не наслаждался ничѣмъ изящнымъ; сегодня только гулялъ съ Бр. по Кремлю и немножко пофантазировалъ—прекрасный вечеръ, Москва, Кремль, Замоскворѣчіе, Божіи церкви (въ Москвѣ иначе ихъ не назовешь) и далекое, далекое поле, мѣстами лѣсъ... Мы говорили о тебѣ; къ намъ подошелъ какой-то старичекъ (кажется Слѣпцовъ), потолковали о старинномъ видѣ Кремля и Москвы, о придѣлѣ къ собору, гдѣ погребенъ Грозный, и чрезъ Александровскій садъ, гдѣ проза опять наполнила мою душу, мы возвратились. Красовъ будетъ ночевать у меня. Съ нимъ мы читали Козлова; прочти пожалуйста въ немъ: «*На отъѣздъ* и *Новые стансы*». Когда душа твоя будетъ въ неопредѣленномъ, грустномъ состояніи, прочти ихъ: ты сосредоточишься, и тебя обниметъ грустное, гармоническое чувство. Я вчера сидѣлъ неподвижно, повторяя стихи гладкіе и задумчивые!

Посылаю тебѣ, другъ мой, единственную вещь, которую я написалъ съ твоего отъѣзда, между приготовленій къ экзамену. Вспыхнуло и умерло! [1]) Читалъ я ее только Красову; ты представить не можешь, какъ хотѣлось мнѣ прочесть ее еще кому-нибудь. Онъ слушалъ меня между дѣломъ, похвалилъ, но я не этого добивался: мнѣ кажется, мысль не понята; въ другой разъ читать ему совѣстно, да притомъ же... Другъ мой! именно тебѣ хотѣлъ бы я повѣрить это. Безъ комплиментовъ, въ первомъ письмѣ скажи мнѣ, что̀ тебѣ сказала моя фантазія и понравилась ли она тебѣ? Именно *понравилась ли* тебѣ? Другаго суда мнѣ не надо; я не имѣю притязаній на званіе художника, но на чувство.... не чуждъ претензій, и радъ, что есть одинъ человѣкъ въ мірѣ, который способенъ понять его, несмотря на темноту выраженій.

... Я всегда съ тобою! Богъ милостивъ: мы вновь найдемъ другъ-друга, встрѣтимся... и пламеннѣе благословимъ Іисуса за святыя чувства, которыми Онъ наградилъ человѣка. Да будетъ надъ тобою милость Распятаго; объ этомъ молитъ Его — дружба!

Насчетъ «Баядеры» я еще въ раздумьи.

19.

11 іюня.

Жду нотъ съ величайшимъ нетерпѣніемъ. Вопреки твоему совѣту, я стану ихъ пѣть и распѣвать. Тебѣ не понравилась музыка? Можетъ-быть ты слишкомъ много ожидалъ, можетъ-быть ты заранѣе составилъ

---

1) С-чъ, вѣроятно, посылаетъ другу одно изъ своихъ стихотвореній. *Пр. изд.*

себѣ идеалъ звуковъ, выражающихъ это Sehnsucht юной прекрасной души! Какъ божественна становится эта пѣснь, когда сообразишь обстоятельства, окружающія поэтическое существо — Миньйону! Настоящее для нея исчезло — тотъ, кого она любила всей полнотою огненной души своей, вкушалъ передъ ея глазами наслажденіе въ чужихъ объятіяхъ; міръ скрылся для нея подъ погребальнымъ покровомъ, и тѣмъ живѣе пробудились неясныя воспоминанія дѣтства! Италія съ ея красотами, Италія, украшенная пламенною фантазіей (которая тѣмъ болѣе работала, чѣмъ слабѣе оставалась въ памяти дѣйствительность) чудной дѣвы, — вотъ что̀ сдѣлалось цѣлью ея желаній, ибо желаніе не умираетъ, какъ способность: едва безнадежность убила одно изъ желаній, какъ другое возникаетъ изъ развалинъ перваго; если же нѣтъ — то за этимъ должно послѣдовать омертвѣніе умственныхъ силъ, или сама смерть. Послѣднее сбылось съ Миньйоной. Съ одной стороны, встрѣчая невозможность слить жизнь свою съ жизнью любимаго существа, съ другой стороны, томимая влеченіемъ въ страну дѣтства, украшенную (вновь созданную) ея фантазіей, — она истаевала; вся она (съ представленія Гамлета) превратилась въ одно Sehnsucht, въ страстное влеченіе, которое возвышалось по мѣрѣ того, какъ гасли ея жизненныя силы. Наконецъ истомленная борьбою, въ одеждѣ ангела, — она исповѣдала свое послѣднее желаніе, свои догадки; небесное отечество — вотъ куда уже стремилась мысль ея! И все кончено! И роскошное созданіе природы возвратилось въ нѣдра матери изъ среды людей, которые были недостойны ея! И все это выражаетъ: «Kennst du das Land...» Какъ-бы хотѣлось слышать это чувство, отлитое въ

звуки! Здѣсь ихъ поле. Увлечь душу, обнять ее (иначе не могу выразить) должна музыка на эту пѣсню... если же она не такова, то музыкантъ или не геній, или не знаетъ Миньйоны. Эта музыка должна заставить меня схватить тебя за руку и сказать:

Dahin, dahin
Möcht' ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.

Писать «Баядеру» я не рѣшаюсь: я такъ мало знакомъ съ Индіей, что очень много долженъ перечитать — между тѣмъ улетитъ время и притрется чувство! Но что-нибудь напишу. Деревня меня всегда располагаетъ фантазировать, и я буду фантазировать вольно. Я уже писалъ къ тебѣ, что отъ претензій отказываюсь.

Болѣзнь моя теперь въ агоніи, но эта агонія длится ужасно, и я боюсь, чтобы въ деревню больнымъ не ѣхать. А propos — не пиши мнѣ туда о моей болѣзни.

Вечеръ, 10-го половина (40 минутъ).

Сейчасъ былъ я у Бр. — время провелъ довольно пріятно; мы сидѣли въ саду—и какъ манна съ неба, явилась***... Рѣчь пошла о стихахъ: Н. Бр. и я напомнили ей обѣщаніе написать тебѣ стихи; она говорила, что это обѣщаніе дано было на балѣ, среди шума, въ минуту безумія, но что она никакъ не рѣшится посылать стихи черезъ почту. Я сначала предложилъ ей напечатать ихъ — никакъ! Потомъ передать мнѣ для пересылки тебѣ страховыми... дѣло кажется шло хорошо, но вдругъ дернуло Н. сказать, что и я обѣщалъ стихи. Тутъ-то она и ухватилась: когда я дамъ ей свои стихи, то и она передастъ мнѣ для пересылки тебѣ. Если ты непремѣнно желаешь имѣть на память отъ*...., то я готовъ ей дать какую-нибудь дрянь моей фантазіи;

если же и безъ этого обойдется, то тѣмъ лучше, или, покрайней мѣрѣ, все равно.

20.

12 іюня.

Не знаю, гдѣ буду сегодня, что̀ стану дѣлать? Въ девять часовъ придетъ ко мнѣ С*; мы будемъ готовиться къ экзамену Надеждина, можетъ-быть, часу до втораго, а тамъ — посмотримъ.

Вечеръ.

Я сегодня купался въ рѣкѣ съ Ал.; оттуда поѣхали къ нему, у него обѣдали, а въ пять часовъ возвратились ко мнѣ, гдѣ нашли уже С*. и Ефр., ожидавшихъ меня для приготовленія къ Надеждинскому экзамену. Между анекдотами и каламбурами успѣли мы прочесть вопросовъ пять, пошли въ Александровскій-садъ и назначили завтра опять собраться въ восемь, чтобы готовиться до одиннадцати, но дѣльно, безъ каламбуровъ; что-то будетъ? Пришедши, я началъ читать Гофмана; потомъ вознамѣрился кончить письмо къ тебѣ, чтобы завтра отослать.

Мар. Аф. спрашивала сегодня меня: писалъ ли я къ тебѣ хоть разъ? Я отвѣчалъ, что «да». «Почему же онъ никогда не пишетъ, что получилъ отъ васъ письмо?» — Онъ мнѣ объ этомъ пишетъ (NB: а имъ давались только два твои письма ко мнѣ) — «Vos lettres sont elles aussi interessantes que les siennes?» — A ce, que j'espére, elles le sont pour lui. — «Mais ses lettres sont interessantes pour tout le monde». — Les miennes ne peuvent pas l'être; je ne lui écris que de ce qui me regarde ou de ce qui regarde nous deux. — Не знаю,

что̀ ей хотѣлось — но я обѣщалъ выписать поэтическій отрывокъ изъ письма твоего и дать ей прочесть.

Дѣла мои, слава Богу, лучше, послѣ купанья еще лучше, впрочемъ еще дня не прошло — что̀-то Богъ дастъ? Какъ мнѣ хочется поскорѣе въ деревню, на просторъ — душа разыграется! Думаю, между тѣмъ, прочесть «Ideen» Геерена.

21.

19 іюня.

Завтра отправляюсь рано съ Ал... въ деревню. Уже 12 часовъ ночи. Спѣшу извѣстить тебя объ этомъ. Не пиши въ деревню лишнихъ вещей; вообще не худо въ письмахъ ограничиться чувствомъ и искусствомъ: мы живемъ въ этихъ двухъ мірахъ, до другихъ міровъ намъ съ тобою дѣла нѣтъ. Сейчасъ мы ложимся, дабы отправиться *утру сущу рань*.

22.

С. Удеревка, 11 іюля.

Отъѣздъ изъ Москвы, дорога, прибытіе — мѣшали мнѣ писать, тебѣ — не знаю что̀: можетъ-быть, твоя странная деликатность, съ которою ты уже однажды извѣщалъ меня, что не будешь писать ко мнѣ двѣ недѣли, дабы не помѣшать единству моихъ впечатлѣній.

Вотъ уже больше двухъ недѣль мы живемъ въ деревнѣ. Ал... со мною. Онъ дѣлитъ охоту, дѣлитъ все, и жизнь въ деревнѣ мнѣ вдвое пріятнѣе съ нимъ. Что̀ жь касается до самой жизни, то надобно тебѣ намекнуть нѣкоторыя обстоятельства, чтобы ты могъ дѣлать объ ней заключеніе. Вопервыхъ, здѣсь съ мая

піе на произрастеніе. Множество жителей останется безъ хлѣба. Покосовъ нѣтъ, трава повысохла, земля растрескалась—разумѣется, что и здоровье страждетъ отъ этого: въ нашей деревнѣ до моего пріѣзда было много больныхъ и много перешагнуло *обонполъ* этого міра. Теперь, слава Богу, все утихло. Нѣсколько дней шли дожди, природа и люди — все повеселѣло. Теперь опять и ясно, и тепло, но все нѣтъ такихъ ужасныхъ удручающихъ жаровъ, какъ прежде. Конечно, при такихъ трагическихъ декораціяхъ, нельзя мнѣ было разыгрывать веселыхъ сценъ; но семейство, свои, знакомые и Ал... составили вокругъ меня блестящій флеръ, за которымъ бѣдствія не такъ были видны. Теперь, когда, по милости Божіей, все миновалось, или если не все, то по крайней мѣрѣ важнѣйшее, я могу свободнѣе наслаждаться, мыслить, чувствовать и писать къ тебѣ. Разумѣется, что охота уже началась; но дичи еще мало, и потому нѣтъ у меня такого Sehnsucht на охоту, какъ прежде, но придетъ еще. Ал... подаетъ блистательныя надежды: зоркій глазъ, твердая рука и жаръ прямо охотничій—изъ него выйдетъ егерь! Вотъ мой приговоръ ему... На этой недѣлѣ имѣлъ удовольствіе видѣть одну прекрасную даму. Ты помнишь стихи Гёте —

Doch welch' ein Glück geliebt zu werden
Und lieben, Götter, welch' ein Glück!

Увы, при этомъ случаѣ не могу повторять этихъ стиховъ! Эти глупыя нѣжности для меня скучны. Ты знаешь меня и мои требованія.—Что̀ касается до творчества, я объ немъ и не думалъ! Nous verrons pourtant. Мы съ Ал... перебрались теперь въ палатку, раскинутую въ саду, и намѣрены тамъ чѣмъ-нибудь

заниматься; разумъется, чѣмъ Господь приведетъ. Между тѣмъ я успѣлъ прочесть 1-й томъ: «Scenes dé la vie privée» Бальзака и 1-й томъ Виландова «Оберона» — о впечатлѣніи послѣдняго на меня напишу тебѣ, когда прочту—и еще нѣсколько статеекъ изъ «Revue Etrangère». Въ Сынѣ Отечества прочелъ также начало статьи Никитенко «О происхожденіи литературы:» видно, что занимается и имѣетъ одинъ взглядъ на предметъ. Утѣшительно также мнѣ было прочесть тамъ одну философскую статью священника Сидонскаго. Дай Богъ, чтобы духовные у насъ занимались подобными вещами. Ты уже знаешь, что «Логика» Бахмана переведена кѣмъ-то изъ воспитывающихся въ Духовной Академіи.—Напиши мнѣ, пожалуйста, что-нибудь объ искусствахъ, объ Эрмитажѣ, о театрѣ русскомъ и нѣмецкомъ: меня оживляютъ эти извѣстія. Я здѣсь порою играю на фортепьяно; теперь попалась мнѣ фантазія Гуммеля: Oberon's Zauberhorn. Глазъ видитъ, да зубъ нейметъ! Меня утѣшаетъ по крайней мѣрѣ то, что я понимаю много въ ней. Кой-какъ началъ играть первыя страницы.

«Kennst du das Land» мнѣ чудо какъ нравится; это прелесть въ своемъ родѣ! Жаль, что никто у насъ не можетъ спѣть его.

22.

24 іюля.

Нынѣшнюю пятницу, 21-го іюля, получилъ я письмо твое отъ 10-го, съ видами П—бурга и описаніями. Благодарю тебя, мой другъ, за наслажденіе, которое ты мнѣ доставилъ, но не жди отъ меня подобнаго. Еслибы я владѣлъ кистью, то на верхушкѣ письма моего

начертилъ бы тебѣ какую-нибудь дикую картинку, какой-нибудь видъ полуразрушившагося мостика черезъ болото, окруженное камышами, какой-нибудь очеркъ глухаго мѣстечка на мѣловой горѣ, которая склонилась надъ водою... Видъ этотъ оживился бы образами нѣсколькихъ охотниковъ, отправляющихся на *потѣшенье*, или двухъ молодыхъ людей въ красномъ и желтомъ халатахъ, спускающихся къ купальнѣ.

Очень радъ, что Од. вложилъ тебѣ въ душу «Пѣсню Миньйоны». Мнѣ она давно понравилась—дурное слово!—давно полюбилась. И я постигалъ, какъ надобно исполнить ее—теперь ты написалъ совершенно мнѣ то, что̀ я думалъ. Но, другъ мой, ты слишкомъ неосторожно дѣлаешь, читая вздорныя мои бредни такимъ умнымъ людямъ, какъ Од. Если онъ такъ былъ вѣжливъ, что похвалилъ, или на ту минуту такъ снисходителенъ, что открылъ тутъ какое-нибудь чувство, то онъ могъ быть и менѣе вѣжливъ, и болѣе строгъ, и откровененъ. Для тебя эта мечта имѣетъ цѣну, какъ мечта человѣка, тобою любимаго, котораго нѣкоторыя идеи ты также любишь, какъ и его самого—но объективной прелести она не имѣетъ [1]). Я это говорю совсѣмъ не изъ скромности, но по убѣжденію; я и писалъ это такъ, чтобъ выразить мысль о родствѣ искусствъ, мысль, которую я хотѣлъ бы сказать тебѣ; какъ же подвергать ее суду посторонняго, не говоря уже Од.? Но тѣмъ не менѣе благодарю я тебя за твое доброе желаніе! Похвала такого человѣка, какъ Од., изъ какихъ бы она источниковъ ни выходила, для меня интересна и льститъ моему самолюбію, хотя въ этомъ

---

[1]) См. въ приложеніи статью: «Три Художника.»

случаѣ я самъ себя обманываю, ибо самъ увѣренъ въ ничтожности того, что̀ онъ хвалилъ. Что̀ касается до вашего спора, то не могу тебѣ отвѣчать системою, но скажу, какъ могу, что̀ думаю.

Не буду говорить: поэтъ *долженъ* воплощать идею, поэтъ *имѣетъ право* высказывать чувство или не имѣетъ; а буду разсматривать произведенія, которыя нельзя не признать поэтическими, и спрошу: воплощена, или высказана въ нихъ идея? Когда я читаю балладу Гёте. «Der Gott und die Bajadere,» то я нигдѣ не встрѣчаю ни одной цитаты, ни одного maxime; ошибется и тотъ, кто послѣдніе стихи:

Unsterbliche heben verlorene Kinder
Mit feurigen Armen zum Himmel empor! —

приметъ за мысль цѣлаго стихотворенія. Эта цитата — правоученіе, не разрушающее индійскаго колорита, наброшеннаго на цѣлое. Между тѣмъ какъ ярка идея цѣлаго! Душа преступная очищается божественною любовью! Здѣсь не *высказана*, но *воплощена* идея. Возмемъ еще Шиллера: «*Resignation*». Кажется, поэтъ высказываетъ свое отчаянное убѣжденіе: два цвѣтка существуютъ для человѣка — надежда и наслажденіе; кто сорвалъ одинъ цвѣтокъ, тотъ не требуй другаго; но мощная фантазія, окрыляемая раздраженнымъ чувствомъ поэта, создаетъ дѣятелей, которые совокупно развиваютъ эту мысль, не столь поэтическую въ устахъ обыкновеннаго человѣка, недовольнаго вѣчнымъ жребіемъ. Вѣчность отвѣчаетъ на ропотъ бѣднаго сына земли и уничтожаетъ его этимъ отвѣтомъ! Какъ много тутъ поэзіи!

Разумѣется, поэтъ не говоритъ себѣ: разовьемъ мысль такую-то, ибо въ семъ случаѣ онъ развилъ бы

ее логически. Нѣтъ, онъ часто повѣствуетъ фактъ жизни, въ чудномъ свѣтѣ явившійся душѣ его, безъ сознанія, что сей фактъ развиваетъ великую идею. Не вѣрю, чтобы Шекспиръ имѣлъ ясное (логически-ясное) понятіе о смыслѣ своихъ драмъ; онъ творилъ *такъ* потому, что *такъ* являлась ему жизнь и возбуждала его геній. Нашъ вѣкъ, привыкшій къ отчетливости и способный дать себѣ отчетъ въ высокомъ ощущеніи, объясняетъ мысль опыхъ. Часто идея, безъ сознанія развитая, дѣйствуетъ на насъ гармонически (поэтически), но ясно намъ не представляется; съ нѣкоторымъ напряженіемъ ума, мы уже даемъ себѣ яснѣйшій отчетъ въ оной. Тамъ, гдѣ поэтъ, сильно чувствуя, высказываетъ самаго себя, — онъ воплощаетъ идею, отдѣльную отъ высказываемыхъ имъ мыслей, именно: идею человѣка въ такомъ состояніи, въ какомъ онъ находится. Я можетъ-быть темно выражаюсь: надѣюсь впослѣдствіи и на досугѣ яснѣе тебѣ разказать это; скажу только на первый разъ, что я согласенъ съ Од. — Что̀ касается до бездѣлки, написанной мною («Три художника»), то смѣшно и разсуждать о ней; но такой родъ существовать можетъ, — это родъ дидактическій, смѣшанный, не чисто-поэтическій, гдѣ изящное subside въ родѣ Платоновыхъ бесѣдъ.

Есть поэзія и въ философскихъ системахъ, въ построеніи ихъ; но это — когда философъ изъ одной главной идеи строитъ міръ идей, отдѣльную, свою вселенную. Но объ этомъ послѣ.

Какъ бы мнѣ хотѣлось, другъ мой, чтобы ты былъ теперь со мною! Какъ бы многое хотѣлось мнѣ сообщить тебѣ! Я чувствую, что внутреннее бытіе мое

проясняло бы, — ты только въ состояніи принять мои идеи, мою интеллектуальную собственность, и отвѣчать мнѣ на оныя. Но потерпимъ! Богъ сведетъ насъ! Es herrscht eine allweise Güte über die Welt.

Слава Богу, болѣзни въ краю нашемъ прекращаются; наше семейство благополучно; Ал... читаетъ «Вертера» и ходитъ на охоту, къ которой онъ также пристрастился. Я сдѣлался, напротивъ, хладнокровнѣе къ ней. Что̀ касается до высшихъ силъ существа моего, то дѣятельность ихъ есть, большею частію, дѣятельность практическая. Теперь я читаю (урывками) Минье Исторію—успѣлъ прочесть полкнижки, она меня чрезвычайно интересуетъ, и я стану, можетъ-быть, читать: «Histoire de la civilisation française» par Guizot, изъ которой я читалъ кой-что. «Оберона» я прочелъ. Это прелестныя варіяціи на заданную тему: нѣчто повыше музыки Черни, но далеко до Бетговена. Это—стихотворный Гуммель. А много истинно-прекраснаго! Мнѣ особенно нравится прощаніе Оберона съ Гюономъ и Реціею (или Амандою). Давъ имъ заповѣдь не вкушать отъ плода запрещеннаго до благословенія папы, онъ, грустный, улетаетъ, зная, что это не сбудется. Прежде весело исчезалъ онъ въ сіяніи лучистой зари, оставляя по себѣ запахъ розъ; теперь —

Er sagt's und seufzt, und stiller Kummer schwillt
In seinem Aug'; er heisset sie ihm nahen,
Und küsst sie auf die Stirn, und als sie aufwärts sahen,
Zerfloss er wie ein Wolkenbild
Aus ihrem Blick...

Есть еще множество прекраснаго! Выписывать всего нельзя; но здѣсь мнѣ хотѣлось еще привести на память

сцены на кораблѣ (чудо!) и въ гаремѣ. Какъ цѣлое, она имѣетъ достоинства относительныя. Эпопея должна быть народна и порождена безъ сознанія въ вѣкъ младенчества. Разказъ прекрасенъ, но какъ этакую побасенку безъ всякаго смысла тянуть и разказывать? Надобно быть Нѣмцемъ, чтобы истощать поэзію души на такія вещи! Не умѣю тебѣ хорошо выразить, отъ чего мнѣ это кажется весьма несовершеннымъ, но только я это понимаю. Я кажется проникаю Виланда, разсматриваю его жизнь, его постепенныя занятія, его вѣкъ, и *не соблазняюсь* о томъ, что̀ мнѣ кажется дурно, но привязываюсь къ хорошему. Чтобы быть безпристрастну къ автору, должно всегда вникнуть въ его отношенія и выбрать точку, съ которой должно смотрѣть на него. Но вотъ диссертація.

8 августа, вторникъ, вечеръ.

Давно не бесѣдовалъ я съ тобою; но не лѣнь была этому причиной. Мнѣ хочется всегда подчивать тебя свѣжьемъ, а потому я и не заготовляю писемъ до середы (день, въ который отходитъ почта); тутъ, смотри, надобно написать нѣсколько писемъ изъ того, что совѣстно не писать — глядь, а ужъ курьеръ въ Острогожскъ и готовъ! Наконецъ успѣваю я сказать тебѣ нѣсколько словъ о настоящемъ моемъ житьѣ-бытьѣ. Сію-минуту пришли мы съ охоты, на которую убили цѣлый сегодняшній день; Ал... лежитъ на постелѣ и ѣстъ груши, а я столько уже ихъ ѣлъ, что могу только завидовать его блаженству, а раздѣлать оное не въ состояніи. Какое антипоэтическое положеніе обоихъ! На дняхъ сбираемся мы всѣ, папенька, братья, Ал...,

я и сосѣди, въ Острогожскъ на лѣсную охоту, которая должна заключить полевые мои подвиги нынѣшняго лѣта. 20-го или 25-го тронусь я въ Москву.

Что̀ сказать тебѣ, мой другъ, о настоящей моей жизни? То, что̀ я сказалъ тебѣ о сегоднишнемъ днѣ, можно сказать обо всѣхъ, здѣсь мною проведенныхъ... Охота, ѣда, *вежетація*! Иногда всемогущая фантазія благодѣтельнымъ свѣтомъ своимъ озаряетъ наслажденія самыя ничтожныя, и тогда они дѣлаются истинными наслажденіями. Такъ болота, стрѣльба и путешествіе по лугамъ бываютъ мнѣ очень пріятны, даже имѣютъ нѣкоторую поэзію... но чего-то недостаетъ мнѣ. Есть еще вещи, разцвѣчивающія нѣсколько однообразную картину моей сельской жизни, и объ нихъ мнѣ хочется сказать тебѣ; нужно сказать нѣсколько словъ [1]).

... Полный этою мыслью, я услышалъ нѣкоторыя вещи, которыя должны были укрѣпить меня въ ней... Я рѣшился на всякій случай сначала перемѣнить обращеніе... Мысль, что эта женщина неспособна любить, и чувство у нея есть простой интересъ, чувство занимательнаго, если можно выразиться эстетическимъ терминомъ,—эта мысль заставляла меня удаляться отъ нея; я подвергалъ ее тяжелымъ испытаніямъ, я видѣлъ и слезы, но слезы могутъ быть слѣдствіемъ раздраженнаго чѣмъ-нибудь (хотя бы и самолюбіемъ) организма. Я въ самомъ дѣлѣ довольно хладнокровенъ къ ней. Но были минуты, въ которыя я вѣрилъ, искренно вѣрилъ ей и любилъ ее. Она безъ дальняго

---

[1]) Здѣсь С—чъ разказываетъ нѣкоторыя подробности того перваго романическаго происшествія, о которомъ мы упоминали въ біографическомъ очеркѣ. *Пр. изд.*

образованія, не глупа, простодушна, но не имѣетъ глубокихъ чувствъ; я любилъ ее, и фантазія моя оставила мнѣ чудный идеалъ. Теперь я люблю этотъ призракъ, а ее потому, что она мнѣ его напоминаетъ.

Теперь два крайніе вопроса метафизическихъ рѣшены: Was kann ich wissen, was darf ich hoffen; остался средній: Was soll ich thun?

... Долженъ ли я дать ей *понятіе* объ обязанностяхъ, которому она, вѣроятно, не послѣдуетъ, прекратить мои отношенія, или довести ихъ до nec plus ultra? Но послѣднее могло бы еще быть простительно, еслибы я чрезвычайно любилъ ее; но первое огорчитъ ее чрезвычайно. Когда бы ты, добрый геній, былъ со мною! (Я знаю что̀ лучше сдѣлать, да вспомни «Le Remord» Евгенія Сю.) Я болѣе люблю ее, когда не вижу, и душа моя въ лучшемъ состояніи.

И вотъ я, ненавистникъ фантастическаго, люблю призракъ! Но все-таки люблю что-нибудь. Все необходимая потребность удовлетворена, хотя нѣсколько. Есть на чемъ остановиться душѣ, когда засыпаешь; есть чѣмъ согрѣть душу — и этого довольно, чтобы стать выше многихъ женщинъ, презирать кокетство и подъчасъ роптать на судьбу, сознавая свое человѣческое достоинство.

Прости меня, что все письмо наполнено болтовнею обо мнѣ, обо мнѣ и обо мнѣ.

22.

23 августа.

... Предыдущее письмо мое наполнено было разказами о нѣкоторыхъ моихъ отношеніяхъ: я приводилъ чувства свои въ формулу. Когда я далъ нѣкоторый отчетъ въ нихъ тебѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и себѣ, то сталъ

какъ-то покойнѣе, согласнѣе съ самимъ собою. Въ слѣдъ за тѣмъ, я читалъ жалобы твои на судьбу, и мнѣ досадно стало, что я обременяю тебя своими! Но я вижу, что это былъ припадокъ, весьма знакомый мнѣ, хотя казалось бы я долженъ былъ остаться чуждымъ ему— но горе, кажется, одно изъ условій бытія нашего. Когда нѣтъ бѣды вещественной, человѣкъ самъ для себя сочиняетъ бѣду и любитъ на нее жаловаться. Мы всѣ рождены для борьбы: но одинъ борется со внѣшними препятствіями, возставшими на пути его къ цѣли; другой изъ себя пораждаетъ великана, съ которымъ борется всю свою жизнь, и иногда падаетъ, иногда дружится съ нимъ. Но довольно объ этомъ.

Въ воскресенье я выѣзжаю въ Москву, и судьба, какъ нарочно, собрала вокругъ меня множество удовольствій, чтобъ было чѣмъ помянуть деревню. Сюда пріѣхалъ еще Рж... вчера вечеромъ и привезъ въ лицѣ своемъ Москву. Кромѣ того, еще кое-что-съ у насъ.

25.

Москва, 14 сентября.

... Я, пріѣхавши въ Москву, не имѣлъ еще времени сѣсть и взяться за перо. Папенька и братья съ ихъ потребностями — вотъ что̀ меня отвлекало, и я въ день не больше пяти минутъ проводилъ въ комнатѣ.

... На многое отвѣчать мнѣ хочется, на кое-что отвѣчать есть моя священная обязанность. Исполню ее вопервыхъ.

Проклятъ тотъ, кто первый осмѣлился осквернить память чудесной дѣвушки и заставилъ другихъ усумниться въ благородствѣ П..! Разувѣрься, мой другъ, будь покоенъ: онъ не измѣнилъ себѣ! Краткое ихъ зна-

комство ознаменовалось, напротивъ, самымъ благороднымъ поступкомъ П.. Чувствуя дружбу къ этому чистому созданію и зная ея къ нему расположеніе, онъ давалъ ей совѣты, предостерегалъ ее отъ ужасовъ, въ которые могутъ вовлечь молодую дѣвушку—лишняя довѣрчивость къ людямъ и свобода чувства! Никогда мысль о гнусномъ преступленіи не приходила ему въ голову. Онъ все разказывалъ мнѣ: я какъ будто незримо присутствовалъ при всякомъ ихъ свиданіи, при всякомъ разговорѣ. Передъ отъѣздомъ изъ Москвы, я описалъ было тебѣ подробно весь ходъ этого происшествія, искаженный потомъ гнусною клеветою; но не знаю, какъ не успѣлъ отослать тебѣ письма, и оно затерялось. Скажу кое-что теперь.

П..., какъ тебѣ извѣстно, стоялъ противъ церкви, у N. N. Эти N. N. имѣютъ дочь. П... удалялся отъ нихъ, сколько возможно было, не нарушая вѣжливости. На бѣду, въ этомъ же домѣ стоялъ извѣстный музыкантъ Г". съ семействомъ. Его-то дочь Эмилія (у него есть еще другая, а умершая Эмилія — я увѣренъ—мнимая дочь его) какъ-то познакомилась съ П.., кажется у N. N. Весьма естественно, что невинная 16-лѣтняя дѣвушка, съ чувствомъ и образованіемъ, привязалась всей душою къ такому человѣку, каковъ П.. Я не проникнулъ, каково было чувство П..; но знаю, что онъ чувствовалъ къ ней нѣжную дружбу, если расположеніе къ прекрасной дѣвушкѣ можетъ быть названо дружбою, и уважалъ ее, какъ святыню. Хозяева, замѣтивъ ихъ взаимное неравнодушіе, стали препятствовать ихъ свиданіямъ. Бывало, чуть Эмилія и П.. явятся на галлерею, N. N. тутъ и есть. Все это было довольно забавно. Скоро N. N. перемѣнили квартиру и П.. пере-

ѣхалъ съ ними. Эмилія подарила ему на память изображеніе, вырѣзанное ею изъ черной бумаги: береза свѣсилась надъ памятникомъ, мущина преклоняетъ передъ нимъ колѣна. Что за дѣвушка! какъ таинственна судьба ея! Она говорила П.., что одна женщина разъ въ годъ приходила къ ней и говорила ей объ отцѣ. Эмилія не знала даже имени его. Разъ снился онъ ей; онъ спрашивалъ: «зачѣмъ ты не молишься объ отцѣ»?—«Какъ мнѣ молиться»? отвѣчала она, «я имени его не знаю.» «Пиши имя его цифрами,» сказалъ онъ.—Она стала писать, но ничего не помнитъ... Много чудесъ слышалъ я: однажды маленькій сынъ Г". говорилъ въ бреду: «мы не стоимъ того, чтобъ называть Эмилію сестрою.» — Кормилица спрашивала Эмилію передъ отъѣздомъ П.., о чемъ она тоскуетъ? — «Кто тоскуетъ? спросила Г"., входя въ комнату,—Эмилія? Ахъ! какъ мы передъ ней виноваты.» Съ этими словами она заплакала.

Я тебѣ описываю всѣ эти подробности, чтобъ ты могъ представить себѣ это существо въ таинственномъ свѣтѣ, которымъ оно облечено для меня. Это новая Миньйона! кроткій геній, смущенный земными тревогами и отлетѣвшій отъ людей! — Вскорѣ послѣ переѣзда П.. на другую квартиру, онъ встрѣчается съ настоящею дочерью Г"., которая извѣщаетъ его, что Эмилія умерла. Онъ въ эту минуту ничего не чувствовалъ, онъ не могъ вѣрить, не могъ плакать — уже черезъ нѣсколько часовъ, когда сознаніе возымѣло въ немъ свою силу, онъ началъ плакать. На другой или на третій день я узналъ объ этомъ. Мы съ нимъ хотѣли быть на погребеніи, но ошиблись—пріѣхали не въ ту церковь. Онъ ѣздилъ съ N. N., а я съ Ал.. Когда мы пріѣхали въ католическую церковь за Красными

воротами, то печальная колесница возвращалась. Мы отправились съ Ал.. на Нѣмецкое-кладбище. Г^в. уѣзжалъ оттуда. По узкой тропинкѣ, между деревъ и памятниковъ, пошли мы отыскивать свѣжую могилу. Я былъ въ самомъ грустномъ расположеніи духа: и мѣсто, и происшествіе, сильно на меня дѣйствовали. П.. съ N. N. встрѣтились съ нами. Они не могли отыскать могилы.

Мы соединились и наконецъ нашли ее. Нужно ли говорить о сценѣ надъ грустнымъ прахомъ? Мы молчали; всякій изъ насъ стоялъ, отворотившись въ особую сторону. Мы четверо какъ будто построили каре противъ людей вокругъ священнаго праха.., Другъ мой! твое мнѣніе священно для благородной души, но *разбей сосудъ клеветника*! П.. вѣренъ своему прекрасному чувству; печальная могила Эмиліи не можетъ быть ему упрекомъ [1]...

Жалко бъ было лишиться такого человѣка, какимъ ты разумѣлъ его; но онъ существуетъ, онъ живетъ, онъ нашъ!

Жди вслѣдъ за этимъ письмомъ другихъ. Эпиграфомъ къ одному изъ нихъ будетъ: soyez franc et discret, и которое безъ сомнѣнія удивитъ, можетъ-быть позабавитъ тебя, а можетъ-быть заставитъ сдѣлать гримасу серіознаго человѣка.

A propos! П. А. проситъ тебя прислать скорѣе трактатъ о счастіи. Какъ не грѣшно тебѣ! Въ твоей власти подарить счастіе дѣвушкѣ, а ты медлишь. Богъ тебѣ судья!

---

[1]) Стихи, написанные С—чемъ по поводу этого происшествія, находятся въ біографическомъ очеркѣ. *Пр. изд.*

20.

15 сентября.

... Что мнѣ дѣлать, другъ мой? Будь моею совѣстью! Я не люблю—она мила, какъ цвѣтокъ, какъ дитя — новая M-me de Coulanges (помнишь «Histoire de la puce enragée»)....

Какъ сильно дѣйствуютъ на жизнь случаи, повидимому пустые! Кто бы сказалъ, что эта ничтожная связь можетъ разрушить блаженство человѣка? Но, другъ мой, подобные случаи удерживаютъ душу въ прямомъ ея полетѣ къ прекрасному. Видишь себя принужденнымъ *думать* и *казаться*, между тѣмъ какъ могъ бы *чувствовать* и *быть*; видишь себя запутаннымъ въ мірскія сѣти, чувствуешь свое ничтожество. Какъ часто я молилъ Провидѣніе, чтобъ оно наслало мнѣ душевную бурю! Но мысль, что эта буря унесетъ послѣднія отрады изъ міра, не вознаградивъ меня красотою внутренней жизни, мысль, что и высокое сознаніе души рушится въ прахъ вмѣстѣ съ жизнью бѣдствій,— заставляла меня просить возврата этихъ молитвъ... такъ и въ бесѣду съ Богомъ долженъ я вводить хитрыя ограниченія!.. Другъ! Я хотѣлъ бы одной бури. Пусть я останусь въ тѣхъ отношеніяхъ, въ какихъ теперь, но я хотѣлъ бы перемѣны въ душѣ, хотѣлъ бы любви, любви грозной, палящей! Пускай бы опустошительный огонь ея прошелъ по всему ничтожному бытію моему, разрушилъ слабыя узы, которыми оно опутано, испепелилъ томительное горе и разсѣялъ безпокойные призраки, блуждающіе во мракѣ душевномъ! Я бы воскресъ, я бы ожилъ! Еслибъ эта любовь была самая несчастная... кажется, все я былъ бы лучше.

Но да будетъ воля Божья! Можетъ-быть, я не постигаю бѣдствій такой любви!

Мудрая Благость все видитъ, все знаетъ; она извлечетъ изъ ничтожества, когда наступитъ время. Она дастъ силы пріять и чувствовать блаженство, дастъ силы нести горе жизни! Меня утѣшаетъ, мой другъ, вѣра въ кроткую десницу, распростертую надъ главою созданія. Слѣпая Ананки не тяготѣетъ надъ бытіемъ вселенной, по міры падаютъ, шумятъ океаны, борются воли людей; а паденіе міровъ, стремленіе волнъ и борьба волей суть, можетъ-быть, вздохи Единаго, Безпредѣльнаго, Всеблагаго!—Благодарю Провидѣніе за всѣ блага земныя, которыми оно меня щедро надѣлило, за независимость жизни, за родимый кровъ, за родителей, за способность чувствовать прекрасное, развитое, въ созданіи, и за тебя, мой другъ!

Вчера я читалъ Гёте съ Мар. Аф. Эта женщина удивительно понимаетъ искусство. Я покланялся бы ей, еслибы не странныя претензіи... но Богъ съ ними и съ нею! Мнѣ хотѣлось показать ей Гёте съ разныхъ сторонъ. Я прочелъ ей, разумѣется съ выпусками, вопервыхъ «Der Gott und die Bajadere». Это созданіе удивило ее. Она не ожидала этого отъ Гёте! Идея всезиждущей любви, которою дышетъ эта легенда, ей родная съ давнихъ поръ. Я тоже какъ будто вновь понялъ эту легенду. «Kenner der Höhen und Tiefen» какъ человѣкъ дѣйствуетъ съ человѣкомъ. Онъ не бросаетъ перуновъ съ неба, чтобъ разрушить падшее созданіе, чтобъ зажечь жизнь прекрасную, но орудіемъ преображенія избираетъ земныхъ могучихъ дѣятелей—любовь и горе. Очищенная ими, жизнь отлетаетъ къ источнику жизни.

За этимъ я прочелъ ей балладу «Der Fischer,» гдѣ выразилось невольное влеченіе, которое мы испытываемъ, смотря на спокойную поверхность воды, отражающей небо въ своихъ нѣдрахъ, потомъ «Erlkönig» и наконецъ гигантское порожденіе генія: «Die Braut von Korinth.» Не льзя не пасть передъ Гёте, прочитавъ это созданіе! Грозный союзъ любви и смерти, блѣдныя уста, пьющія кровавое вино, мертвая грудь, согрѣвающаяся сладострастнымъ пламенемъ, и сила юности, испарившаяся въ одинъ мигъ наслажденія, — овладѣваютъ душою, потрясаютъ всѣ нервы, такъ что, по окончаніи чтенія, чувствуешь странный покой, подобный тому, который господствуетъ въ природѣ послѣ ночной грозы, когда туча перешла на другую половину неба и звѣзды едва начинаютъ блистать, освобождаясь изъ-подъ ея покрова.

22.

17 сентября.

Другъ, другъ, какая сцена!.. Сейчасъ послалъ за Красовымъ, чтобъ онъ ночевалъ у меня: несносныя чувства меня терзаютъ. Прощай!

23.

13 октября.

Другъ! Благодарю Бога, который сохранилъ тебя мнѣ! О, еслибы ты зналъ, что̀ волновало меня!.. Получавши отъ тебя всегда письма почти каждую недѣлю, вдругъ не получать почти мѣсяцъ, знать, что ты боленъ, подозрѣвать Богъ знаетъ что̀! Я боялся писать къ тебѣ; боялся, что лице, которому я повѣрю мои чувства... одинъ призракъ, одно имя! Ты можешь представить мое положеніе. Вчера приходилъ ко мнѣ твой Гаврило: я не могъ его видѣть; сказалъ ему:

горе, готовъ былъ ревѣть. Послалъ Ивана къ Мел.. не получалъ ли онъ какого извѣстія? Нѣтъ.

Но теперь, слава Богу! Теперь я чувствую еще болѣе, что̀ я въ тебѣ имѣю! Ты здѣсь, на землѣ; у меня есть человѣкъ, у котораго я могу просить: какъ я долженъ поступать? У меня есть человѣкъ, который всегда готовъ указать мнѣ мой путь. Ты вновь для меня существуешь. Lass mich weinen, an deinem Herzen heisse Thränen weinen, du einziger Freund! У меня есть грудь, въ которую я могу переложить все горе свое. Живи, живи, другъ мой! Мое *прекрасное* съ тобою!

Еслибы ты зналъ, какъ мало его осталось, какъ давно я не плакалъ! Теперь съ тобою возвращаются мнѣ и слезы, и любовь, одна вѣчная, одна святая дружба и утѣшеніе религіи. Да, ангелъ мой! Я чувствую надъ собою кроткую десницу Искупителя, который не далъ бурямъ жизни похитить у меня мое блаженство. Ты, ты мой другъ—поэзія души моей! Ты способенъ пересоздать меня, ты можешь поддержать во мнѣ все святое. Взгляни на меня—всѣ условія счастія, загляни въ душу... Но ропотъ далекъ отъ меня—много хранитъ для меня Провидѣніе; оно, я начинаю вѣровать, ведетъ меня... *ни кто̀же придетъ токмо имъ;* а кто сохранитъ Его въ сердцѣ моемъ, если не ты?

Такъ, мой другъ! Я возвращенъ—не говорю міру: я не покидалъ, хотя и не люблю его — но всему прекрасному, всему святому. Да, я готовъ былъ пасть, еслибы тебя не было: ты для меня выше, вѣрнѣе совѣсти моей! Береги же себя, другъ мой, если тебѣ дорога чистота души моей!

20.

14 октября.

Теперь, хоть объ житейскомъ: Вчера я былъ у Бр., по случаю дня рожденія Кост.; со мною были братья. Мы пошумѣли, пошумѣли, да и пріѣхали съ Красовымъ ночевать ко мнѣ. Мой другъ! Мнѣ совѣстно закидывать тебя вопросами, но ты получишь ихъ много отъ меня. Ахъ, еслибы ты былъ теперь со мною. Не думай, чтобъ я когда-нибудь унизился, чтобы я отступилъ на волосъ отъ правилъ чести; но есть тонкіе вопросы чувства, которые поставляютъ меня совершенно въ нерѣшительность — что̀ я долженъ дѣлать? Она поѣхала отсюда безъ всякаго укоризненнаго воспоминанія... Но Богъ надъ нею! Я не люблю ея; память о ней будетъ мнѣ вѣчно дорога̀. Я спрашиваю только, что̀ я долженъ? Исполнить то, что̀ я долженъ, не будетъ стоить для меня даже пожертвованія; да, мнѣ кажется, я собьюсь съ пути моего, если стану наслаждаться молодою жизнью, если яркими цвѣтами усыплю мою юность. Мое призваніе не то, хотя я и не вижу настоящаго моего призванія. Какъ ни сладко было бы мнѣ, исторгшись изъ скуки жизни, отдохнуть въ объятіяхъ тихаго существа — клянусь Богомъ! я устою, если ты скажешь слово! Zwei Blumen — Hoffnung und Genuss... Безъ перваго, безъ надежды, по крайней мѣрѣ безъ сознанія правоты своей, для меня нѣтъ счастія; слѣдовательно другаго цвѣтка я не долженъ срывать. Какъ отрадно разбить упоительный сосудъ, поднесенный любовью, и сказать: я выше толпы счастливцевъ, я имѣю право сдѣлать упрекъ судьбѣ... Есть прелесть въ отчаяніи, съ которымъ смотришь на пре-

соединишься, съ которымъ разлучила тебя твоя мысль, высокая, благородная! Оно сдѣлается дороже сердцу!

Но, другъ мой, кончено! Любовь уже не существуетъ для меня. Я узналъ, чѣмъ оканчивается страсть двухъ людей, предающихся всею полнотою чувства, безъ предосторожности, безъ кокетства, безъ боязни— другъ другу! Знаю, какъ ничтожно дѣлается это чувство въ послѣдствіи, когда въ груди, которую прижимаешь къ своей, находишь сердце иное, чуждое тѣхъ святыхъ думъ, которыя такъ любишь! Знаю, какъ мучительно видѣть любовь къ себѣ существа, полнаго всѣмъ прекраснымъ, полнаго чувствами какого-то высшаго міра,—видѣть, не раздѣляя ея!

Женщина не производитъ больше на меня пріятнаго впечатлѣнія. Маленькая претензія уничтожаетъ ее въ глазахъ моихъ. Видишь—des êtres manqués à leur nature.

Но какой прекрасный призракъ въ душѣ! Все, что міръ представлялъ мнѣ свѣтлаго, божественнаго, сосредоточилось въ этомъ призракѣ. Прототипъ женщины основался въ сердцѣ моемъ, идеалъ невольно составился, но я не думаю искать его; это несчастная привычка фантазировать о совершенствѣ!

Холодна и не приманчива жизнь, можетъ-быть только на время. За то вдвое дороже мнѣ мои занятія: я сижу, работаю и надѣюсь сидѣть и работать еще больше. Можетъ-быть, науки современемъ совершенно замѣнятъ мнѣ жизнь; начало этому я уже вижу.

Какъ прекрасно отказаться отъ счастія толпы, создать себѣ свой міръ и стремиться къ нему, хотя не достигая!

Другъ, береги себя! береги свое здоровье! Ты для меня необходимое, просвѣтляющее существо. Помни: ты моя совѣсть, моя поэзія. Прощай. Ни о чемъ другомъ писать теперь ни хочу, хотя и есть о чемъ. Призываю на тебя благословеніе Христово!

ае.

19 октября.

Я такъ теперь спѣшу пользоваться твоимъ бытіемъ, твоею жизнью, что ты скоро жизни не будешь радъ отъ моихъ писемъ. Вашему брату, жителю сѣверной столицы, можетъ иногда показаться, что нашъ братъ съ ума сходитъ—такъ несвязны бываютъ наши рѣчи! Но подожди! Я тебя увѣряю, что я скоро стану писать глаже покойника Ор. Мих. Сом. (не тѣмъ будь помянутъ!) и холодиѣе Бул...; стану описывать маскерады въ родѣ Шал... и писать стихи въ пользу вдовъ и сиротъ, какъ Сер. Ник. Гл. Тужить нечего; всего дождемся. Прыгать на одной ножкѣ я пересталъ — имѣю видъ порядочнаго человѣка; прослезиться также почти не умѣю; теперь отъучаюсь зѣвать, говоря съ пустыми людьми: надѣюсь успѣть и въ этомъ. Не дается мнѣ только сладкая улыбка, но ужь ни за что и не хочу себя къ ней приневоливать. Ты помнишь меня, когда я былъ *жизнь* безъ всякаго покрова (даже безъ необходимаго)—много воды уплыло! Да ну, къ чорту! Я жаловаться не намѣренъ и не на кого жаловаться; за что жь я тебѣ досаждаю?

У насъ стоитъ довольно хорошая погода, т. е. хорошая, по мнѣнію большей части людей: морозецъ, свѣтло. Вотъ дни два какъ началась хорошая по моему, т. е. пасмурно, тихо, тепло, чуть дождь накра-

пываетъ. Еще никогда не чувствовалъ я такой тоски по лѣсу, по охотѣ — блаженная жизнь! Снарядился съ утра, пошелъ — стоишь въ лѣсу, или ходишь до вечера; гончія вякаютъ, рогъ отзывается, и не видишь, какъ потемнѣетъ. Идешь домой, въ окнахъ свѣтится, а тамъ чай, тамъ одобрительные крики или насмѣшки, тамъ — все, о чемъ говорить несмѣю, да о чемъ и думать наскучило.

Какъ бы мнѣ хотѣлось видѣть что-нибудь достойное твоего вниманія! Я самъ былъ бы болѣе доволенъ собою, еслибы оставилъ женскія жалобы, подавилъ это капризное негодованіе на жизнь... Но какъ возьмусь за перо, чтобъ написать къ тебѣ, такъ и начну однообразныя пѣсни... Другъ мой! Кому же мнѣ жаловаться, если не тебѣ? Когда бы ты былъ со мною, ты бы сталъ посредникомъ между мною и жизнію, ты бы не далъ ожесточиться душѣ моей, которая расположена была все любить, все обнимать. Не много странствовала она по міру, но, огорченная, воротилась въ себя, затворилась; скучно безъ міра, скучно и въ мірѣ! Еслибы не бѣдные остатки ея неба, еслибы не прекрасные призраки, которые порою ласкаютъ ее, что̀ бы я былъ? Но это не призраки надеждъ, такъ, игра души съ самой собою... Неисполненіе желаній — несчастіе, но отсутствіе ихъ еще большее, несчастіе. Не скажу, чтобъ я не имѣлъ ровно никакихъ желаній — нѣтъ! Огорченное чувство, чувство обманутое (притомъ испорченное), жаждетъ чего-то высшаго, но опредѣленной цѣли ему нѣтъ; оно не можетъ возвышать души постоянно.

Въ твою грудь полагаю еще одну тайну, которая для многихъ уже не тайна. Меня любитъ одна дѣ-

вушка, которую я люблю братскою любовью отъ всей души, но къ которой болѣе ничего не чувствую. Что̀ можетъ быть отраднѣе, какъ бесѣда съ нѣжною, кроткою душою, послѣ волненія бурнаго, послѣ разрыва съ міромъ! Но я долженъ, слѣдуя правиламъ чести, лишать себя этого удовольствія. Еслибъ эта дѣвушка была на манеръ многихъ московскихъ, хотя и съ добрымъ сердцемъ и съ маленькою способностью чувствовать, я бы не опасался никакихъ послѣдствій. Но она любитъ, какъ только женщина, неиспорченная ложнымъ воспитаніемъ, можетъ любить; она любитъ потому, что создаетъ идеалы и въ ихъ таинственномъ свѣтѣ созерцаетъ людей; она любитъ такъ, что я опасался иногда за жизнь ея... но я дѣлаю видъ, что этого не замѣчаю. Я долженъ подавить эту страсть, развлечь ее, если можно, не позволять себѣ наслаждаться часто братскою бесѣдою. Ты самъ знаешь ее, знаешь, что не льзя ее не любить, и знаешь, что не всякій впрочемъ можетъ, какъ говорятъ всѣ, влюбляться въ нее. Я тоже не могу. Впрочемъ теперь она стала поумнѣе, занимается дѣломъ, и я надѣюсь постепенно обратить эту любовь въ дружеское расположеніе. Но надобно дѣлать это осторожно: вопервыхъ, не давать ей виду, что я знаю о ея страсти, чтобы не огорчить равнодушіемъ, или не усилить ласковымъ обращеніемъ эту привязанность; вовторыхъ, обходиться съ нею, какъ съ другими, не любезничать и порѣже навѣщать: не навѣщать нельзя, да и безполезно.

И вотъ я вырываюсь изъ объятій земной, чувственной любви, и останавливаюсь передъ кроткимъ существомъ, котораго дружба могла бы мнѣ быть такъ сладостна, и бѣгу его! Еслибы даже это была тихая,

нѣмецкая любовь, я не опасался бы; опять, люби я самъ, люби истинно, пламенно, прекрасно бы было обоимъ погибнуть въ огнѣ этого возвышеннаго чувства! Но я, повторяю, люблю ее, какъ братъ можетъ любить сестру.

Если блаженство удѣлъ мой, я выскажу его тебѣ и буду вдвое блаженнѣе; если вѣчная, тайная грусть, или существенное бѣдствіе отравитъ мнѣ жизнь, я возьму тебя за руку, повѣрю тебѣ свое горе, положу голову на грудь твою — и все-таки не позавидую никому въ мірѣ!

21.

5 ноября.

Послѣднее письмо твое для меня имѣетъ чрезвычайную важность: то, что̀ ты мнѣ пишешь, я передумалъ, перечувствовалъ, составилъ себѣ нѣкотораго рода систему, по которой веду себя. Это поведеніе тѣмъ легче для меня, что вслѣдствіе натуральныхъ побужденій я поступалъ бы не иначе. Въ самомъ дѣлѣ! я люблю ее, какъ совершеннѣйшую дѣвушку, по моему понятію; но — не болѣе. Конечно, не будь опасности, я болѣе бы говорилъ съ нею, болѣе бы повѣрялъ ей мои чувства; теперь же....

22.

8 ноября.

У насъ давали на дняхъ оперу: «Цампа, морской разбойникъ», музыка Герольда, молодаго человѣка, кажется, Француза, уже не существующаго. Прекрасный талантъ, сколько я могу судить. Представь себѣ человѣка, который не читалъ оригинальныхъ, высокихъ произведеній поэзіи, но съ чувствомъ, съ способностью

ощущать прекрасное; ему попадаются лучшія подражанія, или такія произведенія, которыя носятъ на себѣ печать невольнаго вліянія какого-нибудь генія: естественно, эти подражанія должны показаться ему чудомъ.

Вотъ такъ я сужу о музыкѣ, если допустить во мнѣ способность чувствовать, въ которой я сомнѣваюсь съ тѣхъ поръ, какъ женщины не производятъ на меня ни малѣйшаго впечатлѣнія... Впрочемъ не я одинъ хвалю эту музыку: и тѣ, которые больше меня разумѣютъ, находятъ въ ней оригинальность.

Ее давали въ пятницу, въ бенефисъ Фельцмана, и потомъ въ понедѣльникъ. Я былъ на обоихъ представленіяхъ и наслаждался вполнѣ, до слезъ. Вотъ содержаніе. Одинъ графъ обольстилъ (или просто заставилъ влюбиться въ него,— не разобралъ) молодую дѣвушку Алиссію, обѣщалъ на ней жениться, но оставилъ ее, уѣхалъ, сдѣлался пиратомъ, и Алиссія умерла съ горести. Добродѣтели этой дѣвушки заставляли всѣхъ любить ее. Одинъ богатый графъ живетъ въ томъ самомъ селѣ, гдѣ она жила. Въ домѣ его стоитъ мраморная статуя Алиссіи Манфреди съ лавровымъ вѣнкомъ на головѣ. Эта статуя впослѣдствіи дѣлаетъ чудеса. Родной братъ пирата-Цампы, графъ Альфонсъ, сватается за дочь богатаго графа, о которомъ я уже говорилъ. Камилла (дочь богатаго графа) любитъ Альфонса, и все готово уже къ свадьбѣ. Ее разстроиваетъ Цампа, отъ коего избавляетъ тѣнь Алиссіи. Вотъ главное. Опера начинается превосходною увертюрой, а увертюра чуднымъ разгульнымъ мотивомъ, который

решли въ сладостную гармонію и т. д. При поднятіи занавѣса, толпа дѣвушекъ какихъ-то (ты знаешь эти alberne Figuren) привѣтствуетъ Камиллу. Она поетъ что-то о своемъ счастіи (прекрасная арія — ее съ грѣхомъ пополамъ пѣла Петр., впрочемъ очень сносно). Является Альфонсъ. Послѣ взаимныхъ нѣжностей, она обращаетъ вниманіе на статую Алиссіи, задумчиво опершуюся на колонну и покрытую лавровымъ вѣнкомъ. Камилла говоритъ, что она споетъ о ней извѣстную балладу. Музыка начинаетъ играть — другъ мой, что это за музыка! Тихіе, райскіе звуки; въ нихъ есть что-то неизъяснимо-сладкое, задумчивое — это бездонная глубина чувства! Послѣ этого слѣдуетъ баллада. Я словъ не слыхалъ, да и не нужно было слышать. Приходятъ люди и говорятъ графу, что его ожидаетъ толпа молодыхъ людей; онъ думаетъ, что это гости, которыхъ онъ пригласилъ на свадьбу и которые безъ него не смѣютъ явиться. Онъ уходитъ. Въ слѣдъ за тѣмъ вбѣгаетъ испуганный садовникъ, Дандоло (мой Живокини), и поетъ:

Ой, ой, ой, ой,
Боже мой!
Вотъ онъ идетъ за мной!
Ой, ой, ой, ой,
Боже мой!
Я пропалъ съ головой!

Садовникъ ходилъ къ пастору; его остановилъ какой-то страшный человѣкъ, сказавшій, что свадьбы не будетъ. Живокини очень милъ. Вдругъ среди разказа, онъ вскрикиваетъ: «чортъ въ плащѣ!» Является Цампа (Лавровъ) въ красномъ плащѣ; быстрыми шагами вхо-

дитъ онъ на сцену — останавливается въ глубинѣ. Слѣдуетъ чудный квартетъ:

Кто такой
Неизвѣстный!
Царь небесный и пр.,

во время котораго смѣшитъ немножко Живокини своимъ троекратнымъ повтореніемъ —

Злой какой!

И потомъ стихами:

Что за взглядъ,
Что за взглядъ,
Преужасный!

Цампа показываетъ письмо.

22.

9 ноября.

Меня прервали. Въ письмѣ отецъ Камиллы проситъ, чтобъ она удовлетворяла всѣмъ просьбамъ подателя, отъ котораго зависитъ жизнь его. Камилла удаляется съ ужасомъ; разбойники начинаютъ пировать; разгульный, начальный мотивъ увертюры здѣсь повторяется съ пѣніемъ. Одинъ изъ разбойниковъ прочитываетъ надпись статуи и говоритъ про это съ ужасомъ Цампѣ: что-то страшное для него было въ этой статуѣ. Цампа улыбается, говоритъ, что онъ примиряется съ Алиссіей, становится передъ нею на колѣни, поетъ ироническую арію и, называя ее своей невѣстой, надѣваетъ ей кольцо на руку; начинаютъ пѣть снова, музыка еще шумнѣе; но Цампу зовутъ за чѣмъ-то къ Камиллѣ. Онъ хочетъ снять кольцо съ мраморной руки

Алиссіи; но она поднимаетъ руку и грозитъ ему — всѣ разбойники въ ужасѣ. Цампа схватываетъ кубокъ и принуждаетъ ихъ пѣть; начинается первая часть мотива самымъ шумнымъ образомъ — но музыка останавливается и разбойники бассами поютъ:

Что за чудо!

Цампа продолжаетъ мотивъ, но и вторая часть точно также прерывается хоромъ безъ музыки — такъ допѣваютъ цѣлый мотивъ. Статуя грозитъ въ другой разъ, всѣ бѣгутъ — Цампа остается неподвиженъ.

Этимъ оканчивается первый актъ. Передъ началомъ втораго играетъ музыка тихая, задумчивая; потомъ начинаетъ пѣть хоръ въ отдаленіи, а занавѣсъ еще не подымается. Наконецъ сцена открыта, виденъ берегъ рѣки, нѣсколько деревьевъ, павильйонъ и близъ него могила Алиссіи Манфреди. Не помню, что̀ тутъ происходитъ; дурачится Живокини, потомъ разбойникъ узнаетъ прежнюю жену свою и пятится отъ нея; — потомъ выходитъ Альфонсъ, едва ушедшій отъ молодыхъ людей, которые его дожидались, — это были разбойники. Онъ думаетъ о средствахъ спасти Камиллу и отца ея — и уходитъ. Является Цампа, упоенный.... любовью, нѣтъ ли, но чѣмъ-то похожимъ на нее. Какую арію онъ поетъ — легкую, прелестную!

Что ты, мой дружочикъ,
Вянешь, какъ цвѣточикъ?

Приходитъ Камилла; крестьяне поютъ и веселятся, не знаю изъ чего; является Альфонсъ съ бумагою, перехваченною имъ и адресованною на имя Цампы. Итакъ открытъ разбойникъ! Альфонсъ торжествуетъ,

но, взглянувъ на письмо, видитъ подпись вицероя — Цампъ даровано прощеніе съ тѣмъ, чтобъ онъ служилъ государству противъ Турокъ. Цампа выходитъ на средину, поетъ чудную арію разбойникамъ; они его привѣтствуютъ; занавѣсъ опускается.

Въ началѣ третьяго акта, Камилла уже супруга Цампы; она сидитъ въ своей спальнѣ въ бѣломъ неглиже; подъ окнами у нея звучитъ арфа, потомъ поетъ голосъ: она узнаетъ Альфонса — прелестный дуэтъ! Альфонсъ хочетъ освободить ее; она говоритъ ему, что бѣжать съ нимъ не можетъ и не должна — но Цампа далъ ей обѣщаніе выполнить ея первую просьбу послѣ брака: она намѣрена воспользоваться этимъ обѣщаніемъ. Альфонсъ куда-то прячется. Приходитъ Цампа. Она проситъ его позволить ей удалиться въ монастырь. Тутъ нѣсколько посредствующихъ сценъ. Наконецъ Цампа, упоенный любовью, хочетъ вести ее съ собою, и, чтобъ успокоить ея гордость, объявляетъ ей настоящее свое имя и званіе — онъ графъ.... Альфонсъ слышитъ это, узнаетъ брата, выбѣгаетъ, бѣсится; его уводятъ. Цампа поетъ прелестный дуэтъ съ Камиллою, упоенный ея красотою и пламенѣя желаніями.

Что̀ за жизнь въ ея очахъ!

И что̀ за жизнь въ музыкѣ на этотъ стихъ! Онъ хочетъ увлечь ее, появляется тѣнь Алиссіи Манфреди, беретъ его за руку и исчезаетъ съ нимъ. Театръ перемѣняется....

Берегъ рѣки; высокая скала; внизу счастливые любовники и народъ, а на верху скалы — тѣнь Алиссіи, задумчивая, въ бѣломъ саванѣ.... этимъ оканчивается

24.

12 ноября.

Сегодня я слышалъ, что не такъ должна кончиться опера: въ ту минуту, когда проваливается Цампа, все исчезаетъ; вдали видно изверженіе Этны; внизу народъ — надъ жерломъ вулкана стоитъ Алиссія съ Цампою, и за молитвою народа слѣдуетъ ужасный финалъ, во время котораго Алиссія бросаетъ Цампу въ жерло Этны.

Насилу дописалъ содержаніе оперы.

Сегодня я читалъ Велтманова «Кащея»: началъ со второй, прочиталъ ее и третью часть, теперь дочитываю первую; такъ случилось, но все равно! — До половины втораго тома онъ описываетъ предковъ своего героя, а дальше—чортъ знаетъ что̀! У него мѣстами встрѣчаешь прекрасный образъ выраженія, но все это не сосредоточено никакимъ господствующимъ чувствомъ, точно какъ и всѣ событія романа не липнутъ ни къ какому главному событію. Чортъ знаетъ, что за вепегретъ!

Началъ между тѣмъ читать: «Seltsame Leiden eines Theater-Director's. »Прочелъ еще только нѣсколько страничекъ и нашелъ уже много кой-чего по душѣ, хотя иныя нѣмецкія выходки и сдѣлались въ наше время пошлы. Но какъ виденъ Гофманъ въ каждой бездѣлицѣ, въ изображеніи Des Braunen и т. п.! Я еще очень мало прочелъ.

Въ моей головѣ бродили эту недѣлю фантазіи и замыслы, почти уже оставленные мною по обыкновенію. Мнѣ хотѣлось написать лирическую драму или драматическую фантазію — назови, какъ хочешь. Главное дѣло въ томъ, что самая идея, меня преслѣдовавшая, пред-

ставилась мнѣ не въ драматической формѣ, т. е. не событіемъ, а просто чистою идеей. Вслѣдствіе этого, чтобъ развить эту идею въ драму, нужно бъ было придумать событіе, — придумываніе уничтожаетъ поэзію. Вотъ, почему я не рѣшаюсь писать драмы, хотя вымыселъ началъ было составляться для нея.

Нужно ли сказывать, что намѣреніе это рождено музыкою Цампы? что Алиссія *y entre pour quelque chose?* Вотъ мысль моя: душа юноши, способнаго ощущать прекрасное, полная нѣкогда высокими вѣрованіями, любовью къ жизни — упала, убита людьми, разочарова жизнью. Міръ одѣлся для него туманнымъ покровомъ, онъ самъ остается себѣ. Но что же въ этомъ внутреннемъ мірѣ, въ немъ самомъ? Прекрасныя вѣрованія погибли, блаженная способность любить исчезла невозвратно — въ этой духовной смерти онъ окруженъ всѣми призраками жизни, толпою юношей, блестящимъ обществомъ.... Его интересъ пробужденъ нѣсколько однимъ существомъ. Не знаю, какъ могъ бы я его представить, но оно мнѣ понятно; не кипучая страсть юноши должна развиться изъ этого интереса — нѣтъ! онъ отжилъ время идеаловъ. Сначала *таинственное* этой дѣвы волнуетъ его чувство.... она спокойна, холодна, почти весела среди людей; но ничто ее не увлекаетъ, она ничего не ищетъ, она кажется равно довольною всѣмъ, что̀ ее окружаетъ. Только мраморная бѣлизна лица, на которомъ рѣдко, рѣдко загораетъ румянецъ.... не слѣдъ чувства, но необходимое броженіе крови, только эта блѣдность заставляетъ сомнѣваться въ ея полномъ счастіи.... Нѣсколько словъ заставляютъ его подсмотрѣть сокровище души ея, и съ нимъ она чужда обыкновеннаго, холоднаго

поведенія. Она довѣряетъ ему нѣкоторыя мысли, которыхъ нельзя повѣрить толпѣ.... но не болѣе; онъ не видитъ въ ней любви. Между тѣмъ она видимо истаеваетъ, видимо удаляется изъ жизни, и, вмѣстѣ съ этимъ все существо ея возвышается, языкъ имѣетъ бо́льшую торжественность: она, кажется, видитъ свой гробъ и постигаетъ его тайну... Она поетъ ему загадочную пѣсню — убитыя чувства юноши проснулись, старыя, мистическія идеи пробѣжали по душѣ... но она, съ ея тайною, овладѣла его душою. Холодность скорѣе всего способна пробудить любовь; но это, повторяю, не пылкая, юношеская любовь. Я представляю ее себѣ точно такимъ чувствомъ, которое раждаетъ странная, печальная музыка... Предъ смертнымъ часомъ она къ нему нѣжнѣе, она даетъ ему цѣловать бѣлую мраморную руку; въ тихомъ изступленіи, почти въ помѣшательствѣ, покрываетъ онъ ее поцѣлуями—и она вновь должна пробудить въ немъ идею замогильной жизни, ибо она будетъ тамъ. И часъ пришелъ! И святые остатки святаго существа преданы землѣ! — Тайна не умерла съ нею: она ее высказала юношѣ; она высказала юношѣ откровеніе, прорекшее ей:

Тебѣ все чувствовать дано,
Но жизнью ты не насладишься.

(Веневитиновъ)

Въ часъ разсвѣта другъ находитъ его безмолвнаго на могилѣ; другъ его спрашиваетъ — онъ молчитъ, другъ хочетъ вести его — онъ безмолвствуетъ, онъ покорно идетъ за нимъ. Слова дружбы, видъ друга пробуждаютъ его нѣсколько, онъ улыбается, показываетъ на гробъ и молчитъ...

Словомъ—голова его сдѣлалась *сочетаніемъ противныхъ образовъ*, какъ говоритъ Байронъ, или онъ съ ума сошелъ, какъ говоримъ мы, порядочные люди... Но эта фантазія едвали въ ходъ пойдетъ.

... Над. предложилъ мнѣ написать оперу: музыку хочетъ писать В. Писать на заданную тему не ловко; впрочемъ мнѣ придется написать только нѣсколько арій, дуэтовъ, квинтетовъ и т. п.—Можетъ-быть я это и сдѣлаю, если буду чувствовать тѣ положенія, которыя они мнѣ дадутъ...

Что̀ тебѣ сказать о нашихъ bürgerlichen Dramen?.. Я веду себя довольно благоразумно. (NB: я не писалъ къ тебѣ, что я вздумалъ учиться по-польски, случайно познакомившись въ нашимъ Сав. — и уже очень довольно понимаю.)

Въ другое время увѣдомлю тебя о моихъ занятіяхъ и о планахъ на будущность, т. е. на то время, когда я окончу курсъ.

Въ пятницу даютъ у насъ «Тасса.» Интересно!

25.

15 декабря.

Что за мученье! Цѣлый день голову ломитъ, цѣлый день мутитъ и тошнитъ; только къ вечеру, слава Богу, полегче стало! Богъ знаетъ, что̀ это такое, можетъ-быть общая болѣзнь — повѣтріе. Надѣюсь, что завтра этого не будетъ...

Мел... просилъ меня навѣстить его; онъ и Ш... меня приняли очень ласково, съ участіемъ. Я сердечно радъ, что могу поддержать это знакомство — повѣрь, другъ мой, изъ людей совершенныхъ, т. е. не юношей,

тинные люди! Вездѣ, у всѣхъ въ лѣта мужества, эгоизмъ вытѣснилъ всѣ благородныя побужденія, опытность загасила душевный огонь, и не знаю, что̀ охладило усердіе этихъ господъ къ наукамъ? Въ нихъ я вижу умныхъ, опытныхъ людей, полныхъ еще высокаго жара юности, людей, невозвратно отдавшихъ жизнь наукамъ и сохраняющихъ любовь ко всему прекрасному. Каковы бы ни были ихъ мнѣнія, одно это должно привязать къ нимъ всякую чуждую мелкаго эгоизма душу! Но я, раздѣляя издавна во многомъ (не говорю— образъ мыслей: наши образы мыслей вровень становить нельзя, я еще далеко отсталъ отъ него въ образованіи) чувства Мел., долженъ всею душею привязаться къ нему и къ его доброму товарищу, котораго я еще не знаю очень коротко, какъ перваго, но который принимаетъ во мнѣ не меньшее участіе.

Что онъ Гекубѣ, иль ему Гекуба?

А между тѣмъ онъ всею душою радъ быть мнѣ полезнымъ. Я говорилъ имъ о намѣреніи моемъ писать для Над. исторію театральнаго искусства. Они обѣщались доставить мнѣ многіе матеріялы. Ш... совѣтовалъ мнѣ писать о живописи, вопервыхъ потому, что для исторіи этого искусства несравненно болѣе матеріяловъ и матеріяловъ очищенныхъ, такъ что обработка ихъ не стоитъ большаго труда; вовторыхъ потому, что свѣдѣнія по этой части могутъ принести мнѣ пользу: я буду имѣть понятіе о различныхъ школахъ живописи, о тѣхъ произведеніяхъ, которыя въ будущій мой вояжъ должны обратить на себя мое вниманіе. Но я не такъ знакомъ съ живописью, я еще очень мало знаю ее на дѣлѣ, а писать исторію ея въ такомъ случаѣ совѣстно. Къ тому же театральное искусство имѣетъ для меня осо-

бенную прелесть, какъ искусство мною любимое и какъ искусство высокое, но неблагодарное.

Какъ бы то ни было, я желаю воспользоваться случаемъ ознакомиться съ исторіею живописи и убѣждаю Красова взять этотъ предметъ для своей диссертаціи. Онъ каждый день почти ночуетъ у меня, и я буду перечитывать всѣ его матеріялы, которые достану ему отъ Ш...

Я прочелъ «Seltsame Leiden eines Theater-Directors», Гофмана, купилъ книгу и покуда читалъ, вертѣлся взявшись за носъ, на подобіе молодаго человѣка, о которомъ ты разказывалъ анекдотъ у П... Чудная книга! Она должна быть настольною книгой у театральныхъ деректоровъ. Какъ радъ былъ я встрѣтить здѣсь все, что̀ душа моя издавна таила! Вотъ человѣкъ, который понималъ театральное искусство въ высочайшей степени! Съ такими понятіями директоръ можетъ возвысить сцену до художественнаго произведенія. Мел... говоритъ мнѣ, что время драмы и театровъ проходитъ, и представлялъ на это остроумныя причины, но я съ нимъ не согласенъ. Мнѣ кажется, наступаетъ время возвыситься театру. Искусство не погибнетъ, не достигши возможнаго развитія. Сколько интереснаго прочту я на Рождество, какое прекрасное время для меня будутъ праздники! Дай Богъ только, чтобъ я былъ здоровъ. Не помню, писалъ ли я къ тебѣ, что пріятель твой Кирѣевскій издаетъ болѣе 1000 русскихъ пѣсень и стиховъ, которыя поются нашими нищими. Какое драгоцѣнное собраніе! Нѣсколько пѣсень будетъ напечатано въ «Денницѣ.» Я видѣлъ нѣкоторыя листки ея. Эти пѣсни чудесны. Вотъ еще достоинство: онъ, кажется, безъ

Если успѣютъ переписать, пошлю къ тебѣ мою фантазію [1]), душевную фантазію, безъ дальныхъ претензій. Я не пишу ничего, не чувствую потребности,— это такъ выдалось. Еслибъ я влюбился, то можетъ-быть сталъ бы писать... Знаешь, что̀ пришло мнѣ въ голову?—Я долженъ благодарить Бога, что не люблю. Почемъ знать? Можетъ-быть судьба ведетъ меня, какъ говоритъ Мар. Аф. Я мелкимъ чувствомъ довольствоваться не могу; для высокаго чувства нужна женщина съ высокими достоинствами. Эти достоинства раждаютъ дѣятельную, зиждущую любовь. Жизнь моя станетъ стремленіемъ къ одной цѣли — быть достойнымъ ея. Еслибъ я любилъ теперь, это меня бы преобразило, но оставило потомъ одну память счастія. Вѣдь моя половина души должна имѣть не менѣе 15 лѣтъ, а мнѣ 20; черезъ 5 она совершенная дѣвушка, а я не совсѣмъ мущина, и буду можетъ-быть еще далеко. Почему знать? Можетъ-быть, года черезъ два, черезъ три, Христосъ укажетъ мнѣ созданіе любви; вояжъ мой будетъ огненнымъ испытаніемъ чувства; нѣсколько лѣтъ и нѣсколько тысячъ верстъ должны упрочить его и поручиться за него, и тогда другъ твой счастливъ! Тогда приходи ко мнѣ, другъ мой, чай пить.—О любовь, любовь! Когда настанетъ царство нашего Христа, Бога и друга человѣка!

O dass wir von so ferner, ferner Zeit
Und nicht von heute, nicht von Morgen sprechen.

Цѣлую тебя. Христосъ да благословитъ тебя!

---

[1]) Вѣроятно одну изъ двухъ стихотворныхъ фантазій, тогда уже написанныхъ Станкевичемъ—«Раскаяніе поэта» или «Ночные духи», и, по нашей догадкѣ, послѣднюю. *Пр. изд.*

30.

1 декабря.

Главное въ письмѣ твоемъ — это твои планы. Исполни ихъ, другъ мой, если имѣешь средства; ты сдѣлаешь богатый подарокъ Русскимъ. Вникни въ факты, отбрось любимыя даже идеи, которыя могли бъ увлечь тебя и дать ложный смыслъ фактамъ; изъ однихъ данныхъ выведи твои заключенія, твердо и смѣло. Тогда не одно знакомство съ матеріялами будетъ для насъ выгоднымъ слѣдствіемъ трудовъ твоихъ, а и самый взглядъ твой. Пиши долго, нѣтъ нужды! Слава Богу, что ты, чистый сердцемъ, берешься за это дѣло, а не кто другой. Что̀ касается до меня, то я скоро примусь за диссертаціи. Опера, о которой я фантазировалъ, была минутнымъ порожденіемъ Цампы — и сгибла! Цампу видѣлъ я и въ третій разъ — взоромъ болѣе критическимъ. Музыка мѣстами слишкомъ легка, но мѣстами имѣетъ чудную власть надъ моей душой. Вмѣсто всего фантастическаго, что̀ я тебѣ писалъ, я набросалъ коротенькую фантазію въ прозѣ, чтобъ чѣмъ-нибудь успокоить себя; скоро кончу ее и пришлю тебѣ. Послѣ этого, я надолго прощусь съ областью чистыхъ мечтаній. Каченовскій еще не давалъ намъ темъ; но я непремѣнно намѣренъ писать что-нибудь о Новгородѣ, или его торговлѣ. Описаніе торговли и отношенія голландскихъ городовъ въ Шиллеровой исторіи «Отпаденія Нидерландовъ» увлекло меня: я воображаю, какъ много можно открыть любопытнаго въ исторіи сношеній Новгорода, принявъ за основаніе достовѣрные факты и держась ихъ добросовѣстно. Для этого предмета есть

женіе въ безсущной пустотѣ перваго періода русской исторіи. — Узнай: есть-ли у Грефа новое изданіе Сарторіусовой «Исторіи Ганзейскаго союза» съ актами?

Надеждину я буду писать: или историческое разсужденіе *о связи изящныхъ искусствъ съ религіею*, или историко-теоретическое: *о театральномъ искусствѣ*.

Несмотря на дѣтскую обработку, «Тассъ» Кукольника показываетъ и талантъ, и любовь къ искусству. «Тассъ», котораго давали здѣсь, принадлежитъ, кажется, Кирѣеву. Вообще онъ не понравился; *я не долженъ имѣть свое сужденіе имѣть* — я подозрѣваю себя, что я увлекся: ибо одна какая-нибудь идея, мимоходомъ запавшая въ душу, можетъ для зрителя проникнуть пьесу и представить ее совсѣмъ въ иномъ свѣтѣ, нежели какова она въ самомъ дѣлѣ. Тассъ мнѣ понравился! Нужно ли говорить о томъ, что это не геніяльное созданіе, которое овладѣваетъ душою и преслѣдуетъ ее долго? Но пьеса не такъ ничтожна, какъ думаютъ иные. Причина ея неуспѣха (такъ думаю я послѣ перваго представленія: повторяю, можетъ-быть, я увлекся) мнѣ кажется въ томъ, что для уразумѣнія ея надобно имѣть чувство болѣе тонкое, нежели чувство толпы. Да, есть общее чувство, какъ общій здравый смыслъ! Всякій здравый смыслъ пойметъ, что дважды два четыре; но не всякій возвысится до разумѣнія великихъ истинъ, столь же ясныхъ для нѣкоторыхъ умовъ, какъ и общедоступная $2 \times 2 = 4$. Фердинандъ, приходящій отравить Луизу, убѣжденный въ ея вѣроломствѣ и становящійся рядомъ съ нею, пробудитъ, поразитъ всякое чувство — уже однимъ своимъ положеніемъ, неговоря объ отдѣлкѣ поэта. Но Тассъ, навѣщаемый Монтанемъ въ темницѣ, Тассъ, умоляющій, чтобъ

Леонора усыпала трупъ его *розами*, *пышными розами*, Тассъ на колѣняхъ передъ гробомъ Виргилія и свиданіе его съ старымъ учителемъ наканунѣ тріумфа и смерти — тронутъ только того, кто понимаетъ, что художникъ можетъ любить, уважать, какъ художникъ. и что̀ значатъ священныя связи любви и дружбы! К. Б. недовольна тѣмъ, что одною перемѣною декораціи сцена переносится за 200 верстъ; г. N. N. — тѣмъ, что Тассъ умираетъ одинъ; г. Х. Х. — тѣмъ, что онъ умираетъ въ монастырѣ. По моему отступать отъ исторіи не къ чему; но если фантазія поэта нашла это нужнымъ, такъ тому и быть: цѣни пьесу въ себѣ, во внутренней ея организаціи; суди этотъ міръ по его законамъ, а не по законамъ міра дѣйствительнаго. Здѣсь введено, между прочимъ, прекрасное лицо: Леонора Скандіани, которая любитъ безнадежно Тасса. Въ послѣднихъ сценахъ онъ умираетъ въ монастырѣ на креслахъ; въ то время, когда черезъ стѣну совершаютъ литургію и органы играютъ, Леонора Скандіани входитъ, цѣлуетъ его, молится у ногъ его — и у ногъ его умираетъ. Пышный дворъ Альфонса и герцогиня Леонора спѣшатъ видѣть торжество Тасса: они входятъ и видятъ его умершимъ, и трупъ Скандіани у ногъ его! На меня это сильно подѣйствовало.

... Все, что̀ я писалъ къ тебѣ о***, было писано въ припадкѣ какого-то нравственнаго фанатизма, который подымаетъ насъ на ходули, возлагаетъ на носъ очки, увеличивающіе въ 1000 разъ... Она добрая дѣвушка и съ чувствомъ. Я теперь не безпокоюсь насчетъ ея и обращаюсь съ ней по прежнему.

Глазуновъ (Ник. Ник.) напечаталъ «Горе отъ Ума» очень опрятно: мѣстахъ въ трехъ, а можетъ-быть и

больше — я еще не все прочелъ — безъ всякой нужды, отъ недосмотра, выпущено по цѣлому стиху. Да еще какая странность: ценсоръ не пропустилъ здѣсь многаго даже изъ того, что̀ пропущено на сцену! Л. Ал. почтенный старается! — Максимовичъ издаетъ на будущій годъ «Девицу»; на его приглашеніе и я отдалъ ему двѣ пьесы въ стихахъ: «*Фантазія*», которую ты уже знаешь, и другую: «*На могилѣ Эмиліи*». Въ послѣдней Ц... дѣлалъ такія смѣшныя привязки, что едва можно вѣрить, напр. въ одномъ мѣстѣ я назвалъ человѣка *земнымъ богомъ* и потомъ *прахомъ*; онъ говоритъ: какъ можно Бога прахомъ называть? Между тѣмъ явно, что дѣло идетъ про человѣка. Собранія наши начались. Я не танцовалъ въ это собраніе, потому что было людно, и я всегда боялся потерять даму. Ефр. три раза ангажировалъ N. и три раза не находилъ vis-à-vis. Я не хотѣлъ терпѣть подобнаго позора и не танцовалъ. Мы очень мирно бесѣдовали съ П*:-она вовсе не опасна. П—у я очень часто видѣлъ. Представь себѣ: я взялъ съ нея манеру пустыхъ людей, и началъ увѣрять, что лучше ея стиховъ ничего въ мірѣ не знаю. Въ собраніе начала выѣзжать еще одна дѣвица-поэтъ: добренькая дѣвочка, не совсѣмъ дурна, — но также бредитъ геніемъ, поэзіей и т. п. Скучны и собранія наши! — Смѣшно, а правда: съ дѣтства привыкъ я на балѣ ожидать сверхестественнаго, какой-то важной катастрофы въ жизни, — думаешь случайно встрѣтиться съ единственнымъ созданіемъ, которое совершенно наполнитъ душу! Еще прошлый годъ сохранялъ я это чувство въ собраніи; нынѣшній — годъ опытности, годъ хорошаго познанія — я отъ всей души смѣюсь надъ этимъ ожиданіемъ, и не стану

ѣздить во всякое пустое собраніе: они мнѣ надоѣли! А propos, про стихотворенія женскія! Стихотворенія Тепловой прекрасны; разумѣется, это не абсолютное изящество стиховъ мущины; ея стихи не могутъ быть могучи, не могутъ поразить душу, возмутить ее отъ самой глубины, но это истинное чувство; рѣдко, рѣдко встрѣчаешь претензію на званіе поэта — и тò это не претензія, а простодушная вѣра въ свое назначеніе. Какъ-то довелось мнѣ говорить объ этомъ съ К. Б.: она спросила меня про «Фантасмагорію» Ш—ой, (стихотвореніе съ нелѣпыми претензіями). Ты знаешь, какъ не люблю я съ дѣвчонками говорить о подобныхъ вещахъ. Я отвѣчалъ ей, что «Фантасмагорія» Ш—ой хороша. — «А стихотворенія Тепловой?» — Прекрасны, безъ малѣйшихъ претензій! — Тутъ-то напустились на меня, будто бы я хотѣлъ сказать, что стихотворенія Ш—ой съ претензіями. На силу отмолился!

Вотъ тебѣ милліоны новостей. Будь здоровъ. Христосъ да будетъ съ тобою.

27.

17 декабря.

... Я говорилъ про «Тасса» Кирѣева, и въ немъ изъяснялъ сцены, а не про Кукольникова. Про послѣдняго я сказалъ только, что онъ не такъ дуренъ, какъ ты о немъ говоришь, и что въ авторѣ видна любовь къ искусству. Впрочемъ и Кирѣева «Тассъ» не совсѣмъ Тассъ!

Гётева «Тасса» я прочелъ недавно: онъ схватилъ нѣкоторыя черты поэта — и схватилъ превосходно!

Несмотря на греческую безцвѣтную обработку, Тассъ его увлекаетъ.

Радъ, что ты соглашаешься со мной въ Каратыгинѣ. Онъ имѣетъ рѣдкія достоинства, но неидеальность его въ комнатѣ ручается за неидеальность на сценѣ; онъ весьма хорошій актеръ, но далекъ до художника, точно такъ какъ многіе изъ нашихъ хорошихъ стихотворцевъ не заслуживаютъ вполнѣ имени поэта. Помнишь, что̀ говоритъ Гофманъ о средствахъ вынудить рукоплесканія? Каратыгинъ безпрестанно употребляетъ эти средства, хотя онъ выбираетъ тоньше, нежели Мочаловъ. Каратыгинъ многое понимаетъ, но... не понимаетъ главнаго: святости искусства. Правда, Гофманъ извиняетъ въ этомъ отношеніи актеровъ: они строятъ не для вѣчности и болѣе, нежели другіе художники, имѣютъ право на исканіе! Такъ... но сердце мое не лежитъ къ такимъ актерамъ!...

1834.

28.

Москва, 2 января.

... Слава Богу, ты живъ, здоровъ, и я могу тебя поздравить съ Новымъ годомъ и пожать въ мысляхъ руку твою!... Напишу тебѣ вопервыхъ, какъ я встрѣтилъ Новый годъ: ни скучно, ни весело! Наканунѣ бала въ собраніи, въ субботу, танцовалъ я въ первый разъ на балѣ у О. Я очень радъ былъ этому

знакомству, тѣмъ болѣе, что хозяинъ очень добрый человѣкъ, какъ кажется; а хозяйка, сколько я могъ замѣтить изъ ничтожнаго разговора съ нею, деликатная и умная дама. Ночевалъ я у Бр., проплясавши до 3 часовъ; на другой день, передъ собраніемъ, пріѣхалъ я къ Бр., сталъ жаловаться Мар. Аф., что давно не получаю отъ тебя писемъ; она, злодѣйка, выдумала сказать мнѣ, что это значитъ, будто ты *въ дорогѣ*. Я этому совершенно не вѣрилъ; но мысль эта такъ запала мнѣ въ голову, что я сталъ искать тебя въ собраніи. Мысль эту еще болѣе развилъ Красовъ, способный вѣрить всему чудесному. Онъ просто уже надѣялся, что я изъ собранія приведу тебя чай пить. — Боже мой! Ты представить себѣ не можешь, какъ эта увѣренность съ его стороны на меня дѣйствовала! Я видѣлъ, что это мечта, но она мнѣ нравилась, очищала мнѣ душу своею торжественностью. Что̀, если-бы ты въ самомъ дѣлѣ захотѣлъ сдѣлать этотъ сюрпризъ? въ 12 часовъ ночи, при звукѣ трубъ, открыть другу лицо свое и поплакать сладкими слезами въ первое мгновеніе Новаго года? Но едва подышалъ я тлетворнымъ воздухомъ собранія, едва вглядѣлся въ ничтожныя лица посѣтительницъ и въ пѣтушиныя физіономіи посѣтителей, — мечта моя погибла! Вдругъ къ П... подходитъ мущина твоего роста, въ коричневомъ домино и въ длинномъ капишонѣ — я вздрогнулъ, но это былъ одинъ изъ его знакомыхъ. С., П..., Еф. развлекли меня, не то̀ — я повѣсилъ бы носъ, или просто ужасно разсердился. Во все собраніе я протанцовалъ только одинъ кадриль съ Н. А., а больше ничего и ни съ кѣмъ. Передъ полночью, Акс..., Ш... и я случайно встрѣтились и стояли вмѣстѣ. «Этому ка-

дрилю кончиться въ будущемъ году,» подумалъ я — и барабанъ ударилъ. Я стоялъ еще въ молчаніи, пораженный этимъ ударомъ... Ш... первый поздравилъ меня... Посыпались поздравленія, началось шарканье и проч., но все это продолжалось какъ-то не долго, скоро начали играть кадриль... Прежде это мгновеніе было какъ-то священнѣе — нѣтъ, оно было освящено! Но и теперь звукъ трубъ поразилъ меня: много торжественности въ этой минутѣ!..

... Вчера видѣлъ я Мел., Ш... и Пав... Я довольно часто у нихъ бываю... Что̀ касается до моего путешествія, то я едва намекнулъ о немъ папенькѣ, но во что̀ бы то ни стало, выпрошу его позволеніе. Не безпокойся, мы непремѣнно съ тобой увидимся — это одно условіе, подъ которымъ я рѣшусь оставить Россію; увидимся непремѣнно!

Когда путешествовать, еще не рѣшено. Ш... совѣтуетъ мнѣ ѣхать вскорѣ по окончаніи курса; по моему разсчету, самый скорый отъѣздъ совершится не ранѣе какъ черезъ годъ, а прежде я намѣревался черезъ два, которые папенька даритъ мнѣ на магистерство — впрочемъ онъ для меня сдѣлаетъ все. Мнѣ нужно бы и поучиться до отъѣзда. Я стыжусь своего невѣжества во многихъ вещахъ, да и хочется пожить въ Россіи, на волѣ, безъ стѣсненій ферульныхъ... Да еще хорошо ли кончится курсъ?

Не читалъ я Бальзаковыхъ «Treize» — теперь прочту. «Peau de chagrin» читаю завтра. Но скажу тебѣ напередъ, что изъ многихъ повѣстей Бальзака привыкъ его считать не выше, какъ *образованнымъ, не безъ чувства, человѣкомъ*, но безъ искренности, безъ глубины. Нашего Одоевскаго я начинаю очень любить.

Его «Насмѣшка мертваго,» напечатанная въ Денницѣ — оазисъ среди пустыни этого альманаха — приводитъ меня въ восторгъ своимъ пророческимъ тономъ, своимъ фантастическимъ (истинно-фантастическимъ) колоритомъ... Говорятъ, онъ много печатаетъ: давай-то Господи! «Аскольдову Могилу» я прочелъ, скрѣпясь, хотя мнѣ мало времени читать подобныя вещи. — Что̀ это? Тол... Вальтеръ-Скоттъ въ сравненіи съ Зг-мъ! Брамбеуса я еще не читалъ. До сихъ поръ я перечитываю Шлегеля 1-й томъ «Драматургіи,» 17-й Бартелеми, гдѣ онъ говоритъ о греческомъ театрѣ; читалъ латинское предисловіе къ Софоклу... скоро стану писать о греческомъ театрѣ, потомъ и о новыхъ скажу кое-что.

Какъ интересны всѣ твои встрѣчи! Какъ много фантастическаго въ лицахъ, тобою описанныхъ, и въ происшествіяхъ съ тобою! Твоя пѣвица очень занимаетъ меня. Подобныя загадки — загадки души — пробуждаютъ ее отъ усыпленія; но то, что̀ даетъ ей крылья, другъ мой... когда мы этого добьемся? Кто дастъ намъ любви?

29.

15 января.

Сію минуту съ первой лекціи Шевырева. Онъ обѣщаетъ много для нашего университета съ своею добросовѣстностью, своими свѣдѣніями, умомъ и любовью къ наукѣ. Это честный профессоръ. Дай Богъ, чтобы онъ подержался у насъ долѣе. Онъ долженъ, кажется, уничтожить и безотчетный трансцендентализмъ нѣкоторыхъ изъ нашихъ собратій, и вмѣстѣ съ этимъ

пробудить вѣрованіе въ науки въ тѣхъ, которые, досадуя на рьяныя ристанія *тройки* въ безсущной пустотѣ, всюду порывающейся и всюду претыкающейся, предаются скептицизму. Многимъ студентамъ ни отъ чего ни тепло, ни холодно; они во всемъ влекутся за большинствомъ—эти по крайней мѣрѣ изъ самолюбія станутъ уважать честнаго профессора и заниматься. А тамъ, можетъ-быть, способность воскреснетъ въ иномъ изъ нихъ...

... Ты все еще недовольно благоразуменъ въ петербургскомъ смыслѣ, сколько ни хвалишься. Пожалуйста, дѣйствуй на службѣ понастоятельнѣе. А то вѣдь тактика этихъ гг. служакъ извѣстна: смиренъ, трудолюбивъ — души дѣлами и награждай обѣщаніями!

Вчера былъ у Мел. Онъ игралъ мнѣ увертюру и нѣсколько арій изъ Донъ-Жуана: это прелесть—хотя фортепьяно его ни на что не похоже. Какъ бы хотѣлось мнѣ слышать его въ оркестрѣ!

Нав. и Ш... познакомили меня недавно съ кн. Г—ой и я плясалъ у нея. У нея было очень *одушевлено*, какъ говорится. Кавалеры милы, дамы... тоже довольно милы. Это прекрасное общество... но, увы! я все болѣе и болѣе сознаю, что это не моя атмосфера.

Ты вѣрно читалъ кое-что изъ № 1 «Библіотеки для Чтенія». Боже мой! Что̀ это? Такъ какъ это журналъ литературный, то, прочитавъ безжизненное стихотвореніе Пушкина и чудь живое Жуковскаго, я, чтобы видѣть направленіе его, взглянулъ въ отдѣленіе критики. Кажется, это подвизается Сенков. Онъ спрашиваетъ наприм. должно ли въ исторической драмѣ нарушать свидѣтельства исторіи? Воображеніе дѣйствуетъ,

толкуютъ о Кукольникѣ — бѣда! Великій Байронъ! великій Кукольникъ! Если К. не такъ слабъ душою, чтобы могъ обольститься лестью, то онъ долженъ негодовать; если онъ доволенъ — пропалъ поэтическій талантъ, который я въ немъ допускалъ.

Бальзака «Peau de chagrin» я прочелъ. Тамъ два характера: la comtesse Fedora et Pauline. Первая — прямая русская свѣтская женщина и характеръ ея превосходно развитъ. Помнишь — въ театрѣ Рафаэль ждетъ, чтобы музыка вырвала признаніе изъ груди ея, но волшебные звуки не проникаютъ этой груди; Ѳедора разсѣянно блуждаетъ глазами по ложамъ, остановитъ ихъ на немъ съ обыкновенною своею улыбкою — и только... Прекрасныя черты! Жаль только, что Бальзакъ никого не слыхалъ, кромѣ Россини, или, не смѣю сказать... не умѣетъ чувствовать Моцартовской и Бетговенской музыки! Несмотря на искусство, съ которымъ волшебная сила талисмана согласована съ обыкновеннымъ ходомъ дѣлъ, волшебство пустое, основанное на пустомъ повѣрьѣ и окруженное дѣйствительною жизнью, разрушаетъ все очарованіе. Видишь, что и въ минуту одушевленія вѣра въ истину созданія не могла наполнить душу автора. Другое дѣло фантастическія повѣсти, гдѣ все недѣйствительно, или гдѣ сверхестественное имѣетъ основаніемъ какую-нибудь идею! «Le Roi s'amuse» давно читалъ — эффектно, изысканно! Послѣ «Marion Delorme», Гюго не написалъ ничего сноснаго въ этомъ родѣ. «Marie Tudor» я еще не читалъ...

... Да! въ «Библіотекѣ для Чтенія» тотъ же рецензентъ говоритъ, что на критику его нельзя возражать, ибо онъ судитъ по своему впечатлѣнію, а не по чужому — что, вмѣсто отвѣта, можно только написать свою особенную критику!...

40.

7 марта.

... Не безпокойся о моихъ развлеченіяхъ! Маслена прошла, и я вдался въ другую крайность — цѣлый день сижу надъ дѣломъ. Диссертація Надеждину кипитъ, и еслибы не скверная бумага, о которую безпрестанно притупляются перья, то она бы одушевила меня. Каченовскому стану писать *о причинахъ постепеннаго возвышенія Москвы до смерти Іоанна III-го.* Это одна изъ темъ, которыя предложилъ онъ для оканчивающихъ курсъ. Хотя это не любимый предметъ его, но онъ увидитъ, что̀ хорошо, что̀ дурно, и если найдетъ перваго больше, то охотно признаетъ это; а мнѣ выгода та, что я узнаю русскую исторію. Есть тема: *о исландскихъ сагахъ.* Каченовскій вѣрно думаетъ, что за нее возмется С*., но онъ намѣренъ писать: *о постепенномъ распространеніи Россіи.* Намъ съ нимъ по дорогѣ до смерти Іоанна III-го!

Душа моя такъ утомилась пустотою, что мнѣ теперь минуту горько пробыть безъ дѣла. «Руку Всевышняго» и прочелъ. Безъ сомнѣнія, авторъ мыслитъ, какъ слѣдуетъ Русскому, — чувства похвальныя! На каждой строкѣ видна преданность Престолу и Отечеству, но не достаетъ поэзіи: это проза, переложенная въ дурные стихи; нѣтъ связи, нѣтъ идеи; словомъ: если бы не похваль-

ныя чувствованія, то это была бы единственная чушь въ нашей литературѣ.

... Внѣшняя жизнь въ Москвѣ для меня такъ скучна, такъ горька, что упаси Боже.

41.

8 марта.

Все пишу, да пишу — надоѣло! Представь: три дести бумаги перемѣнилъ — все скверная, то перья тупитъ, то скользка, то промокаетъ; думаю, что диссертація Надеждину выйдетъ скверная.

Гебель велѣлъ мнѣ написать что̀-нибудь. Я положилъ на голосъ романсъ изъ «Разбойниковъ»:

Sey willkommen, friedliches Gefilde!
Nimm den letzten aller Römer auf!

Покажу ему; если удастся — пришлю тебѣ.

Запрещаютъ милому
Другу мнѣ писать. —

На почту требуютъ! — Жди скоро посланія.

42.

15 марта.

Ты удивляешься; ты, можетъ-быть, сердишься, не получая отъ меня писемъ такъ долго. Не удивляйся и не сердись! У меня прежестокая лихорадка, каждый день поутру, и я не могу ни читать, ни писать, ни думать. Теперь однакожь разрѣшаю на первое второе, и третье. Читаю по немножку. Началъ съ «Medecin de Campagne» Бальзака, потомъ перейду уже къ серіозному чтенію. Сегодня у меня нѣтъ пароксизма; надѣюсь, что лихорадка

пройдетъ. Пет. разкажетъ тебѣ о житьѣ-бытьѣ моемъ и о моей болѣзни, а я самъ писать долго боюсь.

Я увѣренъ, что тебѣ пріятно будетъ увидѣться съ Пет.; пріятно будетъ и знакомство его въ Петербургѣ. Онъ Москвичъ по душѣ. Прими его съ распростертыми объятіями и да будетъ Христосъ посреди васъ!

Болѣзнь даетъ мнѣ чувствовать всю цѣну здоровья, которымъ я надѣюсь воспользоваться очень хорошо, если Богъ возставитъ меня. Душа моя за болѣзнь начала какъ-то проясняться. Жди длинныхъ писемъ отъ меня.

12.

30 марта.

Слава Богу, болѣзнь моя, кажется, миновалась. Ты вѣрно получилъ уже записку мою отъ Пет., видѣлъ, выспросилъ его, наговорился съ нимъ о Москвѣ и о Москвичахъ. Я во время болѣзни моей *улучшился*: помыслы стали чище, душа свѣтлѣе, даже говорятъ, что я и собою похорошѣлъ! — Впрочемъ на душу мою имѣетъ удивительное вліяніе весна! Я теперь доволенъ собою, веселъ, потому что свѣтитъ солнце и вода течетъ по улицамъ. Рж. говоритъ, что счастье II* — лампы: когда зажгутъ много лампъ, она восхищена. Мое счастье — одна небесная лампа. Въ прекрасное весеннее утро, никакая душа не заграждена для природы; все существо человѣка наполняется любовью, и если я могу еще влюбиться, такъ влюблюсь не иначе, какъ весною. Теперь огонь этотъ — но я боюсь назвать его огнемъ: онъ такъ давно не горѣлъ въ груди моей, что я боюсь погасить его, говоря о немъ, —

эта теплота простирается на весь міръ, на всю природу. Дай Богъ, чтобъ нашлось существо, которое бы достойно замѣнило для меня красоту всего созданія, сосредоточило бы на себѣ и усилило бы святое, врожденное чувство любви! Странно подумать, другъ мой, что оно истощится въ тщетномъ стремленіи къ необъятному, къ безотвѣтному, или — что таинственный отвѣтъ этого необъятнаго наконецъ не будетъ слышимъ душѣ, требующей близкаго, видимаго, ощутительнаго! Чувство любитъ исповѣдаться и хочетъ, чтобъ его поняли; оно хочетъ сочетанія, оно живетъ сознаніемъ, — если не взаимности, то взаимности возможной! Не пожмешь руки великану, называемому вселенной; не дашь ей страстнаго поцѣлуя; не подслушаешь, какъ бьется ея сердце! Быть-можетъ, есть путь къ ней — но если есть, то онъ лежитъ черезъ бездну уничтоженія, а ей предшествуетъ подвигъ жизни! Кто же дастъ силы на этотъ подвигъ, кто освятитъ душу, да право идетъ она къ цѣли?...

Довольно объ этомъ. Судьба хочетъ, чтобъ всѣ мои фантазіи прерывались глупостью: сейчасъ былъ у меня ***.

Я читаю Карамзина и грамоты и Богъ знаетъ что! Кажется, диссертація моя будетъ на порядкахъ... Прощай, другъ мой, будь здоровъ! Пиши мнѣ, когда будетъ время; я ничего не могу тебѣ писать больше. Христосъ съ тобою!

22.

11 апрѣля.

Наконецъ я, слава Богу, совершенно здоровъ и началъ уже ходить въ университетъ.

... Началъ уже писать Каченовскому диссертацію: какъ-то удастся! Романсъ я оставилъ у Гебеля, онъ хотѣлъ кое-что исправить; съ маслены я не бралъ у него уроковъ по болѣзни; теперь же совсѣмъ ихъ оставлю за недостаткомъ времени.

43.

18 апрѣля, середа Страстной Недѣли

Пишу къ тебѣ передъ исповѣдью. Съ тобой хотѣлъ бы побесѣдовать въ эти минуты, очистить душу, отягщенную земными заботами даже и въ эти дни. Тяжко подумать: завтра долженъ я приступить къ таинству, котораго не въ состояніи обнять теперь; долженъ уровняться съ презрѣнными тварями, которыя *отбываютъ* говѣнье по долгу службы! Другъ мой, съ тобою былъ бы я достойнѣе Божественной пищи! Пусть передъ исповѣдью обрядною, душа моя облегчится другой исповѣдью: въ грудь твою полагаю я тягость души моей!

Сейчасъ читалъ я Евангеліе Іоанна. Сынъ человѣческій является мнѣ въ какомъ-то недоступномъ величіи; давно не испытывалъ я тѣхъ блаженныхъ минутъ, когда чувствуешь Его присутствіе въ душѣ! Только въ такую минуту прилично торжественнымъ обрядомъ запечатлѣть соединеніе съ Нимъ!

Меня прервали — сначала я сердился, но теперь отъ души благодаренъ: я успокоился, я поговорилъ нѣсколько о религіи, — говорилъ въ общемъ смыслѣ о томъ, что̀ тебѣ сказалъ бы прямо, и укрѣпился, и просвѣтлѣлъ. О, другъ мой! Я теперь понимаю религію! Безъ нея нѣтъ человѣка! Какой свѣтъ восходитъ для души, примиряющейся съ Божествомъ по-

средствомъ благихъ уставовъ религіи! Вся природа обновляется; тяжелые нравственные вопросы, не разрѣшимые для ума, рѣшаются безъ малѣйшей борьбы; жизнь снова одѣвается въ радужныя ткани, становится прекрасною и высокою!

На жизнь мою я смотрю теперь съ двухъ сторонъ, спрашиваю себя о двухъ вещахъ: въ чемъ уклонился я отъ долга? что̀ сдѣлалъ дурнаго? и — что̀ сдѣлалъ я хорошаго въ положительномъ смыслѣ? — Я не могу сказать, чтобъ я дѣйствовалъ противъ долга, но, кажется, слишкомъ давалъ волю эгоизму, и отъ этого постоянно неспособенъ къ высокости души, отъ этого былъ всегда недоволенъ собою. *Неискренность* — вотъ что̀ еще мучило меня; *das Schein* у меня часто противоположно *dem Seyn* (особенно въ обществѣ) — хотя и не изъ дурныхъ видовъ; а это даетъ дурное направленіе и раждаетъ опять недовольство самимъ собою...

Потомъ: что̀ же я сдѣлалъ хорошаго? Надобно или *дѣлать* добро, или *приготовлять себя* къ дѣланію добра, совершенствовать себя въ нравственномъ отношеніи, и потомъ, чтобы добрыя намѣренія не остались безъ плода, совершенствовать себя въ умственномъ отношеніи. Какое добро могъ я сдѣлать на моемъ мѣстѣ? увидѣть, взыскать въ кругу молодыхъ людей человѣка съ способностями, привязать его къ себѣ чистотою души, указать ему истинный путь, дать ему понятіе о чести, о религіи, о наукахъ — я ничего подобнаго не дѣлалъ. *Совершенствовать* душу? но моя упала! — *умъ?* но я для своего ничего не сдѣлалъ!

Что̀жь дѣлать въ такомъ случаѣ человѣку съ чувствомъ? Рѣшиться быть лучшимъ; но воля нуждается

въ опоръ. Да будетъ сею опорою Предвѣчная Любовь, Христосъ, съ которымъ готовлюсь я завтра запечатлѣть союзъ! Да будетъ Онъ со мною! Да благословитъ мой подвигъ! Таинство для меня будетъ имѣть значеніе. Молю Бога, да съ чистою душою предстану я во храмъ Его и да не въ судъ и во осужденіе пріобщусь Его тѣла и крови: огнь бо есть, попаляяй недостойная! Христосъ съ тобою, другъ мой!

16.

24 апрѣля.

Христосъ воскресе! Милый другъ мой, цѣлую тебя тысячу разъ! Прости, что я не успѣлъ отправить письма къ дню ангела твоего: я знаю любовь твою ко мнѣ, увѣренъ, что это тебя огорчило, и самъ мучусь. Еще разъ прости, другъ; отъ самой середы мнѣ не удалось быть свободнымъ!

Мы Святую встрѣтили хоть не больно весело, за то какъ будто человѣчески. До 12-ти часовъ мы съ Красовымъ не ложились: — сначала читали Шиллера, потомъ говорили, я вспоминалъ ему первую любовь свою, о которой тебѣ не одинъ разъ говорилъ. Это меня одушевило и настроило очень хорошо. Въ половинѣ 12-го мы вышли на дворъ и ходили съ трубками: погода была тихая, прекрасная; небо ясно и усѣяно звѣздами... За нѣсколько часовъ шелъ дождь... Вдругъ ударили колокола и вся Москва забалабонила. Къ намъ пришелъ Бѣлинскій и увлекъ насъ въ Кремль. Мы подходили къ Иверской и услышали пушки: Василій-Блаженный вдругъ озарился ихъ молніею, и ударъ раз-

сыпался по Кремлю. Пока дошли мы до мѣста, стрѣлять уже перестали, но мы издали слышали музыку и пальбу... возвратились къ заутренѣ къ Козьмѣ и Дамьяну. Потомъ я цѣлый день славилъ Христа и объдалъ у Мел... Вчера гуляли мы утро въ Кремлѣ, гдѣ пушки славили тезоименитство Императрицы. Потомъ я объдилъ у Акс., гдѣ имѣлъ случай видѣть пренаряднаго шута З—а. Что за чудакъ! Представь себѣ, у него есть претензія прослыть горячкою, энтузіастомъ, и онъ коверкается, бѣсится какъ Пиѳія и фарситъ...

Я началъ писать *повѣсть*. Надѣюсь скоро кончить и пришлю тебѣ. Диссертація моя еще не кончена; но авось, Богъ милостивъ, я съ него справлюсь.

13.

11 мая.

Наконецъ пишу къ тебѣ: вздоры, мелочи, хлопоты, диссертація — все это отвлекало меня. Знаешь ли, что̀ я скажу тебѣ? Богъ дастъ, по окончаніи курса, я отправлюсь въ Петербургъ въ послѣднихъ числахъ іюня или въ первыхъ іюля, туда ѣдетъ и папенька: тогда-то мы съ тобой потѣшимся! На душѣ моей такъ много лежитъ, я хотѣлъ бы свалить весь этотъ грузъ на твою душу. Мы побесѣдуемъ о планѣ жизни, мы заключимъ тотъ союзъ, котораго не могли заключить среди суеты московской, — союзъ дружбы и чести! Съ тобою прокатимся мы по Невѣ, полюбуемся на Каратыгина, посмотримъ Эрмитажъ, Казанскій-соборъ. Ты будешь моимъ путеводителемъ; а я, между тѣмъ,

занятія. Я съ наслажденіемъ думаю объ этомъ путешествіи. По дорогѣ я очень охотно заѣхалъ бы къ Б...., но какую роль я буду играть у нихъ? вѣдь въ женихи я не гожусь, а близкихъ отношеній между нами нѣтъ. Да, другъ мой, вездѣ отношенія! Что въ томъ, что я могу понимать высокую душу дѣвушки, что я желаю благоговѣйно преклониться передъ нею, что она можетъ мнѣ освятить душу? Если хочешь быть принятымъ съ почестью, вооружись мѣднымъ лбомъ, отращивай пузо, заведись хозяйствомъ и веди стороною дѣло о скукѣ жизни холостой. Но за что я ругаюсь? Право никто не виноватъ... Но мнѣ, другъ мой, пріятно будетъ, если они узнаютъ, что я проѣхалъ, но не заѣхалъ къ нимъ, *не имѣя чести* быть знакомымъ короче!

Душа моя! Мы побесѣдуемъ съ тобою. Лишь бы здоровье мое поправилось, а то все головная боль отзывается; боюсь, чтобъ Петербургъ не имѣлъ вреднаго вліянія на мой организмъ. Но во что бы ни стало — ѣду, ѣду!

Правила экзаменовъ нашихъ строги: число шаровъ дѣлится на число предметовъ, и смотря къ чему ближе подходитъ частное число — къ 4 или 3, выпускаютъ кандидатомъ, или дѣйствительнымъ студентомъ. У насъ 9 предметовъ: потому на кандидата дается 32 шара, на дѣйствит. студента 23. Если кто получилъ единицу, — остается, хоть бы у всѣхъ по 4, а у Давыдова въ одномъ изъ новыхъ и въ одномъ изъ древнихъ языковъ надобно получить не менѣе 3. Впрочемъ Богъ милостивъ: сладимъ! Вмѣсто единицы, вѣрно порядочному студенту будутъ ставить два. — Диссертацію Каченовскому переписываю. Ты вѣрно

читалъ мои стихи въ «Сынѣ Отечества». Представь, что за штука? Безъ моего вѣдома напечатали дрянные старые стишонки! Завтра въ «Молвѣ» выйдетъ письмо мое, прочти № 19. Очень радъ, мой другъ, что прекрасныя дѣвушки и почтенныя дамы назвали меня *небеснымъ!* А куда прилично былобы назвать меня *неземнымъ:* небо недосягаемо, а старыя мечты о немъ унизили землю въ глазахъ моихъ и сдѣлали неспособнымъ наслаждаться ея благами! Но названіе *небеснаго*, данное прекрасными дѣвушками, можетъ меня сдѣлать земнымъ — такъ слаба душа моя!

Къ тебѣ, къ тебѣ — въ Петербургъ! У меня въ головѣ множество проэктовъ насчетъ занятій передъ отъѣздомъ за границу, насчетъ путешествія, насчетъ жизни — ты все рѣшишь. Не знаю, отпустятъ ли и скоро ли отпустятъ меня за границу рождшіе. Я чувствую, какъ имъ должно быть больно разстаться со мною. Авось!

Общество, въ которомъ я бесѣдую еще о старыхъ предметахъ, согрѣвающихъ душу, ограничивается Бѣлинскимъ и Красовымъ: эти люди способны вспыхнуть, прослезиться отъ всякой прекрасной мысли, отъ всякаго благороднаго подвига! То, что я имѣлъ въ тебѣ, я стараюсь сложить изъ многихъ, но увы! *сложное существо* есть отвлеченное: сердца у него нѣтъ!

ПЕРІОДЪ ЖИЗНИ И СЛУЖБЫ СТАНКЕВИЧА

ДО ОТЪѢЗДА ЗА ГРАНИЦУ

1834 — 1837.

Письма къ Я. М. П—у.

1.

С. Удеревка, 27 августа.

Наконецъ, послѣ многихъ мытарствъ, достигъ я очаговъ отеческихъ. Уфъ! — Теперь, пообжившись здѣсь, я снова не въ состояніи понять, какъ люди могутъ жить въ городѣ, взаперти, отказаться отъ чистаго воздуха, отъ природы! Я мало-по-малу пріучилъ себя къ ней; не боюсь теперь ни стужи, ни жаровъ, купаюсь въ рѣкѣ, хожу по водѣ на охотѣ, ѣзжу на ялинкѣ у самъ правлю. Голова моя очень рѣдко претендуетъ за такія вольности, и кажется, что этими средствами я

отучу ее отъ обыкновенныхъ ея капризовъ, но... ты спросишь: кромѣ всего этого, что̀ же я дѣлаю?

Забытъ *студентскій* шумъ, товарищи и братья?
Спокоенъ и лѣнивъ!

Нѣтъ, есть-таки занятья! — Началъ читать Геродота, и одну книжку прочелъ: все некогда! Невольно вспомнишь Ал..., который на всѣ заботы дружескія, на всѣ совѣты отвѣчаетъ: эхъ, братецъ, ты не знаешь, что̀ значитъ жить въ семействѣ! Въ самомъ дѣлѣ, иная жизнь, хоть напр. ваша чиновническая, заставляетъ бросать занятія пріятныя для скучныхъ, а здѣсь пріятныя занятія добровольно бросаешь для пріятнѣйшихъ. Подъ часъ таки и гости и охота: вѣдь мы не въ глуши какой-нибудь живемъ... Представь мою досаду: забылъ взять атласъ изъ Москвы, — написалъ, а покуда пришлютъ, мнѣ трудно читать Геродота, по крайней мѣрѣ не такъ полезно. Есть множество подробныхъ описаній разныхъ мѣстечекъ, которыя нѣтъ надобности удерживать въ памяти: теперь, читая эти описанія, я только теряю время, а имѣя подъ рукою атласъ, я бы ознакомился съ положеніемъ разныхъ странъ, съ ихъ отношеніями, словомъ — изучилъ бы древній міръ въ географическомъ отношеніи. Чуть ли не подожду, а покуда займусь чѣмъ-нибудь другимъ.

Что̀ Петербургъ? что̀ нѣмецкій театръ? что̀ открытіе памятника? что̀ почтенный А. Г., которому съ семействомъ прошу сказать мое почтеніе и благодарность за всѣ ихъ ласки и одолженія Москвичу, избалованному дружбою и радушіемъ, оказанныя въ странѣ равнодушія и разсета? Что l'ultimo giorno di Pompeia, о которой Ш... a priori составилъ невыгодное мнѣніе,

отозвавшееся по обычаю въ головѣ Мел.? Они говорятъ, что картина основана на эффектахъ, что мысль представить на картинѣ мгновеніе неестественна, что вопервыхъ... но все это похоже на сужденіе знатоковъ о представленіи Донъ-Жуана въ «Fantasien-Stücke»; ты тоже сказалъ было сначала, но послѣ нашелъ, что здѣсь ничего нѣтъ противнаго сущности искусства...

Я веду аккуратную жизнь: встаю (т. е. просыпаюсь) въ 6; читаю на постели до 7 или до 8; пью чай, одѣваюсь и иду или на ахоту, гдѣ остаюсь до обѣда, или изъ флигеля, гдѣ живу, въ большой домъ. Тамъ пью кофе, потомъ сливки съ хлѣбомъ, сижу, дурачусь; потомъ завтракаю, потомъ читаю и ѣмъ какую-нибудь дрянь, потомъ часу во 2-мъ обѣдаю. Послѣ обѣда ѣмъ арбузы, дыни, которыхъ у насъ много и притомъ хорошихъ, — яблоки, груши, а болѣе всего черешни и бергамоты; наѣвшись до-нельзя, купаюсь, (что̀ дѣлаю и до обѣда иногда); потомъ вру, пью чай, читаю, или гуляю, ужинаю, а въ 10 часовъ, а иногда и въ 10-мъ, ложусь спать. Физически я начинаю поправляться. А нравственно? — кажется тоже. Я все болѣе и болѣе отдѣляю времени на занятія и благодаря чрезвычайной суши, истребившей дичь, уже не чувствую Sehnsucht къ охотѣ.

Я сижу во флигелѣ, гдѣ занимаютъ квартиры дядя и братья. Мнѣ отведены двѣ небольшія, но хорошенкія комнаты, въ концѣ флигеля, противъ дома. Передо мною прямо луга, поля, а налѣво — главное жилище. Комнаты мои сельскія, домъ недавно выстроенъ и потому не штукатуренъ, а вымазанъ — это имѣетъ свою прелесть, придаетъ видъ какой-то милой простоты. Одну комнату украшаютъ два зеркала, подъ

ними два маленькихъ шкафчика, верхъ которыхъ замѣняетъ столикъ, а средина наполнена книгами. Въ другой комнатѣ моя постель, портретъ папеньки, ружье, ломберный столъ и секретерка, которая мнѣ очень по вкусу. Вотъ тебѣ покуда описаніе моего житья, вотъ тебѣ ландкарта къ свѣдѣніямъ о моей жизни; жди теперь описанія внутреннихъ событій въ моемъ *я*.

2.

19 сентября.

Читая письмо твое, я принималъ участіе въ твоемъ евангельскомъ подвигѣ, благословлялъ честнаго Гюго, за нравственность котораго я всегда горячо спорилъ и который утѣшилъ меня мыслью, давно мнѣ приходившею въ голову, что всѣ бѣдствія современной Европы зависятъ отъ невѣжества большей части гражданъ; наконецъ я соприсутствовалъ высокому торжеству (открытію памятника), которое потрясло душу твою и которое ты высказалъ съ первою энергіею — благодарю!

Какъ я переносился въ Петербургъ! какъ досадовалъ, что не раздѣлю твоихъ наслажденій, не услышу Донъ-Жуана, не увижу Клеопатры, а какъ очаровательна въ этой роли Пейсаръ! не увижу Брянскаго, Крюгера, не увижу Шиллера, Шекспира! Какой отрадный шумъ долженъ быть по Петербургу, какъ весело разгуляться въ народѣ! Но... есть же вѣдь радости и у насъ. Я веду жизнь довольно аккуратную, рано ложусь, довольно рано встаю, очень рѣдко ѣзжу на охоту, очень много ѣмъ. Я тебѣ писалъ уже, кажется, о планѣ моихъ занятій: я его не измѣнилъ и ему не измѣнилъ.

Но такъ какъ мнѣ не высылаютъ до сихъ поръ атласа изъ Москвы, то я положилъ на время Геродота (прочитавъ первую книгу), и прочелъ нѣсколько мелкихъ историческихъ сочиненій Шиллера, которыя такъ живописны, такъ одушевлены, что я въ мѣсяцъ сдѣлалъ бы удивительные успѣхи въ исторіи, еслибы Шиллеръ вздумалъ самъ изложить ее всю. Прочелъ я «Систему Трансцендентальнаго Идеализма», понялъ цѣлое ея строеніе, тѣмъ болѣе, что оно было мнѣ напередъ довольно извѣстно; но плохо понимаю *цементъ*, которымъ связаны различныя части этого зданія, и теперь разбираю его понемногу. Не смѣйся! — это одушевляетъ меня къ другимъ трудамъ, ибо только цѣлое, только имѣющее цѣль, можетъ манить меня. Напримѣръ еслибы я не читалъ «Практической Философіи» Шеллинга, я бы никогда не принялся съ такою охотой за исторію, какъ примусь за нее теперь. Прошло время, когда блестящая мысль была для меня истиною; но потребность вѣры становится сильнѣе и сильнѣе, а постепенное воспитаніе человѣчества есть одно изъ сладчайшихъ моихъ вѣрованій. И какъ отрадно видѣть его въ согласіи съ бытіемъ природы, съ сущностію человѣческаго знанія, человѣческой воли! Только — или я худо понимаю Шеллинга, или мысли его о человѣкѣ оскорбительны! Полагая, что *натуральное* влеченіе одного человѣка (эгоизмъ) ограничиваетъ свободу другаго, онъ говоритъ, что прогрессивность въ исторіи есть улучшеніе общественныхъ отношеній (законовъ), т. е. улучшеніе средствъ противодѣйствовать эгоизму, уравновѣшиваніе эгоизмовъ чрезъ дѣйствіе и противодѣйствіе. Онъ исключаетъ изъ исторіи науки и искусства и допускаетъ только по степени ихъ вліянія

(больше вреднаго, по его мнѣнію) на правленіе. Мнѣ больше по сердцу мысль Гизо — представить въ исторіи постепенное развитіе человѣка и общества.

Но довольно. Можетъ быть, и очень можетъ быть, что я несправедливъ къ Шеллингу, не понимая его и говоря такія вещи. Онъ пробудилъ много интересовъ во мнѣ.

Я читалъ нѣсколько повѣстей изъ «Contes de Jacob Bibliophile à ses petits enfants». Что̀ это за прелесть, другъ мой! Прочти, ради Бога! Онѣ написаны безъ всякой нравственной цѣли, но въ нихъ чистая нравственность, и какъ вѣрно характеризована въ нихъ старая Франція, старый французскій дворъ! какъ живо представлены отношенія короля къ придворнымъ, отношенія принцевъ и принцессъ! Прелесть! И какіе уроки есть для дѣтей .....!

У насъ стояла сухая осень; теперь пошли дожди, холода̀ и морозы. — Хлѣбъ поправился, луга налились, и я предвкушаю поэзію ясныхъ осеннихъ дней. Въ семействѣ у насъ довольно весело, мы затѣваемъ спектакли, а въ январѣ я ѣду въ Москву. Тамъ братья — это болѣе всего похищаетъ меня у Питера.

Я намѣренъ держать экзаменъ на магистра, если успѣю хорошо приготовиться.

Я много обязанъ тебѣ и Петербургу: я началъ дорожить временемъ; теперь мнѣ совѣстно прошляться цѣлый день на охотѣ; я позволяю себѣ это не иначе, какъ отдыхъ или какъ поощреніе. За то и охотиться веселѣе, и болтать дома веселѣе. Ты—славный дядька!

3.

16 октября.

Вотъ третій рапортъ о моей жизни въ деревнѣ! Не обвиняй меня, если онъ содержаніемъ и формою будетъ слишкомъ сходенъ съ первыми: виновата жизнь моя — ровная, гладкая, сытая, слава Богу, — безъ головной боли и безъ большихъ сердечныхъ радостей. Даже спокойствіемъ, этимъ призракомъ счастія, я не вполнѣ теперь наслаждаюсь: у насъ ходятъ многія простудныя болѣзни и часто посѣщаютъ наше семейство; и теперь сестра моя нездорова, а потому я провожу бо́льшую часть дня у ея постели въ потѣшныхъ разговорахъ съ старухою теткою, и поучительныхъ съ лѣкаремъ. Но, Богъ милостивъ, она должна кажется вскорѣ начать оправляться. Я почти не ѣзжу на охоту; но, кромѣ ея, въ семействѣ многое отвлекаетъ отъ постоянныхъ занятій, и, не смотря на мое равностное желаніе, на твой добрый совѣтъ трудиться въ пользу просвѣщенія, я уделяю весьма мало времени на самообразованіе, что̀ постоянно оставляетъ во мнѣ дурное впечатлѣніе. Однако я прочелъ 6 книгъ Геродота и Систему Шеллинга, которую — простите, Я-ій М-чъ! — читаю во второй разъ; а почему и для чего, о томъ слѣдуютъ пункты. Я, кажется, рѣшился на первый случай особенно заняться исторіей, не то̀ чтобъ изъ непреодолимаго влеченія, но и не то̀ чтобы по жребію, во что святая не хлыстнетъ, какъ говорятъ наши Москали.

Въ старые годы я ставилъ единое благо въ философіи — такъ и должно было думать. То̀ былъ возрастъ непреодолимой жажды къ знанію, возрастъ вѣры

въ силы ума и возрастъ сомнѣній въ старыхъ, шаткихъ вѣрованіяхъ. Надобно было дать пищу душѣ, надобно было смирить междоусобіе въ ея нѣдрахъ, надобно было запастись побужденіями къ дѣятельности. Система смѣнялась системою, но кругъ знаній расширялся, и высокіе предметы изслѣдованія поставили душу выше благъ міра сего. Такъ говоритъ Одоевскій, въ средніе вѣки искали философскаго камня и нашли тысячи цѣлебныхъ составовъ для болѣзней! Но въ моемъ ученіи не доставало прочности и постоянства. Приблизился возрастъ дѣятельности, а я чувствую, что многаго не знаю. Интересъ наукъ умалился съ вѣрою въ рѣшеніе высочайшихъ вопросовъ. Этотъ интересъ принялъ другой оборотъ, я ищу истины, но съ нею и добра. Исторія обѣщаетъ мнѣ много какъ для одной, такъ и для другаго.

Я имѣю, я составилъ себѣ понятіе объ исторіи; но какъ же не повѣрить нхъ, какъ не узнать мнѣнія объ этомъ предметѣ такихъ людей, какъ Шеллингъ? И ради исторіи я бьюсь надъ его Теоретическою Философіею, съ которой въ тѣсной связи находится и Практическая, гдѣ онъ трактуетъ объ исторіи...

Теперь я гораздо болѣе понимаю Шеллинга, нежели въ первый разъ, хотя и потѣю иногда. Мнѣ часто непонятенъ только ходъ его мышленія (das Verfahren). Система для меня уясняется, но мнѣ не нравится немножко его *я* (всеобщее), изъ котораго онъ какъ-то слишкомъ механически выводитъ разумѣніе: я хотѣлъ бы, чтобы разумъ предшествовалъ всему. Но поелику постройка эта происходитъ до созданія времени, то

признать, что это *я* въ безначальности современно разумѣнію.

Я предвижу, что исторія должна получить высокое значеніе, на основаніи этого ученія: это — природа, творимая вторымъ разумѣніемъ, природа, творимая съ *сознаніемъ*, ибо первая природа сотворена необходимо (по Шеллингу). И философія исторіи къ практической (философіи воли) относится какъ натуральная (философія природы) къ теоретической (философіи знанія).

Геродотъ любопытенъ, но его дѣтская болтливость несносна. Онъ разказываетъ событіе, и въ него вплетаетъ исторію всѣхъ мѣстъ и народовъ, участвующихъ въ событіи, что̀ развлекаетъ вниманіе, интересъ и чувство, единствомъ котораго хотѣлъ бы я обнимать каждое событіе. Между тѣмъ вставки эти иногда важны сами по себѣ, а ихъ право не возмешься упомнить, ища главной нити въ описываемомъ произшествіи.

4.

В. П. Красову.

16 октября.

Благодарю тебя за письмо твое, отправленное ко мнѣ съ папенькою. Я слышалъ отъ него, какъ мучила тебя проклятая болѣзнь. Берегись, ради Бога! Не теряй безразсудно силъ, данныхъ тебѣ въ обиліи на все доброе и прекрасное — благослови и храни полноту жизни, воспользовавшись горькимъ урокомъ. Да будетъ она первымъ и послѣднимъ для тебя — утѣшься тѣмъ, что урокъ этотъ былъ нуженъ; ложь, порокъ, бѣдствіе

всегда почти бываютъ указателями на пути человѣка къ истинѣ, добру, счастію! Помни Шиллера: «Провидѣніе попускаетъ злу свирѣпствовать въ природѣ, чтобъ не разрушить восхитительное явленіе свободы!» Не будемъ же во зло употреблять эту свободу и постараемся скорѣе оправдать Провидѣніе, которое рано или поздно само оправдается.

Я живу по прежнему, и мало охочусь, и мало занимаюсь. Трудно было бы распорядиться иначе: въ Москвѣ должны начаться мои постоянныя занятія; но я не празденъ: занимаюсь, сколько могу, и намѣренъ, до пріѣзда въ Москву, успѣть поболѣе.

Сдѣлай милость, другъ мой, напиши мнѣ поподробнѣе о перемѣнахъ, сдѣланныхъ въ нашемъ отдѣленіи, въ Университетѣ. Папенька говоритъ мнѣ о какомъ-то смѣшеніи нашего отдѣленія съ политическимъ вслѣдствіе просьбъ какихъ-то почтенныхъ особъ. Изложи факты просто, не мудрствуя лукаво, т. е. не увлекаясь любовью къ нашему отдѣленію въ чистотѣ его и негодованіемъ на смѣшеніе его съ политическимъ, хотя я самъ не понимаю пользы такого смѣшенія.

Хотѣлось бы узнать что-нибудь о миломъ Акс..., которому прошу тебя пожать за меня руку крѣпко, по-славянски, и поклониться въ поясъ, по-русски.

Продолженіе переписки съ Я. М. Н—ъ.

5.

30 октября.

Всѣми докторами признано, что сердиться и грустить нездорово; не сердись же, что я давно не писалъ къ тебѣ, и не грусти, думая, что я нездоровъ.

Правда, здоровье мое грошевое, а все-таки живу: скрипучее дерево долго тянется. Да утѣшитъ тебя премудрая русская пословица! Вотъ нѣсколько дней сряду опять побаливала моя буйная, но теперь я опять поздоровѣлъ. «А все отъ охоты!» скажешь ты. Да, поздоровѣлъ именно отъ охоты, а то я было засидѣлся. Сегодня отправляемся съ папенькою въ городъ на торжественную и многолюдную охоту. Впрочемъ ты, мнѣ кажется, напрасно сердишься на меня: сердись на почту, или, справедливѣе, на осень, — дорога вѣроятно плоха, и почта приходитъ не вовремя.

... Что̀ тебѣ сказать о моихъ планахъ на зиму? Москва, исторія, музыка, можетъ-быть — англійскій языкъ, общество Мел. и братіи, — вотъ моя будущность, о которой я думаю не безъ удовольствія! Въ Москву я долженъ ѣхать потому, что она представляетъ болѣе средствъ моимъ занятіямъ, нежели Удеревка, — и потому, что тамъ братья; исторія — я писалъ почему занимаетъ; музыка и англійскій языкъ — не нужно говорить почему; общество Мел. привлекаетъ потому, что я его люблю, что онъ уменъ, добръ, честенъ, чувствуетъ, играетъ на фортепьяно и пишетъ повѣсти; братья, т. е. бывшіе товарищи — оттого, что они были мнѣ товарищами и, можетъ-быть, будутъ еще по занятіямъ, службѣ, по общему желанію трудиться на пользу отечества. Но, можетъ-быть, по дорогѣ придется заѣхать и въ Петербургъ, гдѣ также многое меня манитъ.

Я—ій М—чъ! какъ могъ тебѣ понравиться «Конёкъ-Горбунокъ»? — Я скажу, какъ говоришь ты (про себя): «это сказка; я не люблю сказокъ, это не мой родъ — отъ этого сказка не дѣлаетъ на меня впечатлѣнія;

слѣдовательно, я не въ правѣ судить о ней по впечатлѣнію». Посмотримъ же, что̀ въ ней дурнаго? ничего нѣтъ; она мѣстами забавна — чего же больше для сказки? всѣ ее хвалятъ, изъ чего жь нибудь да хвалятъ? Да будетъ по гласу народа: — *хороша*! «Но, другъ мой, отчего сказка не твой родъ? отчего не любишь сказки ты, доступный всему прекрасному? Нѣтъ, я помню, тебѣ нравились сказки Луганскаго — оттого, что онѣ написаны прямо по-русски, что въ нихъ много души, поэзіи; оттого, что онѣ написаны умно, колко, забавно. Изъ «Конька-Горбунка» я читалъ одинъ небольшой отрывокъ въ Библіотекѣ для Чтенія: это, какъ говоритъ Рудый Панько, соръ не соръ, земля не земля, прости Господи! чортъ-знаетъ, что̀ такое! плюнулъ, да и руки вымылъ! — Если вся сказка написана въ этомъ тонѣ, — что̀ это? что̀ звучнаго въ этихъ стихахъ, риѳма за риѳмой, вялыхъ, натянутыхъ? что̀ путнаго въ этомъ немощномъ подражаніи народнымъ поговоркамъ, которыя уродуются, искажаются стиха ради? и какого стиха? Пушкинъ изобрѣлъ этотъ ложный родъ, когда началъ угасать поэтическій огонь въ душѣ его. Но первая его сказка въ этомъ родѣ еще имѣетъ нѣчто поэтическое; другія же, въ которыхъ онъ сталъ просто разказывать, не предаваясь никакому чувству, дрянь просто. Жуковскій еще умѣетъ ладить съ такими пустяками — но что̀ за утѣшеніе для такого поэта быть сноснымъ? А «Конёкъ-Горбунокъ» просто несносенъ! Жаль, если Ершовъ человѣкъ съ чувствомъ и талантомъ: его собьютъ этими глупыми восторгами! Развѣ не хвалятъ Брамбеуса? развѣ не хвалили на слово «Тасса» Куколника? Напрасно ты вѣришь болѣе другимъ, нежели

* * *

своему чувству: оно вѣрнѣе всѣхъ сужденій. Впрочемъ я не читалъ всего «Горбунка»; но меня ожесточаютъ восторги пустыхъ людей, которые бѣснуются чортъ-знаетъ изъ чего и портятъ людей съ талантомъ — а *тотъ* затѣваетъ сибирскія Иліады! Ну не вздоръ-ли это? — Любопытны повѣрья народныя: собери ихъ, разкажи съ поэтическою простотой, сохраняя колоритъ, которымъ они облечены въ устахъ народа — и мы будемъ благодарны и отдадимъ справедливость человѣку, умѣющему цѣнить всякое достояніе человѣчества. И что̀ за поэтъ, кто посягнетъ на эту святыню изъ самолюбія? начнетъ ломать въ сонные хореи безискусственное сказаніе младенца? Это будетъ такая же поэзія, какъ всякая проза, переложенная въ стихи; а поступокъ — не честенъ! Впрочемъ молодой человѣкъ можетъ скорѣй всего посягнуть на эти преданія, не изъ самолюбія, а по убѣжденію, что въ самомъ дѣлѣ изъ этого выйдетъ что-нибудь хорошее.

•

Къ В. Г. Бѣлинскому.

30 октября.

Письмо твое я получилъ, а съ нимъ — ясный и неопровержимый выводъ моей ошибки. Какъ быть! Homo sum et nihil humanum a me alienum puto. Къ тому же errare humanum (въ переводѣ Ивашковскаго — и на старуху бываетъ проруха). Благодарю за всѣ извѣстія о тебѣ; но не знаю: радоваться ли твоему обращенію? Новая система, вѣроятно, удовлетворитъ тебя не болѣе старой, хотя и удалитъ многіе вопросы, не разрушивъ ихъ, впрочемъ, вполнѣ. Между безконеч-

ностью и человѣкомъ, какъ онъ ни уменъ, всегда остается бездна, и одна вѣра, одна религія въ состояніи перешагнуть ее, одна она въ состояніи наполнить пустоту, вѣчно остающуюся въ человѣческомъ знаніи. Но та система хороша, которая не мѣшаетъ вѣрованіямъ, составляющимъ интегральную часть человѣческаго существа и содержитъ побужденія къ добрымъ подвигамъ!

Я ни боленъ, ни здоровъ. Вотъ нѣсколько дней сряду, опять у меня голова побаливала. Но теперь не болитъ. Долго не охотился, пускаюсь опять, и охота мнѣ помогаетъ. Всякое же умственное напряженіе дѣйствуетъ неблагопріятно на голову, такъ что всѣ мои занятія ограничиваются чтеніемъ Геродота и тому подобнаго. Но и то̀ идетъ медленно. Представь, что теперь только я оканчиваю чтеніе Геродота. Собираюсь все написать нѣсколько мыслей объ исторіи, чтобъ послѣ дать имъ развитіе. Но и то̀ дѣлаю урывками и не написалъ еще листа.

Напиши мнѣ, пожалуйста, дозволено ли издавать журналъ Межевичу: меня это интересуетъ...

Продолженіе переписки съ Я. М. Н—ъ.

3.

7 ноября.

Благодаримъ, благодаримъ! похвальный листъ тебѣ! Ты почти каждую почту радуешь меня своими письмами. Какъ пріятно получить письмо издалека отъ человѣка, съ которымъ бы всегда хотѣлъ быть вмѣстѣ, — ты знаешь! Еще вдвое имѣетъ цѣну оно въ деревнѣ, вда-

интересно: оно напоминаетъ о существованіи другой жизни, болѣе разнообразной, оно связываетъ отшельника (временнаго) съ человѣчествомъ. Тогда и деревенская жизнь становится пріятнѣе, и домашнія радости веселѣе, ибо одна мысль объ односторонности, связанная съ мыслью о нравственномъ усыпленіи, въ состояніи все отравить для меня. Ты скучаешь?... Но не вѣрь хандрѣ своей, нашептывающей тебѣ, будто все прекрасное въ тебѣ гибнетъ, гибнетъ. Кто говоритъ это, и говоритъ съ такимъ отчаяніемъ, тотъ далекъ отъ опасности потерять что-нибудь доброе изъ существа своего! Иногда ночью, когда потушена свѣча, когда воетъ вѣтеръ, чортъ-знаетъ, чего не лѣзетъ въ голову: жизнь кажется скучною церемоніей, будущность безотрадна; вспоминаешь ничтожныя слова, сны; начинаешь хоронить друзей, чувствуешь тягость въ груди и засыпаешь безпокойно... разсвѣтетъ, и вся тоска пропала, и первое движеніе — молитва.

Геродота я кончилъ, и, просмотрѣвъ въ Геереновой «Handbuch der Geschichte» статью о Грекахъ (чтобъ имѣть въ памяти очеркъ греческой исторіи), началъ Ѳукидида. Здоровье мое получше. Почти не охочусь.

8.

20 ноября.

.... Врешь! Вотъ отвѣтъ на твои предположенія о причинахъ моего молчанія — впрочемъ, ты увидишь, что я не молчу; почта ходитъ немножко медленно, а сначала моего пріѣзда я немножко рѣже писалъ къ тебѣ. Смотри, теперь не оберешься писемъ отъ меня. Впрочемъ не забудь, что отъ насъ почта ходитъ разъ въ

недѣлю, и что можетъ иногда встрѣтиться мелочное обстоятельство, какъ напр. гости, охота и т. п., которое заставитъ забыть день почты или отыметъ время, а заранѣе писать какъ-то не въ обычаѣ: ждешь послѣдняго дня, чтобы сообщить тебѣ свѣженькое извѣстіе. Но эти свѣженькія извѣстія — oimè! — слишкомъ однообразны —

И надежда: завтра тоже!
Услаждаетъ сонъ.

Я уже писалъ тебѣ, что намѣренъ въ январѣ ѣхать въ Москву; что̀ до Петербурга, то это, кажется, какъ говоритъ Бог., пустяки, игра словъ. Вотъ тебѣ новость: меня хотятъ выбрать почетнымъ смотрителемъ Острогожскаго уѣзднаго училища. Мнѣ это пріятно. Я свободенъ; *мундиръ* хорошъ; я пристроенъ къ мѣсту и могу сдѣлать что-нибудь доброе для училища. Разумѣется, когда мнѣ придется ѣхать за границу, это мѣсто легко будетъ оставить.

Ты написалъ повѣсть? Если она *не тяжела*, разумѣется вѣсомъ, а не слогомъ, я просилъ бы прислать ее мнѣ, какъ между нами важивалось... Я давно ничего не пишу и отвыкъ даже отъ побужденія писать. У меня давно вертѣлась одна мысль, давно я ее бросилъ, — тѣмъ болѣе, что плоть ея (такъ въ потѣху называю я механизмъ повѣсти, который сплетать я не умѣю и который всегда у меня бываетъ преглупый) не далась мнѣ. Теперь я принялся за нее; но, кажется, брошу, потому что все какъ-то идетъ *длинно и глупо*, говоря по твоему, и все боишься пошлаго.

не могъ написать, но если писалъ въ Москвѣ, то во мнѣ говорило всегда какое-нибудь деревенское впечатлѣніе. Не помню: отъ себя, или изъ Жанъ-Поля намъ читалъ Ш..., по крайней мѣрѣ по Жанъ-полевски: «...жизнь должна улетѣть въ небо и превратиться въ комету, тогда она станетъ поэзіею...». Въ самомъ дѣлѣ, все настоящее или прозаически дѣйствуетъ на душу, или такъ увлекаетъ ее своею поэзіей, что она лишается сознанія, живетъ въ чувствѣ наслажденія и не можетъ изойти во внѣшность, чтобъ явиться образомъ, — не имѣетъ силы покинуть волшебный міръ, въ которомъ заключена. Когда прошло наслажденіе, въ грустномъ воспоминаніи является оно какъ что-то нездѣшнее, невозвратимое, недосягаемое; тогда хочешь удержать при себѣ *память* объ немъ, тогда начертываешь эти образы другаго міра, таящіеся въ нѣдрахъ души, не подозрѣвая, что это — созданіе, а не копія.... Такъ прекрасно кажется все то, чего нѣтъ. Мы бесѣдовали и любили бесѣдовать объ этомъ съ тобою. Мы всегда объясняли этимъ прелесть музыки для глухаго Бетговена и высокіе звуки его, мы объясняли этимъ роскошь описательной поэзіи у слѣпыхъ. Ш... прекрасно сказалъ про Гомера: если онъ и не существовалъ, онъ есть символъ поэта; онъ видѣлъ міръ и закрылъ глаза, и пересоздалъ его, и одушевился своимъ созданіемъ, и высказалъ его, думая, что высказываетъ видѣнное. Истинно! — Слава Богу! Наконецъ я набрелъ на чувство, я хоть немножко взволнованъ, бесѣдуя съ тобою; а это такъ рѣдко въ гладкой жизни, которую я веду, не имѣя съ кѣмъ поговорить о предметахъ мнѣ близкихъ. Къ намъ заѣзжалъ какъ-то по случаю родственникъ Пк., чело-

вѣкъ уже пожилыхъ лѣтъ, семейный, но умный, образованный, съ теплымъ чувствомъ. Я въ минуту съ нимъ познакомился и наговорилъ съ нимъ три короба о музыкѣ, поэзіи, о томъ и семъ.

Я оканчиваю 4-тую книгу Ѳукидида. Пелопоннезская война — печальная эпоха Греціи. Въ персидскую Эллины являются еще древними героями: они одушевлены священнымъ чувствомъ независимости, они жертвуютъ не только личною выгодой, но и преимуществами отдѣльныхъ обществъ для блага всей Эллады. Особенно привлекательны Аѳиняне: они уступаютъ предводительство Спартанцамъ, съ благородною умѣренностью упрекаютъ ихъ въ медленности; предаютъ на жертву древнія стѣны и храмы своего города и отчаянно бьются на морѣ и сушѣ, не за жизнь, не за имѣніе—за одну независимость націи. Какъ уменъ ихъ Ѳемистоклъ! Его политика далеко опередила вѣкъ; его мужество, его рѣшительность принадлежатъ его эпохѣ. А этотъ простой, прямой, непогрѣшительный Аристидъ, котораго Нѣмцы называютъ представителемъ древней греческой жизни? И въ короткое время столько мужей, столько событій! Нельзя было не гордиться Аѳинянамъ; надобно простить, оправдать ихъ надменность: какъ не дать имъ поцарствовать надъ Греціею, не позволить даже и угнетеніе? Они спасли Элладу; они хотятъ водворить въ ней единство и сдѣлаться началомъ, главою этого единства. Случай или судьба даетъ имъ на это средство. Надобно было, чтобы Павзаній явился измѣнникомъ и гегемонія перешла къ Аѳинянамъ. Съ этихъ поръ они особенно усиливаются. Демократія одерживаетъ верхъ въ нѣдрахъ Аѳинъ: граждане города распространяютъ это

начало въ союзныхъ владѣніяхъ, желая вездѣ привлечь массу народа на свою сторону. Могущество ихъ растетъ, политическія идеи кипятъ и зрѣютъ, художники, упоенные своею славою, — ибо въ Аѳинахъ человѣкъ и гражданинъ существовали нераздѣльно, — творятъ и украшаютъ храмы и площади. Аѳинянинъ проживаетъ на площади: это его домъ, здѣсь его семейство — и въ полнотѣ, въ сознаніи силъ, они гнетутъ союзниковъ. Спарта непривѣтливо смотритъ на соперницу своей славы, ея кружокъ шумитъ и подстрекаетъ ее—все готовится къ войнѣ. Ссора за Эпидамнъ—и пламя вспыхнуло! И вотъ начинается тяжкая эпоха борьбы не за честь націи, — за частныя выгоды, за первенство. Спарта *играетъ роль* освободительницы; но несправедливые Аѳиняне невольно влекутъ къ себѣ сердце своими человѣческими слабостями, своею полною жизнью, памятью своихъ доблестей. Испорченность видна во всей Греціи: есть славные полководцы, важныя событія, но уже нѣтъ героевъ, нѣтъ святыхъ подвиговъ. Но исторія этого времени все-таки интересна: невольно влечетъ взоры эта испорченная Греція, это древнее человѣчество, падающее по исполненіи судьбы своей. Одинъ остатокъ временъ персидскихъ еще существуетъ въ эпоху пелопоннезской войны: это *вѣрная* Платея. Какъ трагически оканчиваетъ она свое чистое поприще! Если исторія—драма, то такія событія, какъ сдача Платеи, суть лирическія мѣста въ этой драмѣ. Просто и обстоятельно разказываетъ Ѳукидидъ послѣднюю борьбу ея. Но всѣ рѣчи Платейцевъ, Спартанцевъ и Ѳивянъ дышатъ гордою гражданскою жизнью Эллады. Какъ трогательны послѣднія убѣжденія Платейцевъ къ неумолимымъ судь-

ямъ, непреклонно повторяющимъ свой вопросъ: что̀ полезнаго сдѣлали Платейцы въ эту войну для Пелопоннезцевъ? Въ нихъ видишь *людей*, но людей съ достоинствомъ. Я не повѣрю никакому критику, который бы сталъ увѣрять, что эти рѣчи вымышлены Ѳукидидомъ. И самъ онъ говоритъ, что съ возможною вѣрностью передавалъ *смыслъ* рѣчей, — а если онъ прибавилъ отъ себя то, что̀ могло имъ внушить чувство въ этомъ положеніи, то онъ великій драматикъ! Какъ все умно, величественно, полно у Ѳукидида! Скучны мелкія событія этой войны, но онъ и старается ихъ поскорѣе разказывать; начало же войны, совѣщанія, гибель Платеи и т. п. у него разказано неподражаемо. Я не зналъ древнихъ историковъ. Пусть они не знали, что̀ такое философія исторіи; но я посовѣтовалъ бы нашимъ Нѣмцамъ и Французамъ поучиться у нихъ болтовнѣ.— Прости! Заболтался. Но кому же мнѣ сообщить бѣдный результатъ моихъ бѣдныхъ занятій? кому повѣрить свои поверхностныя мысли о глубокихъ предметахъ, на которые я едва успѣлъ взглянуть?

Въ моемъ планѣ — прочесть еще до отъѣзда въ Москву Геереновы «Ideen о Греціи», «Histoire Romaine» Michelet и «Исторію Ахейскаго Союза» Шорна. Дай Богъ успѣть! Здоровье мое туда-сюда.... Шеллинга не читаю больше, — кончилъ и отложилъ на долго, очень надолго. Нельзя жь было не прочесть, да и нужно. Онъ чему-нибудь научитъ.

«Художника» Тим-ва не читалъ, но предубѣжденъ противъ него всѣми сочиненіями Ти-ва: можетъ-быть, онъ умный человѣкъ, но не поэтъ! Даже вкуса не

текъ, которая впрочемъ инымъ нравится. Я жажду прочесть Иліаду и Одиссею; кромѣ того, онѣ мнѣ нужны для исторіи и для греческаго языка (на греческомъ онѣ есть у меня). Какой переводъ имѣть мнѣ: Мартынова или Фосса? Первый для греческаго языка, я думаю, важнѣе, онъ не совсѣмъ уродоватъ.

Читалъ ли ты «Contes de Jacob Bibliophile à ses petits enfants»? Прелесть! Я и не внучекъ его, а онѣ мнѣ такъ нравятся, какъ рѣдкія повѣсти нравились!— Вотъ бы нашимъ дѣтямъ (да и старикамъ не худо) такіе разказы изъ нашей исторіи. Чудо!

11 декабря.

....Здоровье мое мало поправилось: головныя боли сдѣлались слабѣе, вдвое слабѣе прежняго, но за то и вдвое чаще. Завтра намѣренъ я поставить шпанскую мушку. Голова болитъ у меня болѣе по вечерамъ, и мысль о болѣзни мучитъ меня болѣе, нежели сама болѣзнь, которая физически не такъ мучительна. Но когда начинаетъ распространяться туманъ по головѣ, я не знаю, какое-то отчаяніе овладѣваетъ мною. Кажется, что я вѣчно осужденъ страдать этою болѣзнью, никогда не чувствовать той жизненной теплоты, того, если неизобилія, то достатка силъ, который я живо ощущалъ прежде и за который благодарилъ Провидѣніе. Пройдетъ туманъ (болью назвать много) — и на душѣ легче. Что̀ досаднѣе всего, я не могу — какъ прежде надолго предаться одной, постоянной мысли, которая бы совершенно меня наполнила, не могу жить, какъ думалъ, а всякая другая жизнь для меня

прозябеніе. Часто я Богъ знаетъ какъ разфантазируюсь о своихъ подвигахъ, потребность дѣятельности не даетъ мнѣ покоя, — и чтоже? прочту нѣсколько строкъ — въ головѣ туманъ и опять отчаяніе... Я почти пересталъ заниматься, сталъ нѣсколько покойнѣе.... Меня утѣшаютъ примѣры многихъ людей, у которыхъ головная боль, подобная моей, продолжалась лѣтъ шесть сряду и проходила. Но всѣ совѣтуютъ разныя средства. Испытавъ еще мушку, я отправлюсь въ половинѣ января въ Москву и поручу себя Ал...: Богъ милостивъ, авось! Сильный моціонъ до изнеможенія облегчаетъ меня на нѣсколько дней.

Въ Петербургъ, другъ мой, я никакъ не могу: вашъ сырой, морской воздухъ убьетъ меня. Что до магистра, то, Богъ знаетъ, какъ мое здоровье допуститъ меня до экзамена, я еще очень далекъ до него, я еще стараюсь оправдать кандидатское званіе и стыжусь своего невѣдѣнія во многомъ; папенька же ничуть не жадничаетъ видѣть меня большимъ человѣкомъ и кавалеромъ, онъ готовъ на всѣ пожертвованія, чтобы возвратить мнѣ здоровье и года черезъ два навѣрное отпуститъ меня за границу.... Ты помнишь, какъ Фердинандъ показываетъ Луизѣ позволеніе жениться на ней; но Богъ милостивъ, развязка не будетъ трагическая! *Fatum* не тяготѣетъ надъ нами. Повторимъ, другъ мой, наше университетское любимое положеніе: Es herrschet eine allweise Güte über die Welt.

Сегодня послалъ я въ Харьковъ прошеніе объ опредѣленіи меня въ почетные смотрители Острогожскаго уѣзднаго училища. Представленіе пойдетъ къ

прекрасный мундиръ, а вицъ-мундиръ такой, какъ у тебя. Мнѣ пріятно будетъ впрочемъ заниматься училищемъ: уставъ прекрасный! Хорошо, еслибы подумали о средствахъ исполнять его: этого только не достаетъ Россіи, чтобы поровняться съ Европою.

Знаешь ли ты стихотвореніе Пушкина: «Второе ноября»? — вотъ вѣрное изображеніе моей деревенской, зимней жизни. Теперь я пишу къ тебѣ вечеромъ, на дворѣ воетъ мятель, *свѣча темно горитъ, отъ грусти сердце ноетъ*. Головѣ немножко отлегло, и я могу предаться сладкому раздумью: ты не можешь себѣ представить, какъ отрадны бываютъ мнѣ рѣдкія минуты облегченія — будь я музыкантъ, кажется сталъ бы импровизировать; слова, слова, какъ выраженіе опредѣленныхъ понятій, бѣгутъ меня, я боюсь всего опредѣленнаго, всего точнаго: это производитъ головную боль. Моцартовъ Донъ-Жуанъ подкрѣпляетъ и утѣшаетъ меня больше всего.

Organe des deux mondes — святое дѣло! Дай Богъ ему успѣха! Если у меня теперь есть какая-нибудь *idea fixa*, то это о воспитаніи въ духѣ нравственности и религіи, о возможности поддержать ее и объ ускореніи всѣми силами человѣчества на пути его къ царствію Божію, къ чести, къ вѣрѣ. — «Энциклопедическій лексиконъ» — вещь полезная.

Вотъ мечта моя: если здоровье позволитъ, я стану продолжать занятія исторіей и намѣренъ, по немногу, современемъ, составить краткій гимназическій курсъ всеобщей исторіи, по плану, который на свободѣ напишу и доставлю тебѣ. Не смѣйся надо мною! Можетъ, я это и брошу, но надобно жь имѣть что-нибудь впереди. Сколько мечтаній не сбылось! Боже мой!...

да лучше не говорить, — отдыхъ послѣ головной боли бываетъ для меня временемъ странныхъ чувствъ и затѣй....

10.

26 декабря.

Братья мои пріѣхали, два дня тому назадъ, въ деревню; у насъ повеселѣло и мы на Рождество собираемся давать спектакли. Здоровье мое получшѣло. Я ровно ничего не дѣлаю, хотя затѣваю многое. Я прочелъ еще Геерена о Греціи и читаю теперь Michelet «Histoire romaine», — но вотъ уже два дни какъ не бралъ книги въ руки. Я давно намѣренъ былъ сдѣлать очеркъ греческой исторіи, даже началъ; но мнѣ нужно больше свѣдѣній для первобытныхъ временъ Эллады. Надобно прочесть съ большимъ вниманіемъ Иліаду и Одиссею, да не худо и «Символику» Крейцера! Подожди, надобно хорошенько познакомиться со всею исторіей.

Ты спрашиваешь меня о сотрудникахъ моихъ на поприщѣ гражданской дѣятельности, о воспитателяхъ острогожскаго юношества: я ихъ еще не знаю. Мнѣ знакомъ только штатный смотритель, бывшій моимъ учителемъ — человѣкъ добрый и обстоятельный. О прочихъ я худо предупрежденъ: всѣ они, говорятъ, добры, усердны; но гдѣ же имъ понимать, что̀ такое первоначальное ученіе? На первый разъ, если утвердитъ меня министръ, я намѣренъ вывести наказаніе, такъ-называемое *палями*, т. е. линейкой по рукамъ, ввести поблагороднѣе обращеніе между учителями и

нецъ понаблюсти за ученіемъ. Жаль только, что теперешнее полугодовое пребываніе въ Москвѣ отыметъ у меня возможность скоро привести это въ исполненіе. Сверхъ того, въ приходское училище надобно будетъ ввести Ланкастерову методу.

1835.

11.

Острогожскъ. 2 января.

Какъ шумно, какъ весело встрѣтили мы эту частичку вѣчности, которая называется 1835 годомъ! Мы не спали пять ночей, пѣли, плясали, пили, играли театръ и все это въ дружескомъ, многочисленномъ обществѣ, гдѣ не было ни одного чужаго. Этого не бываетъ въ С.-Петербургѣ, едва ли возможно и въ Москвѣ. Гдѣ ты видалъ, чтобы хозяинъ и гости прослезились за какимъ-нибудь тостомъ? чтобы разставались, какъ близкіе родные, со слезами на глазахъ? Старые сосѣди, друзья, а изъ дамъ С—ы, Т—ы—вотъ наше общество! Прибавь къ этому пріѣзжихъ молодцовъ моихъ братьевъ, артиллерійскаго полковника, который не былъ семь лѣтъ у насъ, заѣхалъ по дорогѣ и остался на пять сутокъ (ибо его приняли какъ друга, между тѣмъ, какъ онъ не думалъ, чтобъ узнали его), деревенскую свободу, — и ты имѣешь понятіе о нашихъ веселостяхъ. Мы играли «Хлопотуна», «Домъ Сумасшедшихъ», «Мельника», переряжались чортъ-знаетъ какъ, горланили, плясали, а послѣ ужина вели

отрадныя бурлацкія бесѣды. Чтобъ не упустить ни одного оттѣнка деревенской жизни, чтобъ не потерять никакой поэтической стороны ея, мы и гадали. Не смотря на рѣзкій вѣтеръ, морозную ночь, дѣвицы выходили въ шубенкахъ наводить зеркало на мѣсяцъ и бросать башмаки за ворота, при чемъ я обязанностію считалъ грѣть такія ножки, которыя удобнѣе могли помѣститься въ рукѣ моей. Treibt der Champagner! изъ Моцарта—вотъ тебѣ выраженіе всей этой жизни. Я вышелъ наконецъ изъ своей апатіи и не зналъ, что̀ ночь, что̀ покой; я понималъ лучше эту божественную музыку; я игралъ пиры изъ Донъ-Жуана и вспоминалъ Lucrèce Borgia —

La tombe est noire,
Les jours sont courts;
Il faut, sans croire
Aux faux discours,
Très souvent boire —
Aimer toujours.

Эти стихи, которые и прежде мнѣ нравились, вертѣлись теперь на языкѣ у меня и, по одному, невольно дѣлались девизами. Я не постигалъ возможности пятидневнаго напряженія души — теперь испыталъ ее; какъ дѣйствуетъ на человѣка большое, шумное, искреннее общество!

Но довольно объ этомъ. Теперь я пріѣхалъ въ Острогожскъ. Здѣсь завели Собраніе: да-съ, прошу не шутить. Ты согласишься, что грѣхъ былъ бы пропустить случай полюбоваться на него. Главныя дѣйствующія лица въ этомъ Собраніи, вѣроятно, будутъ

торые стоятъ въ нашемъ городѣ. Какъ не побывать мнѣ въ этомъ Собраніи? Братья и сестры пріѣдутъ сюда послѣ завтра заплатить визитъ сосѣдямъ и поплясать на ихъ домашнихъ вечерахъ. Я взялъ съ собою Бальзака «Eugènie Grandet», чтобы прочесть въ промежуткахъ.

Наконецъ прочелъ я два эпизода изъ «Histoire des Treize». Особенно нравится мнѣ «Ne touchez pas-la hâche» (2-ой эпизодъ). Прочти его непремѣнно.

12.

Москва. 24 января.

.... Не знаю, что̀ сказать тебѣ о Москвѣ, т. е. о дѣйствіи Москвы на меня. Осенью мнѣ ужасно было скучно въ деревнѣ, я не могъ дождаться отъѣзда; но на Рождество подъѣхали братья, начались веселости: безпрестанное движеніе, безпрестанная суета заставили болѣзнь мою утихнуть на нѣсколько времени — я ожилъ! Нервы мои, утонченные болѣзнію, раздражились; душа была напряжена, музыка не умолкала, я какъ будто ловилъ старые призраки — и Острогожскъ и деревня опять становились мнѣ милы. Все утихло, нервы успокоились, музыка замолкла, голова заболѣла, призраки улетѣли —

«..... Огни погашены,
Гирлянды сняты со стѣны».

И мнѣ стало грустнѣе прежняго! какъ-будто судьба издали, на мгновеніе, показала мнѣ радости жизни, чтобъ я зналъ, *чего* она меня лишаетъ. Вчера здѣсь

играли «Ричарда III.» Все шло довольно скучно; но вотъ пятое дѣйствіе: ночь покрываетъ сцену, хромой Ричардъ въ пестрой ставкѣ борется съ совѣстью. Мочаловъ становится хорошъ; восклицаніе: «и нѣтъ существа, которое бы меня любило!» потрясаетъ невольно. Онъ уснулъ, ставка распахнулась, въ звукахъ отдаленной музыки являются тѣни и грозными прорицаніями тревожатъ сонъ злодѣя - несчастливца. Какъ вѣрится въ бытіе этого воздушнаго міра при звукахъ музыки! какою жизнью вѣетъ оттуда! Но минута—и ставка запахнулась, и опять мука, и скверные актеры.—Вотъ послѣдніе мѣсяцы моей жизни! Острогожскъ сталъ скученъ по прежнему; къ Москвѣ я сталъ холоднѣе, но — поѣхалъ. Здѣсь я намѣренъ лѣчиться. Я сталъ ни на что не похожъ, грустно смотрѣть на себя! Выслушай, другъ мой, мои жалобы; съ другими я буду мужемъ. Ты представить себѣ не можешь, какъ дѣйствуетъ на меня дружеская шутка: «Экая рожа у тебя стала!» Я улыбаюсь и очень весело. Только ты бы замѣтилъ, что̀ подъ этою улыбкою! Положимъ, это дѣтство; я уже привыкаю, но обо многомъ можно сказать: это дѣтство!

Убійственнѣе для меня мысль: болѣзнь похищаетъ у тебя душевную энергію; ты ничего не сдѣлаешь для людей. Природа, можетъ-быть, дала тебѣ средства стать, если не выше толпы, то въ переднихъ рядахъ ея, а болѣзнь забиваетъ въ середину...

Одинъ вопросъ я задаю себѣ: что̀ я долженъ дѣлать въ настоящемъ положеніи? Я сдѣлаю все, что̀ отъ меня зависитъ. Послѣднее письмо твое утѣшило меня, наставило. Да, я буду мужемъ, я притерплюсь

никомъ: я отъ себя этого не надѣялся! Я трепещу при мысли, что энергія души моей погибнетъ невозвратно!

... Н*... нездорова; она мнѣ не показывается... говоритъ, что я поступилъ неблагородно. Пусть сказала бы она, что я былъ неостороженъ; но какъ же мнѣ было держать себя? Все это тяжело, несносно!

12.

5 февраля.

Не знаю, съ чего начать? Вопервыхъ, я очень радъ и мнѣ досадно, что ты первый написалъ мнѣ о Шубертѣ (романсъ Лѣсной царь). Какъ мы услышали его въ одно время! Я нашелъ эту пьесу нечаянно у нашего острогожскаго помѣщика С*, въ музыкальномъ журналѣ: «Филомела», котораго никто у нихъ никогда не разыгрывалъ. Это было послѣ обѣда, послѣ веселья, любезничанья. Я попробовалъ — и чуть не сошелъ съ ума! Иначе кажется нельзя было выразить это фантастическое прекрасное чувство, которое обхватываетъ душу, какъ самъ Лѣсной царь младенца, при чтеніи этой баллады. Уже начало переноситъ тебя въ этотъ темный, таинственный міръ, мчитъ тебя durch Nacht und Wind. Душа моя, какъ я радъ, что мы сошлись въ этомъ. И какъ нарочно въ одно время! Я переписалъ этотъ романсъ; теперь онъ у Бр. Другое— «Аббадона»! То же чувствовалъ, то же говорилъ я, читая этотъ романъ. Какъ давно хотѣлось побывать опять въ нѣмецкомъ царствѣ, посмотрѣть на Шиллеровскія лица, мечты, какъ плѣняла меня Элеонора! Я видѣлъ ее во снѣ, влюблялся въ нее. Конечно, характеръ не новый, пошлостей въ романѣ много. Много прекрасныхъ,

но теперь уже общихъ, обыкновенныхъ мыслей, много и неумѣстной болтовни. Но когда человѣкъ говоритъ тебѣ общую мысль, съ жаромъ душевнаго убѣжденія, — ты какъ будто вновь понимаешь ее. Мнѣ «Аббадона» доставила много наслажденія. — Ты помнишь сцену съ Лалогòю, сцену въ павильонѣ, сказаніе о падшемъ духѣ и эффектъ его на Элеонору? Только не такъ бы я заключилъ. Какъ досадно видѣть охлажденіе этого Вильгельма! Мнѣ хотѣлось бы, чтобъ онъ, послѣ тайной борьбы съ долгомъ, безумно бросился въ ея объятія и сказалъ: веди меня! я вездѣ и вѣчно за тобою!

У насъ давали два раза «Донъ-Жуана». Плохо, но все-таки хорошо! Представь, почтенные эти господа выпустили вовсе послѣдній, утѣшительный хоръ, который, говоритъ Гофманъ, кажется освобождаетъ душу отъ враждебной власти ада. Черти взяли Донъ-Жуана, занавѣсъ опустился и опера кончилась диссонансомъ! А ужъ какъ кричало Привидѣніе — мочи нѣтъ! Чудная музыка, раздирающая душу безпрестанными диссонансами, погибла по милости Мак. (Командора), который, вѣроятно, чтобъ больше напугать зрителей, горланилъ пуще чорта. Хохотъ раздавался во время явленія духа. Лавровъ (Донъ-Жуанъ) здѣсь не въ своей роли: онъ поетъ не хорошо; Лепорелло старался сдѣлать чтò могъ, но какой басъ у Живокини? Донна Анна была плоха, Эльвира не лучше. Церлина (Рѣпина) прелесть какъ мила; ихъ сцены съ Мазетто (Степановымъ) шли очень хорошо, пѣли они прекрасно. Въ иныхъ мѣстахъ хорошо пѣлъ и Лавровъ. Я написалъ было въ первомъ пылу статью о Донъ-Жуанѣ для

свои ошибки; замѣтилъ, что многіе недостатки, которые приписывалъ музыкѣ и актерамъ, родились отъ моего невниманія; наконецъ вся статья не понравилась и я сжегъ ее.

Здоровье мое кое-какъ. Началъ лѣчиться у Ал.... Что̀ тебѣ сказать о Москвѣ, Москвичахъ?...

У Б—ыхъ распространилось обо мнѣ такое выгодное мнѣніе, что совѣтуютъ Н* беречься, чтобъ я не обманулъ ее! Господи! да изъ чего же? что̀ за цѣль?

Здѣсь между литераторами и историками статья С* возбудила ропотъ: вишь будто дерзко противъ П—на —и меня увѣрили! Спасибо прочелъ и разувѣрился. Ш... чудакъ: поступокъ С*—а публично назвалъ неблагодарностью и не принялъ книги. Бѣлинскій въ своихъ «Литературныхъ Мечтаніяхъ» (хорошая статья въ Молвѣ; Ш..., говорятъ, хвалилъ ее, пока до него не дошло дѣло) сказалъ (хваля впрочемъ чрезвычайно Ш...), что въ стихахъ его развивается мысль, а не изливается чувство. Справедливое замѣчаніе! Ш..., говорятъ, взбѣсился и кричитъ: какъ смѣть такъ говорить? Это тонъ Полеваго. Да развѣ онъ власть какая-нибудь, что объ немъ судить нельзя? Досадно! Конечно, иное и прибавятъ. — Я не принимаю никакого участія, кромѣ душевнаго, въ изданіи «Наблюдателя». Богъ знаетъ, что̀ изъ него будетъ...

14.

18 февраля.

Получилъ я отвѣтъ на первый вопль, который выжала изъ меня наша старая, милая Москва. Не знаю за что̀, а любишь ее какъ мать. Мнѣ теперь горько

подумать, что если утвердятъ меня въ должности почетнаго смотрителя, я только изрѣдка буду навѣщать ее. Здоровье мое, кажется, получшѣло, головныя боли рѣже и аккуратнѣе; по крайней мѣрѣ каждое почти утро я здоровъ, голова свѣжа, и свободно могу заниматься. Притомъ я нашелъ, кажется, вѣрное облегчающее (временно) средство — ходьба часа два безъ отдыха. Сейчасъ ходилъ ужасно много и свѣжъ какъ нельзя лучше. Я принимаю лѣкарство, занимаюсь дѣломъ и душа покойнѣе; но что̀ это за спокойствіе?... Я хотѣлъ бы чего-нибудь другаго.

Что̀ тебѣ сказать про нашу маслину? Во вторникъ я былъ въ Собраніи, танцовалъ только три кадриля, посмѣялся, позабавился и уѣхалъ; отъ старыхъ знакомыхъ бѣгалъ — не хочется съ визитомъ ѣздить. Я одичаю скоро. Въ субботу не танцовалъ, ходилъ по Собранію, любовался на добрыхъ людей, на шумъ народа. Правда твоя: многолюдство невольно веселитъ; если не веселитъ, то всё какъ-то волнуетъ, всё чувствуешь себя внѣ магическаго круга привычекъ, порядка, *убійственной безчувственности*, какъ выражается самый меньшой братъ мой.

Вчера заговѣлись у Бр. Была рѣчь о тебѣ — я говорилъ А*, что изо всѣхъ людей, которыхъ я люблю отъ души и которые хорошо меня понимаютъ, я никого не знаю способнѣе быть другомъ, кромѣ тебя, и à propos—предложилъ ей свою дружбу. Она говоритъ, что ея дружба слишкомъ взыскательна, что она потребуетъ отъ своего друга всего, что̀ душа ея дастъ ему. Я не взялся, но обѣщалъ быть другомъ добрымъ, совѣтникомъ вѣрнымъ, не связывая своей участи въ душѣ своей съ ея участью. Она говорила, что она

пробовала осуществить свой идеалъ, казалось, нѣсколько разъ находила его и — жестоко ошибалась. Я увѣрялъ ее, что есть люди въ высокой степени способные понимать все высокое въ душѣ дѣвушки, люди, принимающіе въ ней пламенное участіе, которые однако не всегда могутъ удовлетворить такому идеалу, потому только, что это *не есть идеалъ друга* (*просто друга*). Другой дружбы она не знаетъ. Впрочемъ мы недавно съ ней подружились... Что за непріятности! Н* изъ себя выходитъ, и я не знаю, какъ вести себя: близокъ съ нею, — это усиливаетъ ея странную привязанность ко мнѣ, существу, которое считаетъ себя не стоющимъ любви и не могущимъ платить ни за чью женскую любовь; я далекъ отъ нея, — опять страданіе, опять преслѣдованіе, что я былъ неостороженъ, волочился, какъ волочатся всѣ пустые люди, и растерзалъ ее!

Ш.... предлагалъ мнѣ заняться хоть частью иностранной библіографіи въ ихъ журналѣ; я радъ, пусть только присылаютъ мнѣ книги и статьи; я каждый разъ буду писать по порученію.

15.

9 марта.

Я эти дни былъ очень развлеченъ; каждый день собирался писать къ тебѣ, даже имѣлъ потребность, но разныя разности отвлекали. Вопервыхъ, здѣсь были Б—ы, Л. и Т., съ отцомъ; слѣдовательно вся наша братія, какъ скоро только пріѣзжали Б—ы къ Бр., проводили время тамъ. — Весело прошли эти дни; безкорыстно любуешься этими дѣвушками, какъ пре-

красными созданіями Божіими, смотришь, слушаешь, хочешь схватить и навсегда при себѣ удержать эти ангельскія лица, чтобъ глядѣть на нихъ, когда тяжело на душѣ... еще хочешь... не другаго какого-нибудь чувства... хочешь уваженія отъ нихъ, чтобъ онѣ не смѣшивали тебя съ толпою ничтожныхъ людей... Душа моя, ты согласишься, какъ это больно! Я имѣлъ причину этого бояться послѣ понятій, которыя имѣетъ обо мнѣ А. А.; это стоило мнѣ дня большихъ волненій; наконецъ дѣло кончилось, какъ кончаются дѣла между добрыми людьми — объясненіемъ, къ которому вызвала меня сама А... Вчера я говорилъ съ нею откровенно о многомъ — прекрасная душа! Еслибъ она описала меня чернѣе угля, я все уважалъ бы ее: она дѣлаетъ это изъ хорошаго побужденія, да и въ самомъ дѣлѣ, можетъ-быть, имѣетъ право обвинять меня. Теперь она какъ будто за все хочетъ вознаградить истиннымъ участіемъ, дружбою; поговоривши съ нею, я чувствую себя свѣтлѣе, спокойнѣе.

Б—ы уѣхали. Послѣдній вечеръ мы провели съ ними въ Собраніи очень весело. Еслибы ты зналъ тысячу разныхъ ощущеній, чрезъ которыя мнѣ случалось пройдти въ одинъ день! Но это разказывается только на словахъ. Сдѣлай милость, только не подумай, что я влюбился: ей-Богу, нѣтъ! Безъ надежды, безъ сильной надежды, любви не можетъ быть, по крайней мѣрѣ, для человѣка, который привыкъ налагать узду на свои чувства и видѣть настоящія отношенія между людьми.

Мнѣ приходила охота вести свой журналъ; многія чувства мои могли бы быть поучительны для того

ше, что я отвыкъ воплощать эти чувства построже, художнически, т. е. отвыкъ отъ самой мысли; исполненіе всегда было далеко отъ меня.

Но дружба всегда въ правѣ требовать подвига; всѣ эти эгоистическія страданія извиняются и выслушиваются тогда, когда они составляютъ одну только часть жизни, когда другая часть посвящена труду честному, труду съ цѣлью.

Я занимаюсь исторіей, и чтобъ отчетливѣе проходить ее, сталъ давать уроки братьямъ Бѣлинскаго. Я къ нимъ готовлюсь очень обширно: прочелъ Вавилонянъ и Финикіянъ въ «Идеяхъ» Геерена, кое-что изъ Древней Исторіи Лудена. Теперь начну «Исторію Евреевъ» Сальвадора. А какъ ученики мои еще не искусились въ наукахъ, то я отложилъ на нѣсколько времени исторію, чтобы дать имъ понятіе о видѣ и раздѣленіи земли изъ географіи; началъ учить по Ар—ву: какая глупая книга! А умнѣе нѣтъ у насъ. Чтобъ позаботиться вамъ о составленіи курсовъ,—только чтобъ люди составляли, да не перемѣняли по три курса въ годъ въ уѣздныхъ училищахъ, какъ это теперь дѣлается. Ученики мои впрочемъ умные ребята. Я еще не утвержденъ, да и не хотѣлъ бы — хочется въ архивъ, чтобъ жить въ Москвѣ. Здоровье мое туда-сюда. Беру уроки по-англійски — выговоръ у меня недуренъ и, кажется, понемножку успѣю.

Мы издаемъ «Стихотворенія Кольцова». Когда они выйдутъ, пожалуйста, напиши объ нихъ въ Сѣв. Пчелѣ, что̀ ты думаешь; а то навретъ какой-нибудь неучъ. Пиши безпристрастно; ты вѣрно найдешь въ нихъ

хорошее, а недостатковъ не скрывай; ты выскажеш
ихъ такъ, какъ можетъ высказать человѣкъ, уважающій чувство, въ какой-бы оно формѣ ни явилось.

16.

18 марта.

Отъ 9-го до 13-го — четыре дни, и четыре дн
эти могли бы быть эпохою жизни, еслибы все то,
что̀ я услышалъ въ это время, была правда. Не скажу ни слова — горько будетъ разувѣриться, а я почти
разувѣрился... Но, другъ мой, еслибъ это была правда, еслибъ это было возможно, новая жизнь началась
бы для меня. О, какъ созналъ я Провидѣніе въ ту
минуту, когда мнѣ сказали это! Прощай! Не ломай
головы, можетъ-быть угадалъ уже! Христосъ съ тобою и со мною! Можетъ-быть, въ маѣ буду въ Петербургѣ.

17.

27 марта.

Ты, я думаю, Богъ знаетъ, чего ожидаешь посл
послѣдняго письма моего? Мнѣ совѣстно — кажется,
въ порывѣ мечтаній, самыхъ несбыточныхъ, неосновательныхъ, напоролъ тебѣ чортъ-знаетъ что! Между
тѣмъ, здѣсь горе болѣе существенное. Боже мой! в
какія тяжкія обстоятельства я запутанъ! Съ Н* сдѣлалась страшная перемѣна, когда она узнала, что Л
Б—а можетъ быть любима мною... она сама не знал
до сихъ поръ цѣны той жертвы, которую думала принести. Болѣзнь ея возвратилась, и всему причиною мо

вѣтренность, мой эгоизмъ, моя неделикатность! Бр... уѣхали... Ты можешь себѣ представить, каково было съ ними прощаніе! Н* я не видалъ: она только писала ко мнѣ. Это—святая дѣвушка! Боже! можетъ-быть, страшное угрызеніе готовится мнѣ на всю жизнь — но Онъ милостивъ! Она же теперь питается тою мыслью, что первое условіе моего счастія есть ея спокойствіе. Что̀ изъ всего этого выйдетъ? Нѣсколько дней не хотѣлось писать къ тебѣ объ этомъ: это такое прозаическое, существенное горе, котораго не хочется повѣрять бумагѣ; за то̀ какъ бы хотѣлъ я имѣть тебя свидѣтелемъ этого горя, какъ бы хотѣлось предложить тебѣ тысячу вопросовъ! А то̀ кто мои совѣтники?... Впрочемъ, кажется, онѣ уѣхали нѣсколько поспокойнѣе...

Теперь я снова занимаюсь дѣломъ; затворился, принимаю только два раза въ недѣлю — горько показываться въ люди! Такъ много ожидалъ счастья и столько горя разомъ обрушилось!... Но —

Es herrschet eine allweise Güte über die Welt. Христосъ опора наша!

18.

28 марта.

За то меня почти бросила мечта, мечта отрадная, которая преслѣдовала меня среди всѣхъ занятій; горе существенное какъ-то притупѣло, и я вполнѣ могу предаться моей обыкновенной, тихой дѣятельности. Теперь я занимаюсь Еврейскою исторіей. Этотъ народъ представляетъ много задачъ, и я думаю — не знаю успѣю ли — написать очеркъ Еврейской исторіи. Ни-

кто еще не пробовалъ взглянуть на нее человѣчески, но безъ кощунства, со всѣмъ уваженіемъ къ заслугамъ Евреевъ для человѣчества.

Съ Ключн. мы читаемъ одинъ разъ въ недѣлю Шеллинга: это пріемъ самый умѣренный. Мы хотимъ непремѣнно вполнѣ понять его, ясно увидѣть ту точку, до которой могъ дойдти умъ человѣческій въ свою долговременную жизнь. Я себѣ составилъ свои понятія о истинѣ философскихъ системъ: она условная — все основано на методѣ. Кантъ показалъ, до чего умъ человѣческій можетъ дойдти, основавшись на разсужденіи (и притомъ на критикѣ душевныхъ способностей); Французы — на вѣрѣ во внѣшнія чувства и внѣшнія впечатлѣнія; Шеллингъ — на чистомъ самосознаніи и созерцаніи. Выше возможна одна только ступень (можетъ-быть, еще будутъ системы; но, кажется, полнѣе, смѣлѣе, выше этой, едва ли будетъ) — проникновеніе этой системы религіею, или религіи — этою системою. Она можетъ развиться въ чистое христіянство. Но объ этомъ на словахъ; да и надобно еще изучить получше Шеллинга.

Оканчиваю «Новика». Хотя онъ и поотсталъ отъ вѣка, но все-таки занимательный романъ и въ немъ много хорошаго — выше Загоскина, по крайней мѣрѣ. «Новикъ», не будучи такъ живъ, какъ «Милославскій», далеко выше его по характерамъ человѣческимъ. Какъ хорошъ Паткуль и послѣдніе дни его! — Прочелъ одну повѣсть изъ Гоголева: «Миргородъ» — это прелесть! («Старомодные помѣщики» — такъ кажется она названа). Прочти! Какъ здѣсь схвачено прекрасное чувство человѣческое въ пустой, ничтожной жизни!

Какая дрянь № 1 «Наблюдателя»! Я взялъ читать у Эльснера «Das Kampaner-Thal» Жанъ-Поля.

19.

22 апрѣля.

Христосъ воскресе! Я провелъ день твоего ангела у Бр., гдѣ уже мнѣ не можетъ быть такъ весело, какъ бывало. Ты хочешь полнаго отчета чувствъ моихъ? Я не могу тебѣ описывать всего съ историческою подробностью: больно!—Довольно знать, что я въ прежнемъ состояніи, хладнокровенъ, забылъ! Если было что-нибудь — такъ только въ возможности! Н* давно уже имѣла намѣреніе показать любовь свою добрымъ подвигомъ и ей вздумалось чуть-чуть не сосватать меня. Ей вообразилось, что я былъ бы счастливъ съ Л.; она стала убѣждать ее любить меня. Забавно! Не правда ли? Какъ будто это все равно, что сказать: «поѣдемъ въ собраніе! сдѣлай милость, поѣдемъ!» Можетъ-быть, она и натрубила въ уши Л., такъ что та немножко пофантазировала что-то, или это мнѣ такъ показалось. Я не долженъ былъ узнавать ничего! Сдѣлался переполохъ! Н* обезпокоилась и онѣ уѣхали... теперь опять воротились; мать по прежнему любитъ меня; Н* старается казаться веселою, но это геройство меня мучитъ.... дай Богъ ей спокойствія! Мочи нѣтъ! Въ сторону! Богъ милостивъ!

Каратыгинъ здѣсь! Душа моя, сердись, не сердись, а онъ сталъ вдвое хуже прежняго: гримасничаетъ, дѣлаетъ фарсы, реветъ; но все-таки онъ съ рѣдкимъ талантомъ. Я хочу писать объ немъ въ «Телескопѣ».

А propos — Надеждинъ, отъѣзжая за границу, отдаетъ намъ «Телескопъ»; постараемся изъ него сдѣлать полезный журналъ, хотя для иногородныхъ. По крайней мѣрѣ, будетъ отпоръ Библіотекѣ и страннымъ критикамъ Ш.... Какъ онъ мелоченъ сталъ! Мелъ умнѣе ихъ всѣхъ, и возьми перевѣсъ въ ихъ журналѣ, исправилъ бы его. Я теперь читаю французскіе журналы.

Сегодня даютъ «Роберта Дьявола»; иду.

30.

25 апрѣля.

«Робертъ», не знаю почему, не слишкомъ мнѣ нравится. Музыка первыхъ двухъ актовъ не производитъ на меня дѣйствія; но въ послѣднихъ трехъ она мнѣ нравится — я еще не хорошо разслушалъ ее. Кажется только, что Мейерберъ ужасно заботится объ эффектахъ. — Ты помнишь невидимый хоръ, поющій съ Бертрамомъ? мелодія прелесть какъ хороша! А звенящій аккомпанеманъ? онъ на меня сильно дѣйствуетъ — здѣсь столько унынія, столько фантастическаго, хотя можетъ-быть иной назвалъ бы это фарсомъ! Но нѣтъ, отчего же это фарсъ? Я бы кажется иначе не хотѣлъ выразить весь ужасъ и всю печаль этого положенія. Но безпрестанные аккомпанеманы тромбоновъ, фаготовъ — это немножко натянуто. Но все-таки это мнѣ нравится. По моему, одинъ изъ главныхъ недостатковъ оперы — длинота ея: опера должна быть коротка; я всегда твердилъ, что первое дѣйствіе оперы и начало всякаго концерта на меня дѣйствуютъ удивительно, но что потомъ чувство у

меня притупляется, и я зѣваю, хочу спать. Мнѣ, а можетъ-быть еще болѣе тѣмъ, которые слышали это отъ меня, казалось такое явленіе слѣдствіемъ антимузыкальнаго чувства. Но какъ же я радъ былъ, когда отыскалъ тоже самое у Гофмана въ его «Musikfeind». И на него также дѣйствовала музыка, особенно концертная.

Очеркъ Еврейской исторіи получилъ (разумѣется, въ головѣ моей) болѣе обширный размѣръ и составится въ тиши деревенской жизни. Рж. предложилъ составить древнюю исторію изъ древнихъ писателей, взявъ по народу на каждаго изъ насъ. Это бы хорошо! Тогда мы избавили бы многихъ отъ необходимости рыться въ древнихъ, между тѣмъ какъ средніе вѣка представляютъ задачу болѣе сложную, трудную и близкую къ намъ. А оторвать это введеніе судьбы къ жизни человѣчества значитъ — уничтожить одно изъ данныхъ, которыя могутъ дать огромные результаты.

21.

1 іюня.

.... Я началъ со вчерашняго дня пить минеральныя воды. Представь, какое наказаніе! — запретили пить чай! Сегодня мнѣ ужь очень легко перенести это, вчера было трудно, а третьяго дня я просто рѣшился не ѣхать на воды, остался дома и напился чаю. Чай въ моей жизни много значитъ, не по одному раздраженію, которое онъ дѣлаетъ въ слабыхъ нервахъ; нѣтъ: *надежда пить чай* утѣшаетъ меня, когда я послѣ обѣда, въ эту минуту, въ которую руки и ноги опускаются, голова способна только фантазировать,

душа желать чего-то неопредѣленнаго, но желать сильно, и досадовать, что судьба тебѣ не кладетъ въ ротъ того, чего тебѣ хочется,—когда я лежу на кровати, положивъ руки подъ голову! Поутру онъ такъ одушевляетъ всякое сухое занятіе! Но довольно объ этомъ; я надѣюсь, что воды и правильный образъ жизни, который я долженъ вести по необходимости, помогутъ мнѣ.

По окончаніи курса лѣченія, т. е. въ концѣ іюня, я отправлюсь съ братьями въ деревню, гдѣ у насъ готовится праздникъ... Право, въ нашъ глупый вѣкъ трудно отличить чувство отъ фантазіи; по крайней мѣрѣ, въ нашъ вѣкъ фантазія такъ скоро обращается въ дѣйствительное чувство, что можетъ сдѣлаться дѣйствительнымъ несчастіемъ. Я видѣлъ этому примѣръ: лелѣй призракъ два, три года, и онъ сдѣлается тебѣ жизнью, и тебѣ больно будетъ разстаться съ этимъ сномъ, какъ съ вѣрнымъ другомъ, котораго существованіе необходимо для твоего счастія. Если же обстоятельства тебѣ благопріятствуютъ, фантазія твоя скорѣе всего улетитъ!

Надеждинъ передаетъ свой «Телескопъ» Бѣлинскому; съ № 7 онъ поступитъ въ его распоряженіе, а мы понемногу всѣ станемъ ему помогать. За это берутся и еще нѣкоторыя особы. Въ «Наблюдателѣ» пишутъ много глупостей, хотя направленіе его и честно. Ш... обманулъ наши ожиданія: онъ педантъ. Разумѣется, что я не стану тратить времени на «Телескопъ». Но каждое воскресенье мнѣ остается два-три часа свободныхъ, въ которые я могу заняться для него; кромѣ того, мы всегда будемъ обществомъ совѣщаться о журналѣ.

Другъ мой, какъ плоха статья Мел. «Чер.-Чел.» Онъ давно, съ годъ, спрашивалъ у меня: печатать ли? — Я отвѣчалъ, что ничего не знаю и чтобъ онъ спросилъ у тебя. Ты согласился, я и ожидалъ этого. Но что за жалкія претензіи у этого, очень не глупаго человѣка! Радъ всякому случаю, чтобы только разказать его — и разказъ всегда такъ холоденъ, безцвѣтенъ, слабъ. Впрочемъ, почему не разказать твоихъ забавныхъ приключеній? Но они сами по себѣ забавнѣе, нежели съ его прикрасами. Кромѣ того, я хотѣлъ бы, чтобъ онъ немного оттѣнилъ тебя: тогда всѣ эти забавныя приключенія, вмѣстѣ съ внутреннею жизнью твоею, составили бы повѣсть, полную жизни и мысли, прекрасную картину, шекспировскую драму. Жизнь твоя — мощное и прекрасное поэтическое произведеніе.

Всѣ ѣдутъ за границу, я остаюсь. До сихъ поръ, признаюсь тебѣ, я не видалъ большой пользы ѣхать за границу. Надобно путешествовать или въ 18 лѣтъ, когда годъ изъ жизни ничего не значитъ и живыя впечатлѣнія могутъ сторицею воздать за потерю времени, воспитавъ душу, наполнивъ ее очаровательными воспоминаніями; или — когда уже получилъ достаточное образованіе, и хочешь довершить его, и хочешь на опытѣ узнать ту жизнь, которую обнималъ душою въ тишинѣ своего кабинета. Я такъ много еще долженъ сдѣлать и такъ скоро (ибо за 25 лѣтъ стыдно и невозможно учиться многимъ вещамъ, а мнѣ 21), что ужасно потерять какихъ-нибудь два года, будь они и полезны во многихъ отношеніяхъ. Но я не отказываюсь отъ мысли ѣхать за границу; она безотчетно и невольно воскресаетъ во мнѣ со всею силою при видѣ

всѣхъ знакомыхъ, близкихъ людей, отъѣзжающихъ туда. Еслибъ я думалъ только о наслажденіяхъ, можетъ-быть — я и уѣхалъ бы. Но меня удерживаетъ многое: 1) мое образованіе, — хоть чѣмъ-нибудь, я хочу быть полезнымъ. Есть у насъ люди гораздо образованнѣе, ученѣе насъ, но какую они дѣлаютъ пользу? живутъ въ бездѣйствіи, пишутъ повѣсти и т. п. 2) Я долженъ буду заняться братьями; я хочу, чтобъ они у меня жили и брали частные уроки. Впрочемъ путешествіе было бы мнѣ полезно въ другомъ отношеніи: отчасти для здоровья, отчасти потому, что, можетъ-быть, лучше удалиться изъ Россіи, отъ глазъ, отъ фантазіи несчастной дѣвушки, для которой я бы все готовъ сдѣлать и которой, можетъ-быть, дѣлаю вредъ, думая сдѣлать пользу. Потомъ освѣжить чувство тоскою по родинѣ, оживить эту любовь къ Россіи, гибнущую отъ тысячи обстоятельствъ. — Служить въ Петербургѣ, ты видишь, мнѣ почти невозможно... Поблагодари С*. за брошюрку; жаль, что онъ такъ связался съ пустымъ Г**: этотъ народъ испортитъ его, а С* способенъ испортиться.

О чемъ тебѣ еще писать? Ты все ждешь чего-нибудь о прежнемъ? Все прошло, промчалось, какъ сонъ. Отрадное видѣніе мелькнуло было на одну минуту — и стремиться къ нему запрещаетъ долгъ... а Н* такъ великодушна, такъ свята! Жду всего отъ судьбы — трудно выгнать сладостную мысль, которая запала въ душу, среди тысячи непріятностей, ее наполнявшихъ. Но теперь это уже не надежда, а мечта. Иногда хотѣлось бы сохранить твердость стоика, иногда такъ хочется счастья; а гдѣ ангелъ, который

Прощай! Я постараюсь быть достойнымъ твоей дружбы. Тогда я, по крайней мѣрѣ, достоинъ буду чьего-нибудь участія, если оно и не существуетъ. Досаднѣе всего, когда терзаютъ этотъ божественный призракъ. Разлучи меня съ нимъ, но не унижай, не оскверняй его. Еще я способенъ былъ бы на всякое пожертвованіе, еслибы зналъ, что вездѣ меня будетъ сопровождать ея мысль, ея участіе. Но объ этомъ не должно много говорить. Душа моя тебѣ открыта, но она должна сосредоточивать свои впечатлѣнія: это хранитъ энергію; душа должна имѣть свой алтарь: одинъ первосвященникъ изрѣдка можетъ входить туда. Прощай же, мой Ааронъ — въ очкахъ! Христосъ съ тобою и со мною.

22.

14 іюня.

Ты все тотъ же добрый, тотъ же пламенный Январій! Тебя манитъ синее море и синяя даль! Другъ, все манитъ насъ, что сине! море прекрасно потому, что его нельзя обозрѣть; даль хороша потому, что въ ней всѣ предметы сливаются съ небомъ и воздухомъ. Нѣтъ! я отказываюсь на годъ, на два, отъ путешествія за границу. Я занимаюсь, хоть по немногу, и знаю, что мнѣ нужно еще пріобрѣсть. Конечно, вполнѣ удовлетвориться своими познаніями нельзя, но надобно узнать хоть то, что̀ стыдно не узнать; узнавши, я успокоюсь и тогда можетъ-быть поѣду. Не знаю, удастся ли на будущій годъ побывать въ Крыму или на Кавказъ?

Жизнь моя течетъ тихо и спокойно; ее смущаютъ

иногда мечты и планы — слѣдствіе моей болѣзненной раздражительности; но эти мечты скоро отлетаютъ, эти планы скоро разрушаются, и я самъ безжалостно смѣюсь надъ ихъ печальными развалинами. Я оставилъ древнюю исторію, изъ которой успѣлъ узнать кое-что и намѣренъ особенно заняться среднею и новою. Теперь я читаю Де-Мишеля и уже оканчиваю первую часть. Эта книга очень сухая, напичкана фактами и распущена фразами — ничего живаго! Вторая часть, какъ самъ онъ говоритъ въ предисловіи, гораздо пространнѣе, и я только поэтому рѣшаюсь взяться за нее. Потомъ окончу всю новую исторію Кохомъ: это будетъ дѣломъ нѣсколькихъ дней. Послѣ мнѣ остается открытое поле — читать и читать. Недѣли черезъ двѣ, я поѣду въ деревню, гдѣ ничего не буду дѣлать, возьму съ собою только Гизо на всякій случай — перечесть читанное и дочитать нечитанное (послѣдняго очень много), если вздумается; а главное— Шекспира по-нѣмецки и Оссіана по-англійски. Проживши тамъ мѣсяца два, я пріѣду въ сентябрѣ въ Москву, и думаю взять братьевъ къ себѣ на квартиру, чтобъ приготовлять старшаго къ Университету, а меньшаго учить хоть исподоволь. Дома они вдесятеро могутъ успѣть болѣе, нежели у П-ва, котораго пансіонъ теперь расходится. Впрочемъ объ этомъ еще надобно поговорить съ папенькою. Онъ имѣетъ удивительную проницательность, и прежде, нежели я сказалъ ему слово, ужь совѣтуетъ мнѣ оставить мою крартиру за собою: онъ знаетъ, что мнѣ хочется служить въ Москвѣ.

Да! въ Москвѣ мнѣ отраднѣе, нежели гдѣ-нибудь.

дышать новою жизнью; здѣсь люди, съ которыми подѣлился въ первый разъ идеями; но мнѣ нуженъ — ты. Ты меня знаешь лучше другихъ и могъ бы дополнить меня, могъ бы замѣнить собою мои слабыя стороны, разрѣшить для меня многіе вопросы, которые не ложатся на бумагу. Я имѣю потребность видѣться съ тобою и надѣюсь непремѣнно побывать въ Петербургѣ въ сентябрѣ или октябрѣ. Не говори, что я выбираю дурное время для отъѣзда — мнѣ надобно поѣхать. Мнѣ кажется, что этому не можетъ быть никакихъ препятствій, кромѣ развѣ нравственныхъ: каково это подѣйствуетъ на Н*? Она будетъ здѣсь предполагать другой интересъ. Я поэтому только не поѣхалъ въ Петербургъ нынѣшнее лѣто. М. Б—ъ пишетъ ко мнѣ и я къ нему; мнѣ эта переписка доставляетъ удовольствіе. Другъ, прости этимъ тревожнымъ, безотчетнымъ желаніямъ и мечтамъ... все это болѣзнь! Я добыча мечты и сомнѣній, сомнѣваюсь въ другихъ, въ себѣ... О! въ себѣ тяжелѣй всего сомнѣваться. Я обо всемъ долженъ переговорить съ тобою, съ глазу на глазъ, взявъ тебя за руку. Я долженъ тебѣ разказать весь ходъ моей жизни, всѣ мои предположенія, всѣ мои старыя, давно погибшія мечты, всѣ надежды, такъ скоро улетѣвшія! Не знаю, чѣмъ погублено все это? Право, не столько внѣшними обстоятельствами, сколько мною самимъ: сомнѣнія, тяжкія сомнѣнія, болѣе всего меня преслѣдовали. Но я долженъ говорить объ этомъ съ тобою не на бумагѣ.

Я съ самимъ собою наблюдаю тактику, которую предписываетъ Гёте для излѣченія людей, наклонныхъ къ сумасшествію: стараюсь соблюдать во всемъ поря-

докъ, а пуще всего не быть праздныхъ. Право, праздная московская жизнь много въ насъ испортила.

Въ «Телескопѣ» я принимаю не самое дѣятельное участіе; у меня впрочемъ много и своихъ занятій. С" наконецъ развилъ свои способности въ Петербургѣ: изо всей своей братіи, онъ одинъ былъ честный, хотя и несовѣстливый и не слишкомъ умный малый. Теперь выходки его противъ П—а неблагородны. Прекрасно вывести на чистую воду ошибки ученаго; но что̀ ты скажешь объ этомъ? ему стали замѣчать его ошибки, а онъ отвѣчаетъ, что это *ловушки*.... какъ благородно! Если онъ сдѣлалъ ошибки безъ намѣренія и не хочетъ сознаться въ нихъ,—это безсовѣстно; если онъ въ самомъ дѣлѣ затѣялъ ловушку,— какая уловка! И этотъ человѣкъ говоритъ, что критики Бѣлинскаго пахнутъ кабакомъ! — Я не одобряю слишкомъ полемическаго тона у Бѣлинск.; но это душа добрая, энергическая, умъ свѣтлый, за которымъ ему не угоняться. Но Богъ съ ними, съ этими полемиками!

23.

15 іюня.

Сейчасъ я съ минеральныхъ водъ; выпилъ пять стакановъ и мысли стали свѣжѣе....

Мой путь унылъ: сулитъ мнѣ трудъ и горе
Грядущаго волнуемое море.

Не буду болѣе тебѣ жаловаться: это тебѣ наску-

24.

26 іюня.

.... Мнѣ хотѣлось бы сегодня тотчасъ, по окончаніи экзамена у братьевъ, отправиться домой. На дняхъ я рѣшился адресоваться къ Дядьковскому, по совѣту Ключи... Дядьковскій не хотѣлъ меня пускать изъ Москвы, но я далъ ему слово пріѣхать въ концѣ іюля назадъ.... Больше всего боюсь, чтобъ это лѣченіе не остановило моей поѣздки въ Петербургъ. Употреблю всѣ мѣры, чтобы съѣздить.

25.

С. Удеревка, 17 іюля.

.... Деревенская жизнь моя идетъ своимъ чередомъ, по старому, кромѣ того, что теперь я уже не столько ѣмъ, какъ прежде. Охота, болтовня, изрѣдка чтеніе— вотъ въ чемъ она проходитъ. Третьяго дня у насъ собрались наши сосѣди и знакомые, пропировали день, а вчера разъѣхались. Но это общество не такъ было одушевлено; можетъ-быть, мнѣ такъ казалось. Между тѣмъ меня утвердилъ министръ въ должности почетнаго смотрителя; а такъ какъ я не могу оставаться въ деревнѣ, то возьму сначала отпускъ на мѣсяцъ, потомъ на 4, наконецъ, если мнѣ нельзя будетъ, не смотря на отлучку, считаться на службѣ, выйду въ отставку: чинъ мнѣ не нуженъ. Я надѣюсь черезъ годъ гдѣ-нибудь держать экзаменъ на магистра. Вотъ ближайшій планъ внѣшней жизни моей; дальнихъ я уже не дѣлаю: ихъ столько рушилось! По дорогѣ я былъ у Бр.; что за миленькая деревушка! Мы съ братьями прожили тамъ двое сутокъ съ половиною и

не видали, какъ они прошли. Бр., слава Богу, очень поправилась.

26.

6 августа.

Послѣднее письмо твое я получилъ на охотѣ, вечеромъ, прочелъ и спряталъ въ ягдташъ, гдѣ обыкновенно лежатъ кремни и отвертки. Другъ мой! Я чувствую всю тягость, всю непріятность твоего положенія, среди ничтожныхъ людей, между которыхъ судьба поселила тебя; я удивляюсь твердости, съ которою ты сносишь всѣ эти мелкія, повседневныя непріятности, гнетущія и убивающія душу, болѣе нежели одно могучее бѣдствіе. Оно—избави насъ Богъ отъ него—вызываетъ по крайней мѣрѣ энергію души, мѣряется съ нею своею огромностію и часто ей уступаетъ. Но надобно призвать на помощь всю силу ума, всю силу воли, чтобы не поддаться этимъ ничтожнымъ каплямъ, по немногу пробивающимъ самое каменное терпѣніе... Бѣги же этихъ людей, и забудь ихъ пустоту въ своемъ кабинетѣ, въ наукѣ, въ дѣятельности; освѣжи себя искусствами, отряси прахъ ихъ съ ногъ твоихъ — и живи счастливо, сколько можно быть счастливымъ безъ помощи судьбы. Знаю, другъ мой, что внутреннее блаженство есть часто не болѣе, какъ самоотверженіе; внѣшнее не дается тому, кто его ищетъ. Но, другъ мой! я вѣрю еще въ особенный промыслъ, бдящій надъ жизнью каждаго, кто хочетъ быть человѣкомъ; онъ подалъ ему на это средства: иному счастіе, иному бѣдствіе. Да! кажется нужно что-то *отъ міра* для полноты этого счастія, но — да будетъ воля

но быть человѣкомъ. Я говорю: Господи! буди въ сердцѣ моемъ и дай мнѣ совершить подвигъ на землѣ; и если слезящій взоръ обратится къ нему съ другою, невольною молитвою, я говорю,—но да будетъ, не якоже азъ хощу, но якоже ты хощеши. Когда же вся тяжесть пожертвованій безъ вознагражденія представляется мнѣ, я прибавлю: Господи! если возможно, да мимо идетъ чаша сія!

Хотя меня утвердили почетнымъ смотрителемъ, однако здоровье мое требуетъ, чтобъ я жилъ въ Москвѣ. Итакъ я беру отпускъ, а потомъ охотно подалъ бы въ отставку, потому что Дядьковскій, для совершеннаго исцѣленія моей болѣзни, назначилъ сроку два года. Только я думаю, что останусь за эту скорую перемѣну на дурномъ замѣчаніи у начальства, а мнѣ хотѣлось бы продолжать службу по министерству просвѣщенія. Честолюбіе мое насытилось бы вполнѣ, еслибъ я современемъ могъ сдѣлаться инспекторомъ казенныхъ училищъ въ какомъ-нибудь округѣ по новому іюльскому уставу.

Я опять принимаюсь за старый планъ — держать экзаменъ на магистра. До сихъ поръ я думалъ, что свободно и по своей волѣ могу предаться занятіямъ, но общество требуетъ званія и ремесла, а въ должности почетнаго смотрителя я вѣрно не останусь на долго.

27.

Къ В. П. Красову.

20 августа.

Итакъ ты въ Москвѣ, любезный Васютка? Какимъ же вѣтромъ занесло тебя туда? Въ шею ли тебя вы-

гнали — такъ скажи, за что? безъ причины этого не сдѣлаютъ. Или твои обстоятельства вывели тебя изъ почтенной компаніи...? Но ты, говорятъ, замышляешь доброе, слѣдовательно фантазія твоя не стѣснена житейскими непріятностями, и это успокоиваетъ меня на счетъ причины твоего быстраго переѣзда. На всѣ мои вопросы ты будешь отвѣчать мнѣ лично, а сюда ужъ больше не пиши.

Какъ же я радъ, что мнѣ не трудно будетъ ждать зимы, чтобъ поговорить съ моимъ Красовымъ; что пріѣхавши въ Москву, я тужъ минуту найду тебя вѣтрогона и притащу къ себѣ за шиворотъ и задушу вопросами и отвѣтами, разказами о быломъ и не сбывшемся, о томъ, чего не будетъ и не должно быть. Ты, въ свою очередь, тоже наговоришь мнѣ много. Да подкрѣпитъ тебя Богъ въ исполненіи твоихъ поэтическихъ плановъ; они дадутъ просторъ душѣ твоей.

«Не открывай сердца твоего червю знаменитыхъ, лучшихъ умовъ», вѣрь своему чувству и предавайся своей фантазіи. Дай ей прочную пищу въ наукѣ, сколько позволятъ тебѣ твои обстоятельства, но не заглушай въ себѣ божественныхъ призывовъ безплодными сомнѣніями. Найдется много не глупыхъ людей, которые посовѣтуютъ тебѣ заняться дѣльнымъ, искусно отвлекутъ тебя отъ любимой мечты, нападутъ на слабую струну твою — *добросовѣстность*, и постараются убѣдить тебя, что ты не призванъ для художнической дѣятельности. И они это сдѣлаютъ съ добрымъ намѣреніемъ, съ полнымъ сознаніемъ честнаго поступка. «И геніи и таланты въ искусствѣ рѣдки; слѣдовательно этотъ человѣкъ не можетъ быть ни тѣмъ ни дру-

ма ъ и незамѣтенъ будетъ художническій талантъ твой; но эти пламенныя, искреннія бесѣды души съ самимъ собою не сохраняютъ ли ея энергіи, не спасаютъ ли ея сокровища отъ напітія тяжкихъ житейскихъ смутъ и заботъ?

Продолженіе переписки съ Я. М. Н—ъ.

20.

Москва, 28 сентября.

Прошедшую субботу 21-го пріѣхалъ я въ Москву.

Что̀ новаго представитъ мнѣ Москва?

думалъ я, когда на 6-й верстѣ — пыльная, синяя и широкая показалась она изъ своей лощины подъ навѣсомъ сѣрой тучи. Чего же новаго ждать въ ней? Не зналъ ли я, что мои занятія пойдутъ прежнимъ чередо̀мъ, что я буду принимать пилюли, читать, писать, скучать и фантазировать? Я зналъ все это, и все-таки сердце стиснулось ожиданіемъ, и съ волненіемъ въѣхалъ я въ широкую заставу....

Здоровье мое лучше. Не знаю, что̀ скажетъ Дядьковскій, а мы съ Ефр. собираемся около 15-го отправиться — куда ты думаешь? — въ деревню Б—хъ; тамъ имянины... Не принимай вида Минервы, не улыбайся какъ Мефистофель — мы ѣдемъ просто: Ефр., какъ короткій знакомый и другъ дома, а я — какъ человѣкъ, желающій ближе познакомиться съ этимъ почтеннымъ семействомъ. Въ Петербургѣ я не могу быть раньше Новаго года.

Я постигаю, мой другъ, твое желаніе ѣхать за границу. Всѣми возможными силлогизмами убѣдилъ я себя остаться здѣсь; но часто они лопаются, и меня манитъ не синяя даль, а дѣльная, благородная жизнь, прочное ученіе, нѣмецкіе университеты, расширенный кругъ познанія... Черезъ два года, можетъ-быть, отправлюсь и я; самъ папенька посылаетъ меня. Но эти два года не пропадутъ; у меня еще станетъ воли на то, чтобъ быть человѣкомъ. Если ты не можешь скоро исполнить своего желанія, посвяти твое свободное время здѣсь раціональному изученію какого-нибудь любимаго предмета. За что̀ мы, честные и благонамѣренные люди, останемся недѣятельными и дадимъ завладѣть вліяніемъ какимъ-нибудь глупцамъ и эгоистамъ?

Я надѣялся, что Тим—ъ въ самомъ дѣлѣ честный и не глупый человѣкъ, и жалѣлъ всегда, что онъ имѣетъ претензіи на авторство; можно заблуждаться, но, сдѣлавъ два, три неудачныхъ опыта — отстать. Умному человѣку останется еще обширное, еще благородное поприще дѣятельности внѣ литературы. Мнѣ кажется, Бѣлинскій вовсе не былъ строгъ къ нему, хотя иногда, по раздражительности характера, онъ бываетъ черезъчуръ бранчивъ. Онъ удивляется, съ чего тебѣ вздумалось похвалить «Три Пятницы» К., которыхъ я не читалъ, но которыя кажутся ему необыкновенно плохи? *Не посовѣтовалъ-ли* кто-нибудь?...

29.

13 октября.

... Я уже совсѣмъ готовъ отправиться къ Б—мъ.

поѣду. Онъ предстанетъ туда какъ человѣкъ, коротко знакомый и прожившій у нихъ почти мѣсяцъ нынѣшнимъ лѣтомъ, и мнѣ ловчѣе будетъ явиться въ домъ подъ сѣнью его. Иначе дико будетъ пришельцу въ чужой землѣ, землѣ прекрасной, цвѣтущей, но гдѣ никто не знаетъ его коротко, никто не отзовется душѣ его. Какъ прибавленіе, я все-таки буду имѣть какой-нибудь смыслъ. Не знаю, что̀ скажетъ докторъ его? какъ бы мы не остались? Судьба вѣчно мнѣ мѣшаетъ заняться дѣломъ, въ то время, когда я чувствую особенную охоту къ дѣятельности. Но кто знаетъ? можетъ-быть, я возвращусь дѣятельнѣе и какую-нибудь потерянную недѣлю вознагражу въ три дня... Тяжело не имѣть ни одной отрадной мечты за душою; по крайней мѣрѣ въ такомъ положеніи хотѣлось бы сознать, что ты живешь не напрасно, что ты совершилъ подвигъ... Года черезъ два и я надѣюсь быть за границею, а пока поработаемъ. О моихъ занятіяхъ и планахъ поговоримъ при свиданіи; тогда я, можетъ-быть, больше буду имѣть права фантазировать о будущемъ, болѣе довольный собою въ настоящемъ; а до сихъ поръ совѣстно и страшно подумать, какъ я мало сдѣлалъ!

Я не чуждъ энергіи, но часто теряю центръ въ моихъ занятіяхъ и не знаю куда иду: всякая вдохновляющая мысль покидаетъ меня, и я брожу нѣсколько дней въ апатіи, не знаю, къ чему устремиться? Теперь я, кажется, лучше понимаю и себя, и людей, и знанія. Но еще одна свѣтлая мысль, или безотрадное убѣжденіе, и я пойду тверже, рѣшительнѣе, по избранному мною пути.

Ну, другъ, не знаю, что̀ тебѣ дался Тим—ъ? Въ

«Сѣверной Пчелѣ» выписаны двѣ его пѣсни, какъ образчикъ красоты; эти двѣ пѣсни — вялыя мысли, выраженныя варварскимъ языкомъ.

Какъ тебѣ нравятся №№ 7 и 8 «Телескопа», изданные Бѣлинскимъ? Замѣть въ послѣднемъ прекрасную статью: «Лютеръ на Вормскомъ сеймѣ». 9-й готовится. Въ немъ осмѣлились пошутить надъ Ш..., который съ важностью говоритъ о реформѣ въ русской просодіи и хочетъ ввести итальянскую... Не говоря уже о нелѣпости этой мысли, подумай, какъ не стыдно въ нашъ вѣкъ, богатый человѣческими интересами, думать о перемѣнахъ въ просодіи? Талантъ самъ создаетъ ее.

14 октября.

Сейчасъ отправлюсь къ Еф., гдѣ рѣшится судьба моя: to fare, or not to fare?

30.

Торжокъ, 26 октября.

Вотъ я на возвратномъ пути. Мы ѣдемъ вмѣстѣ съ Б—ъ. Я пробуду у нихъ еще одинъ день и потомъ возвращусь въ Москву. Еф. съ нами. Я подружился съ М.—чистая и благородная душа! Зная нашу дружбу, онъ хочетъ съ тобою поближе познакомиться и пишетъ къ тебѣ. Можетъ-быть, въ январѣ мы вмѣстѣ съ нимъ пріѣдемъ въ Петербургъ. Все семейство вспоминаетъ тебя, и Л" находитъ, что ты соединяешь

Можешь представить, съ какимъ чувствомъ я это слушалъ: точно благодатную вѣсть ангела!

Но, добрый другъ мой, я уношу съ собою такую тяжесть на душѣ, отъ которой ничто болѣе не можетъ спасти меня. Да, мой ангелъ! я похоронилъ свою послѣднюю надежду въ жизни и съ этихъ поръ принадлежу долгу и дружбѣ — нѣтъ для меня другихъ чувствъ! Я молилъ бури для тоскующаго сердца; но она прошла по немъ съ такою силою, что̀ могла сокрушить его... Я теперь успокоился; ты знаешь, что̀ такое успокоиться?.. Я возвратился въ прежнюю безотрадную жизнь, могу спокойно спать и шутить; могу заниматься и работать, но уже безъ надежды на человѣческое счастье. Безъ надежды?... она остается и въ самомъ печальномъ отказѣ, Resignation; но какая же надежда?

Дай мнѣ руку, добрый другъ! Я удвою старанія, я постараюсь сдѣлать все, что̀ позволятъ мнѣ силы... Но молю Небо, чтобъ оно равно сохранило меня и отъ отчаянія, и отъ той апатіи, которая отравляетъ безнадежную жизнь... Я очень радъ, что М. выбралъ одни занятія со мною; мы будемъ переписываться другъ съ другомъ очень серіозно на счетъ этихъ занятій. Прощай пока! Христосъ съ нами...

... Теперь, когда отчаяніе не бунтуетъ въ груди моей, я люблю смотрѣть на ея ангельское лицо, хотя не ко мнѣ обращается она съ своею небесною улыбкой.

31.

4 ноября.

Я познакомился съ Лаж... еще въ Москвѣ, потомъ былъ у него въ Твери. Человѣкъ не молодой, за 40,

ѣздой еще съ молода, пріятной наружности, небольшаго роста, тихій, добрый, умный, но какой-то нерѣшительный въ мнѣніяхъ. Въ его романахъ я вижу умный, серіозный взглядъ на вещи, чувство истинное и благородное, любовь къ Россіи и правдѣ. Онъ затѣваетъ еще два романа: «Колдунъ на Сухаревой-башнѣ,» въ которомъ главное лицо Брюсъ; а другой изъ временъ Іоанна III. Герой его нѣмецкій лѣкарь, казненный за то, что не вылѣчилъ татарскаго князя; героиня — русская дѣвушка, которая любитъ этого Нѣмца по-своему; здѣсь же будетъ и Аристотель Болонскій — лица преинтересныя; но наши лѣтописи не дадутъ ему никакого понятія о ихъ характерѣ, а создавать онъ не мастеръ. Впрочемъ онъ все-таки лучшій романистъ послѣ Гоголя, которому равнаго я не знаю и между Французами. Это истинная поэзія дѣйствительной жизни.

Но мы еще о многомъ поговоримъ и поспоримъ въ Петербургѣ. Тамъ сообщу тебѣ мои планы и фантазіи, которыя ты, надѣюсь, раздѣлишь. Теперь я плотно принялся работать. Дорожу каждою минутою. Здоровье мое лучше.

Для призраковъ закрылъ я вѣжды,
Но отдаленныя надежды
Тревожатъ сердце иногда.

Какъ эти надежды ни на чемъ не основаны, то я ихъ убиваю: онѣ унижаютъ человѣка; надобно *знать*, что ты никогда не будешь счастливъ, и съ твердостью нести свой крестъ, а я слабъ!

Пришли мнѣ, другъ, два экземпляра «Критики Чис-

таго Разума» Канта, одинъ мнѣ, другой Ключи. Пожалуйста поскорѣе! свою я отослалъ къ М.

22.

10 ноября.

Жалобы мои вырвались изъ растерзанной души въ безотрадныя минуты. Это изнурительное, напряженное состояніе прошло, въ душѣ водворилось давнишнее, мертвое спокойствіе, къ которому я начиналъ уже привыкать... Не знаю, добрый или злой геній освѣтилъ на минуту мракъ души моей; но теперь, когда погасъ обманчивый лучъ, мракъ сталъ еще темнѣе... Грустно сознать, что тебѣ нечего ждать отъ жизни, что лучшая, любимая мечта твоя, съ которою ты сжился, погибла навсегда. Сначала я былъ внѣ себя, роптал... но это продолжалось не болѣе трехъ дней; я истощился въ борьбѣ, и теперь душа моя въ летаргическомъ снѣ — итакъ жизнь моя останется летаргіею?... Знакомо ли тебѣ это чувство? Когда ты лишишься кого-нибудь изъ близкихъ тебѣ, когда прошли первыя минуты отчаянія и тѣло предано землѣ, ты успокоиваешься, но тебѣ странно представить, что твой другъ, твой родственникъ не существуетъ, ты долго не свыкнешься съ этою мыслью и долго будешь вздрагивать, вспомнивъ, что это такъ, и долго будешь видѣть во снѣ его болѣзнь, агонію, смерть, выздоровленіе, и опять болѣзнь и смерть. Ты наконецъ уже мало грустишь о немъ, но въ тебѣ какая-то страшная пустота и тревожные сны мѣшаютъ забыть горе. Вотъ мое положеніе! Щадя жизнь свою, щадя свою душу, свою способность на благій подвигъ, или, можетъ-быть,

невольнымъ движеніемъ эгоизма привязывая къ нему добрую идею — я постепенно удушалъ свое чувство или, лучше сказать, лучшую мечту свою, ибо чувство это не успѣло достигнуть полнаго развитія. Не будь этого, я бы не жилъ послѣ страшныхъ ударовъ; я стараюсь убѣдить себя, что мнѣ ничего не остается въ жизни, но надежда, лукавый предатель, тѣснится въ душу и мѣшаетъ перенести горе съ полнымъ сознаніемъ, съ полнымъ достоинствомъ.

Я больше, нежели когда-нибудь, способенъ трудиться. Не говори мнѣ *о созданіяхъ* — не много надобно было мнѣ проницательности и не много самоотверженія, чтобы отказаться отъ этого поприща: оно не мое. Но я посвящаю себя другому дѣлу. — Ты давно уже подшучивалъ надъ моимъ стремленіемъ къ философіи; но это стремленіе спасло во мнѣ многое. Оно занимало меня болѣе, нежели что-нибудь другое, и всякое занятіе казалось мнѣ одностороннимъ, если оно не имѣло философскаго значенія. Я занимаюсь исторіею, — но она для меня привлекательна какъ огромная задача философская. Теперь мы съ Ключн. принялись за Канта. Мы съ нимъ читали Шеллинга, — и если не поняли вполнѣ его хода, его діалектики, то постигнули основныя идеи, сущность системы. Чтобъ возвести свое горячее убѣжденіе на степень знанія, надобно хорошенько изучить основаніе, на которомъ утверждается новая нѣмецкая философія. Это основаніе — система Канта. Уничтоживъ догматическія попытки метафизики, онъ указалъ ей новую дорогу. Онъ вывелъ, что чистыя, преждеопытныя понятія нашего ума есть только формы, которыя должны быть наполнены опытностію и вне ея теряютъ свое значеніе

Слѣдственно эти чистыя понятія не могутъ служить органомъ для рѣшенія вопросовъ о душѣ, свободѣ, безсмертіи, предлагаемыхъ обыкновенно въ метафизикѣ. Эти три предмета постигаются практическимъ умомъ, имъ *вѣруютъ*. Итакъ Кантъ съ одной стороны навсегда оградилъ убѣжденіе отъ ударовъ скептицизма, а съ другой — указалъ новую задачу философамъ: отыскать начало и возможность знанія, какъ прежде отыскивали начало и возможность міра. Шеллингъ взялся за рѣшеніе этого вопроса. Съ строгою послѣдовательностью отыскалъ онъ, что основное начало нашего знанія есть *самосознаніе*. Оно выше всего, ему нѣтъ причины, оно не доказывается, а чувствуется, и служитъ опорою всякому другому знанію. Изъ этого начала (я=я) онъ долженъ былъ построить все человѣческое разумѣніе по закону необходимости и нашелъ, что между чистымъ, отрѣшеннымъ самосознаніемъ и полнымъ разумѣніемъ лежитъ цѣлая природа, какъ необходимое звено, какъ условіе, подъ которымъ простое самосознаніе можетъ развиться въ полное разумѣніе. Онъ изслѣдовалъ одно только знаніе, но какъ будто мимоходомъ коснулся и природы. До Канта, философія была только поэзія или пустая діалектика; съ Канта, она стала наукою, ибо изслѣдованіемъ умственныхъ способностей положилъ онъ ей прочное основаніе. Гегеля я еще не знаю. Теперь ты видишь, какъ необходимо изученіе Канта для того, кто желаетъ стать наравнѣ съ лучшими идеями нашего вѣка, понять торжество человѣческаго ума, его заслугу въ наше время. А какъ не хотѣть этого? не хотѣть намъ, которые толкуемъ о жизни, о благѣ, о человѣчествѣ, о средствахъ быть ему полезнымъ? —

Но быть полезнымъ — неужели значитъ указать средства къ пропитанію, къ спокойному житью, къ удобствамъ жизни, къ эгоистическому образованію, которое бы умножало *удовольствія* жизни? Не лучше ли внушить ему высокія убѣжденія, сознаніе своего достоинства, христіянскія истины? — А упрочить убѣжденіе можетъ одна философія. — Не знаю, достанетъ ли у меня терпѣнія и силъ, а я займусь ею. Скучны формы, въ которыя она заключена, но мы потерпимъ за будущее поколѣніе и, можетъ-быть, съ Божіею помощію, облегчимъ трудъ его. Не думай, чтобы занятіе это было у меня исключительное. Нѣтъ, мой другъ, истина должна быть жива и плодотворна; заключенная въ бѣдныя логическія формы, она сушитъ душу, а не возвышаетъ ее. Философія заставитъ меня съ большимъ жаромъ изучить исторію и искусство.

Но все-таки, не смотря на то, что мало теряю времени, я недоволенъ своими занятіями. Я мало сдѣлалъ. Этотъ мѣсяцъ долженъ вознаградить мнѣ многое. Меня останавливаетъ часто незнаніе мелкихъ, школьныхъ фактовъ и мѣшаетъ выразумѣть Канта. Но коекакъ я надѣюсь имъ овладѣть.

... Бенедиктова я читалъ и не соглашусь съ тобою. Онъ не поэтъ, или пока заглушаетъ въ себѣ поэзію. Изъ всѣхъ его стихотвореній мнѣ нравятся два: «Полярная звѣзда» и «Два видѣнія». Во всѣхъ другихъ однѣ блестки, мишура. Увлекая тремя, четырьмя счастливыми стихами, онъ вдругъ холодитъ тебя какимъ-нибудь вычурнымъ словомъ, которое онъ считаетъ за прелесть! Что не стихъ, то фигура; ходули безпрестанныя. Чувство выражается просто. Ни въ одномъ стихотвореніи Пушкина нѣтъ вычурнаго слова, необы-

повеннаго размѣра, — а онъ поэтъ. Бенедиктовъ блеститъ яркими, холодными фразами, звучными, но безсмысленными или натянутыми стихами. Наборъ словъ самыхъ звучныхъ, образовъ самыхъ яркихъ, сравненій самыхъ странныхъ — души нѣтъ!

П—ъ возвратился изъ-за границы и сообщилъ мнѣ нѣсколько подробностей о тамошнихъ курсахъ. Въ Германіи вышла книга: «Die Seherinn von Jawort». Эта ясновидящая разказывала тайны другаго міра, и истину наблюденій, собранныхъ въ этой книгѣ, засвидѣтельствовали Шеллингъ, Эшенмайеръ и другіе философы. Эшенмайеръ, вслѣдствіе ея откровеній, перемѣнилъ кое-что въ своей системѣ. То, что̀ мнѣ разказывали изъ ея откровеній, очень странно. Не штука ли это? Впрочемъ надобно самому прочесть: я никому не вѣрю, а напрасно обвинять Шеллинга въ легковѣріи и езуитствѣ — не хочу: онъ былъ великъ и едва ли можетъ упасть такъ глубоко! совершивши такой подвигъ, — желать чего-нибудь отъ міра! И добро бы человѣческаго счастія—любви? а то̀ —выгодъ?—Трудно вѣрить!

Съ нѣкотораго времени я понимаю лучше людей!

22.

2 декабря.

Я получилъ экземпляръ Канта. Есть мысли и чувства, которыя просятся на бумагу; эти чувства прошли, эти мысли не существуютъ, развѣ только въ воспоминаніи. За то есть другія, болѣе покойныя, болѣе положительныя, которыя должны быть сказаны на словахъ. Я тебѣ сообщу ихъ по пріѣздѣ въ Петербургъ.

Въ концѣ или въ половинѣ января я надѣюсь тамъ быть. Много, другъ мой, надобно будетъ пересказать тебѣ, о многомъ посовѣтоваться съ тобою, потужить, поспорить, пофантазировать. Недѣли черезъ двѣ, я отправлюсь въ деревню: тамъ мнѣ надобно поговорить о моемъ предпріятіи съ родными, со стороны которыхъ будутъ маленькія препятствія. Потомъ надобно будетъ снова хлопотать объ отпускѣ: боюсь, что если дѣло пойдетъ на утвержденіе къ министру, меня задержатъ въ Острогожскѣ; потомъ — въ Москву, потомъ въ Петербургъ; потомъ, если Богъ поможетъ, магистерскій экзаменъ; потомъ что̀ Богъ дастъ.... Я успокоился, повѣрь мнѣ, и успокоился давно: это была фантазія, а не чувство во всей силѣ, которое неистребимо. Нельзя было разстаться съ этою фантазіей безъ сожалѣнія, безъ муки. Я прожилъ нѣсколько тяжелыхъ дней, нѣсколько мучительныхъ ночей. Пока я убѣждался — мнѣ было больнѣе, нежели когда я убѣдился. Теперь змѣя отъ сердца отпала. Я живу планами менѣе эгоистическими — и если безпокоюсь, такъ это о томъ, что, можетъ-быть, не совершу того, что̀ предполагаю, — что не принесу людямъ сотой части той пользы, которую иногда надѣюсь принести имъ, что не успѣю образовать и развить себя, какъ бы хотѣлъ. Если тоскую, то тоска эта не привязана ни къ какому опредѣленному предмету; грустно прожить безъ всякой отрады. Но иногда я и надѣюсь: вотъ тебѣ главное доказательство что старыя фантазіи прошли! Я надѣюсь иногда другаго счастья, другой любви.

Я истребилъ въ душѣ моей образъ, который могъ только растерзать ее; можетъ-быть, съ нимъ истребилось во мнѣ и много хорошаго. Но еслибы я позво-

лилъ жить въ себѣ этому чувству, тогда истребилось бы во мнѣ все. Но это была фантазія! Любовь не забывается такъ скоро. Я право вдвое больше думаю о Кантѣ, меня вдвое больше мучитъ выводъ категорій, нежели это чувствованьице, которое было и прошло....

Взойдетъ солнце, росу высушитъ.

Я знаю твои старыя замашки. Ты всегда былъ противъ философіи, и ты правъ — въ отношеніи къ себѣ. Душа у тебя переполнилась *убѣжденіемъ*. Я самъ имѣю *убѣжденія*, но сообщить ихъ людямъ въ нашъ вѣкъ иначе нельзя, какъ доведши ихъ до нѣкоторой степени знанія. Кромѣ этого, признаюсь тебѣ, другъ мой, ходъ человѣческаго ума, его стройное развитіе и приращеніе, вѣчная истина, облекающаяся въ разныя одежды, соотвѣтственно вѣку и народу, и все болѣе и болѣе являющая свою сущность — какое явленіе можетъ быть занимательнѣе? Одно отвлеченное знаніе можетъ изсушить душу, но оно должно быть фокусомъ, который собираетъ лучи, разсѣянные по обширной странѣ знанія, и въ свою очередь озаряетъ ее. Я удовлетворяю самой живой потребности души моей, занимаясь этою наукой; но я знаю, что она не должна быть исключительнымъ предметомъ трудовъ моихъ, и столько же занимаюсь исторіей. Одно непріятно: здѣсь нѣтъ человѣка, который бы могъ объяснить мнѣ темное въ Кантѣ (который долженъ быть основаніемъ философскихъ занятій) и дать мнѣ элементарныхъ свѣдѣній, которыхъ мнѣ не достаетъ; — идеи я легко схватываю.

Ты говоришь, что я всегда ошибался въ призваніи. Иногда. Это участь всѣхъ. Но философію я не считаю

моимъ призваніемъ; она можетъ-быть ступень, черезъ которую я перейду къ другимъ занятіямъ; но прежде всего я долженъ удовлетворить этой потребности. И не столько манитъ меня рѣшеніе вопросовъ, которые болѣе или менѣе рѣшаетъ вѣра, сколько самый *методъ*, какъ выраженіе послѣднихъ успѣховъ ума. Я еще болѣе хочу убѣдиться въ достоинствѣ человѣка и, признаюсь, хотѣлъ бы убѣдить потомъ другихъ и пробудить въ нихъ высшіе интересы.

Скажи мнѣ только, какая главная цѣль твоя за границею? Поѣздить, посмотрѣть на Божій міръ, или слушать лекціи въ какомъ-нибудь университетѣ? Меня болѣе манитъ послѣднее. У насъ невозможно дать себѣ стройнаго образованія, тѣмъ больше—удалившись отъ университета, каковъ бы онъ ни былъ. Университетская жизнь много значитъ.

Новостей у насъ нѣтъ никакихъ. Бр. пріѣхали.... Здоровье Н* совершенно кажется возстановилось, но я поставилъ себѣ правиломъ бывать у нихъ порѣже и на короткое время. Кромѣ того, что это нужно, можетъ-быть, для ихъ спокойствія, — меня особенно мучатъ сплетни. Ты представить себѣ не можешь, какъ мнѣ надоѣли всѣ эти пустяки; запутать себя въ нихъ такъ обидно, такъ унизительно!

Я живу отшельникомъ, никуда не хожу, кромѣ Ключн. и Бѣлинскаго, изрѣдка заѣзжаю къ Бр., къ Акс., къ Мар. Аф., два-три часа въ день употребляю на ходьбу.

Другъ мой, не найдешь ли въ Петербургѣ «Philosophie de Kant», par Villers, 2 тома. Если найдешь, пришли пожалуйста какъ можно скорѣе.

24.

8 декабря.

День ангела я провелъ съ нѣсколькими пріятелями: утро, мы ѣли пирогъ, а вечеромъ я сидѣлъ въ ваннѣ. Въ собраніи не былъ еще ни разу, послѣ Рождества съѣзжу изъ любопытства. За то я былъ вчера на первомъ музыкальномъ вечерѣ Гебеля. Ихъ будетъ четыре. Но мнѣ удастся слышать еще одинъ — не больше, потому что 15-го числа я думаю выѣхать въ деревню. Что̀ тебѣ сказать о Гебелѣ? По дурной своей привычкѣ, я немного опоздалъ. Первый квинтетъ былъ Гебеля, второй Онслова, третій опять Гебеля. Это было царство нѣмецкой музыки. Читалъ ли ты «Musikfeind» Гофмана? Это превосходное произведеніе. Не читавши его, я думалъ, что я варваръ въ музыкѣ; но когда прочелъ, то убѣдился, что болѣе, нежели многіе изъ знатоковъ, способенъ чувствовать ту, по крайней мѣрѣ, которая мнѣ доступна при моемъ немузыкальномъ образованіи. Этотъ Musikfeind жилъ въ домѣ какого-то славнаго музыканта внизу; на верху, часто играли квартеты, квинтеты, секстеты и пр., которые выполнялись лучшими музыкантами. Когда раздавался первый ударъ смычка, врагъ музыки отворялъ свое окно и, не смѣя дышать, принималъ каждый звукъ въ открытую душу; чудныя фантазіи рождались въ немъ, всѣ прежнія чувства воскресали въ немъ и волновали его — первая пьеса кончилась и душа его истощала всѣ свои силы. Начинался второй номеръ — онъ производилъ на него непріятное впечатлѣніе. Между тѣмъ эти господа откозыривали по 5 и по 6 пьесъ въ одинъ вечеръ. При третьей пьесѣ Musikfeind

бѣжалъ обыкновенно изъ дому, и музыканты показывали на него со смѣхомъ и говорили: посмотрите — вонъ любитель бѣжитъ по улицѣ!

Я засталъ конецъ перваго квинтета, не могъ схватить ни одной мысли, но всѣ эти чистые, выработанные звуки странно волновали душу. Пьеса кончилась. Гебель съ ужасомъ подошелъ ко мнѣ. — «Sie sind nur erst gekommen?» — Jch habe nur das Ende des ersten Stücks gehört, — и онъ покачалъ головою. Начался второй: я думалъ, что и это Гебеля, но онъ въ то время, какъ я началъ одушевляться, шепнулъ мнѣ сзади, что это пьеса Онслова. Она довольно однообразна; тысяча варіяцій на одну тему. Темы слишкомъ коротки; но въ нихъ есть, по временамъ, столько думы, столько тоски, столько торжественности; онѣ не возбуждаютъ, не раздражаютъ нервы, какъ мотивы новыхъ Французовъ и Итальянцевъ — та музыка болѣе чувственная, — но какъ-то религіозно настроиваютъ душу. Особенно здѣсь *адажіо* поразило меня. Словомъ, квинтетъ Онслова понравился мнѣ, не смотря на повтореніе темъ (которое дало мнѣ возможность лучше выразумѣть ихъ) и темноту отдѣлки — о послѣдней пусть разсуждаетъ, кто знаетъ больше насъ. Но я жаждалъ музыки Гебеля и услышалъ ее тогда, когда Онсловъ истощилъ уже мои силы. Конечно, одинъ квинтетъ, не смотря на его длинноту, не долженъ бы этого сдѣлать; но вспомни мою нервную слабость, которая особенно сопровождаетъ всякое сильное раздраженіе. Я ничего не понялъ. По временамъ яркіе, странные звуки, роскошь гармоніи, — но душа моя была затворена для впечатлѣній. Можетъ-быть, и

щенными, — по крайней мѣрѣ, послѣ того, что Мел. такъ умно и съ такою душою написалъ объ ней, я вправѣ ожидать всего хорошаго. Въ слѣдующую субботу дамъ тебѣ лучшій отчетъ, и если приведу въ ясность свои впечатлѣнія, напечатаю коротенькое извѣстіе въ «Телескопѣ»: Бѣлинскій требовалъ этого. Впрочемъ Рж... слышалъ музыку Гебеля у Мел. и говоритъ, что противъ ожиданія нашелъ много свѣтлой мелодіи.

... Не читалъ ли ты «Китайскую повѣсть», переведенную Леонтьевскимъ? тамъ много забавнаго. Тамъ молодая дѣвушка молится: «Милосердое небо! помоги молодому человѣку выдержать экзаменъ на вторую степень!» — я уже просилъ А. А. молиться за меня. Что̀ будетъ, то будетъ, а будетъ то, что̀ Богъ дастъ.

35.

9 декабря.

Вчера я провелъ очень пріятно день у Бр. А. А. говоритъ, что она каждый день молится, чтобъ я выдержалъ экзаменъ на вторую степень. Прощай, надобно приниматься за дѣло.

36.

15 декабря.

Сегодня выѣзжаю въ Удеревку и пробуду тамъ до 10 января. М. пишетъ мнѣ, что ты увѣрялъ его въ моемъ поэтическомъ призваніи, надъ которымъ я давно уже смѣюсь безъ всякой обиды для своего само-

любія, потому что я считаю себя способнымъ еще ко многому кромѣ этого.... Но объ этомъ послѣ.

Магистерскій экзаменъ не прежде успѣю держать, какъ въ Августѣ — и притомъ въ Москвѣ.

Я очень радъ съѣздить въ деревню. Мнѣ нужно побывать среди семейства. Прощай! писать больше некогда. Христосъ съ тобою. Жди меня скоро. Я пріѣду и положу въ грудь твою всѣ мои мечты, надежды и все мое горе. Прощай!

1836.

33.

Сел. Удеревка. 1 января.

Поздравляю тебя съ Новымъ годомъ и желаю тебѣ счастья, разумѣется — новаго; всякое будетъ ново!

Я живо помню одну минуту изъ моего дѣтства, когда я ѣхалъ въ уѣздное училище въ классы и тревожился, что въ 1836 г. будетъ свѣтопреставленіе: такъ увѣрялъ меня одинъ прикащикъ, читавшій Штиллинга. Я разсчитывалъ, что мнѣ тогда будетъ 22 года и утѣшалъ себя мыслью, что до этого далеко. Въ самомъ дѣлѣ! Разстояніе 12 лѣтъ казалось мнѣ вѣчностью—и вотъ наступилъ 36-ой годъ, свѣтъ не преставился, но въ немъ многое переставилось съ тѣхъ поръ, какъ я былъ ученикомъ уѣзднаго училища, до той поры, когда велѣніемъ судьбы сдѣлался его почетнымъ смотрителемъ.

Новый годъ глупостями: въ 12 часовъ, переряженные, съ музыкою, мы вступили въ гостиную, я отличался въ костюмѣ старухи. Сегодня мы играемъ водевили: «Кеттли» и «Усы». Изъ этого ты можешь видѣть, что я очень веселъ. Одно только меня тревожитъ: поѣздка въ деревню сдѣлала перерывъ въ моихъ занятіяхъ, и я очень много теряю времени; кромѣ этого, за безпрестанными гостями, я не успѣлъ еще поговорить съ папенькою о моихъ планахъ. Теперь я сомнѣваюсь даже, поѣду ли въ Петербургъ. Мнѣ трудно достать отпускъ и боюсь потерять недѣли двѣ, три: мнѣ надобно учиться по-гречески и по-латынѣ.

28.

Москва, 24 января.

Я писалъ тебѣ, что мнѣ невозможно ѣхать въ Петербургъ. Но я не теряю надежды видѣть тебя въ Москвѣ — мнѣ бы такъ хотѣлось говорить съ тобою. Теперь здѣсь Б—ъ. Мы видимся съ нимъ часто. Я думаю держать экзаменъ въ маѣ, чтобъ имѣть время съѣздить съ папенькою на Кавказъ. Въ августѣ воротимся. На дальнѣйшее время я имѣю особенные планы; позволь еще скрыть ихъ отъ тебя до времени, боюсь, что это — фантазіи. Прощай пока!

29.

15 февраля.

.... Да сохранитъ тебя Богъ въ твоемъ пути! Тамъ, въ чужой землѣ, мы опять свидимся, старые друзья; тамъ живѣе будемъ благодарить Бога за всѣ прекрас-

ныя чувства, которыми Онъ замѣнилъ для насъ недостатокъ земнаго счастія,—будемъ благодарить и за дружбу, и за любовь къ отечеству.

Я тоскую. Мнѣ хочется подальше. Безпрестанныя усилія надъ собою, безпрестанныя сомнѣнія въ себѣ, занятія, которыхъ цѣль еще далека — все это бременемъ ложится на душу. Кавказъ представляется мнѣ въ какомъ-то очаровательномъ свѣтѣ. Докторъ говоритъ, что онъ возродитъ мой организмъ, а я тайно надѣюсь, что онъ возродитъ и душу. Мы чудно созданы. Дѣйствительность безпрестанно даетъ намъ знать, что она дѣйствительность, а мы все ждемъ чудесъ.... я стыдился этого направленія, я думалъ, что это слѣдствіе нашей неестественной жизни, убитаго организма и убитой души.... но люди молодые, свѣжіе, въ которыхъ поселилась искра Божія, страждутъ тѣмъ же недугомъ. М. Б—ъ говоритъ мнѣ, что каждый разъ, когда онъ возвращается откуда-нибудь домой, ждетъ у себя чего-нибудь необыкновеннаго... какъ не истребишь это суевѣрное упованіе на судьбу, которая холодно и неумолимо разрушаетъ лучшія мечты наши! И каждый ударъ ея невольно стараешься объяснить какою-нибудь благою цѣлью, и я думаю, такъ будемъ дѣлать до самой смерти. И, можетъ-быть, въ самомъ дѣлѣ ведетъ она, но ея руководствомъ пользуются тѣ, которые переживаютъ насъ; ея забота въ томъ, чтобъ мы не вырывались изъ звеньевъ этой цѣпи, которую куетъ она отъ перваго человѣка, — и это еще лучшая участь быть ея орудіемъ, и за это еще должны мы благодарить Бога! Впрочемъ въ экономіи природы всякая дрянь есть необходимость, и если мы будемъ

пользуется нашимъ счастіемъ, страданіемъ, нравственностію и безнравственностію. Беречь свое достоинство — вотъ наша задача... Ну давай же его беречь!

Благодарю тебя за знакомство съ Т. Н. Грановскимъ. Это милый, добрый молодой человѣкъ и на немъ нѣтъ печати Петербурга. Онъ разказывалъ намъ про нашего NN. Я ожидалъ этого отъ него! Холодный человѣкъ не можетъ быть хорошимъ! Въ нашемъ обществѣ онъ былъ по крайней мѣрѣ хорошимъ товарищемъ; въ Петербургѣ, не имѣя ни добрыхъ правилъ, ни добрыхъ чувствъ, чѣмъ сталъ бы онъ руководствоваться? Холодный человѣкъ долженъ быть стоикъ — иначе онъ будетъ подлецъ!

10.

16 марта.

.... Получилъ одну часть Гёте, послѣдній листъ Круга: «Theoretische Philosophie». Жду Гегеля изъ Риги.

Въ первыхъ числахъ мая, мы съ папенькою и меньшимъ братомъ Саничкою отправимся на Кавказъ. Эта сторона, какъ загадка, еще манитъ меня. Боюсь составить о ней слишкомъ хорошее понятіе, чтобъ не разочароваться. Люди много теряютъ оттого, что вездѣ ждутъ чудесъ. Не жди ихъ — и всякій случай, всякое новое отрадное явленіе покажется тебѣ чудомъ, по крайней мѣрѣ подѣйствуетъ тебѣ на душу, ты примешь его вполнѣ. Когда я поѣхалъ въ Петербургъ, то воображалъ чудеса; не нашелъ ихъ, — и первое впечатлѣніе было слабо. Мнѣ надобно было привык-

нуть къ мысли, что это не чудо, чтобъ найдти въ немъ, въ самомъ дѣлѣ, много чудесъ. Чѣмъ больше я жилъ въ немъ, чѣмъ больше смотрѣлъ, тѣмъ больше нашелъ прекраснаго. Теперь онъ играетъ въ моей фантазіи прелестными образами—и я увижусь съ нимъ съ удовольствіемъ. «Завяжи себѣ на память узелокъ:»— *нѣтъ чудесъ!* Они, можетъ-быть, въ душѣ, въ силѣ воли, въ независимости отъ людей и обстоятельствъ, въ наслажденіи своею чистою жизнью; они еще въ любви. Первое — хотя нѣсколько — въ нашей власти, его можно искать; другаго не ищи: или не найдешь, или погибнешь. Это благодать, которая должна сойти въ душу сама. Фантазіи, которыя мы принимали иногда за истинное чувство, только опутываютъ насъ волшебною сѣтью и закрываютъ намъ глаза — мы видимъ чудные сны, и не дай Богъ проснуться. Das Geschöpf, das du anbetest, bist du selbst. Es ist dein eigenes Echo in der Todtengruft, und schrecklich allein bleibst du stehen! — Вѣрное, сильное, неистребимое чувство любви — вотъ чудо! вотъ что̀ озаряетъ, очищаетъ душу, что̀ можетъ наполнить жизнь и стать источникомъ подвига!

Но, o Freunde, warum diese Töne! (таковъ переходъ въ Бетговенской симфоніи къ хору: An die Freude — не знаю, кто смастерилъ его?). Ты, можетъ-быть, хочешь знать, что̀ я дѣлаю? Прочелъ присланнаго тобою Круга, перечиталъ читанное въ «Kritik der reinen Vernunft» и читаю въ ней новое: хочется ее поскорѣй окончить, чтобы заниматься чѣмъ-нибудь болѣе отраднымъ. Эту ступень надо перейдти — успѣю, думаю, сладить съ Кантомъ, но отъѣзда въ деревню

Съ М. Б—ъ занимаюсь исторіей, учусь по-латынѣ; не знаю, какъ быть съ греческимъ?

Когда-то насъ сведетъ судьба!

41.

4 апрѣля.

Зову на Кавказъ. Если твоя болѣзнь позволитъ это путешествіе, если ты не подвергаешься явной опасности, если это не помѣшаетъ твоему путешествію за границу, — пріѣзжай, пріѣзжай, пріѣзжай! Но взвѣсь все хорошенько!

На Кавказѣ мы впрочемъ проведемъ только $2^1/_2$ мѣсяца, а тамъ — въ Удеревку, потомъ я въ Москву, или въ Петербургъ.

Тебѣ принесутъ пользу Кавказскія минеральныя воды... Не обольщайся дружбою ко мнѣ, прелестью этого пути, взвѣсь все, и если ничто не помѣшаетъ, лети! Сюда! Dahin!

Я жду тебя, другъ мой, до 17, 18, 19 — дальше ужь никакъ не могу! Пріѣзжай, carissimo mio, пріѣзжай!

Можетъ, съ недѣльку пробудемъ въ деревнѣ; я выучу тебя стрѣлять, сестры — сажать цвѣты.

42.

Д. Марокъ, 5 мая.

Мы выбрались на Кавказъ; по дорогѣ заѣхали въ нашу новую деревню Марокъ, въ 40 верстахъ отъ Острогожска, и завтра отправимся въ путь дальше; есть надежда, что съ Божіею помощію къ 15-му бу-

демъ на мѣстѣ. Папенька ожидалъ тебя со мною и ужасно жалѣлъ, узнавши, что ты не будешь.

Дожди и холодъ мѣшали мнѣ насладиться деревнею. Я пробылъ въ ней одну недѣлю, но мнѣ было грустно ее покинуть. Ты не можешь себѣ представить, какъ хороша весна на родномъ полѣ, въ кругу семейства. И я поѣду въ дальную сторону, черезъ степи, въ горы! Фантастическая прелесть Кавказа для меня исчезла; можетъ-быть, отъ этого онъ мнѣ покажется лучше. Но я ужь Московскимъ наскучилъ моею тоской; поговорю тебѣ лучше о моихъ планахъ.

Не смотря на то, что я до сихъ поръ весьма худо приготовленъ къ магистерскому экзамену, и особенно дурно знаю по-латынѣ (греческаго авось не потребуютъ или потребуютъ мало), я намѣренъ держать его въ декабрѣ, чтобы потомъ въ мартѣ, или апрѣлѣ защитить диссертацію и уѣхать съ однимъ мерзавцемъ, Я. М. Н—ъ, въ сельцо Удеревку, откуда черезъ Варшаву (такъ предполагаетъ папенька) отправиться въ Берлинъ; оттуда, выслушавъ первый семестръ, уѣхать на ваканцію, куда вамъ угодно, только не въ южную Европу, ибо зимнее возвращеніе въ Берлинъ будетъ невыгодно для нашего здоровья; выслушавъ второй семестръ, отправиться въ Швейцарію и Италію; если нужно — еще годъ остаться за границею; не то — на лѣто въ Россію: хорошо, или нѣтъ? Этотъ планъ еще не больше, какъ фантазія. Ломай его какъ хочешь, и построимъ что-нибудь порядочное. — Очень вѣроятно, что, по возвращеніи въ Россію, я останусь хозяйничать въ деревнѣ: это почти неизбѣжно. Но это будетъ для меня даже пріятно, если я рѣшусь посвятить себя

ская моя дѣятельность ограничится устройствомъ деревни и острогожскаго училища. Если же не буду жить въ деревнѣ, то выберу службу самую дѣятельную. Дѣятельность, ученая ли, гражданская ли,—вотъ одно прибѣжище мнѣ! Разумѣется, что холостому хозяину бываетъ скучно, но, другъ мой, я для своей невѣсты хотѣлъ бы слишкомъ большаго приданаго —

На комъ жениться мнѣ?

Можно найдти отраду въ исполненіи своей обязанности.

Ты знаешь, *гдѣ* и *какъ* я вздумалъ ѣхать за границу. Этотъ планъ—enfant du désespoir—выросъ по немногу и принялъ болѣе стройную форму. Говори послѣ этого, что судьба не воспитываетъ людей. Нелѣпая фантазія—надобно жъ было головѣ моей перейдти черезъ нее! — породила умное рѣшеніе; горькимъ лѣкарствомъ лѣчили меня отъ двухъ болѣзней— нерѣшительности и фантазіи. Кажется, нѣтъ слѣдовъ ни той, ни другой: ты не вѣрилъ, чтобы сухое занятіе могло излѣчить меня, а оно помогло. Я смѣюсь надъ собою, и если какія-нибудь—

Отдаленныя надежды
Тревожатъ сердце иногда —

я ихъ гоню, разувѣряю себя. Счастіе приходитъ; его нельзя, не должно искать, какъ нельзя, не должно искать *вдохновенія*. Не тò—собьешься съ пути. Милый нашъ Тимоѳей (Т. Н—ичъ), я думаю, уже за границею.

43.

Къ В. И. Красову.

8 мая.

Что̀ тебѣ написать? роптать?— но ропотъ ужъ всѣмъ наскучилъ. Напишу прежде всего о дѣлѣ.

Получивъ мое письмо, надѣнь шапку на бокъ и иди къ Бѣлинскому. Пришедши, скидай шапку и за меня кланяйся ему въ ноги и проси прощенія; не прежде какъ получивъ прощеніе, изъясни ему мой проступокъ, а въ чемъ онъ состоитъ, тому слѣдуютъ пункты: 1) обѣщалъ я ему окончить статью о Гегелѣ и прислать съ первою почтой изъ деревни и отложилъ нужный для этого № «Revue Germanique»; 2) Иванъ забылъ взять его; 3) я не перевелъ статьи — фрр.! громъ, буря, молнія, дождь, т. е. Бѣлинскій наконецъ плюетъ и буря утихаетъ—отдаленные раскаты грома, послѣдній ропотъ, тишина.— Пусть окончитъ кто-нибудь изъ людей образованныхъ: Мишель, Акс...., или Ефр.... А я не стану писать къ Виссаріону, пока не пройдетъ буря, т.-е. до слѣдующей почты, а съ нимъ разомъ напишу уже и къ Клюши.

Мы ѣдемъ на Кавказъ. Дорога дальняя, погода скучная, вѣтеръ, ничего порядочнаго ни сзади, ни спереди—деревни оставлять не хотѣлось, тамъ я вспомнилъ бы дѣтство, пожилъ бы въ семействѣ... скучно! Еще утѣшаетъ мысль, что физическая жизнь моя сколько-нибудь поправится—и это хорошо, и съ этимъ соединяются отдаленныя надежды. Что̀ будетъ, то будетъ, а будетъ, что̀ Богъ дастъ! Ты помнишь, какъ я оставилъ Москву — ночью, въ тихую, прекрасную

поля я не увидѣлъ, а почувствовалъ—слышалъ жаворонковъ. Почти во всю дорогу продолжалась эта погода; но я пріѣхалъ, — и дождь, вѣтеръ, холодъ не дали мнѣ насладиться деревней.

А ты? что̀ ты дѣлаешь? Пиши мнѣ, что̀ дѣлается съ тобою; въ твоей жизни больше событій, по крайней мѣрѣ — приключеній. Прощай.

Продолженіе переписки съ Я. М. Н—ъ.

аа.

Пятигорскъ. 17 мая.

Наконецъ судьба меня закинула въ ущелье Кавказкихъ горъ: спасибо за все! Надежда не покидаетъ людей — и здѣсь я надѣюсь поправиться здоровьемъ. «Ну что̀ Кавказъ? что̀ степи? что̀ горы?» спросишь ты. «*Чудныя вещи!*» воскликнешь ты. Ничего тутъ чуднаго нѣтъ: степи какъ степи, и горы какъ горы!

Мы ѣхали сюда изъ деревни около 10-ти сутокъ. Болѣе всего задержала насъ переправа черезъ Донъ, въ Оксаѣ, разлившійся на десять верстъ. Когда мы къ нему подъѣхали вечеромъ, видъ былъ очаровательный; на берегу множество народа, возы, бочки, скотъ, лошади, шумъ, крикъ, на водѣ суда съ распущенными парусами, выстрѣлы казаковъ, отправлявшихся въ походъ. Мы переночевали; подулъ противный вѣтеръ, и мы цѣлый день тянули по берегу судно — жаръ, вѣтеръ и скука! Степи сначала нравятся своею обширностью и новостью, но скоро утомляютъ—ждешь селенія и грустишь, встрѣчая переселенцевъ, которые пошли въ чужую землю за прибыткомъ. Грустно до амаго Кавказа! Но вотъ на горизонтѣ ряды бѣлыхъ блаковъ; эти облака не измѣняются — говорятъ: это

снѣжныя горы; вотъ двѣ тучи надъ горою—говорятъ: это Пятигорскъ. На другой день, Эльборусъ съ братіею нарисовался во всемъ своемъ величіи; онъ рѣзко отдѣлился отъ прочихъ и высоко поднялъ двуглавую вершину, но его перерѣзало облачко, другое, и скоро онъ пропалъ въ тучахъ. Отсюда верстъ 200 до этой снѣжной цѣпи, но въ ясную погоду она видна какъ не надо лучше, и кажется не далѣе 15-ти верстъ. Вообще здѣсь горы обманываютъ. Предъ окнами моей комнаты три горы: кажется, полверсты нѣтъ, а до нихъ 7 верстъ. Сегодня мы увидали на половина горы дымъ — это была туча, и горы вскорѣ исчезли въ тучахъ.

Но эта дикая природа производитъ на меня враждебное впечатлѣніе. — Надобно больше привыкнуть, сосредоточиться, чтобы почувствовать эту суровую красоту; до сихъ поръ она давитъ меня и наводитъ тоску. Дикій край и дикіе люди, далеко отъ образованнаго міра и родины — грустно!

Ничто не смягчаетъ этой дикости: хоть бы увидѣть два-три селенія вдалекѣ; нѣсколько деревъ, равнины и горы — ничего больше! Пятигорскъ порядочно отстроился за короткое время. Для пьющихъ и купающихся устроены ванны и колодези. Славное шоссе ведетъ на гору, вмѣстилище источниковъ. Чтобъ очистить дорогу, надобно было порохомъ оторвать часть каменной горы — тутъ начинаются виноградныя аллеи (не воображай чудесъ: бѣдный виноградъ вьется по плетушкамъ и не дѣлаетъ никакого вида!) Онѣ вьются, пересѣкаются, ведутъ къ разнымъ источникамъ. На вершинѣ одной изъ горъ бесѣдка, въ которой, гово-

зыки до сихъ поръ нѣтъ, пріѣзжихъ мало, дамъ еще меньше. Сегодня былъ я на рынкѣ: Татары, Калмыки и Черкесы явились сюда со всякою дрянью. Я съ большимъ любопытствомъ смотрѣлъ на Калмычекъ—и представь! — мнѣ ужасно понравились ихъ лица.

Прощай, другъ! Не пишу больше, усталъ. Мы уже пьемъ воды и бродимъ безъ устали.

45.

Къ В. Г. Бѣлинскому.

30 мая.

Виноватъ! прости! постарайся какъ-нибудь помочь горю черезъ Мишеля или Акс.... — довольно! оправдываться не стану!

Вотъ уже двѣ недѣли, какъ мы на Кавказѣ. Но я— индюшка-судьба вездѣ клюетъ меня. Недѣля, какъ я не пью больше водъ, оттого что сдѣлался приливъ крови къ груди; теперь мнѣ легче — но Богъ знаетъ, когда это совершенно кончится и можетъ-быть вода опять его увеличитъ. Впрочемъ Дядьковскій увѣряетъ, что мнѣ не нужно много времени на лѣченіе и все пойдетъ своимъ порядкомъ. Вѣроятно, ты читалъ мое письмо къ Ванечкѣ (благодарю, что навѣщаешь его) и знаешь, какое неблагопріятное впечатлѣніе сдѣлалъ на меня Кавказъ. Если ты не знаешь, что̀ такое малороссійская природа, то знаешь по крайней мѣрѣ, что̀ такое родина, своя деревушка и семейство, а потому оправдаешь меня. Другъ мой, въ этомъ отношеніи я не эманципированъ. Альпы едвали такъ понравятся мнѣ, какъ мѣловая гора надъ рѣкой весною въ сельцѣ Удеревкѣ. Но теперь, освободившись отъ первой до-

сады, я безпристрастно смотрю на здѣшній край, и первый выѣздъ послѣ долгаго сидѣнья былъ для меня наслажденіемъ. Дурная погода опять посадила меня дома; черезъ нѣсколько дней надѣюсь снова гулять по окрестностямъ Пятигорска; но ходить мнѣ уже рѣшительно не позволено, потому что приливъ крови къ груди, если воды въ этомъ и виноваты, все-таки сдѣланъ болѣе всего моимъ путешествіемъ на Машукъ.

Что̀ дѣлается въ Москвѣ? Братъ писалъ мнѣ, что ты послѣднею статьею о «Московскомъ Наблюдателѣ» рѣшительно убилъ С. П.... и что онъ самъ отъ себя отрекается... въ часъ добрый!» Но вспомни, что П-динъ всѣхъ насъ называетъ «рецензентами» и ждетъ, чтобъ мы сами что-нибудь сдѣлали—начинай же что-нибудь дѣлать. Пошла ли въ ходъ твоя грамматика? Былъ ли ты у С—ва? учишься ли по-нѣмецки? Напиши мнѣ, пожалуйста, объ этомъ.

Братъ обѣщалъ мнѣ прислать «Ревизора». «Современника» я не видалъ — меня интересуютъ пуще всего статьи Гоголя. На дняхъ придутъ сюда журналы къ Челахову; не будетъ ли и «Современника»?

31 мая. Слава Богу, послѣ бани мнѣ стало гораздо лучше, кажется теперь совсѣмъ освобожусь отъ этого проклятаго прилива. Сегодня уже выходилъ гулять; поутру открылись снѣговыя горы, такъ давно невиданныя за тучами; Эльборусъ — старый пріятель — опять показалъ свои двѣ головы. Странное чувство испытываю я, смотря на эти горы: тоску и какое-то наслажденіе. Думаешь — вотъ предѣлъ Европы, за этими горами другіе люди, другіе нравы, тамъ Грузія, тамъ Персія, тамъ океанъ, тамъ полюсъ... Куда ни поѣзжай, въ какую даль не углубляйся — все также

привыкнешь къ каждому явленію, которое сначала такъ ново, все будешь тотъ же самъ — грустно! А было время, когда, смотря на свой міръ, или дальнюю деревушку, воображалъ за нею какой-то новый, чудный міръ...

Но когда эти горы, сливаясь съ облаками, которыя надъ ними ходятъ, теряютъ наконецъ для тебя свое настоящее значеніе и кажутся какими-то фантастическими замками — тутъ вольнѣе становится душѣ, начинаешь придумывать чортъ-знаетъ что... тучи, которыя ходятъ по Эльборусу, кажутся обозами; обозы идутъ по снѣгу къ селу, въ селѣ домъ, садъ—какое-то движеніе. Иногда Эльборусъ самъ по себѣ, какъ есть, кинется въ глаза и поразитъ безъ всякихъ фантазій: тогда любуешься однимъ — какъ хорошо двѣ головы его врѣзываются въ небо, какъ тонко отдѣлились онѣ отъ воздуха! Прощай, боюсь писать.

Продолженіе переписки съ Я. М. Ц—ъ.

46.

8 іюня.

Вотъ уже три недѣли, какъ я живу въ Пятигорскѣ и окачиваю себя цѣлебною водой первобытной земли. Здѣшнія воды сначала очень худо подѣйствовали на мою грудь; къ этому присоединился еще нашъ первый неудачный вояжъ на вершину Машука, и я не пилъ водъ цѣлую недѣлю; но теперь здоровье мое поправилось, и я снова принялся за лѣченіе. Я еще не начиналъ принимать ваннъ; не думаю, чтобъ меня долго держали въ сѣрныхъ. Въ концѣ этого мѣсяца меня отправятъ съ братомъ навѣрное въ щелочно-желѣзныя ванны — верстахъ въ 15-ти отъ Пятигорска. Тамъ я

буду уже совершенно одинокъ и потому спѣшу насладиться всѣмъ, чѣмъ можно насладиться въ Пятигорскѣ...

Я писалъ тебѣ о первомъ, враждебномъ впечатлѣніи, какое сдѣлалъ на меня Кавказъ. Это обстоятельство какъ бы ни заставило меня перемѣнить планъ нашего выѣзда за границу прямо изъ нашей деревни черезъ Варшаву... все будетъ казаться въ дурномъ видѣ. — Надобно лучше отвыкнуть отъ деревни въ Петербургѣ... но мы еще посмотримъ.

Теперь, когда деревня изгладилась немножко изъ памяти, когда я узналъ, чего надобно искать на Кавказѣ, онъ производитъ на меня совсѣмъ другое впечатлѣніе. Въ добавокъ, сюда пришла еще музыка — и музыка довольно хорошая, которая почти каждый день играетъ на бульварѣ. Благодаря всему этому, теперь начинается эманципація моего чувства и я прихожу въ состояніе отдать справедливость Кавказу; ты помнишь, что точно также дѣйствовалъ на меня и Петербургъ. Итакъ моя поѣздка на Кавказъ есть необходимый прологъ къ путешествію за границу. Мнѣ нужно было ознакомиться съ природою и понять ея красоты во всей ихъ независимости и первобытной красотѣ. Не ищи здѣсь очаровательныхъ видовъ, которые опутываютъ душу, погружаютъ ее въ какое-то грустное и сладкое раздумье: это можетъ быть въ умѣренной полосѣ, въ благословенной Малороссіи, можетъ быть въ Швейцаріи. Здѣсь природа дика и печальна; здѣсь начинается обширная колыбель человѣчества; властительницею здѣсь является природа; передъ ней смиряется бѣдное человѣчество, чувствуетъ свое дѣтское безсиліе и не смѣетъ мечтать о своемъ первенствѣ. Всѣ кроткія, отрадныя

мечты, внушаемыя тучными, живыми долинами Малороссіи, здѣсь исчезаютъ; огромность и дикость давятъ душу, и постепенно, не скоро, равняется она съ этими утесами и безпредѣльными равнинами. Вчера на бульваръ играла музыка. Я пошелъ гулять, отдѣлился отъ спутниковъ и взошелъ на пригорокъ надъ гротомъ — любимое мѣсто мое. Мнѣ вздумалось подняться выше — и какая картина! Съ одной стороны, вблизи — Машукъ, который, кажется, уперся въ тучи и полукружіемъ обогнулъ центръ города; въ сторонѣ — треголовой Бештау, подернутый туманомъ; внизу — куча народа, дамы, Черкесы, музыка, все полно жизни и гражданственности — и горизонтъ загражденъ горою. Съ другой — равнина, на ней уступами идутъ горы за горами и теряются въ туманѣ: ты понимаешь, что̀ за томительное чувство производитъ эта картина! Здѣсь Азія — Азія съ ея безпредѣльностью, съ печальными красотами. Отъ этихъ горъ начинается тотъ край, о которомъ такъ много намъ говорили еще въ школѣ, гдѣ люди остались до сихъ поръ такими же, какими были за 4000 лѣтъ. Это царство природы. Отсюда она высылаетъ въ другія страны свѣта дѣтей своихъ достигать совершенства. Азія вѣчно была колыбелью и люди ея вѣчно дѣтьми. Грустно подумать, что эта даль, которая невольно манитъ душу, ничѣмъ ея не порадуетъ: тамъ невѣжество и животныя страсти; подъ тѣмъ прекраснымъ небомъ нѣтъ существа, которому бы могъ сочувствовать, нѣтъ ни любви, ни мысли; но за всѣмъ тѣмъ, прекрасенъ этотъ первобытный край, эта первая спепень земной жизни, это одинокое величіе, которое въ Европѣ преобразилось въ величіе мысли. Питомецъ новаго міра, заѣхавшій въ

этотъ край, не узнаетъ праматери въ ея грубой и дивной одеждѣ, дичится ея взора; но мало-по-малу всматривается въ ея черты, находитъ сходство, ихъ сближаетъ непобѣдимое сочувствіе и между ними установляется нѣмая дружба!

Но довольно объ этомъ — умѣй я рисовать, ты бы лучше понялъ меня: первый разъ въ жизни жалѣю, что не имѣю этого дара. Прощай, другъ мой!

Вчера мы ѣздили въ колонію *Карасъ*, обыкновенно называемую *Шотландскою*, верстахъ въ семи отъ города. Тамъ видѣлъ довольно примѣчательнаго человѣка — казацкаго офицера Сухорукова, который когда-то съ Корниловичемъ издавалъ «Русскую Старину». Уже вышедши отъ него, я узналъ, что это Сухоруковъ. Тамъ же я видѣлъ пастора Петерсона, переселившагося сюда лѣтъ 15 тому назадъ изъ Шотландіи — онъ первый миссіонеръ въ этой сторонѣ. Колонія состоитъ изъ Шотландцевъ и Нѣмцевъ, переселившихся сюда, если не ошибаюсь, изъ Сарепты. Пасторскій садъ порадовалъ глаза, отвыкшіе отъ такого рода явленій; опрятная европейская жизнь въ этой глуши дѣлаетъ пріятное впечатлѣніе; но богатство земли освобождаетъ Нѣмцевъ отъ необходимости слишкомъ часто заниматься хозяйствомъ. По дорогѣ, довольно однообразной и довольно пріятной, мы переѣхали двѣ горныя рѣчки — шириною въ аршинъ, а глубиною въ вершокъ (безъ гиперболъ); но пойди дождь — здѣсь, говорятъ, море. Быстрота горныхъ рѣкъ, и особенно Подкумка въ Пятигорскѣ, необыкновенна: моста нельзя построить; ходятъ въ бродъ. Подкумокъ мелокъ и шумитъ по камнямъ какъ мельница. Вода мут-

на, клейка, съ иломъ и глиною. День надо ей отстаиваться.

14 іюня.

... Ты не писалъ потому только, что не зналъ, куда вѣтеръ занесъ меня: въ Пятигорскъ, душа моя! въ Пятигорскъ! на горячія воды! въ Кавказскую область—

Гдѣ горы круты, берега высоки,
Гдѣ живутъ люди непривѣтливые!

Но—не бойся! какъ бы я далеко ни зашелъ, Черкесы не возмутъ меня, два года объ нихъ слуху нѣтъ, городъ охраняется цѣпями и пикетами, разбросанными далеко по окрестности; да и смотрѣть нечего, не за чѣмъ ходить далеко! Здѣшняя природа однообразна, не смотря на свое величіе, и нѣсколько верстъ впередъ или назадъ не представятъ тебѣ новаго вида. Вчера, въ первый разъ, видѣлъ я здѣсь прекрасную ночь: она не похожа на день, какъ Петербургская, вечерняя заря не сливается съ утреннею; въ 9 часовъ темно, самый свѣтъ луны довольно былъ слабъ, но въ этомъ полусвѣтѣ равнина и горы дѣлаютъ удивительный эффектъ. Все это такъ грустно и такъ очаровательно, что *я*, не смотря на всю слабость послѣ ваннъ и законъ доктора, простоялъ довольно долго на балконѣ. Сегодня утромъ мнѣ удалось посмотрѣть на снѣжныя горы въ зрительную трубку: сами по себѣ онѣ (днемъ особенно) присмотрѣлись; но въ трубку—новое удовольствіе! Представь громады, покрытыя снѣгомъ, съ ихъ неровностями, скалами — тамъ какой-то волшебный міръ; а изъ-за этихъ горъ, гдѣ онѣ спустились, виднѣются такъ-называемыя *бабьи зубы*,

голые утесы, безъ снѣга и произрастенія, но живописные. Эльборусъ одинъ не похожъ на другія горы: онъ ровенъ, гладокъ, и снѣгъ на его поверхности лежитъ какъ атласъ.

Ты спрашиваешь: что̀ я дѣлаю по докторскому наказу и что̀ по своей охотѣ? Я, кажется, ужь писалъ тебѣ, что пью воды по 6-ти стакановъ утромъ и по 3 въ вечеру, что, поживши недѣлю, я заболѣлъ немножко грудью, но поправился, и черезъ недѣлю снова принялся за питье, которое продолжаю 12 дней *по возобновленіи*. Сегодня я принялъ Александро-Николаевскую ванну въ четвертый разъ, и возму еще ваннъ 6 или 7, — думаю, не больше; а потомъ переѣду на желѣзныя. Но, можетъ-быть, ты хочешь, чтобъ я далъ тебѣ понятіе объ устройствѣ здѣшнихъ водъ? Изволь — хоть онѣ и были описываемы, но ты едвали когда-нибудь заглядывалъ въ эти описанія. — Всѣ здѣшніе источники бьютъ на горѣ Машукѣ; къ нимъ ведутъ изъ города двѣ дороги: по одной мало ѣздятъ; другая идетъ по открытой горѣ (часть ея оторвали порохомъ). Отъ центра города до перваго источника Елизаветинскаго кисло-сѣрнаго — не болѣе полуверсты. Надъ самою дорогою возвышается гора, съ которой висятъ каменья и грозятъ упасть — не небойтесь! ихъ чертъ не оторветъ. Въ этой горѣ сдѣланъ гротъ, и еще выше — бесѣдка съ эоловой арфой, которую мы зовемъ *арба* (татарская повозка съ двумя немазанными колесами, которыя скрыпятъ ужасно). Отъ этой бесѣдки внизъ ходъ къ Елизаветинскому источнику, при которомъ устроены ванны. Въ этой водѣ, кромѣ сѣры, много желѣзныхъ частицъ. Отсюда большая дорога (для экипажей) продолжается до самаго

Сабанѣевскаго источника, а для пѣшеходовъ идутъ виноградныя аллеи, вовсе негустыя и неочаровательныя, къ Михайловскому источнику, гдѣ только пьютъ. Отсюда дорога къ Александро-Николаевскимъ ваннамъ, которыя я беру; рядомъ съ ними — Калмыцкая ванна, гдѣ, говорятъ, Калмыки высиживали по три дня: температура ихъ — до 35°; не много пониже — Сабанѣевскій источникъ, изъ котораго я пилъ сначала, — спасеніе геморойныхъ и золотушныхъ; при немъ ванны. Гора дѣлаетъ полукругъ и отсюда поворотъ назадъ другою половиною горы. Тутъ новый источникъ Константиновскій, открытый прошлаго года, необдѣланный и пущенный въ ходъ Дядьковскимъ; изъ него я пью воду и надѣюсь почерпнуть лучшую жизнь. Далѣе, Варваціевскія ванны съ источникомъ по имени грека Варвація, ихъ устроившаго; далѣе, назадъ на вершинѣ — Ермоловскія и Александровскія ванны. Послѣднія самыя горячія, почти въ 40°. Въ самомъ городѣ противъ бульвара — Николаевскія. Всѣ эти купальни суть деревянныя строенія, опрятныя, заключающія по нѣскольку нумеровъ, каждый съ двумя комнатами для отдохновенія. Николаевскія ванны устроены лучше всѣхъ. Каменное зданіе прекрасное, множество номеровъ — но, къ несчастію, вода проводится сюда изъ Александровскаго источника не посредствомъ трубы, а чрезъ открытыя каменныя ступени и газъ улетаетъ. Отъ этого онѣ почти безполезны, — стоитъ сдѣлать хорошую трубу, не дороже 1000 р., и тогда хоть ломай Александровскія ванны: довольно будетъ Николаевскихъ.

... Я питаю надежду, что Кавказъ возродитъ меня физически; а тамъ — чего добраго? — можетъ-быть,

Берлинъ сдѣлаетъ изъ меня что-нибудь порядочное и въ другомъ отношеніи. Послѣ ванны, я сначала чувствовалъ слабость и волненіе, — теперь одну слабость, довольно пріятную.

Я примусь скоро читать письма Цицерона по-латынѣ. Не знаю, не лучше-ли мнѣ держать экзаменъ по пріѣздѣ изъ-за границы? Это, можетъ-быть, будетъ лучше и для моего здоровья, и вѣрнѣе. Читалъ кое-что въ Ротекѣ — дрянь! Хочу кончить черную работу до отъѣзда на кислыя воды, а тамъ буду читать Библію и Иліаду; перечитывалъ Шиллера, Фауста, Вертера. Если успѣю напишу Грановскому...

Я не сердился, а смѣялся за строки, напечатанныя въ «Сынѣ Отечества». Шутъ! съ чего тебѣ вздумалось величать меня литераторомъ и великодушнымъ?..*) Я было написалъ поправку и отдалъ Бѣлинскому, чтобъ иные люди не соблазнились о мнѣ — не успѣлъ поговорить съ нимъ; едвали она напечатана. Но объ этомъ вздорѣ пора забыть. Прощай! Христосъ съ тобой.

48.

Къ Т. Н. Грановскому.

14 іюня 1836, пятница.

... Ты въ Берлинѣ! Ты достигъ цѣли твоего странствія! Я воображаю, какъ сжалось твое сердце, когда ты увидѣлъ этотъ нѣмецкій городъ, на который каждый изъ насъ возложилъ свою надежду! Или у тебя ихъ еще много? или это только одна изъ надеждъ твоихъ? Въ такомъ случаѣ разочарованіе будетъ не такъ тяжело, завѣтная радуга всё еще будетъ горѣть

*) За изданіе «Стихотвореній Кольцова».

на небѣ... Надѣюсь, ты сдержишь свое обѣщаніе и напишешь мнѣ о всѣхъ чудакахъ, отъ которыхъ мы ждемъ себѣ душевнаго возрожденія. Признаюсь тебѣ, мнѣ давно стало душно отъ этой проклятой неизвѣстности, отъ этого откладыванія. Когда же нибудь надобно послѣдовать внутреннему голосу и жить своею жизнью. Когда же нибудь надобно отбросить эту робкую уступчивость, эту ученическую скромность, стать лицомъ къ лицу съ тѣми обольстителями души, которые тайною, отрадною надеждой поддерживаютъ жизнь ея, и потребовать отъ нихъ вразумительнаго отвѣта. Воля твоя, я не понимаю натуралиста, который считаетъ ноги у козявокъ, и историка, который, начавъ съ Ромула, въ цѣлую жизнь не дойдетъ до Нумы Помпилія, — не понимаю человѣка, который знаетъ о существованіи и спорахъ мыслителей, и бѣжитъ ихъ, и отдается въ волю своего темнаго поэтическаго чувства. *Если нельзя ничего знать*, стоитъ работать до кроваваго пота, чтобъ узнать хоть это! Тогда въ моемъ отчаяніи, въ моемъ ропотѣ будетъ больше счастія, больше поэзіи покрайней мѣрѣ, нежели въ этомъ робкомъ отказѣ отъ своего достоинства, отъ своихъ потребностей, силъ. Тогда, можетъ-быть, я лучше пойму смиреніе вѣры; тогда я, можетъ-быть, безъ удержанія отдамся душѣ своей, въ которой есть же капля любви, и стану жить въ одномъ чувствѣ, ничѣмъ не раздробляемомъ. Нѣтъ! человѣкъ можетъ знать, что̀ хочетъ; по крайней мѣрѣ, можетъ устроить хаосъ своихъ познаній и быть въ единствѣ съ самимъ собою, можетъ одушевить науку единою свѣтлою идеей, — а этого мы въ правѣ ждать и требовать отъ тебя, милый Гр., которымъ не овла-

дѣлъ демонъ міра сего и который безкорыстно готовитъ себя на служеніе мысли. Подружись съ этими чудаками — Нѣмцами. Ты встрѣтишь между ними чугунныя головы, дурацкое терпѣнье и дурацкое благоразуміе, но и встрѣтишь людей, отвратившихъ глаза отъ мелочей этой жизни и дышущихъ воздухомъ другаго міра. Пусть негодованіе къ тѣмъ Brodgelehrten не охладитъ твоего жара къ другому сорту Нѣмцевъ — не къ Нѣмцамъ, а къ истинѣ, которая черезъ нихъ сказалась. У нихъ есть идеи, которымъ душа отвѣчаетъ: да! и если въ нихъ усомнишься, то оттого, что, можетъ-быть, еще не совсѣмъ вѣрна метода, которою онѣ доказываются.

Du musst glauben, du musst wagen!

Прочь интересы бѣдныхъ головъ! Что̀ за нужда, въ которомъ-то году умеръ Александръ Македонскій; довольно, что онъ жилъ и переродилъ вселенную, а если это знать, такъ знать для того, чтобы понять, что̀ такое вселенная. Интересъ всѣхъ наукъ *одинъ*; посторонніе интересы могутъ быть искренни и безкорыстны, но они суть слѣдствіе привычки, а не жажда души, которая во всемъ хочетъ поэзіи, упоенія, которая во всемъ ищетъ *себя* и своего единства съ жизнію природы и Бога, безъ котораго нѣтъ жизни и существенности, безъ котораго вселенная скелетъ или призракъ.

Мужество, твердость, Гр.! не бойся этихъ формулъ, этихъ костей, которыя облекутся плотію и возродятся духомъ по глаголу Божію, по глаголу души твоей. Твой предметъ—жизнь человѣчества: ищи же въ этомъ человѣчествѣ образа Божія; но прежде приготовься

трудными испытаніями — займись философіею. Занимайся тѣмъ и другимъ, эти переходы изъ отвлеченной къ конкретной жизни и снова углубленіе въ себя— наслажденіе! Тысячу разъ бросишь ты книги, тысячу разъ отчаешься и снова исполнишься надежды; но вѣрь, вѣрь—и иди путемъ своимъ.

Ты мнѣ простишь эти совѣты. Это не совѣты—это голосъ души, которая понимаетъ твою, но невольно стремится слить ее съ собой, которая дорожитъ всякимъ прекраснымъ явленіемъ, всякимъ чистымъ сердцемъ и крѣпко за него держится. Ты самъ одобрилъ мои занятія, ты самъ подалъ намъ руку и мы прочли въ душѣ твоей, что ты нашъ; «будемъ вѣрны мечтамъ юности», она цвѣтъ жизни, —и ее любилъ Спаситель въ лицѣ ученика своего; она легче понимаетъ любовь Его и смѣлѣе презираетъ Фарисеевъ!

Я на Кавказѣ. Этотъ край грустенъ своимъ однообразіемъ. Но его горы порою производятъ странное впечатлѣніе на душу. Чудно маячатъ ее иногда эти снѣжныя, спокойныя вершины Эльборуса, и безпорядочные, кучами набросанные, снѣжные утесы другихъ горъ,—все это въ 100 или болѣе верстахъ и бываетъ видно яснымъ утромъ и яснымъ вечеромъ. Здоровье мое поправляется. Къ 1-му августу поѣду домой, а къ 1-му маю 1837 года съ моимъ милымъ Януаріемъ явлюсь къ тебѣ: онъ мнѣ будетъ отчизною въ чужой землѣ. Прощай. Впредь напишу больше — теперь это я долженъ былъ высказать тебѣ, не могъ не высказать. Христосъ съ тобою.

Продолженіе переписки съ Я. М. Н—ъ.

40.

С. Удерева. 18 августа.

Давно я не писалъ къ тебѣ — обвиняй въ этомъ дьявольскія горы Кавказа, стѣснившія мнѣ снова дыханіе... до сихъ поръ еще несовершенно прошелъ у меня напоръ крови на грудь, сдѣлавшійся отъ путешествія на вершину Бештау.

Мы пріѣхали въ деревню 3-го августа. Надобно побывать на Кавказѣ, чтобъ чувствовать прелесть внутреннихъ странъ Россіи, прелесть гражданственности, населенности. Степи Кавказа, сухія, грустныя, истомили мнѣ душу. Я совершенно съ тобою согласенъ на счетъ Азіи. Сирія, Палестина, Индія — вотъ куда стоитъ поѣхать. Но... вспомни, что мы болѣе изучали эти земли по древней картѣ, нежели по новой, мы соображаемъ ихъ съ древнею гражданственностью—но сколько воспоминаній и какая должна быть природа! Даже Закавказье съ его древними монастырями, нефтяными источниками, виноградниками и богатыми долинами — привлекательно! Глядя на Эльборусъ, томишься по той странѣ, также печальной для Европейца, но полной поэзіи—за этою снѣжною цѣпью начинается новый міръ, который мы знаемъ изъ полубаснословныхъ разказовъ, изъ путешествій, изъ надутыхъ повѣстей Марлинскаго. Тамъ не осуществится ни одного изъ прекрасныхъ ожиданій души твоей, ни одна высокая человѣческая мечта... но ты насытишься разнообразными картинами, воспоминаніями.

ничего не дѣлать. Магистерскій экзаменъ отложу до нашего возвращенія изъ-за границы.

Кланяйся отъ меня Григ.—Я старался въ Кисловодскѣ пріискивать его и твои статьи въ «Энциклопед. Лексиконѣ». Изъ нихъ пробовалъ я изучать его и что жь? Прежде всего пришлось мнѣ изучать его на «*Баядерахъ*». Онѣ Григ. представляются очень заманчивыми — грѣшное воображеніе Востока!

50.

Острогожскъ. 16 октября

... Сейчасъ мы возвратились съ блистательной охоты на зайцевъ, которыхъ я болѣе десятка поразилъ собственноручно, и спѣшимъ ѣхать въ Удеревку.

Чтобы не разстроивать своего здоровья, не осрамиться и съ пользою совершить наше путешествіе, я отлагаю экзаменъ до возвращенія изъ-за границы.

... Кланяйся отъ меня Григ. и поздравь, если можно, съ блестящею побѣдою. Приключенія ваши въ родѣ Аріоста и—презанимательны.... Юноша ты, посмотрю я на тебя! Завидую способности предаваться такимъ шашнямъ. Случись это со мною, мнѣ было бы какъ-то не по себѣ; я вышелъ бы alberne Figur.... Но когда читаю глазами неослѣпленнаго разсудка и посмотришь на все это издали: все прахъ и паутина! (каковъ тонъ! въ переводѣ — зеленъ виноградъ). Не шутя — прекрасна эта женщина, падшій ангелъ съ ея бурною душою; но признаюсь, мнѣ кажется, я безпристрастно смотрѣлъ бы на ея красоту; она для меня была бы прекрасна какъ море, гроза, поэма, музыка — не больше. Этого довольно, скажешь ты. Но какъ блѣд-

нѣтъ эта буйная красота d'une femme emancipée передъ образомъ женщины, которая любитъ и молится, передъ женою, передъ матерью!...

21.

С. Удерева. 21 сентября.

... Я получилъ письмо отъ М. Б—на. Бѣлинскій отдыхаетъ у нихъ отъ своей скучной, одинокой жизни. Я увѣренъ, что эта поѣздка будетъ имѣть на него благодѣтельное вліяніе. Полный благородныхъ чувствъ, съ здравымъ, свободнымъ умомъ, добросовѣстный, онъ чуждается въ одномъ только: на опытѣ, не по однимъ понятіямъ, увидѣть *жизнь* въ благороднѣйшемъ ея смыслѣ; узнать нравственное счастіе, возможность гармоніи внутренняго міра съ внѣшнимъ,— гармоніи, которая для него казалась недоступною до сихъ поръ, но которой онъ теперь вѣритъ. Какъ смягчаетъ душу эта чистая сфера кроткой, христіанской семейной жизни! Глубоко понималъ Шиллеръ все лучшее въ Божіемъ твореніи. Мущина грубъ въ своей добродѣтели, всѣ благородные порывы души его носятъ какую-то печать цинизма, какую-то жесткость; въ немъ больше стоицизма, нежели христіянства, нежели человѣчества. Только вліяніемъ женщины, вліяніемъ семейныхъ отношеній—это благородное, сильное, но все не много деспотическое чувство долга обращается въ отрадное чувство любви, сознаніе добра — въ непосредственное его ощущеніе. Семейство Б — хъ идеалъ семейства. Можешь себѣ представить, какъ оно должно дѣйствовать на душу, которая не чужда искры

но я — я боюсь испортиться. М. зоветъ меня съ своимъ обыкновеннымъ прямодушіемъ, добротою: не знаю, поѣду ли? — Во мнѣ другой недостатокъ, противоположный недостатку Бѣлинскаго: я слишкомъ вѣрю въ семейное счастіе, а иногда съ сердечною болью думаю, что это одно возможное... Мнѣ надобно больше твердости, больше жесткости.

Въ Москвѣ я думаю заняться приготовленіемъ къ вояжу, думаю сблизиться болѣе съ искусствомъ, прочту Винкельмана. Мнѣ хотѣлось бы познакомиться ближе съ живописью, узнать теоретически различныя школы живописцевъ и ихъ отличія, господствующіе вкусы эпохъ, чтобы не соблазняться и умѣть отдать «кесарево кесареви», а Божіе узнаетъ душа, если она не совсѣмъ заросла земной корою. Кромѣ того, хотѣлъ бы я узнать біографіи художниковъ. Каждое произведеніе составляетъ два произведенія: одно безотносительное, которое цѣнится чувствомъ, съ перваго взгляда, и другое — составляющее цѣлое съ жизнію художника, отдѣльное явленіе въ драмѣ его жизни. И много произведеній, имѣющихъ небольшую цѣну безотносительно, получаютъ высокій смыслъ, разсматриваемыя въ отношеніи къ ихъ творцу. Кромѣ того, мнѣ хочется получше заняться исторіею. Не смотря на всѣ попытки овладѣть ею, я еще совершенный невѣжда. Не думай, чтобъ это была сократическая скромность. Я слишкомъ разсѣянно занимался ею. Геродотъ и Ѳукидидъ вышли совершенно изъ головы, какъ будто бы никогда въ ней не были; «Идеи» Геерена памятны только въ результатахъ; имена и числа мѣстами хорошо помню, мѣстами перепуталъ. Безпрестанные вояжи и болѣзни мѣшали мнѣ безпрестанно

Новую исторію я довольно хорошо зналъ для школы, но и тà теперь въ туманѣ. Въ средней, особенно въ самой интересной части—XII, XIII, XIV и XV вѣкахъ, стыжусь своего полнаго невѣжества. Разумѣется, что заняться ею теперь ученымъ образомъ до отъѣзда невозможно. Хорошо бы успѣть прочесть не источники, а нѣсколько обработанныхъ сочиненій, именно: Гиббона для средней исторіи, Робертсона «Исторію Карла V» и еще что-нибудь, и вторично Минье для новой. И тò много! Когда все это сдѣлать? Кромѣ того, не взять ли мнѣ приготовить какого-нибудь юношу для университета, чтобы лучше узнать компендіумъ исторіи?

Философіею—главное дѣло—ужь займусь вполнѣ тамъ; я отчасти приготовленъ, въ ней надо самому мыслить; тамъ помогутъ скорѣе, нежели здѣсь, и освободивъ себя въ Россіи отъ лишнихъ трудовъ, я буду имѣть болѣе времени вполнѣ ею заняться. А если ты подымешь свой голосъ,—голосъ богохульный—противъ философіи, то я... прибью тебя. А если хочешь, то напишу тебѣ когда-нибудь *резоны*, которые, мнѣ кажется, убѣдятъ тебя. Они всѣ будутъ приведены къ одному началу, что $2 \times 2 = 4$. Иначе,—человѣкъ, который имѣетъ душу, любитъ искусство и сознаетъ что-то похожее на разумъ и гармонію въ кучѣ разныхъ разностей, которую онъ называетъ природой, человѣкъ, который вѣритъ иногда уму, напримѣръ хоть въ томъ, что $5 \times 5 = 25$, не долженъ бояться свободнаго хода мысли ни въ какомъ отношеніи. Ты никакъ не можешь сказать: умомъ не разрѣшишь сомнѣній, не рѣшишь вопросовъ сердца. Ты, который

вершенство, ты находишь явную нелѣпость въ организаціи ума, который есть вѣнецъ созданія. Собака хочетъ ѣсть, и организмъ ея не мѣшаетъ ей схватить кусокъ мяса, и самая потребность пищи есть слѣдствіе всего ея организма. Одинъ членъ служитъ всѣмъ и всѣ одному; нѣтъ потребности, которая бы не была для всего и которой бы мѣшало что-нибудь. Каждое созданіе есть совершенство; одинъ умъ имѣетъ потребности, которыхъ онъ удовлетворить не можетъ, одинъ онъ уродъ въ Божіемъ созданіи, изгнанникъ изъ общей гармоніи, и это оторванное звено вселенной называется частицею божества! Такое убѣжденіе — нелѣпость. Да и чѣмъ передается тебѣ убѣжденіе? не умомъ ли? Развѣ убѣжденіе не есть мысль, мысль, одобряемая цѣлымъ разумѣніемъ, которое невольно и безотчетно сознаетъ свое единство съ нею? Мнѣ говорятъ: хотяй спасти (въ семъ мірѣ) душу свою, погубить ю... или: что пользы человѣку, аще обрящетъ цѣлый міръ и погубитъ душу свою? Я невольно отдаюсь этой мысли: такъ! жизнь не для себя, для другихъ прекрасна; въ этомъ есть отрада. Что̀ мнѣ за утѣшеніе пріобрѣсти сокровища, пить, ѣсть? эти животныя наслажденія ниже меня; а какое же наслажденіе остается еще—кромѣ любви, жизни въ другихъ? Разумъ мой сознаетъ свою любящую природу въ этой мысли,—и то, что̀ мы называемъ чувствомъ, есть полное одобрительное дѣйствіе нашего разумѣнія на весь организмъ. Но разумъ *хочетъ* согласить всѣ свои отдѣльныя знанія, всѣ вѣрованія. Это его неистребимая натура, и нечуждый законовъ, органическій, онъ долженъ удовлетворить этой потребности.— Человѣкъ такъ созданъ, что для него жизнь иначе не

возможна, какъ жизнь въ обществѣ, даже для удовлетворенія первымъ нуждамъ; удовлетвореніе другихъ, высшихъ потребностей, онъ также достигаетъ родомъ— и на это роптать нечего: самыя потребности возникаютъ тогда, когда есть средства удовлетворить имъ, и всякій отвѣтъ на вопросъ достаточенъ для разумѣнія спрашивающаго. Одному довольно слова, другому поясненія, третій счастливъ въ своемъ скептицизмѣ, ибо онъ также нашелъ часть истины; но вполнѣ умъ удовлетворяется только совершеннымъ согласіемъ съ самимъ собою. И скептицизмъ открылъ многія истины потому только, что дѣйствовалъ вопреки себѣ, потѣмъ началамъ, которымъ не вѣрилъ. Внѣ знанія нѣтъ бытія, внѣ единства нѣтъ знанія; совершенное одобреніе ума, согласіе, равное согласію на то, что $2 \times 2 = 4$: вотъ чего должно достигнуть уму! Тогда философія сформировалась—и это время, кажется, наступило. Я ощущаю это начало вполнѣ; только не могу еще понять всѣхъ отраслей, на которыя она развивается, и ихъ связи. Но вѣдь это наука!

Будетъ же о философіи. Мнѣ надобно *мужаться*, *встать* и *дать* отвѣтъ Гр—у на его сомнѣнія въ себѣ и отчаяніе. Никто не можетъ отвѣчать лучше того, который находится самъ въ его положеніи. Болѣе простора уму, болѣе любви сердцу,—и всѣ эти сомнѣнія: какъ мнѣ быть? что̀ мнѣ дѣлать? что̀ изъ меня выйдетъ? пойдутъ къ чорту. Въ самомъ дѣлѣ, чтобъ истина не пугала, надобно быть чище душою. Скажи человѣку закоренѣлому въ эгоизмѣ: «ты—ничто! вотъ до какой мысли достигнешь ты путемъ науки: счастіе, достойное человѣка, можетъ быть одно—само-

ніе этимъ самозабвеніемъ»—и онъ опечалится, хоть бы въ самомъ дѣлѣ отъ *юности своея соблюлъ* всѣ законы чести и справедливости. А кто безкорыстно ищетъ истины, тотъ уже очищаетъ душу и приготовляетъ ее къ принятію божества. Царство истины — царство Божіе; оно въ мірѣ, но не отъ міра. Я знаю по себѣ, какъ тяжела мнѣ казалась мысль: Weltgeschichte ist das Weltgericht, и какъ сбиваются люди съ одного пути на другой, и какъ, попавши на истинный, идутъ по немъ лѣниво, забываютъ лозунгъ и погрязаютъ въ суетахъ міра, какъ вдругъ отчаяваются въ своихъ идеяхъ и ожиданіяхъ и проч. и проч.

52.

Къ Т. Н. Грановскому.

29 сентября.

Получивъ письмо твое среди съѣзда охотниковъ, въ чаду глупостей, которымъ я иногда люблю предаваться, я тогда же хотѣлъ поговорить съ тобою, но не успѣлъ. Буду отвѣчать тебѣ на твою исповѣдь и на твои сомнѣнія точно также, какъ я отвѣчаю себѣ на свои. Ты недоволенъ собою? Поблагодари за это Бога! Ты сомнѣваешься въ себѣ, въ своихъ силахъ, ты хочешь дать себѣ отчетъ въ самыхъ чистыхъ твоихъ намѣреніяхъ, повѣряешь свои потребности—ты началъ прекрасно, какъ не можетъ начать иначе никто, достойный имени человѣка. Все затрудненіе въ томъ, какъ перейдти отъ этого состоянія недовѣрчивости къ себѣ и сомнѣнія—къ дѣятельности, дѣятельности полной и разумной, которая бъ удовлетворила тебя, дала миръ

и наслажденіе душъ твоей. Всякій другой рашилъ бы это дѣло просто: стремись къ тому, чего желаешь; ищи отвѣты на тѣ вопросы, которые съ большею силою гнетутъ тебя; ступай въ тотъ міръ, котораго гражданиномъ ты себя чувствуешь. Но я не скажу тебѣ этого — не только потому, что желѣзная необходимость заставитъ тебя заниматься многимъ, о чемъ душа не спрашивала, но и потому, что ясно сознать свои потребности не есть дѣло одной минуты: я это знаю.

Да, другъ мой! Не всякому первое воспитаніе позволило свободно развить всѣ добрыя начала, данныя ему матерью-природой: иногда они погибаютъ безъ возврата. Но если искра Божія долго тлится подъ пепломъ ничтожныхъ суетъ, если человѣческая натура наша долго дремлетъ подъ колыбельную пѣсенку ложныхъ правилъ, предразсудковъ, самолюбія и вдругъ очнется, — она не можетъ разомъ сознать себя; она чувствуетъ только, что все предлагаемое ей для потребленія не приноситъ ей никакого удовольствія; она не знаетъ, чего ей надо. Она нуждается въ новыхъ потребностяхъ; ей надобно возвыситься до нихъ. Какъ это дѣлается? Какое-нибудь обстоятельство жизни, какое-нибудь внезапное чувство, иногда долгій опытъ, иногда размышленіе, наводятъ насъ на путь, и мы удивляемся, какъ могли блуждать прежде. Я тебѣ говорю прямо и откровенно, тѣмъ болѣе, что я самъ въ одномъ съ тобою положеніи, но только не много спокойнѣе на счетъ своихъ потребностей, потому что имѣю объ нихъ довольно ясное понятіе. Чтобъ намъ лучше понимать другъ-друга, я разкажу тебѣ въ не-

ключивъ изъ нея все, что̀ относится къ *домашнему быту* моей души: это дѣло постороннее. Эта исторія можетъ-быть похожа на китайскую; но пусть будетъ такъ.

Мальчишка 14-ти лѣтъ, я *грѣшилъ стихами*, по вѣрному выраженію одного чудака. Я не безъ души, если она во мнѣ и не имѣетъ большихъ достоинствъ. Марая бумагу и вытягивая метафоры и пышныя фразы, иногда я что-нибудь и чувствовалъ, особенно въ послѣднюю эпоху моего стихотворства, когда я вышелъ изъ-подъ опеки *учителя поэзіи* и началъ по немножку лучше понимать сущность искусства и нѣкоторыя стороны жизни. Лекціи Надеждина, какъ ни были онѣ недостаточны, развили во мнѣ (сколько могло во мнѣ развиться) чувство изящнаго, которое одно было моимъ наслажденіемъ, одно — моимъ достоинствомъ и, можетъ-быть, моимъ спасеніемъ! Совсѣмъ этимъ, Г-ій, я не понималъ жизни, я не имѣлъ цѣли, я былъ такъ мелокъ и ничтоженъ, что стыжусь вспомнить! Я увлекался мнѣніями недалекихъ людей, я *дорожилъ* мнѣніемъ свѣтской черни, мнѣ казалось стыдно не имѣть знакомства, казалось необходимо быть въ свѣтѣ и стараться играть въ немъ какую-нибудь роль. Я говорю тебѣ все это не запинаясь. Вышедши изъ университета, я не зналъ, за что̀ приняться — я выбралъ исторію. «Давай займусь» — вотъ каковъ былъ этотъ выборъ. Что̀ я въ ней видѣлъ? Ничего. Просто это было подражаніе всѣмъ, вліяніемъ людей, которые не вѣрили теоріи, привычка къ недѣятельности ума, которая дѣлала страшнымъ занятіе философіей и изрѣдка обдавала какимъ-то холодомъ невѣрія къ достоинству ума. Шеллингъ, на котораго я напалъ

почти нечаянно, опять обратилъ меня на прежній путь, къ которому привела было эстетика, — и съ тѣхъ поръ болѣе и болѣе, при всей моей недѣятельности, я началъ сознавать себя. Г-ій, вѣришь ли? Оковы спали съ души, когда я увидѣлъ, что внѣ одной всеобъемлющей идеи нѣтъ знанія, что жизнь есть самонаслажденіе любви и что все другое — призракъ. Да, это мое твердое убѣжденіе. Теперь есть цѣль передо мною: я хочу полнаго единства въ мірѣ моего знанія, хочу дать себѣ отчетъ въ каждомъ явленіи, хочу видѣть связь его съ жизнію цѣлаго міра, его необходимость, его роль въ развитіи этой идеи. Чтобы ни вышло, одного этого я буду искать. Пусть другіе *больше* моего знали: можетъ-быть, я буду знать *лучше*, — и тутъ нѣтъ лишняго самолюбія. Пришло время. *Лучше* — я разумѣю отчетливѣе, въ связи съ одной идеею, внѣ которой нѣтъ жизни.

Другое дѣло — прагматическій интересъ въ наукѣ; тогда она средство и это занятіе имѣетъ свою прелесть; но для этого надобно имѣть страсть, преодолѣвающую всѣ труды, а къ этакой страсти способны люди односторонніе. Ты не изъ этого рода людей: — это можно узнать, взглянувши на тебя. Больше простора душѣ, мой милый Г-ій! Теперь ты занимаешься исторіей: люби же ее, какъ поэзію, — прежде нежели ты свяжешь ее съ идеею, — какъ картину разнообразной и причудливой жизни человѣчества, какъ задачу, которой рѣшеніе не въ ней, а въ тебѣ, и которое вызовется строгимъ мышленіемъ, приведеннымъ въ науку. Поэзія и философія — вотъ душа сущаго. Это жизнь, любовь; внѣ ихъ все мертво. Ты скорбишь о

Миллеръ называлъ великими. Не говоря о томъ, что на счетъ величія людей можно имѣть разныя понятія съ Миллеромъ, я скажу одно: что̀ за потребность узнать и того, и другаго, и третьяго? Ты узнаешь ихъ тогда, когда въ тебѣ будетъ вопросъ, котораго рѣшенію они могутъ способствовать.

Всякое чтеніе полезно только тогда, когда къ нему приступаешь съ опредѣленною цѣлью, съ вопросомъ. Работай, усиливай свою дѣятельность, но не отчаявайся въ томъ, что ты не узнаешь тысячи фактовъ, которые зналъ другой. Конечно, твое будущее назначеніе обязываетъ тебя имѣть понятіе обо всемъ, что̀ сдѣлано для твоей науки до тебя; но это пріобрѣтается легко, когда ты положишь главное основаніе своему знанію, а это основаніе скрѣпишь идеею. Тогда, повѣрь, бѣглое чтеніе больше сдѣлаетъ пользы, нежели теперь изученіе. Довольно пока тебѣ слушать Раумера и Ранке. Планъ твой — читать вмѣстѣ съ этимъ обработанныя сочиненія мнѣ очень нравится. Вотъ я такъ ужь совершенный невѣжда — и то еще не тужу.

Съ Божіей помощію, въ маѣ 1857, мы съ Януаріемъ явимся къ вамъ съ нѣмецкой мудростію и побесѣдуемъ обо всемъ вдоволь. Береги свое здоровье и особенно глаза, которые, кажется, у тебя довольно слабы. Прости мои разглагольствованія — я говорилъ отъ души.

Продолженіе переписки съ Я. М. Н—ъ.

53.

Москва, 19 октября.

Другъ мой! Благодарю тебя за твои совѣты на счетъ моихъ занятій. Видя въ нихъ опредѣленную цѣль, я никогда не отчаяваюсь побороть нѣкоторыя трудности, которыя оттого, быть-можетъ, и казались трудностями, что мои неопредѣленные планы и частые разъѣзды не позволяли мнѣ предаться имъ вполнѣ. Теперь намѣренія мои установились, цѣль жизни и знанія у меня яснѣе, душа спокойнѣе и все, надѣюсь, пойдетъ прекрасно. Я ищу немногаго, а лучшаго, и меня ничто не собьетъ. Но между нами не должно быть никакого недоразумѣнія. Явное несогласіе въ самыхъ важнѣйшихъ мнѣніяхъ никогда не въ состояніи поколебать нашей дружбы; она основана не на мнѣніяхъ, но на томъ сочувствіи, которое непремѣнно существуетъ между людьми, полюбившими добро. Пусть мы не сойдемся на философіи; намъ останется философія безсознательная, поэзія добра, въ которой мы всегда одно. Это самое уполномочиваетъ, обязываетъ меня къ полной откровенности. Между нами споры, несогласія во мнѣніяхъ ничего не значатъ; но не должно быть недоразумѣнія. Итакъ я долженъ сказать тебѣ, что твое уваженіе къ философіи, по моему, хуже вражды къ ней, и если ужь бить тебя, такъ бить не за вражду, а за уваженіе. Ты смотришь на нее, вопервыхъ, какъ *на одну изъ наукъ*, вовторыхъ— какъ на одну изъ наукъ второстепенныхъ. Не говоря

уже о послѣднемъ взглядѣ, первый обнаруживаетъ, что ты не составилъ себѣ яснаго понятія о философіи, и что твое къ ней уваженіе не стоитъ благодарности съ ея стороны. Нѣтъ, мой Януарій! Философія не есть наука въ ряду наукъ, но высочайшая изъ всѣхъ, служащая имъ основаніемъ, душою и цѣлью. Разсуждать о ея пользѣ — все равно, что разсуждать о пользѣ поэзіи; а называть ея истины отвлеченными — значитъ считать конкретнымъ желѣзныя дороги, которыя для меня важны только какъ средство къ умственному развитію, высочайшее выраженіе котораго есть опять-таки не фактическое знаніе, дѣлающее изъ человѣка машину, а философія, поэзія. Если въ нашемъ народѣ практическій элементъ преобладаетъ надъ прочими, изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ мы должны были вѣчно подлаживать Русскому человѣку, мѣрять и обмѣривать за одно съ нимъ, а, напротивъ, слѣдуетъ то, что должны пробудить въ немъ человѣческую сторону, которая заснула подъ звукъ володайскаго колокольчика, подъ говоръ ярморокъ. Но довольно объ этомъ. Въ сущности у насъ однѣ мысли, только ты, мнѣ кажется, не уяснилъ себѣ своей собственной души.

... Не знаю, откуда эти чудные слухи заходятъ въ Питеръ? я — censoръ Бѣл.? Напротивъ, я самъ свои переводы, которыхъ два или три въ «Телескопѣ», подвергалъ censорству Бѣлинскаго, въ отношеніи русской грамоты, въ которой онъ знатокъ, а въ мнѣніяхъ всегда готовъ съ нимъ посовѣтоваться и очень часто послѣдовать его совѣтамъ. Конечно, его выходка неосторожна, но не болѣе; онъ хотѣлъ напасть на способъ составлять репутацію и оскорбилъ человѣческую сто-

рону Бен—ва. Я ему это скажу. Бул—въ! (*)... Бѣдный, больной, несчастный въкъ! Но въ его ранахъ столько прекраснаго, столько человѣческаго, что невольно вѣрится въ скорое изцѣленіе міра. Вездѣ порывы святаго чувства, вездѣ борьба съ подлою жизнью; самоубійство, развратъ, мистицизмъ — все это кипитъ въ старой Европѣ и проситъ обновленія, а духъ жизни уже вѣетъ въ уголкахъ ея; вѣрное, стройное мышленіе объясняетъ людямъ ихъ назначеніе, возстановляетъ убѣжденія и обѣщаетъ возрожденіе. Я просилъ тебя прислать Гегеля; если нѣтъ его, пришли «Исторію философіи» Рейнгольдта и еще «Histoire de la Philosophie allemande» par Penhoen. Бѣл. и Ефр. въ гостяхъ; меня зовутъ туда сильно, но пока я твердъ.

1857.

54.

Москва. 25 января.

... Твои печальныя мечты, твои предположенія, которыя ты основываешь на нашемъ разномысліи, совершенно, другъ мой, неосновательны. Что̀ намъ за дѣло, что я убѣжденъ въ важности философіи, а ты нѣтъ, что въ понятіяхъ объ искусствѣ есть у насъ разница? Мы будемъ спорить и постараемся привести

(*) Молодой человѣкъ, преждевременно умершій и, какъ

спорные пункты въ ясность: одинъ изъ насъ, можетъ-быть, уступитъ. Но еслибы мы и никогда не сошлись въ этомъ, развѣ у насъ не одни понятія о сущности жизни? развѣ кому-нибудь изъ насъ чужды добро, любовь, поэзія, дружба? Вотъ истинная связь людей, мой Януарій! Безъ нея, сходныя понятія также мало упрочатъ дружбу, какъ одна привычка, которая имѣетъ силу только при другихъ важнѣйшихъ условіяхъ. Нѣтъ, мы никогда не разойдемся; отчего я такъ убѣжденъ въ этомъ?...

А новая связь моя только живѣе заставитъ меня чувствовать всю силу старой, всю ея прелесть. Любовь не вытѣсняетъ другихъ чувствъ, — нѣтъ, мой Януарій! Она дѣлаетъ насъ лучше и способнѣе любить и понимать все достойное любви: я это знаю.

55.

11 февраля.

Въ жизни я легкомысленнѣе, поверхностнѣе тебя, милый Януарій, и потому смерть Пушкина не сдѣлала переворота въ состояніи души моей; но она глубоко поразила меня въ первыя минуты и потомъ оставила во мнѣ какую-то неопредѣленную грусть. Я писалъ объ этомъ къ Л". Признаюсь, я не постигаю для себя возможности того положенія, въ которомъ находился П-нъ, и не цѣню его поступка, не знавши порядочно, что̀ привело его къ этому,—да и цѣнить поступокъ великаго человѣка на основаніи какого бы то ни было закона для меня отвратительно. Онъ умеръ не пошло; если онъ и жертвовалъ жизнью предразсудку, все-таки это показываетъ, что она не была для него высочай-

шимъ благомъ, Если жизнь становится пустою формою безъ всего, что̀ должно ее наполнить, тогда, можетъ-быть, и легко ею пожертвовать; но потерять всё въ жизни и не утѣшиться ея пошлостями, т. е. не согласиться на нихъ — для этого нужна душа получше. Я примиренъ съ Пушкинымъ. Спокойствіе было не для него: мятежно онъ прожилъ и мятежно умеръ. Не хочу обвинять никого; въ этомъ событіи какая-то несчастная судьба....

Мое дѣло не рѣшено. Папенька уѣхалъ и обѣщалъ переговорить съ дядею. Не знаю, право, какъ все это кончится: скучно быть въ такой неизвѣстности. Но я терплю и принялся крѣпко за прежнія занятія.

56.

5 марта.

Сегодня я получилъ твое письмо вмѣстѣ съ письмомъ Грановскаго. Думать, по моему, нечего: я увѣренъ, что твой пріѣздъ сдѣлаетъ ему пользу. Не знаю, отъ чего напала на него такая тоска? Мнѣ кажется, она возможна только въ моемъ положеніи, потому что я страдаю не за одного себя. Нѣтъ, мой Януарій! человѣкъ можетъ быть грустенъ, можетъ мучиться; но въ этой грусти должна быть поэзія, слѣдовательно — и отрада. Сухое страданіе — нехорошій признакъ. Если чувствуешь апатію, надобно сознать причину ея и, сознавши, удалить. Обстоятельствамъ не надо давать воли надъ собою; есть отрада въ чувствѣ этой нравственной свободы, которая въ самой скорби сознаетъ свое могущество. Человѣкъ живетъ для на-

для высшаго, человѣческаго, которое можно назвать поэзіей. Надобно поддерживать въ себѣ любовь, въ какихъ бы формахъ она ни являлась — упоеніемъ, или безконечною грустью. Ступай къ нему, утѣшь, ободри его; только, злодѣй, не отводи его отъ философіи, дай ему вполнѣ совершить свою эманципацію и, о! почтенный мужъ, позаботься о себѣ въ этомъ отношеніи. Твоя душа такъ сроднилась съ высшею жизнью, ей нѣтъ наслажденія внѣ поэзіи, и поэтому самому ты можешь сбросить съ себя весь грузъ преданія, тяготѣющій отчасти надъ твоимъ умомъ. Я тебѣ говорю прямо: между нами нѣтъ церемоній, — и будь ты суевѣренъ какъ Индѣецъ, ты все-таки человѣкъ въ высшемъ значеніи и всегда будешь моимъ другомъ, и если не другомъ, то любимымъ человѣкомъ всякаго, кто тебя хорошо знаетъ.... Дѣла мои въ состояніи совершенной неизвѣстности: я мучусь, написалъ довольно рѣшительное письмо къ отцу. Никакъ не удосужусь писать, не потому, чтобы много дѣлалъ, но мысли въ разбродѣ.

Не услышишь ли что-нибудь изъ «Schwanen-Gesang» Шуберта? Это сочиненія, изданныя по смерти его. Я купилъ 2te Abtheilung... Замѣть тамъ «Atlas», «Am Meer» и «Doppelgänger»; впрочемъ всѣ пьесы равно прекрасны, но въ разныхъ родахъ, а эти чудо что̀ такое! Я отъ роду не слыхалъ такой музыки! Представь: Шубертъ умеръ 25 л. пьяницею! Поэтическая душа ищетъ всегда полнаго разгула: все или ничего, — но ошибается, не знаетъ, гдѣ его найдти.

57.

20 марта.

... Мнѣ писать трудно. Болѣзнь моя поправляется очень медленно — и Дядьковскій велѣлъ мнѣ непремѣнно ѣхать нынѣшнее лѣто въ Карлсбадъ. Я послалъ письмо и просьбу объ отпускѣ къ папенькѣ; думаю, что къ 15-му мая успѣю получить разрѣшеніе отъ министра. Я никуда не выхожу и ничего почти не ѣмъ: аппетиту вовсе нѣтъ. За то пилъ бы, пилъ бы, а пить тоже ничего нельзя: все вредно. Грудной чай — гадость! Еще утѣшаетъ жидкая малина, но и той велятъ поменьше. Скука страшная! Ничего не могу читать, слабость въ глазахъ, головѣ и ушахъ, похожу да полежу: вотъ всѣ мои занятія; лучшая эпоха дня — это когда мнѣ подаютъ печеныя яблоки. Скука! Если ты будешь въ Берлинѣ, мы можемъ гдѣ-нибудь назначить мѣсто и съѣхаться. Не могу болѣе писать.

58.

25 марта.

Я не на шутку заболѣлъ, мой Януарій. Съ первой недѣли поста не выхожу изъ дому — и хотя главная болѣзнь по немножку уступаетъ, за то меня такъ мучитъ кашель — чисто желудочный безъ всякой боли въ груди, что ты представить себѣ не можешь. Я послалъ просьбу объ уволненіи меня на 4 мѣсяца съ 15-го мая, но я отправилъ просьбу 16 марта: она пойдетъ въ Воронежъ, въ Харьковъ и боюсь, что при теперешней дорогѣ въ Петербургъ придетъ не прежде мая... Говорятъ, кромѣ отпуска нуженъ еще паспортъ... Ни-

тахъ до разрѣшенія. Напиши, что̀ ты объ этомъ знаешь и какъ думаешь. Я въ большомъ затрудненіи. Въ Петербургъ мнѣ невозможно пріѣхать съ моимъ здоровьемъ. Но мы увидимся за границею, во что̀ бы то ни стало. Мнѣ надобно сказать тебѣ многое, что̀ у меня на душѣ, но чего пока еще не должна терпѣть бумага. Я сдѣлался восковой статуей, кости да кожа. Ты либо испугался бы, либо разсмѣялся, увидѣвши меня.

Дядьковскій ѣдетъ тоже въ Карлсбадъ. Изъ Москвы вообще много ѣдутъ туда. Отрадно будетъ слушать русскій языкъ.

Вчера я просматривалъ одинъ нѣмецкій дорожникъ; тамъ сказано нѣсколько словъ о тѣхъ городахъ, гдѣ Дядьковскій назначилъ мнѣ пить воды: о Карлсбадѣ, Тёплицѣ и Егерѣ. Но эти нѣсколько словъ меня чрезвычайно заинтересовали. Все это прекрасныя мѣста съ чудесными видами и съ достопримѣчательностями. Не послѣднее утѣшеніе, что въ Карлсбадѣ и Тёплицѣ есть театръ.

... Я все забываю переслать тебѣ очки. Они вѣчно съ укоромъ смотрятъ на меня, лежа у меня на столикѣ, подлѣ кровати. Перешлю съ *тяжелой* почтой, а романсы ужь когда-нибудь послѣ. — Теперь не могу писать.

59.

1 апрѣля.

Прежде всего надобно тебя поздравить съ 1-ымъ апрѣля; послѣ этого поздравленія я уже теряю право лгать и потому прошу вѣрить всему, что̀ ты прочтешь въ моемъ письмѣ. Не безпокойся о моей болѣзни: причины

ея болѣе физическія, а если участвовало тутъ сердце, такъ совсѣмъ иначе, нежели ты думаешь; но объ этомъ мы поговоримъ за границею. Я фантазировалъ ѣхать прямо изъ Удеревки на Кіевъ, Броды, Лембергъ и Краковъ. Но кажется необходимо будетъ ѣхать опять въ Москву и отсюда на Варшаву. По полученіи отпуска, я тотчасъ же подамъ въ отставку. Дядьковскій говоритъ, что мы съ нимъ будемъ зимовать въ южной Европѣ, и, кажется, выбралъ Тріестъ: городъ ни рыба, ни мясо, но прездоровый во время зимы, какъ онъ увѣряетъ. Повѣришь ли, что я предубѣдился даже противъ Италіи? — но это я думаю, глядя на Шев. На слѣдующій годъ пріѣду прямо къ тебѣ, мой другъ, въ Берлинъ... А тамъ что̀ Богъ дастъ. Отецъ мой вполнѣ согласенъ... Но болѣзнь моя, хотя вовсе неопасная, такъ серіозна и сложна, что мнѣ нельзя думать пока объ исполненіи моего намѣренія. М. Б—ъ отправляется сегодня на нѣсколько дней въ деревню.

Знаешь ли что̀? Я увѣренъ въ полной мѣрѣ, что Грановскій нуждается въ тебѣ: онъ что-то сильно тоскуетъ. Я не совсѣмъ понимаю эту сухую тоску, среди мирныхъ занятій, безъ какого-нибудь большаго бѣдствія. Кто предался душою наукѣ, живетъ въ ея сферѣ, или въ сферѣ поэзіи, тотъ не даетъ мѣста скукѣ, душа его наполнена; а если она не освобождена отъ грусти, то это грусть такого рода, что съ ней жаль разстаться.

●●.

5 апрѣля.

Я рѣшился подать въ оставку. Мнѣ бы нужно ѣхать

просьбу объ отпускѣ можно и не придерживать, что̀ скорѣе успѣютъ? Авось къ 1-му іюля меня уволятъ — еслибъ раньше!... Усталъ. Мнѣ однако гораздо лучше. Я теперь въ большой тревогѣ. Просьба объ оставкѣ придетъ, можетъ, слишкомъ поздно. А отпускъ сто̀итъ большихъ хлопотъ. Отдадимся на воля Божію.

Я немного успокоился. Просьба объ отпускѣ навѣрное къ 1-му мая будетъ въ Петербургѣ. А просьба объ отставкѣ своимъ чередомъ, она необходима. Раньше или позже рѣшенія придетъ она, все будетъ кстати. Страшно только подумать, что обо мнѣ, острогожскомъ смотрителѣ, такъ много хлопотъ: и страшно и совѣстно, а дѣлать нечего; дѣло идетъ о спокойствіи всей жизни. Прощай, другъ! Да сохранитъ тебя Провидѣніе.

Я въ деревню думаю выѣхать на Ѳоминой: тамъ по крайней мѣрѣ здоровѣе жить мнѣ.

61.

17 апрѣля.

Я совсѣмъ собрался въ путь; грустно, мочи нѣтъ — самъ не знаю отъ чего! Мнѣ ужасно хотѣлось вонъ изъ Москвы; мнѣ лучше будетъ на свободѣ, но выѣхать ужасно грустно!... ничего за душою!... Прощай! Мы подружились съ Грановскимъ, какъ люди не дружатся иногда за цѣлую жизнь. Прощай, Христосъ съ тобою!

Благодарю тебя, другъ мой, что ты ѣдешь со мною. Я теперь спокойнѣе, эта мысль — одна свѣтлая точка въ моей будущности. Некогда и не могу писать больше. Да сохранитъ тебя Спаситель!

62.

30 апреля.

Ты не можешь представить, въ какомъ я тяжеломъ положеніи, но надобно нести всю *Negativität des Lebens*. Ничто такъ не опустошаетъ, не сушитъ души, какъ опасенія, заботы, планы—но какъ быть? Авось пройдетъ эта смутная пора и на душѣ станетъ опять тепло. — Сегодня получили мы извѣстіе, что племянница моя Вѣрочка, которую ты видѣлъ въ Москвѣ, умерла — тяжело, другъ мой! Вотъ тутъ и захочешь другой жизни.

Пиши мнѣ ужь въ деревню.

ПЕРІОДЪ ЗАГРАНИЧНОЙ ЖИЗНИ СТАНКЕВИЧА.

1837—1840.

—

Четыре отрывка изъ его дневника.

1.

5 сентября 1837, г. Krzewazka, *мили до Издебника.*

... Наконецъ я выбрался изъ Кракова. На первый день я бѣгло обозрѣлъ зáмокъ, предоставляя себѣ на другой день удовольствіе поглазѣть на другія примѣчательности Кракова; но на другой день полосовалъ такой дождь, что я цѣлый день сидѣлъ дома. Вчера взглянулъ я на памятникъ Коперника въ цер. св. Анны. Муза Астрономіи вѣнчаетъ маленькій бюстикъ Коперника — работа Торвальдсена; но я ничего не нашелъ хорошаго; особенно не нравится мнѣ гримаска музы. Обѣ фигуры бронзовыя. Въ 10 часовъ пустился въ Величку. Въ канцеляріи мнѣ дали билетъ и чино-

вника въ проводники, большаго охотника говорить по-французски. Мы сошли въ подземелье — сходы очень покойны и ничуть не страшны. Первые корридоры обложены деревомъ; здѣсь вся соль уже выбрана, во многихъ мѣстахъ не берутъ ее, чтобъ сохранить стѣны отъ паденія. Скоро мы пришли къ непокрытой стѣнѣ: проводникъ указалъ мнѣ здѣсь начальный, худшій сортъ соли, смѣшенной съ землею и называемой *зеленою*; она не годится для употребленія; обыкновенно въ расходъ идетъ бѣлая, а самый высокій сортъ, кристальная, отправляется къ сосѣднимъ дворамъ, по тракту, въ томъ числѣ получаетъ ее и Русскій дворъ, чрезъ варшавскихъ контрагентовъ. Начало этихъ копей относятъ къ 1044 году и открытіе ихъ приписываютъ св. царевнѣ Кунигундѣ, которая и считается ихъ покровительницею. Соль идетъ съ востока на западъ и въ этомъ направленіи продолжаютъ копанье. Я видѣлъ вновь пробитую улицу для отысканія новыхъ слоевъ соли, названную по этому Hoffnungs-Strasse. — Изъ корридора мы переходили въ корридоръ, изъ комнаты въ комнату: стѣны вездѣ соляныя, кое-гдѣ только подложенныя деревомъ. Проводникъ зажегъ въ одной изъ комнатъ бенгальскій огонь и освѣтилъ на нѣсколько мгновеній эту страшную темно-сѣрую залу; нельзя не струсить, видя надъ собой страшныя глыбы; но теперь приняты мѣры, чтобы предупредить паденіе этихъ массъ: къ верху не роются больше, какъ это дѣлали прежде, хоть тамъ и есть соль: этимъ подвергли бы опасности и копи, а самый городъ; сверхъ того, въ иныхъ мѣстахъ сбираются поддѣлывать каменный потолокъ, какъ уже сдѣлано въ корридорахъ. Въ од-

чтобы предохранить ее отъ паденія. Жаль, что мы были въ такое время (суббота послѣ обѣда), когда мало работаютъ: большая часть работниковъ ушла за платою; не то — эти подземелья были бы живѣе. Разказы о томъ, что иные работники рождаются и умираютъ подъ землею — просто сказки: чиновники смѣялись, когда я имъ говорилъ объ этомъ. Здѣсь работаютъ до 6 часовъ вечера, а на ночь всѣ выходятъ наружу и расходятся по домамъ. Хороши должны быть эти копи, когда ихъ иллюминируютъ при посѣщеніи высокихъ особъ. — Всего я не видалъ, да и не стоило шляться цѣлый день подъ землею, чтобъ видѣть повтореніе одного и того же. Чиновникъ показалъ мнѣ главное: часовню, сдѣланную здѣсь какимъ-то отшельникомъ; фигуры на алтарѣ: два капуцина передъ алтаремъ со свѣчами; статую св. Кунигунды и пр. Все это сдѣлано изъ соли. Жаль, что это мѣсто влажно и фигуры попортились. Тутъ же стоитъ статуя короля Сигизмунда Августа, возвращенная изъ Варшавы, по присоединеніи Величко къ Австріи, — потомъ пирамиды, воздвигнутыя императору Францу, — также изъ соли, и зала, гдѣ каждый годъ дается по нѣскольку баловъ. Сюда ожидали эрцгерцога Іоанна, отправившагося въ Россію, въ Вознесенскъ, но онъ выбралъ другую дорогу. Около воротъ стояли разноцвѣтные шкалики, которые мой проводникъ велѣлъ освятить. Это былъ прекрасный видъ. Надъ воротами еще свѣтилась прозрачная надпись: Excelso hospiti, а въ срединѣ вензелевое имя эрцгерцога. Другія залы освѣщали факелами. Это дѣлало фантастическій эффектъ...

II.

Ольмюцъ. 9/21 сентября.

Ольмюцъ сдѣлалъ на меня пріятное впечатлѣніе, можетъ-быть, потому ужъ, что я хорошо выспался, или еще скорѣе — потому, что по утру на базарѣ я встрѣтилъ очень много хорошенькихъ дѣвушекъ, которыя, къ сожалѣнію, всѣ хохотали надъ моей шапкой и заставили меня купить другую.

Ольмюцъ — чистый, опрятный, веселый городокъ. Въ немъ нѣтъ ничего особеннаго, чтобы могло поразить заѣзжаго зѣваку; за то все улыбается, живетъ и радуетъ празднаго ѣздока, который, можетъ-быть, въ эти минуты и не способенъ былъ бы наслаждаться чѣмъ-нибудь повыше. Въ практическомъ отношеніи, Ольмюцъ можетъ похвалиться не послѣднею рѣдкостію: это его каменная мостовая, гладкая какъ деревянный полъ. А что̀ всего лучше для меня — это чистый воздухъ, сокровище, которое вполнѣ оцѣнить можетъ только тотъ, кто былъ въ Краковѣ и Лембергѣ. Особенно Ольмюцъ обязанъ этимъ отсутствію Жидовъ, заражающихъ атмосферу своими испареніями. Одна церковь въ Ольмюцѣ невольно останавливаетъ на себѣ вниманіе: это церковь св. Маурица, старая, черная, закоптѣлая, въ готическомъ вкусѣ; особенный эффектъ она дѣлаетъ ночью, когда ея темныя стѣны кажутся и выше, и мрачнѣе. Вообще готическія церкви мало сдѣлали на меня впечатлѣнія: или оттого, что видѣнныя мною были не изъ лучшихъ, или оттого, что моя вѣра, если можно такъ назвать ее, требуетъ другаго храма, — скорѣе отъ всего этого по немножку. Но внутренность этой церкви мнѣ особенно понравилась. Окна, стоящія надъ самымъ алтаремъ, бросаютъ

яркій свѣтъ и придаютъ ясность и радушіе храму; а разноцвѣтныя стеклушки, пестрѣющія надъ ними, розовыя колонны и переплетъ на потолкѣ веселятъ своимъ младенческимъ вкусомъ, и при звукахъ органа манятъ къ тому волшебному Jenseits, которое носится надъ католическимъ храмомъ какъ чудесный сонъ. Органъ имѣетъ на меня чудесное дѣйствіе, особенно органъ въ церкви св. Маурица. По словамъ Гербичова Дорожника, въ немъ 2332 дудки. Звуки полные, чистые, обдаютъ душу волнами. Какъ бы хотѣлось слышать хорошую музыку на этомъ инструментѣ! Католицизмъ имѣетъ смыслъ, особенно какъ религія среднихъ вѣковъ. Старый міръ въ развалинахъ, религія природы пала, ранняя гармонія вновь разрушена: искусство, первая степень познанія Бога, могло воплотить его только. При греческомъ понятіи о божествѣ, оно могло явиться только въ человѣческомъ образѣ — но человѣческій образъ былъ недостаточенъ для воплощенія высшей идеи божества какъ духа: духъ созерцается только духовно, самъ чрезъ себя, — новое искусство должно было перейти изъ созерцанія въ ощущеніе. Это и представляетъ намъ живопись, еще болѣе музыка, которая должна была сдѣлаться сущностью средневѣковаго обряда, признавшаго въ человѣческомъ духѣ частицу божества. Но это ощущаемое божество не уничтожало человѣческой конечности; ему не доставало полнаго, яснаго сознанія, къ которому стремится духъ: отъ этого должна была родится скорбь, тоска по Jenseits, и звукъ органа, и все устройство храма влечетъ къ этому Jenseits. Но оно необходимая степень перехода, и потому нужно и моему духу. Искусство предчувствуетъ то божество, которому мы

поклоняемся въ духѣ и истинѣ. Духъ и истина ихъ не уничтожаютъ, а даютъ ясное содержаніе и возвышаютъ ихъ дѣйствіе.

Когда играетъ эта божественная музыка, мертвое, опустѣлое сердце показываетъ признаки жизни и хочетъ любви чистой, любви энергической, для которой нѣтъ борьбы и нѣтъ жертвы. Пестрыя стекла и дымъ куреній опутываютъ его мечтами и обращаютъ въ Jenseits то, что должно быть вѣчнымъ содержаніемъ этой жизни; но сознаніе однажды-пробужденное не спитъ и наслаждается отчетомъ въ этой мечтѣ: душа вновь надѣется воскресенія и получаетъ бодрость. Другія церкви по моему не заслуживаютъ особеннаго вниманія. Соборъ отличается отъ другихъ внутреннимъ устройствомъ; надъ алтаремъ нѣтъ никакихъ цацокъ, а простая стѣна, обитая кажется бархатомъ двухъ цвѣтовъ, въ нѣсколько полосъ. Органъ хорошъ. Статуи въ католическихъ церквахъ невыносимы. Въ Іезуитской, напримѣръ, стоитъ при входѣ распятіе: Христосъ окровавленъ, и въ ноги ему вбитъ преогромный гвоздище.

Сегодня въ дилижансъ и Прагу. Меня безпокоитъ положеніе Д...я — былъ совсѣмъ сумасшедшимъ въ деревнѣ... Теперь я въ нерѣшимости, однако избѣгаю фланировки и буду ждать писемъ въ Карлсбадѣ. — Какая-то мистическая книга толкуетъ о зимѣ души: я въ этомъ положеніи; но оно кажется и нужно для истребленія фантастическихъ интересовъ. Мнѣ становится все легче. Я пишу изъ гостинницы подъ Чернымъ Орломъ. У меня опрятная комнатка, и какой-то сосѣдъ играетъ на кларнетѣ. Сегодня уѣхалъ въ Прагу

дорогъ. Теперь я уже не буду брать незнакомыхъ товарищей: онъ предобрый малый, но воплощенное невѣжество. Дорога отъ Кракова была прекрасна. Особенно наслаждался я ею первый день, въ ясную погоду. За Издебникомъ, около города Кальваръ, идутъ высокія горы; на одной изъ нихъ, самой пустынной, стоитъ развалина замка; съ разныхъ сторонъ она дѣлаетъ разное впечатлѣніе, но всего интереснѣе было видѣть ее вмѣстѣ съ Кальваромъ, городкомъ, расположеннымъ на полугорѣ между лѣсовъ и окруженнымъ деревушками — чудо какъ хорошо!

Еще два слова прежде, нежели разстанусь съ Ольмюцомъ. Хозяйка нашей гостинницы, женщина лѣтъ 30-ти съ небольшимъ, худощавая брюнетка, съ лицомъ вовсе неправильнымъ, но пріятнымъ, пріобрѣла мое особенное расположеніе. Можетъ-быть, я, какъ Василій Ивановичъ (Гоголя), скоро составляю понятіе о людяхъ; но мнѣ кажется она типомъ тѣхъ нѣмецкихъ женщинъ простаго класса, которыя проводятъ жизнь свою между кухнею, пасторомъ и фортепьяно. Я нашелъ у ней музыку Шуберта, подивился нѣкоторымъ ея сужденіямъ и препріятно провелъ съ нею два обѣда. Третій нашъ пріятель былъ здѣшній кригопродавецъ, нѣмецкій старичекъ, котораго голова ушла въ плечи и который бесѣдовалъ со мною о предметахъ серіозныхъ и о славѣ Россіи.

III.

Прага. Zum grünen Ochsen, 12/24 сентября.

Вчера, часовъ въ 8, прибыли мы въ Прагу. Это было одно изъ самыхъ скучныхъ путешествій, потому

что вопервыхъ ѣхали въ закрытомъ эйльвагенѣ, вовторыхъ непріятная была погода, втретьихъ не совсѣмъ пріятные спутники. Дождь, продолжавшійся вчера цѣлый день, не далъ видѣть мнѣ ничего, кромѣ Шафарика и оперы Мейербера: «Крестоносецъ въ Египтѣ». Сегодня утромъ расположился я всё осмотрѣть; но какъ былъ въ дурномъ расположеніи, то мало сдѣлалъ.

Прага — старинный городъ, который постоянно украшается новыми работами. Я не могъ насладиться тѣмъ, что̀ въ ней всего интереснѣе, — ея мѣстоположеніемъ. Вчера дождь, сегодня холодъ и какая-то непріятная сырость въ воздухѣ. Воображаю, какъ хороши должны быть Kleinseite и Hradschin съ мосту весеннимъ вечеромъ, когда вокругъ статуи Маріи поютъ гимны на большой площади. Видъ съ той стороны Молдавы на Altstadt и Neustadt и рощу — чудесный. Въ церкви св. Томаса я долго искалъ Рубенсовой картины и остановился на одной — вѣрно это она: св. Августинъ наклонился надъ ребенкомъ. Она виситъ высоко, и я даже въ лорнетъ не могъ разсмотрѣть лицо старика.

За то картина Гемлинга, стариннаго нѣмецкаго живописца, въ церкви св. Вейта, мнѣ особенно понравилась: это встрѣча Елисаветы и Маріи. Елисавета, нѣмецкая старушка, съ радушною улыбкой, обнимаетъ Богородицу, которая отвертываетъ лицо и потупляетъ глаза. Черты совершенно нѣмецкія, что̀ сначала кажется страннымъ, но потомъ эта простота и незатѣйливость живописца нравятся. Онъ представилъ главное лицо по своимъ понятіямъ: это нѣмецкая дѣвушка, чистая душою, робкая, но съ полнымъ выраженіемъ

дверей и держитъ въ рукахъ красную шапку: вѣрно добрый художникъ хотѣлъ изобразить Іосифа; — а какая-то посторонняя женщина, баба съ самою забавною фигурой, зѣвака, прислонилась къ стѣнѣ спиною и держитъ куръ на рукахъ. — Убіеніе св. Владислава Кропаха, безъ перспективы — ничего мнѣ особеннаго не показало, какъ ни старался я найдти что-нибудь. Но картина затерта и подновлена. Знаменитый гробъ св. Непомука принадлежитъ къ числу тѣхъ вещей, при видѣ которыхъ должно говорить: «скажите, какъ? 36 центнеровъ серебра? ахъ, скажите какъ!» Работы я цѣнить не въ состояніи. Впрочемъ посмотрю еще; я былъ по извѣстнымъ обстоятельствамъ въ сухомъ расположеніи. Вообще интересно видѣть нѣмецкія картины: ихъ сейчасъ можно узнать. Хотѣлъ бы я знать, почему итальянскія картины имѣютъ чисто-человѣческія физіономіи? Слѣдствіе ли это многосторонности и отрѣшенности итальянскихъ художниковъ, или итальянская физіономія подходитъ ближе къ нормѣ?

Говорятъ, прусскій король, увидавъ картину Гемлинга, сказалъ, что здѣсь его Луиза написана похожѣе, нежели въ Берлинѣ: онъ нашелъ здѣсь чрезвычайное сходство съ его женою. Образовъ надъ алтаремъ не могъ хорошенько разсмотрѣть: средній, представляющій Луку, который списываетъ ликъ Богоматери, въ нѣмецкомъ вкусѣ и, кажется, хорошъ. Іоаннъ на Патмосѣ что-то въ дикой позиціи. — Мученіе св. Вейта почти не видалъ; но помню что-то благородное въ его лицѣ.

Шаффарикъ совсѣмъ не таковъ, какимъ я его себѣ представлялъ. Онъ среднихъ лѣтъ, высокаго роста, имѣетъ довольно умное лицо, сколько могъ я разсмотрѣть въ потемкахъ, простъ и обходителенъ. У

него засталъ я Чалоковскаго, славянскаго поэта, у котораго Шаффарикъ находитъ много таланта, но жалуется, что мало пишетъ, посвятивъ себя изученію славянскихъ языковъ. Видѣлъ и нашего русскаго Кастор—го, который посланъ изъ Петербурга учиться славянскимъ языкамъ. — Шаффарикъ и Чалоковскій говорятъ, что безъ славянскаго языка нѣмецкіе лингвисты не уйдутъ далеко. Это, вѣроятно, правда. Они однакожь въ претензіи, что у насъ поставлено студентамъ обязанностью знать нѣмецкій языкъ! Говорятъ, что полезнѣе было бы, еслибы Нѣмцы учились по-русски.

III.

Прага. $^{12}/_{24}$ *сентября.*

Вчера былъ у меня К—ій. Онъ посланъ не для славянскихъ языковъ, а для исторіи, и жилъ въ Берлинѣ, но узнавши, что ему для связи въ историческомъ отношеніи необходимо знаніе славянскаго языка, отправился въ Прагу. Отъ Мадонны онъ безъ ума. Сейчасъ пойду еще таскаться по Прагѣ. Чего хлопочутъ люди о народности? Надобно стремиться къ человѣческому, свое будетъ по неволѣ. На всякомъ искреннемъ и непроизвольномъ актѣ духа невольно отпечатывается свое, и чѣмъ ближе это свое къ общему, тѣмъ лучше. Гемлингъ вѣрно не хотѣлъ написать Нѣмку, но его лицо по неволѣ вышло такъ, хотя на немъ и святое выраженіе; а эта индивидуальность и составляетъ красоту. Это все равно, еслибы я, замѣтивши, что у многихъ людей, являющихся въ обществѣ, есть свои особенныя манеры, старался бы непремѣнно сдѣлаться оригинальнымъ въ

дѣдовскимъ манерамъ. Кто имѣетъ свой характеръ, тотъ отпечатываетъ его на всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ; создать характеръ, воспитать себя — можно только человѣческими началами. Выдумывать или сочинять характеръ народа изъ его старыхъ обычаевъ, старыхъ дѣйствій, значитъ хотѣть предлить для него время дѣтства: давайте ему общее человѣческое и смотрите, что̀ онъ способенъ принять, чего не достаетъ ему? Вотъ это угадайте, а поддерживать старое натяжками, квасным патріотизмомъ — это никуда не годится.

IV.

Прага. $^{14}/_{26}$ *сентября.*

Эти дни придется вычеркнуть изъ жизни, какъ и весь почти 1837 годъ. Вчера одолѣла сухость и планировка до бѣды. Видѣлъ дворецъ Валленштейна, и прежде всего мнѣ представился не историческій Валленштейнъ, а Валленштейнъ Шиллера.

Я объявилъ швейцару, что хочу видѣть дворецъ; швейцаръ доложилъ ключницѣ, и она повела меня черезъ дворъ въ купальню Валленштейна. Въ нижнемъ этажѣ вдѣланъ гротъ изъ темносѣраго камня (не знаю, какъ называется этотъ камень), по срединѣ столъ, въ сторонѣ купальня, въ которую вода лилась съ верху, и ходъ въ первый этажъ. Потомъ *sala terrena*, въ которой, съ одной стороны, колонны замѣняютъ стѣну и отдѣляютъ комнату отъ сада, или, лучше сказать, соединяютъ съ садомъ. На стѣнахъ и потолкѣ старинная живопись. Нѣсколько миѳологическихъ фигуръ, изъ которыхъ я помню Тритона и еще что-то въ этомъ родѣ. Въ симметрію купальнѣ, есть комната,

въ которой показываютъ портреты Валленштейна и второй жены его; еще набитое чучело лошади, на которой ѣздилъ онъ въ Люценскомъ сраженіи. Я старался подмѣтить особенную черту въ его физіономіи, эту черту, которая бы сказала мнѣ, что передо мною тотъ Валленштейнъ, который принималъ милость императора на условіяхъ и собиралъ войско своимъ именемъ; но нѣтъ, или я еще не понялъ Валленштейна, слишкомъ придалъ ему самостоятельности, или художникъ видѣлъ только его носъ, глаза и проч.; да и портретъ показался мнѣ слишкомъ новъ. Герцогиня Фридланская, точно какъ я ее представлялъ, худощавая, добрая, слабая мать Теклы, хоть и здѣсь какая-то безхарактерность въ физіономіи, вѣроятно — удѣлъ писавшаго художника. Впрочемъ ея портретъ больше похожъ на старинный. А добрый конь стоитъ набитый какою-то дрянью и не поражаетъ нисколько своимъ видомъ; худшая лошадь у насъ въ Удеревкѣ стóитъ этой (впрочемъ въ чучелѣ все скверно), а между тѣмъ фантазія играетъ и надъ этой лошадью. Въ саду остался неизмѣненнымъ одинъ гротъ изъ того же сѣраго камня; въ немъ живутъ голуби. — Стѣна этого грота идетъ на половину сада и дѣлаетъ прекрасный видъ. Максъ и Текла мелькнули передо мною; но я сталъ себя разочаровывать, старался представить себѣ въ этихъ мѣстахъ сильныхъ, грубыхъ людей, которые опирались во всю жизнь свою на самихъ себя и уповали только на помощь руки своей. Залы нельзя было видѣть; но графъ Вальдштейнъ (потомокъ того чудака) уѣхалъ и я вошелъ въ нее. Зала въ длину не больше нашей Удеревской, но уже; по простѣнкамъ подъ по-

еще живѣе представился мнѣ старый герцогъ, который, съ своею свитою, пировалъ по-царски въ Прагѣ, и всё ждалъ времени, когда императоръ пришлетъ къ нему просить о помощи. Оттуда пошли мы въ часовню, и мои киммерійскіе слѣды напечатлѣлись на томъ коврѣ, гдѣ Фридландскій преклонялъ свои колѣна. Ключница показала мнѣ кресло «покойника»; кажется, оно вновь обито: не возможно, чтобы въ продолженіе 200 лѣтъ шелковая матерія могла такъ сохраниться, да и узоръ знакомъ, новъ. Не знаю, когда открыто по бумагамъ, что Валленштейнъ не такъ далеко зашелъ въ сношеніяхъ со Шведами, и по этому случаю императоръ возвратилъ наслѣдникамъ часть конфискованныхъ владѣній.

Вчера видѣлъ богемскихъ литераторовъ у Полацкаго. Добрые, усердные, ревностные люди. Нельзя не тронуться, когда всѣ они хоромъ вторятъ какому-нибудь припѣву въ богемской пѣснѣ. Особенно, когда поютъ старики, слезы навертываются на глазахъ. Но все-таки жаль ихъ... Языкъ утвердится тогда, когда утвердится человѣческое образованіе, а оно утверждается идеями, не энциклопедическимъ лексикономъ, который они хотятъ издавить, — хоть и это дѣло полезное.

Между портретами императоровъ въ Königl. Burg замѣчателенъ портретъ Карла V: умное человѣческое лицо, худощавъ; прекрасные голубые глаза; но что-то безпокойное, безумное, проходитъ по этимъ чертамъ — онъ странно подалъ нижнію челюсть впередъ.

Тутъ и Фердинадъ II; не знаю, не воображеніе ли мое отыскиваетъ особенности во всѣхъ этихъ физіономіяхъ, но мнѣ показалось въ его лицѣ что-то

steifes, какая-то упорность, но неидіотская, — напротивъ, въ этихъ чертахъ виденъ и умъ.

Марія Терезія — не хороша собою. Еще Мартиничъ или Славата — одного какого-то изъ нихъ помню — чинное лицо, съ выраженіемъ совершенно бюргерскимъ. Матѳій и старые богемскіе короли похожи на дикарей.

Въ одной изъ комнатъ есть портретъ покойнаго императора Франца, снятый съ него въ дѣтствѣ: маленькій, полненькій ребенокъ; съ старымъ нѣтъ никакого сходства. Тутъ же портретъ Маріи Антуанеты — милое лицо, совсѣмъ впрочемъ неправильное. Еслибы оно заговорило, кажется, все въ ней должно принять особое выраженіе. Есть такія лица, которыя особенно прекрасны въ движеніи и кажутся обыкновенными въ состояніи покоя. Я нахожу здѣсь нѣсколько чертъ, которыя хотятъ зашевелиться...

Людовикъ XVI здѣсь молодъ, тоненькій, — не таковъ, какимъ я его видѣлъ на другихъ портретахъ, гдѣ онъ представленъ уже въ пожилыхъ лѣтахъ и довольно толстъ.

Видѣлъ залу коронованія, залу, гдѣ сбираются штаты, видѣлъ и комнату, откуда Богемцы выбросили Мартинича и Славату.

Пименову пришло въ голову написать картину. Не знаю, исполнитъ-ли онъ это? Изъ комнаты видъ чудесный, высота тоже порядочная. Мартиничъ и Славата были погребены впослѣдствіи на мѣстѣ ихъ паденія и надъ ними поставлены небольшіе обелиски съ крестами. Спасеніе ихъ приписываютъ чуду. Говорятъ, они упали на кипы бумагъ, выкинутыя народомъ за окошко. Картина въ самомъ дѣлѣ была бы хороша.

летящихъ изъ оконъ — было бы не выгодно: выйдутъ фигуры en raccourcie и пропадетъ Прага. Представить внутренность комнаты, какъ думаетъ, кажется, и Пименовъ, лучше. Тутъ можно представить народъ въ интересномъ положеніи, а въ окно видна будетъ панорама Праги очаровательная; но совѣтники едва будутъ видны. Наконецъ представить въ бокъ дворецъ съ народомъ внутри, совѣтниковъ, лѣтящихъ въ окошко, а съ другой стороны Молдаву и Altstadt — это тоже интересно.

Не далеко отъ дворца — башня бургграфа Далиборки. Ужасно подумать, до чего можетъ дойдти безчеловѣчіе человѣка. Сюда сажали, не знаю, преступниковъ или враговъ Далиборки; ставили заключеннаго противъ окна, распинали ему руки и заковывали въ углубленія по обѣ стороны окошка; между тѣмъ какъ тотъ стоялъ въ такомъ положеніи, Далиборка игралъ на лютнѣ. У входа виситъ его гравированный портретъ: молодецъ играетъ на лютнѣ. На полу отверстіе; туда проводникъ бросилъ пукъ зажженной соломы и мы увидѣли пещеру; тутъ же два отверстія въ такую же пропасть — еще глубже. Туда спускали несчастныхъ на голодную смерть. Входа и выхода нѣтъ; входъ одинъ на веревкѣ.

Переписка съ Я. М. Н—ъ.

1.

Карлсбадъ. $^{10}/_{22}$ сентября.

Любезный Януарій! Ты ужъ думалъ, что я и не доѣду до Карлсбада? Доѣхалъ на зло тебѣ. Ты думаешь, что я, какъ дуракъ, отсюда прямо шмыгъ въ Италію? —

Какъ бы не такъ! Я зду зимовать въ Берлинъ: тамъ-то будетъ вашему брату гонка! Вы съ Гр—мъ думаете, что вы умные люди, потому что стоите въ Friedrichstrasse... да мнѣ что̀ за надобность! Знаю я ваши шашни... дайте мнѣ пріѣхать въ Берлинъ, я васъ отпотчую... Всѣ новости о тебѣ и Гр. сообщены мнѣ отчасти К—скимъ, съ которымъ я познакомился — и очень хорошо — у Шаффарика, отчасти Пим—мъ, Зав—мъ и Н—вымъ, которыхъ имена я отыскалъ въ Прагской Газетѣ и которыхъ навѣстилъ на другой же день. Мы съ ними цѣлый день осматривали древности и достопримѣчательности Праги.

Что̀ тебѣ говорить о моихъ впечатлѣніяхъ? Немногое, что̀ стоило вниманія, ты прочтешь въ моемъ безтолковомъ журналѣ. Сначала мнѣ казалось, что я въ другомъ мірѣ, что здѣсь и птицы не такъ летаютъ и собаки лаютъ иначе, но скоро привыкъ и безъ дѣла соскучилъ. Особенно надоѣли мнѣ Жиды въ Галиціи и запахъ, который они распространяютъ по улицамъ. Ольмюцъ былъ первый чистенькій городъ, который я увидалъ; Прага — первый примѣчательный своими красотами. Лембергъ и Краковъ не очень мнѣ понравились, кромѣ окрестностей послѣдняго, очаровательныхъ окрестностей! Сегодня только пріѣхалъ я въ Карлсбадъ; къ началу семестра непремѣнно постараюсь явиться въ Берлинъ.

Мѣстоположеніе Карлсбада очень живописно. Онъ лежитъ въ ущельи, — и горы, покрытыя лѣсомъ, возвышаются надъ нимъ въ самыхъ разнообразныхъ положеніяхъ. Мое здоровье очень поправилось, но душа не свободна: веселость и грусть, все во мнѣ глупо; я самъ этому причиною и надѣюсь скоро исправиться.

* * *

Ты еще ничего не знаешь о моемъ тяжеломъ положеніи, но, можетъ-быть, догадываешься... Ты будешь жалѣть меня больше, нежели осуждать: такъ устроена твоя натура. Но я знаю цѣну своимъ поступкамъ и твоя доброта и дружба не обманутъ меня.

Мнѣ ужасно хочется къ вамъ. Поговорю завтра съ докторомъ и напишу что-нибудь рѣшительнѣе...

3.

17/29 сентября.

Прескверно спалъ ночь — чортъ-знаетъ отчего. Обыкновенно я сплю какъ убитый. Я много поправился послѣ моей болѣзни нынѣшнею весною; Пим—ъ признаетъ это — ему особенно должно вѣрить какъ скульптору: онъ кости и мускулы видитъ лучше всего. Мнѣ съ этими гг. художниками очень пріятно было таскаться по Прагѣ. Всѣмъ статуямъ, картинамъ — приговоръ въ одну минуту; нашъ братъ не всегда довѣряетъ себѣ — по мнѣ пріятно было, что наши мысли всегда почти были согласны, разумѣется, кромѣ тѣхъ случаевъ, гдѣ они останавливались передъ иными незначительными картинами и хвалили ихъ отдѣлку, а я проходилъ мимо съ тошнотою въ сердцѣ.

Мнѣ кажется, они отдаютъ мало справедливости нѣмецкимъ старинпымъ живописцамъ; но, можетъ-быть, они и правы. Меня увлекло одно въ нѣмецкихъ картинахъ: эта добросовѣстность, простодушіе, съ какимъ они изображаютъ евангельскія лица, придавая имъ совершенно нѣмецкій характеръ. Въ одной картинѣ Ганса Гемлинга главное лицо — премилая, застѣн-

чивая Нѣмочка съ самою святою душой. Конечно, достоинство безотносительное здѣсь невелико.

Сейчасъ былъ у доктора: онъ присовѣтовалъ мнѣ остаться здѣсь на одинъ мѣсяцъ, въ случаѣ хорошей погоды. Я думаю, больше трехъ недѣль тутъ нечего дѣлать. Пойду искать нанять фортепьяно.

Мой адресъ: in Carlsbad, im Gasthause zum Paradiese, № 22. Эта цифра должна имѣть какое-нибудь мистическое значеніе. Фридрихъ Шлегель навѣрно задумался бы надъ этимъ. Вы также стоите въ 22 №. Такой разсчетъ дѣлаетъ онъ при разсужденіи о томъ, какъ патріархи могли жить такъ долго.

2.

20 сентября.
2 октября.

Вотъ ужь нѣсколько дней живу я въ Карлсбадѣ, началъ пить воды и началъ немножко скучать — не съ кѣмъ молвить слова: молчать цѣлый день право непріятно... Вчера занимался я въ Lesesaal и пресеріозно читаю Journal des Débats и Gazette de France: хозяинъ думалъ, что я охотникъ до политики, и, отъ всей души принимая участіе въ моемъ положеніи, тотъ же часъ далъ мнѣ два номера Débats на домъ, говоря: ohne Politik zu lesen ist man doch todt, — но я умираю отъ скуки, читая бо́льшую часть этихъ политическихъ толковъ. Меня занимаетъ отчасти романъ Тика: «Tischlermeister», который я читаю въ свободные часы, больше по вечерамъ, — потому что днемъ должно ходить. Нанялъ фортепьяно и завтра стану

дака. Все это хорошо, но не имѣть человѣка, съ которымъ бы можно было поговорить, особенно въ теперешнемъ моемъ непріятномъ нравственномъ положеніи, — это скучно. Счастье, что я здѣсь пробуду не долѣе трехъ недѣль — къ вамъ, голубчики! Пожалуйста, берегитесь только вы холеры! Театръ здѣсь гадость! А то все-таки было бы утѣшеніе — и всё играютъ слезныя драмы и трагедіи. Главная героиня имѣетъ порядочныя черты лица, но толста и неповоротлива: видно, что она должна быть глупа до крайности. Сегодня жь на бѣду еще пошелъ страшный дождь.

Меня безпокоитъ ваше осадное положеніе. Почти половина заболѣвшихъ холерою въ Берлинѣ умираетъ: значитъ, что проклятая не сбирается еще ослабѣть. А въ Россіи объ ней и не думали, когда я поѣхалъ; мы даже не знали, что она тѣшилась въ Варшавѣ и посѣщаетъ наши польскія губерніи. Въ Ломбардіи тоже, говорятъ, она открылась; въ Бреславлѣ — недалеко отсюда. Есть надежда, что она будетъ и въ Дрезденѣ. Въ Берлинѣ будетъ безопаснѣе всего, когда она уймется. Впрочемъ, я какъ нарочно гонялся за нею въ Россіи: не взяла тамъ, и здѣсь не возьметъ. Я боюсь только, чтобы вы съ Гр. не попались какъ-нибудь ей въ когти.

4.

24 сентября.
6 октября.

Я всё поджидалъ письма отъ тебя; но, кажется, еще рано. Хотѣлось бы написать тебѣ еще что-нибудь поинтереснѣе и о себѣ, и о Карлсбадѣ; но ни въ томъ,

ни въ другомъ отношеніи не замѣчаю ничего новаго. До сихъ поръ еще не успѣлъ я осмотрѣть окрестностей города, но мѣстоположеніе его очень занимательно — для больныхъ оно непремѣнно должно быть таково. Есть что-то успокоивающее, мирное, есть что-то веселящее, что-то манитъ надеждою, и всё это дѣйствуетъ даже на меня, при моемъ непріятномъ состояніи, безпокойствѣ, внутреннемъ раздорѣ; слѣдовательно, на порядочнаго человѣка еще болѣе подѣйствуетъ. Я думалъ, что я ужь навсегда простился съ Schönseeligkeit, съ проклятымъ фантастическимъ направленіемъ души, которое портитъ ее въ основаніи, — но ошибся: у меня родилась какая-то болѣзненная привязанность къ Германіи — я представляю себѣ, какъ я ворочусь домой, какъ она мнѣ будетъ сниться, и мнѣ хочется плакать въ такомъ случаѣ; а между тѣмъ я не помню ни одного могучаго чувства, ни одного сильнаго душевнаго наслажденія, которое могло бы освятить для меня память этихъ мѣстъ. Но я много надѣялся на Германію, въ ней ожидалъ я — и еще ожидаю — душевнаго возрожденія; кромѣ того, мечты дѣтства, старые рыцарскіе романы, новыя фантастическія повѣсти — все это сдѣлало для насъ Германію привлекательною; — да и природа хороша, и слѣды цивилизаціи, встрѣчаемыя на каждомъ шагу, въ самыхъ мелкихъ подобностяхъ жизни, привлекательны. Они особенно замѣтны для меня потому, что я упалъ нѣсколько духомъ, и потому болѣе могу обращать вниманіе на нѣкоторые житейскіе пустяки, иногда придавать даже имъ бо̀льшую цѣну par dépit — потому что у насъ этого нѣтъ! А на *насъ* я за то̀ сердитъ,

пости. Это все болѣзненное состояніе. Въ лучшія минуты я свѣтло смотрю на горы, на живописное положеніе Карлсбада, надѣюсь въ Берлинѣ вполнѣ возвратить свое сознаніе и, воротившись въ Россію, наслаждаться честнымъ трудомъ.

Я пью воды ужь недѣлю. Сегодня первый день мнѣ хорошо, а то̀ все чувствовалъ волненіе крови и головокруже іе — эти припадки, говорятъ, обыкновенны у начинающихъ лѣчиться. Я взялъ было одного музыканта, но завтра ему отказываю: и учить не мастеръ, и серіозное упражненіе мнѣ теперь не годится — тотчасъ голова кружится.

Я думаю 20-го сентября н. с. оставить Карлсбадъ, чтобъ поспѣшить въ Берлинъ къ началу курса. Поцалуй ручку у Гр. и погладь его по головкѣ за то, что онъ занимается дѣломъ и начинаетъ признавать достоинство Егора Ѳедоровича Гегелева. Постой-ка, дай-ка мнѣ пріѣхать — мы заживемъ.

Я прочелъ романъ Тика: «Der junge Tischlermeister». Онъ меня очень занималъ; въ немъ много интереснаго, смѣшнаго, справедливаго, хотя все это большею частью Schönseeligkeit — и здоровому чувству непріятно. Но заблужденія людскія очень естественно представлены и въ главной мысли есть вѣрная сторона. Теперь взялъ читать итальянскій романъ: «Luisa Strozzi», соч. Россини. Въ деревнѣ я прочелъ: «I promessi sposi», Манцони — они мнѣ очень понравились.

5.

8 октября нов. ст.

Громъ, буря и молнія! Potz tausend! Gott! Donnerwetter! Ich komme von Drei-Kreuz-Berge und mein

Stubenmädchen mit einem himmlischen Lächeln bringt mir einen Brief — изъ Берлина! Potz Stern! — Вы живы, а я ужь серіозно начиналъ задумываться. Сегодня банкиръ сказалъ мнѣ, что изъ 100 холерныхъ 10 не спасаются въ Берлинѣ; но я вамъ вѣрю, что вы живы и здоровы... Прощайте пока! Только-что пообѣдалъ, сидѣть не здорово, запрещено, иду стрѣлять изъ пистолета, потомъ къ доктору. А что̀ за окрестности Карлсбада! Сегодня только увидалъ ихъ съ высоты Kreuz-Berge — внизу Карлсбадъ, вокругъ его горы, частью поросшія кустарникомъ, частью покрытыя нивами, одна другой выше; подальше рѣка течетъ по ущелью; направо небольшая долина, вся въ нивахъ, на ней изрѣдка разбросаны домики — чудо! Тишина, осенній фантастическій воздухъ, вдали кричатъ гуси — прелесть! Я давно такъ не наслаждался. Себя я чувствую очень хорошо. Почти ничего не ѣмъ и пью усердно воду.

Скверно стрѣлялъ — сѣрый день — цѣли не вижу. У доктора еще не былъ; надобно сначала напиться кофе. — Разумѣется, скорѣй нанимай ту квартиру, которую тебѣ заблагоразсудится. А стоять съ вами мнѣ всего лучше; только если вы играете въ карты по вечерамъ, то мнѣ нужна особая комната, ибо я ложусь не позже 10 часовъ, и притомъ каждая карта есть винновый тузъ для моего сердца — душа не терпитъ самой невинной игры. Но это только предосторожность: вѣрно вы не такъ нечестивы.

Я ѣду одинъ. Я не боюсь холеры, но возьму осторожность выждать; а то̀ придется умереть, такъ наши станутъ разсуждать: зачѣмъ поѣхалъ за границу, зачѣмъ въ Берлинъ и проч., и мнѣ въ гробѣ тошно

будетъ. Серіозно, я остерегаюсь каждый разъ, когда вспомню про отца: онъ меня такъ любитъ, что надобно беречь себя. Ты его еще не знаешь: послѣдній случай, въ которомъ ты его видѣлъ, можетъ-быть, не могъ внушить тебѣ настоящаго понятія объ немъ; но каждое его слово было слѣдствіемъ горячаго участія въ судьбѣ моей, и слѣдствіемъ многихъ, вѣрныхъ понятій — въ ту минуту и я не могъ оцѣнить этого... но мы еще поговоримъ. Я радъ, что есть кому бранить меня; но ты слишкомъ снисходителенъ, и это меня бѣситъ. А какъ славно намъ будетъ жить, какое веселое тріо!

Шò за пріятная отцея Германыя! Сейчасъ встрѣтились мнѣ три дѣвочки, лѣтъ по 13; онѣ, вѣроятно, сговорились пошутить и вдругъ всѣ три въ одинъ голосъ мнѣ: guten Abend! какъ солдаты кричатъ: здравія желаемъ, ваше благородіе! А одѣты порядочно, въ шляпкахъ — какія-нибудь пансіонерки.

Отцы мои! Не поскупитесь, пришлите мнѣ программу лекцій. Гр. долженъ хлопотать, чтобы мнѣ дозволили посѣщать лекціи. К—ій что-то говорилъ мнѣ про матрикулованье, что что-то можно, что что-то нельзя; я помню только заключеніе: «Гр—ій всё сдѣлаетъ», и это заключеніе мнѣ особенно понравилось. Я между тѣмъ буду фантазировать надъ программою.

Я по сю пору не видѣлъ еще порядочно Карлсбада: гулянье на Drei-Kreuz-Berg случилось нечаянно, но доставило мнѣ много удовольствія. Хочется поѣхать въ Егеръ — посмотрѣть комнату, гдѣ убитъ Валленштейнъ; я люблю эту эпоху и кажется — за трагедіи Шиллера. Прощайте, до завтра!

6.

9 октября н. ст.

Дражайшій! я великій оселъ, у меня ослиная привычка таскаться по горамъ, — это для меня величайшее блаженство; ты поймешь это, потому что и ты этой же породы! Но... увы! каждый разъ награждаюсь я приливомъ крови къ груди, что́ и теперь воспослѣдовало, но въ самой легкой степени. Отъ этого я поздно заснулъ и спалъ не хорошо и теперь еще грудь не свободна. Это пройдетъ: я знаю ужь всѣ нужныя средства.

7.

11 октября н. ст.

Никакъ не дождусь 20-го октября; не знаю, какъ добить это время.

Мы съ тобою давно не были на просторѣ, давно не бесѣдовали свободно, въ вольной сферѣ; съ годами въ нашихъ понятіяхъ сдѣлалось много переворотовъ, которыхъ мы не успѣли сообщить другъ-другу, запутанные глупыми житейскими обстоятельствами. Теперь настаетъ для насъ пора независимой жизни, жизни смирной, посвященной наукѣ; отрадный періодъ студентства, можетъ-быть, повторится sur une plus grande échelle — мы будемъ имѣть время открыться другъ-другу вполнѣ, обновить другъ-друга, и я начинаю этотъ періодъ.

Было время, — время мистицизма въ моей жизни, когда, по преданію, по недостойной любви къ пошлому миру и спокойствію, я считалъ всё дѣломъ оконча-

Я отрекаюсь отъ этихъ идей. Если въ отношеніяхъ между людьми есть ошибка, то она должна быть исправлена. Если человѣкъ долженъ страданіемъ искупить свою ошибку, то онъ не долженъ сдѣлаться животнымъ.

Януарій! Мы опытны, даже скверно-опытны. Мы слишкомъ хорошо узнали скверную сторону жизни, можетъ-быть, многое утратили съ этой опытностью — утратили святое негодованіе, спутника любви. Мы видѣли поклоненіе чувственности — и въ гадкомъ видѣ. Не знаю, какъ для тебя — для меня это страшно...

Что̀, еслибы тебѣ пришлось связать судьбу свою съ пошлымъ существомъ? У тебя высокія идеи о жизни, святыя понятія о любви — и что жь? — Ты живешь съ животнымъ, которое потомъ назовешь матерью дѣтей своихъ? И чему ты научишь дѣтей? Какъ станешь имъ говорить о любви, которая есть вѣнецъ жизни?

Если же она достойная женщина — бѣда, если нѣтъ любви. Ты профанируешь ее и себя — вы оба унижаетесь до животныхъ.

Нѣтъ, мой Януарій! Человѣкъ есть житель земли, не чуждый физическихъ потребностей; но онъ же есть и послѣднее, высшее звено въ цѣпи созданія.

Его сфера — духъ, и все физически-натуральное въ немъ должно быть согласно съ духомъ. То, что̀ въ животныхъ есть слѣпое побужденіе, внѣшняя необходимость, — въ немъ должно быть разумнымъ, духовнымъ стремленіемъ, необходимостью внутреннею. Отчего такъ скучно, гадко бываетъ послѣ всякаго только физическаго удовольствія? Оттого, что оно въ противорѣчіи съ основою моей жизни, съ духомъ. Если я

люблю женщину всю, какъ она есть, съ ея понятіями, чувствами, наружнымъ образомъ — я весь соединяюсь съ ней, — я не профанирую ее, нѣтъ! меня влечетъ къ ней совокупная жажда природы и духа; я узнаю въ ней себя; я въ союзѣ съ ней торжествую свое соединеніе съ цѣлымъ созданіемъ; я прохожу всѣ ея степени. Я не дѣлаюсь животнымъ; я освящаю то, что̀ было во мнѣ животнаго, и даю ему смыслъ. Не любишь женщину — откажись: страданіе самое ужасное лучше этой жизни, потому что въ страданіи можетъ быть святость, а въ принужденныхъ сношеніяхъ грѣхъ и противорѣчіе.

Это для мужчины; но представь женщину, которая не могла получить снисхожденія къ гадостямъ, которой душа оставалась неприкосновенна пороку...

Вдругъ этой женщинѣ открываются глаза: не должна ли она ужаснуться своего положенія? не должна ли она бѣжать отъ этого ложа, на которомъ уничтожается ея человѣчество? Аминь, Януарій!...

Пусть она останется отшельницей въ жизни, или если будетъ любить, никогда не соединится съ предметомъ любви своей; но она спасетъ свое человѣчество. Если жизнь не полна, если наслажденіе бѣгло и не прочно, значитъ: мы не такъ живемъ. Въ самомъ ужасномъ страданіи духа должна быть полнота и сила, должно быть сознаніе, что онъ вѣренъ себѣ. Напрасно сбившійся съ толку ищетъ забыться: онъ помнитъ, что онъ только забывается...

Сейчасъ возвратились мы изъ путешествія въ Зедлицъ — трактиръ и садъ — версты двѣ отъ города. Общество составляли: пріятель мой золотыхъ дѣлъ

какой-то почтенный мужъ, вѣроятно, ремесленникъ изъ Бреславля, и я, названный *польскимъ дворяниномъ* въ Bade-Liste (не знаю, что за идея? вѣрно ихъ сбила моя фамилія). Этого рода путешествія довольно пріятны, особенно возвращеніе вечеромъ, когда на долину ложится легкій туманъ, горы синѣютъ и луна всходитъ. Чортъ возьми! Не удастся ли намъ съ тобою постранствовать въ будущемъ году по Саксонской Швейцаріи? Прощай, мой ангелъ! Боюсь много писать: грудь моя не совсѣмъ поправилась. Поцалуй Гр—го.

*.

16 октября.

Вчера еще нанялъ я фурмана до Тёплица, чтобы сегодня выѣхать, но...

Бѣдствія не идутъ,
Какъ соглядатаи, по одиночкѣ,
Но цѣлою толпой!

Или какъ говоритъ тотъ же писатель господинъ Шекспиръ:

За горемъ горе мчится по пятамъ!

Передъ отъѣздомъ, я вздумалъ покупаться, распотѣлъ и легъ спать; по утру — къ обѣднѣ. Передъ обѣдней, отправился во 2-й этажъ полюбезничать съ штубенмедхенъ и, какъ офицеръ Пироговъ, сталъ вальсировать съ нею. Подъ вліяніемъ этихъ обстоятельствъ иду въ церковь, не защитивъ грѣшнаго тѣла своего ничѣмъ, кромѣ сертука, сшитаго въ Москвѣ Занфтлебеномъ. Вѣтеръ холодный. — Вѣдь простужусь, думаю,

а самъ все иду. Вотъ простужусь! ужь простуживаюсь! Изъ церкви домой — шея болитъ. Ну бѣда! такъ я въ Москвѣ начиналось! Давай чаю, — ну да ничего!...

А рокъ его подстерегалъ!

Послѣ обѣда надобно идти въ Schützhaus: тамъ праздникъ, говорятъ, и пляска будетъ. Со мной хотѣлъ идти другъ мой, фортепьянистъ изъ Егера, но не пришелъ; другой другъ мой, часовой мастеръ Гоффманъ, обѣщалъ показать цѣль, въ которую стрѣлялъ Петръ I. Провальсировавши еще разъ съ Фанни — маршъ! вѣтеръ — ну да ничего! (Прости меня, душенька! вѣдь, ей-Богу, самъ знаю, что глупо; впередъ ей-же-ей не буду.) Стрѣльба идетъ — Гоффманъ показалъ мнѣ цѣль — иду въ общія комнаты... Дымъ столбомъ, пиво рѣкою, одинъ музыкантъ играетъ на скрипкѣ, иногда припѣвая для большей выразительности: трара, трара, при чемъ гражданство хохочетъ. Я выпилъ кофе и пошелъ назадъ; на встрѣчу гражданки идутъ плясать; но я, скрѣпивши серце, заказалъ ванну. Гляжу: Фанни разряжена какъ херувимчикъ, зоветъ гулять — фу, ты пропасть! Иду — «Фаннička! Wo gehen Sie denn hin? — «За пирожнымъ, хозяйская дочь имянинница.» — Идемъ, идемъ; я разсыпаюсь по-нѣмецки; вотъ узенькая улица... идемъ. Фанни, глядя на меня, хохочетъ; прохожіе, глядя на насъ, тоже; на лѣсенку, высоко, высоко — но тутъ пирожное не готово; мы посидѣли, пошли назадъ. Тѣмъ и кончилось приключеніе.... Вчера я взялъ ванну; мнѣ лучше и докторъ говоритъ, что если завтра еще получшаетъ, то можно ѣхать. Я боялся

чтобы болѣзнь не развилась по-московски; но спасибо я скоро принялъ мѣры, — кажется сойдетъ.

9.

17 октября.

Слава Богу, я кажется совсѣмъ здоровъ и сегодня послѣ обѣда надѣюсь выѣхать.

Adieu!
Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebte Brunnen,
Ihr heiter Lärm —...

Сейчасъ пришла и перебила! Ну сначала.

Lebt wohl, ihr Berge, und ihr, schöne Mädel,...
Du, Ofen, holde Gottheit meines Zimmers,
Du oft gewärmt hast meine starre Glieder:
Dein Freund geht fort — Gott weiss, wann kehrt er wieder!

Еслибы со мной былъ Nachlass Шуберта, я бы сыгралъ: Ade, du muntre, du fröhliche Stadt, ade! — чудесная пѣсня!

10.

Дрезденъ, 22 октября, 4 часа и 20 минутъ по полудни.

Не знаю, что̀ прежде придетъ къ тебѣ, мой добрый Януарій, — это письмо, или я? Навѣрное не могу знать, сколько пробуду въ Дрезденѣ. Я не видалъ половины здѣшнихъ примѣчательностей, которыя успѣю видѣть послѣ, въ расположеніи болѣе нормальномъ. Человѣкъ долженъ хвататься за ближайшее, за необходимое душѣ его — иначе осмотръ будетъ для другихъ, не для себя.

Однако былъ въ галлереѣ и завтра пойду еще. Надобно сходить туда раза три, чтобы бѣгло осмотрѣть всѣ картины.

Два слова о Мадоннѣ. Я видѣлъ въ Москвѣ эстампъ, по которому тотчасъ узналъ ее. Сердце упало у меня — я почувствовалъ ту же минуту, что эта картина не для меня существуетъ. Какъ мытарь, готовъ я былъ бить себя въ грудь, поднимая безсмысленные глаза на эту святыню.

Пим—въ и Зав—въ признаютъ ее красавицей — но не болѣе, ребенка называютъ сердитымъ; я, сколько могу судить, назову такого ребенка ложною мыслью — но объ этомъ послѣ. Я не сознавалъ даже красоты въ лицѣ ея, даже земной красоты... Только что-то странное, что-то чуждое мнѣ, непривычное, видѣлъ я въ чертахъ ея лица, въ выраженіи глазъ.

Съ досадою безсилія, охлажденный разными заботами, прозаически-испытующимъ взглядомъ бродилъ я по полотну, и св. Екатерина казалась мнѣ лучше, ангелы интереснѣе. Я вперилъ глаза въ лице Мадонны, чтобы дать глазу время запутаться въ оптическій обманъ, превратить плоскость въ выпуклости — что-то замелькало и исчезло... Я обратился къ Корреджіевой Ночи — тоже непонятное лице Богородицы; вперилъ глаза на младенца и сталъ слѣдовать за свѣтомъ, который исходитъ отъ Него; взглянулъ еще разъ на мать — и увидѣлъ мать, мать, полную блаженной радости... Но она сдѣлалось мнѣ только нѣсколько понятнѣе... сталъ бродить глазами по стѣнамъ... вдругъ знакомый образъ обдаетъ душу — Цецилія Дольче. Что̀ же въ ней волшебнаго, что̀ чудеснаго, что̀ такъ меня къ ней при-

ское направленіе — этотъ образъ понятнѣе мнѣ своею тихою, серіозною прелестью... Я сталъ объ этомъ думать, и не знаю, можетъ-быть, опять предубѣжденіе, но мнѣ показалось въ ней что-то манерное, опять къ Мадоннѣ, и какъ будто она сдѣлала движеніе! Теперь только замѣтилъ я, какъ она прижалась къ своему младенцу; въ этой простой позѣ вся сила и святость материнской любви... Теперь и глаза ея получили для меня часть смысла.

Нѣтъ! Изъ того, что я не понялъ, я догадываюсь, что Мадонна выше, нежели думаетъ о ней Пим—въ.

1838. *)

Переписка съ Т. Н. Грановскимъ.

11.

14 апрѣля; страстная суббота; сначала снѣгъ, потомъ раздумье, потомъ градъ, потомъ солнце. 1838. Берлинъ.

Хоть вы по свойственной вамъ добродѣтели, о! Т. Н., и обѣщались писать ко мнѣ на другой день по

---

*) Промежутокъ времени, между октябремъ 1837 и апрѣлямъ 1838, Станкевичъ провелъ въ Берлинѣ, занимаясь философіей. Мы представляемъ здѣсь одинъ изъ многочисленныхъ этюдовъ, касавшихся логики и законовъ мышленія вообще.

Къ началу логики приводитъ съ необходимостію *феноменологія духа* (психологія въ гегелев. философіи). Какимъ обра-

пріѣздъ въ Дрезденъ, но я, вспомнивши, что вы принадлежите къ нашему благородному сословію, рѣшился писать къ вамъ, не дожидаясь вашего вызова.

Не смотря на всю огромность моей субстанціи, замѣчаемую даже Бѣлинскимъ, я не наскучу тебѣ ничѣмъ высокимъ, а скажу тебѣ нѣсколько замѣчательныхъ фактовъ.

Вопервыхъ, по отъѣздѣ твоемъ, я былъ въ банѣ,

зомъ мы приходимъ къ этому началу, оставивъ феноменологію въ сторонѣ? Субъективно.

Мы знаемъ, что, ища истины, необходимости въ знаніи, человѣкъ ищетъ своей свободы. Въ созерцаніи и представленіи, его *я* опредѣлено, ограничено; — оно можетъ перейти отъ однаго созерцанія и представленія къ другому (уже это показываетъ, что каждое изъ нихъ и многіе его не исчерпываютъ, не адекватны ему), но въ каждомъ изъ нихъ это *я* останется ограниченнымъ, только какъ сила связывающая представленія. *Я* начинаетъ сознавать свое освобожденіе, — но вполнѣ свободно оно тогда только, когда отброситъ всѣ эти данныя опредѣленности, признавъ ихъ только тождественными имъ самимъ.

Мысль — (а мыслью мы пока назвали это возвышеніе надъ данными опредѣленностями) — есть сфера свободы; въ ней только можно искать необходимаго знанія, т. е. такого, въ которомъ *я* признаетъ себя, которое оно не можетъ не оправдать. Что мысль — сфера свободы — есть также *истина* всего (всякаго другаго знанія, всѣхъ предметовъ) — это пока предположеніе.

Первый шагъ въ области мысли есть отбрасываніе всѣхъ опредѣленностей. Мысль возвращается въ себя, относится только къ себѣ, даже не мыслитъ: ибо что̀ она могла бы мыслить? Развѣ себя? Но до сихъ поръ она могла бы себя мыслить только какъ свободу отъ опредѣленностей, слѣдовательно была бы съ ними въ отношеніи, что̀, по условію, не

а вечеромъ у Ф—хъ. На другой день показались у меня двѣ нити крови, но я пренебрегъ ихъ появленіе; за то сегодня я не знаю, чему себя уподобить? селедкѣ, вымоченной въ уксусѣ, или просто мочалкѣ? — предоставляю тебѣ рѣшить.

Вовторыхъ, я получилъ изъ Петербурга квитанцію отъ Штиглица на 3450 р. ас. (нелѣпая сумма!). 1-го мая или въ 1-хъ числахъ мы можемъ выѣхать.

По переходѣ моемъ съ верху въ низъ, найдено въ разныхъ закоулкахъ прежней моей квартиры 12 паръ перчатокъ: изъ нихъ 3 пары подарены Шарлоттѣ, 9 Штифелю, который съ чувствомъ сказалъ мнѣ: Gott stärke Sie!

Билетчица принесла сегодня Н—у и мнѣ по три яйца съ чувствительными билетами, меня цаловала, прижимала къ сердцу и просила денегъ.

Что̀ еще сказать тебѣ? Изъ Москвы нѣтъ писемъ. Изъ Moralität я шагнулъ въ Sittlichkeit (въ философіи права), хоть умнѣе не сдѣлался; за то въ методномъ отношеніи, любезнѣйшій мой, каждая минута чтенія и писанія открываетъ мнѣ пропасть новаго. Не одинъ семестръ, а два нужны, Тимоша. Особенно кабы съ покойнымъ, свѣтлымъ духомъ, а то вѣдь все живешь отвлеченно. Пока въ дрожкахъ, или на постелѣ, совершенное единство съ собою, а станешь посеріознѣе, не знаешь, какъ и за что̀ взяться. Ну да будетъ когда-нибудь хорошо!

12.

23 апрѣля.

... За письмо приносимъ благодарность. Гульяновъ человѣкъ очень интересный — я разказалъ о немъ

Ф—мъ; они приняли въ немъ участіе. Благодаримъ также за извѣстіе о Шредеръ-Девріентѣ и Гугеноттахъ. Хотимъ выбраться 3-го мая: Богъ знаетъ, застанемъ ли ее?

Что̀ тебѣ сказать новаго? Два дни какъ стоитъ въ Берлинѣ прекрасная погода, das meine Schönseeligkeit wieder in Anspruch nimmt. — Хочется того, чѣмъ пахнетъ изъ самовара. Мы съ Ф—мъ по немножку, по немножку, добрались пѣшкомъ до Крейцберга, откуда полюбовались на Берлинъ; — насморкъ отравлялъ нѣсколько полноту наслажденія.

12.

26 апрѣля.

... Сегодня былъ въ Египетскомъ музеѣ и плакалъ... одна мумія ужасно похожа на тебя... такъ было трогательно!

27 апрѣля.

... Опять забылъ снести письмо на почту. Кстати: Эльснеръ, когда я взялъ у него деньги, сталъ называть меня Monsieur Станкевичъ, а по уплатѣ снова: Herr Baron. Такъ какъ мы немного съ нимъ встрѣчались, то можетъ-быть это было случайно и не показываетъ въ немъ дурной нравственности. Будущій семестръ заставляетъ меня иногда кусать губы. Rechtsphilosophie не было надежды скоро привести къ окончанію и потому продолжалъ, начиная съ Sittlichkeit, по энциклопедіи, и кончилъ. То, что̀ особенно было интересно, просмотрѣлъ въ самой Rechtsphilosophie. *Присяжные* сдѣлались для меня пунктомъ въ родѣ Ис-

Что̀ же касается до Stände, то, не смотря на всѣ оговорки и негодованіе противъ пошлаго либерализма, Гегель явно приводитъ къ необходимости ихъ участія и наконецъ самъ это высказываетъ, хоть не съ большимъ рвеніемъ. Дѣло въ томъ, что въ его понятіи государства — это неизбѣжный моментъ. Этого довольно. Все, что̀ онъ говоритъ противъ обыкновенныхъ декламацій въ пользу свободы, умно и неопровержимо.

Здѣсь любуются теперь на Kunst-Ausstellung въ Академіи въ пользу пострадавшихъ отъ наводненія; — особеннаго ничего нѣтъ, да и *зину* (Sinn) къ живописи слѣжу въ себѣ все еще немного. Въ Bauakademie выставка женскихъ рукодѣлій съ тою же цѣлію; въ Bauschule еще живописная выставка, которую я видѣлъ сегодня. Мы съ Januaріемъ опредѣлили выѣхать 3-го мая, Богу вспомоществующу.

... Зейдельманъ — художникъ. Вчера я видѣлъ его въ «Карлѣ XII»; роль незначительна, но онъ исполнилъ ее отчетливо, вѣрно, умно. Вацеръ былъ очарователенъ. Я видѣлъ Щепкина въ той же роли — они сливаются для меня въ одно лицо. Только амплуа Щепкина обширнѣе, и онъ самъ разностороннѣе.

Фарнгагенъ далъ намъ множество рекомендательныхъ писемъ. Къ 5-му мая всѣ дѣла ножемъ разрѣжу — я въ разумъ прихожу, а можетъ такъ только кажется.

Въ одной старинной книгѣ, въ королевской библіотекѣ, сказано: «И идоша къ Варягомъ въ Голштинскую землю». — Теперь все рѣшено. Я радъ. Хочу

писать «Философію Русской Исторіи». — Вотъ эмблематическая виньетка *).

14.

Дрезденъ. 8 мая.

... Мы въ Дрезденъ. Какія чувства волнуютъ твою морю подобную душу? спросишь ты. Гмъ! Душа — что̀ такое душа? — Reflexion in sich. Что̀ море? — Reflexion in Anderes. Солнце соединило атомы на радость и горе, и это соединеніе называется: рабъ Божій Николай, и этотъ Николай, по милосердію Господнему, вышелъ живымъ изъ многихъ болѣзней и напастей, по правосудію Его никакъ не дѣлается порядочнымъ человѣкомъ, и по неисповѣдимымъ судьбамъ таскается изъ Берлина въ Дрезденъ, изъ Дрездена въ

*) Станкевичъ нарисовалъ ее въ письмѣ. Кругомъ имена: Несторъ, Максимовичъ, Ломоносовъ, Тунманъ, Шлёцеръ, Погодинъ, Тредьяковскій, Строевъ, Каченовскій, Эверсъ, Бодянскій и Гегель. На верху монахъ пишетъ при свѣчѣ. Сзади господинъ въ шляпѣ и въ затянутомъ сертукѣ указываетъ на верхъ и говоритъ «вотъ откуда пошла Русская земля!» — Рядомъ съ нимъ, господинъ на каѳедрѣ въ очкахъ и сіяніи произноситъ: «Помилуйте! какъ имъ сюда пробраться съ юга? скажутъ: Финны? ну да это другое дѣло.» Внизу стоитъ на прилавкѣ человѣкъ въ длинномъ сертукѣ, простоволосый, держа рожокъ съ табакомъ; у ногъ его лежатъ раскрытый Несторъ, помпушки и богемская грамматика; онъ возглашаетъ: «Руссы—Козаки!... Ге, земляче! Колы хочешь знать правду, пойдемъ въ Пивтаву!» Наконецъ господинъ со вскинутой вверхъ головой, чуть-ли не самъ Станкевичъ, кладетъ руку на книгу съ надписью: «Философія Русской Исторіи 1850 г.» и восклицаетъ: «Варяги — Вагры! Ей-ей правда!»

Берлинъ. «Fiat voluntas tua, говоритъ рабъ Божій, выучившійся этому латинскому изреченію изъ одного Вальтеръ-Скоттова романа (прости Бул—скій или Сен—скій каламбуръ!). Кромѣ этой способности ощущать радость и горе и еще рефлектировать, нѣтъ въ атомахъ силы, которая бы имѣла право назвать себя: *я*. Жизнь съ ея непогодами и яснымъ небомъ, дорога съ рожкомъ почтальйона, каждый городишко съ картофельною дѣвчонкой и каждый переулокъ въ Дрезденѣ — все это можетъ похвалиться своимъ могуществомъ надъ тѣмъ созданіемъ, которое, будучи возведено на степень всеобщности, называется царемъ природы, а на степени своей единичности — Николаемъ Владиміровичемъ. Каковъ же длинной рѣчи краткій смыслъ? На что̀ тебѣ... смыслъ? Смыслъ не сѣно и не овесъ, его гарнцами не отпускаютъ; впрочемъ если въ томъ, что̀ сказано, нѣтъ смысла, то зачѣмъ ждать, что онъ будетъ въ комментаріяхъ? Но если ты всю рѣчь принималъ за предисловіе, то ошибся. Это просто голосъ съ того свѣта.

Въ субботу, наканунѣ отъѣзда, давали «Венеціянскаго купца». Зейдельманъ былъ часто превосходенъ, но я не совсѣмъ понялъ его игру; иногда онъ, казалось мнѣ, слишкомъ старался сохранить жидовскую наружность и чуть-ли не мѣтилъ на эффектъ. Но по совѣсти я не въ правѣ сказать рѣшительно: надобно бы больше всмотрѣться...

... Мы простились. Мнѣ было жаль всего, къ чему я привыкъ въ моей повседневной жизни. Я пошелъ на почту, гдѣ Н—въ дожидался меня. Рогъ затрубилъ, мы сѣли въ coupé—больше никого не было—и совершили дорогу вдвоемъ. Этотъ путь былъ не скученъ.

Зелень веселила душу, немножко разнѣженную отъѣздомъ, но безъ всякой объективной привязанности. Скоро наступила чудесная ночь. Въ Erzberg былъ какой-то балъ: мы вошли, взглянули на пляшущихъ и отправились дальше. Теперь мы въ Hôtel de Rome. Вчера видѣли grüne Gewölbe и историческій музей: эти вещи я называю проклятіемъ путешественника, на что̀ и Н—въ согласенъ; объѣзжали весь Дрезденъ — хорошенькихъ мало, одна только сидѣла на Brüllsche Terrasse вечеромъ — и я чуть не влюбился. Ужасное Sehnsucht! Время чудное, окрестности Дрездена радуютъ душу. Сегодня къ Тику и въ Gemälde-Gallerie. Мною играютъ впечатлѣнія; сегодня всталъ и не помнилъ что̀ со мною; старыя впечатлѣнія почти вышли, Берлина было уже не такъ жаль — и я сталъ было рефлектировать, но тотчасъ же родилась досада и Zerrissenheit. Я бросилъ все и рѣшился лучше написать тебѣ.

Идемъ къ Тику. Надо говорить по-нѣмецки. Я радъ, что Н—въ будетъ въ уздѣ.

Сію-минуту понесъ письмо на почту, а дорогою оно распечаталось — итакъ пошлю завтра. Сегодня мы съ Н—мъ заходили къ Тику. Кухарка или Stubenmädchen отнесла ему рекомендательное письмо, между тѣмъ какъ мы оставались въ комнатѣ, которую въ Россіи назвали бы передней. Онъ выслалъ ее сказать, что теперь онъ охрипъ и не можетъ говорить, и чтобы мы пришли въ четвергъ. Не мудрено, что онъ надѣялся на скорый вашъ отъѣздъ, но мы обѣщались придти. Были въ картинной галлереѣ; не знаемъ куда дѣваться вечеромъ; театра не будетъ дней 8 или 10: король

Лёве опять въ Берлинъ. Сегодня даютъ тамъ «Норму» и она будетъ пѣть: «Keusche Göttin», и публика будетъ въ восторгѣ, и всѣ мѣста будутъ заняты, и мы съ вами скоты, Т—ей Ник—чъ! Прощай!

Вчера на Brüllsche Terasse говорю Н—ву: «Н—въ! вѣдь аристократическое общество собирается здѣсь (при входѣ Baldini), а не тамъ (на поворотѣ)». — Ну сядемъ здѣсь! отвѣчалъ онъ пресеріозно.—Каковъ?— вѣдь считаетъ себя аристократомъ. Небось, еслибы кричали: à bas!... онъ бы сказалъ: «Ну сядемъ тамъ».

13.

12 мая.

Тимоѳей мой, Тимоѳей,
Голосистый Тимоѳей!
Чудеса ты все творишь —
Насъ ты со смѣху моришь!

Впрочемъ это подражаніе стихамъ Клюш—ва: «Сравненіе Бѣлинскаго съ Аполлономъ».

Аполлонъ мой, Аполлонъ,
Аполлонъ мой Бельведерскій!
Виссарьйонъ мой, Виссарьйонъ
Виссарьйонъ мой вельми дерзкій!

А вотъ еще мои стихи. Послѣднія краткія слова о Гегелѣ, залитыя кофеемъ и слезами, попадаются мнѣ въ руки и я говорю Н—ву:

Чудо-юдо! длинный листъ!
Посмотри на этотъ листъ:
Онъ написанъ былъ при дамѣ
Мной за фрюштикомъ въ Потсдамѣ;
Листъ лежитъ передо мной,
А ее ужь нѣтъ со мной!

Зачѣмъ же нѣтъ? И даже не пишетъ! Я однако написалъ ей. O schwaches Herz! хотѣлось бы увидѣть ее.

А между тѣмъ, душа моя, «атомамъ, которые солнце связало на радость и горе, а міръ назвалъ Николаемъ Владиміровичемъ», даются толчки, да толчки. Вчера получилъ письмо отъ М... Не знаю, какъ прошелъ слухъ о возвращеніи моемъ осенью. Тамъ едва ли что̀ остается мнѣ дѣлать. Наконецъ сегодня письмо отъ отца — онъ боится за мою будущность, какъ нельзя больше. Постараюсь всячески утѣшить его. Онъ добръ и любитъ насъ до безконечности. Всѣми мѣрами постараюсь его успокоить.

16.

15 мая.

Сегодня изъ Саксонской Швейцаріи. Выѣхали третьяго дня и ночевали въ Пирнѣ. На другой день дошли пѣшкомъ до Кёнигштейна. Грудь моя немножко стѣснилась, — обозрѣли Кёнигштейнъ; оттуда по дождю поѣхали въ Шандау, гдѣ ночевали. Сегодня посѣтили Bastey. Кёнигштейнъ и Bastey нравятся мнѣ больше всего. Погода не дала насладиться остальнымъ.

16 мая.

Завтра въ Лейпцигъ. Сегодня получилъ очень доброе письмо отъ отца. Хочется въ Берлинъ — вчера чуть было не уѣхалъ.... Ахъ, какая мерзкая, капризная натура! Берегись, и у тебя такая же; надо умѣть вырываться.

13.

20 мая.

Im Aufgeben seiner selbst sich selbst zu finden— это такая истина, въ которой можетъ сомнѣваться только Штифельпуцеръ, да Э — неръ! Да зачѣмъ же она въ головѣ только? Сердце сухо, пусто и капризно оттого, что ему этого—sich selbst zu finden нужно. Отчего же это ему не дается? вѣдь когда хочется ѣсть, и бульйонъ стоитъ передъ тобою (или сѣно, Тим. Н.), ты просто нальешь его себѣ и выпьешь? Отчего тутъ не такъ? — А одно спасеніе противъ сумасшествія, одно изъ средствъ осуществить это — есть, я думаю, исторія, Тимоѳей! Я началъ читать «Исторію Германіи» Менцеля со временъ революціи, и это дѣйствуетъ хорошо, да на полчаса.... У меня грудь немножко beklemmt, обыкновенное слѣдствіе странствія по горамъ, и обыкновенное слѣдствіе этого состоянія: капризность, раздражительность. Повѣришь ли, я сейчасъ плакалъ? Это невысокія потребности — нѣтъ! стыдно сказать: слабость, раздражительность.... ну да чортъ съ ними! И хочется писать тебѣ объ этомъ, и гадко; ты и такъ къ хандрѣ склоненъ.... особенно подъ этотъ проклятый дождикъ! Сейчасъ идти на «Гугеноттовъ». Пью чай! Я тебѣ буду посылать цѣлые журналы—такъ кажется теперь— годится на біографію.

Вечеромъ послѣ театра.

Срѣзались вы, юноша! срѣзались, миленькой мой! M-me Шредеръ-Девріентъ — нашъ братъ, огромная субстанція, да и субъектъ порядочный! Въ самомъ дѣлѣ, такой актрисы я еще не видалъ. Третьяго дня

она была мѣстами превосходна въ «Весталкѣ», особенно когда она вѣнчаетъ Лицинія. Она подходитъ къ нему en chancelant (шатаясь, не ловко сказать; шатается иной по Европѣ, иной выходя отъ Мейнгардта) *), съ каждою нотою слабѣетъ и наконецъ рука сама собою падаетъ ему съ вѣнцемъ на голову. Сегодня въ «Гугеноттахъ» она была совершенство. Нѣсколько слишкомъ граціозныхъ движеній, нѣсколько ошибокъ ничего не значатъ; ты видишь безпрестанно истинную, сильную натуру; лицо безъ гримасъ, всегда полное выраженія — и какой голосъ! Срѣзались, лошадка! срѣзались.

Скучно, Тимоша! Януарій говоритъ, что ему впереди все пестро и интересно; а я назадъ не хочу и впереди скучно; назади вздоры, призраки, дрянь, впереди голо! — Поскорѣй въ Эмсъ въ ванну! Кстати грудь не свободна. Авось буду въ Италіи.

Письма къ Ф—мъ.

10.

Эмсъ. 13 іюня.

Еще въ Дрезденѣ получили мы ваши письма, почтеннѣйшій Н—й Гр—ъ и Е. П—на! Н—въ успѣлъ уже отвѣчать вамъ два раза, а я теперь только берусь за перо, чтобы поблагодарить васъ отъ всей души за ваши дружескія строки и поговорить съ вами по-старинѣ. Прежде всего позвольте сказать, что болѣе аккуратная корреспонденція Н—ва совсѣмъ не есть доказательство большей любви его къ вамъ (въ этомъ я съ нимъ ей-Богу поспорю), но обыкновенной охоты

*) Трансверситъ въ Берлинѣ

его *говорить*, сказать всё поскорѣе, что̀ зашевелилось у него въ душѣ. У меня другая натура—я всегда начинаю писать ожившись и осмотрѣвшись. Вѣрно онъ уже успѣлъ сообщить вамъ, какъ неутѣшительно было наше путешествіе къ цѣлебнымъ источникамъ. Погода, отравившая намъ дорогу, остается постояннымъ нашимъ врагомъ и не даетъ разгуляться на мѣстѣ. Славу Богу, что я не мистикъ; иначе давно убѣдился бы, что судьба имѣетъ какой-нибудь особый планъ на мой счетъ, для котораго считаетъ нужнымъ дѣлать мнѣ всякія помѣхи. Такъ какъ я чуждъ теперь той вѣры, что все въ мірѣ дѣлается для меня и что всѣ обстоятельства, какъ дядьки, смотрятъ за каждымъ моимъ шагомъ и ведутъ на невидимой веревкѣ ко благу моему; то мнѣ остается безъ дальнихъ разсужденій жалѣть и надѣяться, что авось будетъ лучше. Это тѣмъ вѣроятнѣе, что дѣла Рима съ Пруссіею поправляются или по крайней мѣрѣ кончаются мирно; есть надежда, что и я, держащій сторону Пруссіи, помирюсь съ кѣмъ нужно. Кстати: въ Франкфуртѣ сдѣлали мы очень интересное знакомство съ докторомъ Каровѐ. Я до сихъ поръ читалъ только крошечныя статейки его въ «Ost und West». Это были отрывочныя, здравыя, но вовсе не новыя и не развитыя идеи къ философіи исторіи. Но и то̀ ужь хорошо, что человѣкъ пишетъ правду. Теперь я, кажется, рѣшительно могу сказать, что онъ и вѣритъ въ нее, или мои физіологическія наблюденія никуда не годятся. Первое, о чемъ мы начали говорить, было дѣло Архіепископа. Каровѐ рожденъ въ католической вѣрѣ, отъ которой остался какой-то радушный поэтическій Anstrich на его понятіяхъ; въ сущности онъ протестантъ, или, лучше сказать, фи-

лософъ, сколько я могъ замѣтить. У меня лежитъ книжка его: «Papismus und Humanität», изъ которой я успѣлъ прочесть введеніе. Изъ него и изъ разговоровъ съ Каровѐ успѣлъ я схватить одно: онъ не другъ мирныхъ уступокъ, онъ хочетъ послѣдовательности съ обѣихъ сторонъ и утверждаетъ, что это должна быть серіозная борьба. Въ понятіи такъ. Политическія arrangements могутъ быть, какъ удастся; но въ самомъ дѣлѣ надо было установить вопросъ въ его чистотѣ. Требовать отъ чего-либо уступокъ, основанныхъ на извращеніи его начала, не значитъ ли подрывать его подъ видомъ покровительства? Надобно убить всѣ софизмы, надобно идти къ дѣлу прямо и твердо. Повторяю: политическія Rücksichten могутъ быть другаго рода — я плохой дипломатъ. Но пусть же не врутъ, Богъ знаетъ чего, газеты, пусть не мудрствуютъ тамъ, гдѣ нечего мудрствовать. Gutzkow называетъ Каровѐ водянымъ. Я его мало знаю, но до сихъ поръ онъ мнѣ нравится; водяности я въ немъ не вижу, а простота его убѣжденія мнѣ нравится. Когда я говорилъ ему, что послѣдовательный протестантизмъ не можетъ остановиться въ положительной формѣ и долженъ перейдти въ философію, онъ отвѣчалъ: mais c'est trop de dire que la philosophie ne soit pas la religion. Я въ этихъ словахъ вижу непреодолимое стремленіе человѣка слить наконецъ мысль со всѣми ея переходами въ одно цѣлое, непосредственное чувство, какъ въ алгебрѣ цѣлый procedé сливается въ окончательную формулу, и жить цѣлою натурою. Иначе чтожь такое была бы философія? Религія есть требованіе философіи, но философія должна кончить

гой должно быть обладаніе (я говорю объ окончательной формѣ философіи) *); а что̀ такое обладаніе, когда нѣтъ стремленія, любви? Прошу извинить: защита Каровѐ увела меня далеко, но онъ мнѣ понравился. Какъ бы онъ ни былъ не совершенъ, въ немъ много любви! Н—въ писалъ вамъ о прочихъ лицахъ. Мнѣ нечего прибавить. Развѣ только то, что когда Тикъ представлялъ насъ прочему обществу, то, забывши наши имена, спрашивалъ: Herr Baron von...? «Станкевичъ» отвѣчалъ я. Н—въ тоже. Я вспомнилъ сцену въ его «Tischlermeister», когда одинъ баронъ представлялъ своему семейству столяра, своего друга, подъ именемъ профессора, чтобы не обидѣть аристократическихъ чувствъ своихъ родственниковъ, и тотъ покоряется этому поруганію. Въ Кюне (издатель Zeitschrift für die elegante Welt) ничего особеннаго не замѣтилъ: свиданіе наше было коротко, предметы разговора обыкновенны. Но къ нему приходилъ Echtmeyer, издатель «Hallische Jahrbücher», очень интересный человѣкъ. Къ несчастію, имя его узналъ я, когда онъ уже ушелъ. M-me Göthe, — но вы ее знаете; она была очень любезна. Въ обществѣ ея нѣкоторыя дамы обсуживали многія вещи очень умно, даже слишкомъ. König sieht aus wie ein Bürger; мудрено догадаться, что онъ участвовалъ въ политическихъ дѣлахъ Ганновера (тотъ ли это Кёнигъ впрочемъ?)

Эмсъ очень пустыненъ. Его дикія красоты пока для насъ не находка: дождь мѣшаетъ ими насладиться. Я пью и купаюсь — чѣмъ это кончится, Богъ знаетъ! Впрочемъ соблюдаю всѣ предписанія Дядьковскаго.

---

*) Т. е. о христіянской философіи. *Прим. изд.*

Kurgäste во немножку прибавляются. Есть тутъ какой-то русскій князь, имени котораго еще не знаю. Одинъ разъ удалось мнѣ быть въ Коблецѣ и полюбоваться видами Рейна. Они порадовали меня, но смотря на дурную погоду. Заниматься мнѣ теперь много нельзя.... Прочелъ новую нѣмецкую исторію въ Менцелѣ. Это меня заинтересовало и какъ-то оживило. Ничто не можетъ дѣйствовать на человѣка (не совсѣмъ еще сбившагося съ пути) спасительнѣе, какъ созерцаніе общаго, человѣческаго. Я теперь болѣе и болѣе убѣждаюсь въ томъ, что утверждаетъ Гегель— что сфера государства есть одно спасеніе отъ субъективныхъ Launen, что здѣсь человѣкъ находитъ себѣ Halt и опору. Какъ чувствителенъ былъ для меня потомъ переходъ въ душную сферу частностей и индивидуальныхъ страстей, когда я сталъ читать «Leone Leoni» Жоржъ-Занда! Сколько здѣсь вѣрнаго (не говорю: истиннаго — это имѣетъ другой смыслъ) психически, не смотря на много вздору и натяжекъ, и какъ тяжка эта вѣрность! Это грустное блужданіе есть также нужная степень въ жизни. Философія безстрастно разсматриваетъ моменты общности и особенности, безъ муки соединяетъ ихъ вмѣстѣ; а въ жизни эти моменты воплощаются, каждый изъ нихъ страдаетъ, едва сознавая, что его спасеніе—въ другомъ, каждый уничтожается съ болью. Но надобно признаться, что существенная, основная мысль романа развита дурно. Я ужь не говорю, что такое произведеніе не есть *искусство*, а Mittelding. Тутъ нѣтъ яснаго подвига, которымъ бы освѣжалась душа. Тутъ страданіе человѣка, потеряннаго въ самомъ себѣ. Но сколько

излишковъ, натяжекъ! Прочту еще что-нибудь M-me Dudevant, чтобы составить себѣ полное объ ней понятіе.

19.

14 іюня.

Вчерашній день вечеромъ получили мы ваши письма. Когда вы ужъ такъ добры, что васъ тревожатъ мои болѣзни, спѣшу одинъ разъ навсегда успокоить васъ русскою пословицею: скрыпучее дерево долго тянется. Всѣ мои немощи мнѣ очень знакомы, посѣщали ужъ меня нѣсколько разъ и я знаю, чѣмъ прогонять ихъ. Отъ Эмса надѣюсь радикальной помощи.

15 іюня.

Забавное письмо: изъ кусочковъ! Но Eselpartie помѣшала мнѣ вчера его кончить. Н—въ воспользовался ужъ кажется случаемъ облить меня ядомъ насмѣшки; но во всѣхъ его злостяхъ проглядываетъ несчастная доброта, которая дѣлаетъ его самого смѣшнымъ. Упалъ ли я, — это сомнительно. Прежде всего упалъ оселъ; я помню себя ужъ на ногахъ, публика видѣла меня въ такомъ же положеніи. Былъ ли я на землѣ, — это не извѣстно. Сертукъ могъ запачкаться брызгами. Н—въ долго писалъ оффиціяльныя статьи въ казенномъ журналѣ — отъ этого у него осталась привычка прикрашивать. Между паденіемъ моимъ и молодой особы было по крайней мѣрѣ два часа разстоянія, такъ что я въ это время успѣлъ уже кофеемъ утѣшиться и приготовиться на новые удары судьбы. Мое паденіе, сверхъ того, извинительно потому, что я ѣхалъ на дамскомъ сѣдлѣ.

Я хотѣлъ вести рѣшительно *пустую* жизнь въ Эмсѣ, думая, что это поможетъ (по русской пословицѣ: свое

здоровье всего дороже); но моя голова получила такое несчастное устройство, что ее опасно оставлять безъ занятія. Она начинаетъ *свою* работу въ такомъ случаѣ, очень болѣзненную, и всякая маленькая забота дѣлается idée fixe, такъ что право иногда боишься лишиться того, что̀, по мнѣнію всѣхъ, кромѣ N. N., отличаетъ человѣка отъ животныхъ. Впрочемъ я не возмусь за «Philologische Studien», чего боится всегда Вердеръ. Хочу читать исторію нѣмецкую, сколько позволитъ время: такія вещи одинъ способны теперь устроить меня. Въ вашемъ портретѣ Беттины, Е—а П—а, остановила меня одна вещь: «Elle sait le bien et le beau dans leur essence et leur luxe, mais elle n'en sait pas les détails positifs». Вамъ случалось видѣть портреты, которыхъ подлинниковъ вы не знали и, не смотря на это, говорить: *какъ вѣрно!* Тоже я сказалъ: это — настроенность, способность pour savoir le bien et le beau, потребность наслажденія прекраснымъ, не вполнѣ осуществленныя. Такая общая, отвлеченная поэзія давно уже начала терять для меня цѣну, точно какъ положительное не имѣло для меня никогда цѣны внѣ своего идеальнаго значенія. Отсюда мое теперешнее Sehnsucht къ историческому, котораго я былъ долго чуждъ, вслѣдствіе... чего бы? лѣни? не скажу — лѣнь происходитъ отъ отсутствія интересовъ. Это было частью слѣдствіемъ лишняго занятія собою (опять русская пословица: мнѣ не до васъ, мнѣ до себя), въ которомъ также виновата немножко судьба, устроивающая дѣла міра сего; частью другіе dringende вопросы... на эти вопросы, сколько я понимаю, теперь уже данъ мнѣ отвѣтъ:

А сколько мелочей заставляютъ ихъ щурить? Все, что̀ есть благороднаго, прекраснаго, все, что̀ влечетъ къ себѣ, напоминаетъ прежде всего: разсчитайся съ жизнью, съ людьми; уладь сію же минуту все вокругъ тебя: иначе твое наслажденіе великимъ — призракъ! Великое въ томъ, чтобы малое устроить! А какъ глянешь кругомъ: Боже мой, путаница, дрянь, недоразумѣнія! Какъ уладить? Вотъ тутъ начинается тяжелая, механическая работа, тутъ протягивается цѣпь возможностей, и вашъ бѣдный пріятель (потому что вы ужь почтили его этимъ именемъ) становится, какъ grosser Geist въ Менцелевой сказкѣ, столбомъ и показываетъ дорогу на обѣ стороны. Является потребность упростить это все — ну дѣлай такъ, чтобы во всемъ, что̀ ты сдѣлаешь, былъ ты таковъ, какъ въ самомъ дѣлѣ, а за слѣдствіе отвѣчаетъ Богъ! Кромѣ того, что не годится этакъ бѣду сваливать съ себя, но невольно усомнишься: да изъ чегожь слѣдуетъ, чтобы все, что̀ меня выражаетъ, было хорошо? И въ каждомъ рѣшеніи невольно заподозришь частичку самолюбія (иногда очень и очень извинительнаго, понятнаго и хорошему человѣку), частичку лѣни, или какой-то грѣшной любви къ спокойствію и преданію, котораго не хочется ломать безъ слишкомъ явной причины — Боже, сколько Rücksichten! Но я много и исправился! Стараюсь разрѣзывать узлы,—дурно ли, хорошо ли, все лучше, чѣмъ запутать. И стараюсь не слишкомъ думать о возможностяхъ, неисчислимыхъ никакимъ счисленіемъ вѣроятностей. Отъ этого разсчета теряется способность обхватить ихъ разомъ, непосредственно, вслѣдствіе живаго, дѣйствительнаго чувства.

Но какъ скучно, должно быть, читать эти разказы о мелкихъ Wirren! Лучше напишу вамъ больше когда-нибудь, сошедши съ горы, гдѣ freie Aussicht, глаза разбѣгаются свободно по дали и душа противъ воли забываетъ свой ничтожный міръ, чтобы наслаждаться Божіимъ. Прощайте! Благодарю васъ отъ всей души за ваше участіе. Вердеру напишу завтра, или послѣ завтра. Если увидите его раньше, скажите ему мое почтеніе и поблагодарите за любовь его ко мнѣ: не знаю право, чѣмъ заслужилъ ее. Прощайте! Н—въ читалъ мнѣ написанное вамъ о католикахъ. A propos: здѣсь я слышалъ проповѣдь одного аббата. Какъ онъ разказывалъ о гоненіи, которое терпѣла церковь и ея служители отъ язычниковъ, отъ Іудеевъ, Революціи, даже отъ нашего времени! Приводилъ въ поученіе примѣръ раскаянія Талейрана на смертномъ одрѣ — и все это съ голосомъ и жестами провинціяльнаго актера!

Прошлое воскресенье, знакомый, сидѣвшій подлѣ меня, подалъ мнѣ книгу, въ которую я смотрѣлъ во время церковнаго пѣнія. Слова, полныя простоты и любви, и человѣкъ здѣсь веселится божественнымъ какъ своимъ, а не падаетъ.

Письмо къ Т. Н. Грановскому.

20.

2 іюля.

Сейчасъ ѣду въ Боннъ поконсультовать доктора Нассе. Es wühlt in meinem Innern! Планы за планами! Хочется въ Берлинъ, а въ Италію поѣду только если

Рейнъ такъ хорошъ, что я забылъ рѣшительно высшій, общій элементъ, сферу духа какъ такова и пр. и прочія *глупости* (поддѣлываюсь къ Н—ву) и впалъ въ упоительную Schönseeligkeit. Кажется, ужь не сойду съ ума, или сойду на другой ладъ. — Прощай!

Письмо къ Я. М. Н—ву.

21.

Боннъ. 5 іюля.

Дражайшій! Вчера въ 4 часа выѣхалъ я изъ Кобленца. Сначала все шло благополучно. На пароходѣ пріобрѣлъ друга—Фризеръ изъ Нейвида, который далъ мнѣ свой адресъ въ Эмсъ. Потомъ одна мѣщанская, лѣчащаяся, неинтересная фамилія—знакомыя лица. Они увлекли меня остановиться zum Stern: хотѣли, видишь, вмѣстѣ осмотрѣть церкви; но сегодня старикъ ужь сказалъ мнѣ, что смотрѣть нечего и что они ѣдутъ къ Кёнигсвинтеръ. Но возвращаюсь къ пути. Не успѣли подъѣхать къ Нейвиду, какъ началась гроза и проливной дождь; бывшіе на палубѣ видѣли, какъ цѣлое облако обрушилось на гору; дождь лилъ бо́льшую часть дороги, но далъ намъ взглянуть на Нонненвертъ и Роландсекъ. Но ты знаешь, что̀ значитъ разсердить Николая Владиміровича! Первое блаженное ощущеніе ужь было потеряно. И его возстановилъ нѣсколько видъ Бонна и Zuckerwasser mit Moselwein. Ночь кой-какъ проспалъ, пилюли подѣйствовали, душа настроилась опять въ мажёрной тонъ (изъ дурнаго перешла въ дурной, могъ бы я сказать; но презираю каламбуры) и я отправился къ доктору. Ты знаешь

университетъ, знаешь проходныя ворота, ведущія въ прекрасную аллею, она же и улица; въ этой улицѣ-аллеѣ живетъ Нассе въ прекрасномъ домикѣ, на узенькомъ дворѣ; передъ дверьми цвѣтникъ; миръ, гармонія, ароматы составляютъ сферу этого жилища. Vorzimmer — прохладная, красивая комната, въ которой пріятно отдохнуть. Черезъ нѣсколько минутъ выходитъ человѣкъ высокаго роста, въ длинномъ сертукѣ, очень пожилой, но съ пріятною свѣжестью въ лицѣ и съ выраженіемъ доброты и образованности, совершенно искреннихъ, внушающій полное довѣріе съ перваго взгляда. Я объяснилъ ему motif прихода, подалъ записку и уставилъ на него глаза. Онъ обратился ко мнѣ съ вопросомъ объ исходѣ лѣченія; я разказывалъ ему дѣло — онъ возвелъ очи къ небу и произнесъ: Armer Mann! Главный Ansicht его въ томъ, что мнѣ непремѣнно нужно получить открытый геморой; главный совѣтъ его пока въ Висбаденъ. Но рѣшительно онъ не хотѣлъ еще сказать ничего, сначала обдумаетъ и будетъ отвѣчать мнѣ завтра утромъ. Его доброта, вѣжливость, простота очаровали меня; я чувствую къ нему безпредѣльную довѣренность.

Пришедши отъ доктора, выпилъ опять Zuckerwasser съ нѣсколькими каплями Moselwein. Вдругъ является Polizeidiener и проситъ паспорта. Я говорю: забылъ дома. Проситъ какой-нибудь Legitimation.— «У меня нѣтъ ничего, кромѣ пароходной карты: zur Hin- und Rückreise».—Просятъ пожаловать объясниться съ комиссаромъ. Хозяинъ говоритъ, что онъ прекрасный и вѣжливый офицеръ. Прихожу; увидѣвши меня, онъ поспѣшилъ застегнуть сертукъ, ибо былъ безъ галс-

вѣжливо; извинялся, говоря, что отъ нихъ требуютъ, чтобъ они смотрѣли за видами, и когда я сказалъ, что еслибы мнѣ нужно было прожить дольше, то я выписалъ бы свой паспортъ изъ Эмса, и что цѣль моего путешествія — посовѣтоваться съ докторомъ Нассе, то онъ отвѣчалъ мнѣ, что не хочетъ затруднять меня, и обѣщался отмѣтить, что я прибылъ съ картою, удивляясь впрочемъ, какъ дали мнѣ ее безъ паспорта. Его вѣжливость и предупредительность сдѣлали бы честь любому дипломатическому чиновнику. Можетъ-быть, имя русскаго дворянина и благородство физіономіи не мало *сему* содѣйствовали. Но, право, это мнѣ понравилось: такая исправность въ надсмотрѣ и такое снисхожденіе къ путешествующимъ!

Осмотрѣлъ Münster и Reinigin's Kirche — особеннаго ничего нѣтъ. Вечеромъ буду наслаждаться природою въ Poppelsdorf.

Цалую тебя.

Твой С —, по прозванію Vetter Domine.

Письма къ Т. Н. Грановскому.

22.

Эмсъ. 11 іюля.

Я былъ въ Боннѣ. Берега Рейна такъ хороши, разнообразны и такъ возбуждаютъ охоту съѣсть то, чѣмъ изъ самовара пахнетъ, что нѣтъ надежды облютеранить эту сторону. Въ Боннѣ я познакомился съ однимъ датскимъ ботаникомъ, котораго племянница съ свѣтлорусою, почти бѣлою головкою — есть лучшій цвѣтокъ къ его гербаріумъ; какъ бы старикъ не сталъ

сушить его въ какой-нибудь толстой книгѣ! Признаюсь, хотѣлось бы пріобрѣсть себѣ такой *экземпляръ*. Докторъ Нассе—человѣкъ рѣдкій. Его физіономія и первыя два слова достаточны, чтобы внушить къ нему полную довѣренность, а его внимательность, простота и проглядывающее въ ней знаніе для меня рѣшительная новость! — Онъ назначилъ мнѣ Буртшейтъ (Burcetum), близъ Аахена сѣрныя воды. Здѣшнія воды особеннаго ничего не произвели, да и трудно еще судить. Благодаря пилюлямъ, душа не страдаетъ, и рефлектирующая способность уступаетъ мѣсто созерцанію, а фантастическіе сны ночью замѣняютъ томительный бредъ. Иногда снится Менеке (Менхенъ, миленькая дѣвочка, дочь Т. Миллера изъ Берлина — купеческая фамилія) и тогда Богъ знаетъ что̀! Этой фамиліи и гг. Б—мъ обязанъ я пріятною, хоть незатѣйливою, жизнью въ Эмсѣ и порядочнымъ состояніемъ моего здоровья. Пользы здѣшнихъ водъ для меня я не отрицаю нисколько: жизнь урегулировалась, успокоилась и все порядочно подготовлено.

22.

Аахенъ. 25 іюля.

... Нѣтъ, бракъ не по любви есть лицемѣрство; пожертвованіе прекрасно, но оно должно быть истинно. Сколько святости, прекраснаго душевнаго развитія имѣетъ Л. Б.! Я въ правѣ спрашивать себя: *почему* ты ее не любишь? Не есть-ли это слѣдствіе твоей испорченности? Трудно отвѣчать на такой вопросъ; но отъ этого не больше любви въ моемъ сердцѣ, и я

предъ слѣдствіями. Ахъ, Тимоѳей! Въ жизни на каждомъ шагу collision. Счастливъ тотъ, кто еще до самобытнаго вступленія на ея поприще получилъ гармоническое духовное воспитаніе; а мы на волнахъ занимаемся изобрѣтеніемъ компаса (остроумное сравненіе!). Не рефлектируй, братъ, много. Какъ начинаешь путаться въ антиноміяхъ, давай себѣ скорѣе отдыхъ. Помни, что *созерцаніе* необходимо для развитія *мышленія*.

Отсюда я выѣду не раньше 1-го сентября, а вообще курсъ мой кончится къ 15-му. Кажется, мое прибытіе въ Берлинъ не подвержено сомнѣнію, равно какъ и то, что я буду жить ordentlich, учиться. Полно дурачиться, прыгать съ моста — ты не знаешь, какія несчастія могутъ изъ этого выйти. Я не могу много писать на водахъ — сдѣлается приливъ крови. Впрочемъ дѣла идутъ порядочно. Пожалуйста, если удастся тебѣ встрѣтиться съ N' въ Берлинѣ, не говори того, что ты въ письмѣ своемъ говоришь противъ Гегеля: только оружіе давать! А между тѣмъ ты вздоръ говоришь. Разумѣется, Гегель правъ. Надо быть идіотомъ, чтобы справляться съ исторіей, какъ поступить въ какомъ-нибудь положеніи политическихъ дѣлъ. Такой политикъ похожъ будетъ на учителя латинскаго языка, въ В—ской гимназіи, который запретилъ своимъ пансіонерамъ купаться въ рѣкѣ, потому что въ это лѣто утонулъ въ Москвѣ одинъ студентъ. Но что исторія учитъ знать настоящія потребности, или, лучше сказать, воплощаетъ развитіе духа и чрезъ это воспитываетъ въ насъ способность схватить и обсудить каждый новый моментъ и распорядиться, — кто же это отвергаетъ?

Здѣсь театръ дрянненькой, а все-таки иногда тѣшитъ. Недавно давали «Фауста». Я высидѣлъ только два акта. Персона, игравшая «Мефистофеля», нашла, что эта роль должна быть смѣшна — новое Auffassungsweise — и тѣшила публику гримасами и странными интонаціями голоса. Въ здѣшней газетѣ расхвалили его и просятъ повторить! Рецензентъ labt sich на такомъ представленіи.

24.

Боннъ. 12 августа.

Проводивши тебя, любезный Тимоѳей, пришелъ я на квартиру и, помѣстившись за общій столъ, съ горестью началъ хлебать супъ; онъ тѣмъ менѣе способенъ былъ меня утѣшить, что въ немъ было больше лапши, нежели жижи. Подлѣ меня сидѣла дама, у которой мы въ Кёльнѣ замѣтили на платьѣ прорѣху, наполнившую негодованіемъ твое благородное сердце и очень утѣшившую мою нѣжную душу. Вдали юная француженка или швейцарка всею непосредственностью своего существа приводила мою душу въ гармонію. Двѣ-три рюмки краснаго вина поправили нѣсколько меня и освѣжили голову: я бросилъ одушевленный взглядъ на жизнь и, не дождавшись конца обѣда, вышелъ, чтобы пить черный кофе и курить сигарку. Это удовольствіе продолжалось почти до 4 часовъ. Отправился на лекцію — Фихте не пришелъ. «Where should Othello go?» сказалъ я, выставивъ лѣвую ногу впередъ, какъ ты, и скосившись какъ Бод—скій, — и темное чувство подъ вліяніемъ яснаго неба отвѣчало:

Zieh hin, zieh hin,
Du armer Zwerg,
Auf den Drachenfels.

Въ одну лошадь доплелся до берега, противоположнаго Кёнигсвинтеру. Вечеръ былъ чудный, но въ душѣ было не такъ хорошо, какъ третьяго дня: можешь принять за комплементъ, es war aber nicht so gemeint. Ужь солнце садилось, когда я въѣхалъ на утесъ; туманъ скрывалъ отдаленные предметы, зрительной трубы не было. Горизонтъ гораздо обширнѣе, чѣмъ съ Годесберга, но ландшафтъ не такъ хорошъ. Полюбовавшись всѣмъ этимъ, я поужиналъ и расположился ночевать тамъ же въ гостипницѣ, чтобъ видѣть восхожденіе солнца.

Но ужинъ и Гёте такъ раздражили мои нервы, что я долго не могъ уснуть — ужь было за 11, когда я замѣтилъ, что на дворѣ свѣтитъ мѣсяцъ. Я посмотрѣлъ въ щелочку: о, какъ прекрасно свѣтишь ты, луна, надъ горами! — и легъ опять. Сонъ былъ безпокоенъ и я раза два принимался кричать. Въ 5-мъ часу всталъ, чтобы обревизовать солнечный восходъ: yes, beautiful! very fine! Туманъ какъ снѣгъ лежалъ надъ Рейномъ, смотрѣть было почти нечего — и туманъ только самъ по себѣ былъ хорошъ. Между тѣмъ недоспанная ночь дѣйствовала на меня непріятно, и я отправился на лодкѣ въ Боннъ.

Нассе совѣтуетъ опять приняться за Буртштейдтъ, предоставляя выборъ жилища на мою волю. Придется видно пробыть тамъ до 15-го или хоть до 10-го сентября. Пришедши домой, я засталъ карточку Фихте и пошелъ къ нему. Онъ принялъ меня съ величайшею любезностью. Скоро дошли до философіи. Ночь сдѣлала меня глупымъ и неповоротливымъ. Говорили о Вердеръ, и онъ спросилъ: что̀ онъ? держится-ли Гегеля или selbst-

ständig? Тутъ бы можно было поразвернуться, но я былъ вялъ, не могъ много говорить и отвѣчалъ, что онъ, ни въ чемъ не противорѣча Гегелю, selbstständig, ибо сдѣлалъ систему своею и умѣлъ намъ представить ее живо. «Есть ли для него логика вмѣстѣ и метафизика? Да, это главный пунктъ. Все дѣло въ томъ: можетъ ли логика быть метафизикой?» Потомъ о Россіи, о томъ, о сёмъ. Я срѣзался, спросивши: не-племянникъ ли онъ онаго Фихте? А парень-то — родной его сынъ. «Я думалъ, вы знаете объ этомъ?» Впрочемъ, это было сказано имъ къ тому, что прежде говорилъ онъ о приглашеніи отца его въ Харьковъ. Обѣщалъ познакомить въ другой пріѣздъ съ Шлегелемъ. Впередъ пойду выспавшись. Освѣдомлялся нѣсколько разъ о Н—вѣ и приказалъ кланяться. Изъ этого можешь вывести заключеніе, что съ нѣкоторыми лицами должно говорить выспавшись, какъ съ другими—наѣвшись гороху.

Въ $2^1/_2$ отправляюсь въ Кёльнъ, а оттуда возьму одрà или Гадера и заночую на дорогѣ. Погода чудная. Сегодня ужасно рефлектировалъ — но чисто отвлеченно: о категоріяхъ an sich und für sich. Ажъ досадно! Я объяснилъ кое-что себѣ, хоть насильно, съ болью.

Прощай, дражайшій! Хочу насладиться природою, пока не въ Аахенъ. Не забудь катологъ лекцій, химію, квартиру.

Wir leben klug, doch manchmal toll,
Verzweifeln und Hoffnungen hegen,
Und warten beständig sehnsuchtsvoll,
Den besseren Zeiten entgegen!

Такъ — съ экспромпту! Ей-Богу, вотъ талантъ! не вздумай напечатать въ «Фигаро» или прочесть какому-нибудь ученому: огорчусь, ей-ей, огурчусь.

25.

Аахенъ. 18 августа.

Любезный Тимоѳей! Я отправилъ къ тебѣ письмо по пріѣздѣ изъ Бонна, теперь написалъ къ Ф-мъ. Письмо къ нимъ можетъ относиться и къ тебѣ, потому что въ эту минуту не могу сказать ничего болѣе.... Вѣроятно, я буду въ Берлинѣ раньше, нежели думалъ: дѣла на счетъ Люксембурга не кончатся, пока я не дамъ своего совѣта въ Берлинѣ. Попрошу короля отдать его Бельгійцамъ: для меня онъ это сдѣлаетъ. Я ему право отдалъ бы Ганноверъ, Ольденбургъ, Нассау, Кассель и Дармштадтъ — право, пора бы! Онъ бы за это сдѣлалъ нужныя перемѣны въ этихъ своихъ провинціяхъ. Воды опять меня поразстроили. Посмотрю — видно придется перестать пить.... Записался, шея болитъ....

Знаешь ли, что̀ пришло мнѣ въ голову? На русскомъ языкѣ нѣтъ хорошей статистики европейскихъ государствъ. Ты можешь и этимъ заняться впослѣдствіи, а теперь не пренебрегать матеріялами. Книгу можно сдѣлать очень интересною. Но объ этомъ при свиданіи. Слѣдовало только записать этотъ пунктъ.

Скажи: много ли книгъ Беттины? Я теперь прочелъ: «Briefwechsel mit einem Kinde». Тутъ не все, что̀ я прежде слышалъ. У ней много фантазіи, есть изумительно-вѣрныя мысли; но все такъ фигурно, нервно и чрезъ это однообразно и неестественно! Она была точно одушевлена, когда писала; но я знаю этотъ родъ оду-

шевленія: источникъ его не глубокъ. Фантазія много говоритъ истиннаго; но фантазія фантазируетъ часто собою, играетъ сама съ собою, любуется въ зеркалѣ: отсюда кокетство въ одушевленіи. Фантазія тогда имѣетъ особенную прелесть, когда она воплощаетъ задушевное — то, что̀ лежитъ въ Gesinnung, въ Gemüth. Ея любовь къ Гёте — мнѣ загадка. Даже есть что-то непріятное въ такой привязанности, какъ во всемъ капризномъ и исключительномъ, чему мы не можемъ дать общаго человѣческаго происхожденія. Спроси: такъ ли думаютъ Ф—ы? Сколько я заключаю изъ записки М-me Ф—ой, мы одинаково думаемъ.

26.

Аахенъ. 24 августа.

Наконецъ — время всему и время всякой вещи подъ небесемъ, говоритъ Св. Писаніе. Наконецъ пора тебѣ пріѣхать въ Берлинъ, пора получить мое письмо и отвѣчать на него.

О себѣ вамъ скажу, что я живу по прежнему: съ разстроеннымъ здоровьемъ, не принимая ваннъ, не пія водъ, ожидая пріѣзда Нассе и лучшихъ временъ, сохраняя притомъ порядочное расположеніе, Resignation, надежду, учась по-англійски, читая въ перемежку Гото, Гёте: «Tag- und Jahreshefte», и фантазируя о томъ, что̀ буду дѣлать въ Берлинѣ и какъ мы съ тобою будемъ издавать журналъ! Вотъ и начинаются параллели: во-первыхъ, мы — Шиллеръ и Гёте; Стр. — нашъ покровитель въ родѣ Веймарскаго герцога; за недостаткомъ остроумія у насъ Клюш. сочиняетъ намъ ксеніи и

Да! ты недоумѣвалъ на счетъ: «Natürliche Tochter». Гёте пишетъ, что мысль ему подали «Записки Stephanie von Bourbon Conti» и что онъ хотѣлъ здѣсь высказать все, что̀ ему давно думалось на счетъ революціи и ея слѣдствій. Послѣ этого интересны и записки Конти, и любопытно еще разъ заглянуть въ «*Естественную* дочь». Н—въ странствуетъ по Белгіи. Получилъ отъ него два письма изъ Брюсселя. Теперь онъ долженъ быть въ Антверпенѣ: на дняхъ домой. Съ wagon на желѣзной дорогѣ безпрестанно приключенія; впрочемъ всё по ночамъ, а я ему ночью строго запретилъ ѣздить. Не знаю: читалъ ли ты въ газетахъ? Экипажи, проводившіе короля въ Остенде, подъѣхали ночью къ рѣкѣ между Брюгге и Гентомъ. Фонарь, означающій, что мостъ сведенъ и готовъ къ проѣзду, горѣлъ; проводникъ, кромѣ того, подалъ сигналъ. Экипажи разогнались и первый очутился въ рѣкѣ — мостъ былъ разведенъ. Каковъ порядокъ?— Другіе, къ счастію, остановились. Погибли два человѣка; одинъ повредилъ ногу. Вѣрно, сторожъ на мосту выпилъ за здоровье короля! — Просматривая программу лекцій, я задумался: слушать ли антропологію и психологію у Габлера? и готовъ былъ оставить за множествомъ работы. Вдругъ — Lichtgedanke! Хватаю энциклопедію (доказательство, какъ полезно таскать за собою книги, которыхъ не читаешь): между антропологіей и психологіей лежитъ феноменологія; дѣло въ томъ, что въ особой книгѣ Гегель далъ этой части болѣе обширное значеніе. Не мудрено, что Габлеръ не назвалъ ее, не желая подать повода къ недоразумѣнію. Но вѣроятно, что онъ прочтетъ феноменологію въ тѣсномъ смыслѣ, т. е. свою пропедевтику. Ви-

ватъ! А остальное дослушаемъ въ Rechtsphilosophie. Итакъ беру!

У меня была-было мысль прочесть Гегелевъ подробный разборъ Фихте и Шеллинга въ 1-й части. Но посмотрю еще: я уменъ сталъ, и больше оттого, что слушаю себя. Въ этомъ опираюсь на опытъ. Ты мнѣ былъ очень полезенъ, какъ *этотъ*, всею твоею особою, и право много стимулировалъ меня, далъ новый элементъ; а впрочемъ говоришь часто глупости, но краснорѣчиво: я увлекаюсь краснорѣчіемъ. На повѣрку же выходитъ, что ты одѣвалъ ложную мысль въ краски твоей природной риторики: стало быть—ты можешь быть покойнымъ на счетъ этой стороны въ твоей диссертаціи. Да, я за нее ручаюсь. Я не знаю, что̀ хуже людямъ: самонадѣянность, или недовѣрчивость къ себѣ? Можетъ, и та и другая необходимые моменты, но послѣдняя вреднѣе. Итакъ *мутъ чефассть!* Пиши же мнѣ! Я отправилъ два письма къ тебѣ, и еще стишковъ подпустилъ. Кстати вспомнилъ остроту Клюш—а: Меж—ъ помѣщалъ иногда маленькія стихотворенъица, чистенькія и опрятненькія въ «Молвѣ». Ив. П—чъ, разсуждая о дѣлахъ міра сего, перебирая все созданіе, какъ-то: П—на, Бод—го, Гёте, Наполеона, доходитъ и до Меж—а. Ну что̀, на примѣръ Меж—ъ? Прислалъ на 8 копѣекъ стишковъ въ «Молву» и доволенъ! Да постой, попробую написать ксенію на себя, — не мѣшай!

Ксенія...

Не удалось! въ другое время!

Былъ ли у Ф—хъ? у Вердера? что̀ и какъ? Все это ты долженъ написать мнѣ подробно. Ты знаешь, что я баринъ, притомъ больной, и что твое дѣло за-

Я беру каждый день урокъ у Англичанина, который чрезвычайно много странствовалъ, былъ въ Китаѣ раза три, учился въ Бонпѣ и Пизѣ. Читаемъ съ нимъ романъ Капитана Marryat: «Jacob Faithful», Дѣло идетъ порядочно; я довольно хорошо понимаю, разумѣется— съ помощью то лексикона, то учителя.

22.

Аахенъ. 27 августа.

Ужь повѣрьте, что я великій человѣкъ! Это слѣдуетъ изъ того, что никто изъ друзей меня не понимаетъ. Впрочемъ изъ этого можно вывести и другое заключеніе, а именно: что друзья мои—Schaafsköpfe. Пріятное убѣжденіе — оно утѣшитъ за отсутствіе генія! Я говорю на счетъ клеветъ, сказанныхъ тобою Вердеру. Помнишь ли ты: по какому случаю было говорено о государствѣ? Ты обвинялъ себя въ одностороннемъ направленіи, видя въ исторіи развитіе политическихъ формъ. Я говорилъ, что въ исторіи больше и видѣть нечего, что государство въ движеніи, въ развитіи есть ея предметъ; потомъ — что государство есть полнота, цѣльность, Totalität, разумная дѣйствительность, искусство — высшее сознаніе государства — моментъ выше, безъ сомнѣнія, но который опять создаетъ новую дѣйствительность, опять является какъ государство. Не то̀ ли говоритъ и Вердеръ, съ тою разницею, что я не могу себѣ этого ясно представить въ отношеніи къ философіи? Государство имѣетъ всегда моментъ натуральности, который долженъ изчезнуть черезъ сознаніе: вотъ значеніе народа и значеніе прогресса!... Но объ этомъ послѣ. Итакъ Das herrliche

нашего времени въ томъ, что мы можемъ создать молодость? Какъ бы не такъ! Вотъ вчера ставили піявки, вода не пьется; но теперь опять дѣло, кажется, хочетъ поправиться.

Аахенъ скученъ, какъ чортъ-знаетъ что. Прочелъ: «Tag- und Jahreshefte» до 1806. Мирюсь съ Гёте, хоть не всегда симпатизирую. Такія вещи, какъ напримѣръ его отзывъ объ обращеніи Штольберга—нѣсколько строкъ — для меня особенно характеристичны: онѣ обличаютъ его высокій умъ; его вражда съ Коцебу, отношенія къ друзьямъ—такъ понятны, такія человѣческія! Не знаю: есть ли еще продолженіе?

... Въ Ш.... есть *капля* ума, есть добрыя намѣренія, но все это продавлено самолюбіемъ. Я увѣренъ, что онъ точно нѣсколько подался, но вѣрно опять впадетъ въ свое болото; отбросивъ самолюбіе, которымъ онъ здѣсь ничего не могъ выиграть, онъ долженъ былъ понравиться Вердеру. Полнаго освобожденія души не жду для него, и молю Бога самъ объ немъ! Тысяча гипохондрическихъ бредней убиваютъ душу, но онѣ имѣютъ корень — ты понимаешь это?

Твое нѣсколько разстроенное здоровье гонитъ тебя также въ гипохондрію. Но не отдавайся ей. Не рефлектируй! Право, намъ нужно пробыть эту зиму вмѣстѣ.

Отыщи Пет—ва, поклонись по восточному обычаю, принеси какіе-нибудь дары и попроси, если не любить, то по крайней мѣрѣ имѣть ко мнѣ нѣкоторую склонность. Онъ торжественно объявилъ однажды Бѣлинскому, что уважаетъ, но не любитъ меня.

Спасибо для Пушкина. Я Шамиссо читалъ какіе-

венъ. Вотъ у Фр—хъ такъ есть немножко той односторонности, въ которой ты себя упрекаешь. «Они все о пользъ». Переведу Вердеру «*Зимнюю дорогу*» прозою, какъ могу, и прочту стихи по-русски. Тутъ такая цѣлость чувства грустнаго, истиннаго, русскаго, удалаго! У Гёте есть нѣсколько такихъ стихотвореній, какъ наприм.: «Da droben auf jenem Berge» и др. У Мура, сколько я знаю, особенно много; только у Пушкина меньше фантастическаго, больше Fleisch und Blut: тутъ неразвитое, простое чувство. Но у Гёте, кромѣ того, есть много такихъ вещей, гдѣ видно его міровое развитіе, котораго, разумѣется, Пушкинъ не имѣлъ и котораго мы ему не приписываемъ; но въ этихъ простыхъ, коротенькихъ исповѣдяхъ цѣльной, живой, умной натуры — истинная поэзія! Мало ли у него такихъ вещей! Пожалуй, Баратынскій и М. Дм—евъ, Ш.... и т. п. очень много разсуждаютъ въ своихъ стихахъ. Веневитиновъ даже философствуетъ, но у послѣдняго есть по крайней мѣрѣ всегда теплота, истинное чувство, часто поэзія; но я усумнюсь сказать, чтобы въ немъ былъ зародышъ такого таланта, какой обнаружилъ Пушкинъ. У Веневитинова было художнически-рефлективное направленіе въ родѣ Гёте, и я думаю, что оно кончилось бы философіей, какъ у Гёте кончилось аллегоріею... Мнѣ много приходитъ въ голову на счетъ Гётевыхъ лицъ: всѣ они схватываютъ, обдумываютъ и высказываютъ свое *положеніе* и *образъ стоянія* въ этомъ положеніи, и чѣмъ позже, тѣмъ менѣе у Гёте чисто искусства. Это не въ укоръ; нѣтъ, онъ вполнѣ выражаетъ характеръ эпохи, необходимость ея живаго существованія. У Шиллера въ головѣ «разумная дѣйствительность», прямыя человѣ-

ческія требованія, безъ особеннаго уваженія и вниманія къ натуральной дѣйствительности — слѣдствіе его духовно-философскихъ (не натуро-философскихъ) и историческихъ занятій; его задача яснѣе и проще, онъ цѣльно рѣшаетъ ее. Такъ я себя успокоиваю въ моихъ вопросахъ объ этихъ людяхъ. И разницу ихъ, и геніяльность явно чувствуешь — хочется непремѣнно дать отчетъ; впослѣдствіи это можетъ-быть лучше объяснится и я найду Standpunkt потверже. — Вообще если трудно становится рѣшить что-нибудь, переставай думать и — *живи*. Въ сравненіяхъ и выводахъ будетъ кое-что истинное, но вѣрно вполнѣ схватишь вещь только изъ общаго живаго чувства.

28.

28 августа.

Вчера слышалъ Mlle Garcia. Первый речитативъ, пропѣтый ея могучимъ голосомъ, поразилъ меня. Въ нижнихъ нотахъ — это что-то необыкновенное. По крайней мѣрѣ, такъ кажется мнѣ — профану, незнатоку. Въ верхнихъ мнѣ казалось она дѣлала усиліе, голосъ былъ хрипокъ и перелцвы нечисты; но когда спускаетъ его, въ немъ необыкновенная прелесть. Въ заключеніе она пѣла bolero: «Ouvrez!» мило, свободно, очаровательно! У Гейнефеттеръ, у Новелло — голоса какъ-то мягче, чище; но этакую благородную свободу, увѣренность, силу у тѣхъ не встрѣтишь. Притомъ есть въ ней что-то нервное, итальянское, которое въ другую минуту и въ другомъ родѣ, можетъ-быть, и не понравилось бы. «La leçon tyrolienne» за-

taplan, plan, plan»—и такъ мило, шутя, какъ будто въ гостиной, съ прекрасными гримасами.

По всей вѣроятности, я буду скоро въ Берлинѣ. Я не шутя хочу заниматься. Въ Аахенѣ — веселости: вчера было Wettrennen, на которое я не пошелъ и на которомъ Януарій скучалъ, не смотря на его любовь къ людямъ.

30.

30 августа.

Дражайшій! Завтрешній день выѣзжаю изъ Аахена обозрѣвать сосѣдственныя страны. Къ 25-му сентября, кажется, мы должны быть въ Берлинѣ — раньше едвали удастся. Н—въ отъѣзжаетъ между тѣмъ въ Боннъ. Я пробуду дня по два въ Брюсселѣ и Антверпенѣ. Прощай! Будъ здоровъ и веселъ.

Шесть выдержекъ изъ журнала путешествія.

1.

Брюссель, 1 сентября.

Наконецъ: ich kann das Bewusstsein gewinnen, dass ich in Belgien bin. Не смотря на неожиданность этой поѣздки, не смотря на множество новаго для меня въ этомъ краю, мое путешествіе далеко чуждо той фантастической прелести, которая сопровождала меня напримѣръ въ Галиціи, гдѣ, казалось, трава росла иначе и отростки Карпатовъ, тянувшіеся во всю длину дороги, манили какою-то неясною надеждой, обѣщали впереди, чего не видалъ глазъ и не слыхало ухо...

Глухое, душевное безпокойство, борьба, Grübelei отравляли мнѣ много, но тѣмъ съ большею силою прорывалась фантазія, стѣсняемая этими бреднями; тѣмъ болѣе душа просилась на волю и вѣрила, что рано или поздно она выберется на волю, и блаженству ея не будетъ конца... Все вышло иначе; освобожденіе не совершилось однимъ ударомъ — и совершилось ли? Какъ бы то ни было, прогрессъ неоспоримъ, и если я въ прошломъ году многаго *ждалъ*, то теперь больше пользуюсь настоящимъ и мои надежды, если не богаче, то опредѣленнѣе — впрочемъ и теперь не безъ того, чтобы за ними не было туманнаго! Но есть положенія, въ которыхъ это неизбѣжно и въ которыхъ лучше дать себѣ волю — это одно средство выдти на путь. Ложное надо или замѣнить, или уже не трогать.

Кромѣ каменнаго угля, котораго запахъ напоминаетъ мнѣ всегда Краковъ, Прагу, Карлсбадъ и мое сонное путешествіе прошлаго года — на этотъ разъ ничто не переселяло меня въ старый мечтательный міръ. Да и какъ переселиться въ него? По дорогѣ видишь убранный или убираемый хлѣбъ, безпрестанно желѣзные, кирпичные заводы; въ дилижансѣ сосѣдъ Бельгіецъ и сосѣдка Бельгійка: Бельгіецъ истощилъ въ $^1/_4$ часа всю любезность и я не въ состояніи былъ поддержать ее, мало спавши ночь; Бельгійка, кромѣ общихъ истинъ на счетъ погоды и окрестности, не говорила ни слова, и я довольствовался нѣжнымъ прикосновеніемъ ея плача. Она дремала — кто знаетъ, какіе сны играли ея душою?

Дорога отъ Аахена до Люттиха изрыта холмами и пригорками. Съ вершины ихъ открываются безпрестанно обширныя равнины, по которымъ разбросаны

тысячи домиковъ съ усадьбами. Подлѣ каждаго жилья видишь клочекъ земли, обсаженный деревьями. Бѣлые домы и красныя крыши въ густой, темной зелени деревьевъ веселятъ глаза—прелесть настоящаго, слѣды бодрой и трудолюбивой повседневной жизни. Но эти пріятныя впечатлѣнія разрушаются видомъ босыхъ, оборванныхъ дѣтей, безпрестанно бѣгущихъ за каретою. Что̀ за причина этой бѣдности? Земля — образецъ плодородія; работъ, кажется, много. Или лѣнь сестра католицизму, или католическое потворство нищимъ плодитъ ихъ. Но отчего жь нѣтъ этого дальше? — Мнѣ встрѣтилось нѣсколько калѣкъ, которые заставили меня думать, что край не бѣденъ, но что это просто сборный пунктъ нищимъ — здѣсь имъ ловче бѣжать за каретою, медленно мѣряющею пригорки; тутъ много иностранцевъ, тутъ и пристанище іезуитовъ... Какъ этихъ птицъ любятъ въ Брюсселѣ, скажу послѣ.

Къ 2-мъ часамъ мы пріѣхали въ Люттихъ, благополучно избѣжавъ опасности, которой не подозрѣвали: какая-то главная цѣпь лопнула сзади кареты, только что мы спустились съ горы. Спутники мои говорили, что минутою раньше — это могло бы доставить намъ удовольствіе лежать въ оврагѣ, куда упалъ за день до этого какой-то почтенный негоціантъ. — Мы застали уже конецъ обѣда въ отели; второй назначенъ былъ въ 4 часа и я въ ожиданіи пошелъ бродить по городу.

Общее впечатлѣніе довольно ново. Мундиры, непохожіе ни на русскіе, ни на нѣмецкіе, видѣнные только на картинкахъ, изображающихъ Наполеоновы походы, французскій языкъ по улицамъ, омнибусы, разъѣзжаю-

щіе по городу — все это занимало и радовало меня, сколько можетъ занимать и радовать человѣка, котораго ужь не *надуетъ*; но что̀ противно — это множество капишоновъ на улицахъ. Старый дворецъ на широкой площади бросается въ глаза, импонируетъ своею массою. Архитектура его, сколько позволено мнѣ судить, проста, довольно пріятна, но не имѣетъ ничего особеннаго. Знаменитая St. Jacques не сдѣлала на меня большаго впечатлѣнія. Ея потолокъ съ переплетами, расписанный пестрыми узорами, усаженный головками, очень красивъ, хоть довольно забавно соединеніе религіозныхъ предметовъ съ профанными. Въ одномъ мѣстѣ, напримѣръ, не далеко отъ нарисованнаго паяца спускается внизъ съ потолка статуя Богоматери!... Вообще здѣсь не видишь ни чистой, первобытной, исключительной религіозности, ни новой свѣтской красоты, которая, какъ ни мало она клеится съ идеею храма, есть по крайней мѣрѣ одна въ живыхъ оставшаяся здѣсь наслѣдница древняго благочестія.

До Брюсселя мы не ѣхали, а летѣли; но какъ въ нашемъ полетѣ мы сдѣлали порядочный крюкъ (чрезъ Мёхельнъ), то не могли быть на мѣсто раньше $^1/_2$ двѣнадцатаго, хотя тронулись изъ Анса въ семь. Дорога идетъ плоскою равниною и удалена отъ жилищъ, которыя одни могли оживить ее. Но слѣды труда, промысла, видишь на каждомъ шагу — хлѣбъ сжатъ такъ, что нива кажется *выбритою*. Спутники молчали. Одинъ изъ нихъ былъ фратре: отъ его рясы или шапки воняло, какъ отъ Богъ знаетъ чего!

Около Брюсселя показываются болотца, тянется лугъ — такія мѣста я люблю по привычкѣ. Досадно,

совершенно лишенъ возможности наслаждаться этимъ смѣшаннымъ предчувствіемъ, съ какимъ смотришь на городъ, показывающійся издали. Прочитавши въ книжкѣ имя гостинницѣ: Groenendael и узнавъ ея значеніе: comfort flamand, я изъявилъ желаніе туда ѣхать. Меня посадили въ омнибусъ съ нѣсколькими флегматическими фигурами, которыхъ я счелъ за Голландцевъ, и очень серіозно наблюдалъ на лицѣ ихъ «ненависть къ Бельгіи.» — Но кажется, что они, или по крайней мѣрѣ большая часть, были просто Фламандцы. Но вотъ женская фигура—вотъ за нею еще три: ужь это барышни. Одна садится ко мнѣ, открываетъ окно, а я въ угодность ей—другое. Она не хороша, но мила очень, и я радовался, что мы будемъ стоять вмѣстѣ, и я заведу знакомство, но не тутъ-то было. Онѣ сошли, кажется, къ Hôtel des Colonnes, Только самолюбіе удержало идти за ними, — онѣ напередъ слышали, что я назвалъ Hôtel de Groenendael. Впрочемъ неловкость: я бы легко могъ перемѣнить свое рѣшеніе. Дамы поклонились и ушли. Поклонъ красавицы я перетолковалъ въ свою пользу, точно какъ смѣхъ ея за минуту до этого принялъ на счетъ моего носа. Когда я пріѣзжаю въ новый городъ, сознаніе своего одиночества наводитъ на меня не грусть, но какую-то непріятную сухость. Ищешь живаго центра этимъ зданіямъ, ищешь живаго уголка, гдѣ бъ можно отдохнуть, и женщина играетъ здѣсь вѣрную роль. Schönseeligkeit! — можетъ-быть, но едвали не необходимая въ человѣкѣ, не такъ созданномъ, чтобъ для него вездѣ вдругъ являлись знакомства и связи, особенно... Деревяшка не нога, на деревяшкѣ худо ходить; но если пѣтъ ноги, лучше

ходить на деревяшкѣ, чѣмъ безъ нея. Лучше какая-нибудь погода, чѣмъ никакой...

Св. Гудулу видѣлъ только снаружи: прекрасное зданіе! Еще болѣе сдѣлало на меня впечатлѣніе Hôtel de Ville, хоть можетъ-быть не такое художественное — причины субъективны; завтра, можетъ-быть, будетъ иначе. Вечеромъ былъ въ театрѣ въ паркѣ. И залъ, и актеры—дрянь. Въ водевилѣ безпрестанныя насмѣшки надъ католическими аббатами и корпораціями. Актеръ, игравшій роль заѣзжаго пѣвца, одѣвается капуциномъ. «Гдѣжь ты досталъ это платье?» спрашиваетъ его пріятель. Тотъ разказываетъ ему исторію, не помню какую, только съ какимъ-то скандаломъ. «Но какъ же капуцинское платье туда попало?» — «Э, любезный, не ужели вы думаете, что есть мѣсто, куда бы эта одежда не заходила?» При этихъ словахъ поднялись рукоплесканія и крики: браво! браво! которымъ я также помогъ.

Изъ этого видно, какъ ненавистно Брюссельцамъ это пламя и какую роль, между тѣмъ, оно у нихъ играетъ: иначе они удовольствовались бы улыбкой. — Вечеромъ читалъ: «Les Eumenides», изданіе какого-то демагога-фанатика: стихи и проза, написанные ужаснѣйшимъ натянутымъ языкомъ. Признаюсь, едвали гдѣ-нибудь свобода печатанія доходитъ до такой необузданности, какъ здѣсь. Виньетка впрочемъ не дурна! Какая-то духовная особа, чуть-ли не Папа, благословляетъ другую духовную особу, стоящую на колѣнахъ; съ другой стороны, на колѣнахъ мужчина въ военномъ мундирѣ. Толпа аббатовъ окружаетъ ихъ; одинъ, отвернувшись въ сторону, деретъ листъ, на

простираютъ змѣй на эту толпу; подальше на скамьѣ — сидитъ еще кто-то въ военномъ мундирѣ; поодаль — ветеранъ на деревяшкѣ грустно смотритъ на всю сцену; мужчина въ блузѣ обратился къ нему и указываетъ пальцемъ на происходящее...

Работаютъ надъ памятникомъ Бельяру. Статуя еще не додѣлана, и, сколько я могъ разсмотрѣть въ потемкахъ, завѣшена. Новый дворецъ противъ парка — блестящій и вообще вся эта площадь хороша. Пора спать. Завтра новые подвиги.

II.

2 сентября.

Сегодня заходилъ въ церковь св. Гудулы. Первое впечатлѣніе необыкновенно. Это еще первая церковь, сильно поразившая меня. Этому много содѣйствуетъ то, что она не замощена скамьями, которыя обыкновенно портятъ католическія церкви. Свѣтъ щедро льется въ двойной рядъ оконъ. Передніе расписаны, живопись сохранена во всей цѣлости. Солнечные лучи сквозили въ одно изъ цвѣтныхъ оконъ, когда я вышелъ въ двери, и придавали еще болѣе прелести храму. Рядъ простыхъ, прекрасныхъ колоннъ, уставленный статуями Апостоловъ, подпираетъ потолокъ; рядомъ съ хоромъ (такъ, кажется, называется возвышеніе надъ алтаремъ)—двѣ часовни. Это не что-нибудь въ родѣ мелочныхъ лавочекъ, какъ бо́льшая часть католическихъ часовенъ: нѣтъ, они составляютъ одно цѣлое со всею церковью; каждая изъ нихъ соединена съ nef двумя аркадами en ogive, сквозь которыя свѣтятся росписныя окна. Чудное впечатлѣніе этой церкви долго держало меня подъ властью своею. Чтобы

разсѣять его, нужна была вся пошлость и скука проповѣдикагора, которому я изъ любопытства посвятилъ свое вниманіе на нѣсколько минутъ. Можно говорить обыкновенныя, ходячія мысли, но такъ, чтобы въ нихъ была сохранена тѣнь разума; а ораторъ, который декламировалъ съ каѳедры, несъ такую чушь, что не было возможности найдти какую-нибудь связь между его тезисами, которые, сверхъ того, и наружно были разорваны сморканьемъ, плеваньемъ въ платокъ и потомъ растираньемъ того, что̀ оставалось въ платкѣ, какъ результатъ этого сложнаго процесса.

Imaginez vous! встрѣтилъ здѣсь вчерашнихъ спутницъ, молились очень усердно. Одна изъ нихъ, съ которою я столкнулся, подарила меня поклономъ; но эта была не та, въ которую я предполагалъ влюбиться.

Потомъ — Palais des beaux arts. Такъ какъ передъ нимъ я посѣтилъ Café des milles colonnes, гдѣ меня угостили хорошимъ шеколатомъ и стаканомъ бордò, то живопись производила на меня сначала необыкновенное дѣйствіе. Въ первыхъ двухъ комнатахъ собраны картины, неозначенныя въ моемъ катологѣ, съ надписью: «Du gouvernement». — По всѣмъ примѣтамъ, большая часть ихъ принадлежитъ новымъ живописцамъ. Сюжетъ одной изъ нихъ ужь носитъ печать ново-французскаго направленія: живой остовъ лежитъ среди умершихъ голодною смертью; вокругъ разбросаны оглоданныя кости; вдали море и парусъ. Не входя въ подробности, главное мнѣ кажется удачно исполнено. Другая картина, сдѣлавшая на меня впечатлѣніе, — женщина съ выраженіемъ силь-

больнаго или голоднаго мальчика; при этомъ еще пластическая красота ея лица и граціозное, но простое положеніе (какъ мнѣ кажется), удачное расположеніе красокъ въ одеждѣ — дѣлаютъ сильный эффектъ на нашего брата. На картинѣ стоитъ: Rome, 182.

Потомъ — дѣвушка кормитъ свиней, другая смотритъ на это съ улыбкою, чрезвычайно характеристическою; особенно хороши ея косы, отдѣлившіяся отъ головы. Смуглый красавецъ, пастухъ, ставъ на колѣно, пьетъ изъ кувшина, который подаетъ ему молодая женщина; другаа полузадумчиво смотритъ изъ-за угла на эту картину; вечеръ.

Въ дальнихъ комнатахъ одна картина заняла меня не исполненіемъ, но сюжетомъ: старикъ въ красной мантіи, съ выраженіемъ грусти и страданія, цалуетъ въ голову мальчика, который прижимается къ нему. Дѣвушка, стоявшая передъ нимъ на колѣняхъ, падаетъ въ обморокъ; молодая женщина лежитъ на полу. Мужчина спѣшитъ закрыть окошко, выходящее на площадь, гдѣ возвышается башня ратуши и палачъ, въ толпѣ народа, держитъ голову въ рукахъ.... Это казнь Эгмонта; лица, представленныя на картинѣ, должны быть: его отецъ, жена, дѣти. Не знаю: кто мужчина, сжавшій мечъ въ рукахъ—не сынъ ли? — Другой, стоящій сзади, закрываетъ бюстъ чернымъ флёромъ. Примѣчательно, что эту картину объясняла дѣвочка лѣтъ 13-ти отцу, или родственнику, ходившему съ ней, и въ добавокъ—объясняла по-нѣмецки. Мнѣ захотѣлось читать Шиллера: «Исторію отпаденія Нидерландовъ»— а гдѣ ее достанешь и когда читать? — Я досадовалъ на свои короткія, отрывистыя, энциклопедическія свѣдѣнія въ исторіи. Мнѣ такъ хотѣлось воскресить пе-

редъ собою все гигантское прошедшее и подъ его свѣтомъ смотрѣть на настоящее!

Еще картина, примѣчательная сюжетомъ, изъ Бельгійской революціи 30-го года: должно быть смерть Мероде; но я ее хорошенько не понялъ. А propos: въ одной часовнѣ въ церквѣ св. Гудулы поставленъ ему памятникъ. Онъ представленъ въ ту минуту, когда получаетъ рану; опираясь на лѣвую руку, онъ сжимаетъ правою пистолетъ; судорожное движеніе губъ выражаетъ сосредоточенное страданіе. На картинѣ женщина въ слезахъ зажимаетъ ему рану платкомъ.— Куплю коротенькую исторію этой революціи: ничего не знаю объ ней.

Въ физическомъ кабинетѣ изображенъ accident на какой-то парадной охотѣ: приключеніе Маріи Бургундской въ Брюгге. Беременная, она упала съ лошади и, постыдившись признаться, умерла. Интересны костюмы. Ужасъ лицъ слишкомъ однообразенъ. Не дурно лицо пажа, склонившагося надъ упавшею дамою, и лице и положеніе другой, которой лошадь удерживаетъ мужчина и какъ будто успокоиваетъ. Рубенсовы лица индивидуальны: вотъ одно достоинство, которое я былъ въ состояніи въ нихъ замѣтить—этого впрочемъ ужь много. Мнѣ нравится то, что̀ говоритъ про него Гёте.

Что̀ вспомню — запишу послѣ. Иду бродить.

III.

3 сентября.

Сегодня ѣздилъ въ Ватерлоо. Брабантъ очень наво-

ница — въ обработкѣ.... Есть непреодолимая прелесть въ этихъ мызахъ, заботливо обсаженныхъ деревьями, въ богатой растительности — es wird einem dabei ganz spiessbürgerlich zu Muthe и тутъ мудрено имѣть какія-нибудь мечты, кромѣ мѣщанскихъ.

Взглядъ на поле сраженія далъ возможность понять нѣсколько главныя обстоятельства дѣла, такъ безтолково разказанныя въ моей книжкѣ.

Сраженіе было при деревушкѣ Mont-Saint-Jean, лежащей версты три отъ Ватерлоо, дальше по дорогѣ къ Шарлеруа. Позиція Англичанъ была отъ Ferme la Haye до замка Houguemont, котораго остатки съ часовнею видны съ пригорка, гдѣ памятникъ. Онъ былъ на правомъ флангѣ англійской арміи. La Haye-Sainte небольшой логъ между этими пунктами; главная драка шла тутъ за возвышеніе, которое безпрестанно переходило изъ рукъ въ руки. Подъ Неемъ было убито пять лошадей! Онъ заслуживалъ умереть здѣсь.

Между пригоркомъ надъ La Haye-Sainte и памятникомъ срыто десятинъ на пять (если помню) земли для насыпи подъ льва. Между Haye-Sainte и Houguemont тянется ravin, раздѣлявшій двѣ арміи; на этомъ пунктѣ сосредоточилась битва при появленіи Блюхера. Не помню хорошенько: Quatres-bras или Линьи, виднѣется влали съ холма, — кажется, первое.

Жители продаютъ мѣдныхъ орловъ, пули, пуговицы, найденныя на полѣ битвы. Я долженъ былъ купить нѣсколько этихъ вещей. Хозяйка гостинницы въ Mont-Saint-Jean предлагала мнѣ найденную здѣсь шпагу: я посовѣтывалъ приберечь ее для какого-нибудь англичанина.

Здѣсь хоть тѣмъ хорошо, что при вопросѣ о цѣнѣ

не слышишь: Nach Belieben. Это ловко. Проводнику 5 франковъ. За орла и пулю 1 фр. За поѣздку безъ торгу 15 фр. въ Vigilante въ одну лошадь.

Вечеромъ — въ театръ. Robert, игравшій нѣмаго, прекрасной наружности, и игралъ съ одушевленіемъ, благородно и естественно. Я лучшаго мнѣнія о здѣшней труппѣ, чѣмъ прежде.

A propos ужина, который у меня на столѣ: какую чудную телятину давали мнѣ въ Mont-Saint-Jean! — даромъ что простая гостинница въ родѣ тѣхъ, въ которыхъ останавливаются Gelegenheit въ Германіи.

Проводникъ мой былъ проводникомъ Miss Trollop. Меня онъ, кажется, считалъ за Англичанина: они особенно посѣщаютъ Ватерлоо. Онъ былъ въ сосѣдней деревнѣ во время сраженія и говоритъ, что долго еще потомъ пальба отдавалась у него въ ушахъ — поле покрыто было раненными, которые кричали: Vive l'Empereur! — Не хвалитъ побѣдителей, Пруссаковъ. Но тутъ, гдѣ ужь думать о дисциплинѣ и человѣчествѣ! Доволенъ новымъ порядкомъ вещей: прежде дискать были непомѣрныя подати! Это меня навело на мысль: Брабантъ и вообще южные Нидерланды остаются вѣрными себѣ — они воспитаны на привилегіяхъ и торговое стѣсненіе всегда было источникомъ переворотовъ.

Какъ глупо ругаются здѣсь въ журналахъ! какія площадныя сплетни! Про одного губернатора разказываютъ, какъ онъ въ старину закладывалъ свой замасленный кафтанъ; Мёхельнскаго епископа называютъ Maligne — ois; впрочемъ дѣльно сердятся, что ему дали 45,000 фр. на поѣздку въ Римъ; а что про Австрію пишутъ — и говоритъ нечего. Но все такъ пошло и

IV.

Антверпенъ. 5 сентября.

Вчера пріѣхали въ Антверпенъ. Соборъ снаружи не сдѣлалъ особеннаго впечатлѣнія: много портило, что его поправляли. За то — внутри! О Рубенсѣ скажу опять тоже — живъ, индивидуаленъ. Въ музеѣ — его «Распятіе»: это смерть человѣка со всѣми ужасами ея впечатлѣнія на близкихъ и друзей. Въ St. Jacques хороша его картина, надъ гробомъ: «Св. Семейство», состоящее изъ портретовъ его семейства. Но безъ голыхъ фигуръ ему жить нельзя! Театръ некогда видѣть: вчера не было спектакля, сегодня ѣду.

V.

Брюгге. 7 сентября.

Гентъ всѣмъ бы хорошъ, кабы не дождь. Особенно хороша Hôtel de Ville тою стороной, которая выходитъ на улицу. Вопреки Нев. книжкѣ, тутъ больше средніе вѣка, чѣмъ въ Брюгге: видѣлъ въ церкви св. Бавона знаменитаго «Агнца» Ванъ-Эйка. Благоговѣніе — общее выраженіе всѣхъ лицъ, но не безъ индивидуальности. Менѣе нахожу я ея въ Гемлингѣ. Его фигуры нѣжнѣе, но отвлеченнѣе. Въ нихъ задумчивая кротость, Ванъ-Эйкъ *derber*.

Музея не удалось видѣть. Выставка новыхъ картинъ, бывшая въ немъ, кончилась, а старыя еще не на мѣстахъ. Частное собраніе г. Шампъ, которое особенно славится, не успѣлъ видѣть. За то видѣлъ другое частное собраніе. Хозяинъ особенно восхищался картиною, которую онъ называлъ изъ первыхъ временъ Рафаэля. Она похожа на Гемлинговы характеры

un peu plus prononcées:..Ванъ-Дайкова «Мадонна» полна жизни и прелести. «Самаритянка» (жена Рубенса) для меня ничѣмъ непривлекательна; даже въ лицѣ ея незамѣтно той жизни, которая составляетъ характеръ Рубенсовыхъ картинъ. Впрочемъ, въ отношеніи къ жизненности, настоящему колориту, даже выраженію, я слишкомъ часто ошибаюсь, и именно — въ дурную сторону, т. е. не замѣчаю хорошаго. Кажется, Ванъ-Эйка «Семейство», гдѣ Іосифъ совсѣмъ отличенъ отъ другихъ, больше похоже на Винчи. Хороши лица въ картинѣ Тиціана.

Два мальчика — Мурилльйо (такъ говоритъ хозяинъ): одинъ испугался негра, протягивающаго руку, и прикрываетъ горшокъ съ похлебкою; плачущая мина. Еще два мальчика Мурилльйо: одинъ жуетъ стоя, а другой сидитъ.

Въ Брюгѣ. Взошелъ прежде всего на Tour des Halles, чтобы обозрѣть городъ — безпредѣльная равнина, усѣянная деревьями, которыя сгущаются вдали и образуютъ лѣсъ на горизонтѣ. Каналы Гентскій и Остендскій прорѣзываютъ эту равнину. Внизу краснѣютъ черепичныя крыши. Башня довольно живописна. Карилльйоны надоѣли: спать не даютъ.

Вчера обозрѣлъ мимоходомъ церковь St. Sauveur: ничего не удержалось особеннаго въ памяти. «Св. Баромей», — чуть ли не Ванъ-Остада — дающій причастіе во время чумы, довольно хорошъ, особенно больные и женщина. Сегодня былъ въ Hospice de St-Jean. La châsse St. Ursulle *) — это ковчежецъ, на которомъ съ одной стороны изображено прибытіе св. Урсулы въ Кёльнъ: она

выходитъ изъ судна и ее принимаютъ подъ руки. Лица очень общи, удовольствіе, любопытство отвлеченно выражаются въ нихъ. Косы за ухо у св. Урсулы сдѣланы очень мило. Но что̀ лучше всего—это Кёльнъ, съ его недоконченнымъ соборомъ: всѣ подробности неподражаемы! Какое-то пріятное, младенческое ощущеніе распространяется въ душѣ при видѣ этихъ подробностей, такъ отчетливо, мелко отдѣланныхъ! При небольшомъ достоинствѣ лицъ можно подумать, что это негеніяльный списыватель. Эта мысль разстроила нѣсколько первое впечатлѣніе (какъ и всегда, quand on craint d'être dupe; но не надо бояться младенческихъ удовольствій, — не то̀ вѣкъ останешься младенцемъ; надо перейдти, а это дѣлается само, будь только совѣстливъ); но нельзя передать этого вѣрно безъ самаго живаго воображенія—безъ добраго, младенчески-поэтическаго, свѣжаго чувства природы со всѣми ея простыми подробностями, — безъ спокойнаго, углубляющагося чувства нѣмецкой натуры. Потомъ—прибытіе св. Урсулы въ Римъ, причащеніе; на оборотѣ—возвращеніе въ Кёльнъ; мученіе — въ послѣднемъ характерно лицо воина, который съ довольствомъ смотритъ, опираясь на бердышъ.

Геммлинга: «Mariage mystique de S-te Catherine» — Богоматерь — impassible — держитъ Спасителя, который даетъ колечко св. Екатеринѣ. Она также неподвижна, съ общимъ выраженіемъ благоговѣнія, молодое лицо, свѣжое, kindlich unbefangen. Коверъ у ногъ Богоматери чудесно отдѣланъ.

Ванъ-Дайка: опять Богоматерь, безъ особенной пластической красоты, съ пріятными чертами, но живая вполнѣ, и чудесный спящій младенецъ.

Въ Музеѣ. Геммлинга: «Крещеніе Христа» — общее. Чудесны его ангелы и игра свѣта и цвѣтовъ въ небольшой картинѣ, гдѣ Спаситель-младенецъ лежитъ на полу, надъ нимъ склонилась Богоматерь — опять общее кроткое лицо. Ангелы прилетѣли съ праваго верхняго угла картины. Передній въ бѣломъ платьѣ съ подробными складками, за нимъ въ розовомъ, далѣе въ красномъ платьѣ; бѣлыя и розовыя крылья подбиты зелеными перушками; свѣтъ зари, красноватый, падаетъ на лица въ темномъ, противоположномъ углу картины.

«Богоматерь со Спасителемъ» Ванъ-Эйка, передъ нимъ на колѣнахъ старикъ св. Донатъ и воинъ св. Георгій, улыбающійся: derb und individuell.

Клаэссенсъ: по приказанію Камбиза, дерутъ кожу съ судьи, половина икры содрана и работа на поворотъ; несчастный страшно обнажаетъ зубы и судорожно гнетъ руку; другіе исполнители правосудія начинаютъ задирать въ другомъ мѣстѣ. Страшная, отвратительная натура!

Опять Геммлингъ (кажется): «Усѣкновеніе главы Іоанна». Иродіада—нѣсколько ужаснувшаяся; дворъ сдѣланъ чудесно. Вдали Іорданъ и крещеніе. Перспектива, кажется, неправильная.

Хороша здѣшняя Hôtel de Ville.

VI.

Остенде. 8 сентября.

Дождь, слякоть, скука преслѣдовали во время пути изъ Брюгге въ Остенде. Къ счастію, оно продолжалось не болѣе 40 минутъ. По пріѣздѣ не было омнибусовъ—принужденъ былъ идти пѣшкомъ. Послѣ обѣда, за которымъ англійскія, фламандскія и французскія

фразы въ хоръ томили слухъ,—отправился подъ защитою зонтика къ морю. Улица привела меня къ укрѣпленію, на которомъ стоитъ вѣтренная мельница; я взошелъ на него и сѣрое туманное море открылось передо мною. Мелкій дождь матросилъ безъ умолку, облака неслись какъ дымъ и вдали сливались съ моремъ. Мнѣ было скучно съ утра—и раньше; море примѣшало къ скукѣ грусть. Мнѣ хотѣлось опрометью бѣжать опять въ Германію, въ Берлинъ, приняться скорѣе за какое-нибудь дѣло, освободиться отъ этой тяжелой игры впечатлѣній, отъ вліянія неба и погоды.

Сегодня ходилъ по порту два раза: въ первый опять дождь преслѣдовалъ меня; во второй, около полудня, немного прояснилось и заѣзжіе зѣваки, мужчины и дамы, ходили по укрѣпленіямъ. Хотѣлось бы видѣть море въ тихую, ясную погоду, а такъ — оно грустно!

Письмо къ брату.

20.

Берлинъ. 1 ноября н. с.

Я сегодня не могу писать къ тебѣ много. Благодарю тебя, мой милый! Теперь смѣло можешь писать и говорить мнѣ обо всемъ. Не бойся никогда поразить меня: въ ней я потерялъ не ту, которую любилъ, но которой жизнь, можетъ-быть, сдѣлалъ бы безотрадною. Судьба кончила все, какъ обыкновенно кончаетъ: она разложила вину — ея память освѣщаетъ душу мою, которую сушила неестественность положенія; я хотѣлъ бы долѣе удержать образъ ея, который потускнѣлъ въ моей памяти.... Милый братъ! намъ осталось идти

впередъ. Горькимъ опытомъ ты на всегда освободишься отъ несчастныхъ ошибокъ. Жизнь твоя въ тебѣ,— въ твоей безконечной и безстрашной дѣятельности, въ твоей любви, и только сознавая въ себѣ такую жизнь, можно любить и быть увѣрену, что любишь!

Опять въ Берлинъ.

Опять больнымъ, опять невѣждой,
Я возвращаюся въ Берлинъ;
Опять въ душѣ моей съ надеждой
Ведетъ войну мой старый сплинъ!
Я стану жить умно, учено,
Я сяду въ прежнюю ладью;
Опять увижу Д — на,
Опять увижу п — ью.
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Найду друзей, быть-можетъ, новыхъ,
У старыхъ душу отведу,
Напьюся чаю у Ф — выхъ,
И ровно въ десять спать пойду.
Поутру больно что-то шеѣ,
Желудокъ плохъ . . . . .
Давай стаканъ воды скорѣе,
По предписанію врача.
Потомъ пошли опять науки,
Гулянья, завтракъ и обѣдъ,
Тоска и грусть, частичка скуки,
Потомъ беру въ театръ билетъ.
Тамъ Гернъ: онъ выше всѣхъ условій!
Смѣшитъ и мертвыхъ и живыхъ!
Я прихожу домой здоровѣй —
И ночью снится Клара Штихъ.

1839.

Записка, посланная на квартиру Т. Н. Гра — ю.

31.

Берлинъ.

Слабость въ жаръ бросаетъ каждую минуту. Дѣлать ничего не могу: сижу, сложа руки, или хожу по комнатѣ. Баре прописалъ вчера мнѣ еще капли, кажется — успокоивающія и прохлаждающія. Говоритъ: «Надѣюсь, что къ веснѣ лучше будетъ.» Хорошо бы и это; да не хорошо, что крыши опять побѣлѣли.

Пошлю Штифеля купить вновь-вышедшую книгу: «Buntes Berlin».—Завтра пришлю ее тебѣ.

.... Видѣлъ во снѣ, что мы поссорились съ какимъ-то толстякомъ за мѣсто въ театрѣ; сначала онъ былъ грубъ, потомъ струсилъ, наконецъ опять расхрабрился и обидѣлъ какъ-то, такъ что ты совсѣмъ сконфуженный вышелъ на крыльцо и жаловался мнѣ. Я утѣшилъ тебя; мы сѣли на русскія дрожки, и когда отъѣхали на нѣкоторое разстояніе (такъ что ему нельзя было догнать насъ), то я показалъ ему кукишъ. «Дурачье!» сказалъ онъ хладнокровно и пошелъ назадъ. Пиша послѣднюю вещь, я улыбнулся, а Шифельпуцеръ замѣтилъ это, началъ хохотать и говорить что-то, чего, разумѣется, я не понялъ. Говоритъ, что будетъ смотрѣть на тебя, когда ты станешь читать письмо: какое ты сдѣлаешь лицо?... Логики сегодня ужь не слушать.

22.

Дрезденъ. 14 іюня.

Ты ждешь меня въ Зальцбруннѣ? Подожди же еще немножко: можетъ буду, можетъ не буду. При выѣздѣ моемъ изъ Берлина, Dr. Ascherson прислалъ записку Вердеру, въ которой рекомендовалъ мнѣ для консультаціи д-ра Кларуса въ Лейпцигѣ; но этотъ докторъ уѣхалъ въ Англію, Крейзигъ умеръ чуть ли не въ тотъ день, какъ Вердеръ посылалъ меня къ нему. Слава Богу — что третій д-ръ Пехъ въ Дрезденѣ остался живъ и дома. Онъ сказалъ, что Зальцбруннъ мнѣ очень хорошъ, а лучше еще, говоритъ онъ, Крейтъ.. Спѣшить, говоритъ, нечего; говоритъ — и въ августѣ не поздно, болѣзнь, говоритъ, не усилится: что̀ тутъ дѣлать? Я подумалъ, да и взялъ мѣсто въ дилижансѣ въ Берлинъ. «Скотина!» говоришь ты, искрививъ носъ и наморщивъ лобъ, какъ ты это обыкновенно дѣлаешь, когда во мнѣ является какое-нибудь геніяльное рѣшеніе. «Самъ!»—отвѣчаю я, какъ отвѣчаетъ всегда геній толпѣ, съ презрѣніемъ —

Въ Берлинъ, въ Берлинъ — мнѣ нѣту мочи!
О другъ, въ Берлинѣ шумны дни!
О другъ, въ Берлинѣ сладки ночи!
Тамъ Берта, д-ръ Ашерсонъ,
И докторъ Вольфъ, и женскій сонъ;
Тамъ Гропіуса діорама —
Ее хочу увидѣть страхъ;
Тиргартенъ тамъ; на лошадяхъ
Тамъ скачетъ кавалеръ и дама!

Что̀ тебѣ сказать, душа моя, о выѣздѣ изъ Берлина? Она плакала.... Дорогою пошла работа мысли... Уфъ!

сознаніе, отчетъ, привычка, недовѣрчивость, раздоръ, наконецъ раздраженіе нервъ, хандра. Въ Дрезденѣ сначала не могъ смотрѣть на свою комнату, — но понималъ, видѣлъ насквозь умомъ это гнусное состояніе. Желаніе посовѣтоваться съ докторомъ Вольфомъ и гипохондрическія бредни заставляютъ меня воротиться въ Берлинъ на нѣсколько дней. Кромѣ того, тутъ есть нѣчто въ родѣ «Тишлермейстера» — любопытно впечатлѣніе Берлина! Не знаю: повторится ли эта болѣзненность при выѣздѣ, но готовъ ее еще разъ вытерпѣть, да и баста.

Mmes Pl. и К—ни, сестры Mme Фр., приняли меня радушно. О ихъ фамиліи вообще я сообщу тебѣ лично свои замѣчанія. Видѣлъ и общество у Mme К-ни—чудеса да и полно. Прощай пока! лѣчись хорошенько и не хандри. Пойду проходиться! Не дождусь ночи, чтобы ѣхать — здоровье сносно, хоть раздраженіе есть.

22.

Берлинъ.

Вольфъ рѣшительно посылаетъ меня въ Зальцбруннъ, потомъ въ Швейцарію... Но онъ растолковалъ мнѣ почему, и я ѣду покоенъ. До скораго свиданія! Купилъ Фосса. Съ необыкновеннымъ удовольствіемъ прочелъ двѣ пѣсни Одиссеи.

Письма къ Мар. Пав. К—ни.

24.

Зальцбруннъ. 21 іюля.

Не знаю, какъ объяснить вамъ мою благодарность за ваше письмо и за ту доброту, за то вниманіе, ко-

торыя вы мнѣ оказываете. Лучшаго подарка я не могъ ожидать, и ваши строки были мнѣ отрадою въ моемъ одиночествѣ и еще нетерпѣливѣе заставили меня ждать той минуты, когда, оставивъ это заточеніе, я въ вашемъ обществѣ возвращусь къ жизни. Это ожиданіе даетъ мнѣ силы съ покорностью къ судьбѣ и моему доктору дожить еще три недѣли въ Зальцбруннѣ, который не имѣетъ для меня ничего привлекательнаго, кромѣ обѣщанной мнѣ отъ него пользы. До сихъ поръ, сколько мнѣ кажется, онъ имѣлъ на меня довольно хорошее вліяніе, и я утѣшаю себя надеждою, что, увидѣвшись съ вами, буду менѣе докучать вамъ моимъ кашлемъ. Вотъ все, что̀ я въ отвѣтъ на ваше доброе желаніе могу сказать вамъ о моемъ хорошемъ пріятелѣ, т. е. о себѣ. Безъ шутокъ, я не рѣшилъ еще вопроса: въ самомъ ли дѣлѣ у В—ра одинъ знакомый? но что̀ касается до меня, то могу васъ увѣрить, что, кромѣ Станкевича, у меня нѣтъ пріятелей въ Зальцбруннѣ.

Если же вамъ угодно будетъ услышать что-нибудь о здѣшнемъ обществѣ, то я могу только отвѣчать, что оно состоитъ большею частію изъ польскихъ жидовъ; есть тутъ также нѣсколько польскихъ фамилій, съ которыми мало сближаются и нѣмцы, и еще менѣе русскіе: онѣ составляютъ особое общество между собою, въ которомъ имъ, можетъ-быть, и весело. Нѣмцевъ здѣсь очень мало; мое единственное знакомство составляетъ одинъ старичокъ, русскій консулъ изъ Данцига, съ которымъ мы чинно ходимъ около источника и разсуждаемъ о турецкомъ вопросѣ. Два раза въ недѣлю бываютъ здѣсь балы, которыхъ я, какъ больной хо-

на нихъ не всегда бываетъ музыка и что на послѣднемъ гости играли въ горѣлки. Во всемъ Зальцбруннѣ существуетъ одинъ table d'hôte и за этотъ одинъ очень рѣдко садятся дамы, можетъ-быть—опасаясь быть облитыми супомъ; прислужники забываютъ часто подать ножъ и вилку, но потомъ очень вѣжливо извиняются, говоря, что это отъ *невниманія*.

Одно, что̀ выкупаетъ нѣсколько полное отсутствіе цивилизаціи въ этомъ гнѣздѣ, — это пріятность и разнообразіе видовъ; но я не могу еще вполнѣ наслаждаться природою, потому что мой строгій докторъ боится, чтобъ моя кровь не взволновалась, и не отпускаетъ далеко отъ дома.

Вы вѣрно, напротивъ, пользуетесь въ Маріенбадѣ всѣмъ, что̀ только можетъ дать европейская жизнь и европейское общество — завидовать грѣшно, но не грѣхъ желать и себѣ того же. Но вотъ скоро предстоитъ мнѣ путь въ Интерлакенъ. Если вы пробудите въ Преффорсѣ до послѣднихъ дней августа, то я надѣюсь имѣть удовольствіе встрѣтиться съ вами въ Швейцаріи; не то — я опять долженъ буду замѣнить пріятную дѣйствительность надеждою и возложить надежду на Флоренцію, въ которую я готовъ переселиться вслѣдъ за вами, если вы только не нарочно бѣжите отъ меня. Но думать такимъ образомъ значитъ — быть самолюбивымъ, приписывать себѣ слишкомъ много значенія, считать себя геніемъ въ скучномъ родѣ, — итакъ я готовъ во Флоренцію. Но надѣюсь, что до тѣхъ поръ вы мнѣ позволите написать вамъ еще разъ, или отсюда или, можетъ-быть, изъ Интерлакена, куда я думаю двинуться отсюда 10-го или 15-го августа.

Пользуясь предоставленнымъ мнѣ вами выборомъ пи-

сать по-русски или по-французски, я изъ самолюбія выбралъ первое, боясь предъ русскою дамой сказать половкую французскую фразу. Заглавіе письма, которое по русски иначе не пишится, какъ Милостивая Государыня, чуть-чуть было не заставило меня перемѣнить рѣшеніе; но я подумалъ, что можно писать безъ заглавія, и остался при прежнемъ.

Гр., прожившій здѣсь со мною двѣ недѣли, поправился, хоть все еще не хвалится грудью; онъ уѣхалъ 13-го въ Россію, въ свою деревню. Недавно получилъ я письмо отъ Н—ва изъ Петербурга, въ которомъ онъ пишетъ, что Н. Г. уѣхалъ на нѣсколько времени въ деревню, и Е. П. живетъ на дачѣ въ добромъ здоровьѣ.

Душевно желаю, чтобы вы и М. К. здорово и весело кончили свое лѣченіе въ Маріенбадѣ. Съ совершеннымъ уваженіемъ и т. д.

35.

15 августа.

Письмо ваше отъ 5-го августа, полученное мною вчера, было для меня неожиданною радостью. Заключенный уже болѣе полутора мѣсяца въ это скучное ущелье, я отвыкъ даже надѣяться и вчера всего меньше былъ расположенъ къ этому: туманный, дождливый день не позволялъ видѣть небольшаго клочка неба, которымъ намъ дано наслаждаться въ Зальцбруннѣ; грязь мѣшала пройти по единственной аллеѣ, насаж-

творять надолго окна, а хозяинъ мой вовсе не заботился о томъ, чтобы дать комнатѣ сколько-нибудь пріятный видъ. Вы вѣрно не будете смѣяться надо мной, что въ такихъ обстоятельствахъ пропалъ у меня остатокъ хорошаго расположенія! И вдругъ приходитъ письмо отъ васъ изъ Швейцаріи,—доброе, внимательное, съ перспеткивою Комскаго озера и Флоренціи... Вы повѣрите, что оно имѣло на меня цѣлебное вліяніе и заставило терпѣливо досидѣть вечеръ и дослушать однообразный шумъ дождя. Но судьбѣ, которую недаромъ пословица называетъ индюшкою, неугодно, чтобы я увидѣлъ васъ во Флоренціи. Только 21-го выѣду я отсюда и побреду такъ тихо въ Швейцарію, что едвали удастся мнѣ быть тамъ раньше 1-го октября. Не знаю, возможно ли еще будетъ для меня въ эту позднюю пору лѣченіе въ Интерлакенѣ; но если погода будетъ снисходительна, я проживу тамъ нѣсколько времени — хоть для отдыха, дамъ нѣсколько свободы глазамъ, которые такъ утомлены здѣсь однообразіемъ, и подышу свѣжимъ воздухомъ; потомъ, сдѣлавши кругъ по Швейцаріи, долженъ буду, не знаю гдѣ, лѣчиться свѣжимъ виноградомъ. Очень вѣроятно, что это будетъ или на Комскомъ озерѣ, или въ окрестностяхъ Милана: объ этомъ надобно будетъ еще поговорить съ какимъ-нибудь хорошимъ докторомъ; въ концѣ сентября надѣюсь быть во Флоренціи. Эта далекая будущность, — но я благодаренъ судьбѣ и за то, что эта будущность есть, что я могу сказать себѣ: потерпи — отдохнешь!

Въ самомъ дѣлѣ, все, что человѣкъ чувствуетъ лучшаго, и все, чѣмъ онъ сильно страдаетъ, приходитъ къ нему отъ людей; всѣ другія наслажденія и страданія

едвали заслуживаютъ это имя. Удалившись отъ людей, человѣкъ долженъ или унизиться, или сдѣлаться гипохондрикомъ. Я очень хорошо это знаю; но М-ше Фр., кажется, напрасно нападала на меня за то, что я не легко знакомлюсь. Есть люди съ сильною и богатою натурой, которые переселяются во всѣ характеры, умѣютъ перечувствовать всѣ положенія и найдти въ каждомъ человѣкѣ что-нибудь для себя, насладиться въ немъ каждымъ чуть замѣтнымъ проблескомъ хорошаго. Это счастливцы. Въ нихъ самихъ все полно, окончено, всѣ стремленія удовлетворены; поэтому они терпѣливы, снисходительны, весело смотрятъ по сторонамъ и скоро во всемъ открываютъ свѣтлыя стороны. Есть и такіе, которымъ всѣ люди пріятны, потому что они ко всему равнодушны. Но я не принадлежу ни къ тому, ни къ другому классу; я не довольно совершенъ, чтобъ со всѣми найдти удовольствіе; я его нахожу съ людьми, которыхъ уважаю отъ всей души, и поэтому, станете ли вы порицать меня за небольшой кругъ моего знакомства? Это объяснитъ вамъ, почему я радуюсь такимъ пріобрѣтеніямъ и высоко дорожу ими. Для меня это рѣшительно открытіе новаго свѣта. Прожить нѣсколько времени съ такими людьми значитъ для меня прожить *по человѣчески*, удовлетворить необходимой и лучшей потребности души. Вотъ отчего я такъ радуюсь этимъ свѣтлымъ пунктамъ въ моей будущности. Природа и искусство только намеки, смыслъ ихъ — люди, и лучшіе люди. Кто лишенъ наслажденія людьми, на того природа и искусство должны дѣлать тяжелое впечатлѣніе, должны возбуждать въ немъ чувство неудовлетворенной потребности

Боже мой! ужь не философствую ли я? Мнѣ хотѣлось объяснить вамъ, почему мнѣ такъ хочется во Флоренцію, и я сталъ разсуждать о человѣкѣ и проч. Простите: это обыкновенная неловкость людей, привыкшихъ резонировать, и ужь я знаю, что резонерство не доведетъ меня къ добру. Лучше перестать. Вы были такъ добры, что хотѣли слышать о моемъ здоровьѣ, — оно въ прежнемъ положеніи, чтобъ не сказать хуже. Надѣюсь, что по окончаніи водъ будетъ лучше. Во время ихъ употребленія, натура рѣдко можетъ свободно развиться.

Въ надеждѣ увидѣть васъ черезъ мѣсяцъ или полтора во Флоренціи, съ совершеннымъ уваженіемъ и проч.

1840.

Къ Т. Н. Гран—у.

30.

Флоренція. 1 февраля.

Наконецъ я получилъ письмо отъ тебя, любезный Тимоѳей,—письмо, какъ слѣдуетъ, за которое я тебя благодарю. Признаюсь, дурно ты сдѣлалъ, что не отпросился у графа на зиму въ Италію — онъ вѣрно согласился бы. Не можешь ли на слѣдующее лѣто поѣхать куда-нибудь на воды, а на зиму сюда непремѣнно? Я не знаю, что̀ бы со мною было, еслибъ я теперь долженъ былъ терпѣть зиму съ 25° мороза!

У тебя болѣзнь нѣсколько другаго свойства: холодъ, можетъ-быть, не такъ прямо дѣйствуетъ на твои дыхательныя орудія; но за то онъ держитъ скованною цѣлую натуру и все-таки очень вреденъ à la longue. Побесѣдуй съ Дядьковскимъ. Подумай, Гр...! нельзя ли весною на воды, въ Эмсъ, напримѣръ, или куда-нибудь? Я, кажется, непремѣнно тамъ буду. Да не забудь зиму, зиму, въ Италіи—это будетъ много значить. Подумай, ради Бога! Помни, что ты нуженъ и семейству, и студентамъ, какъ порядочный (большею похвалою боюсь тебя испортить) профессоръ, и мнѣ, и себѣ самому (резонъ хорошій!) Я надѣюсь, что весною твое здоровье подымется; только держись осторожно, даже до смѣшнаго,—и купайся. Въ февралѣ, мартѣ и апрѣлѣ время такъ обманываетъ: все тепло, хорошо, вѣтеръ, кажется, цалуетъ тебя; а онъ, подлецъ, точитъ горло или грудь. Я ужь и здѣсь имѣлъ удовольствіе испытать его дѣйствіе. Будь же уменъ!

Я такъ давно не писалъ къ тебѣ, что ужь не помню, что̀ изъ моей жизни сто́итъ твоего вниманія. Стану держаться историческаго порядка. Послѣ тебя я остался въ Зальцбруннѣ одинъ одинехонекъ. Нашъ консулъ по прежнему составлялъ мое единственное знакомство — и я отъ души былъ ему благодаренъ. Около 10-го августа, получилъ я извѣстіе изъ Берлина, что мнѣ прислали деньги; пока пришли онѣ въ Зальцбруннъ, я просиживалъ дни въ кондитерской у М-me Бирк. (помнишь бабу, видъ которой возбуждалъ твое благородное негодованіе?) Тамъ у ней вертѣлась маленькая дѣвочка, лѣтъ 15-ти или 16-ти, сестра одной модистки и—о Weh!—хористка зальцбруннскаго театра. Мы обыкновенно занимались

шло до большихъ фамильярностей, надъ которыми подшучивалъ почтмейстеръ (онъ приходилъ туда выпить рюмку ликеру и поговорить нѣсколько двусмысленностей съ кондитершею; она отвѣчала всегда съ громкимъ смѣхомъ: Wie schändlich, Herr Postsecretair!), но изъ предѣловъ строгой нравственности дѣло не могло выдти. — Разумѣется, что, какъ нѣмка, она чувствительна и плакала, прощаясь со мною. Я написалъ по этому случаю зальцбруннскую элегію: она должна была состоять изъ трехъ частей; но во время сочиненія первой впечатлѣніе остыло и потомству остается наслаждаться этимъ великимъ фрагментомъ. Оттуда я поѣхалъ въ Прагу, былъ у Шаффарика, былъ въ Нюрнбергѣ — добрый, честный нѣмецкій городокъ, который мнѣ очень понравился, — въ Штутгартѣ, въ Карлсруэ. Эти два города очень чисты, красивы, но иностранцу тамъ мало дѣла и нечего смотрѣть. Въ Карлсруэ особенно хорошъ театръ. При мнѣ давали: «Die Nachtwandlerinn» (ты говоришь: Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten)— prima donna была предеревянная; она дебютировала въ 1-й разъ, но хорошій контръ-альтъ. За то теноръ — кажется Гейцингеръ — чудо! Я съ страстнымъ упоеніемъ слушалъ эти знакомыя, монотонныя, задумчивыя аріи, съ которыми слилось у меня столько воспоминаній — какихъ? мудрено сказать — воспоминаній жизни безъ фактовъ, жизни часто придавленной, обезпокоиваемой, но при всемъ томъ полной надеждъ, стремленій, живыхъ интересовъ, которымъ все окружающее давало пищу — самый театръ, самый Берлинъ, солидный, умный и покойный, его vernunftige Linden, Спаньялани *) — ну да это

*) Кондиторъ подъ Linden.

тема, которая всегда грозитъ разрастись въ дурную безконечность. Давно уже я не слыхалъ съ такимъ удовольствіемъ музыки. Оттуда—въ Базель. Но здѣсь я разочаровался. Я надѣялся встрѣтить Вар. Ал.; между тѣмъ она еще весною уѣхала въ Геную. Я познакомился съ семействомъ, гдѣ она жила; судя по имени и нѣкоторымъ еврейскимъ книгамъ, которыя я тамъ видѣлъ, отецъ долженъ быть Еврей. У него тутъ три дочери—онѣ не хороши, но такъ добры, просты, что рѣдкость! Такъ казались онѣ мнѣ по крайней мѣрѣ. Онѣ пренаивно разказывали мнѣ, что жалѣютъ зачѣмъ познакомились съ Вар. Ал.: теперь онѣ ни за что не могутъ взяться безъ нея; музыка, рисованье — все напоминаетъ имъ ея отсутствіе и не доставляетъ больше никакого удовольствія. Онѣ получили отъ нея письмо изъ Генуи. Оттуда она хотѣла въ Неаполь. Но при мнѣ не было еще дальнѣйшихъ извѣстій. Я оставилъ имъ свой адресъ и просилъ написать мнѣ сейчасъ же по полученіи письма отъ нея, гдѣ она находится. Съ тѣхъ поръ я писалъ еще въ Базель, повторяя мою просьбу; но шутъ не отвѣчалъ мнѣ. Въ Базелѣ же съѣхался и съ Еф., съ которымъ продолжалъ путь до Флоренціи, и съ которымъ вмѣстѣ думаю ѣхать въ Римъ. Базель сдѣлалъ на меня непріятное впечатлѣніе, вопервыхъ—потому, что обманулъ одну изъ моихъ утѣшительныхъ надеждъ, вовторыхъ—потому, что, дожидаясь писемъ, я долженъ былъ жить тамъ нѣсколько дней безъ всякаго дѣла — на бѣду шелъ еще дождь. Театра нѣтъ; улицы узки, грязны; строенія, по общему мнѣнію, кромѣ собора, который впрочемъ мнѣ очень нравится,—незавидны. Вообще всѣ швейцарскіе города незамачивы

туда мы ѣздили въ Тунъ и по Тунскому озеру до Интерлакена: очаровательное мѣсто! Позднее время не позволило намъ посѣтить Oberland. Черезъ Фрейбургъ мы поѣхали въ Женеву, гдѣ провели нѣсколько дней, Лозанну и наконецъ — на Симплонскую дорогу. Тутъ бури и наводненія поставили дорогу вверхъ дномъ; мы провозились, Богъ знаетъ, сколько времени, и наконецъ должны были изъ деревушки Симплонъ идти верстъ 20 пѣшкомъ. По счастію, погода была хороша, и мы благополучно совершили этотъ переходъ — по большей части на четвереньках. Съ нами было два Француза: одинъ Жюль-ле-Контъ, *извѣстный* писатель, котораго я никогда не читалъ; а другой неизвѣстная особа въ мірѣ, но очень забавная, который пѣлъ, свисталъ и торопилъ насъ все время. Въ Domo d'Ossola мы успокоились и отдохнули, чтобъ потомъ опять возиться съ рѣками и испорченною дорогой; насилу добрели до Милана. Славный, свѣтлый, широкій городъ! соборъ его раскошенъ: ты чай видалъ картинки. Съ крыши чудесный видъ на окрестность. Но мнѣ лѣнь описывать *давнопрошедшія* впечатлѣнія. Изъ Милана мы пріѣхали въ Геную; простоявши двое сутокъ въ Павіи, по случаю разлитія По, — полюбовавшись на ея дворцы, мы моремъ пустились въ Ливорно. Какъ хорошо море, когда на него смотришь изъ Генуи, но какая мерзость, когда плывешь по немъ! Съ первой минуты отплытія до высадки на берегъ, тошнота не покидала меня ни на минуту. Вотъ мучительная болѣзнь — мерзость мерзостью! Здаровье мое въ Швейцаріи ужъ стало лучше и все улучшалось, такъ что я только по утрамъ немного кашлялъ — это продолжалось долго; съ декабря стало немножко

хуже, а въ началѣ января было очень раздражился кашель, но теперь опять приходитъ въ порядокъ.

Съ большимъ удовольствіемъ пріѣхалъ я во Флоренцію, гдѣ могъ наконецъ успокоиться. Тутъ я нашелъ Мг и М-me К—ни, съ которыми тотъ же день увидѣлся. Можешь судить, какъ это мнѣ было пріятно. Въ концѣ ноября прибыли и Ф—вы. Теперь всѣ мы живемъ на одной площади S-ta Maria Novella; К—ни и Фр—вы даже въ одномъ домѣ; Ефр. нѣсколько шаговъ отъ меня. Первые дни я много бѣгалъ по галлереямъ, за городомъ, ѣздилъ верхомъ и ничего почти не дѣлалъ; наконецъ спохватился, сталъ кое-какъ работать.

Я такъ привыкъ теперь быть съ Фр—ми и К—ни, что мнѣ и въ Римъ не очень хочется — мнѣ будетъ грустно безъ нихъ. Фр—хъ ты ужъ довольно знаешь—тебѣ нечего говорить объ нихъ; а М-me К—ни ты только мелькомъ видѣлъ. Но она именно то, что кажется съ перваго раза. Въ ней для меня есть удивительная нравственная прелесть; въ ея существѣ такое спокойствіе и чистота, которыя непосредственно дѣйствуютъ на душу; ея присутствіе, просто одно присутствіе — благодѣтельно (не подумай, что я влюбленъ, или увлеченъ — нѣтъ! право нѣтъ! я говорю какъ *человѣкъ* вообще). Она не развита совсѣмъ. У нея ясный простой взглядъ на вещи, много чувства; но нѣтъ обширнаго міра, у нея нѣтъ *полета* (Schwung). За то прекрасное явленіе, доступное ей, находитъ у нея всегда отголосокъ. Она создана для семейной жизни, для того, чтобъ разлить тихій свѣтъ на жизнь своего мужа, на его кабинетъ. Когда смотришь на нее, бредни фламандской школы невольно

Bischen philisterhaft zu Muthe. Ихъ пріятно видѣть вмѣстѣ съ М-me Фр.: онѣ дополняютъ другъ-друга; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ у М-me Фр. не было этой женственности, которая составляетъ прелесть М-me К—ни: у нея есть она, nur nicht so scharf ausgesprochen. Съ Ф—мъ мы опять проходили логику, теперь перешли къ *идеѣ*.

Кромѣ логики, что̀ я дѣлалъ? Кажется, ничего. Прочелъ нѣсколько скучныхъ драмъ и романовъ для усовершенствованія себя въ италіянскомъ языкѣ; оканчиваю теперь «Флорентинскую Исторію» Макіавелля; первые мѣсяцы проводилъ я бо́льшую часть времени въ глазеньи. Здѣшнія галлереи въ самомъ дѣлѣ богаты и даже мнѣ варвару доставляютъ много удовольствія. Нѣсколько Мадоннъ Рафаэля прелестны. Наружная красота играетъ роль во всѣхъ итальянскихъ картинахъ: она только просвѣтлена высшимъ содержаніемъ. Даже въ старинныхъ мастерахъ это стремленіе явно. Гегель говоритъ про это соединеніе чувственной красоты съ высшимъ выраженіемъ: «Es sind Rosen, die zugleich im Himmel blühen.» Этотъ шутъ хорошо понимаетъ вещи и иногда не дурно выражается. Savez vous qu'il mérite d'être lu? Я теперь ужасно разбросанъ: нужно заняться тѣмъ и тѣмъ, нужно ѣхать, нужно заботиться о здоровьѣ—иногда сердце стѣснится, въ головѣ хаосъ: Nur ruhig! — повторяю я слова Вердера, et je passe à l'ordre du jour.

Я двѣ недѣли не могъ собраться написать къ тебѣ. Этому причиною отчасти, что почта отходитъ три раза въ недѣлю; еслибы одинъ, то я бы не откладывалъ. Теперь у меня стремленіе къ философіи исторіи, хочу освѣжиться ею. Оканчиваю вторую часть «Фауста».

Фр. привезъ «Hallische Jahrbücher» за нынѣшній годъ. Тамъ есть статья Фишера (тюбингенскаго, Vischer): «Die Litteratur über Goethes Faust». Она написана живо, просто и умно. До сихъ поръ я прочелъ только о не-философахъ, объясняителяхъ «Фауста». Самъ онъ смотритъ на вторую часть, какъ на произведеніе старости, чуждое поэзіи, охуждаетъ лощеные стихи, темноту, намёки на разныя вещи, нейдущія къ содержанію, самый путь, которымъ онъ ведетъ Фауста къ очищенію; до сихъ поръ нельзя было не согласиться съ нимъ. Не смотря на это, часто разсѣянныя мысли, попадающіяся тамъ и сямъ во 2-й части «Фауста», вѣрны и хорошо выражены; иногда прорывается и старый поэтическій талантъ; но въ большей части я согласенъ съ Фишеромъ. Вердеръ хотѣлъ читать нынѣшній годъ publicum: «о Шиллерѣ въ нравственномъ и философскомъ отношеніи», но оставилъ за множествомъ работы. Мы получили здѣсь отъ него извѣстіе; его лекціи идутъ хорошо. Первую часть своихъ «Beiträge» онъ издаетъ къ Святой Недѣлѣ.

У меня такой хаосъ въ головѣ! Хочется сказать тебѣ то и другое, и хочется отправить письмо сегодня. Ну на безпорядокъ ты не разсердишься. Впередъ буду писать тебѣ исподволь.

....Признаюсь, отцу моему такъ нужно спокойствіе. Мое отсутствіе ему вовсе не радостно, а оно, какъ ты сейчасъ увидишь, необходимо еще на нѣкоторое время для моего здоровья. Я бы сейчасъ готовъ поѣхать въ Россію, еслибъ не зналъ, что это будетъ мнѣ пагубно при теперешнемъ состояніи моего здоровья, между тѣмъ какъ здѣшній докторъ (Англичанинъ) ру-

если я буду вести себя осторожно въ отношеніи зимы. Это мудрено передать отцу безъ того, чтобы онъ не счелъ меня въ опасномъ положеніи (что̀ было бы несправедливо), или не приписалъ мое отсутствіе желанію потѣшиться Италіей; а я вовсе готовъ бы не тѣшиться ею, тѣмъ болѣе, что этому мѣшаютъ такія мысли.... Недѣли за двѣ передъ этимъ, когда термометръ опустился градуса на три ниже точки замерзанія, я прогуливался много по Флоренціи, пообѣдалъ — все хорошо, пришелъ домой и выпилъ чашку чернаго кофе. Вдругъ — Kitzel, кашель и раза два-три плюнулъ чистѣйшею кровью. Эта операція продолжалась дня два или три, и все по немножку; потомъ все прошло, но кашель сталъ опять посильнѣе; теперь хоть и уменшился, но все-таки есть порядочный. Докторъ Англичанинъ, съ которымъ я совѣтовался, сказалъ мнѣ: «О Россіи теперь и рѣчи нѣтъ. Это раздраженіе случайно, но оно показываетъ, *что̀* у васъ есть. Эта простуда здѣсь ничтожна, но въ Россіи — я ни за что не ручаюсь». Я сказалъ ему, что я обѣщалъ въ августѣ пріѣхать домой, чтобъ къ зимѣ опять воротиться (такъ я и писалъ къ папенькѣ, чтобъ онъ зналъ это напередъ); онъ согласенъ, но чтобъ 15-го сентября я уже перешелъ Альпы, а между тѣмъ онъ посылаетъ меня въ Эмсъ и притомъ не раньше половины іюня, — чтожь тутъ дѣлать? возможно ли это? Онъ говоритъ, что такимъ образомъ я долженъ провести двѣ зимы, и тогда я здоровъ и крѣпокъ навсегда. Я *во всемъ тѣлѣ* чувствую справедливость этихъ словъ и рѣшаюсь написать къ папенькѣ все, что̀ мнѣ сказано — иначе дѣлать нечего; но авось съ слѣдующею вес-

ною я могу съѣздить въ Россію и воротиться къ зимѣ.

Извѣстія о литературныхъ трудахъ и понятіяхъ нашихъ знакомыхъ не утѣшительны. Что̀ имъ дался Шиллеръ? что за ненависть?... Такъ какъ они не понимаютъ, что̀ такое дѣйствительность, то я думаю, что они уважаютъ *слово*, сказанное Гегелемъ. А если авторитетъ его силенъ у нихъ, то пусть прочтутъ, что̀ онъ говоритъ о Шиллерѣ въ Эстетикѣ въ разныхъ мѣстахъ, также о «Валленштейнѣ» въ мелкихъ сочиненіяхъ. А о дѣйствительности пусть прочтутъ въ Логикѣ, что дѣйствительность въ смыслѣ непосредственности, внѣшняго бытія—есть случайность; что дѣйствительность, въ ея истинѣ, есть *Разумъ*, Духъ. А если Шиллеръ, по ихъ мнѣнію, не есть поэтъ дѣйствительности, а туманный; то я предлагаю имъ въ поэты Свѣчина, который описываетъ какъ въ сраженіи: *иному стегно раздвоило*. Но можешь сказать имъ только аргументы, безъ *яда насмѣшки* — это только ожесточаетъ, а они люди хорошіе, и я съ ними ссориться не хочу.

Сейчасъ иду къ Ф—мъ и К—ми. Воротившись, припишу еще нѣсколько строкъ и понесу письмо на почту.... Теперь два слова о Флоренціи. Первый взглядъ на нее вовсе не поразителенъ. Улицы ужасно узки и темны: кажется, нарочно старались въ нихъ спрататься отъ солнца. Дома, которые тянутся вдоль Арно по обѣимъ сторонамъ, очень не живописны, исключая немногихъ. Но за то черезъ Арно брошены четыре славныхъ моста и видъ вдоль по рѣкѣ, внизъ и вверхъ, очень хорошъ: обозрѣваешь пригорки съ садами, виллами и проч. Лучшее мѣсто въ городѣ — площадь

Del Gran Duca съ статуей Козьмы I верхомъ, статуями Микель-Анджело, Бенвенуто Челлини и Gian da Bologna, старымъ дворцомъ и зданіемъ, которое называется Loggia dei Lanzi съ чудесными аркадами. Изъ описаній ничего нельзя узнать. Изъ зданій заставляетъ засматриваться на себя особенно Campanile (колокольня собора), — ровная, четыре гранная, красиво и свободно подымающаяся въ высоту. Много хорошихъ церквей; въ одной изъ нихъ — Лоренцо, статуи Микель-Анджело на гробахъ Медичисовъ. Это и мы съ тобой поймемъ; знатоки пусть цѣнятъ технику, меня поражаетъ всегда мрачная грандіозность Микель-Анджело, соединенная съ необыкновенною энергіей: фигуры его искривлены, имъ даны ужасно трудныя для выполненія позы,—и между тѣмъ видно, что этимъ фигурамъ ловко. Въ театрѣ я бываю рѣдко. Есть недурные пѣвцы и пѣвицы. Итальянское горло создано совсѣмъ особеннымъ образомъ. У нихъ есть легкость въ пѣніи, даже безъ особеннаго навыка, умѣнья — въ этомъ, можетъ-быть, не сравняются съ ними наши сѣверные пѣвцы. Кромѣ того, контральто, этотъ очаровательный голосъ, есть какъ будто національный итальянскій. Es ist aber ihnen kein Ernst mit der Musik, и все бьютъ Дониццетти; на улицѣ слышишь безпрестанно чудесные голоса: они всѣ поютъ отъ веселья, отъ удовольствія; но это же веселье вдругъ заставляетъ ихъ перемѣнить пѣнье на крикъ, завыть, дурачиться и т. п. Инструментальная музыка очень назади. Маленькихъ концертовъ, какъ въ Берлинѣ, не ищи. Изрѣдка (раза три со времени моего пріѣзда) даетъ концерты филармоническое общество. Мнѣ не удалось быть ни на одномъ. Публичныхъ баловъ для

разныхъ сословій тоже нѣтъ. По праздникамъ, съ утра до вечера видишь толпы гуляющихъ по Арно, а къ вечеру наполняются caffés мужчинами и женщинами. Впрочемъ я еще не могу хорошо судить о итальянскомъ образѣ жизни: я не знаю ни одного итальянскаго семейства. Кстати о гуляньяхъ: тутъ есть паркъ — Кашино; въ немъ каждый порядочный день множество экипажей и верховыхъ; пѣшіе ходятъ по набережной у Арно; воздухъ бываетъ иногда упоителенъ; тысячи виллъ, окружающихъ Флоренцію, въ вечернемъ свѣтѣ дѣлаютъ необыкновенный видъ. Садъ Boboli, принадлежащій къ дворцу великаго герцога, превосходитъ все, что я видѣлъ до сихъ поръ изъ садовъ. Наша площадь S—ta Maria Novella тоже не дурна. На ней стоитъ прекрасная церковь и два памятника. Вчера въ театрѣ мы видѣли новаго рода эффекты: въ одной комедіи дѣйствующія лица, вмѣсто простой соли къ обѣду, употребляли слабительную, и имъ покалываетъ животъ, они морщатся, подымаютъ ногу, наконецъ одинъ бѣжитъ внезапно изъ комнаты. Я хохоталъ до того, что горлу больно стало. Главный комикъ былъ не дуренъ. Въ Миланѣ я видѣлъ даже очень хорошую комическую труппу. Кромѣ Ф—хъ и К—нинъ я знакомъ здѣсь съ одною русскою фамиліей, Х—ми:, мужъ, жена, двѣ дочери. Кстати:

Was!.. Frauen-Schönheit will nichts heissen,
Ist gar zu oft ein starres Bild;
Nur solch' ein Wesen kann ich preisen,
Das froh und lebenslustig quillt.
Die Schöne bleibt sich selber selig,
Die Anmuth macht unwiderstehlich,
Wie Helena, da ich sie trug.

Это изъ 2-й части «Фауста». Я нашелъ здѣсь выраженіе того, что̀ давно чувствовалъ. Есть красота въ движеніи, во всемъ существѣ. Впрочемъ, объ этомъ ужь разсуждали старинные эстетики. Скучно разсуждать, Граф—ій!...

Я былъ въ здѣшнемъ Casino, и даже танцовалъ. Это casino dei Nobili впрочемъ. Былъ также у однихъ Англичанъ на вечеръ, гдѣ мои ноги тоже двигались. Ефр. обѣщалъ подарить мнѣ два съ полтиной, если посмотритъ на мою пляску. Есть удовольствіе впрочемъ иногда просто *припрыгнуть* и таковымъ наслаждался я въ послѣдній разъ въ Казино, — я плясалъ только съ короткими знакомыми; но это вредитъ мнѣ, да и въ другой разъ было бы скучно. Между тѣмъ я получилъ приглашеніе отъ банкира къ 8-му февраля на балъ. Надо взглянуть — можетъ, будетъ хорошее угощеніе — лимонадомъ впрочемъ, ибо мороженое я съ мѣсяцъ какъ пересталъ ѣсть, а вина и въ поминѣ нѣтъ.

Докторъ велитъ ѣхать въ половинѣ Февраля въ Римъ: дескать здѣсь начнутся вѣтры. Пусть же сначала начнутся. Мнѣ здѣсь лучше. Я на Римъ взгляну съ удовольствіемъ; но ужь знаю, что долго тамъ мнѣ дѣлать нечего. Оттуда на самое короткое время въ Неаполь, потомъ въ обратный путь, и въ Эмсъ. Что̀ дальше будетъ, Богъ знаетъ.

Довольно. Пора на почту. Мнѣ такъ нужно было набросать тебѣ фактовъ, что некогда было объяснить, что̀ дѣлается въ душѣ моей, — въ ней больше, чѣмъ когда-нибудь, Resignation, и ему удается иногда давать ей спокойствіе. «Il y a beaucoup de désordre dans le monde», говорилъ нашъ берлинскій Англичанинъ. Моя

жизнь, мои потребности такъ спутаны, требованія тѣла въ такой оппозиціи съ требованіями души.... Nur ruhig, nur ruhig! nicht so und so—sondern immer so! Ты помнишь, какими жестами сопровождалъ эти слова Вердеръ. So und so — значитъ у него безпокойство, Grübeln, рефлексія. So! — значитъ спокойное вниканіе въ самую вещь.....

Ты не могъ передать письма моего нашему бѣдному поэту. Я два года не слыхалъ объ немъ.

Прощай пока! будь здоровъ и спокоенъ. Весеннее, яркое солнце свѣтитъ на мою бумагу; да принесетъ оно тебѣ здоровье. Богъ дастъ, все будетъ хорошо. Прощай, душа моя! пиши ко мнѣ, ради Бога!

Кланяйся друзьямъ и знакомымъ. Я стыдился, былъ въ затрудненіи и не зналъ, что̀ отвѣчать на письмо Тат. Ал., которое передалъ мнѣ Еф. съ другими отъ покойной Л. Я его читалъ у Тунскаго озера вечеромъ; мы долго потомъ бродили по берегу его, меня окружали воспоминанія, я былъ близокъ къ нимъ, я какъ очнулся, образы, звуки лучшаго міра неслись ко мнѣ. Я напишу ей, если она это позволитъ. Я самъ себѣ не могу позволить, развѣ увидѣвшись съ Вар. Ал....

Письма къ Ф—мъ.

33.

Римъ, 9 марта.

Спѣшу написать вамъ нѣсколько строкъ — исканіе квартиры составляетъ пока цѣль моей жизни. Я пріѣхалъ живъ, здоровъ, — по крайней мѣрѣ ничѣмъ не меньше, чѣмъ во Флоренціи, и теплый воздухъ, при-

надлежность Рима или случайный даръ неба, даже поправилъ мой кашель. Этого довольно, чтобъ успокоить вашу заботливость обо мнѣ; благодарность за нея и проч. и проч. оставимъ до другаго времени. На этомъ пунктѣ угрожаетъ дурная безконечность.

Дорогой я не имѣлъ никакихъ приключеній. Въ коляскѣ мнѣ было тепло, хотя и тѣсно. Въ Радикофани, на ужасной горѣ, остановились мы утромъ на 10 минутъ — *я влѣзъ въ печь* (безъ преувеличеній — она довольно огромна), чтобъ спастись отъ холода, обхватившаго меня по выходѣ изъ коляски, напился чаю и готовъ былъ писать къ вамъ; но курьеръ предупредилъ меня, что письмо изъ Рима придетъ не позже, и я отложилъ это. Про курьера сказать больше нечего, кромѣ того, что у него по нагольному тулупу вышиты шелкомъ розы, и что его ничто не приводитъ въ волненіе; одинъ разъ только, при самомъ выѣздѣ изъ Флоренціи, все существо его было возмущено неаккуратностью хлѣбника, который не успѣлъ ему прислать въ опредѣленное время какіе-то Buchtel, и неловкостью его дочери, которая, понесши ему эти Buchtel на встрѣчу, разошлась съ нимъ. «Ich habe mich so drauf g'freut; hätt'ich mich drauf nicht so g'freut, es wäre vielleicht nicht g'scheben!» Несчастіе дѣлаетъ суевѣрнымъ! Онъ, кромѣ того, толстъ и занималъ двѣ трети мѣста въ коляскѣ.

Дорога, не смотря на желтое поле и неблагопріятную погоду, очень интересна. Послѣ свѣтлыхъ, веселыхъ окрестностей Флоренціи, я былъ пораженъ дикою и живописною натурой, которая встрѣтила меня при въѣздѣ въ Папскую Область. Прибавьте къ этому людей, завернутыхъ въ длинные синіе плащи, съ медленной

походкой, съ длинными посохами — все это воскрешаетъ преданіе старыхъ временъ, напоминаетъ картинки съ римскими пастухами, такъ часто видѣнныя въ дѣтствѣ, напоминаетъ также Тита-Ливія, котораго тщетно Кубаревъ старался вдолбить намъ въ голову. Почти есть охота заглянуть въ Тита-Ливія.

Бѣдность и безпечность жителей, широкія, грязныя комнаты съ очагами, входы, похожіе на конюшенныя ворота — все это ужь вамъ слишкомъ извѣстно, но получаетъ интересъ, когда видишь собственными глазами!

Въ 12 часовъ ночи пріѣхалъ я въ Римъ, обогнавъ Ефр. въ Рончильоне. Остановился пока у Франца, Via Condotti: три лѣстницы, крошечная комната, которая впрочемъ легко нагрѣвается. Теперь ищу пристанища. Какъ я выхожу немного и надолго, то три лѣстницы — живутъ!

За Брынгинскимъ я послалъ сегодня, чуть проснулся, и протаскался съ нимъ все утро. Былъ у Хов—хъ; они приняли меня очень радушно. Тур. сказалъ имъ, что я выѣду 10-го, а вѣроятнѣе — вовсе не выѣду.... Туда скоро явился Тур. Они сегодня идутъ въ Ватиканъ. Познакомился у нихъ съ художникомъ Марковымъ, который, по ихъ словамъ, un homme de beaucoup d'ésprit и на первый взглядъ кажется человѣкомъ какъ надо: простъ и дѣленъ.

Скоро напишу больше. Вы извините поспѣшность и разорванность этого письма — ихъ еще много впереди. Благодарю за все, чѣмъ пользовался я отъ васъ и отъ вашихъ во Флоренціи. Желаю вамъ тепла, здоровья и веселья.

это еще послѣ рѣшится. *Его* я почти не видалъ, но мое будущее — arrêté; можетъ-быть, это дастъ мнѣ хорошій гуморъ. До слѣдующаго письма.

Для М—ь и П—ны замѣчу, что курьеръ вовсе не былъ чувствителенъ къ моей привязанности; странно, что и тутъ я не сдѣлалъ побѣды!

30.

13 марта.

Вотъ ужь я опять пишу къ вамъ, не смотря на то, что не могу сообщить вамъ еще ничего интереснаго an sich. Но вы, Е. П., дали мнѣ позволеніе, даже требовали, чтобы я былъ mauvais genre и говорилъ о себѣ — и я пользуюсь этимъ позволеніемъ, чтобъ только говорить съ вами. Всѣ мои подвиги въ Римѣ ограничиваются до сихъ поръ тѣмъ, что я отыскалъ себѣ квартиру, которою пока очень доволенъ. Желѣзная печка очень хорошо грѣетъ комнату, чистую, веселую и удобную. Маленькій Schlafcabinet, по счастію, какъ разъ противъ печки, — слѣдовательно съ этой стороны я обезпеченъ. Солнце, когда оно на небѣ, смотритъ и сюда — не знаю: на долго ли, потому что съ моего перехода только сегодня утромъ нѣтъ дождя. Но, по положенію и завѣренію хозяйки, можно надѣяться всего хорошаго и въ этомъ отношеніи. — На второй день послѣ того, какъ я отправилъ вамъ письмо мое, сдѣлалъ я мое первое, бѣглое странствіе по Риму. Я ужь писалъ вамъ, что новый городъ очень весело смотритъ, дворцы его великолѣпны, улицы полны народа. Въ направленіи Корсо вышелъ я къ старой Капитоліи, и здѣсь остановилъ меня совсѣмъ другой видъ: тамъ и сямъ

торчатъ колонны по одной, по три, по восьми; въ углубленіи массивная арка Септимія Севера, вдали Палатинская гора съ садами. Тутъ ужь все отжитое — я не останавливался надъ изслѣдованіемъ, что̀ здѣсь принадлежитъ храму Юпитера, что̀ другому (хотя это все очень хорошо разказано въ Дорожникѣ Нибби, въ который я имѣю привычку заглядывать уже послѣ.) Пошелъ дальше по бульвару, вдоль котораго тянутся опять остатки древностей, и наконецъ за аркою Тита встрѣтилъ *Колизей*. Это одно, что̀ осталось у меня изъ этого дня. Не знаю, каковъ былъ онъ въ своемъ цвѣту, въ первобытномъ видѣ, но вѣрно не лучше, чѣмъ теперь! Я не думалъ много о его назначеніи, о народѣ, растерзанномъ звѣрьми въ его стѣнахъ, — я видѣлъ только огромную, гармоническую развалину и темно-синее небо, просвѣчивавшее во всѣ ея окна. Внутренность Колизея также хороша: я всходилъ на высшій этажъ. Ступени, на которыхъ сидѣли прежде зрители, теперь обрушились, и потому не видишь больше пустаго мѣста, которое должно быть занято, чтобы зданіе имѣло значеніе. Кустарникъ растетъ на мѣстѣ этихъ ступеней и дѣлаетъ эту развалину полною, удовлетворительною въ самой себѣ. Внизу на площади, гдѣ сражались гладіаторы, стоятъ теперь такъ называемыя станціи, представляющія шествіе Христа на Голгоѳу, и по срединѣ распятіе... Видъ съ Колизея на окрестность очень интересенъ. Я ходилъ съ Еф.; тутъ же встрѣтилъ и Тур. Оттуда мы пошли вмѣстѣ до новой Капитоліи. Она великолѣпна, но описывать *предметы* безполезно: ихъ схатываешь только, когда видишь. Притомъ, кромѣ Колизея, я ничего не ви-

глазами. Я знаю, какъ смѣшаны мои впечатлѣнія, какъ много въ нихъ субъективнаго, но объ этомъ не хлопочу много: всякій человѣкъ живетъ, и долженъ быть снисходителенъ къ своей индивидуальности, вѣрить ей, — не то, она еще больше будетъ его обманывать. Два дни былъ здѣсь страшный дождь, и я не могъ ничего видѣть. Вчера былъ у живописца Рунда *) и просидѣлъ два часа въ его студіи, разсматривая его картины, пока онъ трудился надъ новою. Онъ серіозный, дѣльный, честный человѣкъ и, кажется, знающій свое дѣло. Бо́льшая часть его картинъ представляютъ внутренности неаполитанскихъ и сицилійскихъ церквей и — сколько могу судить я — очень хорошо взяты; игра свѣта въ нихъ всегда очень интересна. Теперь онъ отдѣлываетъ внутренность церкви Петра по заказу, кажется, Ольденбургскаго принца, если я не ошибаюсь. Одинъ нашъ художникъ очень хорошо отзывался объ ней. Тур. беретъ у Рунда уроки въ рисованьи и ужасно пристрастился къ живописи. Х—пы сказывали мнѣ вчера, что онъ у нихъ цѣлый вечеръ проговорилъ о живописи и своей страсти къ ней. Онъ впрочемъ не безъ таланта въ этомъ отношеніи. У нихъ же видѣлъ я русскаго художника Мар—а. Онъ уже человѣкъ не первой молодости, можетъ-быть безъ дальняго развитія или съ однимъ самостоятельнымъ развитіемъ, но имѣетъ необыкновенно ясный умъ, судитъ обо всемъ просто и здраво. Вчера онъ особенно понравился мнѣ; его полемика совершенно русская и забавна какъ нельзя больше. Вчера же узналъ я, что сюда пріѣхалъ Ш.... «Правда-ли, что вы

*) Нѣмецкій живописецъ.

ужасно какъ занимались философіей Гегеля въ Берлинѣ?» спросила меня одна дама, получившая эти свѣдѣнія отъ Ш.... Онъ желалъ очень видѣть меня и не понималъ, *какъ я* (подразумѣвается: такой хорошій человѣкъ) могъ отдаться философіи Гегеля (подразумѣвается: сдѣлаться негодяемъ). «Это совсѣмъ *фальшивое направленіе*, говорилъ онъ, *особенно въ Россіи*»—т. е. въ Германіи меньше фальшиво, а въ Россіи больше, т. е. въ Германіи, можетъ-быть, немножко правды въ этомъ направленіи, а въ Россіи нѣтъ). Я постарался объяснить этой дамѣ, какъ могъ, что нѣтъ разной истины: что̀ правда для Нѣмца, то правда и для Русскаго; что противъ философіи конечно можно спорить, но не бранить ся, отвернувши голову, за то только, что она философія. Наконецъ онъ говорилъ ей о берлинской *безнравственности*. Вы можете себѣ представить, какой эффектъ сдѣлало на меня это слово, этотъ горохъ, которымъ филистры стрѣляютъ во все, что̀ давитъ ихъ своею необыкновенностію! Но я сдержался — и объяснилъ хладнокровно, что если ей говорили про нравственность простаго народа, то она непримѣрна во всѣхъ большихъ городахъ, а въ Берлинѣ лучше, нежели гдѣ-нибудь; а по сознанію, по общему мнѣнію, Пруссія стоитъ выше всѣхъ другихъ нѣмецкихъ государствъ, выше Франціи и Англіи. Я объяснилъ все это тѣмъ, что Ш.... умный, добрый и честный человѣкъ, но совсѣмъ незнакомъ съ этою сферой и знаетъ ее по ложнымъ преданіямъ. Въ Мар—въ я успѣлъ замѣтить уваженіе къ мысли. Я готовъ былъ навѣстить Ш..., но еще не знаю: все это раздосадовало меня какъ нельзя больше. И еще досадуетъ меня

философію, и они пойдутъ и пойдутъ, и кончится тѣмъ, что добрый нашъ профессоръ сознаетъ свое достоинство больше, чѣмъ прежде.... На дняхъ встрѣтилъ я Джаксона. Онъ меня узналъ и заговорилъ со мною по-итальянски; мое чувство приличія, самое темное изъ всѣхъ моихъ неясныхъ чувствъ, до того запуталось, что я не зналъ — просить ли у него позволенія явиться къ нему, нѣтъ ли? Но сильной дождь рѣшилъ мое недоумѣніе, — и мы разстались unverrichteter Dinge.

Сію-минуту хозяйка прервала меня разсужденіемъ о вредѣ чая; оно продолжалось долго и заключилось просьбою пить меньше и слезами участія. — Сегодня чудесное время. Хочу отправиться въ церковь Петра, которой не видалъ еще по сію-пору. Я уже началъ читать англійскую книгу, которую мнѣ дала М—ья П—на при отъѣздѣ. Я былъ въ хорошей школѣ и надѣюсь, что быстро пойду впередъ. Доброе дѣло М—ьи П—ны не пропадетъ!

Прощайте до слѣдующаго письма. Оно вѣрно придетъ къ вамъ скорѣе, нежели вы ждете. Я такъ привыкъ вамъ разказывать все, что теперь, при взглядѣ на каждый предметъ, мнѣ сейчасъ представляется и письмо къ вамъ. Отъ этого все получаетъ для меня больше интереса. Когда пишу къ вамъ, то воображаю себя въ обыкновенномъ вечернемъ кругу. Будьте здоровы и катайтесь въ Coscino, когда нѣтъ вѣтра.

Въ «Философіи Исторіи» читаю о Римлянахъ, скоро кончу. Еще ничего не рѣшилъ твердаго о своихъ занятіяхъ, но они и не будутъ тверды — nur ruhig! и дѣлать что̀ хочется, потому что прежде всего надо быть человѣкомъ, это главный *фахъ*, и всякое принуж-

деніе, особенно археологическое, сейчасъ губитъ человѣчество.

30.

19 марта.

Радуюсь, что наконецъ дошло къ вамъ письмо Граи—го; авось мы получимъ отъ него скоро болѣе свѣжое извѣстіе. Едвали онъ удержитъ желаніе поднять «Наблюдатель»; я бы совѣтовалъ ему оставить эту дряхлость— развѣ найдется новый редакторъ, а то вѣдь читать не станутъ. Бѣл—ій самъ виноватъ! Но какъ онъ самъ объ этомъ не пишетъ, то вѣрно это была мысль, мелькнувшая на минуту. Поздравляю васъ съ Ungarn *). Я слышалъ объ этой пѣвицѣ тоже, что̀ вы пишите. На счетъ Жанъ-Поля, мы, я думаю, уже давно согласны. Его Standpunkt—еще стремленіе, чувство и рефлексія въ перемѣшку; его отвѣты на всѣ вопросы— отвѣты непрямые, изъ мысли; но голосъ *его* чувства— *его*, слѣдовательно опять-таки съ рефлексіею. Все это соединено въ немъ съ большими красотами!—Прилагаю записку отъ Шушу къ М—ьѣ П—внѣ. Не знаю, есть ли тутъ завѣреніе въ любви; но недавно она сказала матери на одной изъ прогулокъ, что Римъ былъ бы еще лучше Флоренціи, еслибъ здѣсь была М-me К—ни. Въ отвѣтъ на замѣчаніе Е. П—ны скажу, что я не писалъ ни слова о Шушу, потому что она хороша *по прежнему*.

Третьяго дня получилъ я также изъ дому отвѣтъ на то письмо, въ которомъ предупреждалъ о необходимости возвращенія на зиму въ Италію. Разумѣется, огор-

---

*) Пѣвица.

чены. «Еще не пріѣхавши, сбирается уѣхать; объ этомъ тутъ бы можно поговорить!» и проч. Потомъ надежда, что среди ихъ я буду здоровъ! Они правы, потому что не знаютъ степени моей болѣзни; я виноватъ, что слишкомъ ужь скрывалъ ее, — и невинная ложь мститъ за себя! Подожду отвѣта на слѣдующее письмо: оно придетъ недѣли черезъ двѣ; тогда можно будетъ больше сказать имъ. Впрочемъ надѣюсь, что писанное мною передъ отъѣздомъ изъ Флоренціи сдѣлаетъ свой эффектъ. Я знаю, какъ нужно было бы съѣздить мнѣ домой для братьевъ! Но это значило бы уморить себя. Я остаюсь во что бы ни стало.—Я былъ два-три дня очень разстроенъ вслѣдствіе усталости, вѣроятно; все видѣнное въ это время равно невидѣнному. Теперь я опять поправился, пью ослиное молоко и веду себя очень хорошо.

Мы ѣздили съ Мар—мъ, Рундомъ, Ефр—мъ, Тур—мъ, Хов—мъ смотрѣть кой-какія развалины: гробницу Сципіоновой фамиліи — темный и сырой подземный корридоръ; катакомбы—мѣсто жительства, службы и погребенія первыхъ христіянъ: эти также темные, подземные корридоры болѣе интересны воспоминаніями—они играли роль; гробницу Цециліи Метеллы, дочери богатаго Красса; циркъ Ромула (сына Максенція); мнимый гротъ Эгеріи. Особенно хороша сама по себѣ гробница Цециліи Метеллы, круглое зданіе, вполовину разрушенное. На дорогѣ попадалось много другихъ обломковъ, поросшихъ кустарникомъ, — они дѣлаютъ чудный видъ. Храмъ Петра превзошелъ мои ожиданія: представьте громаду, которая была бы велика, какъ площадь, но такую стройную и гармоническую, что вы обозрѣваете ее однимъ взглядомъ. Въ церкви дышешь вольно и

подымаешь голову выше. Я никогда не могу ждать отъ архитектуры чего-нибудь охватывающаго душу своею необыкновенностію: душа выше ея; но она довольна, когда находитъ себѣ такое жилище. Огромный куполъ чудесенъ. Мы лазили и туда; мозаики, кажущіеся снизу почти миніатюрными, — колоссальны. Дворъ церкви съ фронтонами и обелискомъ — великолѣпенъ. Крѣпость Ангела, стоящая на дорогѣ къ Петру, дѣлаетъ очень хорошій видъ. Ватиканскаго дворца еще не видалъ! Его отпираютъ публично только два раза въ недѣлю; но, говорятъ, можно быть въ немъ и чаще. Музей Капитолійскій видѣлъ я больной и уставшій. Недавно осмотрѣли мы Palazzo Borghese, гдѣ много хорошихъ картинъ, особенно — Рафаэлево: «Снятіе со креста». Я все еще не дѣлаю ничего порядочнаго, да и трудно. Чуть было не сталъ читать Тита-Ливія; но, по счастію, въ лавкѣ, гдѣ я хотѣлъ купить его, получено было два первыхъ тома, а втораго не было. Но все возьмусь за что-нибудь изъ римской исторіи, какъ ни грустна она сама по себѣ. Объ ней вы читали вѣрно въ Философіи Исторіи Гегеля: мнѣ кажется, онъ чудесно постигъ римскую жизнь! Къ Х—мъ мы ходимъ всѣ очень часто; Мар—ъ тоже каждый вечеръ тамъ. Я играю въ четыре руки съ Шушу; потомъ идетъ всегда очень веселый разговоръ, который Мар—ъ оживляетъ своимъ добрымъ остроуміемъ, заграждая дверь дурной безконечности. Тур. обыкновенно рисуетъ свои фантазіи и очень удачно. Вчера я давалъ ему темы... Мар—ъ сдѣлалъ тутъ же мой портретъ — говорятъ, очень похожъ. Я вѣрю другимъ, потому что самъ не воображалъ себя такимъ: думалъ, что я лучше — шутите жъ послѣ этого надъ Вердеромъ! — Ш—ву я оставилъ мою

карточку съ адресомъ, не заставъ его дома. Это было въ воскресенье. У меня онъ еще не былъ, хотя сегодня ужь четвергъ, слѣдственно мы иначе съ нимъ не увидимся, какъ развѣ гдѣ-нибудь случайно. Мар. Дм. мила какъ обыкновенно, только любитъ осматривать по многу разомъ, отъ этого я теперь намѣренъ удалиться отъ общихъ партій, — уходишься Богъ знаетъ какъ, такъ что едва станетъ голоса сказать: comme c'est beau! Рунда встрѣчаю я также часто у Х—хъ; онъ былъ одинъ разъ у меня и давалъ мнѣ медицинскія наставленія, которыми я въ самомъ дѣлѣ воспользовался. Я совершенно доволенъ моею квартирою. Моя хозяйка предупреждаетъ всѣ мои желанія, хлопочетъ о сохраненіи моего здоровья, но иногда слишкомъ много болтаетъ, отчего я впрочемъ ее ужь немножко отучилъ. Здѣсь стоитъ по сію пору очень перемѣнчивая погода, то солнце, то пасмурно, холодовъ нѣтъ, но еще не слишкомъ и тепло. Собираемся смотрѣть Колизей при лунѣ — разумѣется, большимъ обществомъ: вдвоемъ туда идти или даже ѣхать — слишкомъ отважно!...*)

40.

25 марта.

Жду съ нетерпѣніемъ похвалъ Е. П—ны. Надѣюсь, что ея здоровье поправилось и позволитъ скоро порадовать меня обѣщанными комплиментами. Впрочемъ, гдѣ же снисхожденіе, о которомъ вы говорите? чѣмъ я его обнаружилъ? Р—да я назвалъ дѣльнымъ — ну не правда ли же это? Дѣленъ—не значитъ еще геніяленъ, очень

*) По случаю частыхъ грабежей въ Римѣ. *Изд.*

-уменъ; притомъ еще онъ очень добръ и снабжаетъ меня медицинскими наставленіями. Другихъ пріятелей я не смѣю подводить подъ эту схему, даже съ вопросным знакомъ. Мар—ва я еще больше полюбилъ: онъ развивался самостоятельно, слѣд. не богато; но у него остался въ чистотѣ натуральный здравый смыслъ, любовь къ искусству сохранила въ немъ свободу духа. Особенно съ выгодной стороны представился онъ мнѣ въ одномъ спорѣ съ Ш—мъ. Ш.... сталъ защищать направленіе новой нѣмецкой живописи, стараніе подражать Перуджино и проч. Ш.... видитъ въ этомъ необходимую реакцію языческому направленію, начатому Микель-Анджеломъ, возвращеніе къ типу первоначальнаго преданія. Аргументы его: «Вѣдь должна же быть христіянская живопись! А коли такъ, такъ надо держаться типа, оставленнаго преданіемъ.» Напрасно Мар—ъ старался возразить, что типъ этотъ не дѣло преданія, а дѣло художниковъ; въ отвѣтъ слѣдовало исчисленіе образовъ, отступившихъ отъ типа, рѣчь о Мадоннахъ-Римлянкахъ и Христѣ-Аполлонѣ Микель-Анджело. Направно я старался объяснить, что духовный типъ образовъ — въ Евангеліи, а наружный — въ природѣ, что характеръ даетъ Евангеліе, а черты—лица, подмѣчаемыя свободнымъ художникомъ. Ничего! «*Даже* язычники имѣли типъ» (ужь начто негодяи!) — О томъ не думаетъ, что мы обожаемъ духовный образъ Спасителя, а не тѣ или другія черты. А у язычниковъ какой типъ? Самъ же Ш... говоритъ: Гомеръ. Тутъ Мар—ъ ему объясняетъ, что какъ у Грековъ типъ въ Гомерѣ, такъ нашъ въ Евангеліи. «Да Фидій вѣдь не прямо взялъ у Гомера, а у какого-нибудь другаго художника!»—Ну такъ тотъ же взялъ у Гомера? или онъ подсмотрѣлъ какого-ни-

будь бога? — Я старался поскорѣе кончить этотъ разговоръ, а то вѣдь пришли бы къ неразрѣшимому. Конечно, Гомеръ даетъ не одинъ характеръ, но и наружный очеркъ боговъ своихъ и дѣлаетъ его такъ прекрасно, что скульпторъ въ самомъ дѣлѣ одушевляется имъ и осуществляетъ его. Евангеліе передаетъ намъ только Бога въ духѣ. Живопись можетъ только представить *часть* божества, сколько оно выказывается въ наружныхъ чертахъ; въ нихъ не можетъ быть выражено все, что̀ составляетъ содержаніе божественнаго, но этотъ человѣческій ликъ принимаетъ *такое* выраженіе, когда его носитъ божественное существо! Итакъ *отблескъ божества* — вотъ что̀ составляетъ главное въ христіянской живописи. Я допустилъ бы тутъ еще преданіе—столько, сколько оно нужно для другихъ, чисто историческихъ картинъ. Но понимаете ли вы *начало* противниковъ? Они и сами не опредѣляютъ слишкомъ типъ, оставляютъ много художнику. Но они *не свободно* требуютъ типа, не просто для распознанія этихъ лицъ: нѣтъ! у нихъ это другаго рода требованіе: «Я не могу уважать вотъ это римское лице, давайте мнѣ то, которое сохранено преданіемъ!» Они поклоняются *опредѣленному*, они чтятъ *преданіе*, *данное* — они больше язычники, нежели они думаютъ. Потомъ — вѣдь нѣмецкая школа хочетъ не только сохраненія этого преданнаго типа, она подражаетъ манерѣ старыхъ живописцевъ, ихъ складкамъ и проч. Это ужь не можетъ быть никакъ оправдано ничѣмъ. Тутъ Ш... вступаетъ уже на техническое поле и увѣряетъ, что въ старину лучше дѣлали складки! Тутъ ужь не добросовѣстность, кажется! Впрочемъ Ш... сознаетъ, что, какъ реакція, эта школа имѣетъ *свои крайности*. Я же въ этой школѣ

вижу то̀ направленіе, которое заставило многихъ протестантовъ съ поэтическою душою принять католическую вѣру.... Когда не воспитана сила души, когда не очищена голова, не пріучена къ отчетливости, а неопредѣленные, страстные порывы волнуютъ все существо, манятъ его въ лучшій, болѣе свободный, поэтическій міръ — тогда невольно человѣкъ обращается къ прежнему его небу, населенному живыми существами съ ихъ индивидуальностію, гдѣ царствуетъ лицо, любимое съ дѣтства, кроткое, любящее (das ewig Weibliche), и гдѣ въ какихъ-то полудуховныхъ сферахъ, кажется, снится какой-то чудный сонъ! Не то̀ ли дѣлаютъ и эти живописцы? Мадонны съ человѣческими лицами, просвѣтленными чистою материнскою любовію, обнаруживающія божественное *въ жизни*, — не во нихъ! У Перуджино сохранились кроткіе образы, которые болѣе ихъ удовлетворяютъ! Прекрасныя головки съ красивою прической, чуждыя сильнаго выраженія, но fromme, съ пассивнымъ благоговѣніемъ, часто съ младенческою робостію и какъ будто замѣшательствомъ на лицѣ; въ нихъ есть что-то *не здѣшнее* — но это не значитъ высшее, а непохожее на здѣшнее и нѣсколько фантастическое; ихъ окружаетъ нездѣшній цвѣтъ неба, нездѣшняя зелень и золотые вѣнцы висятъ надъ ними на воздухѣ! Этого имъ и надо! Но довольно! Я не хотѣлъ было писать объ этомъ подробно, а написалъ листъ: какъ трудна категорія мѣры! — Въ Римѣ стоитъ неблагопріятная погода. Трамонтано дулъ болѣе недѣли сряду, а сегодня утромъ шелъ такой снѣгъ, какого я еще не видалъ и въ Россіи: улица покрылась, я думаю, на палецъ; но теперь свѣтитъ солнце

и я выйду изъ дому попозже. Впрочемъ, здоровье мое недурно, хоть и часто мѣняется; кашляю я вообще меньше, за то сталъ какъ-то раздражительнѣе; это ужь бывалое—надѣюсь не надолго. Сегодня мнѣ особенно хорошо. Хозяйка ужь меньше хлопочетъ обо мнѣ. Впрочемъ она добра, теперь уже меньше болтаетъ вслѣдствіе мѣръ, мною самимъ принятыхъ. Да, еще объ одномъ. Джаксонъ вручилъ ужь давно мнѣ свою карту, но я не собрался побывать у него—вчера его опять встрѣтилъ и объявилъ, что всѣ эти дни былъ боленъ. Мы объясняемся по-итальянски.—Изъ римскихъ примѣчательностей видѣлъ я еще Ватиканъ, хоть бѣгло. Ш... разказывалъ значеніе всего Мар—ѣ Дмитр—ѣ Я былъ свободенъ, но иногда пользовался его объясненіями. Какое чудесное созданіе Аполлонъ — полная красота, божественная! Эти сами по себѣ совершенныя формы принимаютъ еще сверхъ того выраженіе опредѣленнаго момента: это — моментъ совершенной дѣятельности. Богъ идетъ — можетъ-быть, готовъ остановиться; одна рука его простерта впередъ: она только-что нанесла ударъ, и благородное негодованіе затихаетъ на лицѣ его. Все другое я едва видѣлъ. Хороша Madonna del Foligno, и хорошо лицо Спасителя въ «Преображеніи» (цѣлая картина пока wenig ansprechend для меня). Изъ видѣнныхъ мною въ другихъ мѣстахъ картинъ понравилась мнѣ «Магдалина» Гвидо въ Palazzo Sciarra. Отдавая справедливость ея достоинствамъ, художники впрочемъ не очень горячатся за нее. Но у меня есть слабость къ Гвидо. Можетъ-быть, это такое же нечистое и неясное чувство, какъ стремленіе нѣмецкихъ художниковъ къ Перуджино, но я не хлопочу объ этомъ: индивидуальность, даже не совсѣмъ объясненная, не мѣшаетъ человѣку,

когда онъ не старается ее насильно оправдать и сдѣлать изъ нея школу. Изъ моего броженія въ разныхъ планахъ и занятіяхъ составилось пока нѣчто fixes: видя, что я не могу читать подробно римскую исторію въ короткое время моего пребыванія здѣсь, я рѣшился поступить благоразумнѣе. Искалъ Фергюссона, но достадъ англійскаго и притомъ сокращеннаго. Я ужь прочелъ въ немъ главу, но увидѣлъ, что это будетъ большой трудъ, по случаю невѣжества въ языкѣ. Взялъ для общаго обозрѣнія Vertot: «Histoire des revolutions de la république romaine» и Плутарха во французскомъ переводѣ для пополненія. Я пока этимъ очень доволенъ. Это соотвѣтствуетъ совсѣмъ моей цѣли. Я хочу, кромѣ общаго хода дѣлъ, узнать немножко ближе характеръ древнихъ римскихъ установленій и лицъ. У Плутарха прочелъ пока «Ромула»: онъ очень занимателенъ. Прочелъ недавно три итальянскія повѣсти: Un frate, Un traditore, Un barone, осталась еще четвертая—не хочется приняться. Начавши однажды, читаешь кой-какъ, а взяться тяжело. Иногда интересъ самой вещи, историческій, завлекаетъ—но авторъ рѣдко тутъ бываетъ виноватъ. Сталъ читать «Capitaine Paul» Дюма: этотъ забавникъ всегда вѣренъ себѣ, трудно выпустить книгу изъ рукъ. Я ужь почти забылъ о «Sept cordes de la lyre»; о Жоржъ-Сандъ скажу еще кое-что послѣ. Теперь ужь и такъ набралось черезъ-чуръ много резонерства.

Внутренность Пантеона чудесна. Этотъ храмъ сохранился почти въ первобытномъ видѣ. Просторная ротонда освѣщена сверху. Свѣтлый миръ и спокойствіе господствуютъ въ зданіи.

няю что-нибудь объ ней. Эта доконченность, удовлетворенность, миръ — составляютъ прелесть ихъ твореній. Конечно, они скоро помирились, слишкомъ рано кончили, удовлетворились *неполнымъ*; но когда *знаешь* это и когда въ самомъ есть еще что-то другое, что̀ приносишь съ собою къ этимъ твореніямъ, — они благодѣтельно дѣйствуютъ на душу: чувствуешь просторъ, но ненадобно хотѣть *постоянно*, *долго*, а еще менѣе — исключительно наслаждаться ими. Modernität тотчасъ беретъ свое.

Созданіе, умѣнье нужны для духовныхъ наслажденій! Только не надобно учиться этому цѣлую жизнь: сознаръ разъ и — маршъ въ Божій міръ!

Какъ чувствовалъ Гёте, что мы *много*, слишкомъ много готовимся къ жизни и не успѣваемъ жить! *Онъ* чувствовалъ это, а мы *прочіе*?!! Und was ist das Leben? какъ хорошо знаешь это — и какъ не попадаешь туда!

41.

26 марта.

Наконецъ, кажется, небо сжалилось надъ нами и хочетъ подарить насъ порядочною погодой. Сегодня оно чисто и приняло свой нарядный, темносиній цвѣтъ. Съ крышъ льетъ вода отъ вчерашняго снѣга и дождя, которые по очереди шли цѣлый день. Что̀-то дѣлается теперь во Флоренціи? Напишите, если не забудите. Это интересно для сравненія. Говорятъ, эта погода здѣсь ужасно рѣдка, и ее не видали ужь года три.... Здѣсь всё занимается Римомъ, Италіей, рисовкой; всѣ читаютъ по нѣскольку книгъ разомъ: слѣдствіе разнообразныхъ интересовъ Рима. Брк. особенно отличается разнообразіемъ современныхъ занятій и читаетъ часто, играя на фортепьянахъ.... У Х—хъ мы бываемъ почти

каждый вечеръ и почти всѣ, но обыкновенно часа на два; я подаю сигналъ, руководимый благоразуміемъ. Эти два часа проходятъ довольно скоро, потому что всѣ ужасно много говорятъ.... Мы ужъ говоримъ объ общемъ путешествіи въ Неаполь, въ одномъ дилижансѣ. Что̀ такое могла бы сказать Е—та П—на на счетъ моего geselliger Ausbildung? Bin ich denn *zu* oder *zu wenig* ausgebildet? Кажется, въ этомъ отношеніи сталъ я на точкѣ, съ которой никогда не сдвинусь. — Рундъ что-то давно не являлся на сцену. За нѣсколько дней передъ этимъ, онъ получилъ позволеніе наслаждаться луннымъ свѣтомъ въ церкви св. Петра. Въ самомъ дѣлѣ, лунный свѣтъ долженъ дѣлать чудесный эффектъ! Рундъ приходитъ къ Х—ымъ по утру и оставляетъ записку: сегодня въ 9 часовъ, если будетъ мѣсяцъ, — въ церковь Петра! Но вечеръ былъ теменъ и дождливъ. На другой день, является онъ вечеромъ съ однимъ нѣмецкимъ капитаномъ и зоветъ публику — никто этого не ожидалъ; экспедицію отложили до завтра; онъ былъ очень недоволенъ. Итакъ на третій день въ холодъ, чтобъ не обидѣть Рунда, Х—ы отправились туда въ сопровожденіи нашихъ друзей. Дѣти остались дома. Но на ту пору *луны не было*. Р—дъ толковалъ, гдѣ и какой *бываетъ* эффектъ. Но, говорятъ, все-таки хорошо было смотрѣть на гробъ св. Петра, вокругъ котораго горѣли лампады; на маленькіе фонари кустадовъ, мелькавшіе по церкви; на статуи, освѣщенныя этими фонарями. Я не принималъ участія въ этой экспедиціи, руководимый опять-таки благоразуміемъ и осторожностію.

На дняхъ я приготовилъ письмо къ Дядьковскому.

факты вѣрны, но тонъ не тотъ. Со мною такъ часто дѣлаются перемѣны, что я не знаю, какъ говорить о себѣ. Теперь дня два-три я чувствую себя вообще совсѣмъ иначе (т. е. къ лучшему) и вижу, что надо написать другое письмо. — Пора бы намъ дождаться отвѣта отъ Граф—го. Онъ знакомъ съ Огор—ми. Ог. читаетъ теперь Гегеля — не знаю что̀. Сегодня я намѣренъ записаться въ здѣшній Cabinet littéraire, гдѣ, говорятъ, очень много французскихъ журналовъ. Теперь приближаются интересныя discussions. Въ caffés обыкновенно находишь Gazette de France, но также и Allgemeine Zeitung. Вы живете все-таки въ новомъ мірѣ; я записываюсь въ Cabinet littéraire, чтобъ не совсѣмъ отстать отъ него за римскою исторіей и древностями.

Что̀ пѣвецъ Ивановъ? Вы не пишите объ немъ. Х—ы получили письмо отъ Швахгейма: онъ въ восхищеніи отъ флорентинской оперы.

22.

5 апрѣля.

Время утишило вѣрно порывы къ эпиграммамъ или я такъ простъ, что не отыскалъ ихъ въ письмѣ Е—ны П—ны? Одна только, впрочемъ оскорбительная до чрезвычайности, бросилась мнѣ въ глаза — на счетъ формата моихъ писемъ: неужели я нисколько не усовершенствовался по этой части? За то нѣсколько комплементовъ, сказанныхъ par parenthèse и безъ парантеза, особенно пріятно отозвались въ душѣ моей. Я былъ бы очень радъ, еслибъ мои описанія Рима могли быть вамъ полезны; но я, кажется, до сихъ поръ описывалъ вамъ больше себя и кое-что изъ Рима, сколько оно относилось

къ моему существу. Я боюсь, что многое вижу сквозь призму своей запутанности (терминъ и понятіе принадлежатъ Н. Г: они очень удачны); — но вы довольно проницательны, чтобъ понять это. Личность моя ist nicht scharf genug ausgesprochen, чтобъ исказить предметъ и дать ему въ томъ искаженіи новый самобытный характеръ, а чрезъ то обмануть невидавшаго. Впрочемъ, повторяю, вы отъ меня узнаете очень мало о Римѣ правды или лжи. Кромѣ перемѣнчивой погоды, которая мѣшаетъ покойно и въ порядкѣ видѣть сокровища Рима, меня стѣсняетъ короткій срокъ моего пребыванія въ Римѣ; я не могу хорошенько расположиться, не могу устроить своихъ занятій такъ, чтобы они сообразны были и съ вѣчной, dringender, главной потребностью духа, и съ мѣстностью. Это мѣшаетъ найдти центръ, изъ котораго весело и спокойно можно смотрѣть на весь міръ. Но — дѣлать нечего; распорядиться такимъ образомъ не совсѣмъ зависитъ отъ моей воли. Этого стѣсненія требуетъ мое здоровье и другія причины. Ich suche mir zu helfen, wie ich kann, und bin nicht ganz mit mir unzufrieden. Кстати: на дняхъ я получилъ письмо изъ деревни отъ моего отца въ отвѣтъ на то, въ которомъ я увѣдомлялъ его о необходимости пробыть еще годъ за границею. Онъ согласился безъ малѣйшаго упрека и только безпокоится о моемъ здоровьѣ. Такъ какъ я прежде почти не писалъ ему о моей болѣзни, то и не ожидалъ такого отвѣта: по крайнѣй мѣрѣ, я думалъ, что въ этомъ отвѣтѣ останутся слѣды непріятнаго сюрприза, но ихъ нѣтъ. Мнѣ немножко совѣстно, что я могъ ждать чего-нибудь другаго, но я напередъ обвинялъ болѣе себя. Мое здоровье не дурно: благодаря

руетъ. Хозяйка спрашиваетъ у меня часто: «Come sta?» —Un poco meglio, отвѣчаю я — «Ah, birbone! *un poco?* Sta bene, sta bene—già lo vedo.» Ей лучше знать.— Квартирою и услугою я доволенъ по прежнему, и еще болѣе прежняго.

Съ моего послѣдняго письма къ вамъ я много шатался по Риму, но только шатался, почти ничего не видя. Въ понедѣльникъ была чудесная погода — я забылъ о Ватиканѣ (впрочемъ, кажется, эту недѣлю онъ запертъ) и прогулялъ все утра на Villa Borghese. Мы были въ большомъ обществѣ: Х—ны, обыкновенный тріумвиратъ — я, Ефр. и Тур., потомъ Мар—ъ. Es war ein Luftbad! Нельзя было довольно насладиться воздухомъ. Тур. охотился за ящерицами, Ефр. отчасти тоже, Мар—ъ занимался изысканіемъ: подъ какимъ деревомъ Рафаэль сидѣлъ съ Форнариною? Но галлереи мы не видали, не дождавшись кустода. Также свободно поступили мы въ Villa Albani, куда насъ возилъ Рундъ: полюбовались жилыми комнатами—и пропустили галлерею статуй, спѣша.... право не знаю куда. Р—ъ былъ въ хорошемъ расположеніи духа и напѣвалъ: Schöner, grüner Jungferkranz, Veilchen blauer Seide! Но варваръ завелъ насъ потомъ Богъ знаетъ куда. Погода понахмурилась, грозило снѣгомъ, а онъ предлагаетъ туда и сюда. Мы соглашались, думая, что это по дорогѣ; но онъ, пользуясь свободнымъ временемъ, котораго у него немного, хочетъ разомъ доставить побольше удовольствія и дѣлаетъ такіе круги, что Боже упаси. Слѣдствіемъ этой поѣздки было мужественное рѣшеніе: не поддаваться Рунду и предписывать ему планы поѣздокъ, справившись напередъ съ книжкою Нибби. Изъ галлерей, которыя мнѣ удалось видѣть въ

это время, я ничего не могу сообщить вамъ, — ничего особеннаго не запало мнѣ въ душу. Надо только упомянуть о фрескахъ въ Фарнезинѣ и Фарнезе. Оба дворца принадлежатъ неаполитанскому королю. Въ Фарнезинѣ знаменитые фрески, представляющіе исторію Психеи; они выполнены по рисункамъ Рафаэля его учениками и особенно Юліемъ Романо. Heiterer Sinn господствуетъ въ цѣломъ, боги летающіе и пирующіе свободны, легки и довольны своимъ существованіемъ. Часто я не могъ понять, зачѣмъ такъ широкъ этотъ корпусъ, зачѣмъ такая странная мина у этой богини, но большая часть этихъ образовъ очаровательна. Особенно хороша группа Меркурія и Психеи: онъ летитъ на небо, держа невѣсту Амура. Въ другой комнатѣ очень хороша Галатея, сдѣланная самимъ Рафаэлемъ. Во второмъ этажѣ, если не ошибаюсь, большой фрескъ во всю стѣну Рацци, ученика Перуджино, товарища Рафаэля: онъ больше всего сдѣлалъ на меня впечатлѣніе: Ich weiss nicht, ob diese Rosen im Himmel blühen, aber Rosen, schöne, duftende Rosen sind es auf jeden Fall! Это розы *греческаго неба* — помиримся на этомъ. Александръ Македонскій предлагаетъ корону Роксанѣ; она въ нерѣшительности, закутанная въ прозрачные покровы, сидитъ на своемъ ложѣ; Амуръ надѣваетъ на нее сандаліи; этотъ мальчишка ужасно смѣшонъ и милъ своими усиліями; въ углу какіе-то два юноши. Живописецъ не боялся однообразія и сдѣлалъ всѣ лица прекрасными. Прелесть и нѣга дышатъ во всей картинѣ, и вездѣ господствуютъ это спокойствіе и удовлетвореніе греческаго міра, которыя, если они еще и далеки отъ святости, все-таки вырываютъ душу изъ земнаго и переносятъ ее

главный характеръ тотъ же, я не стану болѣе распространяться объ этомъ: надо видѣть эти картины. Но... вспомните, что у меня глазъ не художника, даже не Пфушера, и что я не чуждъ способности сочинять, особенно при солнцѣ и хорошемъ небѣ... У Мар. Дм. осталось еще какое-то дѣтское чувство къ природѣ, она такъ рада зелени, что рѣдко пропуститъ пустой садишко, чтобъ не попросить позволенія войти въ него. Въ этомъ я ужь вполнѣ симпатизирую съ нею. — Коммисію вашу, Е. П., я не могъ передать *словесно*: какъ же мнѣ назвать дѣвушку *миленькимъ существомъ*? Я показалъ ей эти строки въ вашемъ письмѣ и мать прочла ихъ громко. Мар—ъ дѣлалъ карандашемъ ея портретъ; онъ всматривался, рисовалъ, перемарывалъ, и когда я его просилъ не марать такъ часто, онъ отвѣчалъ: «Да вотъ говорите вы! это не что-нибудь такое!» Съ тѣхъ поръ онъ особенно сталъ восхищаться ея физіономіею; Тур. объявилъ его между нами влюбленнымъ, я взялъ на себя дѣлать ему въ обществѣ при случаѣ stenterellesche *) (порадуйтесь, Ник. Григ.!), которые каждый разъ заставляютъ его засмѣяться и сконфузиться, и теперь онъ безъ вины виноватъ. Она въ самомъ дѣлѣ доброе и милое существо, въ ней есть врожденное женское чувство, которое (если не заглушатъ его годы пустоты) никогда не позволитъ развиться въ ней чему-нибудь choquant. Но... странная мысль пришла мнѣ въ голову... Вы не возобновите своихъ подозрѣній? Навѣрное нѣтъ. Тутъ нѣтъ ничего обиднаго для меня, тутъ было бы только

---

*) Stenterellesche — комическое лицо флорентинскаго національнаго фарса.

заблужденіе съ вашей стороны, а мнѣ хочется показать себя вамъ во всей истинѣ. Ее нельзя не любить, какъ доброе дитя. Но, чтобъ довершить мою откровенность, я чувствую свою свободу и способность to fall in love, irgend wo anders, т. е. не въ эту, а въ какую-нибудь другую. — еслибъ ужъ это угодно было небесамъ. Да! не кстати. Я, кажется, не писалъ вамъ еще о «Моисеѣ» Микель-Анджело? Что это за художникъ? У него одинъ идеалъ — сила, энергія, желѣзное могущество, и онъ его осуществляетъ какъ будто бы шутя, какъ будто мраморъ у него мнется подъ рукою! Эта статуя въ церкви св. Петра in Vincoli. Лицо Моисея далеко отъ классическаго идеала: губы и вообще нижняя часть лица выставились впередъ, глаза *смотрятъ* быстро, одною рукою придерживаетъ онъ бороду, которая падаетъ до ногъ, другою — кажетъ законъ. О свободѣ, отчетливости въ исполненіи и говорить нечего. Гёте, посмотрѣвъ на твореніе Микель-Анджело, чувствовалъ, что не могъ такимъ сильнымъ взглядомъ смотрѣть на природу и отъ этого въ ту минуту она ему не доставляла наслажденія. Правда, что есть что-то уничижительное въ этой гигантской силѣ; но не смѣло ли это сказать? Въ его искусствѣ нѣтъ этой *мирящей* силы, которая господствуетъ и въ греческомъ и христіянскомъ искусствѣ. Я готовъ былъ сказать: въ его искусствѣ нѣтъ божества... но это несправедливо — нѣтъ всего полнаго, любящаго. Изъ божества въ немъ осталась сила (представьте, что до сихъ поръ мнѣ не удалось быть въ Сикстинской Капеллѣ!) Въ той же церкви, гдѣ Моисей, есть въ Sacristie головка Гвидо-Рени: «Надежда»; даже у него

на нее послѣ Моисея? тутъ одна душа безъ тѣла, музыка — но не забудьте все-таки, что я варваръ въ живописи. Въ заключеніе скажу вамъ еще, что вчера мы видѣли въ церкви св. Цециліи in Trastevere статую ея par Charles Moderne; она представлена въ такомъ видѣ, въ какомъ найдено ея тѣло, — но какъ художникъ умѣлъ воспользоваться этимъ положеніемъ! Обѣ руки вытянуты впередъ, голова заброшена назадъ (ей не отсѣкли ее, она умерла послѣ нѣсколькихъ ударовъ); но изъ этого все-таки ничего не слѣдуетъ: надо видѣть какъ граціозно она сдѣлана! Я жалѣлъ, что не могу рисовать.

На дняхъ былъ я у Ш... Онъ принимаетъ большое участіе во мнѣ, давалъ мнѣ много совѣтовъ на счетъ моей зимовки въ Италіи и занятій, которымъ здѣсь удобнѣе предаваться. Я былъ ему очень благодаренъ, хотя не всегда согласенъ съ нимъ. Философія не была пройдена молчаніемъ. Онъ разказывалъ кое-что о Баадерѣ, баадерскія понятія о Гегелѣ и философскія понятія: вообще все это дико, дико, не смотря на уваженіе, которымъ пользуется Баадеръ. Разказывая мнѣ иныя примѣчательныя мнѣнія философовъ, которыхъ ему случилось узнать, онъ наконецъ заключилъ: «Ну, да вамъ, я знаю, это должно казаться побрякушками!» Я думаю, это сказано было отъ души.

43.

7 апрѣля.

Вчера я не успѣлъ написать вамъ ничего; кажется, немного, успѣю и сегодня—солнце свѣтитъ очень весело и курьеръ Х—хъ ужь приходилъ ко мнѣ напо-

мнить о *partie*, предпринятой очень давно и неисполненной за дождемъ. Вчера еще разъ былъ въ Ватиканъ. Аполлонъ еще болѣе мнѣ понравился — что̀ послѣ этого абстрактная сила Микель-Анджело? Тамъ удивляешься таланту, здѣсь наслаждаешься произведеніемъ. Вѣчная юность, благородная гордость дышатъ въ этихъ чертахъ. Вечеромъ Рундъ привезъ къ Х—мъ скульптора Вандерфельда, Голландца; онъ говорилъ намъ, что эта статуя, превосходная во всѣхъ отношеніяхъ, не принадлежитъ къ первоклассной эпохѣ греческаго искусства. Онъ видитъ тутъ какую-то мягкость, чуждую первымъ школамъ. Это для меня ничего; я упрямъ и имѣю свои понятія объ этомъ. Мнѣ нравится, что Аполлонъ былъ идоломъ Винкельмана. Такъ какъ я долженъ сейчасъ кончить письмо, чтобъ не отложить его отправку до послѣзавтра, то скажу поскорѣе вкратцѣ, что особенно хотѣлось мнѣ передать вамъ. Ш... обѣщалъ написать обо мнѣ Баадеру и совѣтовалъ явиться къ нему въ Мюнхенъ. Разумѣется, если мнѣ удастся быть тамъ, я это сдѣлаю непремѣнно. Онъ просилъ меня также быть терпѣливымъ къ его выходкамъ противъ Гегеля, котораго онъ не любитъ. «Впрочемъ эта снисходительность совсѣмъ въ вашемъ характерѣ» — прибавилъ онъ. Я, въ самомъ дѣлѣ, взялъ за правило самообладаніе въ разговорахъ такого рода, и оно гораздо выгоднѣе и для меня, и для чести науки, можетъ-быть .... оно оковываетъ порывы самолюбія въ другомъ, или заставляетъ его обдумать мнѣнія, возникшія par dépit. . . .

Пользуйтесь Перголою *), наслаждайтесь M-me Un-

---

gern и хоть изрѣдка избытокъ вашего удовольствія спускайте въ Римъ. Благодарю васъ за извѣстіе о флорентинскихъ спектакляхъ. На счетъ публики мы давно согласны: скоро увижу я неаполитанскую, знаменитую, по словамъ Швахгейма, мастерицу свистать и шикать. Свой талантъ у всѣхъ! На счетъ моего geselliger Ausbildung und meiner gesellschaftlichen Amusements надѣюсь лично вамъ дать отчетъ. Мнѣ все это очень ясно. Р—дъ дѣйствительно добрый, хорошій и дѣльный человѣкъ, хотя весьма ограниченный и — прости Господи, если я ошибаюсь — непоэтическій. Мар—ъ былъ на дняхъ у меня и закидалъ меня философскими вопросами и сомнѣніями, на которыя было ему трудно отвѣчать. У него свѣтлая голова, живыя требованія, но—Einsamkeit!!! Я никогда почти не дѣлаю себѣ такихъ вопросовъ. Въ мірѣ господствуетъ *духъ, разумъ:* это успокоиваетъ меня на счетъ всего. Но его требованія неэгоистическія — нѣтъ! существованіе одного голоднаго нищаго довольно для него, чтобъ разрушить гармонію природы. Тутъ трудно отвѣчать что-нибудь, тутъ помогаетъ характеръ, помогаетъ невольная вѣра, основанная на знаніи разумнаго начала. — Всѣ наши знакомые вамъ кланяются. Тур. имѣлъ только намѣреніе брать уроки у Р—да, но не осуществилъ его и, кажется, не рисуетъ больше. Мы видимся каждый день и дѣлаемъ партіи вмѣстѣ. — Я не писалъ вамъ, что видѣлъ на дняхъ Папу. Онъ молился въ церкви св. Петра, окруженный своими кардиналами, въ обыкновенной непраздничной одеждѣ; часто онъ плакалъ. Онъ очень не-молодъ, но свѣжъ. — Прощайте до будущаго письма!

44.

11 апрѣля.

Третьяго дня явился ко мнѣ вечеромъ генералъ М* съ вашею запискою — вчера былъ я у нихъ и, узнавъ, что вы собирались писать ко мнѣ передъ ихъ отъѣздомъ, отправился на почту и нашелъ ваше письмо. Рады стараться по мѣрѣ силъ и способностей! Конечно, это немного; но нечего дѣлать — вопреки Логикѣ Гегеля, прошу оцѣнить добрыя намѣренія. Вчера ужь я предлагалъ свои услуги искать вмѣстѣ квартиры, но ихъ распоряженія помѣшали мнѣ показать мое усердіе. Кажется, они останутся въ гостинницѣ. Я имъ разказалъ, что̀ нужно видѣть главнаго, и просилъ ихъ только смотрѣть поменьше, если они хотятъ удовольствія. Но M-me M* говоритъ, что она при этомъ короткомъ пребываніи въ Римѣ уже не смѣетъ надѣяться на удовольствіе, а хочетъ только успокоить свою совѣсть. Моя по крайней мѣрѣ покойна, я предостерегъ. Впрочемъ у нихъ, вѣрно, еще въ памяти Флоренція, гдѣ любезный und gesellig ausgebildete проводникъ не давалъ утомиться ихъ вниманію, подстрекалъ и электризировалъ его всякую минуту. Въ Римѣ некому занять его мѣсто. Да, я вамъ отдаю полную справедливость: показать галлереи, церкви, театръ — много! Но еще восковую чуму! Я смиряюсь вполнѣ передъ вами. Сначала мнѣ показалось странно, что на счетъ ловкости съ дамами вы поставили меня *хуже* себя. «Вѣрно, думалъ я, Madame M*, при этой рекомендаціи, съ недовѣрчивостію посмотрѣла на Ник. Гр.!» Но по здравомъ размышленіи я увидѣлъ, что не сто̀ю перста вашего, которымъ вы имъ указывали красоты соборнаго купола, Campanile, обѣихъ галлерей — и восковой чу-

мы. Честь и слава! Ваша свѣтскость побѣдила — и я даже не хочу причесовать головы сегодня.

Но, о Ник. Гр.! зачѣмъ же, предувѣдомляя меня о томъ, что легко узнать съ перваго взгляда, вы оставляете для меня главное и трудное загадкою? Дружеское ли это дѣло? Вотъ Е. П. поступаетъ иначе: она знаетъ, какъ много еще нерѣшенныхъ задачъ для меня; она знаетъ, сколько времени читалъ я «Флорентинскую Исторію» Маккіавеля, и о томъ, что у меня лежитъ на столѣ претолстый Плутархъ во французскомъ переводѣ; знаетъ, что мнѣ много еще нужно осмотрѣть въ Римѣ и рѣшить для себя. Все это знаетъ она — также какъ и вы, и съ своею обыкновенною добротою, участіемъ хочетъ облегчить мнѣ трудъ, и напередъ сообщаетъ результатъ, къ которому я долженъ придти. Благодарю отъ всей души! Я такъ ей вѣрю, что оставляю изслѣдованіе. Впрочемъ, *непосредственное явленіе* уже само скажетъ много, а сообщенный мнѣ напередъ результатъ поможетъ дополнить то, чего не успѣю разсмотрѣть. До сихъ поръ я видѣлъ и замѣчалъ совершенно только то, что мнѣ было сказано. Вчера вечеромъ М—ы были у Х—хъ. Генералъ говорилъ про суворовскіе походы; онъ очень интересенъ и уменъ. Древній Римъ занимаетъ его чрезвычайно. Юношество, которое должно быть мною представлено, находилось тамъ и отрекомендовано хозяйкою. Р—дъ былъ также у нихъ. Я былъ очень услужливъ, но рѣшился ограничиться ролью *полезнаго* или, по крайней мѣрѣ, желающаго пользы человѣка и наблюдать за любезностію другихъ. Сидя за особымъ чайнымъ столикомъ подлѣ Р—да и Шушу, я могъ только замѣтить, кто съ кѣмъ пускается въ бесѣды и,

къ услажденію моему, увидѣлъ, что и Тур. и Мар—ъ по очереди вступали въ разговоръ съ M-me M*, что впрочемъ я въ своемъ скептицизмѣ приписывалъ больше ея ловкости, нежели ихъ. Но все-таки дѣла идутъ хорошо: въ самой похвальной стороны выказалъ себя Еф., онъ съ часъ любезничалъ съ сестрою M-me M* и напомнилъ мнѣ его цвѣтущее время, когда онъ былъ изъ самыхъ разговорчивыхъ кавалеровъ! Одинъ разъ только я невольно было испортилъ эту сцену: мнѣ пришла на память фраза Гоголя: «Не вѣрьте ему, Иванъ Григорьичъ! все вретъ!» Я сообщилъ ее Шушу, та засмѣялась и интерлокуторы умолкли; Катинька (извините, другаго имени не знаю) даже спросила: не надъ ними ли мы смѣемся? но я очень ловко отвѣчалъ, что только надъ Еф. Вотъ пока рапортъ о пребываніи фамиліи M* здѣсь.

Мое здоровье живетъ. Завтра Р—дъ познакомитъ меня съ папскимъ докторомъ Алерцемъ. Онъ нѣмецъ и имѣетъ хорошую репутацію — хотѣлось бы узнать что-нибудь на счетъ будущности. Я все еще не знаю: ѣхать ли въ Эмсъ? Мнѣ осталось быть въ Римѣ менѣе двѣхъ недѣль; я пока немного тутъ сдѣлалъ, но сдѣлалъ, что могъ. Завтра кончу Верто — онъ очень безцвѣтенъ. По-итальянски давно почти ничего не читалъ, по-англійски еще меньше. Побраните меня, здѣсь нѣтъ за мною инспекторовъ и безъ учителя слабѣетъ рвеніе къ англійскому языку... Здѣсь стоитъ очень перемѣнная погода, по большей части дождь, который не даетъ видѣть Рима. О сю пору никто изъ насъ не былъ ни въ Тиволи, ни въ Фраскати. Приближаются церемоніи Страстной Недѣли; не знаю: увижу ли какую-нибудь? Меня пугаетъ давка, и я пойду, только увѣрив-

шись, что ея не будетъ. Я писалъ вамъ кажется, что Мар—ъ дѣлаетъ очеркъ картины, которая представляетъ сраженіе гладіаторовъ въ Колизеѣ. Не пишу больше потому, что сейчасъ писалъ еще письмо. Будьте здоровы и пишите.

45.

21 апрѣля.

«Я ужь почти. . .»

25 апрѣля.

«...уѣхалъ въ Неаполь», хотѣлъ я сказать, но судьба судила иначе. Докторъ папскій (Алерцъ) перервалъ фразу своимъ пріѣздомъ и велѣлъ мнѣ поставить пьявки къ правой сторонѣ груди, гдѣ у меня сдѣлалась боль, подобная старой берлинской, но сильнѣе,—потомъ жаръ, лихорадка; — я воспротивился однако намѣренію бросить мнѣ кровь; дѣло пошло лучше, и теперь, хотя слабый, я чувствую себя довольно порядочно. Вотъ причина моего молчанія. До тѣхъ поръ меня останавливали разныя незначительныя приключенія съ моею грудью, которыя то проходили, то возвращались, но требовали бездѣйствія. Путешествіе въ Фраскати и *рвеніе* тамъ, также поздній возвратъ сырымъ вечеромъ произвели во мнѣ, вѣроятно, послѣднюю пертурбацію. Докторъ надѣется меня отпустить скоро въ Неаполь; онъ человѣкъ дѣльный и самъ туда ѣдетъ, совѣтуетъ мнѣ пожить въ Соренто. Впрочемъ, я рѣшусь на поѣздку туда не иначе, какъ порядочно еще переговоривши съ нимъ о вліяніи тамошняго климата — и не поѣду, если есть рискъ. *Сіи* и подобныя обстоятельства виною, что едва видѣлъ М*. Вотъ ужь

4 дня какъ я не выхожу изъ дому. Надѣюсь, сегодня докторъ позволитъ: время чудесное! Еф. и Тур. уѣхали вчера въ Неаполь. Х—ы собираются завтра. Мар. Дмитр. была такъ добра, что вчера сама приходила навѣстить меня. Я не зналъ, какъ благодарить ее; она искренно безпокоилась о моемъ положеніи. Но въ моемъ положеніи еще большой бѣды нѣтъ, и я надѣюсь, что это письмо успокоитъ опасенія, которыя, можетъ-быть, возбудило въ васъ мое молчаніе. Не смѣю писать больше. Жду доктора: авось выпуститъ погулять. — Сейчасъ былъ докторъ, совѣтуетъ поѣхать въ Альбано на нѣсколько дней прежде Неаполя... попробую . . . гулять еще не пускаетъ.

26.

Альбано. 30 апрѣля.

Я совсѣмъ неожиданно очутился здѣсь по совѣту моего доктора, который находитъ для меня полезнымъ здѣшній воздухъ. Самъ онъ уѣхалъ въ Неаполь, отъ котораго я отказался, не смотря на то, что онъ въ послѣднее время былъ моею любимою мыслію. Кромѣ тамошняго воздуха, который вреденъ, но отъ котораго я могъ спастись въ Соренто (а онъ тоже problematisch), мнѣ не достало бы времени къ путешествію на сѣверъ, т. е. въ Швейцарію, или Германію. Въ Италіи я не могу даже узнать, *гдѣ* и *какъ* я долженъ провести лѣто. Мой докторъ совѣтуетъ Интерлакенъ; но я поѣду до Цюриха, гдѣ какой-нибудь профессоръ рѣшитъ этотъ вопросъ лучше. Готовъ даже, если смогу, до Мюнхена. Теперь пока путешествіе мнѣ еще нелегко отъ болей, которыя все странствуютъ по

правому боку съ мѣста на мѣсто и не даютъ спать порядочно. Впрочемъ, я чувствую себя гораздо лучше съ тѣхъ поръ, какъ писалъ вамъ, и бодрѣе. Вчера пріѣхалъ въ Альбано и завтра уѣзжаю. Воздухъ былъ бы здѣсь не дуренъ, еслибъ могъ я далеко ходить, но я могу только наслаждаться великолѣпнымъ видомъ изъ моихъ оконъ. Моя комната — для поэта: грязный, кирпичный полъ, полинялыя стѣны, небольшая, но съ окномъ по срединѣ, откуда видны лѣсистые холмы, равнина и вдалекѣ море. Прислужникъ лѣтъ 55, если не больше, толстъ и съ краснымъ носомъ, говоритъ совершенно въ родѣ гоголевскаго судьи, какъ старинные часы, которые сначала храпятъ, потомъ бьютъ. Посуда, которую подавали къ чаю, пахнетъ такъ, какъ все пахнетъ въ Альбано — не знаю чѣмъ: запахъ совершенно для меня новый, специфическій, альбанскій. Впрочемъ, это поѣздка пріободрила меня. Не знаю, долго ли еще проживу въ Римѣ; мнѣ во всякомъ случаѣ не удастся исполнить обѣщанія, записаннаго на 1-й стран. моей книжки рукою Е. П. Хотѣлось бы, чтобы правая моя сторона исправилась (не думайте впрочемъ о ней худо: это было бывалое, только нѣсколько въ новомъ видѣ, я только остерегаюсь, чтобъ не сдѣлалось хуже); при томъ подожду еще писемъ изъ Неаполя отъ друзей. Не вздумаетъ ли и Ефр. воротиться со мною? Мнѣ очень непріятно, что я не могу увидѣться съ Дьяк.; но не мудрено, что и она оставитъ Неаполь: это меня утѣшаетъ.

Въ Римѣ стоитъ постоянно ясная погода — каково во Флоренціи? не холодно ли? не вѣтрено ли? Сдѣлайте одолженіе, напишите мнѣ про это поскорѣе. Кстати о коммиссіяхъ: М—мъ я ничего не могъ сказать, по-

тому что не видалъ ихъ съ полученія вашего письма — заболѣлъ, а они уѣхали. Я вообще очень мало пользовался ихъ обществомъ, но въ этомъ виновата одна моя болѣзнь. Я не писалъ вамъ, что я, по мѣрѣ силъ, также присутствовалъ на нѣкоторыхъ церемоніяхъ Страстной Недѣли: на умовеніи ногъ и на службѣ въ Воскресенье Пасхи. Въ послѣдней было особенно много великолѣпія, и я пришелъ такъ счастливо, что Папу пронесли въ церковь подъ балдахиномъ близехонько отъ меня. Военная музыка играла ему въ слѣдъ при вносѣ въ галлерею передъ церковью Петра; другая встрѣтила его; площадь покрыта была войскомъ и народомъ: все это вмѣстѣ дѣлаетъ необыкновенное впечатлѣніе. Но подробности послѣ — при личномъ свиданіи; тогда я разкажу вѣрно яснѣе.

43.

Римъ. 9 мая.

Отъ васъ есть ужь давно письмо ко мнѣ, — но я съ нимъ разъѣхался: его послали въ Альбано вмѣстѣ съ моими другими вещами. Я поджидалъ его возвращенія, чтобъ отвѣчать вамъ. Но съ здѣшнимъ народомъ не скоро сладишь, и оно еще гуляетъ. Кромѣ того, признаюсь, необыкновенная физическая лѣнь мѣшаетъ мнѣ взяться за перо, не могу похвастаться ни силами, ни энергіею. До сихъ поръ я не пришелъ еще въ обыкновенное состояніе. Вотъ двѣ ночи, какъ я началъ кое-какъ спать, хотя аккуратно въ извѣстную пору на нѣсколько минутъ я горю какъ въ огнѣ; но эти двѣ ночи меня много поправили. По пріѣздѣ я адресовался было къ итальянскому доктору De-Mattheis.

человѣку, кажется, съ большими достоинствами, но онъ ужасно brusque. Онъ не хотѣлъ внять, что особая болѣзнь довела меня до этого состоянія, и отдѣлывалъ меня ужасно скоро, завѣряя впрочемъ къ моему утѣшенію, что mon mal n'est pas *du tout léger*. Когда я позвалъ его къ себѣ, онъ не пріѣхалъ. Тогда я написалъ ему, что мнѣ лучше, чтобъ онъ не пріѣзжалъ, что я самъ буду у него (между тѣмъ мазь его очень облегчила мнѣ бокъ). Я взялъ доктора датской королевы Гартмана. Мнѣ съ нимъ привольно, потому что онъ нѣмецъ и входитъ во всѣ подробности. Теперь онъ меня посѣщаетъ. Каково было мое удивленіе, когда Маттенсъ пріѣхалъ ко мнѣ чрезъ два дня послѣ приглашенія и отказа съ новыми завѣреніями, что mon mal est difficile à guerir avec toutes les précautions possibles и съ дѣльными совѣтами! Я былъ какъ на иголкахъ, пока онъ не ушелъ, и сказалъ, что ѣду во Флоренцію и передъ отъѣздомъ побываю у него. Чудакъ ужаснѣйшій! — Въ самомъ дѣлѣ, я еще ничего не знаю о моей поѣздкѣ и не говорилъ еще о ней съ моимъ докторомъ; нельзя думать о ней скоро. Какова у васъ погода: ясна ли, тепла ли? не вѣтрена ли? — Я не могу писать много.

На дняхъ видѣлъ Джаксона. Моя фигура могла служить вмѣсто извиненія, что я у него не былъ. Добрый человѣкъ принялъ во мнѣ участіе, и я насилу отговорился отъ какого-то гомеопата, котораго онъ мнѣ навязывалъ. Сдѣлавши нѣсколько шаговъ, чувствую, что кто-то хватаетъ меня за руку. Это Джаксонъ.» Такъ я вамъ пришлю его, говоритъ онъ. Я тутъ ужь употребилъ всю логику и наконецъ кой-какъ мы разошлись.

40.

Римъ. 21 мая.

Судьбы мои удивительно перемѣнчивы, но — къ лучшему. Я ужь готовился выѣхать во Флоренцію, какъ вдругъ по письму Мар—ва, который описалъ меня чуть живымъ, пріѣхалъ сюда изъ Неаполя Еф. и съ нимъ Д—а. Какъ ни досадовалъ я на тревогу, которую имъ надѣлали, но пріѣздъ Д—й былъ для меня неожиданною радостію. За нею послѣдовало другая. Мой докторъ, которымъ я очень доволенъ (совѣтовавшій мнѣ Эмсъ), теперь переговорилъ съ нею и со мною еще разъ и рѣшилъ, что я могу получить еще больше пользы, не подвергаясь притомъ перемѣнчивому климату, если проведу лѣто на озерѣ Комо и тамъ буду пить привозную эмскую воду съ сывороткою. Д—а тоже намѣрена туда ѣхать со мною: она дожидается изъ Неаполя сына и компаніонки и мы поѣдемъ во Флоренцію. Вы уже знаете ее по моимъ словамъ — можете судить, что такое для меня ея общество! я ничего не могъ желать больше и если ужь въ чемъ-нибудь можно видѣть Dämonisches, такъ въ этомъ случаѣ оно является въ полномъ свѣтѣ. Здоровье мое лучше, т. е. лихорадка прошла или обнаруживается иногда на полчаса, но ужь всякій порядочный человѣкъ въ Римѣ боленъ теперь лихорадкою. Брынкій по ночамъ, въ бреду, воображаетъ себя папою Львомъ X (онъ читалъ что-то объ немъ), Еф—а Брамою; а я, когда у меня была лихорадка, командовалъ кораблемъ и вооружался противъ Chien-Diable (изъ романа капитана Меріэтта). Теперь я ничего не дѣлаю. Вчера и третьяго дня мы взглянули на Петра, Пантеонъ и Колизей, — и я благословилъ небо, которое хочетъ, чтобъ образъ Рима

дружески поконлся въ душѣ моей. Сквозь бредъ лихорадки я не могъ наконецъ подумать ни объ одномъ памятникѣ безъ тошноты. Колизей заросъ еще болѣе; зелень на немъ очаровательная, а небо, которое стало еще темнѣе, украсило его такъ, что трудно выйдти оттуда; я былъ радъ видѣть все это вмѣстѣ съ Д—ой. Все дѣйствуетъ на нее прямо, просто и живо. — Письмо Гран—го я получилъ. Ш... помѣстилъ въ Журналѣ Министерства статью, въ которой говоритъ, что въ Гегелевской философіи нѣтъ Бога: какъ хорошо! Самъ говорилъ мнѣ, что не знаетъ Гегеля, а потомъ говоритъ такъ. Ив. Кир—й, который вовсе не поклонникъ Гегеля, взбѣсился на эту статью. Онъ читаетъ Логику и Философію Религіи и говорилъ Гран—му, что эти занятія, отъ которыхъ онъ давно былъ отвлеченъ, доставляютъ ему много удовольствія. Теперь довольно! Еще надо отправить письмо въ Россію къ Б—у.

19.

Римъ. 1 Іюня.

Наконецъ сынъ Д—ой съ гувернанткой пріѣхали, и мы завтра съ веттурино двигаемся съ мѣста; 6-го къ вечеру будемъ въ Флоренціи. Мое здоровье незавидно, но на грудь много жаловаться не могу. А безсонницу, лихорадочное и какое-то глупое, полусонное состояніе докторъ рѣшительно приписываетъ Риму. Онъ говоритъ, что, не смотря на свою корпуленцію, страдалъ тѣмъ же. Меня обѣщалъ рекомендовать доктору графини Шварценбергъ, которая должна быть нынѣшнее лѣто тамъ же въ Комо: говоритъ, что онъ отличный лѣкарь и рѣдкій человѣкъ. Все въ порядкѣ.

Я не въ состояніи почти смотрѣть въ книгу и, не смотря на это, у меня въ головѣ планы работъ ужасныхъ — не знаю, что изъ всего этого выйдетъ; поговоримъ при свиданіи. Я вамъ не говорилъ еще, что зиму располагаю провести *рѣшительно* въ Ниццѣ. Правда, что въ иной годъ и тамъ вдругъ поднимится трехнедѣльный трамонтано, но это исключеніе, а надѣжнѣе нѣтъ города въ Италіи. Хочу серіозно поправиться, а работу я привезу туда съ тобою.

Пока прощайте! Желаю отъ всей души полнаго успѣха отъ морскихъ . чнъ Е—ъ П—нъ; но прошу ее быть осторожною и лучше при первомъ маленькомъ невыгодномъ ихъ вліяніи бросить все и обратиться къ араматическимъ ваннамъ: это однѣ почти возможныя и цѣлебныя для раздражительныхъ особъ, къ которымъ я также имѣю честь принадлежать, хоть и въ меньшей степени.

— —

ПРИЛОЖЕНІЯ.

I.

Стихотворенія.

I.

Грусть.

Ночь темна, снѣгъ валитъ,
Вѣтеръ по полю шумитъ;
Пріунылая бесѣда
Въ даль пустынную глядитъ.

Полно, братья, горевать!
Даль прояснится опять,
Снова небо просвѣтлѣетъ,
Снѣгъ сбѣжитъ съ высокихъ горъ,
Вновь цвѣты утѣшатъ взоръ,
Поле вновь зазеленѣетъ.

Въ нашихъ вольныхъ лугахъ,
На обширныхъ степяхъ,
Какъ и прежде, ружья грянутъ;
Но почившіе въ гробахъ
Не проснутся, не возстанутъ!

Намъ ихъ участь невидна,
Ихъ постеля холодна.
Братцы, въ память ихъ наполнимъ
Чашу стараго вина!

На холмѣ гробовомъ
Громко пѣсню пропоемъ,
Пѣсню ту, что мы пѣвали
Въ дни, какъ въ ихъ кругу живомъ
Шумно, весело живали!

Февраль или мартъ 1831 г.

II.

Старая, негодная фантазія.

— Сѣрыя тучи по небу бѣгутъ,
Мрачныя думы душу гнетутъ! —
«Тучи промчатся, солнце блеснетъ;
Горе невѣчно, радость придетъ.»

— Ясное солнце блещетъ высоко,
Радость былая умчалась далеко;
Людямъ до солнца не доходить,
Радость былую не воротить. —

— Звѣзда горѣла средь небесъ,

«— Въ небѣ другихъ милліоны сіяютъ,
Блескомъ отраднымъ взоры плѣняютъ.»

— Сколько ни будутъ плѣнять и свѣтить —
Той, что̀ погибла, не воротить.

Мартъ 183!

III.

Отшельникъ.

Покину міръ — среди могилъ
Влачить мнѣ долгое изгнанье!
Покину міръ — я въ немъ забылъ
Свое высокое призванье!
Не блескъ его, не суеты
Во мнѣ гласъ неба заглушили:
Меня томятъ мои мечты,
Мои мечты меня убили.
Мнѣ память въ казнь! передо мной
Витаетъ образъ вѣчно-милый —
Любовью грѣшной и тоской
Душа томится, гаснутъ силы...
Но я разрушу тяжкій плѣнъ,
Я жизнь найду во тьмѣ могилы
И вольность среди мрачныхъ стѣнъ.

Тамъ вновь душа молиться станетъ,
Вдали отъ бурь созрѣетъ плодъ, —
И падшій духъ опять воспрянетъ,
И небо въ грудь мою сойдетъ.
Я понесу святое иго,
Я тьмы стерплю мученій, золъ;

Согнусь подъ тяжкою вериигой...
Но небо дастъ мнѣ свой глаголъ.
Тогда покину мракъ гробовый,
Тогда явлюсь передъ людей, —
И грянетъ гласъ судьбы суровый,
Какъ громъ надъ бездною морей,
Глаголъ небесъ прейдетъ пучины
И тьмы во прахъ предъ нимъ падутъ,
Главы преклонятъ властелины,
Рабы свободу обрѣтутъ.

Октябрь 1832 г.

IV.

Раздумье.

Скроюсь отъ свѣта, угасну въ тиши!
Некому ввѣрить горе души!
Звѣздамъ — въ нихъ чувства иль нѣтъ, или сокрыто;
Людямъ — прекрасное въ людяхъ убито.

Край есть далекій; въ далекомъ краю
Бѣдное сердце — его я люблю;
Ноетъ, тоскуетъ оно за горами;
Горы не горе — судьба между нами.

Ноябрь 1832 г.

V.

Мечта.

Люблю я смотрѣть какъ ночною порой
Толпятся міры въ вышинѣ голубой;
Какъ тихія воды въ брегахъ отдыхаютъ

Но время наступитъ, но часъ прозвучитъ, —
оды изсякнутъ, и небо сгоритъ;
олъ пронесется — онъ мертвыхъ пробудитъ:
снутся, возстанутъ, а міра не будетъ.

Ноябрь 1832 г.

VI.

Два пути.

Я на распутіи стоялъ,
Съ самимъ собой въ борьбѣ тяжелой:
То мрачный путь, то путь веселый
На полѣ жизни мнѣ мелькалъ.
Манила радость — въ отдаленьи
Знакомый образъ видѣлъ я:
Къ нему съ тоской, къ нему въ томленьи
Душа просилася моя.
И уступалъ я... улетали
Сомнѣнья быстрою чредой:
Туда!... Но, можетъ, путь печали
Скрываетъ небо за собой!
Въ раздумьѣ сталъ я: блескъ обманетъ,
Любовь коварна, жизнь летитъ,
Душа отъ радости устанетъ
И рано сердце загруститъ.
Забуду жь свѣтъ! Къ безвѣстной цѣли
Пойду черезъ тернистый путь!
Къ гробамъ! — чтобъ страсти омертвѣли,
Чтобъ охладѣла къ міру грудь!
И, заглушивши сердца злобу,
Благословилъ я мрачный входъ.

Что̀ нужды? Жизнь ведетъ ко гробу —
Быть-можетъ, къ жизни гробъ ведетъ.
Но что̀ же мнѣ въ замѣну свѣта?
Брожу одинъ въ могильной мглѣ,
Взываю къ небу и землѣ —
Земля и небо безъ отвѣта.

Октябрь 1832 г.

VII.

Пѣсни.

Фантазія подъ вальсъ Бетховена.

Когда въ колыбели дитя я лежалъ,
Веселую пѣсню мнѣ духъ напѣвалъ;
За нею душа улетала далеко,
И пѣсня запала мнѣ въ душу глубоко.
— Отрадные звуки проснутся порой,
Веселые годы встаютъ предо мной —
И духъ напѣваетъ — гдѣ дѣнется горе? —
Про дальное небо, про синее море...

*

Когда я безумной любовью пылалъ,
Дурную мнѣ пѣсню мой духъ напѣвалъ:
То звуки блаженства, то стоны печали
Далекіе — грудь молодую вздымали.
— Душа къ нимъ летѣла — казалося ей,
Что пѣсня звучала изъ милыхъ очей.
Но очи не блещутъ, любовь отлетѣла
И звуки затихли, и грудь охладѣла.

Я въ жизни утратой утрату смѣялъ —
Унылую пѣсню мнѣ духъ напѣвалъ;
И въ сумракѣ ночи на пѣсню печали
Знакомыя тѣни ко мнѣ прилетали.
— Напрасно теперь въ отдаленномъ краю
Веселыя старыя пѣсни пою:
Нѣтъ! жизнь обнажилась! Нѣтъ! бѣздна зіяетъ—
Ужасную пѣсню мнѣ духъ напѣваетъ.

Въ концѣ декабря 1832 г.

VIII.

Двѣ жизни.

(Я. М. Н—у.)

Was ist das Leben ohne Liebesglanz?
Schiller.

Печально идутъ дни мои,
Душа свой подвигъ совершила:
Она любила — и въ любви
Небесный пламень истощила.

Я два созданья въ міръ зналъ,
Мнѣ въ двухъ созданьяхъ міръ явился:
Одно я пламенно лобзалъ,
Другому пламенно молился.

Двѣ дѣвы чтитъ душа моя,
По нимъ тоскуетъ грудь младая:
Одна роскошна какъ земля,
Какъ небеса свята другая.

И мнѣ ль любить, какъ я любилъ?
Я ль память счастія разрушу?
Мой другъ! двѣ жизни я отжилъ,
И затворилъ для міра душу.

IX.

Слабость.

Въ борьбѣ напрасной сохнетъ грудь,
Влачится юность безъ отрады;
Скажи, судьба! куда мой путь?
Какой и гдѣ мнѣ ждать награды?

Безпечный, дикій, полный силъ,
Изъ урны я свой жребій вынулъ,
И тяжкій путь благословилъ,
И весело людей покинулъ.

Я зналъ: не радость мой удѣлъ —
По ней душа не тосковала,
Высокой жаждой духъ горѣлъ,
Надежды неба грудь питала...

Давно, давно я на пути;
Но тщетно цѣли ищутъ взгляды —
Судьба! что̀ мнѣ твои награды?
Былую вѣру возврати!

Мартъ 1833.

X.

Подвигъ жизни.

Когда любовь и жажда знаній
Еще горятъ въ душѣ твоей,
Бѣги отъ суетныхъ желаній,

Себѣ всегда предъ всѣми вѣренъ,
Иди, люби и не страшись!
Пускай твой путь земной измѣренъ —
Съ *непонимающими* дружись!

Пускай гоненье свѣта взыдетъ
Звѣздой злосчастья надъ тобой,
И міръ тебя возненавидитъ:
Отринь, попри его стопой!

Онъ для тебя погибнетъ дольный;
Но спасена душа твоя!
Ты притечешь самодовольный
Къ предѣламъ страшнымъ бытія.

Тогда свершится подвигъ трудный:
Перешагнешь предѣлъ земной —
И станешь жизнію повсудной —
И все наполнится тобой.

Апрѣль 1833.

XI.

Завѣтное.

Въ моей душѣ живутъ прекрасныя видѣнья,
И звуки чудные звучатъ;
Но никогда творящія мгновенья
Ихъ для людей не воплотятъ.
Мои друзья — они сжились со мною,
Со мною въ тихій гробъ сойдутъ;
Но никогда предателя рукою
Я ихъ толпѣ не выставлю на судъ.
Понять ли ей, какъ тѣ мечтанья святы?
Какъ сердце юное живятъ,

И щедро платятъ за утраты
  И съ небесами жизнь дружатъ?
Благодарю! Ты мнѣ ихъ далъ, спаситель!
  Мнѣ съ ними чуждъ другихъ людей кумиръ:
Они мнѣ жизнь, любовь; но сердце — *ихъ* обитель:
  Имъ безотвѣтною пустыней былъ бы міръ.

2 апрѣля, ночь на канунѣ Свѣтлаго Праздника 1833.

XII.

Тайна пророка.

Возьмите, возьмите предвѣдѣнья даръ,
И дивную тайну возьмите,
Смирите души утомительный жаръ,
Волненье души утолите!
Ахъ! дайте мнѣ каплю забвенья одну,
Чтобъ могъ я предаться отрадному сну.

*

Я слышалъ, я знаю — зачѣмъ не забылъ? —
Мои сокрушаются силы!
Въ грядущемъ отважно я мыслью парилъ,
Я тайну исторгъ изъ могилы!
Я тайну похитилъ — вѣнокъ въ глубинѣ —
И радость съ тѣхъ поръ недоступна ко мнѣ.

*

Сказать ли?... Но міръ такъ спокоенъ и тихъ,
И небо такъ чисто и ясно,
И солнце стремится, какъ юный женихъ,
Въ объятья природы прекрасной,
И люди привыкли такъ весело жить, —
Зачѣмъ же мнѣ тайной въ нихъ радость [illegible]

Погибни жъ, зловѣщая, въ мракѣ души!
Ахъ, дайте мнѣ прежніе годы,
Когда я, стадъ пастырь, въ безвѣстной тиши
Свѣтилъ созерцалъ хороводы,
И, тайный свидѣтель высокихъ чудесъ,
Былъ свѣтелъ душою, какъ звѣзды небесъ.

Объ отношеніи философіи къ искусству.

(1840.)

Я здѣсь не намѣренъ выводить систематически значеніе философіи и искусства. Тогда эти коротенькія замѣчанія разширились бы въ книгу — безполезную послѣ многихъ, написанныхъ объ этомъ предметѣ. Я хочу сказать нѣсколько словъ объ отношеніи философіи и искусства къ жизни, къ современной нашей жизни и угадать, если можно, ихъ будущность.

Кто хочетъ говорить и писать въ наше время объ искусствѣ, долженъ имѣть по крайней мѣрѣ предчувствіе того, что̀ сдѣлала новѣйшая философія, — говоритъ Гёте. Время еще подвинулось съ тѣхъ поръ, какъ вышли изъ-подъ пера его эти строки, и теперь мы въ правѣ, можетъ-быть, требовать отъ судей искусства чего-нибудь больше предчувствія.

Было время, когда вопросъ объ искусствѣ казался чуждымъ философіи (Винкельманъ, Лессингъ). Со времени Канта пришли они въ ближайшую связь, и съ

тѣхъ поръ мы встрѣчаемъ болѣе просторный, болѣе ясный взглядъ на творенія геніевъ. Шиллеръ, воспитанный въ его школѣ, и Гёте, уже знакомый съ его системою, но еще болѣе посвященный въ нее Шиллеромъ, бросили новый яркій свѣтъ на міръ искусства. Ихъ поэтическія созданія, въ которыхъ въ первый разъ засіялъ духъ новой жизни, подняли и расширили наблюденія не меньше ихъ теоретическихъ сочиненій. Ни одна отрасль духовной жизни не развивается независимо; каждый членъ духа живетъ и растетъ съ цѣлымъ его организмомъ. Тихо, но вѣрно совершилась духовная реформа въ Германіи, и духъ наконецъ безъ шума сбросилъ съ себя старую кору, которая стала теперь не нужна ему. Философія наконецъ достигла того широкаго начала, къ которому вели ее и прежнія системы, исполненныя съ желѣзною послѣдовательностію, и этотъ духъ простора и полной жизни, который проникалъ творенія двухъ нѣмецкихъ геніевъ. Уже не праздныя мечты,—серіозные, вѣчные интересы духа облекались въ поэтическія формы, и философъ строгимъ путемъ ума, его неумолимою дисциплиною достигъ того, что могъ смѣло назвать вѣчными и разумными тѣ убѣжденія, которыя внушалъ ему первоначально поэтъ и которыя одушевляли его въ кровавомъ трудѣ и освѣщали темный путь.

Мѣщане увидѣли слова: философія Гегеля, и сказали: сухо. Надо за нимъ слѣдовать, чтобъ увидѣть, какая жизнь выходитъ изъ этой громады, которой разумная гармонія понятна только тому, кто вполнѣ обозрѣлъ ее; надо быть въ системѣ, чтобы понять ее; тѣ су-

жденія, которыя сыплются на нее снаружи — опровергнуты въ ней и изъ нея. Эта философія сказала: искусство есть прошедшее для насъ. Это одинъ изъ главныхъ поводовъ къ обвиненію ея въ холодности. Но надо понять смыслъ этого выраженія: оно не такъ страшно, какъ звучитъ.

Для объясненія этого отношенія нашего времени къ искусству, я хочу, какъ сказалъ, взглянуть на разныя его отрасли. Для этого нужно будетъ начать немного подальше — но не съ логики, избави Боже! Главное основаніе предполагается извѣстнымъ. Я не стану останавливаться надъ объясненіемъ идеи, которая должна руководить насъ въ этомъ случаѣ — она перешла уже въ общее сознаніе, сдѣлалась силою своей истины, — непреодолимою вѣрою тѣхъ, которые почему либо не могли начать дальше своихъ изслѣдованій.

Сколько геніяльныхъ трудовъ приходитъ мнѣ здѣсь на память, посвященныхъ какому-нибудь одному роду искусства! Сколько мыслей, набросанныхъ художниками въ порывѣ ихъ любви — сколько истинъ угаданныхъ ими! Винкельманъ — Лессингъ — я не забуду даже фантазій Гофмана о музыкѣ!

Но сколько посредственностей продолжаютъ до сихъ поръ — или руководимыя преданіями посредственности или собственною натурою — толковать объ искусствѣ такъ, какъ будто бы гигантская работа мысли никогда не совершалась, какъ будто бы духъ не жилъ цѣлое столѣтіе! Когда философія еще не возвышала своего голоса объ искусствѣ, геніяльная натура заставляла мно-

гихъ наблюдателей открывать великія истины. Они бы увидѣли въ наше время, какъ разрослись ихъ открытія, какой плодъ принесли—и увидѣли бы какъ спокойно, самодовольно многочисленные эстетики, критики и литераторы, ставъ спиною къ солнцу, толкутъ еще свой старый уголь. Оставимъ ихъ въ покоѣ. Пусть еще говорятъ о примиреніи опытности съ умозрѣніемъ, сравниваютъ вокальную и инструментальную музыку съ эпопеей и драмой (какъ будто драму такъ же неизмѣнно можно передѣлать въ эпопею, какъ съиграть или спѣть одну мелодію?!!) и совѣтуютъ присматриваться и наблюдать въ произведеніяхъ искусства, что̀ ему прилично, что̀ нѣтъ. Для насъ предѣлы и значеніе каждаго искусства можно узнать только изъ всѣхъ, а значеніе искусства изъ идеи вообще.

Искусство есть прошедшее для насъ. Это можно бы сказать такъ: искусство не есть болѣе высшее для насъ. Но и тутъ вышли бы недоразумѣнія. Предложеніе немного значитъ, когда оно не высказывается совсѣмъ, не говоритъ все, что̀ его оправдываетъ. Итакъ я скажу напередъ въ утѣшеніе нетерпѣливымъ, что есть непогибающій элементъ въ искусствѣ, который останется высшимъ и послѣднимъ, элементъ цѣльной, индивидуальной жизни, прямого созерцанія, нераздробленнаго знанія—элементъ энергіи и личности; этотъ элементъ вѣченъ, какъ вѣчна потребность человѣка въ каждое мгновеніе сознавать всю нераздробленную полноту своей жизни. Но въ искусствѣ есть еще другой элементъ, который осуществляется въ описанномъ. Это элементъ *общаго, вѣчнаго*, — божественнаго. Здѣсь нѣтъ мѣста

распространяться объ этой основной идеѣ искусства. — Много формъ принимало искусство — онѣ были сообразны возрасту духа. Къ глубокимъ, плодовитымъ открытіямъ новѣйшей философіи принадлежитъ то, что исторія искусства, разсматриваемая разумно, есть вмѣстѣ и его теорія, и что роды его вполнѣ соотвѣтствуютъ его эпохамъ, которыя, въ свою очередь, совпадаютъ съ эпохами общаго духовнаго развитія. Эта мысль дѣлаетъ совершенный переворотъ съ эстетикѣ: искусство, вмѣсто того, чтобы терять, получаетъ міровое значеніе; оно выходитъ изъ безсмысленнаго оцѣпенѣнія, въ которомъ оставалась разбитымъ неизвѣстно почему и для чего на разные роды; оно является цѣлымъ, которое живетъ съ духомъ и изъ духа и переживаетъ *съ нимъ* всѣ судьбы его.

Человѣкъ, по натурѣ своей, по назначенію — общее духовное существо — всегда имѣлъ больше или меньше ясное сознаніе — по крайней мѣрѣ предчувствіе чего-то высшаго, нежели всѣ преходящія вещи, нежели онъ самъ въ своей единичности. Съ этого предчувствія начинается исторія человѣчества, потому что только съ этого предчувствія начинается духовная жизнь человѣка. Это сознаніе принимаетъ разныя формы; но первая, въ которой она является намъ исторически (и которую выводитъ намъ спекулятивно философія), есть натурально ничтожество всего единичнаго передъ одною силою: *одно есть* — всѣ единичности ложь и погибаютъ въ этой истинѣ. Это *одно* есть родъ, котораго жизнь есть смерть всего живаго. Было время, когда

фіи и видѣли что-то грандіозное въ этой жизни
ıго, забывая, что здѣсь гибель личности, слѣдственно
ıха — и что это *одно*, неживущее, безличное, есть
ıко какъ понятіе — слѣд. зараждается въ лицѣ, въ
ь. Еще забавнѣе, что это воззрѣніе хотѣли при-
ıть Гегелю, который съ такою силою выводитъ
ь и лицо побѣдоноснымъ изъ этого рода (въ Фено-
ологіи Духа) и который отдѣльно во многихъ мѣ-
ıъ полемизируетъ противъ этой безжизненной фило-
и. Обвинители не читали его.

о возвратимся къ нашему предмету. Сознаніе та-
ı незримаго, недвижнаго, неназваннаго существа
ıогло бы, кажется, породить исторію. Но человѣче-
ı индивидуальность непобѣдима: фантазія облека-
все своими образами; а ей нужно было *созерцать*
ıдимое. Воплотить это всепоглощающее одно въ ка-
-нибудь отдѣльный образъ природы значило утра-
ь смыслъ его — тогда прибѣгли къ символу, къ ал-
ıріи — эти видимыя вещи должны были выразить
конечное, но не сами собою, а только своими от-
ьными отношеніями и т. п. Наконецъ высочайшее
витіе этого направленія является въ стремленіи по-
оить *жилище* Божеству, которое намекнуто въ от-
ьномъ изображеніи, но все осталось неизобразимымъ.
ıмъ не представляетъ Божества, онъ внушаетъ его
ıданіе. Архитектура есть первая степень искусства,
ıближеніе къ искусству, которое есть *созерцаемая*
ıя.

Въ архитектурѣ она только предчувствуется, и этотъ
ıвній до-греческій міръ есть преимущественно міръ

архитектуры; ея символическій характеръ носятъ всѣ другія искусства той эпохи. У Грековъ усовершенствовалось, угармонировалась архитектура, но уже не имѣла настоящаго значенія. У нихъ уже были *боги*.

Человѣкъ доживаетъ новой степени: общее начинаетъ представляться въ болѣе живой формѣ; богатая, разнообразная природа, его окружающая, духъ жизни и дѣятельности, не даютъ ему этого мертваго общаго признать основою всего. Чувство жизни влечетъ за собою чувство гармоніи, а вѣнецъ непосредственной жизни, ея цвѣтъ и послѣднее выраженіе есть человѣческій образъ. Обожаніе натуры, какъ жизни, какъ гармоніи, приводитъ къ антропотеизму, къ обоготворенію *человѣка*. Но непосредственная единичность не въ состояніи вмѣстить всего — и божество раздробляется на боговъ. Высокіе человѣческіе образы, которые завѣдываютъ отдѣльными частями природы и жизни, все населяютъ и одушевляютъ. — Вотъ исторія перехода къ новому виду идеи; мы оставляемъ спекулятивный ея выводъ. Это идея въ непосредственности, идея какъ жизнь, единичность, *изобразимая* идея — идеалъ. Греческій міръ представляетъ ея развитіе; это міръ искусства по преимуществу. Онъ здѣсь вполнѣ осуществляетъ свое понятіе. Оттуда полнота, оконченность во всѣхъ твореніяхъ Грековъ. Скульптура какъ самое ощутительное выраженіе идеала есть классическое искусство по преимуществу и она есть искусство этой эпохи. Видимый богъ вносится въ храмъ, который теряетъ свою первую символическую форму и дышетъ стройностію и оконченностію греческаго духа.

Но невидимый образъ составляетъ Божество. Какъ ни проглядываетъ духъ во всѣхъ формахъ человѣческаго *образа*, какъ ни выражаютъ его черты лица, — духъ не *весь* въ этомъ наружномъ образѣ. Только внутренно можно ощущать его, только мыслію постигать. Онъ неизобразимъ, онъ живетъ своею независимою жизнію и понимается духомъ. Это сознаніе разрушаетъ непосредственное единство идеи съ жизнію. Классическій идеалъ разрушенъ.. Искусство грозитъ упасть въ первоначальное индійское безобразіе, но духъ сдѣлалъ успѣхъ; съ этимъ сознаніемъ начинается новый, болѣе истинный видъ идеи.

Она, эта идея, не мертвое единство; она живущій духъ, лицо, но лицо только какъ сознаніе невидимаго. Все, что̀ изобразимо, носитъ только его отпечатки! Новый видъ искусства, гдѣ внѣшняя форма становится только отраженіемъ внутренней, незримой идеи — есть *романтическое искусство*. Но какъ въ немъ является уже истинный духъ, то это даетъ ему начало движенія, раздѣленія въ себѣ; оно является какъ отраженіе идеи въ видимыхъ образахъ: живопись — какъ идея, ощущаемая сердцемъ и облекающаяся въ субъективное бытіе, звукъ-музыка, какъ идея, представляемая и мыслимая — поэзія. — Мы видѣли какъ внутренно одухотворилась здѣсь идея!. . . . .

Три художника.

—

Три художника, три брата, работали вмѣстѣ. Безмолвно каждый въ своемъ углу покушался дать плоть прекрасному мгновенію своей жизни. Но у всѣхъ творило одно могучее чувство, одна мысль облекалась въ красоту, одинъ духъ парилъ надъ тремя избранными. Лучи заходящаго солнца проникали въ комнату... Вдругъ струна задрожала подъ перстами одного изъ художниковъ: чудные, томящіе звуки возникли... и, умирая, просили отвѣта; отрадно отозвались имъ другіе, — и вся тоска души, и вся сладость жизни, сказались въ страстной пѣснѣ. Звуки затихли, мѣшаясь съ вечернимъ благовѣстомъ, и братья бросились обнимать другъ-друга. «Тайна душа моей тебѣ знакома, сказалъ одинъ. Посмотри: когда бы ты могъ узнать пѣснь твою въ этой картинѣ!»

Окрашенныя розовымъ сіяніемъ неба струятся воды, за рѣкой высится гора, на ней хижины, и крестъ Божіей церкви ярко сіяетъ въ лучахъ заходящаго солнца... даль синѣетъ, чуть видно одинокое существо... не

различишь лица его: оно слилось съ вечернимъ туманомъ.

И картина полна была мыслію, полотно дышало чувствомъ.

Молча, со слезами на глазахъ, подалъ третій братъ руки живописцу и музыканту. Они его разгадывали. Онъ боялся орудіемъ нужды людской, *словомъ*, возмутить очаровательную сферу образовъ и звуковъ: они его разгадали! — Задумчиво смотря на свою картину, художникъ говорилъ о неясныхъ мечтаніяхъ души, о счастіи любви и дружбы, о вѣчной красотѣ матери-природы, (слово прекрасно, когда его произноситъ дружба, когда въ немъ дышетъ любовь, когда оно облекаетъ могучую мысль человѣка) — онъ умолкъ... Задумчиво коснулся струнъ своихъ другой братъ: звуки его проясняли темную даль, разгадывали тайные образы, глубокимъ чувствомъ пропицали картину.

И разрѣшились уста третьяго брата: рѣчь его досказала пѣснь, дорисовала картину, дала звуку образъ и образу движеніе — и три жизни слились въ жизнь одну, три искусства въ красоту. Сладко текли слезы братьевъ! И кто-то незримый былъ посреди ихъ.

IV.

НѢСКОЛЬКО МГНОВЕНІЙ

ИЗЪ ЖИЗНИ ГРАФА Z***.

I.

Графъ Z*** былъ рожденъ съ душою пылкою, способною ко всѣмъ сильнымъ ощущеніямъ: свободное воспитаніе развило ея способности. До пятнадцати лѣтъ прожилъ онъ въ деревнѣ, гдѣ долженъ былъ, по нѣкоторымъ причинамъ, оставаться отецъ его. Это обстоятельство спасло въ немъ многое: мелкія, ничтожныя побужденія свѣтскаго юноши были ему незнакомы; онъ не умѣлъ отдѣлять словъ отъ мыслей, въ дѣтствѣ не разыгрывалъ мужа, въ юности старца; не стыдился чувствовать, вѣрить; не посягалъ на религію изъ приличій и не молился изъ слабости. Природа была его наставницею: онъ свыкся съ нею, сочувствовалъ ей, считалъ ее разумною и любящею. Надобно сказать, что уроки добраго, умнаго отца способствовали ему видѣть природу и жизнь съ настоящей точки зрѣнія. Отцу обязанъ былъ онъ святыми началами, которые безъ сознанія на вѣкъ залегли въ его сердцѣ, соста-

вили часть бытія его, образовали изъ него то, чѣмъ онъ былъ.

Пріѣхавъ въ столицу, Z*** въ первый разъ испыталъ непріятную борьбу съ жизнію. Отецъ его имѣлъ связи, знакомства, которыя долженъ былъ поддерживать; молодой Z*** явился въ обществѣ, скрѣпя сердце выдержалъ первую атаку дядей и тетокъ и поступилъ на другія мытарства: подвергся испытательнымъ взорамъ кузинъ всѣхъ возрастовъ, выслушалъ нѣсколько несомнѣнныхъ истинъ и ходячихъ остротъ отъ молодыхъ братцевъ. Двусмысленною улыбкой (онъ долженъ былъ съ ней познакомиться) подавляя въ себѣ удивленіе и досаду, онъ думалъ, что по волѣ своей можетъ удалиться изъ этого чуждаго ему міра и только изрѣдка въ него заглядывать. Но этого нельзя было сдѣлать иначе, какъ оставивъ Москву. Оставить ее значило отказаться отъ всѣхъ радужныхъ надеждъ. Эти надежды были не кресты, не чины, не блистательное положеніе въ обществѣ: нѣтъ! душа его жаждала познаній; здѣсь думалъ онъ удовлетворить святому стремленію къ истинѣ, найти руководителей и спутниковъ, заключить съ ними союзъ братства и рука въ руку переплыть житейское море, побѣдить его бури, укротить безумныя волны. Да! сильно воздымали грудь его эти думы; душа его была открыта міру и людямъ. Но міръ и люди обманули эту душу: скорбя, она не утратила ни надеждъ, ни силъ; только къ прежнимъ чувствамъ ея прибавилось новое: презрѣніе. Онъ скоро привыкъ къ новому міру и новому чувству: съ улыбкою вмѣшался въ толпу, не говорилъ о томъ, что выше ея; пріобрѣлъ блаженную терпимость, и даже пустился въ танцы, желая узнать короче созданія, которымъ,

не его понятіямъ, природа опредѣлила предоставлять на землѣ красоту и любовь. Графъ былъ высокъ, статенъ, уменъ, блѣденъ, черноглазъ, черноволосъ, богатъ и притомъ же графъ: онъ скоро успѣлъ узнать ихъ и, какъ будто стыдясь побѣдъ, сошелъ съ паркетнаго поприща. Героини его немножко безсовѣстно расточали передъ нимъ свою любезность: теперь онѣ начинали говорить злости, тѣмъ болѣе, что графъ самъ былъ немножко золъ. Змѣя обвивалась вокругъ души его: удивительно ли, что рѣчи его были ядовиты? Скоро сказка сказывается да не скоро дѣло дѣлается. Все это совершалось въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Графъ успѣлъ окончить университетскій курсъ, успѣлъ сблизиться со многими людьми, достойными его пріязни, и съ однимъ болѣе, нежели съ другими. Это было необходимо. Никакое чувство не терпитъ раздробленія: оно ищетъ сосредоточиться на одномъ предметѣ и сосредоточивается на немъ, когда онъ можетъ замѣнить всѣ другіе. Z*** не зналъ ни въ чемъ середины: пріязнь его скоро обратилась въ горячую дружбу, восполнившую для него недостатокъ любви; другъ вполнѣ принадлежалъ ему, но судьба разомчала ихъ по разнымъ путямъ. Мануилъ (имя друга) засѣлъ уже въ департаментѣ, между тѣмъ какъ Z*** долженъ былъ оставаться въ Москвѣ. Это имѣло большое вліяніе на графа: смѣло и неуклонно шелъ онъ на пути къ истинѣ, не щадилъ себя, твердо выслушивалъ ея приговоры, грозившіе гибелью лучшимъ его мечтаніямъ, не останавливался и шелъ впередъ. Участь саитскаго юноши, преждевременно осмѣлившагося поднять таинственный покровъ Изиды, начинала уже представляться его воображенію; система за системою созида-

сомнѣваться, не слишкомъ ли много надѣется на мощь своего ума; все утѣшительное каждой системы гибло безъ возврата, а леденящія сомнѣнія все умножались!

Пламенная, любящая душа друга доселѣ спасала графа; безъ него умъ, не останавливаемый въ своемъ стремленіи, страшно началъ работать. Что̀ сохраняетъ человѣка отъ пагубныхъ сомнѣній во всемъ, составляющемъ счастіе жизни? Какъ согласить непреодолимое влеченіе ума къ истинѣ съ потребностію любить и вѣрить? Какъ отвратить отъ чувства удары ума, какъ спасти умъ отъ обольщеній чувства? Эти вопросы, къ несчастію, слишкомъ поздно стали тревожить графа: какъ всѣ пылкіе молодые люди, сначала занимался онъ одной метафизикой, потомъ съ жаромъ сталъ изучать исторію, религію, искусства . . . но пустота оставалась въ душѣ его, червь точилъ сердце.

Какъ прежде, онъ любилъ природу, но смотрѣлъ на нее съ какою-то грустію; радужные покровы дѣтства спали съ ней. . . нѣмая красота находила отзывъ въ душѣ его, но, одна, не могла уже его удовольствовать. Сочувствія, полнаго сочувствія — вотъ чего онъ жаждалъ. . . Еслибы случай сблизилъ его съ созданіемъ, достойнымъ той высокой, безкорыстной любви, которую расточалъ онъ на безотвѣтную природу, на хладный мраморъ и мимолетные звуки; еслибы онъ нашелъ красоту, отраженіе, сосредоточеніе природы, съ человѣческимъ сердцемъ въ груди, съ молитвою на устахъ! . . Какая безконечная жизнь любви ожидала это созданіе! Какая отрада ожидала истомленную душу страдальца! Гордый разумъ безпрекословно почтилъ бы Бога въ твореніи, вѣра младенца и любовь юноши дали бы крылья мужественному уму — и кудабъ не

проникъ онъ! .. Но судьба не хотѣла этого: чистый и высокій сердцемъ, онъ не унизилъ чувства передъ суетными созданіями: онъ видѣлъ въ нихъ искаженіе природы, падшее человѣчество, померкшій образъ Божій. Презрѣніе и жалость — вотъ что наполняло грудь его при видѣ этихъ тварей, безразсудно разорвавшихъ высокую связь съ жизнію вселенной, поправшихъ свое назначеніе, уничтожившихъ красоту свою... Тѣ, которыя возвышались надъ падшими; тѣ, которыя не отвергли благословенія небесъ, но едва постигали цѣну его, влачили жизнь въ златой посредственности: не могли увлечь сильной души юнаго мученика... Судьба не хотѣла сблизить его съ лучшими! ..

Безъ любви слабѣетъ вѣра, чувство долга становится тяжкимъ бременемъ, жизнь мучительною борьбою. Долго боролся графъ: онъ рѣшился испытать одно средство для успокоенія души своей. Онъ рѣшился честной и трудной дѣятельности посвятить жизнь свою, какъ прежде думалъ посвятить ее наукамъ. Занять значительное мѣсто въ обществѣ, быть на немъ олицетворенною справедливостію, водворять вокругъ себя благо — вотъ къ чему онъ теперь стремился! Желая приготовить себя къ этому подвигу, онъ отправился за границу, былъ въ Германіи, Англіи, Франціи, Италіи, изучалъ людей, общества; наконецъ возвратился въ Россію... Его рожденіе, богатство, умъ, скоро доставили ему желаемое мѣсто; съ жаромъ началъ онъ дѣйствовать на новомъ поприщѣ, великодушно презрѣлъ неблагодарность, зависть, тысячи непріятностей, сопровождавшія каждое его доброе дѣло: связи и прочная репутація между извѣстными людьми не дозволяли и

проходила и произвела наконецъ опасное разстройство въ организмъ. Графъ не въ силахъ былъ исполнять всѣхъ обязанностей своей службы: онъ оставилъ ее, и доктора присовѣтовали ему снова ѣхать за границу.

Въ маѣ 18**, Z*** поѣхалъ въ Петербургъ. Онъ хотѣлъ отправиться отсюда на пароходѣ, а до отъѣзда видѣться съ другомъ. Онъ прибылъ за нѣсколько часовъ до отплытія парохода и побѣжалъ къ Мануилу... Дѣловой другъ его сидѣлъ надъ кипою бумагъ, собираясь идти въ департаментъ... Вдругъ графъ входитъ въ его комнату. Первымъ движеніемъ Мануила былъ испугъ: полный блаженной вѣры въ мечты дѣтства и юности, онъ боялся, не призракъ ли друга явился повѣдать ему отшествіе любимой души въ лучшую страну?.. Но графъ бросился къ Мануилу... осязалъ его плоть и кости... Скоро вложилъ онъ и персты въ раны его...

Глубоки, страшны были эти раны! Нѣсколько мгновеній поглотило одно долгое, безмолвное объятіе...

— Другъ мой, другъ мой! Наконецъ я тебя вижу!.. проговорилъ Мануилъ. — Дай взглянуть на себя!..

— Смотри и радуйся! отвѣчалъ графъ съ грустною улыбкой.

Нѣсколько лѣтъ разлуки ужасно перемѣнили графа. Гордая, вдохновенная улыбка покинула лицо его, черные волосы опустились, щеки впали, большіе глаза высказывали сосредоточенное страданіе души...

— Ты страшенъ! воскликнулъ Мануилъ.

— Поправлюсь, поправлюсь, другъ мой! поспѣшно сказалъ графъ. Воздухъ Италіи, теплыя воды, путешествіе: все это придастъ мнѣ новыя силы, и, возвратившись, я ужъ не испугаю тебя моимъ приходомъ.

Мануилъ взглянулъ еще разъ на графа и невольная дрожь пробѣжала по всему его тѣлу...

— Итакъ ты рѣшился ѣхать?

— Мѣсто на пароходѣ ужъ взято... онъ отходитъ чрезъ нѣсколько часовъ. Благослови меня, другъ мой! прибавилъ онъ дрожащимъ голосомъ...

Они сѣли. Мануилъ вперилъ испытующій взглядъ на графа: онъ поникнулъ головою... Двѣ болѣзни дружно разрушали его составъ; одна была корнемъ другой: ее слѣдовало истребить... Мануилъ это зналъ.

— Да! тебѣ нужно благословеніе, сказалъ онъ. — Я могу тебѣ дать его... и оно не будетъ напрасно!

Онъ произнесъ эти слова тономъ убѣжденія, потрясшимъ бренный организмъ графа.

— Время намъ дорого — не будемъ его тратить! Буря опустошила душу твою, но благотворный дождь не освѣжилъ ея; вихри развѣяли драгоцѣнное сѣмя и не было плода... Бѣдный другъ! ты отважно напрягъ всѣ силы ума, ты безумно раздувалъ кроткое и спасительное пламя души твоей: оно объяло ее пожаромъ. Воды! вопилъ ты, но не приготовилъ ея. Дождя! взывалъ къ небу — и уже не вѣрилъ, что оно пошлетъ дождь.

—Да, мой ангелъ! отвѣчалъ графъ. — Бури и грозы опустошили ниву, развѣяли сѣмя ей ввѣренное; изрѣдка упадетъ небесная роса, но ей не возрастить погибшаго сѣмени!.. Мгновенная, чуждая зелень покроетъ ниву, но придетъ зима и умертвитъ зелень... Другъ мой, благослови меня!.. Я вѣрю въ твое благословеніе. Да будетъ оно позднимъ посѣвомъ, котораго плодъ дастся при свѣтѣ весенняго солнца, въ другой

Глаза Мануила были полны слезъ; собравъ силы, онъ взялъ руку графа и сказалъ:

— Сый посреди насъ да будетъ съ тобою!

Они преклонили колѣна предъ Распятіемъ и сжали другъ-друга въ объятіяхъ.

II.

Прекрасный осенній вечеръ догаралъ надъ однимъ изъ веселыхъ загородныхъ садовъ Вѣны. Безоблачный западъ еще золотился послѣднимъ отблескомъ зашедшаго солнца. Музыка и пѣсни раздавались по саду; кое-гдѣ подъ вѣтвистыми березами дымились самовары; тамъ общество затѣвало игры; тамъ пускались въ танцы... Такъ оканчиваютъ каждый день въ Вѣнѣ.

Въ главной аллеѣ на скамьѣ сидѣлъ молодой человѣкъ высокаго роста, закутанный въ плащъ, худой и блѣдный. Болѣзненный видъ и вмѣстѣ прекрасная физіономія останавливали на немъ вниманіе проходящихъ. Онъ не былъ похожъ на разочарованнаго героя новыхъ романовъ, не отворачивался отъ проходящихъ; напротивъ смотрѣлъ на нихъ очень пристально. Его, казалось, занимала пестрота, трогала музыка, радовала общая веселость. Онъ приподнимался, обозрѣвалъ группы, вглядывался въ лица, и съ улыбкою снова прислонялся къ толстому дереву, подъ которымъ стояла скамья.

Между тѣмъ вечеръ темнѣлъ и холоднѣлъ, толпы рѣдѣли, а яркія осеннія звѣзды все чаще и чаще усыпали небо. Еслибы кто-нибудь сталъ особенно наблюдать лицо молодаго человѣка, сидѣвшаго подъ дере-

вомъ, то замѣтилъ бы, какъ съ лучами зари исчезала улыбка съ лица его, какъ онъ мрачнѣлъ съ вечеромъ, какъ глаза его загарались съ звѣздами; замѣтилъ бы, какъ онъ раскрывалъ блѣдныя уста, чтобъ пить холодный, полуночный вѣтеръ; какъ съ грустію глаза его перебѣгали отъ созвѣздія къ созвѣздію и вдругъ съ чуднымъ блескомъ остановились на яркой *медельницѣ*. Легкой румянецъ вспыхнулъ и погасъ на щекахъ его... будто дума его встревожила, безнадежность оледенила...

— Любезный графъ! сказалъ подошедшій къ нему молодой человѣкъ.

Графъ вздрогнулъ.

— Докторъ вашъ очень неблагоразумно дѣлаетъ, что позволяетъ вамъ гулять однимъ. Вы слишкомъ любите природу и поэзію... слишкомъ, для больнаго. Позвольте увезти васъ отсюда.

— Благодарю васъ, баронъ. Но вы докторъ больше, нежели я могъ ожидать отъ извѣстнаго музыканта.

— Комплиментъ за искреннее участіе! — Кстати, графъ! вы вѣрно будете завтра въ первомъ концертѣ филармоническаго общества?

— Что даютъ?

— Пастушескую Симфонію. Я имѣю билетъ — и если ваше здоровье...

— Оно хорошо. Благодарю васъ. Я буду въ концертѣ непремѣнно.

Они приближались къ воротамъ сада.

— Прежде нежели разстанемся, еще одинъ вопросъ, любезный графъ... Вы зимуете въ Вѣнѣ?

— Въ Вѣнѣ, баронъ.

— Не знаю! отвѣчалъ графъ съ печальною усмѣшкою. Я скучаю по Россіи — примолвилъ онъ, помолчавъ нѣсколько.

Баронъ улыбнулся.

— Швейцарская болѣзнь! сказалъ онъ и пожалъ ему руку.

Они разстались.

Путешествіе сдѣлало графу болѣе вреда, нежели пользы. Онъ провелъ лѣто въ Италіи, прожилъ нѣсколько мѣсяцевъ въ Римѣ, побродилъ между памятниковъ, давно ему знакомыхъ, пожилъ нѣсколько душою... Но мраморная красота Рима не исцѣлила больной души его, еще болѣе измученной тоскою по другѣ и родинѣ; силы его значительно упали. Онъ желалъ возвратиться въ Россію, и рѣшился, переждавъ зиму въ Вѣнѣ, отправиться весною въ отечество. Въ прежнее путешествіе, поглощенный одною мыслію, обремененный важными занятіями, онъ не могъ познакомиться со всѣмъ, что эта столица можетъ представить любителю *человѣческихъ* наслажденій. Теперь онъ имѣлъ время предаться имъ вполнѣ. Я уже сказалъ, что графъ не походилъ на разочарованнаго героя новыхъ романовъ: онъ не любилъ баловъ, но это потому, что бывшіе на балѣ мало занимали его; удалялся сколько могъ общества, но это потому, что страшился убивать въ немъ краткое время, данное на обширный подвигъ, и одинокій поспѣшалъ совершить его. Тяжкія, мучительныя сомнѣнія облегли его душу; долго и неослабно стремясь къ цѣли, онъ видѣлъ бездну между ней и собою. Онъ думалъ постигнуть природу, ощутить ея жизнь, уразумѣть, раздѣлить ея промыслъ. Онъ отдѣлился отъ земли, от-

казался отъ благъ ея для святаго подвига; но скоро увидѣлъ, что совершить его не въ силахъ: земля стала для него пустынею, а небо было недосягаемо.

Но тѣмъ дороже, тѣмъ священнѣе были для него представители неба на землѣ — искусства. Они одни заставляли его забывать пустоту жизни и напоминали его юныя надежды...: Но когда умолкалъ звукъ, когда отлеталь образъ, змѣя обвивалась вокругъ души его и сокрушала послѣднія силы его. Музыка была однимъ изъ любимыхъ его занятій. Онъ рѣшился сосредоточить на ней все свое вниманіе. Вѣна представляла ему всѣ средства къ этому. Онъ познакомился съ барономъ Мг*, веселымъ, добрымъ молодымъ человѣкомъ, страстнымъ любителемъ музыки, ревностнымъ поборникомъ нѣмецкой школы и заклятымъ врагомъ Россини съ братіею. Они успѣли провести съ нимъ два-три вечера, разыгрывая партитуры Моцартовыхъ оперъ. Это занятіе начинало, повидимому, развлекать графа; онъ сталъ спокойнѣе, даже веселѣе.

На другой день послѣ описаннаго свиданія, утромъ, баронъ Мг* пришелъ къ графу и принесъ ему Пастушескую Симфонію. Они сѣли за фортепьяно. Графъ уносился божественными звуками; душа его какъ будто пробудилась отъ долгаго усыпленія: все чище, все полнѣе становилась она, тихій румянецъ покрылъ его блѣдныя щеки, кроткое упоеніе сіяло въ глазахъ, какъ будто потерянные годы возвратились съ своими туманными надеждами, какъ будто горе жизни не возмущало младенческой гармоніи въ душѣ его; послушно летали пальцы его по клавишамъ фортепьяно; каждому звуку влагалъ онъ мысль и жизнь, и каждый звукъ

чаетъ, графъ, молча, сложилъ руки и поникнулъ головою.

Das ist der einzige wahre Schein! воскликнулъ восторженный Нѣмецъ, ударивъ рукою по тетради.

Графъ, не говоря ни слова, повторилъ послѣдніе, успокоительные звуки, повторилъ ихъ еще разъ, сталъ прибавлять къ нимъ другіе, еще, еще... какъ будто ему не хотѣлось разстаться съ цѣлебною пѣснію... онъ желалъ бы продлить ее въ безконечность. Тихо звуки лились за звуками; казалось, давно желанное спокойствіе водворилось въ груди страдальца; безпокойный червь отпалъ отъ сердца, заговоренный магическою пѣснію; болѣзнь души уснула подъ ропотъ звуковъ, какъ фурія на пламенѣющимъ жертвенникомъ Аполлона. Но вдругъ какимъ-то судорожнымъ движеніемъ нарушился ровный, спокойный ходъ мелодіи, дрожащая рука стала оттягивать и сокращать тоны; вотъ послышался диссонансъ, чадо муки душевной, вотъ другой... Несчастный! какая мысль сокрушила твое блаженство? Диссонансы становятся чаще и чаще, они толпятся; онъ разрѣшаетъ ихъ, и отрывисто, будто нехотя, въ жалобные аккорды душа его странно высказываетъ себя. Все болѣе и болѣе разстроивается игра, пальцы перебѣгаютъ съ одного конца инструмента на другой, міръ гармоніи готовъ разрушиться... Вотъ возникъ цѣлый хаосъ диссонансовъ; графъ крѣпко ударилъ по клавишамъ; нестройный вопль пробѣжалъ по фортепьяно; струны лопнули...

Sind Sie rasend? вскричалъ баронъ, забывъ приличіе. Онъ подбѣжалъ къ графу и остановился въ изумленіи.

Z*** сидѣлъ неподвижно закрывъ лицо рукою. Ба-

ронъ слушалъ со всѣмъ участіемъ меломана отчаянную импровизацію графа; его удивляла возрастающая дисгармонія; онъ ждалъ, что вопящая буря звуковъ разрѣшится въ стройные аккорды... но за ними послѣдовалъ разрушительный ударъ грома и нервы его потряслись... Теперь онъ видѣлъ, что графъ игралъ не случайную фантазію, что диссонансы живутъ въ душѣ его, что составъ его готовъ рушиться отъ борьбы ихъ... Онъ это видѣлъ и предпринялъ употребить всѣ силы къ примиренію его съ самимъ собою.

Вечеромъ баронъ заѣхалъ за графомъ, чтобы вмѣстѣ отправиться въ концертъ, и нашелъ его спокойнѣе, нежели когда-либо. Быстрая, гармоническая исповѣдь облегчила его душу. Они вошли въ залу, которая была полна. Вельможи, чиновники, музыканты, ремесленники съ фамиліями, собрались слушать чудное произведеніе роднаго генія; огромный оркестръ стоялъ на возвышеніи и уже приготовился къ игрѣ. Графъ выбралъ уединенное мѣстечко у колонны и въ ожиданіи начала смотрѣлъ на пеструю толпу, волновавшуюся въ обширной залѣ... Но вотъ дирижеръ поднялъ смычекъ и все собраніе обратилось въ слухъ. Мирные звуки тихо поднялись съ инструментовъ и замерли надъ очарованною толпою; вслѣдъ за ними потянулись другіе, третьи, и весь оркестръ ожилъ. Графъ былъ проникнутъ до глубины души божественною мелодіей: онъ улетѣлъ мечтою въ годы дѣтства. Вотъ безмятежное утро восходитъ надъ благословеннымъ кровомъ отца его, первый лучъ солнца румянитъ волнистыя нивы, скрыпя тянутся крестьянскія телѣги по дорогѣ и добрые поселяне съ улыбкою привѣтствуютъ юнаго владѣльца; вотъ онъ выходитъ на поле:

протяжная пѣсня слышна вдалекъ, звонкая коса стучитъ о камень, косари и жнецы прилѣжно работаютъ; вдали, подернутый дрожащимъ туманомъ, волнуется темный лѣсъ и все оживлено улыбкою ранняго, утренняго солнца... на душѣ становится веселѣй и веселѣй... полно, свободно, дышетъ грудь... пламя любви разгарается и хочетъ обнять всю природу... Первая часть симфоніи кончилась.

Графъ пробудился. Онъ глубоко вздохнулъ и обратилъ грустный взоръ къ собранію: всѣ были въ восхищеніи; хлопанье, восклицанія слышались со всѣхъ сторонъ (баронъ вошелъ въ ученое состязаніе съ какимъ-то знатокомъ). Графу не хотѣлось разстаться съ отрадными мечтами: слухъ его былъ полонъ очаровательныхъ мелодій; по счастію, сосѣди не мѣшали ему предаться капризамъ своей фантазіи. Ближе всѣхъ къ нему сидѣла молодая дѣвица, которая, можетъ-быть, не зная музыки, не пускалась ни въ похвалы, ни въ разсужденія. На ней остановились глаза графа, отдавшагося на волю своему воображенію. Она сидѣла, поникнувъ головою къ груди, и какъ будто смотрѣла вдаль; сны его не прерывались, звуки для него не умолкали, но ему казалось, что тѣ же сны очаровали ея душу, что слухъ ея ловитъ тѣ же самые звуки.

Вотъ снова слышится пѣснь — и тиха и свѣтла, но она томитъ душу, она раскрываетъ сердечныя раны страдальца; съ каждымъ мгновеніемъ пѣснь становится роскошнѣе, душа ищетъ какого-нибудь предмета, чтобъ остановиться, чтобъ излить на него все обиліе тоскующей любви; свѣтлая Scene am Bache становится задумчивѣе... Вотъ зазвучала та мелодія, которой никакая душа не можетъ противиться; вся сила, все томитель-

ное блаженство любви сказалось въ ней; глубокій судорожный вздохъ вырвался изъ каждой груди. Вдохновенные взоры графа безсознательно покоились на дѣвушкѣ, сидѣвшей противъ него: легкій румянецъ покрывалъ ея щеки, въ большихъ глазахъ свѣтилась глубокая дума... Кончилась и вторая часть.

Дѣвушка сидѣла неподвижно и по прежнему смотрѣла вдаль: въ душѣ графа опять повторялись небесные звуки, взоръ его не отходилъ отъ незнакомки... Вотъ кто-то подошелъ къ ней: она заговорила, какъ будто нехотя... Вотъ она встала и обернулась въ ту сторону, гдѣ сидѣлъ графъ; глаза ихъ встрѣтились... Онъ вздрогнулъ... ему казалось, неясный сонъ сбывается; но скоро онъ опомнился, и созналъ, что передъ нимъ стояла дувушка, на которую смотрѣлъ онъ, когда играла музыка...

Теперь эта дѣвушка обратила на себя его вниманіе. Прекрасное, полное мысли лицо ея, задумчивые глаза, душевное волненіе, которое обнаруживалось въ каждомъ ея движеніи,—все возбуждало какое-то тревожное участіе въ душѣ графа, гдѣ не умолкла еще могучая пѣснь любви. Высокая, стройная, окруженная волшебною атмосферою звуковъ, она казалась графу роскошнымъ геніемъ Бетховена, внушившимъ ему божественныя пѣсни... Эта мечта была естественна, пріятна и графъ не удалялъ ея.

Но вотъ раздалось тихое *tremendo;* ему отвѣчала безпокойная, жалобная мелодія; вотъ опять *tremendo*, вотъ опять безпокойные, умоляющіе звуки... Мысли графа носились вокругъ прекраснаго существа, приковавшаго его вниманіе; ему мечталось: онъ одинъ съ нею бродитъ по полямъ своимъ; необозримая даль пе-

редъ ними, а тучи склоняются на небъ, и отдаленный громъ стѣсняетъ грудь ея страхомъ; она съ мольбою устремляетъ на графа большіе глаза свои, грудь его едва можетъ вмѣстить блаженство любви, онъ беретъ ее на руки, онъ мчитъ ее . . . а мрачная туча покрыла небо — ударъ разсыпается за ударомъ. . . Нѣтъ! Небо не исторгнетъ у него блаженства, котораго онъ ждалъ такъ долго; не повергнетъ его въ прежнюю страшную жизнь отчужденія и безстрастія — а удары ближе, сильнѣе; онъ крѣпко схватилъ ее руками, онъ съ нею не разлучится... и, Боже мой, какъ ужасна была бы такая разлука! опять сойти въ ничтожный міръ, опять бороться, разрушаться! Графъ затрепеталъ... да въ какомъ же мірѣ теперь онъ? . . Прочь страшныя размышленія! — Сладокъ сонъ! . . Вотъ утихаетъ гроза, благотворный дождь оросилъ землю, въ ея глазахъ свѣтится безоблачное небо. . . Она взглянула на графа, и онъ видѣлъ, какъ страшная буря стихала въ груди ея. . . Онъ утѣшалъ себя мыслію, что и она читала въ душѣ его.

Но природа отдыхаетъ отъ бури; гимнъ благодарности несется къ Отцу . . . пламенное благоговѣніе исполнило душу графа; онъ всталъ. . . Это движеніе не укрылось отъ незнакомки; она вперила въ него свои задумчивые глаза: въ эту минуту графъ былъ прекрасенъ какъ небожитель; змѣя безнадежности отпала отъ груди его, онъ ожилъ всею полнотою своей роскошной жизни. Такимъ былъ онъ, когда шелъ на трудный подвигъ: тотъ же лучъ небесный сіялъ въ глазахъ его, тѣмъ же вдохновеніемъ свѣтлѣлъ ликъ его; божество водворилось въ немъ съ миромъ и любовію,

и въ какомъ-то сладкомъ изумленіи смотрѣла незнакомка на преображеннаго юношу.

Снова осенній вечеръ догаралъ надъ Вѣною. Природа уже утратила свою роскошную лѣтнюю одежду. Въ загородномъ саду, подъ вѣтвистымъ деревомъ, небольшое семейство расположилось пить чай. Пожилая женщина сидѣла на дерновой скамьѣ, съ молодою дѣвушкой; съ ними было двое мужчинъ. Одинъ изъ нихъ, высокій, блѣдный, въ упоеніи смотрѣлъ на дѣвушку, утопившую задумчивые глаза свои въ багрянцѣ зари... невольный вздохъ всколебалъ грудь ея...

— Вы прощаетесь съ старою природой? сказалъ другой мужчина.

— Къ сожалѣнію! отвѣчала дѣвушка. Она подарила меня такими впечатлѣніями, какихъ, можетъ-быть, не дастъ новая! И кто знаетъ, какъ мы встрѣтимъ эту новую природу?

— Графъ будетъ ее привѣтствовать въ Россіи? спросила мать.

— Такъ я думалъ! отвѣчалъ онъ.

— Графъ очень любитъ Россію! сказала дѣвушка, устремивъ на него свои большіе глаза.

— Тамъ мое отечество и тамъ мой подвигъ! сказалъ графъ: но — не тамъ награда!

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ...

— Ты вѣришь, не правда ли, ты вѣришь, другъ мой, говорила она, — что новая жизнь зарождается въ этомъ пламени, жизнь вѣчная, всемогущая, которая ощутитъ себя въ каждомъ атомѣ природы, которая прославитъ Бога въ каждомъ созданіи?

— Вѣрю ли я, ангелъ моей души? говорилъ онъ.— Вѣрю ли я? — *Знаю* съ тѣхъ поръ, какъ знаю тебя; мы будемъ въ Немъ, какъ Онъ во всемъ; мы ступили первый шагъ къ блаженству; уже я живу твоею жизнію и молюсь твоею молитвою.

И жаркіе поцѣлуи горѣли на рукѣ дѣвы: она стояла, склонивъ голову на плечо къ нему. Глаза ихъ сіяли блаженствомъ; но болѣзненный трепетъ бѣжалъ по составамъ графа и яркій румянецъ горячки страшно пылалъ на щекахъ его.

— «Теперь время, время поспѣшить къ нему! говорилъ Мануилъ, пока слуга его суетился вокругъ чемодановъ. Неожиданное блаженство разрушило его слабый составъ, быстро приблизило его къ смерти!» — Онъ то блѣднѣлъ, то вспыхивалъ, и крупныя слезы, по временамъ, градомъ катились изъ глазъ. — «Бѣдный другъ мой! — Высокая душа! — И вотъ чѣмъ кончились ея замыслы!» — Онъ подошелъ къ столу и сталъ перечитывать письмо графа.

« Да! я чувствую въ себѣ присутствіе Божества! Ни одного сомнѣнія! все ясно! Въ послѣднія минуты образъ ея будетъ мнѣ отвѣтомъ на всѣ вопросы души. Онъ призоветъ молитву на хладѣющія уста, онъ будетъ посредникомъ между тварью и Создателемъ! — Когда ярмо суетъ отяготѣло на мнѣ, когда хладныя сомнѣнія раздирали душу, геній жизни моей вопіялъ: спасай, спасай чувство! И оно спаслося въ ней! — Пусть же рушится мой организмъ, во мнѣ есть другое существо — любовь; оно вѣчно, оно однородно съ творящею природою — и ощутитъ себя въ лонѣ ея!»...

« Благословеніе твое было не вотще! Поздно благо-

дать оросила засохшую ниву души моей! Зимній хладъ уже готовъ убить недавній цвѣтъ ея; но *плодъ дастся въ другой землѣ... при свѣтѣ весенняго солнца!..*

III.

Дымятся кадила предъ престоломъ Неисповѣдимаго; стройный хоръ воспѣваетъ Бога правды, Бога любви; завѣтное слово Сына Человѣческаго отрадно звучитъ подъ мрачными сводами храма, проницаетъ надеждою скорбящую грудь; отдернута таинственная завѣса алтаря; сквозь дымъ куреній, съ престола, Распятый простираетъ объятія къ людямъ. Да изыдетъ, чья душа не отвѣтствуетъ Ему! Да не зритъ Его, кто не скорбѣлъ о Немъ!

Но толпа молящихся раздѣлилась на двое. Одинъ среди нихъ; сей одинъ, быть-можетъ, скорбѣлъ о Немъ, но не зритъ Его, не отвѣтствуетъ Ему, но не изыдетъ. Нѣсть Богъ мертвыхъ, но Богъ живыхъ; трупъ не возстанетъ и не воздастъ хвалы Ему! Чья душа не будетъ прискорбна до смерти? Природа торжествуетъ свое возрожденіе, луга зацвѣли, сады заблагоухали, электрическій огонь любви пробѣжалъ всѣ звенья созданій... А онъ здѣсь, безгласный и бездыханный, окружаемый чуждыми любопытными — готовый лечь въ чуждой землѣ, подъ лучами южнаго солнца!..

Блѣденъ ликъ его; вѣнецъ тлѣнія осѣнилъ черные волосы, окостенѣлыя руки держатъ черный крестъ... Мало-по-малу свѣчи озаряютъ церковь. Вотъ архи-

гой мертвецъ съ открытыми глазами; они устремлены на гробъ; сложивъ крестомъ руки, стоитъ онъ у изголовья усопшаго. Онъ не слышитъ пѣсней, не видитъ людей — и погребальная свѣча испалила его длинные волосы. . .

А вотъ и небесное созданіе, обновившее жизнь юноши. . . Ктобъ узналъ въ ней вдохновенную дѣву того вечера, когда свѣтлыя пѣсни Бетховена очаровывали юношу, теперь безгласнаго и бездыханнаго! Блѣдная, безмолвная, она сидѣла у стѣны, склонивъ голову на плечо матери и закрывъ глаза. . . Изрѣдка взглядывала она на то мѣсто, гдѣ покоилось ея блаженство . . . и судорожная дрожь пробѣгала по ней.

Вотъ ликъ поетъ: «*Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, къ тихому пристанищу притекъ, вопію ти: отъ тли, Боже, возведи мя!*»

Но эта пѣснь чужда ея, какъ и большей части предстоящихъ; а живой мертвецъ, какъ пробужденный отъ сна — палъ на колѣна и, возводя очи къ Распятому, говоритъ: «Отче! ужасна безотвѣтная пустыня міра! Страшно шумитъ океанъ житейскій, воздвигая безумныя волны на одинокаго пловца. . . И Ты самъ былъ въ мірѣ — и на Тебя воздвизалось житейское море! Отче! И ты скорбѣлъ о друзьяхъ!» — Жаркія слезы лились на холодный помостъ церкви. . . — «Въ дому Отца Твоего обители многи суть, пріими его въ Твою тихую обитель!» — И душѣ его стало легче, какъ будто небо отвѣчало ему...

Вотъ гремитъ: «*пріидите ко мнѣ ближніи мои и цѣлуйте мя послѣднимъ цѣлованіемъ!*» Какъ недавно еще горѣлъ первый поцѣлуй любви на ланитахъ пылкаго юноши; а теперь царица думъ его идетъ лоб-